

ЖАН-ПОЛЬ
САРТР

84(0)
С207

ДНЕВНИКИ XX ВЕКА



ЖАН-ПОЛЬ САРТР
Дневники
странной войны
сентябрь 1939 - март 1940



Санкт-Петербург
Издательство «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2002



Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А

Programme
Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
иностраннных дел Франции
и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*

JEAN-PAUL SARTRE

Carnets de la drôle de guerre

Septembre 1939 - Mars 1940

Nouvelle édition, augmentée d'un carnet inédit

Texte établi et annoté
par Arlette Elkaïm Sartre

GALLIMARD

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

Дневники
странной войны
сентябрь 1939 - март 1940

Предисловие и примечание
Арлетты Элькаим Сартр

*Перевод с французского
О. Волчек и С. Фокина*



ФОНД
УНИВЕРСИТЕТ



Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

2 0 0 2

УДК 82/821

ББК 84

С 20

Редакционная коллегия серии
«Дневники XX века»

*В. М. Камнев, Б. В. Марков, А. П. Мельников,
Ю. В. Перов, В. П. Сальников, К. А. Сергеев, Я. А. Слинин,
Ю. Н. Солонин (председатель)*

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект 02-03-16074д

© Editions Gallimard, 1995 pour la nouvelle
édition, établie et annotée par Arlette Elkaim
Sartre

© Photo Coll. Editions Gallimard (Jean-Paul Sar-
tre, mobilisé en Alsace (1939))

Предисловие

Из пятнадцати тетрадей дневника, который Сартр вел с сентября 1939 по июнь 1940 г., пять были опубликованы в издании 1983 г. — те, что нам удалось обнаружить к тому времени; что касается остальных, у нас мало сведений из истории их исчезновения; ясно, что некоторые из тетрадей были потеряны непосредственно во время войны; с другими такое могло случиться в 1961 или 1962 гг. после двух взрывов в квартире Сартра в доме № 42 по улице Бонапарта, устроенных ОАС, или же в ходе вызванного ими переезда. Однако в 1991 г. всплыла первая тетрадь: тридцать лет она находилась в коллекции одного библиофила. Благодаря Национальной библиотеке, которая ее приобрела, мы подготовили новое издание «Дневников странной войны»,¹ дополненное*

* Здесь и далее звездочкой помечены комментарии переводчика, которые приводятся на с. 749—757.

¹ На обложке первого дневника написано:

Военный дневник

I

Сентябрь—октябрь 1939

Через всю страницу: Очаровательному Бобру

Подписано: Ж.-П. Сартр

На обложках других тетрадей написано: «Тетрадь III», «Тетрадь V» и т. д., с указанием даты и места; название «Военный дневник» больше нигде не появляется. Поскольку, по меньшей мере для части, в которой служил Сартр, война так и останется призрачной,

этой первой неизданной тетрадью, проливающей свет на тот умственный настрой, с которым Сартр встретил первые дни войны, на жизненные проблемы, подтолкнувшие его к ведению дневника, на многообразные — и, как будет видно, противоречивые — функции, которые он ему предписывал, на то, наконец, как мало-помалу дневник проникался личной жизнью и философией.

Второго сентября 1939 г., в поезде, который везет его вместе с незнакомцами к неведомой судьбе, Сартр-солдат, пытающийся представить себе ситуацию, с которой ему предстоит столкнуться, имеет только одну точку отсчета — гибельную, страшную Большую войну, в которой двадцатью пятью годами ранее с тем же самым врагом столкнулось старшее поколение. Как себя вести? Выживу ли я? Возможно, для того чтобы дать пристойный ответ на первый вопрос, Сартр и начал вести свой «военный дневник»; второй вопрос не требует ответа, но не отвечает ли на него сам дневник?

Перелистывая приблизительно в 1953 г. первую тетрадь, Сартр записывает:

«Я воевал по собственному образу и подобию: будучи буржуа, я встал на военную стезю по указанию; будучи пацифистом, я ступил на нее пацифистом; будучи антимилитаристом, я хотел воевать простым солдатом (я был антимилитаристом, так как был интеллектуалом); будучи неприспособленным к физическим нагрузкам (косоглазие), я оказался в нестроевом составе. Поскольку мне было тридцать четыре, я служил с резервистами, с женатыми мужчинами, отцами семейств. С другой стороны, странная война отражала наше сокровенное желание не воевать, ведь Гитлер, зная наши чувства, не атаковал, дабы война загнила на корню. Иначе говоря, я отражался в этой войне, которая отражалась во мне и возвращала мне мой собственный

чего, разумеется, он не мог знать, когда это писал 19 сентября 1939 г. (см.: *Sartre J.-P. Lettres au Castor et à quelques autres.* Gallimard, 1983), и так как впоследствии он будет называть свой дневник «Дневники странной войны», мы оставляем без каких-либо изменений заголовок первого издания.

образ. В результате я сначала писал о войне, а затем о *самом себе*. Она превратилась в *отступление*.¹

По правде говоря, начиная с первой тетради Сартр пишет и о войне, и о себе. Объявление войны пришлось на весьма бурный период его существования. Он переживает зарю своей писательской жизни, радостную зарю. Опубликованы роман «Тошнота», сборник новелл «Стена», они принесли ему известность, появилось несколько философских работ: «Воображение», «Набросок теории эмоций»; «Воображаемое» должно увидеть свет в ближайшее время. Для печатающих его издателей и журналов Сартр является молодым автором с большим будущим. Он приступил к грандиозному романному циклу, над первым томом которого продолжает работать в этот период праздной мобилизации;² у него куча литературных и философских замыслов. Однако, несмотря на этот творческий расцвет, его мучает какое-то глухое беспокорство. Беспорядочные любовные истории, легкомыслие, маска соблазителя, стремление властвовать и неверность — вот букет отношений к другим и к самому себе, ведь он не принимает себя в своей любовной жизни «втроем». * Сартр чувствует себя «облитым грязью» и как гражданин: пусть он, вскормленный с отроческих лет пацифистским молоком Алена,** и не приветствовал Мюнхенских соглашений, тем не менее аргументы, которые Ален в начале двадцатых годов изложил в работе «Марс, или Война под судом», почти не утратили в его глазах характера абсолютной истинности. Ему не удалось осмыслить эту войну, он и не протестовал против нее, и не был полностью убежден в ее необходимости; он пассивно принял мобилизацию. Кроме того, будучи заброшенным в мир мужчин с различными жизненными горизонтами, Сартр, с момента завершения образования существовавший в окружении женщин либо любивших его, либо им восхищавшихся, обнаруживает, что не умеет себя вести в мужском обществе: это оживляет жгучие воспоминания, относящиеся к самым первым отроче-

¹ Курсив Сартра. Этот отрывок цитируется по недописанной черновой странице; в это время писатель хотел обрисовать историю своего отношения к политике.

² Имеется в виду роман «Возраст зрелости», первый том цикла «Дороги свободы», увидевший свет в 1945 г.

ским годам, к лицу в Ла Рошели, первой мировой войне, когда он оказался среди осиротевших зверенышей, превративших его в козла отпущения.

Ему важно разобрать себя по косточкам, внимательно рассмотреть все эти недостатки, которые он, очутившись в уединении, может формулировать или обнаруживать, выявлять их причины — для того чтобы измениться; в противном случае — как же не усомниться в себе, когда наступит час схватки? Пока суд да дело и поскольку он не уверен, что обнаружит внутри себя ресурсы, необходимые для того, чтобы стать стоящим военным, он обращается к морали, которая была ему мила и прежде — морали стойков, и принимает типы поведения, которые она диктует. От стоицизма к подлинности, от криводушия,* которое он себе ставит в упрек, к криводушию, присущему всякой «человеческой-реальности»,** от сознания как нехватки к теории Ничто, от желания *держаться лишь самого себя* к философской концепции свободы, от морали бытия к морали действия — через эти дневники мы получаем доступ к самым истокам его будущих произведений. Философствовать и развиваться, писать «Возраст зрелости» и достичь возраста зрелости — один и тот же и один-единственный проект, который обретает очертания под эгидой смерти: физическое исчезновение возможно, но главное, что возможно исчезновение целого мира, в который он только что вошел как писатель, на который ему хотелось бы влиять, который хотел бы просвещать, оспаривать или обогащать своими идеями и собственным мироощущением. За его напряженным оптимизмом маячит тень абсолютного кошмара: замыкание Европы в нацистской идеологии, каковая военными успехами доказывала свою стойкость, нацификация умов; опять же его собственная смерть и обещание выживания в этом дневнике, сплаве человека и творения, которых вполне могло бы и не быть, разве что, может быть, неизвестно когда...

Но даже если Сартр рассматривает возможность поражения, он не связывает себя этой разрушительной гипотезой, оставляет ее в скобках, слишком уж она противоречит той миссии писательства, которая так влечет его с самого детства и которая временами приводит его в экстаз. Чувствуя свое бессилие, он хочет превратить это мертвое время в личный жизненный опыт, почти что в свой шанс, этот вынужденный разрыв с предыдущей жизнью — в освобожде-

ние, следуя в этом наказу стойков: не требуй того, чтобы все шло, как ты того желаешь, желай того, чтобы все шло так, как идет. Конечно же, овладение самим собой в качестве целостности через сознание представляет собой лишь направленность его воли, это не самоцель: его душевные переживания не даются интроспекции, повседневное «бытие-на-войне» властвует над его настроением, его чтением, его мыслями. Отнюдь не желая от этого абстрагироваться, он стремится передать коллективное ощущение странной войны, ибо в глубине души чувствует, что это «плоское и аморфное» настоящее представляет собой историческое событие. О том, что его окружает, — литература, хотя и обойденная молчанием, так или иначе присутствует в дневнике — он говорит как участник и как писатель, записывает свои повседневные и воинские дела, а также дела своих «приспешников», печальных помощников незримой войны, между двумя философскими пассажами включает их точки зрения на войну, их детские ссоры, беспросветную скуку их воскресений. Новости дня, радиовыступления Гитлера или Даладье вызывает в нем те же самые реакции, что и у его товарищей; он тоже пытается пить, чтобы заглушить в себе унижение — войну объявили, но никто не воюет — и крепнущее чувство морального поражения, предварявшее полный крах; иногда он надолго предоставляет слово кому-нибудь из этих товарищей. Сартр, писатель, который вычерчивает силовые линии своего творения, является также в этих дневниках обычным солдатом странной войны, оставляющим нам свое свидетельство.

Арлетта Элькаим-Сартр

Предуведомление

В своих письмах к Симоне де Бовуар Сартр часто говорит о дневниках. Мы приводим соответствующие места из этих писем или просто пересказываем их, чтобы нить его работы над собой и над романом, нить его размышлений, ведущая к трактату «Бытие и Ничто» не прерывалась. Читатель найдет эти дополнения в «Приложениях».

Отметим, что письма цитируются не по изданию С. де Бовуар (*Sartre J.-P. Lettres au Castor et à quelques autres. Gallimard, 1983*), а по рукописям, так как имевшиеся в них купюры лишены всякого смысла после публикации ее собственного «Военного дневника» и ее писем.

ДНЕВНИК I

Сентябрь—октябрь 1939

Мармутье—Иттенхайм—Брумат

Мармутье, четверг, 14 сентября 1939 г.¹

Забавное сочетание стоицизма и оптимизма. Оно встречается уже у стоиков, испытывающих потребность верить в то, что мир хорош. Это не столько теоретическое отношение, сколько психологическая конструкция. Еще одна хитрость самоуспокоения, еще одна ловушка неподлинности. Я отправился в армию «стойком», это предполагало, что мне пришлось, с одной стороны, перечеркнуть всю прошлую жизнь, а с другой — принять будущее, в котором собственных моих возможностей больше не существовало. «Битком набитого», как здесь говорят. Я принимал себя таким, но не отдавал себе отчета, что подобное положение подразумевало некую восторженную покорность в отношении военных властей, от которых я зависел. В силу того, что я всецело на них полагался, им доверял, я переставал быть «озлобленным человеком».² Объяснялось это, очевидно, тем, что я пошел на *свободную*

¹ Сартр, призванный в армию 2 сентября, прибыл в Мармутье (Нижний Рейн) 11 сентября.

² Это выражение, часто используемое Сартром в его работах, заимствовано у немецкого философа *Макса Шелера* (1874—1928); в книге «Человек озлобленный» (изд-во «Галлимар», 1933) он рассматривает ту роль, которую Ницше приписывает озлобленности в возникновении христианства.

отставку самого себя. Я терял свой критический настрой и уже в первые дни поймал себя на том, что меня неприятно задевает, когда в моем присутствии ругают офицеров. Ясно, что достославная позиция «нет» сама по себе подразумевает сомнение и сдержанность. Приятие, напротив, влечет за собой эту принципиальную восторженность, которая ненавистна мне больше всего на свете. Слишком озабоченный тем, чтобы быть честным в самом себе, для себя самого, то есть чтобы отбросить отчаяние и трусость, я не смог сделать выбор между «да» и «нет», не принял во внимание объективной ситуации. К счастью, жизнь свела меня с капралом Полем — он социалист, то есть из недовольных и сбитых с толку. Не из тех, кто говорит «нет», а из тех, кто сходит с ума, бесится, либо испытывая страх перед высшим командованием, либо поливая его грязью. В результате мне приоткрылось настоящее положение дел. Кроме того, глаза мне открыл ужасный переезд от Сантрея до Мармутье: на войне армия осталась той же, что и в мирное время. Итак, дело за тем, чтобы отделить приятие от восторга. Чем сейчас и занимаюсь. Необходимо увидеть объективную ситуацию.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО СТОИКА

Комичный все-таки эпизод — появление «битком набитого» типа в компании этих ловкачей, трусов, лодырей, среди которых один того и гляди подохнет от страха, другой только и думает о том, какую выгоду извлечь из ситуации, тогда как третьему наплевать на все, кроме стаканчика водки утром и вечером. Стоик понимает, что смешон, а потом и его захватывают все эти дела, он становится соучастником. Но если хорошенько подумать, то во мне уже было что-то такое, что в сущности оправдывает мое присоединение к этой группе. Я был стойком на скользкой почве. Мой стоицизм относился исключительно к утрате той жизни,

которую я вел до сих пор, не касаясь смертельного для меня риска. Я отправлялся в армию с твердым намерением вернуться и с самого начала полагал, что служба в метеорологическом отделении поможет мне выйти сухим из воды (в том, что касается нарядов, казармы и т. п.). Что заслужил, то и получил. Очутился среди тех, кто по сути думает так же, как я, правда, без всякой литературы и философской подливки из стоицизма. Они хотят спасти свою шкуру и по простоте души этого не скрывают. Я тоже хочу спасти свою шкуру, но вместе с тем мне хочется «открыть прения» — вот они, издержки профессии. Впрочем, не является ли эта стоическая поза, которую я принял, такой же психической защитой? В случае чего я был бы не тем «обнаженным» человеком, которым мне хотелось бы быть, а просто-напросто притеснителем, подвергая цензуре — чтобы поменьше страдать — свои гражданские воспоминания, дружбу, любовь, как другие подвергают цензуре свои сексуальные желания. Естественно, «цензура» здесь — символ. Речь идет об осознанной преграде. В самом деле, ясно, что страдаю я куда меньше, чем если бы то было добровольное страдание. Ясно также, что Польша, социалист, считает, в отличие от меня, что подлинность заключается в сетованиях и причитаниях, Он хочет оплакивать свою ситуацию, так как полагает, что, сокрушаясь, он охватывает ее полнее. Естественно, однако, что если бы он взялся анализировать свое поведение, то увидел бы, как вся его подлинность улетучится, ибо, сокрушаясь, он лишь оправдывает свои пессимистические наклонности.

МИР ВОЙНЫ

Я не видел войны, она кажется неуловимой, однако, я видел мир войны. Просто-напросто милитаризованный мир. Изменяется смысл всех вещей. Трактир стоит на своем месте, он по-прежнему наряжен и гос-

теприимен, но все его гостеприимство идет насмарку, то есть эта возможность сама собой разрушается, становится абсурдной. Трактир принимает гостей *в обмен на деньги*, он напоминает о буржуазной свободе — свободе, идущей от денег. Однако мир войны — это мир без денег и без свободы. Этот трактир реквизирован интендантской службой. В нем живут солдаты, которые не платят и не живут свободно. У того, кто читает на дверях трактира надпись «Интендантская служба», трактир обретает в мыслях новый смысл: смысл неоправданного принуждения. В то же самое время трактир становится чистым орудием — то есть, какова бы ни была прежняя ценность какой-то вещи, все делается для того, чтобы заставить ее служить исключительно необходимости. Миленькая комната, которая должна была *очаровывать* путешественника, служит исключительно *пристанищем* живущим в ней солдатам. Они там спят, но на соломе. Кровати выносят или на них никто не ложится. Таким образом, еще задолго до того, как бомба уничтожит изготовленную человеком вещь, уничтожается человеческий смысл вещи. На войне мы гуляем по миру, превращенному в орудие. В точности как в казарме. Правда, так как милые черты вещей сохраняются, от них все время исходит некий неясный зов исчезнувшего мира, перманентная иллюзия.

На войне расстояние от предметов до человека не такое, как в мирное время. Я это почувствовал в Арцвиллере: там была дубовая роща на красной скале, метрах в пятидесяти от дороги. Мы лежали на обочине, раздавленные тяжестью винтовок, вещмешков, шинелей, словно перевернутые на спину майские жуки. Мне бы хотелось — не то чтобы *пойти* в эту рощу, нет, просто подумать, что я мог бы туда пойти. Но подумать такое было невозможно. Это было вне моих возможностей. Пятидесяти метров хватило на то, чтобы сделать это место недостижимым. Оно превращается в чистую декорацию. Так и Мармутье не имеет для меня

окрестностей, поскольку я не могу это место покинуть. В этом мире войны есть дороги — трудные и серьезные, а еще декорации. Все дали, оказавшись вне моих возможностей, утрачивают всякую реальность. Что и выражают солдаты, говоря о каком-нибудь очаровательном пейзаже, милой деревне: «Надо будет побыть здесь, когда наступит мир».

Война — это социализм. Она сводит индивидуальную собственность человека к нулю и заменяет ее собственностью коллектива. Моя одежда, моя лежанка, мои продукты больше мне не принадлежат, у меня нет своего дома. Все, чем я пользуюсь, принадлежит коллективу. И я не могу ни к чему привязаться, ибо этот коллектив — как раз из-за своей коллективности — безличен. По правде говоря, для меня вступление в войну не знаменует упразднение моего личного имущества, поскольку у меня его никогда не было. У меня нет ни дома, ни мебели, ни книг, ни безделушек. Я ем в ресторане, у меня есть какая-то одежда, но только самое необходимое. Война, скорее, одарила меня массой принадлежащих коллективу орудий, с которыми мне нечего делать — каска, противогаз, ремень, башмаки, винтовка и т. п. Волей-неволей, я очутился в социализме. И излечился от него, если нужно было от него лечиться.

Все эти предметы-орудия отсылают к некоему первичному смыслу. Как на войне, так и в мирное время: молоток нужен для того, чтобы забивать гвозди, гвозди — для того, чтобы держать крышу и т. д. Но в мирное время последний смысл все время один и тот же: защита человеческой жизни. Последний смысл орудий во время войны — разрушение. Это очевидно и для пушки, и для винтовки. Но в мире войны поражает то, что все эти предметы, которые служили защите человека, остаются на своем месте, нетронутыми, но теперь их последний смысл — разрушение. Этот трактор, этот молоток, этот гвоздь, эта крыша по-прежнему служат для защиты, но защита не является больше

высшей целью. Сама защита здесь лишь для разрушения. Все это не какое-то логическое доказательство, но чувствуется по предметам, что является еще одной причиной сущностной двусмысленности предметов в военное время: предметы роскоши, которые становятся чистыми орудиями, сохраняя свой облик роскоши, предметы защиты, которые по-прежнему защищают, приобретая какой-то зловещий и тайный смысл разрушения.

Моя моральная неуверенность: в сущности я на войне, так как у меня есть мобилизационное предписание, — но и все. Остается моральное основание, ставшее необходимым благодаря моему желанию быть свободным, то есть возобладать над событиями. Для меня важно было сказать: «Я принимаю войну», как Барлеп из «Контрапункта»¹ заявляет: «Я принимаю мир». Я бродил на ощупь и отправился в армию, не будучи к этому готовым. В марте я говорил: «Гитлеризм предоставляет мне основание для борьбы». В сентябре 1939 г. я сказал: «Я переживаю и принимаю войну как холеру». Но это была ложная точка зрения, на что и указала мне Бобр.² Война — это не холера. Это человеческое дело, творимое свободными волями. Невозможно рассматривать ее как страшную болезнь, против которой поможет простой стоицизм. Так, причем я надеюсь на ее скорейшее завершение, я дохожу до того — как уже сказал выше, — что всецело полагаюсь на военных, как больной полагается на врача. Откуда и идет мерзость. В действительности же глубинная неуверенность в том, что касается моей позиции в отношении войны. Я был легкомысленным.

¹ Роман английского писателя *Олгоса Хакли* (1856—1925), французский перевод вышел в издательстве «Плон» в 1930 г.

² Напомним, что так друзья звали *Симону де Бовуар*.

Вдруг вспомнил о Зуорро¹ и о Гилле,² которые призваны, как и я. Чем они занимаются? До сих пор я думал лишь об Ароне³ — с иронией — и о Босте,⁴ поскольку он входит в «мой» мир. Моя неспособность осмыслять жизнь других и одновременность. Она мешает мне понять, что идет война — чуть повыше к Форбаху, и что немцы в сорока километрах. Как говорил тот малый в понедельник, я скорее на учениях, чем на войне. Существуют ли люди, которые могут «мыслить одновременное»⁵ по-настоящему? Эта Дама?⁶

¹ Сартр познакомился с *Марком Зуорро* в университетском городке, когда во второй раз готовился принять участие в конкурсе на получение ученой степени (1928—1929). Зуорро, уроженец Алжира, был другом Сартра, но не очень близким. Им навеяны некоторые черты образа Даниэля из романного цикла «Дороги свободы», над которым Сартр работал в это время.

² Речь идет о *Пьере Гилле*, однокашнике Сартра по Эколь Нормаль. Крепкая дружба, связывавшая их в первые годы, к этому времени ослабла.

³ *Раймон Арон* тоже учился вместе с Сартром; он, Гиль и Сартр жили в одной «берлоге» в Эколь Нормаль Сюперьер и составляли неразлучную троицу (после отъезда Поля Низана в Аден). Арон был военным инструктором своих товарищей.

⁴ *Жак-Лоран Бост* учился у Сартра в гаврском лицее; он стал другом Сартра, как и Симоны де Бовуар.

⁵ Тем не менее он попробует это сделать в «Возросте зрелости»; роман «Отсрочка», написанный три года спустя, будет систематически строиться на одновременности (симультанности): самые разные люди по всей Европе в ожидании войны проживают там нескончаемую неделю с 23 по 30 сентября 1938 г., которая завершается Мюнхенскими соглашениями.

⁶ Так называли г-жу *Морель*, подругу С. де Бовуар и Сартра, который давал частные уроки ее сыну. В юношеском романе «Поражение» выведены их отношения и любовные чувства, которые испытывал Сартр к «этой Даме» (см.: *Sartre J.-P. Ecrits de jeunesse* / Éd. établie par M. Contat et M. Rybalka. Gallimard, 1990).

Рассчитывать на других. Со мной такого никогда не случалось, думаю, что могу твердо об этом заявить. Мне было бы противно. И вот, теперь я здесь, меня ничто не беспокоит, и я задаюсь вопросом, взят ли Саарбрюккен. Что означает: мне хочется думать, что у верховного командования хватило ума, а у солдат на фронте — мужества, чтобы взять Саарбрюккен.¹ Мы недалеко ушли от тылового паскудства: преклонных лет дама, рассчитывающая на «наших бравых солдатешек» и радующаяся мысли, что находится под защитой.

Время от времени я чувствую себя свободным от необходимости копаться в чужом дерьме (Ванда² — Бьянка³), потому как объявляю, что сам по уши в дерьме (расплачиваясь собственной персоной), хотя как тут знать наверняка. Но в этом-то и заключается секрет моего теперешнего спокойствия.

Сильнее всего повлияла на мою теперешнюю позицию (хотя я и забыл ее в последнее время и заменил довольно глупой формулировкой: переживать войну как холеру) одна фраза Гилля: «Во время войны 14 года масса людей заботились только о том, чтобы вести себя

¹ В начале сентября французы заняли несколько деревень в Сааре. Как вспоминает главнокомандующий французскими вооруженными силами генерал *М. Гамелен* (1872—1958), который 12 сентября прекратил наступление, «продолжение нашего наступления не представлялось мне возможным, поскольку оно никоим образом не могло повлиять на события в Польше» (цит. по: *Reynaud Paul. Mémoires, Flammarion, 1963*). Тем не менее, артиллерийские перестрелки продолжались в этом районе вплоть до 16 октября.

² Младшая сестра *Ольги Козакевич*, бывшей ученицы *С. де Бовуар* в руанском лицее. Симона дает ей вымышленное имя «Таня» в своем издании писем Сартра, где фамилия обеих сестер — Зазулич. См.: *Sartre J.-P. Lettres au Castor et à quelques autres. Gallimard, 1983*.

³ *Бьянка Ламблен*, бывшая ученица *С. де Бовуар*, которая в «Письмах к Бобру...» называет ее «Луиза Ведрин». В то время она изучала философию.

как мужчины, например егерь из Ла Пуэз.¹ Эта формула удовлетворяла меня, так как она заменяла коллективные лозунги обязательством по отношению к самому себе. Однако Гилль — гуманист, и переселившаяся в меня фраза теряла свой смысл. Наверное, она легла в основу той мысли, с которой я отправился в армию, с которой по-прежнему живу — что война является авантюрой, которая восполнит мою судьбу. «Так я познаю, — думал я, как мальчишка, — безумие, страсть, искусство и войну». Благородный опыт, или считается таковым. Иной раз я представлял себе войну как главнейшее испытание моей мужской жизни. Потом должна прийти, если мне удастся выкарабкаться, мудрая умиротворенность. В основе такой концепции лежало, как всегда, мое предвзятое представление о жизни великих людей, которая включает в себе, по моему мнению, период испытания.² И я чуть-чуть рассчитывал на эту войну, чтобы компенсировать в своей судьбе легкий успех моего литературного дебюта, который (опять-таки согласно этому предвзятому представлению) с самого начала казался мне несколько сомнительным. Во всяком случае, была здесь идея человеческой судьбы (извлеченная из фразы Гилля и переименованная мной), к которой примешивалась идея судьбы великого человека (выработанная мною на основе давно прочитанных книг, то есть не на основе подлинной жизни Стендаля или Бодлера, а исходя из категорий, с помощью которых биографы представляют эту жизнь). Во всяком случае, эта идея судьбы укоренилась во мне: у меня есть судьба. Она помогает мне мистически воспринимать все, что со мной происходит, как необходимые этапы моего предназначения, сделать это слаще меду. И хотя я твержу и порой верю, что война отупляет того, кто в ней участвует, я все равно считаю

¹ Деревня возле Анжера, где у г-жи Морель был загородный дом.

² В «Словах» (изд-во «Галлимар», 1964) автор будет искать исток этого представления в своем раннем детстве. См. также «Дневник III».

ее источником опыта, то есть моего прогресса. Ведь идея прогресса, дополняющая идею судьбы, тоже сидит во мне. Что Бобр и называет моим оптимизмом.

В то же время, как только у меня появляется возможность писать, я спокоен и даже счастлив. Тогда я не изменяю своему гражданскому существованию, о котором Бобр говорила, что стоит мне приняться за работу, у меня уже нет понятия потерянного времени. Если я поработал, то могу туло провести часа три с какими-нибудь идиотами. Мне не жалко своей жизни. Вот почему комната г-жи Гро, где мы обитаем вчетвером, — или класс в школе Мармутье — вполне удовлетворяют меня в качестве декораций. И порой мне радостно при мысли, что через шесть месяцев такой жизни я закончу свой роман. В общем, мой стоицизм ничего мне не стоит.¹

Воскресенье, 17-е

МИР ВОЙНЫ

Человек — я хочу сказать, человек стадный. Собственная беспорядочность войны и двусмысленность природы война происходят из того, что к человеку относятся как к машине и — одновременно — как к психическому существу, восприимчивому к церемониалу.

1) *Как к машине*: подобно рабочему, солдат трудится. Но труд его непроизводителен. В конечном счете он нацелен на разрушение; если этот труд ничего не разрушает, то является лишь симуляцией — стрельба хо-

¹ В тот же день Сартр пишет С. де Бовуар: «Я спокоен, но это спокойствие не имеет под собой серьезных оснований, и я разбираюсь с собой в моей черной тетрадке. Тот, кто прочтет ее после моей смерти — ведь вы опубликуете ее посмертно — будет думать, что я был мерзким типом, если только вы не сделаете к ней доброжелательных и исчерпывающих примечаний» (*Lettres au Castor et à quelques autres*. Op. cit.).

лостыми патронами, учения, нескончаемые репетиции. С солдатского труда нет никакой прибыли, так как этот труд не производит *стоимости* в марксистском смысле слова. Это голое усилие. Солдата не эксплуатируют, но тем не менее в еще большей мере, чем рабочего, его содержат как машину. Чтобы он мог функционировать, надо просто-напросто обеспечить его самым необходимым. Одеждой, пропитанием, ночлегом. Откуда схематичный и концептуальный характер этих предметов, о чем я писал в четверг. Они созданы совсем не для того, чтобы нравиться, человеческая «церемония» на них не запечатлена, так как это всего лишь товары для поддержания существования. Ведь не будешь ваять уголь, чтобы машине понравилось. В то же время, как только речь заходит об использовании, к людям относятся как к материалу. Например, наше бесконечное перемещение из Сантрея в Мармутье совершенно абсурдно, если смотреть на него как на перемещение людей; напротив, оно будет в порядке вещей, если посмотреть на него как на перемещение материала. Мы протестовали, потому что нам пришлось ждать три с половиной часа — на ногах и навьюченными как ослы, притом что нас подняли в два часа ночи. Но причина лишь в том, что нам трудно было отказаться от привычки считать себя людьми. Предположим, что вместо нас были бы листы железа или бочки с вином — тогда все нормально, их складывают заранее, чтобы можно было погрузить в самый подходящий момент.

2) *Как к церемониальному существу.* Вчера на построении делали упор на «высоком значении отдания чести». Очевиден консервативный ход мысли: отдание чести существует как церемониал. Потом пытаются придать ему высокое значение. Идея де Местра* и Бональда.** Нас связывают церемониалом и муштрой, мы пленники воинских правил поведения. Солдаты в Вердене, которых муштровали во время передышек, чтобы «как следует держать в руках». В этом анализ Алена

оказался совершенно верным.¹ Очевидно, однако, что ему далеко до полноты. Двусмысленность заключается в том, что командование в своем представлении стадного человека без конца скачет от материала к церемониалу и от церемониала к материалу. И, естественно, вслед за командованием в своем представлении самого себя скачет и сам человек.

Из чего следует:

1) *полная потеря всякого человеческого достоинства*, что в принципе не так уж и плохо. Прежде всего потому, что у нас нет достоинства труда, поскольку наш труд не создает стоимости. Он является либо разрушительным, либо лишь комедией труда. Военский труд не доставляет никакой радости, ибо его глубинный смысл заключается в ничто и смерти. То есть человек не может спастись идеей труда. В то же самое время по мере того, как он позволяет относиться к себе как к машине, он подвергается унижению — совсем как тот мазохист, который платит шлюхе за то, чтобы та обращалась с ним как с половой тряпкой, вставая к нему на живот и вытирая об него ноги. Однако наша машинная нагота — это нагота человеческая, униженная нагота. Например, мы вынуждены кучкой справлять нужду. Но это опорожнение машин является унижением для человека. Откуда характерное похабство — все пердят и рыгают среди бела дня. Питер пёрнет и бросит с безразличием: «пардон». Потому что это может смутить других. Но он ничуть не смущен проявлением своей слабости. Разве вчера он не срал рядом со мной? По отношению друг к другу мы находимся в состоянии постоянной наготы. Но это не наго-

¹ В 20-е годы Сартр прочел книгу Алена «Марс, или Война под судом» (1921). Исходя из ужасающей реальности войны 1914 года, в которой ему довелось принять участие, Ален, убежденный пацифист, анализировал в этой работе все аспекты воинского духа и «заразительный ритм» войны, питая надежду «демонстрифицировать ее фатализм».

та атлета, а нагота улитки или слизня. Нагота-слабость — слюнявая и непристойная. Когда к этому привыкаешь, непристойность полностью исчезает. И не надейтесь спастись возвышенным, воспаряя в мир духа: мир духа ждет вас, он тщательно подготовлен; это мир муштры и церемониала, отдания чести и команды «на караул», сакральный мир. В конечном итоге видно, что здесь в ходу пресловутый человек О. Конта* и социологов, физиологическое + социальное. То есть человек стадный.

2) *Одиночество без уединения*. Мы одиноки, поскольку у каждого своя жизнь, каждый на вершине пирамиды, все в нем воспоминания и прошлое. Это не так для молодых солдат, зато совершенно верно для резервистов — нет ни одного, кто не был бы отделен от других своей гражданской жизнью, которую он тащит за собой тяжким бременем. Но в то же самое время каждый человек осажден всеми другими. Он сталкивается с ними повсюду, рядом с ними работает, они окружают его в туалете, в казарме, где спят и храпят. Человечность здесь представляет собой замкнутую на себе среду, которая душит человека. Для него нигде нет «querencia»,¹ излюбленного уголка, где он мог бы уединиться хотя бы на минуту. Полы, стены, кровати, столы — все вокруг является коллективной собственностью, и коллектив всегда вокруг тебя. Человек повсюду чувствует, что его видят, разглядывают, слушают — впрочем, без особого внимания, — повсюду человека изводят в его одиночестве и препятствуют тому, чтобы одиночество стало позитивным источником какой-то пользы или каких-то замыслов. Оно остается всего-навсего негативной переменной обстановки, которую человеку трудно со всей

¹ Испанский термин из области тавромахии: это место на арене, где бык лучше всего себя чувствует. У Сартра была слабость к этому слову, которое он позаимствовал у Хемингуэя; он часто употреблял его в речи и в своих работах.

ясностью осознать. Одиночество прикрито отсутствием уединения. Люди не могут отступить друг от друга ни на шаг.

3) *Ожидание и утрата собственных возможностей.* Как говорит Хайдеггер, человеческую реальность¹ характеризует то, что у нее есть собственные возможности. Де Руле² заметил в своей «Болезни», что больной превращается в вещь по мере того, как у него отнимают его собственные возможности, когда он начинает зависеть от воли других. Солдат во многом похож на больного: он тоже страдает овеществлением. У него нет больше собственных возможностей, он ждет. Но это ожидание весьма своеобразное — военное. Обычно тот, кто ожидает, ждет чего-нибудь от другого, но также — *от себя*. Солдат от другого ничего не ждет. Это пассивное ожидание, которое характеризуется весьма показательным обликом военного — деревянное лицо, пустые глаза — представляет собой медленное превращение в вещь. К тому же оно сопровождается внутренним безмолвием. Безмолвием, которое конечно же доставило бы удовольствие Брису Парену.³

¹ Человеческая реальность, подлинность, собственные возможности, историчность, орудийность и т. п. — термины Хайдеггера (в переводе Анри Корбена), в изобилии присутствующие в дневниках. Похоже, что Сартр подвергает их своего рода испытанию, чтобы глубже усвоить. С философией Хайдеггера он познакомился совсем недавно, уже после знакомства с философией Гуссерля, и, возможно, не вполне с нею освоился. См. в «Дневнике XI» историю его встречи с идеями этих двух философов.

² *Лионель де Руле*, который учился у Сартра в Гавре, заболел туберкулезом, описал свой опыт болезни и пребывание в санатории. По утверждению С. де Бовуар, его записки были положены в основу эпизода перевозки больных в романе «Отсрочка» (ср.: *Beauvoir S. de. La force de l'âge*, 1960, p. 358, coll. Folio, Gallimard).

³ *Брис Парен* (1897—1971) работал тогда в издательстве «НРФ»; он опубликовал книги «Опыт о нищете человеческой» и «Возвращение к Франции» (*Essai sur la misère humaine*, 1934 et *Retour à la France*, 1936, Grasset), в которых размышлял о языке. Позднее Сартр напишет о нем большую статью. См.: *Sartre J.-P. «Aller et retour», in Situations*, 1. Gallimard, 1947.

4) *Беззаботность*. Если то обстоятельство, что человеческая реальность существует своими возможностями, называется, как того хочет Хайдеггер, заботой, то военная беззаботность является утратой озабоченности, то есть обезчеловечиванием. Эту беззаботность следует сопоставить с беззаботностью туберкулезников, о которой рассказывал Лионель. Это своего рода невинность вещей. Чем больше возможностей, тем больше беспокойства. По правде говоря, резервисты защищены от этой беззаботности своими *жизнями*. Но она мало-помалу разъедает их жизнь. Их жизнь в прошлом. Коль скоро жены и дети находятся в безопасности — и поскольку потом их снова возьмут на завод или в торговые дома, — вся жизнь резервистов в прошлом, все их заботы в прошлом. То, чего они ожидали, им уже не ждать, само ожидание утратило свой смысл. Так что их вступление в военную жизнь напоминает смерть, поскольку оно сопровождается оскудением жизни, которая утратила свой смысл и пребывает в подвешенном состоянии, в полном абсурде. В чем проглядывает подспудное и лишенное героизма предуготовление к настоящей смерти. Вспомним героев Фолкнера («Ad astra»¹), которые вернулись с войны и которые тем не менее на войне умерли. Жизнь в настоящем с минимальным продолжением. Нет даже продолжения в духе яств земных по Жиду,^{*} поскольку свободному человеку трудно представить, что есть какая-то гора, на которую он не сможет взобраться. Тогда как для военного, который живет одним мгновением, гора является чем-то мертвым, декорацией.

5) *Сакральное*. Этот мир не лишен религиозности, поскольку отобранные у нас возможности все равно существуют. Правда, это возможности-вещи, то есть они не существуют в движении нашей свободы, они

¹ Рассказ «Ad astra» входит в состав книги новелл Фолкнера, озаглавленной во французском переводе «Тринадцать историй» (изд-во «Галлимар», 1939).

лишь *представлены*, витают перед нами, оставаясь недостижимыми, а мы их ждем. Что, естественно, ведет к фатализму и идолопоклонству. К тому же возможности воплощаются людьми, офицерами, которые утратили свой индивидуальный человеческий характер, превратившись в чистые отблески возможностей. Взять капитана — это прежде всего возможность вас перемещать, вами командовать, засадить вас на гауптвахту. И если рискнуть обрисовать его психологию, то это будет сакральная психология, которая нацелена исключительно на то, чтобы через опыт определить тот способ, при помощи которого он будет использовать *наши* возможности. «Отличный малый», — это значит, что он блистает куда меньше кого-то другого в возможности засадить нас на гауптвахту. Прибавьте к этому форму, ритуальный церемониал и весьма своеобразное табу: запрет на прикосновение. Нельзя касаться своего командира. Я сам много раз ощущал сакральность наших офицеров, в особенности в период моего восторженного оптимизма. Я бесился, но ничего нельзя было поделать. Теперь не так. Но они остаются для меня низколобыми, упертыми и зловредными чародеями.

б) *Весьма своеобразное товарищество*. Никакой индивидуальной дружбы. Никакого выбора. Во время общения в кафе, на улице любопытство и симпатии обращены к *солдату*, к человеку служивому: «Откуда ты, где служишь, где твоя часть? и т. п.». Возмущение и жалость вызывает то, что произошло с *человеком*. Его лицо с трудом припоминают, до этого нет никакого дела. В этой жизни сообща у каждого есть свои секреты. У каждого есть свои родные места, о которых не принято говорить — разве что когда затоскуешь или дашь волю чувствам — но общение идет через обнаженность и человеческие слабости. Связи завязываются через естественные потребности, грыжевой бандаж, запах, храп и т. п. Гуманизм тела, довольно близкий к гуманизму немцев. К тому же связь со-

общничества и сиюминутной сплоченности. А потом взрывы всеобщего беззаботного веселья. Безмолвное и беспардонное товарищество. Разговаривать совсем не обязательно, ведь никто не выбирал себе компанию.

Россия оккупирует Польшу.¹ Узнаю об этом в 5 часов от Поля, который приносит и письма (Бобр, Ванда). Настоящая тоска. Я принимаю войну, лишь думая, что победа будет за нами. Кажется, что я незаметно убедил себя в том, что она закончится через год и без всяких изменений. Моя прошлая жизнь прицепилась ко мне как парша. Я согласился оставить ее без сожаления лишь потому, что надеялся обрести ее в прежнем виде. Письмо Ванды меня растрогало. Но я по-прежнему думаю, что она не будет меня ждать до конца. Но мне будет поспокойнее, если я смогу перетащить ее в Париж.² Уж лучше пусть она будет неверна, чем несчастлива. В общем, сентиментальный выдался денек. Давно со мной такого не бывало. Если точнее, то с прошлого понедельника, когда я был мрачнее тучи. Потрясен письмами Бобра. Создается впечатление, что мне здесь полегче. Я злюсь на себя, что не могу страдать вместе с ней и ради нее. Мне кажется, что я краду у нее каждую минуту своей беззаботности. Вряд ли стоит и дальше думать, что собственного дерьма достаточно, чтобы не лезть в чужое.

Понедельник, 18-е

Объявления о мобилизации висят так давно, что ветер и дождь изорвал их в клочья, и эти пожелтевшие и мокрые обрывки валяются в деревне по всем канавам.

¹ В соответствии с секретным протоколом советско-германского договора о ненападении, подписанного 23 августа 1939 г. и наметившего зоны влияния обеих сторон, в частности в Польше, «в случае территориально-политических перемен».

² Ванда живет у своих родителей в Эгле.

Сегодня нет зондирования. Трое моих приспешников скучают. Петер: «Бог ты мой, чем бы заняться?». Келлер сел возле меня, руки в боки: «Ну и скукотища». Легкое чувство превосходства, поскольку мне ничуть не скучно. Чувство превосходства и в отношении Жерасси,¹ который, по словам Бобра, чувствует себя героем, так как снова начал рисовать. Короче, довольно несимпатичное самолюбование.

Будучи скорее нечистоплотным в быту, с начала мобилизации я тщательно умываюсь, бреюсь, чищу зубы. Чтобы быть похожим на Стендаля, который ежедневно брился во время отступления из России. Доброй воли мне не занимать, но она все время украдкой выискивает себе образцы для подражания.

Начал читать дневник Жида.² С августа 1914. Чтение в общем утешительное. Сперва я был подавлен, читая от августа до сентября, от сентября до октября. Сколько прожитых один за другим дней. Я воспринимаю его военные будни заодно со своими. И вдруг мой запас дней исчерпан, а у Жида еще четыре с половиной года. Ошеломляюще. Но мало-помалу общение с умом «моего склада» возвращает мне своего рода легкость

¹ Художник Фернандо Жерасси, с которым Сартр познакомился десятью годами ранее, участвовал в войне в Испании на стороне республиканцев. Образ Гомеса в романе «Дороги свободы» многим ему обязан. (См.: *Beauvoir S. de. Memoires d'une jeune fille rangée, 1958 et La Force de l'âge. Gallimard, 1960*).

² У Сартра под рукой было первое полное издание «Дневника», завершившегося 26 января 1939 г. (*Gide A. Journal, Bibl. De la Pleiade, Gallimard*). За несколько дней до начала войны Сартр принял предложение принять участие в специальном номере «НРФ», который предполагалось посвятить семидесятилетию Андре Жида. Он должен был написать о его «Дневнике» и о том, «что вообще означает жанр личного дневника». Обстоятельства сложились так, что Ж. Полан, главный редактор «НРФ», вынужден был отказаться от этой идеи, но Сартр, который еще больше заинтересовался проблемами личного дневника с того момента, как стал вести свой, не оставляет мысли написать задуманную статью (см. письмо к Бобру от 14 октября 1939 г. *Op. cit.*).

мысли, которую я определенно утратил 1 сентября. Опять же это ободряющее трюкачество: отождествляя мою войну с его войной, поскольку кое-какие эпизоды и размышления меня к тому побуждают, я превращаю это неясное неведомое, бесформенное будущее в нечто уже пережитое, что имеет некое *после*. Одним махом придаю этому огромному миру настоящего, в котором коснею, некий горизонт «того, что будет после», и вот я уже помаленьку проживаю этот день ради того, чем он станет с точки зрения этого после.

Постоянные усилия Жида, направленные на то, чтобы перенести на себя военные страдания, сконцентрировать на них свои мысли. Пустые, впрочем, медитации, нацеленные не на что иное, как на эту пустоту — ведь было бы грехом извлечь из этого выгоду, пусть даже и умственную. Состояние религиозного причастия. Для него это долг — чтобы его мысль терзалась наваждением войны. Мой долг в другом, проще простого: держать мысль в бдении. Мыслить, а не медитировать. Коль скоро он человек гражданский, его долг в том, чтобы быть причастным к другим. Коль скоро я ношу военную форму, то мой долг — ясно мыслить. И мне позволено действовать в одиночку. Прекрасно, но как бы я себе это позволил, если бы был на *фронте*, а не в Мармутье. Впрочем, именно там было бы похвально им воспользоваться.

Вчера легкое чувство собственной значимости, так как Бобр считает, что я нахожусь в опасности. Нечто вроде: «Ну! ну! Может так когда-нибудь и будет» и т. п.

Призрачная война. В духе Кафки.¹ Мне никак не удается ее *почувствовать*, она от меня ускользает.

¹ Сартр прибыл в Мармутье, находясь под сильным впечатлением от творчества Кафки: 2 сентября, в эшелоне с призывниками, который замысловатыми путями вез его от Восточного вокзала к казарме в Эссе-лес-Нанси, он прочел «Процесс» и «В исправитель-

В сводках не говорится о наших потерях. Я не видел раненых. Сержант Ноден рассказывал вчера о том, что есть отравленные газом, другие это отрицают. Несколько лаконичных сообщений. Немцы не вступили на нашу землю, в тылу не бомбят. Военные операции сосредоточены в очень узком секторе. Солдатам из Мармутье война несет большую свободу в отношении начальства, то есть они становятся чуть более похожи на гражданских. Чтобы почувствовать войну, мне надо получать письма от Бобра. Вот она, Бобр, на войне, а я — нет. Мне думается, что такое впечатление у многих солдат. Возможно, это следствие какой-то тактики немцев: держать линию фронта на Западе. Закончить войну на Востоке, а потом предложить нам мир. Возможно, мы вдруг узнаем *настоящую* войну, когда их мирные предложения будут отклонены.

Сегодня чуть больше оптимизма касательно позиций русских. Хочется думать, что их вступление в Польшу является своего рода предохранительной мерой или тактикой шантажа, направленной *против* немцев.¹ Вчера капрал Поль уныло заметил: «Коль скоро в игру вступают русские, нам не остается ничего другого, как согласиться на любой мир».

ной колонии»; у него был с собой и «Замок», который он читал в Сантрее, в Мерт-э-Мозеле, где он находился несколько дней, уже в окружении трех своих «приспешников» из метеоотделения — Петера, Келлера и капрала Поля — которых потом он будет называть своими «помощниками» в память о двусмысленных Помощниках землемера К. в «Замке». Систематическое чтение Кафки в этот период объясняется тем, что Сартр обещал написать статью об этом писателе для антифашистского журнала левого толка «Ле Волонтер», который стал выходить сразу после мюнхенских событий под руководством Рено де Жувенеля и Филиппа Ламура (журнал прекратит свое существование еще до окончания войны).

¹ Сартр верно понимает намерения немцев: «мирное наступление» не за горами. Но он, как и все тогда, не знает, что вторжение Красной армии в Польшу происходит в соответствии с секретным протоколом советско-германского пакта и не направлено против Германии.

Опять злоключения стойка. Расставшись 2 сентября с Бобром, я отправился на нечто более тяжкое и нечто более завидное, чем эта покойная заурядность. Теперь она и мне передается, я разлагаюсь.

В общем, типично буржуазная позиция: я смиряюсь с войной, но хочу, если мне удастся выкарабкаться, вернуться к своей довоенной жизни. Разве не такой была позиция мюнхенцев, которые готовы смириться с войной, но не со смертью капитализма?

Прочел в «Пари-суар», что Жионо арестован за по-раженчество.¹

Вторник, 19-е

Ощущение призрачности войны у других. Старший сержант говорит задумчиво: «Чудное, однако, состоя-ние войны». Подумав минуту: «Это политическая вой-на».

Есть люди, оказавшиеся слишком молодыми для одной войны и слишком старыми для другой (1870—1914); что до меня, то я был слишком молод после пер-вой войны и боюсь, что буду слишком стар после этой. Читая страницы «Дневника» Жида, посвященные Мон-терлану* или Дриё,** я жалею, что не был их ровесни-ком в 22-м году.² И сразу же вспоминаю о маленьком баре «Эскадрилья», воплощающем для меня весь этот

¹ Французский писатель Жан Жионо (1895—1970), проявляя свои пацифистские убеждения, подписал листовку анархиста Луи Лекуана «Немедленный мир!», распространявшуюся в начале сен-тября 1939 г. 16 сентября, когда Жиона прибыл на призывной пункт в Марселе, он был немедленно арестован и заключен в тюрьму, от-куда был освобожден через два месяца.

² В 1922 г. Сартру было семнадцать, Монтерлану — двадцать семь, Дриё — двадцать девять.

период, все эти «послевоенные годы», о которых я знал лишь понаслышке и которые остались для меня «золотым веком». В 194... я буду слишком стар для того, чтобы узнать хмель перемен, если, правда, что-то изменится; дело не в тех годах, что за моими плечами, дело в том, что у меня есть своя жизнь, я сформировавшийся человек. Отрицания настоящего момента и все эти преобразования, которые я в себе наблюдаю, происходят внутри этой жизни. Бобр, Ванда, Бьянка, мой роман — вот мои точки опоры. И если даже я пытаюсь подготовиться к смерти, то подготовка все равно идет внутри этой жизни. Послевоенное время — это не умереть, а рассеяться как туман среди моей жизни, позволить ей полностью опустошиться, исторгнув меня. Даже наоборот: наверное, я буду по-прежнему жить, а моя жизнь вокруг меня будет изглаживаться. В моем возрасте легче смириться со смертью, чем с уничтожением своей жизни.

Кажется, что Сталин заодно с Гитлером.¹

5 часов. В соседнем доме орет радио, сейчас будет говорить Гитлер. Я пишу свой роман, сидя в большом классе школы для мальчиков и слышу «хайль» ревущей немецкой толпы. Эльзасские солдаты спешат послушать Фюрера.²

Весь этот период моей молодости и зрелости, о котором мне думалось, что он захватит и мою старость, и что он превзойдет старость, чтобы продолжиться на долгое время и после меня, в настоящий момент зажат

¹ В этот день Сартр узнал о произошедшей накануне встрече немецких и советских войск в Брест-Литовске.

² В этот день Гитлер произнес речь в мэрии Данцига: превозносил собственные победы в Польше, которые, как он полагал, делали продолжение войны бессмысленным: «Я испытываю искренние симпатии к французским парням, которые не очень хорошо понимают, за что они должны сражаться» (цит. по: *Shirer. Le Troisième Reich*. Stock, 1961).

между двумя войнами, уже принадлежит истории. У него были начало и конец. Он казался мне чем-то абсолютным, словно воздух, который необходим для жизни. Теперь я смотрю на него со стороны, выношу его на суд и удивляюсь его внезапно открывшейся относительности: то есть я мог бы жить иначе, без него. Я сбросил его, как старую кожу. Со мной уже было такое, когда я смог судить о Париже, проведя год в Берлине.¹ Париж был воздухом моего времени. А когда я вернулся из Берлина, он стал всего лишь одним из многих городов. Моим любимым, конечно же, но я мог судить о нем извне. Эпоха «между двумя войнами» — это уже вещь. С этой точки зрения такие явления, как сюрреализм, пацифизм и т. п., переставая быть зарей чего-то нового, оказываются лишь обусловленными своим временем и призванными исчезнуть вместе с ним идеологиями. Они потеряли свои горизонты. Мне представляется, что эпоха присутствует только тогда, когда у нее есть горизонты. Уходит, когда их теряет.

Фронтовик, пехотинец должен научиться смотреть смерти в лицо, что до меня, то я должен смотреть в лицо выживанию.

Среда, 20-е

8 часов утра: золотая пора. Небольшой туман, прекрасное, легкое сентябрьское небо. Ниппер, который срет рядом со мной, встает, пошуршав бумагой, и говорит, застегивая штаны: «Хорошая погодка!». Помолчав, добавляет тем же тоном: «Впечатляет».

Перед лицом всей этой военной неразберихи — две концепции войны и армии. Одна — оптимистическая, я пытался придерживаться ее в первые дни, хотя она

¹ В 1933/1934 учебном году.

представляется мне весьма метафизической: как и в физике, есть тут статистический порядок для больших масс и молекулярная неопределенность, вторая представляется мне более истинной: повсюду царит непредвиденность и беспорядок. «Я все больше и больше убеждаюсь в том, — пишет Жид 25 октября 1916 г., — что все эти стратегические вопросы, из которых делают такую великую тайну и для решения которых, как считается, необходимы какие-то необычайно специальные познания, являются вопросами доброго здравого смысла, решить которые зачастую куда успешнее может обыкновенный здравомыслящий, сообразительный, прямой и легкий на подъем человек, чем куча старых генералов». Ни одно гражданское начинание, даже из тех, что идут прахом, не потерпят подобного безобразия, такого нерадения. Ни один орган управления, даже из самых закосневших, не отравлен подобной бюрократией. Когда я хочу быть беспристрастным, то говорю себе, что мы наверняка оказались в дрянной части и что наступление на Саарском фронте ведется по всем правилам. Но что об этом известно? По трем строчкам ежедневной сводки трудно что-либо понять.

Забавный военный беспорядок, который является *противоположностью* анархии и происходит из-за того, что приказы передаются со всей строгостью, переходя через все уровни иерархии, от высшего командования до капралов. Различные приказы никогда не *складываются* в нечто целое: они накладываются друг на друга.

Жид, 1 июня 1918 г.: «Временами я с ужасом думаю, что победа, которой мы от всего сердца хотим для Франции, является победой прошлого над будущим».

Капитан Ле Мор командиру взвода Тибо: «Послушайте, старина, в нашем деле прежде чем выполнить

какой-то приказ, следует подождать, чтобы убедиться, не отменят ли его».

Смешить солдат письмами своей жены. Толстяк Тибо получает письмо. Закатывается хохотом: «Послушайте, что она мне пишет: Вот уже полмесяца, как ты уехал. Надеюсь, что на следующей неделе ты получишь отпуск». Все гогочут. Комвзвода, ободренный успехом, продолжает: «А вот еще: целых два дня не получала от тебя писем. Почта и на самом деле плохо работает». Два дня! Солдаты, недели две, а то и три не получавшие никаких весточек из дома, бурно веселятся и чуть ли не хором выдают: «Ох уж эти женщины. Женщины и война. Война глазами женщин». Толстяк-комвзвода задыхается от смеха. Но через час, уже в другой обстановке, когда разговор касается задержек почты, он заявляет с серьезным и оскорбленным видом: «Жена пишет, что больше недели не получала от меня писем».

Поль, малый без руля и без ветрил, всецело подчиняющийся любым распоряжениям, получая письма от жены, вмиг становится придирой и занудой. Позавчера сухо и неодобрительно заявляет: «Моя жена просто чудо, хочет вернуть сына в Бар-ле-Дюк. Я категорически против». На какое-то мгновение в человеке проглядывает отец семейства со своими правами.

Мысль, которую я слышал множество раз (в частности из уст Петера): «Если бы только жена, то мне было бы все равно, но есть еще мальчишка». Возникает впечатление, что многие из них оставили дома никудышные семьи и греют себя мыслями о детях.

Из-за пассивной обороны дома тщательно укрыты, лишь сквозь ставни просачивается голубоватый огонек, какой-то призрачный свет. В деревне при свете луны они обретают уютный вид. Усиливается различие между внутренностью и наружностью. Обычно дома

выставляют наружу свой свет, падающий в воздухе неясными пятнами на дорогу. Теперь они его прячут, дома скрываются внутри себя. Со всех сторон их обступает природа, и они кажутся очень поэтичными, немножко таинственными; влекут к себе, возникает желание узнать, что же происходит внутри.

Четверг, 21-е

Эти трое не в состоянии примириться с уединением. Стоит одному отказаться что-нибудь делать, двое других сразу говорят: «Мы тоже не будем этого делать». Утром я встал побыстрее, чтобы позавтракать в одиночестве. Знал, что если хотя бы полчаса побуду один, то окажусь в приятном и поэтичном расположении духа. Но вся закавыка как раз в том, чтобы заполучить себе одиночество. Увидев, что я встал, капрал Поль тоже поторопился подняться. К счастью, я его обогнал, он еще не успел надеть ботинки, а я уже был готов. Он лишь бросил мне вслед: «Встретимся в кафе». Пошел один. Причем так быстро, что в спешке навернутые обмотки стали сползать на ботинки. Когда пришел в трактир, вид у них был довольно жалкий. Там случилось это мгновение, которого я ожидал и которое кажется мне таким необыкновенным. Мне трудно назвать его экстазом или сожалением. Это своего рода счастливая и поэтичная ностальгия по необходимому и великому. Ностальгия, так как величие и красота (как необходимость в ходе жизни) все время *по ту сторону* того, что меня окружает. Счастье, так как это все же созерцательное состояние. Хорошо, если поблизости имеется проигрыватель. Но так как я не слышал музыки с 1 сентября и так как от музыки я тоже отгорожен, довольно было и того, что солдат за соседним столом стал напевать какой-то фокстрот, причем весьма безобразным голосом. В этом переживаемом мной состоянии возникает бессловесное впечатление,

что теперь я лишен величия и красоты, но из-за того, что так сильно хочу их, я их заслуживаю, и что наступит день, когда я их добьюсь. Само собой разумеется, что слов таких не бывает, все это проглядывает по ту сторону окружающих меня вещей, но из самих этих вещей не исходит. А когда все исчезает, то не знаю просто, что сказать. Должен признаться, что это впечатление всегда появляется на фоне дурного вкуса. Музыка, которая обычно его подготавливает, никуда не дышит. А сегодня утром я прочел в швейцарском журнале сентиментальную до глупости новеллу, которая выводила меня из себя, пока я ее читал. Я никогда не скрываю от себя, что сентиментальный гумус, на котором развивается это столь дорогое для меня впечатление, ничего не стоит. Но я не думаю, что ценность самого состояния от этого как-то зависит. В такие моменты я ощущаю себя *поэтичным*, хотя это состояние покоя, а не творчества — вроде прозрения (за вычетом преисполненности). Не будь это слово столь смешным, я бы сказал, что ощущаю себя *благоухающим*.

Нам только что прочли лекцию о новых немецких минах. Работают на растяжках. Устройство, отделяющее взрыватель от заряда, привязано тонкой бечевкой к какому-нибудь лежащему на земле предмету — биноклю, лопате, заступу и т. п. Поднимаешь «желанный предмет» — взрыв. То есть нам советовали на поле боя ни к чему не прикасаться. Я все время не мог отделаться от впечатления, что мы словно малые дети, которым объясняют, что нельзя поднимать или есть валяющиеся на дороге конфеты.

Schadenfreude,¹ с которым я наблюдаю разложение французской коммунистической партии. Причина в том, что эта партия, не будучи на самом деле чем-то

¹ Злорадство (нем.).

действительно замечательным, замечательно меня смущала. Было время, когда я кокетничал с ней. Потом честно отошел от нее, но меня мучили угрызения совести. В общем и целом я был согласен не быть коммунистом лишь потому, что мог быть *левее*, чем коммунизм. Разговор с Бьянкой. Она: «В общем, ни у тебя, ни у меня не хватает мужества быть коммунистом». Это мое больное место, и я отвечаю: «Это так, но, с другой стороны, наша компартия не представляет собой что-то такое, чтобы нам *надлежало* иметь это мужество».¹ Тем не менее, оправдавшись в собственных глазах за недостаток мужества, я его таки в себе не нашел. И мне кажется, когда я вижу, как уничтожает и марает себя эта партия,² что тут не было никакой проблемы, что мужества от меня домогалась лишь какая-то видимость. Но это совсем не так. Что бы там ни случилось с компартией, было время, когда от меня требовался выбор, и я выбрал «против». Опять же коммунизм — это не марксизм.³

Келлеру пришло три письма — первые с момента мобилизации. Он с недоверчивым видом засовывает их в карман, как бы из жадности, чтобы прочитать их одному, идет в угол. Отойдя чуть в сторону, вынимает письма из кармана и до того, как распечатать, долго принюхивается к конвертам, разглядывает печати, да-

¹ Сартр использует этот диалог в романе «Возраст зрелости» (глава VIII).

² Из ежедневной прессы Сартр узнает о многочисленных отставках политиков-коммунистов: депутатов, мэров и т. п. Напомним, что после советско-германского пакта, оправданного партийными инстанциями, коммунисты переживают идеологический и моральный разброд. ФКП не сочла нужным изменить свою позицию даже 17 сентября, когда советские войска вошли в Польшу. Через пять дней было принято постановление о роспуске компартии.

³ Перед Сартром еще долгое время будет вставать вопрос этой невозможной и морально необходимой принадлежности к компартии — как в плане действия («попутничество»), так и в плане философии (критика современного марксизма).

ты, почерк. Только минут через пятнадцать решается открыть. Мгновение спустя смеется и говорит, обращаясь ко мне: «Жена воюет с соседом. Его призвали вместе со мной, а через четыре дня отпустили домой, теперь он целыми днями распевает».

Пятница, 22-е

Дневник Даби: вопли. Риторические вопросы. Муть, пустота. «Люблю жить, но не очень сильно стремлюсь узнать, почему, наблюдать за собой, себя анализировать». Немножко напоминает дневник Колетт Х.¹ Ослепительная мерзость невинных душ. Ирония судьбы: он так боялся войны, а умер от скарлатины, теперь я, его читатель, переживаю *его* войну, читая его дневник.²

Об абсурдной неукоснительности приказов и беспорядке, который из нее проистекает: нам нужен барометр, и полковник повсюду его ищет. В конце концов говорит капралу Полю: «Есть приказ на реквизиции, то есть мы не имеем никакого права заполучить барометр как-то иначе. Захоти кто предложить нам барометр, придется отказаться».

Психология Жюля Ренара* и Ларошфуко,** литературные слабости Даби, самолюбование Жида — не в том дело, что во мне этого нет, а в том, что я все это в себе подавляю. Я имею в виду не только то, что мас-

¹ С которой у Сартра был роман несколько месяцев назад. С. де Бовуар называет ее в своем издании писем Сартра «Мартиной Броден».

² *Эжен Даби* (1898—1936), французский писатель, автор романов «Гостиница „Север“» (1929) и «Боль жизни» (1939). Его дневник, охватывающий период с 1928 г. до смерти писателя, вышел в 1939 г. в издательстве «Галлимар». Сартр наверняка прочел отрывки этого дневника, печатавшиеся в различных журналах, прежде чем попросить полное его издание в письме к С. де Бовуар от 12 сентября 1939 г.

кирую все это, но и то, что из гордыни это в себе искореняю. Мне все время кажется, что достаточно не обращать на это внимания, как все исчезнет словно безжизненный призрак. Эта психология, эти слабости и сомолюбование питаются вниманием, с которым к ним относятся. Но страсть к гордыне, толкающая меня к тому, чтобы ограждать от всего этого, отвергать, так сильна, что я смотрю на них абстрактно. Случается, я говорю себе с удовлетворением, что избавлен от этого пласта человечности — так как хочу жить в ином плане и так как меня интересует другая психология, психология свободы. Бывает, правда, я задаюсь вопросом, совпадают ли отрицание и упразднение, хотя, полагаю, эти сомнения необоснованны. Они исходят из иллюзии, что существует *природная* человечность. Но ведь все эти абстрактные призраки, которые проплывают поверх моей истинной жизни, и позволяют мне писать романы. Для того чтобы выстроить психологию персонажей, мне остается заполнить эти оболочки.

Вычитал в сегодняшних газетах одну из этих формулировок, на которые французы настоящие мастера: «На фронте период *стратегического выжидания*». (Смотри формулировки 1914 г., приведенные Жидом: поглощаемая Францией немецкая армия). В противовес тому — речь Даладье. Я ее не слышал, но писари отзывались о ней с недовольством. Кажется, он совершил настоящее преступление, заявив, что война будет долгой.¹ «Слышать его не могу, — говорит один из писарей, — всякий раз, когда он выступает, он наводит на меня тоску». А другой: «Он и есть самый главный пораженец. В тюрьму бы его засадить». Все сохраняют

¹ «Мы спокойны и решительны. Мы не боимся, в отличие от наших врагов, долгой войны. Мы думаем только об одном: тотальной победе...» (из радиовыступления главы правительства Э. Даладье 22 сентября 1939 г.).

смутную надежду на то, что война быстро кончится. У меня такой надежды нет. Сегодня утром попробовал — словно нагло больному зубу — надеяться, ради интереса, на скорый конец войны. Никакого эффекта. Ни на что не надеюсь, ничего не жду. Кошмарное спокойствие, а вокруг война.

Суббота, 23-е

Бобр говорит, что я считаю себя бессмертным. Может, в этом есть доля правды. Я не собираюсь умирать. Но есть и еще кое-что: я всегда задумывал свои сочинения не в виде отдельных произведений, а как нечто такое, что собирается в единое творение. И это творение держалось в пределах человеческой жизни. Более того, не доверяя старости, я всегда думал, что самое главное будет написано до того, как мне стукнет шестьдесят. Вдобавок эта абсурдная, но глубоко засевшая во мне ребяческая мысль, что я не умру раньше семидесяти лет. Откуда возникал какой-то пустой отрезок, отделявший конец моей жизни от моей смерти. Иначе говоря, мне кажется, что у моей жизни конец будет задолго до того, как я умру, равно как у нее есть начало много позже моего рождения (отчасти оттого, что у меня мало детских воспоминаний). Отсюда возникло осознанное, совершенное, законченное, почти кругообразное существование, где ожиданиям в точности соответствовали результаты, поскольку бесформенное оказывалось по ту или по эту сторону от моей реальной жизни, ведь суть не в том, чтобы быть бессмертным. Суть в том, чтобы жизнь имела завершенность. Только в Сантрее, когда Поль совсем потерял голову и я стал думать, что завтра мы окажемся на линии фронта, только в Сантрее, я посмотрел на смерть так, как смотрит на нее большинство людей, — как на событие, возникающее среди жизни и останавливающее жизнь, не давая ей завершиться. Я разъяс-

нил это в XIII главе романа, говоря о Лоле.¹ Но я это почувствовал и принял это тогда на мосту в Сантрее, глядя на реку, что означало не только немислимое уничтожение моего сознания, но и полное бессмыслие всех моих ожиданий: ожидание более совершенного романа с Вандой, ожидание того, что следующие мои книги будут лучше, ожидание того, что сложится мое творение и т. д. И в то же самое время — вопреки тому, что говорит Хайдеггер — мое сознание не становилось из-за этого более индивидуальным, напротив, оно превращалось в вещь, поскольку я понимал, что можно сказать: оно было. Что не составляет никакого труда, ведь ты уже «мертв для своей жизни», ведь все покинуто. Правда, чаще мне думается, что моя жизнь находится в подвешенном состоянии. Но иногда мне кажется, что она остановилась. Тогда выходит, что я пережил свою жизнь. В такой перспективе смерть чувствуется и принимается. Лишь мои отношения с Бобром избегают абсурдности смерти, ибо они совершенны и во всякий миг настолько целостны, насколько это только возможно. Я ничего не жгу от них, кроме нескончаемого продолжения. В общем, в настоящий момент и с точки зрения скорой смерти я могу сказать, что эти отношения — единственное, что *удалось* в моей жизни. Остальное лишь на пути к удаче, на различных этапах этого пути. Это прозрение в отношении смерти было очень кратким и больше не возвращалось. Чтобы схватить сущность смерти, мне необходимо ощущать ее угрозу, необходимо, чтобы я оказался — по правде или мнимости — в ситуации умирания. А здесь все это пропадает.

¹ «Он подумал о Лоле: она умерла, а ее жизнь, как и жизнь Матье, прошла в ожидании... А ждать было нечего: смерть ударила в спину всем этим ожиданиям и остановила их, они остались недвижимыми и немыми, без цели, без смысла. „Если я сегодня умру, — вдруг подумал Матье, — никто никогда не узнает, был ли я человеком пропащим или у меня был какой-нибудь шанс спастись"» (*Сартр Ж.-П. Дороги свободы*. М.; Харьков: Фолио, 1999. С. 209).

Вчера вечером вернувшийся из Страсбурга шофер описывал нам — из рук вон плохо — этот захватывающий, мертвый город. Даже ни одной кошки. Пробродив три часа, они увидели четырех девушек, заходивших в здание почты (наверное, там работают). На террасах кафе по-прежнему стоят столики, но окна закрыты железными ставнями (как ночью в Венеции, на площади Св. Марка). В витринах киосков видны газеты и журналы, вышедшие в день эвакуации. Сильное впечатление произвели на него трамвайные рельсы, «эти нескончаемые трамвайные рельсы», как он туманно выразился. Мне кажется, что две длинные параллельные линии трамвайных путей как ничто другое подчеркивают бесконечную длину пустых улиц. Сегодня утром Поль поехал туда вместе с капитаном Мюнье. Мне хотелось бы поехать вместо него. Во всяком случае он сообщит какие-то новые подробности.

Вычитал сегодня утром в дневнике Даби эти строчки, которые были мне очень неприятны (из-за Ванды): «Торговка (ему говорит): „Ну да, знавала я в войну малышек, которые себе ничего не позволяли. А когда муж вернулся, то сказал: просто тебе было слабо с кем-нибудь переспать! Вот так...”».¹

Что очевидно.

Аджюдан Курто достает из портфеля обрывок какой-то веревки: «Видишь, на ней вешались. Уже лет пять ношу с собой. У меня зять полицейский, он проводил как-то расследование самоубийства и притащил мне ее».

Взглянул на настоящее свое существование с точки зрения смерти. Она лишает смысла даже мои воспри-

¹ В это время любовные терзания Сартра в чем-то перекликаются с теми сомнениями, о которых Даби поведал на страницах своего дневника; но тогда как последний переживает их с меланхолией и беззащитностью, Сартр питает надежду обуздать свою жизнь через дневники.

ятия, даже мои мысли, мои мимолетные желания, ибо все это — ожидание, самое мимолетное из моих представлений есть то, что уже *было*. Чтобы устояться, любое настоящее рассчитывает на переход в прошлое. Смерть лишает настоящее права становиться прошлым, тогда оно истончается и становится прозрачным. И неопределенным. Нехватка координат. Что и пишет мне Бобр: у нее возникает впечатление, что единственное место, где она будет на своем месте — это *где угодно*. Сходное впечатление с точки зрения смерти. Настоящее становится неким где угодно, когда угодно, прожитым кем угодно. Все это было прочувствовано мной сегодня в форме абстрактной эмоции. Мое ощущение Сантрея (впрочем, затуманенное и неадекватное) исчезло давным-давно. Подумал было написать для Полана «Размышления о смерти».¹ Но лучше отложить их на потом, когда я снова увижу смерть.

Целиком смерть можно постичь не иначе, как рассматривая ее через жизнь и в каждое мгновение этой жизни, как в больших активных и пронизанных страстями группах. Но не в какой-то определенный момент, когда она кажется принадлежащим времени событием. Лучшее понимание Хайдеггера. Но смерть не относится к моим возможностям — это идущее извне уничтожение всех моих возможностей, включая и те, которыми я уже *был*. Это уничтожение происходит постоянно,

¹ В этот день Сартр написал главному редактору «НРФ» Жану Полану: «Ну вот я солдат, причем прилежный. Но не воин. Я запускаю воздушные шары, как голубей, рядом с артиллерийскими батареями, и слежу за ними в бинокль, чтобы определить направление ветра. У меня есть время писать роман <...>. Думаю также, отзываясь на злобу дня, о „Размышлениях о смерти“, которые хотелось бы предложить для „НРФ“. Возьмете?». Сартр познакомился с Поланом в апреле 1937 г., когда его первый роман «Тошнота» был принят издательством «Галлимар». В июле 1938 г. Жан Полан, автор «Прилежного воина» предложил ему вести ежемесячную рубрику в журнале «НРФ», начиная с ноября. С июля 1937 по март 1940 г. Сартр опубликовал там несколько статей, но замысел «Размышлений о смерти» не получил развития.

это глубинная пустота в самом сердце всех моих возможностей, присутствие внеположности в самом нутре моего «Я». Оно — это «не-Я» во мне или, если угодно, проекция в сердцевине моего «Я» моей захваченности миром. Оно играет нами, если не принять против него мер предосторожности. Эта предосторожность заключается в том, чтобы определять себя в каждое мгновение так, чтобы, если наша жизнь на этом остановится, она тем не менее составила одно целое с концом. Очевидно, что речь идет здесь об экзистенциальной детерминации.

Воскресенье, 24-е

Офицер или унтер-офицер, смеющийся вместе с солдатами, всегда слегка умеряет мимику смеха мимикой отвращения. Губы расплываются в улыбке, но вместо того чтобы растянуться до ушей, застывают как бы посередине. Таким образом смех полагается вовне. Офицер с трудом принимает его на свой счет. Он ничуть не заблуждается в отношении его ценности. Мимика отвращения адресована не солдатам, цель ее в том, чтобы обесценить смех.

Мимика стеклянного глаза: она призвана уничтожить солдата, на которого смотрит офицер. Солдат находится в поле зрения офицера, но остается невидимым.

Мимика внезапной глухоты: она вдруг обрушивается на офицера и тотчас же его изолирует. Секунду назад он слушал солдата, а теперь его больше не слышит. Ее можно совмещать с мимикой стеклянного глаза.

Слабые сейсмические толчки, пробегающие снизу вверх по затылку и голове офицера и унтер-офицера и призванные имитировать непоколебимую убежденность, чаще всего возникают, когда офицер разговаривает с солдатом, рассматривая его. Позволяют слегка

оторвать взгляд (остающийся неподвижным) от лица, которое колышется, как колосья в поле, и таким образом указывает на какую-то заднюю мысль.

Голос должен быть приглушенным, отдаленным и нейтральным. Всегда создавать впечатление, что его сдерживают.

При помощи этих мер предосторожности унтер-офицер может позволить себе шутить со своими солдатами. И те говорят: не задается.

Я обнаружил в себе целый пласт умиротворяющих и поэтических образов, проплывающих время от времени на моем горизонте. Это образы последних послевоенных лет, то есть эпохи, которая всегда была мне дорога, а теперь стала еще дороже, так как она является символом другого послевоенного времени, о котором я не могу и не хочу думать. Вчера, к примеру, один образ, неброский и утешительный, возникал несколько раз — то было смутное воспоминание об одном старом (американском) фильме под названием «Юмореска»,¹ который я, должно быть, смотрел в 1925 г. в маленьком кинотеатре на улице Ордене вместе с Пероном, Бруссодье и Низаном.² В нем показывали, как американские солдаты возвращались в Нью-Йорк. Их ждали влюбленные и взволнованные женщины в длинных платьях. Символ. Были и другие. Очарование, исходящее от дневника Жида 19—21 годов — притом, что в нем едва улавливаешь, что речь идет о послевоенном времени. Напротив, дневник Даби 1932—33—34 оставляет меня холодным. От него веет смертью. Среди моих недавних воспоминаний есть одно, которое возвращается чаще всего — воспоминание о вечере, про-

¹ Немой фильм американского режиссера Фрэнка Борзеджа (1893—1962) — мелодрама, во второй половине которой действие происходит в конце первой мировой войны (герой возвращается с нее калекой).

² Поль Низан — в то время лучший друг Сартра; Альфред Перон, Сильвен Бруссодье учились вместе с ним в Эколь Нормаль.

веденном вместе с Вандой в «Баре эскадрильи».¹ Не из-за Ванды, а из-за больших настенных картин, изображавших «асов», которые захаживали туда пропустить стаканчик в 1917—1919 гг. Сходным образом я часто думаю о новелле Фолкнера «Ad astra», действие которой происходит в день заключения перемирия. Все эти символические объекты меня теперь сопровождают. Чтобы охарактеризовать их, не следовало бы даже употреблять слово *образы*. Это своего рода аффективные присутствия. Впрочем, несмотря на то, что я ничего не жду, конец этой войны, моей войны тоже во мне постоянно присутствует. И это тоже вещь, и, как я уже отмечал, меня все время мучает искушение встать на точку зрения этого конца, для того чтобы рассматривать мое нынешнее настоящее как прошлое. Уловки. Вместе с тем этот конец, неожиданный и даже невообразимый, является полюсом моего времени. Впрочем, я не думаю, что он близок. Он очень далек, но конкретен. Некоторым образом он придает войне, которой я живу, смысл законченного целого.

Все та же призрачная война. В кафе один солдат пожимает плечами, читая сводку: «Ну уж не поверю... Что-то происходит...». Я: «А что?» Он, расплывчато, но оставаясь до кончиков ногтей малым, которого не проведешь: «Переговоры!.. Мне же сказали, когда я отправлялся в армию: Тебя призывают самое большее на два-три месяца, а потом все кончится». И добавляет, делая упор на словах: «*И без всякой войны*». Затем, с беспокойством и чуть вопросительно: «Да ведь все так думают». Народ настолько привык к официальной лжи, что речи Даладье и Чемберлена,² в которых утвер-

¹ Во время первой мировой войны бар «Фуке» (знаменитое заведение на Елисейских полях), в котором собирались «асы» военной авиации, был окрещен «Баром эскадрильи».

² Напомним, что *Невилл Чемберлен* (1869—1940), премьер-министр Англии в 1937—1940 гг., и *Эдуард Даладье*, глава французского правительства (с 14 сентября взявший на себя полномочия воен-

ждается их «непоколебимая решимость... и прочее», его не трогают. Все подмигивают и говорят между собой: «Это они для американцев. А это для нас и т. п.».

Среди самых умных солдат (или тех, кто высоко мнит о себе) царит априорное недоверие к самым невинным газетным новостям, которое объясняется тем, что им некогда внушили насчет «промывки мозгов» 14-го года. Это недоверие становится почти что условным знаком. Сегодня один солдат с лицом Савонаролы* читал «Пари-суар». Петер наклоняется над ним, читает через плечо и кричит мне: «Вот это да! Двадцать пять процентов немецких солдат на линии Зигфрида** больны». Я (обычно довольно доверчивый) откликаюсь на эту «утку»: «Да слушай их!». После чего Савонарола, до того ничего не говоривший, бросает на меня дружелюбный и уважительный взгляд, завязывает разговор. Почти как «шалопай» в лицах, которые принимают в свой круг новичков, когда те выказывают в разговоре достаточную осведомленность в сексуальных вопросах.

Многие (из мелкой или средней буржуазии) продолжают обращаться друг к другу на *вы*.

Никакого энтузиазма. Но они упертые. «Надо с этим покончить». Большинство из них пережило бы разочарование, — и какие подозрения! — отправь их завтра домой с любовным миром. И я из их числа. Никакой ненависти к немцам. Даже о Гитлере больше не говорят. Зажатые, упертые, скрытные — почти все без труда признали бы, что увильнули бы от призыва, представься им такая возможность. Тем не менее при виде гражданского своих лет они говорят — с безразличием, небрежностью и неожиданной жесткостью в голосе: «Смотри-ка, да ведь он молодой! Его, что, не взяли?».

ного министра, министра обороны и министра иностранных дел) подписали в Мюнхене известные соглашения с Гитлером и Муссолини, позволявшие Германии аннексировать Судетскую область, что привело к раздроблению Чехословакии.

Призрачная война. Из Битша без увольнительной приехал брат нашей хозяйки повидаться со своей семьей. Говорит, что на участке Битша полное спокойствие: «Вчера немцы постреляли из пушек минут пять, никого не задев. Наши в ответ тоже минут пять постреляли, вот и все». Петер рассказывает об этом за столом, его слушают человек десять. Один из них: «Везде одно и то же. Никого еще не зацепило немецкой пулей. Если кто и ранен, то от мины. Немцы не стреляют». Другой: «Этим молодчикам неохота воевать». Третий: «Да какая разница, если так дело и дальше пойдет, то нам здесь куковать еще лет десять».

Подтверждается, что наша часть бракованная.

Понедельник, 25-е

Пехота. Странный выдался вчера вечер и странное впечатление. Мы ужинали за большим семейным столом на втором этаже (это стол пекарей — к нему приставили еще один) при свете подвесной лампы, прикрытой газетой — освещение почти такое же, как от керосиновой. У меня за спиной эльзасский буфет, в углу стоит детский стул, на стенах видны фотографии и картины (гобелен с церковью Мармутье). За столом нас четверо, справа от меня три солдата, один из них — боксер с перебитым носом, на нем очки в железной оправе, он сухопарый, смуглый, беззубый. Слева сидят шесть стрелков, которых отпустили из части, хотя официальной увольнительной не дали. Все едят, завязывается разговор. И мало-помалу у меня появляется впечатление, что передо мной сидят *потерянные* люди. Стрелки располагаются в Оттерсвиллере, что в четырех километрах отсюда. Питание ни к черту, у местных не найти ни поесть, ни выпить. Те, что сидели с нами, ночуют на риге мэра, их там двадцать человек. Ночью так тесно, что даже не повернуться; соломы самая ма-

лость, а когда идет дождь, сверху капает. Каждый день муштра, покажите оружие и т. п. Передовая — ближайшая перспектива. Что сводит их с ума, накладывает некий отпечаток, преисполняет нетерпеливым героизмом. Все как один говорят: «К чему изводить нас этой муштрой, на передовой она не нужна». Самые горячие говорят это и офицерам. Один говорит: «Достало уже, господин лейтенант, уж лучше на передовую». Четверо суток гауптвахты. На построении командир роты разносит его в пух и прах. Тот отвечает: «А свобода слова, как же с ней, господин капитан?» Тридцать суток гауптвахты — и переведен в боевой полк. Говорит полковнику: «Да мне плевать на все, господин полковник, лишь бы на передовую». Это их герой. Он говорит офицерам то, что сами они не смеют сказать. Он со всей ясностью формулирует то, о чем они не смеют думать: все они, изведенные, ущемленные в своем человеческом достоинстве этой муштрой, хотят только одного: оказаться на передовой. И при этом думают, что сразу погибнут, и им страшно. Кто-то говорит: «Может, они нарочно вас мучают, чтобы вам захотелось на передовую». Причудливая атмосфера: чувствуется, что в этой семейной столовой эти спокойные люди — которые треплются, наверное, как и все солдаты, об офицерах — *по ту сторону*. Отмечены печатью. Тут раздается хриплый голос боксера: «Они попросят, эти офицеры. В 14-м я видел, как они шли в атаку, немногие возвращались. Слышал как-то раз, ребята болтали в риге. Зашел командир роты и давай петушиться. Когда ушел, один и говорит: Ничего, завтра в атаку, ты будешь впереди, я уж не промахнусь». Петер, всегда рассудительный и обходительный, чувствует себя не в своей тарелке: «Ну зачем же так, не надо горячиться и т. п.». А боксер: «Я жене сказал, пусть не достают меня. Я воевал в 14-м, служил в Марокко, оказался с тем самым Х. (имя мне ничего не говорит). Он замучил меня. Говорил, что у меня слишком длинные волосы, а один раз захотел подстричь меня прямо в Сахаре. Еще

раз скажу вам ребята: для того, кто меня достанет, у меня всегда найдется пуля, одна для него, одна для меня». Это было грубо и сильно, это отрывало меня от причитаний Поля и изворотливых рассуждений Петра. Пахнуло кровью.

Призрачная война — сегодня утром сержант Тибо говорит: «Вчера видел прибывшего из Страсбурга офицера. Немцы пытаются брататься, машут руками и показывают, будто едят. Будто хотят перейти к нам».

Сегодня утром — огневая подготовка. В поле видно, что солдаты выстроены вокруг своих орудий. Орудие с расчетом похоже на игрушку. 50 % снарядов не взрывается. Бракованная часть. До нас доносятся глухие разрывы. Тем не менее у Поля понос.

Передовая. Наваждение пехотинцев; глухая, недвижимая угроза, которая с каждым днем ни удаляется, ни приближается, поскольку они не знают, когда выступят. Офицеры подливают масла в огонь: «Будете ходить как стадо баранов, нашьлем на вас фрицев».

Поль и Келлер, когда едят, не могут открыть рта без того, чтобы брови не налезли на самый лоб. У них появляется какое-то нескладное, суетливое и озадаченное выражение лица — этакое мурло, загодя оторопевшее от того, что суется в пасть. Наверное, существует какая-то единая мускульная система лица, разрушаемая воспитанием. Естественно, должно быть, что брови поднимаются, когда открывается рот, а то, что у меня они остаются неподвижными, является благоприобретенным качеством.

Когда Келлер читает, его внимание на пределе. Хватает его минуты на две. Потом глаза лезут на лоб и становятся пустыми, видно, как из зрачков выливается голубая волна и глаза светлеют, так светлеют, что становится не по себе; какое-то мгновение он покоится в

счастливым оцепенении. Потом снова читает. Он словно бы глотает глазами.

Вот уже четыре дня нет писем от Ванды. Утром получил письма и фотографии от Б. Странно я тогда рассуждал, чтобы «выглядеть молодцом»: убедил себя, что Б. перестала быть моей, что мне ее не видать после войны. Естественно, что в состоянии безразличия по отношению к ней, в котором я теперь пребываю, мне было все равно. А за всем этим скрывалась магия: принимая и предвидя уход Б., я отдавал дань правдоподобию (ведь по крайней мере одна из этих женщин должна меня покинуть), но в то же самое время мистически заручался верностью Ванды, которая сейчас мне дороже всего. Сверх того я задействовал известный психологический парадокс, к которому охотно прибегают в беседах о «любовных делах»: его бросила та, которая была верна ему как никто и т. п. Сходство этого парадокса с аналогичными и проверенными жизнью служило ручательством. Таким образом, все, что я мог себе сказать, чтобы убедить себя в том, что Б. забудет меня, служило подтверждением, что В. будет любить меня по гроб жизни. Страстные письма, которые я получил от Б., разрушили всю эту ложь.

Четверг, 26-е

Хорошее настроение: я буду получать свое жалование, то есть Ванда приедет в Париж. Два письма от нее. Записка от Б.: «Нам очень хорошо».¹

Я не верю, что погибну на этой войне, потому что моя воля извечно напряжена против смерти, как если бы это была обычная морская болезнь. Я не обращал

¹ «Нам», то есть Бобру и мне: С. де Бовуар и Бьянка очень близки в то время.

на это внимания, но теперь отдаю себе отчет в том, что я иду по жизни так, как будто совершаю длительное путешествие на заданное расстояние и с определенным конечным пунктом. До него следует добраться до наступления вечера. Я не хочу ни чувствовать усталости, ни останавливаться. Воля собрана в кулак. Нет места ни для утомления, ни для развлечения, я не позволяю себе расслабляться — все ради этого путешествия. Это удаляет меня от всякой метафизической тревоги, — равно как в один миг заставляет отступить войну, — что не мешает мне всецело ее ощущать. У меня нет времени на смерть — вот как примерно я ощущаю положение вещей. И как-то магически это вселяет в меня уверенность в том, что я не умру до завершения путешествия. Противовесом такого постоянного напряжения является во мне идея Судьбы. Фраза Бельсора¹ — идиотская и мерзкая — очень сильно меня задела в свое время (мне было тогда восемнадцать): «Вы когда-нибудь видели, чтобы знаменитый полководец умер, не выиграв всех своих сражений?». Здесь ключ моего оптимизма. По дневнику Даби, напротив, кажется, что тот созрел и даже перезрел для смерти. Он падает, того и гляди упадет, махнул на все рукой, смерти только руку протянуть, чтобы его достать. Можно сказать, что он умер из-за того, что не очень-то хотел не умирать. У меня всегда было ощущение, что люди умирают по небрежности, рассеянности или дряхлости, что ты свободен против смерти (а не для смерти, как говорит Хайдеггер). Не хочу сказать, что можно и совсем не умирать, скажу следующее: мы конечны — но задачи наши тоже конечны. Должно найти силы удержаться от смерти, пока задача не будет выполнена. Потом уж не остается ничего другого, как махнуть на все рукой.

¹ Писатель *Андре Бельсор* (1866—1942) был преподавателем французской словесности в лицее Людовика Великого, где Сартр готовился к поступлению в Эколь Нормаль Сьюперьер.

Вчера за ужином двенадцать солдат инженерных войск пьют бутылочное «Трамин»: едут на фронт. Все из Орлеана. Добирались сюда три дня и три ночи, сделав пятнадцать пересадок. Сходили на каждом вокзале, но их пункт назначения хранился в тайне (абсурд, все равно это был Мармутье). Даже начальник вокзала не знал, куда они едут, он должен был отправить их на следующий вокзал ближайшим поездом, который они покидали, чтобы пересесть на другой и т. д. Проехали Дижон. Было очень холодно, поезд шел какими-то подозрительными рывками, каски и ранцы катались по скотовозному вагону, а молодцы бежали следом. Вдруг поезд останавливается, спускается кочегар, садится на велосипед и уезжает. Через некоторое время спускается в свою очередь машинист, направляется к канаве выкурить сигаретку. Поворачивается и видит: поезд тронулся — забыл включить тормоза. Тот же самый машинист чуть позже рвал на себе волосы: «Они посадили меня на паровоз, ничего не спросив, я не умею его водить». В другой раз — внезапный удар, торможение: состав замер прямо перед паровозом, оставленном на пути с *открытыми стрелками*. В последнюю ночь, где-то около часа, остановка. К ним подходит, дрожа от холода, сопровождающий их лейтенант: «Ну что, ребята, не очень замерзли?» Посмотрев в голову состава, добавляет: «Черт возьми, а где же паровоз?» Паровоз, неизвестно почему, укатил, оставив состав посередине пути. Часа через три вернулся. Все гоготали: «Ничего себе мобилизация!»

Понятно, что все они испытывают то же самое ощущение призрачной войны. Их умственный и культурный уровень выше, чем у вчерашних стрелков, и они передают это ощущение более учеными словами: «Что с нами вытворяют? Ну и комедия! Подумать только: фронт длиною в двадцать километров». А один из них, даже немного удивившись тому, какими мудреными словами говорит, добавляет: «Нет, в этой войне бьются не оружием, это идеологическая война». «Я, — говорит

другой, — никак не мог проглотить это советско-германское соглашение. За этим что-то кроется. Неизвестно, не подтолкнули ли к нему русских Чемберлен и Даладье, чтобы те могли „поймать“ Германию сзади. Ведь в конце концов, точно говорю, если так хотелось помочь этой Польше, могли бы послать туда солдат». Поль задержался: «Солдат? Но как? Через Балтику нельзя, через Румынию нельзя». А другой повторяет с лукавым и глубокомысленным видом: «Да, если бы так хотелось..!»

Один нюанс: на последней войне немцев звали «бошами». Теперь «фрицами». Прозвание, аналогичное Томми, не имеющее никакого эмоционального заряда; думаю, что немцы сами себя так называют.

Как возникают слухи: вчера к нам подходит солдат Савонарола: «Ну скажите, вы же кое-что знаете, ведь в штабе служите: как, по вашему мнению, не идут ли переговоры?». Если бы мы ответили с важным видом: «Идут-идут, только тихо!», — он твердил бы на каждом углу: «Мне *из надежного источника* известно, что переговоры уже ведутся».

Общее состояние духа, как у зрителя, который с видимым отвращением смотрит, как два боксера месят друг друга, и шепчет себе под нос: «Тут дело нечисто». Никто всерьез не воспринимает министерские заявления. Наученные, наверное, старыми лозунгами о скрытой власти франкмасонов, они смотрят на все, что *зримо* — на развернутые силы, принятые обязательства и т. п. — как на инсценировку, декорацию, они пытаются пронзить ее своими глазами, чтобы разглядеть настоящую драму, которую играют сзади. Всеобщая озабоченность: не дать себя обмануть.

Огневая подготовка: палят пушки. Как на 14 Июля.

Из писем матери и Б. следует, что тыл весьма далек от того, чтобы считать эту войну призрачной. Хотя тут

нельзя быть уверенным до конца (цензура и т. п.). Впрочем, если я правильно понимаю, в этих людях существуют два верования, одно — открытое: обман, переговоры и т. п., а за ним — стыдливое верование в то, что эта война похожа на войну 14-го года. Пример: чтобы указать на наличие тех самых секретных переговоров, кое-кто говорит: «Сами посудите. В Польше все же было тридцать миллионов жителей. Разве не было шумихи вокруг пресловутой польской армии(?). Ну вот, она продержалась две недели». «Две недели!» — и слушатель, внимательно следивший за ходом рассуждений, не может не воскликнуть: «Две недели и тридцать миллионов жителей. У нас сорок, значит мы сможем продержаться больше месяца». Впрочем, повсюду начинают ходить слухи о нападении на Голландию и Бельгию.

Среда, 27-е

«Если ты воюешь, — говорил Брис Парен, — ты принимаешь войну, то есть ты ее пособник». Не совсем так. Прежде всего следует провести различие между тем, когда ты воюешь, и тем, когда ты на войне. Если я дезертир, если окопался в тылу, то я, возможно, могу избежать того, чтобы *воевать*. Но невозможно избежать того, чтобы *быть* на войне. Я не могу ни принять, ни отвергнуть этого — как нечто такое, что свободен отклонить: речь идет о преобразовании мира и моего бытия-в-мире. Война — это не какое-то происшествие, которое случается со мной и по отношению к которому я могу вести себя тем или иным образом. Война — это способ существования для мира и для меня в мире, с этого начинается моя индивидуальная судьба: иначе говоря, война в моей судьбе не является чем-то вроде болезни, женитьбы или смерти. Наоборот, война порождает мою судьбу. Моя судьба не отличается от других судеб в том, что она заключа-

ет в себе войну, а другие судьбы в себе ее не заключают: наоборот, я есмь-для-войны в той мере, в какой я есмь человек. Пропадает различие между «быть-человеком» и «быть-на-войне». То есть я больше не могу «сказать нет» войне, как и человеческому уделу. Она оказывается неким видоизменением моего бытия-с-другим, моего бытия-для-умирания и т. д. и т. п. С этим ничего не поделать. Даже если я дезертир, все равно ничего не смогу с этим поделать. В заблуждение ввести здесь может то, что войну объявляют люди. Но даже если военное положение и вводится людьми, то осуществляется оно помимо их воли. Предельное разнообразие индивидуальных военных судеб остается вне ведения виновников войны. Как и сам облик мира (деревьев, неба, домов), как и человеческая свобода людей-на-войне. Ведь пусть ни у кого и нет возможности отвергнуть свое бытие-на-войне, индивидуальные отличия и свобода все равно обретаются в самом способе бытия-для-войны. Судьбина каждого переплетается с новой тканью — войной, но каждая из них отличается от всякой другой и переплетается по-своему. 3 сентября исчезли не только Счастье и Мирные отношения, исчез целый мир с его небом, временами года, фауной и флорой; для всех людей появился другой мир. Первая отличительная черта всех людей на войне определяется тем, что все они пережили канувший в небытие мир. Люди на войне — это пережитки Мирного времени. Остается вопрос: следует ли воевать, *делать* дело войны? Прежде всего: разве каждый человек, который свободен для войны, его не делает? Бобр, например, когда она мне пишет, когда занимает определенную позицию по отношению к Босту или ко мне, когда она «отвергает счастье», как пишет Б., или, скорее, когда она больше не видит в счастье ничего другого, кроме привычного способа постигать мир в Мирном состоянии — Бобр делает дело войны. Тот, кто не дает себе впасть в смятение и неуверенность и воспринимает войну в ее человеческой реаль-

ности, *делает* дело войны. Даже дезертир. Ведь война не обходится без дезертиров, дезертир тоже играет свою роль. И чем обдуманнее он совершает свой поступок, тем больше он усиливает войну и свое бытие-для-войны. Всякое связанное и свободно согласованное в отношении с войной поведение означает «делать-дело-войны». От этого не уклониться. Ведь дезертир не надеется упразднить войну своим поступком: он лишь ратифицирует ее. С того момента, как он от нее бежит, он ее утверждает и заботится лишь о том, как лучше повести себя по отношению к ней, то есть делать ее дело. С этой точки зрения я делаю дело войны, поскольку я выбрал между дезертирством и полным подчинением то, что лучше всего могло подходить моей индивидуальной военной судьбе. Я пособник этого мира не в большей, не в меньшей степени, чем дезертир. Просто-напросто, мне показалось, что мои интересы и моя индивидуальная цель выиграют, если, оказавшись вопреки самому себе на войне, я выполню приказ о мобилизации.

То, о чем я только что так нескладно и пространно рассуждал, сводится к следующему: война не только составляет предмет моих размышлений, но и образует их ткань. *Через то, что я воспринимаю — этот стол или эту трубку — я мыслю войну; способ, при помощи которого я мыслю и воспринимаю этот стол и эту трубку, является «военным» — в конечном итоге способ, которым этот стол и эта трубка даны мне, является военным.* Речь идет не только о ясных суждениях и понятиях: мое предонтологическое понимание, мое самое непосредственное бытие в отношении моих самых непосредственных возможностей являются военными. И тем не менее я испытываю отвращение к войне, но это отвращение к существующей войне само по себе является бытием-для-войны, оно привязано к войне, речь идет о неподвижном и устойчивом состоянии, которое нацелено вовсе не на то, чтобы отвергнуть войну, но на

то лишь, чтобы постичь ее, на фоне этого отвращения и растет мое нынешнее спокойствие, мое счастье и мои радости.

Мое *Befindlichkeit*¹ (Хайдеггер): преодоленное отвращение.

Теперь ясно, что газеты берегут Россию.

Что во мне изменилось с 3 сентября? Я удивился этому изменению с самого начала. Я опасался, не исходит ли оно из некоего внутреннего напряжения, которое я не смогу все время поддерживать. Но прошел уже целый месяц — и никакой усталости, никакой тоски. В действительности, нет никакого напряжения, то есть борьбы с самим собой, есть изменения во мне самом. То есть состояние войны стало моим естественным состоянием. Вот эти метаморфозы и являются подтверждением и проявлением свободы. Ведь я как никто другой мог быть безразличным к такого рода переменам. Никто, кроме меня, не был так ожесточенно привязан к собственной жизни. Было во мне, конечно же, что-то такое, из-за чего я поехал бы в армию в отчаянии, не произойди во мне эти самые перемены по отношению к жизни. Иначе говоря, изменилось, повторяю, как раз мое бытие-в-мире. Характер остался прежним, но он накладывается на новые ситуации. Характер остается неизменным на фоне видоизмененной природы. То есть, для меня открываются другие возможности. О прошлой жизни я могу жалеть лишь так, как жалеют о давно прошедших временах: почти как в мечтах.

Сегодня вечером — необычайно яркий лунный свет. На улице можно читать газету. Отчетливо видны цвета домов: голубой, бледно-розовый — правда, приглушенные и посеребренные. Белый просто восхитителен. Станный мир. На тихих улицах раздается стук наших

¹ Чувство ситуации (нем.).

кованных башмаков. Вспоминаю вечера в Сантрее:¹ темень была хоть глаз выколи. С тех пор как прячут свет, природа меньше скрывается; это целое событие — полная луна.

Сегодня вечером, в то время как Петер и Поль играют в шашки в «Грапп д'Ор», внезапное ощущение какой-то непоправимости. Солдаты в шутку говорят, что война продлится лет пятнадцать. Забавы ради пытаюсь подсчитать, сколько мне будет, когда наступит Мир: сорок девять лет. И вдруг мне приходит мысль, что война продлится три года, что похоже на правду; думаю: а ведь у меня только одна жизнь. Ощущение поначалу неприятное, но затем оно становится дорогим для меня, ведь это что-то вроде отражения смерти. Правда, оно ускользает. Сейчас, когда я пишу, я его больше не ощущаю. Во всяком случае ясно, что война — поскольку у нее есть множество способов его обезчеловечить — ставит человека лицом к лицу с его человеческим уделом и заставляет его прочувствовать этот удел конкретно. Для других ощущение, конечно же, банальное — «у меня только одна жизнь», — но для меня оно является исключительным. У меня всегда было чувство, что я обладаю избытком времени, что мгновения, которые я теряю, будут мне с лихвой возмещены, что невозможно терять свое время. И вдруг среди этого военного безделья мое время и моя жизнь внезапно оказались сжатыми.

Начиная с сентября я был готов — как и множество других людей — выдержать эту войну. Вот уже год, как я живу в этом переходном состоянии. С остервенением я писал свой роман, пытаюсь закончить его как можно быстрее, будучи убежден, что боролся напрасно, что я его не закончу. Моя жизнь втроем² казалась мне не-

¹ Где его часть располагалась с 4 по 10 сентября.

² Речь идет о любовной жизни Сартра. Помимо отношений с Симоной де Бовуар, у него было в то время еще два романа: один,

нормальной, и у меня было это странное ощущение, что «один год еще куда ни шло, все равно война все расставит по своим местам». Это расточительство в отношении моего времени и моих чувств было для меня как бы знаком приближающейся катастрофы. А потом есть целая куча маленьких радостей в моей манере любить какую-нибудь улицу Парижа, какое-нибудь кафе и т. п. — они тоже исчезли в сентябре и так и не вернулись.

Четверг, 28-е

Петер за завтраком: «Сартр, он такой же, как мы, обманывает его внешность. Старина, когда я увидел его в первый раз, то сказал Полю — правда, Поль? — я сказал: этот малый, он спит на ходу». И действительно, я еще тогда заметил, что в Сантрее Петер был склонен смотреть на меня как на пустое место. Теперь он перевел меня в другие категории: госслужащий, холостяк, мечтатель, богема. «У меня есть зять — вылитый ты. Я ему написал: у нас есть тут один из богемы, вроде тебя. Он мне ответил: тебе повезло». Такие характеристики являются для него настоящими категориями. Он осмысляет меня при помощи понятий. Я — *мечтатель, богемный человек* и т. п., то есть принадлежу незыблемым сущностям. Человеческое разнообразие он облекает в идею: мы такие, как есть, себя не переси- лишь и т. д. Что означает: существуют различные непе-

на страстный характер которого указывают отрывочные упоминания в дневниках, с Вандой Козакевич; другой — с Бьянкой. Идиллия с юной Вандой — тайная и непредусмотренная — продлится недолго; что же касается жизни втроем, которую он и С. де Бовуар устроили вместе с Бьянкой, то он как раз в это время пытается с ней покончить: чувства Бобра к Бьянке становятся двусмысленными (см.: *Beauvoir S. de. Lettres à Sartre и Journal de guerre. Gallimard, 1990*), и он сам уже, похоже, не знает, так ли дорога ему эта девушка.

редаваемые и устойчивые человеческие сущности. Что ценно для одной, не годится для другой. Забавная смесь — впрочем, весьма распространенная — некоего релятивизма коммерческого происхождения с тягой к абсолюту. К этим обобщениям его приводит психология клиента: клиент выступает своего рода совокупностью устойчивых или очень медленно изменяющихся потребностей. Определенная группа таких потребностей и называется характером. И исходя из них строятся механизмы объяснения. В то же самое время группы классифицируются по «семьям». Здесь в дело идет статистика. И получается классификация по типам: поскольку типы различны, индивиды, наоборот, совершенно похожи друг на друга. Когда я болтаю с Петером, у меня постоянное впечатление, что в его глазах я воплощаю определенный тип. Для него все представители «образованной богемы» во всем мире взаимозаменяемы. Другой тип, которым он часто пользуется, — *породистый*. Здесь он уже обнаружил человек пятьдесят «породистых» офицеров и унтер-офицеров. «Парень ну очень, ты знаешь... породистый».

Максима Петера: «Всегда полезно встречаться с теми, кто выше тебя».

Прекрасная возможность убедиться, какое впечатление я произвожу со стороны. Один солдат говорит давеча: «Это ты, Поль? Нет? Я вас все время путаю». А другой, сегодня утром: «Вы часом не братья? Так похожи». Так что я могу меланхолично разглядывать капрала Поля и думать: вот таким я его вижу, таким меня видят другие. Наверное, это не совсем так, потому что для них — тех, кто нас мало видит и воспринимает безлично, речь идет о самом общем сходстве. Тогда как я, я воспринимаю Поля *во всех деталях* с тех пор, как вот уже месяц подряд вижу его каждую минуту. Но тем не менее, есть какая-то бесцветная интеллектуальность, ум без остроты, которые я различаю в его чертах

и которые, как я подозреваю, наличествуют в моих. Петер не зря протестует: «Да нет, они совсем не похожи».

Там, среди преподавателей, я гордился тем, что был ни на кого не похожим. Ольга часто говорила: «Вы, вы ни на кого не похожи — Бобр и вы». А здесь, напротив, такой непохожий на Петера, Келлера, мясника, Тибо, аджюдана Курто, я чувствую себя типичным. Да и другие, впрочем, тоже скорее типичны, чем непосредственны. На войне индивидуальные различия стираются (извне), выделяются одни типы. Очевидно, именно из-за этого во время службы в армии во мне накапливалось это злобное ощущение собственной приниженности. Но сегодня такого ощущения нет и в помине. Равно как и гордыни. Голое и спокойное осознание самого себя. Как если бы все мои мысли, все мои чувства развивались на основе первичного безличия: *безличие ситуации* (это общее для всех бытие-на-войне), *положения* (кто-угодно, где-угодно), *взаимозаменяемость обязанностей* (за два часа кто угодно может стать солдатом метеоотделения), *обобществление собственности* (моя одежда, и т. д.). В то же время эта первичная враждебность мирных времен, эта ирония, которую чувствуешь в общении между людьми (Селин: * кому не хотелось убить стоящего впереди в очереди за билетом в метро?) здесь полностью исчезла. Приятное безличие.

Годам к 15 или 16-ти я стал «чувствовать себя интересным». Письмо Бобра, в котором она пишет мне о трогательной покорности малыша Боста,¹ вернуло мне скромность. Невозможно чувствовать себя интересным, когда «ты-на-войне», если из принципа отказываешься чувствовать себя интересным, когда «ты-че-

¹ Жак-Лоран Бост, их друг, тоже призван в армию. О чувствах, которые С. де Бовуар испытывает к молодому человеку в то время, см.: *Beauvoir S. de. Journal de guerre. Op. cit.*

ловек». Быть на войне составляет теперь часть удела человеческого, и кроме бытия-для-умирания или бытия-сексуального и т. д. хвастаться тут больше нечем.

Чтение «Дневника» Жида постоянно создает ощущение, что я не знаю, что значит хорошо писать. Напоминает фразу Маё¹ (1929 или 1927 год): «Бедный Сартр, нет никого, кто бы так рьяно гонялся за красотой и был до такой степени неспособен ее ухватить». В моем письме есть какая-то неповоротливость и что-то германское, что ли. В моих фразах — какое-то скрытое тканевое ожирение, несколько их связывающее. В конце концов они станут для меня невыносимыми. Надо бы очистить их от жира, но мне все кажется, что тогда идея или чувство утратят оттенки. Я всегда испытывал чувство отвращения после длительного письма. Для меня мой стиль имеет какой-то органический запах, как тяжелое дыхание больного, как запах изо рта. Возможно, что другие его не чувствуют. Мне очень нравилась «Стена», потому что в ней не было этого запаха. Но уже в «Комнате»...² А от моего романа воняет так, что в нос шибает, как мне кажется.³ У прекрасных фраз Жида нет запаха.

Можно также сказать, что лучшие из пришедших мне на ум фраз выглядят как массив жилого дома, с каким-то тайным изъяном, каким-то скрытым небрежением, которые всплывают при повторном чтении. Слишком много прилагательных, привычных оборотов, которые уже можно копировать.

Прогрессивное изменение начиная со 2 сентября. Состояние, в котором я пребываю, требовавшее пона-

¹ Рене Маё был однокашником Сартра по Эколь Нормаль Суперьер. В своих «Мемуарах» С. де Бовуар называет его Эрбо.

² «Стена» и «Комната» — новеллы из сборника «Стена» (изд-во «Галлимар», 1939).

³ «Возраст зрелости», над которым он в то время работает.

чалу напряжения, стало для меня совершенно естественным.

Хорошие рассуждения о войне вчера и сегодня. Действительно, в иные моменты я совершенно забываю, что я на войне, и мне приходится делать усилие, чтобы напомнить себе об этом.

Свет луны: снова ослепительный сегодня вечером; но он оказывает на меня то же действие, что и вода венецианских лагун, свет этот мертвый и гнилостный. Сегодня вечером, как и вчера, под луной вещи сохраняли свои цвета, но они были еще в большей степени вещами, чем обычно, они закоснели в своей твердой и молчаливой бездеятельности. Розовая и бледно-голубая улица Мармутье с ее пологими крышами — омертвевшая, застывшая в неподвижности под луной, напоминающая нечто такое, что долго находилось под воздействием обрабатывающих в камень источников, окаменевшая от лунного света скалистая гряда.

Пятница, 29-е

Ветеринар напивается каждый вечер, лезет целоваться ко всем женщинам, которые ему попадаются. Если те сопротивляются, кричит: «Ну погоди, все равно схвачу тебя за задницу». Кроме того — свары в офицерской столовой. Вследствие чего будут приняты строгие меры... в отношении солдат.

Одному сержанту удается незаметно вписать свой адрес внутри письма к жене. Та приезжает к нему в какую-то эльзасскую дыру и ночует потихоньку от всех в единственном трактире. Но она беременна и у нее выкидыш. Повсюду кровяца, приходится везти ее в полевой госпиталь. Капитан говорит сержанту: «Но откуда у нее ваш адрес?» «Я сообщил ей его еще до того, как это было запрещено».

Чтобы быть-подлинным-на-этой-войне, мне следовало бы избавиться от своего защитного оптимизма. Я отправился на войну на один год, и всякие доводы здесь бессильны, я так же туло верю в эту войну на один год, как Келлер в свою демобилизацию к Рождеству. Сегодня использую дурные вести из России, чтобы отделаться от него. Не верить ни в скорое завершение войны, ни даже в окончательную победу Франции.¹ Пока я в это верю, я сохраняю вокруг себя верных мне Бобра, Ванду, Б., мои сочинения, мою жизнь. Если я больше в это не верю, все летит к черту: черная пустота, но взамен я полнее осуществляю войну. Моя жизнь действительно становится *прошлой*; период 1918—1939 отдалается от меня, он мертв. Мое настоящее противно, будущее — непредсказуемо, все мои возможности уничтожены. Это может «осуществиться» не иначе, как в состоянии тоски, через него. Если я дойду до него, то сразу исчезает вся плотность моего настоящего, оно будет обезоруженным, словно в силу смерти, поскольку я здесь как раз для того, чтобы бороться против этого разрыва с прошлым. Только в этот миг я понимаю и ощущаю глубинную природу войны и моего я на войне.

Подлинность может быть достигнута лишь в отчаянии. Потом, быть может, наступает какая-то спокойная и омертвелая радость, о которой говорят Жид и Достоевский. То странное мгновение счастья, которое я испытал 10 сентября в савернском поезде, когда серая

¹ Понятно, почему Сартр не особенно оптимистичен в этот день: СССР и Германия, завершив желанные «территориально-политические изменения», подписали накануне новый договор, к которому, как и к предыдущему, прилагался секретный протокол. Хотя о нем в то время еще не знали, его существование подтверждалось первыми результатами: помимо того, что два диктаторских режима поделили Польшу, СССР в тот самый день принудил Эстонию подписать пакт о ненападении, который предусматривал передачу морских и воздушных баз Советам и право держать военные силы на территории Эстонии. Судьба Европы — в руках Рейха и Советского Союза.

заря занималась над спящими в вагоне солдатами. Война — это приглашение потерять себя, полностью отказаться от своего я, даже от своих писаний, бросить все, за что я так цепко держался, и стать лишь голым сознанием, созерцающим различные прерванные жизни моего я, войну, послевоенное время, предвоенное время, другую войну, другое послевоенное время, созерцать их в качестве ряда опытов, которые его не затрагивают.

1-е октября, воскресенье

Я констатирую, что всегда рассматривал мораль как *бытие*, а не как *дело*. В общем, некая мудрость, правда, экзистенциальной природы. Мудрость всегда заключалась в том, чтобы ничего не делать, но воплощать в определенных ситуациях определенные внутренние предрасположенности; посмотрите на эти внутренние предрасположенности как на некое экзистенциальное видоизменение, и вы получите мое единственное моральное притязание — стоицизм и подлинность. Стоицизм, — поскольку нужно выдерживать, переносить ситуацию (но это все равно отказ, отстранение), подлинность, — поскольку нужно уйти в это с головой и тем самым понять ситуацию и себя в этой ситуации, причем это понимание является всего лишь способом — самим по себе более подлинным — быть в ситуации. Но отсюда возникает видимость квиетизма в моих сочинениях. Не случайно же Рокантен¹ ничего не *делает*: он занят лишь бытием. Также и Пабло в «Стене» думает лишь о том, чтобы «быть честным» и понять смерть. В этом смысле я по большой наивности сделал его отражением моих собственных забот и позиции, которую, конечно же, мне хотелось бы занять в отношении смерти. То же самое и с другими персона-

¹ Главный персонаж в романе «Тошнота».

жами. Тем не менее я достаточно активен в повседневной жизни. Здесь мораль *дела*. Как мне вести себя с В., Б., и т. д. Споры с Бобром о том, что мне надлежало бы делать, что ей надлежало бы делать. Однако мораль *дела*, которая всегда в той или иной степени является моралью долга, если только она не вытекает самопроизвольно из экзистенциального начала, все время кажется мне низшей моралью, временной, моралью предпочтений. Возможно это объясняется тем, что лучшее из того, что я делаю, поглощается письмом. Вследствие чего позиция, которую я непроизвольно занял по отношению к войне, является пассивной. Стоицизм и подлинность. Я вовсе не рассматриваю войну как долг: я ничего не *делаю* с самим собой, я предлагаю свое тело, несу свою службу лишь для того, чтобы меня оставили в покое. Но я и не отвергаю войну активно, как Ален. Я рассматриваю ее как ситуацию, которую нужно *вынести* и «*осуществить*». Познать войну и познать самого себя на войне. Но я дошел до того, что задаюсь вопросом (с самого начала этого дневника), совместимы ли стоицизм и подлинность. Стоицизм: разве это не отказ от тоски, нет ли здесь уловок стоика, стоического оптимизма? А подлинность, наоборот, не приходит ли она со стенаниями? Жид, который столь часто искал подлинности, не является ли он злейшим врагом стоицизма?

Свобода, которую ищет Матьё,¹ является свободой не для действия, а для бытия. Необходимо, чтобы он существовал-свободным, вот и все. Весьма показательно, что в «Психее»² я долго анализировал эмоции, чувства, чистое сознание, а потом вдруг заметил за собой, что забыл о воле и поступках.

¹ Персонаж «Возраста зрелости» (и двух других томов будущей трилогии «Дороги свободы»).

² Незавершенное эссе, над которым Сартр работал с осени 1937 г., испытывая тогда сильное влияние Гуссерля; один отрывок под названием «Набросок теории эмоций» был опубликован в 1939 г.

«Мирное наступление» Гитлера и Сталина вызывает смятение.¹ Большинство солдат, которых я видел сегодня утром, желают, чтобы их предложения были приняты. Одни при этом ворчат: «Вот увидите, через два года все начнется сначала!». Другие надеются: «Если они предложат что-то стоящее...».

Сегодня — угрюмость, отвращение к жизни. Холодно, слоняюсь, отовсюду гонят. В конце концов присоединяюсь к трем своим приспешникам у г-жи Гросс, потому как захотелось шума. Но едва вошел, сразу стал думать, как бы уйти. Воскресенье. Гражданское воскресенье, которое преследует меня даже в этом совсем уже не гражданском месте. Сегодня утром на площади похороны, потом еще какая-то процессия. Красный стяг с золотыми буквами развевался на уровне второго этажа. Дамы в шляпках зашли в обеденный зал, рассмеялись, снимая перчатки. Мне не хватает книг, я чувствую себя как в западне.

Это скрытое гниение Воскресенья проникло во всех. Впервые Петер говорил: «Это еще не тоска, но мне скучно». Я освободился от него к полудню. И испытал довольно приятное воскресное ощущение, увидев, как вниз по туманной деревенской улочке осторожно спускается, подобрав рукой юбки, какая-то женщина в черном и в шляпке.

У писарей Д. А.² слышал, как рассказывали об одном малом из Д. П.,³ который от отчаяния сошел с ума. Эльзасец. Дружки с него глаз не спускают, человек пять вертятся вокруг, но он посылает их подальше. Военные власти не хотят принимать никаких решений: «Попробуй

¹ 26 сентября, накануне падения Варшавы, немецкое радио и пресса заговорили о «мирном наступлении», к которому через два дня присоединился СССР.

² Дивизионная артиллерия.

³ Дивизионная пехота.

буйте его развлечь», — говорит командир. Перед лицом такого отчаяния, я еще сильнее почувствовал, что речь идет о магической уловке сознания, которое прибегает к заклинаниям, потому что не может больше *вынести того, что придется выносить*.¹ Мне кажется, что у каждого из нас есть свое отчаяние, тенью следующее за нашей уверенностью в себе, за нашим спокойным настоящим. И каждый миг возникает искушение — которое мы чувствуем и которого мы избегаем — ему поддаться, не потому что мы оплакиваем прошлую жизнь или нам не дает покоя какое-нибудь особенно пронзительное воспоминание, а для того чтобы *дать себе отдых*. Как это изнуряет и выматывает, когда ты спокоен, тверд и непроницаем, зачастую чувствуешь себя бесчеловечным, и тебя охватывает смятение при мысли, что завтра, послезавтра и т. д. ты все время будешь так же тверд, как земля без влаги, все время так же спокоен, все время так же одинок. Тем не менее я знаю, что не впаду в отчаяние, не соглашусь оросить себя слезами: из гордыни. Я даже не хочу смириться со скукой. Думаю, что я непроницаем на время войны (или, может, до первого отпуска).

Доведись мне услышать по радио одну из этих дурацких и вульгарных мелодий, под аккомпанемент которых я работал в прошлом году в кафе Рей, я бы, наверное, залился горячими слезами.

Во второй раз за сегодняшний день меня посещает поэтичное и волнительное воспоминание об истории с Ольгой. Это было в Руане, в один из тех бесчисленных дней, когда она говорила, что больше меня не любит. Я снова видел крутой холм, покрытый низкой травой. Мы сидели в траве, вокруг играли мальчишки, были и влюбленные парочки. Дело было, наверное, в мае 36 го-

¹ Что Сартр пытается показать в своем «Наброске теории эмоций».

да. Ко всему этому примешивается какой-то смутный привкус раскаленной на солнце угольной пыли. Все это вертелось у меня в голове вместе со смутным желанием написать ей дружеское письмо. Замысел, который, разумеется, не вышел за пределы ирреального. Представляется, что это умиление объясняется просто: пока жизнь шла «своим чередом», образ юной Ольги, которую я любил в Руане, был скрыт той Ольгой-женщиной, о которой я слышал ежедневно; разочарования 37 года открыли мне глаза: теперь была только одна Ольга, и она не вызывала большого уважения. К своим воспоминаниям 36 года я возвращался лишь для того, чтобы обезопасить себя от них, ведя себя как господин, который знает, что делает. Но теперь моя жизнь остановилась, осталась позади, умерла. Для того, кем я стал в Мармутье, Ольга 39 года не является уже более истинной, более осязаемо присутствующей, чем Ольга 36 года.¹ Обе они — лишь воспоминания, каждая из них всю свою видимость и всю свою силу черпают на своем месте. Я уже не встаю на точку зрения 39 года, чтобы судить мою жизнь и мои надежды 36 года, я сужу 39 и 36 годы со своего места, отсюда, из этого городка, где жду окончания войны. И с этой точки зрения 36 и 39 являются равными друг другу видимостями.

Все, что я записываю в этом дневнике, представляется мне бесчеловечным, но в том нет моей вины. Мы

¹ Сартр был влюблен в Ольгу Козакевич, бывшую ученицу С. де Бовуар (см.: *La force de l'âge*. Op. cit.), которая была старшей сестрой Ванды. В дневниках будут встречаться и другие упоминания об этой неистовой страсти, относящейся к весьма неспокойному периоду жизни Сартра (1935—1937), когда он боялся, что сходит с ума. Ольга втайне отдавала предпочтение Ж.-Л. Босту; обида на нее, которую он здесь выказывает, объясняется по всей видимости тем, что она сделала так, чтобы он сам обо всем догадался. Образ Ивиш в «Возрасте зрелости» многим обязан Ольге; С. де Бовуар в романе «Гостья», над которым она работала в то же время, использует ситуацию любовного треугольника, в которой они тогда находились, и образ Ксавьер в ее романе также навеян этой девушкой.

на войне, и я не могу вздохнуть. Ни по себе, ни по другим.

С удовлетворением получил известие, что Гиль и Зуорро в безопасности, один из них в Дижоне, другой в Константине. Это избавляет меня от необходимости думать о них.

Когда я писал «Доведись мне услышать по радио и т. д.» на стр. 72 и «Все, что я записываю в этом дневнике и т. д.» на стр. 73, я находил себя интересным. Чутьочку поломал комедию. Со мной давно такого не бывало.

Муж нашей хозяйки, который служит в инженерной части, приехал в увольнение на мотоцикле. Они стоят на границе, на одном берегу они, на другом немцы. Переговариваются друг с другом. Он разговаривал с немецкими офицерами, те ему сказали: «Гитлер сделал большую глупость». Никакой стрельбы: обмен любезностями, шутками. Они получили приказ взорвать мосты. И вот, в назначенный день, они закладывают динамит в мостовые пролеты, отходят на полтора километра и мост взлетает в воздух. На следующий день возвращаются в свой лагерь и снова видят немецких офицеров, которые говорят им растерянно: «Что же вы делаете?».

Понедельник, 2-е

Я прекрасно понимаю, что Даниэль сам себе противен и отказывается быть педерастом.¹ Но я не понимаю, почему. Потому что я видел судорожные попытки Зуорро избавиться от этого ярлыка, но изнутри причины этих судорог мне неизвестны. Эта Дама говорила с рассудительностью (у меня это скажет Матьё):² «Если

¹ Персонаж «Возраста зрелости».

² Там же.

бы я была педерастом, я бы ничуть не стыдилась», не отдавая себе отчета в том, что она говорит это исключительно потому, что она не педераст.

Забавная судьба у этого романа: когда не было войны, я был убежден, что не закончу его. Теперь же полагаю, что доведу его до конца (по крайней мере первый том), но я совсем не уверен, что он будет опубликован.¹

В голове пусто. Или, скорее, она занята мелкими повседневными делами. Мой роман — как работа бюрократа, кропотливая и рутинная. Жид. Письма. Ни малейшей идеи, ни даже попытки пристальнее взглянуть на вещи. Наверно, именно сегодня война стала для меня *естественнее* всего, я окунулся в нее и уже ничему не удивлялся. Именно это отсутствие удивления и стало препятствием для мысли. Тем не менее в продолжении всего дня у меня сохранялся своего рода аппетит к тому, чтобы писать в этом дневнике. Я даже купил еще две такие же тетради. Но то был аппетит писаки, собирателя. У меня было ребяческое желание обладать четырьмя-пятью исписанными тетрадями, как в детстве мне хотелось иметь полное собрание приключений Буффало Билла. Мне бы хотелось, чтобы мой «военный дневник» был таким же толстым. Ясно ведь, что я хочу его опубликовать. По правде говоря, мне недостает решительности. Здесь я без всяких обиняков говорю о Б. и Ванде, вследствие чего не могу даже представить себе, что эти заметки в настоящей своей форме выйдут в свет, а в моей «гражданской» жизни все будет оставаться по-прежнему. Опять же они весьма дурно написаны. Время от времени у меня возникает желание как-то «вернуть» фразу, а иной раз она сама проваливается. Если мне придется представить свой дневник широкой публике, то неизбежна правка. А разве это не

¹ Роман будет опубликован только после войны.

надувательство? Когда подправляешь синтаксис, не изменяешь ли самому духу дневника? Наконец, обстоятельства этой войны и моей службы обязывают меня говорить здесь исключительно о себе. Все, что я узнаю об этой войне, доходит до меня через слухи. Если взглянуть на это дело со стороны, то мой дневник — это дневник *ни о чем*. Обособленный человек, оторванный от своих близких, коротает совершенно пустые дни в эльзасском городке. Ему неизвестно, когда закончится это заточение. Для поучительных заметок маловато. Вот если бы я служил на линии Мажино, все было бы по-другому. То есть возможность опубликовать его появится лишь тогда — правда, все может измениться — когда интересоваться будут не войной, а мной. Но сейчас до меня нет никому никакого дела. Так что, когда я думаю о публикации этих заметок, то имею в виду весьма отдаленное время.¹

Эти заметки, в которых говорится только обо мне, не содержат, однако, ничего интимного, я и не считаю их таковыми. Все, что со мной происходит, все, о чем я размышляю — всем этим я собираюсь поделиться с Бобром; едва событие происходит, как я его уже рассказываю. Все, что я чувствую, я анализирую *для другого* в тот самый момент, когда я это чувствую, сразу же начинаю думать, где и как это использовать. Если бы я не вел этого дневника и не было бы военной цензуры, то большая часть написанного перешла бы в письма, а об остальном я тотчас бы забыл. Я не знаю более публичного человека, чем я. Когда я думаю, то по большей части с мыслью убедить того или иного определенного человека, когда рассуждаю, то следую духу риторики, чтобы убеждать или разубеждать.² Лишь мои оощуще-

¹ 16 сентября Сартр писал о посмертной публикации своих дневников.

² В 18 лет Сартр писал в записной книжке, куда он заносил свои размышления и заметки о прочитанном: «Каждому человеку нужен

ния и интимный вкус моего тела составляют для меня интимность, ибо они непередаваемы. Так что мне вовсе не кажется, что этот дневник будут упрекать в том, в чем обычно упрекают личные дневники, а именно в том, что автор гоняется за двумя зайцами: интимностью и публичностью (он говорит об интимном, самом что ни на есть интимном, но для того, чтобы потом предать это огласке). Какова бы ни была судьба этих заметок, будут они опубликованы или нет, я писал их, следуя духу публичности — и прежде всего для того, чтобы показать Бобру.¹

С другой стороны, я должен признать, что они мне ничуть не в помощь. Мое перо должно бы было уточнить мои мысли, но вот уже пятнадцать лет, как я мыслю и обхожусь без помощи дневника. Я мыслю и выражаю в себе, удерживаю в себе, не прибегая к письму. Так что бóльшую часть времени я записываю здесь то, что уже было продумано и совершенно сложилось в моей голове.

Впрочем, здесь возникает новая двусмысленность личного дневника: надо ли думать, когда пишешь или записывать то, что продумано? Думать, когда пишешь, то есть уточнять и развивать тему с пером в руке, зна-

свидетель. Необходимость, несомненно, социологического характера. Тогда одни изобретают Бога, другие Сознание (персонифицированное), третьи являют себя в свете, не могут ничего подумать, не сказав, что думают, четвертые, наконец, сходят с ума, втайне воображая себе, что на них смотрят красивые женщины». См.: Carnet Midy, in *Ecrits de jeunesse*. Op. cit.

¹ Не оспаривая того, что Сартр говорит о своем пристрастии писать на публику, нельзя ли сказать, что здесь он превращает необходимость в добродетель, а Симону де Бовуар слишком поспешно отождествляет с публикой? В самом деле, если одной из признанных целей этих дневников является продвижение в познании самого себя, а именно в том, чтобы распутать мотивы своего любовного поведения, этого «рассеяния чувств», которое его удручает, достигнет ли он ее под взглядом заинтересованных лиц? Очень может быть, что он уже осознал это затруднение; в таком случае последняя фраза абзаца может быть прочитана как двусмысленное предупреждение, обращенное к читателям.

чит рисковать тем, что будешь себя насилловать, станешь неискренним. Записывать то, что продумано — это уже не личный дневник; он утратил какую-то органичность, что ли, составляющую его интимность. По правде говоря, дневники полезны, на мой взгляд, только в двух вещах: тем, что служат *memento*, представляя ют наряду с мыслями историю мыслей.

Будем справедливы: есть еще одно. Дневники соответствуют некоей заботе, которая свалилась на меня в июле и заключалась в следующем: посмотреть на себя — не из интереса к самому себе, а коль скоро я составляю самый непосредственный объект своей мысли — последовательно и одновременно через различные новейшие методы научного исследования: психоанализ, феноменологическая психология, марксистская или околomarксистская социология с тем, чтобы понять, что же конкретно можно извлечь из этих методов. И все это по случаю реальных открытий, которые я тогда сделал в отношении собственной гордыни. Меня соблазнило их применение к моему бытию-на войне. Но теперь я вижу, что отклонился от этого замысла. Завтра я попытаюсь прояснить свою *ситуацию* по отношению к войне, то есть, каким образом я должен ее рассматривать, исходя из моей гражданской жизни.

Четверг, 3-е

Мне кажется, что сейчас в жене Петера можно наблюдать некий всплеск чувств и угрызений совести наподобие того, что заставляет раскаявшихся вдов рыдать над гробом мужа. Всплеск чаемый, моральный, необычный для нее, сопровождаемый каким-то неловким неистовством — прекрасные, неподдельные и сильные переживания, которых потом она будет стесняться, когда его снова увидит: «Как! И только из-за этого!» Нет, не из-за «этого» — я по крайней мере так

не думаю, — это было из-за любви к морали. И опять же есть чем себя занять.

Фраза Жида от 8 августа 1905 г., которая резюмирует его теорию чувств: «Пусть даже драма окажется кровавой, я не знаю ни одного чувства, искренность которого нельзя было бы поставить под сомнение»,¹ доказывает, что он разглядел что-то весьма существенное в природе чувств — что они сомнительны — но далеко не все, ибо эта сомнительность чувств не имеет ничего общего с искренностью. Это характеристика их бытования: они существуют-сомнительными (откуда вытекает возможность всей психологии Жида, и Дьявол и т. п.), они лишены искренности так, как камень лишен зрения, а не так, как слепой человек. Остается, что есть чувства истинные и ложные, однако ложные обладают в точности таким же существованием, как и истинные. Просто они ложные, такая у них природа. Противопоставление чувства и ощущения оправдано: «Ощущение — оно всегда искренно; оно для нас является единственным гарантом подлинности чувств»² при условии, что под ощущением будет пониматься «*Erlebnis*»³ и что непосредственное и абсолютное сознание будет отличаться по своей природе от объекта-чувства. Но Жид впадает в материалистическое преувеличение и, как мне кажется, упускает из виду новизну своей собственной мысли, когда заявляет: «Наши чувства гарантированы нам их физиологическим звучанием».⁴ И вот мы вернулись к Джеймсу⁵ и, когда он пишет: «вскоре человек стал соответствовать тому образу самого себя,

¹ Journal. Op. cit.

² Ibid.

³ От немецкого глагола *erleben* (переживать, испытывать): переживание, опыт, аффект.

⁴ Journal de Gide, id.

⁵ Уильям Джеймс (1842—1910), американский психолог, в частности автор «Прагматизма», вышедшего во французском переводе в 1911 г. с предисловием Анри Бергсона.

который ему предлагали другие»,¹ — к банальному бо-варизму.*

Если я захочу понять, какую моральную позицию я должен занять перед лицом этой войны, то рискую теоретизировать впустую и исказить предрассудками понимание реальности. Первое, что нужно сделать — не *хотеть* какую-то позицию перед лицом войны, а наблюдать и объяснять ту позицию, которую я самопроизвольно занимаю перед ее лицом. Несправедливо обвинять психолога, как это делает Ален, в том, что он «вяло мыслит». Напротив, я нахожу в нем твердость, которой недостает моралисту, и в конечном итоге более строгую мораль, нежели мораль истины. Когда я живу и мыслю как моралист, мне все время кажется, что во мне существует некий раздутый героизм и тьма уловок, которые ускользают от моего взора, поскольку следует быть психологом, дабы их распознать. Когда же я рассматриваю себя как психолог, мне кажется, напротив, что я гораздо больше приближаюсь к подлинности. В моралисте всегда сидит, на том или ином уровне, концепция полезного заблуждения, столь любезная Барресу.** Всегда наступает такой момент, когда моральный человек заявляет, задирая нос: «Тем хуже. Заблуждаться с подобным пылом — как это прекрасно». И именно в этот момент из-за своей тяги к «делу» он упускает «бытие», то есть подлинность. Напротив, безжалостно проведенный анализ того и гляди подведет к этому трепету, к этой тоске, к этой униженности, которые мне совсем не по душе, но которые являются как бы провозвестниками подлинности. Стало быть, я попытаюсь определить здесь, что повлияло на мою предрасположенность к позиции, которую я занимаю сегодня в отношении войны.

Прежде всего война входит в состав моих детских воспоминаний. В этом отношении обнаруживается ее

¹ Journal de Gide, id.

связь с семьей. Я видел ее из семьи и через семью, поначалу она открылась мне как семейное событие. Тем не менее я не переживал ее напрямую, как многие в то время: никто из моей семьи не был на фронте. Мои дядюшки были слишком старыми, мой отчим слишком болезненным, и из наших знакомых мало кто ушел на фронт, поскольку круг нашего общения был образован главным образом из университетских преподавателей возраста моего деда. Кроме того, уехав в провинцию в конце 1916 года, я не видел военного Парижа, воздушных тревог, «Таубе» и «Большую Берту». Наконец, война мало того, что не лишила меня отца и не предоставила меня самому себе, как многих других, она, скорее, дала мне отца, поскольку именно в марте или апреле 1915 года моя мать снова вышла замуж.¹ Знал я этих ранних сироток вроде Клаво, который бегал за своей матерью с ножом в руке из-за того, что ему не понравился обед. Но мне не оставалось ничего другого, как завидовать их свободе за неимением собственной. Не было ли тут отождествления «серьезности» войны с «серьезностью» моего отчима? Как бы то ни было, она казалась мне своего рода помрачением духа времени, неким помпезным, ледяным, в особенности же занудным — ужасно занудным — оттенком, который лег на все окружающее. Не помню уже, много ли мы с товарищами говорили о войне. В этой войне я вижу какой-то разрыв, соответствующий замужеству моей матери: с 1914 по 1915-й во мне развилась актерская готовность имитировать возвышенные чувства, которые мой дед,

¹ Сартр немного путается в датах: он был в Париже во время 1916—1917 учебного года, когда учился в пятом классе лицея Генриха IV; несколько месяцев в Аркашоне он провел вместе с матерью в 1914 г.; что же касается второго бракосочетания матери, то оно состоялось не в 1915 г., а в апреле 1917 г.; ему вряд ли довелось видеть легкие немецкие самолеты «Таубе», которые свирепствовали в небе главным образом в начале войны, равно как и «Большую Берту» — дальнобойное немецкое орудие, обстреливавшее Париж только в 1918 г., когда он был уже в Ла Рошели, где обосновалась его семья.

тоже великий актер, выставлял напоказ. В Аркашоне в августе 1914 года я гордился собственной ловкостью, с которой пробивался сквозь толпу, чтобы заполучить один из этих машинописных листков, которые распространялись под названием «сводки». Разумеется, сейчас я это воссоздаю, но мне кажется, что тогда я верил, будто тем самым выполняю свой долг француза и пособляю «пуалю».* Чуть позже, уже в Париже, я написал в кожаной книжечке, которую подарила мне г-жа Пикар¹ и из которой узнавали о том, что мне нравится и не нравится, что моим самым сильным желанием было «стать солдатом и отомстить за павших». Не могу вспомнить без стыда об одной сцене: дело было на улице Ле Гофф, в кабинете-гостиной. Г-жа Пикар только что принесла мне книжечку, и вежливость требовала, чтобы я тут же ответил на анкету. Я уселся за письменный стол деда (я и теперь вижу бювар, зеленую, забрызганную красными чернилами папку) и стал писать, пока «эти дамы» болтали, преисполненный чувства долга, уверенности, что меня сейчас будут читать, и заранее надуваясь от возвышенных чувств. Когда я написал свои ответы, все присутствующие дамы пришли в восторг, и я переходил из рук в руки, принимая поздравления и поцелуи.² Примерно в то же время я писал военный роман, в котором герою удавалось взять в плен самого Кронпринца и вклеить ему затрещину на

¹ Подруга матери Сартра.

² Сартр вновь вспоминал об этой сцене, когда писал «Слова» в начале 60-х годов. Но концовка была другой; и *стыд*, о котором он пишет, был стыдом не взрослого человека 1939 г., а стыдом ребенка: «Какое ваше самое сильное желание? Я ответил, не колеблясь: „Стать солдатом и отомстить за павших“. Затем, не в силах продолжать дальше от волнения, я соскочил со стула и понес свое произведение взрослым. Внимание заострилось, г-жа Пикар поправила очки, мама склонилась над ее плечом; та и другая подчеркнуто шевелили губами. Они одновременно подняли головы: мама порозовела, г-жа Пикар протянула мне книгу: „Знаешь, дружок, это интересно только тогда, когда ты искренен“. Мне показалось, что я сейчас умру».

глазах у «пуалю». Наконец, в Нуаретабле, на благотворительном представлении в пользу «пуалю», я играл в героической пьеске, сочиненной моим дедом; я был юным эльзасцем, которого «боши» изгоняют из деревни, и который в конце концов обретает своего отца, французского солдата, служившего в стрелковом полку и освободившего захваченную деревню. В патетический момент я простирал руку со словами: «Прощай, прощай наш милый Эльзас», имея при этом меланхолический вид, это мне так удавалось, что господин Симон, смотритель Реймского собора, сделал с меня «эскиз». Эта акварель и по сей день находится у моей матери.¹

Шестой класс взял шефство над одним «пуалю», и я был назначен кассиром. Мне приносили мелочь, которую я складывал в копилку. «Подшефный» пришел как-то раз к деду. Он был высокий, с усами, робкий и грустный. Мне представляется, что я разговаривал с ним очень доброжелательно, и все были довольны. Стоит отметить тем не менее, что шестой класс, уже не помню, почему, к концу года потерял интерес к своему подшефному. В копилке оставалось немного денег, которые я забрал себе. Таким образом, мне кажется, что мое первое соприкосновение с войной было чисто героическим; я не видел и не чувствовал ничего истинного, я поддался условным и заданным чувствам, от которых вскоре освободился. В сущности, мне на все это было глубоко наплевать. И скрытая причина всех этих комедий заключена в том, что я жил тогда со взрослыми и подстраивался под них. Если и было во мне тогда что-то истинное, так это весьма особенная и определенная скука: я любил читать еженедельные подборки, в том числе за подписью Арну Галопена, рассказывавшие о подвигах мальчишек и их путешествиях вокруг света. С тех пор мне ненавистны именно те романы, в

¹ Воспоминание об этом представлении заканчивается в «Словах» самоуничижением.

которых описываются приключения бой-скаутов или молодых людей, принадлежащих к каким-то организованным группам. Кроме того, я читал фантастические и волшебные повести из «розовой библиотеки» («Алиса в стране чудес», сказки острова Ман, и т. п.).¹ Но после объявления войны часть этих изданий исчезла (в частности Буффало Билл и Ник Картер, публиковавшиеся немецким издателем), а другие претерпели изменения: розовая серия была теперь заполнена подвигами юных бельгийцев и французов с севера — Арну Галопен рассказывал о приключениях скаутов. Рассказы эти нагоняли на меня смертельную скуку. Прежде всего, думаю, из-за их однообразия: в них почти всегда рассказывалось о сражениях между немцами и французами. Затем в них пропала вся экзотика, которая делала столь прекрасным «Путешествие вокруг света на аэроплане» (Индия, Джунгли, Конго, Анды): разноцветные набедренные повязки дикарей сменились немецкой униформой, местом действия неизменно служили топкие и изрытые северные равнины. Кроме того, мое отвращение ко всяким организациям — в силу которого я так и не стал читать «Трех бой-скаутов» Жана де ла Ира — от этого только выигрывало. Эти юные герои, слишком слабые, чтобы самостоятельно, не нарушая правдоподобия, брать в плен немцев, рано или поздно были вынуждены обращаться за помощью к какому-нибудь французскому капитану или майору. Их поддерживали, опекали, командовали ими: они меня больше не интересовали. И все эти благонамеренные ценности, которые некогда я сам принимал, живя среди взрослых, наводили на меня смертельную скуку, хотя сам себе я в этом не признавался. Полагаю, что здесь кроется начало моего отвращения к войне. Ибо в то время чтение было для меня самым важным и самым

¹ «Розовая библиотека» — собрание книг для детей. Переложение «Алисы в стране чудес» вышло в свет в 1910 г., «Легенды острова Ман» — в 1914 г.

любимым занятием. Я читал целый день напролет. Понятно, что изобилие военных приключений должно было причинять мне глубокие огорчения, и если я сам написал начало военного романа, это объясняется, как мне кажется, своего рода раздраженным подражательством, как бывает, когда сам используешь выражение, раздражающее тебя в устах других.

Когда я прибыл в Ла Рошель, мои моральные понятия перевернулись. Прежде всего я оказался под властью отчима, чья мораль не имела ничего общего с моралью моего деда, затем у меня сложились более значимые отношения со сверстниками. Прежде мои отношения с товарищами находились под благожелательной опекой моих родных. Теперь наперекор им. И какие это были товарищи: циничные, грубые, хулиганистые, а главное — сексуально озабоченные. Помню, как-то раз мы взяли вопросник г-жи Пикар и расписали его шуточками и ругательствами. Отмщением за павших уже и не пахло. Я усвоил цинизм своих товарищей, чтобы иметь вес в их глазах — точно так же, как прежде усвоил возвышенные чувства моей семьи. Я все больше и больше удалялся от «военного состояния», каковое в моих глазах призван был воплощать только отчим. Этого отождествления войны с отчимом было довольно для того, чтобы война окончательно превратилась для меня в нечто угрюмое, тоскливое, мрачное. Она меня больше не интересовала. Я не читал газет и верил в нашу победу. Уже не помню, говорили ли мы с товарищами о войне. Заключение мира не вызвало у меня удивления, не принесло никакого удовлетворения. Это было событие, которое я отметил для себя с полнейшим безразличием. Сексуальные проблемы занимали меня тогда куда сильнее. 11 ноября, в то время как пушки 75-го калибра палили на пляже, Пелетье приобщил меня на земляном валу к невинным шалостям. В 1919 году угрызения совести занимали меня куда больше, нежели Мир. В течение нескольких лет приходилось терпеть официальные речи о наших

славных погибших воинах и возложенном на всех долге. Это стало общим местом. Мы с отвращением узнавали возвышенные чувства, которые превозносились, ведь все мы были к ним причастны в тот или иной период — я, например, в 14—15-м годах. И поскольку чаще всего эти проповеди произносились нашими преподавателями, те сливались для нас, с одной стороны, с официальным восхвалением греко-латинской морали, а с другой — с добродетельными наставлениями наших родителей. Начиная с 1920 года нельзя было вообразить себе ничего более мертвого и мумифицированного, нежели то, чем была для меня война. Без всякого преувеличения я мог бы сказать, что это было не ушедшее в прошлое, не канувшее в лету *событие*, а коллективный и вневременной миф, сопровождавшийся религиозными ритуалами, в общем — квинтэссенция морали взрослых.

Этот миф все время закрывал от меня *Историю*. Я ни разу не открыл ни одной книги по истории войны, за исключением «истории войны» *Крануйо*,* пять или шесть лет назад, причем исключительно потому, что я знал, что там была предпринята попытка развенчать этот миф. В общем, долгое время война была для меня лишь букетом добродетелей взрослого человека. Она сливалась со словами «долг», «родина», которыми стали злоупотреблять к 1919—1921 году, и в этом плане утратила всякую реальность. Я не стал читать «Огонь» Барбюса,¹ хотя тот рассматривал войну с совершенно другой точки зрения; он тоже был заражен. Я не читал «Деревянных крестов» Доржелеса,² так и не дочитал «На Западном фронте без перемен».³ От всего этого веяло невыносимой скукой: стоило мне захотеть преодолеть барьер добродетелей, который я выстроил пе-

¹ Роман вышел в свет в 1916 г. в издательстве «Фламарион».

² Один из самых известных французских романов о первой мировой войне, опубликован в 1919 г.

³ Французский перевод романа Э. М. Ремарка появился в 1929 г.

ред этим событием, как сразу я вновь сталкивался с этими реальностями, которые мне так не нравились: дисциплина, организованные группы и топкие равнины севера. В общем, одна и та же реакция и на книги о войне, и на детские подборки 1914 года. В общем, долгое время война была для меня неким воплотившемся мифом, в точности как Христос для Кушу,¹ мифом, которому впоследствии придали статус события. И меня всегда восхищало, когда я видел, как люди моего возраста, вроде Фридмана в «Жак Ароне»,² вспоминают определенные события, образы, от которых «веет войной». Еще и сейчас, когда я мысленно возвращаюсь в свое детство, свое отрочество в Ла Рошели, мне требуется определенное усилие, чтобы вспомнить, что «это было во время войны». Так что моя первая реакция в отношении войны неотличима от моей реакции в отношении морали взрослых. В ней нет ничего от отвращения тех, кто пережил хоть малейший ее эпизод. И поскольку эти взрослые, которые говорили о войне, были в конечном итоге ее участниками, очень быстро во мне родилось отвращение к ветеранам войны. Они меня раздражали, поскольку считалось, что у них есть на меня права. Это скопище скуки, долга, помпезных и риторических добродетелей я и хотел перетряхнуть. Выйти из войны значило выйти из ложной добродетели — в точности так, как уходят от религии или протестантского пуританизма, когда теряют веру. Здесь я хочу указать именно на ничтожность начальных оснований, заставивших меня презирать войну. Но вначале я презирал ее как бунтарь-одиночка. В 1923 году, например, когда я уже был преисполнен этого отвраще-

¹ Имеется в виду статья Поля-Луи Кушу «Иисус, Бог или человек?», которую Сартр прочел в сентябрьском номере «НРФ» за 1939 г.

² «Жак Арон I» («Настанет ваш черед») и «Жак Арон II» («Прощание») — романы французского писателя Жоржа Фридмана, опубликованные в издательстве «Галлимар» соответственно в 1930 и 1932 гг.

ния, я учился на первом курсе подготовительного отделения и отказался подписать, уж не помню какой, социалистический манифест, частично потому, что социализм казался мне «организацией», частично из-за бессознательного притяжения идей моего отца. Перед лицом войны я был человеком озлобленности, я ее презирал, поскольку она представляла собой царство добродетели. Такова была аффективная среда, в которой развивались мои *идеи* о войне. Идеи, впрочем, воспринятые мной целиком и полностью извне. Осмысленные и усвоенные, конечно, но воспринятые. К 24 году я стал антимилитаристом. Влияние товарищей (Бруссодье, Гиль, который говорил тогда: «Пусть меня лучше расстреляют, но маршировать я не стану»). Главная книга: «Марс, или Война под судом». Этот антимилитаризм никогда не имел конструктивного характера, равно как мое отвращение к войне никогда не было пацифизмом. Мне никогда не приходило в голову присоединиться к какой-нибудь акции за разоружение, равно как, впрочем, совершать какие-нибудь обязывающие поступки (отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям и т. п.). Подобно всем остальным я повторял пацифистские аргументы: «Ничто из того, что может принести победа, не стоит человеческой жизни» — или же: «Допустим, что немцы нас завоюют. Ну и что?», — но не очень-то им веря. С каким-то беспокойством, поскольку дальше этого дело не шло. Я также не верил ни в улучшение человеческой породы, ни в прогресс, то есть мне было трудно принять для себя эту надежду, что настанет день, «когда больше не будет войны». Не думаю, что часто принимал это в расчет. В самом деле, моя естественная позиция, прикрытая модными идеями, заключалась, судя по всему, в том, чтобы осуждать войну и армию, будучи при этом убежденным в том, что всегда будут и войны, и армии. В точности так же, когда я повторял эту фразу: «Ничто не стоит человеческой жизни», — я был конечно в этом убежден, но мое убеждение держалось на глиняных

ногах, поскольку я не был гуманистом. Многим из моих товарищей была отвратительна мысль о том, что нужно убивать, но мы говорили друг другу, Низан и я, когда те уходили в армию, что нам было бы отвратительно не убивать, а быть убитым. В самом деле, на военной подготовке, а затем и на службе я узнал лишь то, что армия унижает человека. Я это глубоко прочувствовал, что и повергло меня в форте Сен-Сир в отчаяние. Я нес службу с таким негативизмом, на который был только способен, в силу чего она стала самым печальным периодом в моей жизни.¹ Однако это все больше и больше подводило меня к тому, чтобы рассматривать войну с моральной точки зрения: ложная добродетель, реальное унижение человека; не принимая во внимание ее ужасную разрушительную реальность. И тем самым к еще большей заботе о моей личной позиции перед лицом войны и на войне. Не принимая никакого участия в акциях против войны, я точно так же не помышлял и о дезертирстве. Когда Гиль или Бруссоде говорили о дезертирстве как возможном решении, я все время отвечал со смущением: «Я в нестроевой части. Следовательно, у меня есть все шансы выйти сухим из воды. Если же дезертировать, вся жизнь полетит к чертям». Таким образом я загонял себя в стоицизм, как единственно возможную моральную позицию, и в той мере, в какой война маячила на горизонте моих возможностей, скрытый стоицизм являлся потенциальной и константной возможностью моего бытия. Долгое время я украшал его «отказом» в духе Алена. Быть стойком и говорить «нет». Но естественно, когда я предполагал в будущем сказать «нет», это «нет» говорилось войне 1914 года. Нет царству добродетели, промывке мозгов и унижению.

¹ Раймон Арон, инструктор Сартра в форте Сен-Сир, вспоминает: «Эти месяцы, непонятно почему, не оставили ни одного приятного воспоминания. Ничего такого не произошло, но по сравнению со Школой, отношения наши ухудшились». *Raymond Aron. Memoires. Julliard, 1983.*

Естественно также, я был убежден в одной идее, рожденной анализом «большой» войны: война не бывает оборонительной, поскольку не бывает так, чтобы за войну был в ответе кто-то один, что делало удобной позицию неприятия. В то же самое время нищенское положение Германии в 1924—1930 годах, не внушавшее особых опасений, побуждало меня думать, что если случится война, то агрессором будет Франция. То есть отказ был еще более удобен, поскольку принятие войны означало пособничество агрессии. Но, с другой стороны, я никогда не связывал войну с капиталистическим империализмом — вначале из-за недоверия к марксистским теориям, затем под влиянием Алена, для которого война — это страсть, а не игра интересов. То есть я рассматривал ее как временное помешательство, в отношении которого, если это произойдет, приличествует встать в позу, но не как логическое завершение некоей политической и социальной эволюции, которую мне следовало бы пытаться остановить во всякую минуту. Это устраивало меня еще больше из-за того, что я — в силу других причин — никогда не хотел заниматься политикой и ни разу не голосовал. То есть негативная позиция по всему фронту. К тому же мне никогда не приходила в голову мысль, что я могу погибнуть на войне. По крайней мере до сентября 1938 года. И это понятно, поскольку она была для меня лишь царством скуки, глупости и добродетели. Для меня это был период, когда моя жизнь и моя мысль были как бы приглушены, период, который нужно было перетерпеть, но который содержал в себе некое «после». Когда я был в мрачном расположении духа, мне казалось, что он вернется (особенно после 33-го года), но, в сущности, разве я в это верил? Не был ли то обычный пророческий и животный страх? Во всяком случае, эта утрюмость, соединяясь с моей позицией человека озлобленности, стоила мне того, что военные угрозы 37, 38 и 39-го годов не сбили меня с моего пути. Пацифисты, которые, в общем, были моими братьями около 1928 года, ока-

зались в полном моральном смятении. Что касается меня, то я просто встал на эту давно подготовленную почву стоицизма.

Подхожу к 38—39-му году. В момент аншлюсса и в мае 38-го (немецкое давление на Чехословакию) я дрогнул. Реальность войны была еще скрыта для меня. Я видел в ней лишь разлом своей жизни, перерыв в своих сочинениях, а главное — бомбардировки Парижа. Помню, как в мае я гулял с Бобром по Парижу, смотрел на все эти красивые дома и видел их железные и бревенчатые скелеты, железные балки виделись мне искореженными, деревянные — обугленными. С тех пор Париж стал мне казаться «хрупким», в особенности после сентября, и я мало-помалу от него отдалялся, я начал любить его как будто со стороны. Затем наступил сентябрь. Нервозность в Рабате,^{*} Касабланке. В Марселе — мрачное ожидание.¹ Только в Мартиге^{**} мне случилось всерьез задуматься о том, что я могу стать калекой; мы сидели на берегу канала; гудки парохода неприятно отдавались в ушах, моросило. Мы спорили о том, что лучше — вернуться с войны слепым или с изуродованным лицом. Начиная с этого времени я стал жить в состоянии, которое мы назвали воображаемой верой в войну. То есть все проекты, все представления — все согласуется с войной, однако основа не задействована или задействована лишь в воображении. Я злился из-за того, что Бобр не могла принять вслед за мной этой воображаемой веры: или вовсе в это не ве-

¹ Летом 1938 г. Сартр ездил в Марокко. Начало Судетского кризиса пришлось на середину сентября, когда он уже был в Париже. Напомним, что Гитлер грозил аннексировать Судетскую область, находившуюся на территории Чехословакии, но заселенную в основном немцами. В одном из писем того времени, адресованном С. де Бовуар, Сартр делает тщательный анализ международной обстановки, рассматривая все возможности развития событий. (См.: *Lettres au Castor*. Т. 1. Р. 210. *Op. cit.*). Последняя неделя этого кризиса, завершающаяся Мюнхенскими соглашениями, будет положена в основу сюжета «Отсрочки», второго тома «Дорог свободы».

рила и жила полной жизнью счастливого мирного времени, или верила целиком и полностью (что бывало редко) и превосходила меня, ибо по-настоящему тосковала. Но истинное лицо войны закрывали от меня и мои обязательства по отношению к Ванде. Я обещал перетащить ее в Париж и боялся, что не смогу выполнить своего обещания. Вот что главным образом занимало меня в сентябре. По возвращении в Париж я разрывался между сторонниками и противниками Мюнхена, и я должен признаться здесь, что мне так и не хватило интеллектуального мужества сделать свой выбор. Мюнхенцы внушали мне отвращение, потому что все они были буржуа и трусы, дрожавшие за свои шкуры, свои капиталы или свой капитализм. Но антимюнхенцы наводили на меня страх, поскольку они хотели войны. Я еще не настолько свыкся с идеей войны, чтобы понять, что ее можно хотеть. Для меня вся проблема сводилась к следующему: можно ли ее пережить или следует всеми силами ее отвергать (вплоть до дезертирства или расстрела), и даже если я выбрал стоическое смирение, угрызения совести меня не оставили. К тому же ситуация была сомнительной: в конце концов судетские немцы были немцами и хотели вернуться под крыло Германии; в конце концов чехи не сдержали своего слова;¹ в конце концов, мы были не готовы к войне.

Все же именно к этому времени состояние войны надолго поселилось во мне. В сентябре с К. Х., затем с Бобром я полностью осознал войну и свою свободу в отношении войны; я объясню, что это значит, в другом месте. Во всяком случае во мне происходила медленная работа, которая заставляла меня ощущать свое сознание настолько более свободным и абсолютным, насколько моя жизнь становилась более связанной, бо-

¹ Возможно, имеются в виду те гарантии, которые после первой мировой войны молодое чехословацкое государство давало национальным меньшинствам.

лее случайной и более рабской; дошло до того, что моя тогдашняя жизнь, к которой я был так привязан, которую я принял за само мое бытие, открылась мне как один из возможных жизненных опытов, который подерживался, удерживался и был превзойден моим сознанием. Сколько раз на протяжении года перспектива войны делала нас — Бобра и меня — «экзистенциальными», в особенности тем мартовским вечером, после аннексии Чехии, в маленьком ресторанчике на площади Победы. К этому меня сильно подталкивало чтение Хайдеггера, к которому я тогда обратился. На Пасху, после оккупации Албании итальянцами, вечером, когда мы спускались с горы к Ницце, я вдруг понял, почувствовал и изложил Бобру первичную ситуацию бытия-на-войне, почти невыносимую во всей своей сложности: необходимо осознать, 1) что неизвестно, что произойдет с *самим* тобой в мире (ранение или смерть — или просто-напросто оупение); 2) что неизвестно, что произойдет с окружающим тебя миром (поражение — появление новой идеологии — социальные потрясения). Однако коль скоро, в конечном итоге, всякое изменение подразумевает нечто неизменное, а здесь мое «Я» и мир рискуют измениться одновременно и каждый по-своему, невозможно больше помыслить эту всецелую и иррациональную изменчивость. Немного позднее, в Авиньоне, и совсем недавно, 16 августа в Каркассоне, я обсуждал с Бобром возможность морали и подлинности для войны и через войну. Я буду об этом говорить здесь или в другом месте. Так что война, которую я познал сначала как мифическое царство консервативных добродетелей, потом, в ходе моего чтения, как нечеловеческое и объятые страхом потрясение самого нутра, как нечто слишком жестокое для человека, что, следовательно, его умаляло, эта война становилась, напротив, весьма полезным нашествием ужасного, благодаря которому можно было лучше понять свое бытие в мире. Все мои мысли этого года, моя жизнь втроем, моя странная легкость и мое странное

счастье управлялись войной. Дело в том, что она внезапно обнаруживала некую модальность бытия-в-мире, модальность, которая, возможно, наиболее благоприятна для того, чтобы чувствовать и понимать это бытие-в-мире. И поскольку оно было естественным, я сделал несколько робких усилий, чтобы принять ее как будущее, случайное и вызванное человеческими решениями событие, поскольку она была так полезна для меня, как общая ситуация человеческой-реальности. Я объяснил, например, Бобру, что эта война уже не будет, как война 1914 года, ленивой войной, ответ за которую несут все государства, что на этот раз у меня действительно есть то, что нужно защищать, а именно защищать мою свободу писателя от нацистской идеологии. На что Бобер отвечала: «У вас, возможно и есть. Но что защищать северному пастуху? И можете ли вы принять эту войну для него?»¹ С чем нельзя было поспорить. В другой раз, в Жуан-ле-пене,* я сказал ей, бросив взгляд на эту обездоленную и разношерстную толпу, что всегда верил в то, что люди созданы для мира, но при виде этих вот людей я уже не понимаю, чего они более достойны — мира или войны, с чем она опять не согласилась. В сущности, эти попытки были направлены лишь на то, чтобы избавить себя от стоического отказа в духе Алена, поскольку казалось, что исторические обстоятельства не могут уже его мотивировать и что, с другой стороны, он мешал мне проживать и понимать войну как подлинность. В конце концов отвергнуть войну — это, конечно, же очень хорошо, но это значит свалиться в нее с закрытыми глазами. В своем «Марсе» Ален говорит не о войне, а о военной системе. То есть я оказался на перекрестке между стоическим отказом, желать коего меня научили все мои моральные понятия, и подлинностью, и я пытался избавиться от одного в пользу другой. Кажется, что те-

¹ Помня о «северном пастухе», Сартр создаст в «Отсрочке» образ Гро-Луи, призванного в армию во время Судетского кризиса.

перь я начинаю понимать: ненависть к войне заложена в ее природе, и люди, которые развязывают войну, являются преступниками. Кроме того, это историческое недоразумение, случайность, которую всегда можно избежать. Но если уж эта случайность *произошла*, она становится исключительной в своем роде точкой зрения, для того чтобы человек осуществил и понял свое бытие-в-мире (потому что это бытие-в-мире оказывается *в опасности*). Больше того, *это* и есть человеческое бытие-в-мире, это сама человеческая-реальность, увиденная через шаткость, абсурд и отчаяние, но, тем самым, и выставленная напоказ. Итак, необходимо проживать войну безо всякого отказа, что не значит, что она перестает быть ненавистной, поскольку ненависть к войне заложена в ее природе. Необходимо проживать ее с ненавистью и подлинностью. В общем, мои взгляды изменились в следующем: я принимал войну за бесчеловечное нарушение порядка, которое обрушивается на человека, теперь я вижу, что это ненавистная, но упорядоченная и человеческая ситуация, один из модусов человеческого бытия-в-мире.

Сегодня утром, в 11 часов, нам сообщают, что мы выступаем вечером. Куда? Наверное, в Брумат, на границу. Большое волнение. Толстый почтальон, с огромными черными бровями, подходит к нам: «Ну что, старина! Едем на передовую, вот и все дела». Какая-то легкая, веселая и ощутимая нервозность: я не думал, что так повернется, я смутно завидовал судьбе тех, кто «ехал на передовую», но мне и в голову не приходило, что это должно будет произойти со мной. Я ему отвечаю из вежливости: «Да, конечно, но все же мы будем в десяти километрах от линии фронта». «Понятно, но все же на таком расстоянии и нам время от времени могут дать прикурить». Толика героической важности, которую осаждает Мистлер, говоря нам: «Да не волнуйтесь вы, еще неизвестно, выступаем мы или нет, не горячитесь». Тем более что по новому слуху, который

привез один мотоциклист, на самом деле мы отправляемся в какое-то теплое местечко, и нас переводят, чтобы освободить место англичанам.¹ (В самом деле, мы отправляемся в Иттенхайм, что в 12 километрах от Страсбурга; мотив: перевести штаб в безопасную деревню, вдали от большой дороги. Но Иттенхайм как раз на большой дороге.) Ощущение приключения, которое сохраняется до сих пор. В два часа не было письма от Ванды. Я сразу почувствовал себя разорванным и забытым. Это впечатление сохранялось на протяжении трех часов: приключение в состоянии заброшенности. Сильно и мрачно. Потом Поль приносит мне очаровательное письмо от нее. Радостное возбуждение. Теперь я счастлив. От Бобра письма нет.

Призрачная война: один подрывник говорит нам, что солдаты, которые натягивали ночью колючую проволоку у Кельского моста, слышали, как немцы говорили им на хорошем французском: «Что вы делаете? Мы не собираемся на вашу сторону». И поскольку те продолжали свое дело, немцы любезно стали им светить. Все эти разговоры ведутся, конечно, по приказу; все время один и тот же план: разъединить англичан и французов. Впрочем, французская передача из Штутгарта² завершалась вчера такими словами: «Французы, Гитлер отдал приказ своим солдатам не атаковать вас, не стрелять в вас. Мы будем держать оборону, мы не хотим воевать против французов».

Вплоть до последнего времени война казалась мне противоположностью всего того, что я любил, всего того, что я называю поэзией. А потом мало-помалу я

¹ Две английские дивизии высадились во Франции 3 октября 1939 г.

² «Радио Штутгарта» было создано в начале войны по инициативе министра пропаганды Геббельса; его передачи на французском были ежедневными.

открыл для себя поэзию войны. Сначала как-то ночью, когда маленький поскрипывающий автомобиль перевозил нас через оливковые рощи из Дельф в Итеа, у меня возникло впечатление, что это был какой-то специальный автомобиль, а мы были группой офицеров, отправившихся на уже не знаю какое особое задание.¹ Я не смог бы привести причины этого впечатления, но фактом остается то, что через него я ухватил новую связь разорванного, лишённого своего спокойного и созерцательного смысла пейзажа с этими грузовиками, наполненными людьми, которые пересекают этот пейзаж и обязаны его разрушить. Своего рода связь в смерти и обнаженности. С тех пор эти слова: Венеция во время войны — военные ночи в Стреза — тыловой Париж (речь, естественно, идет о войне 1914 года) исполнены для меня поэзией; они вызывают в моих мыслях скоротечные радости в зачехленных городах, похожих на эти полуразобранные на следующий день после ярмарки балаганы под открытым осенним небом. В общем, абсурдные образы, тепловатые напитки Рембо,² проникнутые спокойствием, грустью и бесчеловечностью, вновь обретенное спокойствие. Мне видится в этот момент город на берегу Лаге-Маджоре,* застывший от холода, опавшие листья под ногами редких гуляющих в черном, все большие дворцы закрыты и пустынные, серая вода и несколько неподвижных солдат на углу улицы.

Выше я забыл написать об ужасном страхе (но в воображении), охватившем меня однажды в моей комнате в Лаоне, когда — война уже приближалась — я прочел книгу Элен Зенна Смит «Не так уж спокойно».

¹ Воспоминание относится к лету 1937 г.

² Намек на «Сезон в аду» (Бред II): «Мне нравились рисунки слабоумных, панно над дверями, афиши и декорации бродячих комедиантов, вывески, народные лубки... Я полюбил пустоши, спаленные зноем сады, обветшавшие лавчонки, тепловатые напитки». (Цит. по: Рембо А. Произведения. М., 1988. С. 321. Пер. Ю. Стефанова).

Описание солдат, сожженных огнеметами, их лица были «как сырое телячье легкое».

7 часов 30 минут — отправление в Иттенхайм.

Иттенхайм, среда, 4 октября 39-го года

В шесть тридцать вечера мы вместе с писарями собрались на Церковной площади. Ждем грузовик, на котором должны ехать в Иттенхайм. Грузовика нет. На площади стоит автобус, но он предназначен для офицеров. Подходит какой-то лейтенант. «Думаете, что будет грузовик?» Смеется, сама идея кажется ему потешной. «Итак, если без десяти семь он не появится, будет лучше, если вы подтянетесь к южной окраине Мармутье, откуда вас маршем отправят на Иттенхайм». Уходит. Писари и ординарцы ошеломлены. Поль в бешенстве. «Они *должны* отвезти нас на грузовике, я с места не сдвинусь». Они мне были омерзительны, тем более что в сумерках были видны длинные колонны стрелков, которые уже прошли форсированным маршем 35 километров и как ни в чем не бывало шли своей дорогой. На нас было много всего понавешено, но я испытывал что-то вроде радости при мысли о предстоящем усилии. Это странное обязательство: сделать как можно больше, чтобы как можно лучше почувствовать войну. Естественно, мне по-прежнему мешали приспешники (можно было бы сказать, Помощники по Кафке), хотя, наверное, я был даже доволен, что они мне мешали. Появляются лейтенанты Мюно и Пенато и капитан Мюнье. Завязываются переговоры с лейтенантами, которые посылают капрала Курси к полковнику. Тем временем капитан Мюнье, человек симпатичный, говорит: «А поднимайтесь-ка в офицерский автобус». Мы поднимаемся через заднюю дверь и забиваемся в темный салон. Рядом раздается ироничный и культурный голос: «О-го-го! Думаю, они ошиблись адресом». Это

говорит маленький усатый лейтенант, чьи очки в железной оправе и пороссячью мордочку я различаю позже при свете фонаря. С ним еще два лейтенанта, которые недовольно перешептываются. Один из них говорит с ироничной обеспокоенностью: «Если только мы не ошиблись». И строгий голос: «В конце концов, ведь это автобус для офицеров?» Петер объясняет им, что мы здесь по приказу капитана Мюнье. «Какого капитана? — раздается непонимающий голос. — Мюнье? Прюнье? Ну да, понятно...». Лейтенанты с досадой уступают, один из них говорит другим: «Вы хоть взяли свои противогазы?» Затем: «Коль скоро *солдатне* (подчеркнуто с аристократическим презрением) позволено сесть в этот автобус, не понимаю, почему бы нам не посадить наших ординарцев». Тут поднимается какой-то капитан: «Вот какой симпатичной стороной открылось лицо Бьене», — сказал он, смеясь, обращаясь к одному из лейтенантов. «Господин капитан, — живенько соображает Петер (хотя в глубине души недолюбливает офицеров), — впереди есть места». «Впереди, почему впереди?» «Мы здесь устроились, чтобы вас не стеснять». Капитан лихо бросает: «Мы не в „Комеди-Франсез“, тут нет ни партера, ни галерки». Принужденный смех трех лейтенантов. Появляется лейтенант Z., в котором все больше и больше проступает педик: «Друзья мои, есть места в штабной машине». Облегченные вздохи трех лейтенантов, бросающихся в панике к выходу, чтобы не быть рядом с солдатней. Точно говорю, от нас не пахло. Это мне напомнило тех богатых американцев, которые оставили пустовать целую улицу Нью-Йорка из-за того, что в одном из домов поселилась негритянская семья. Петер, задыхаясь от возмущения: «Ну и ну! Вот люди! Мне хотелось сказать им: господин лейтенант, очень может быть, что на гражданке от нас пахнет получше, чем от вас». Он забивается в самый зад, чтобы устроиться поудобнее. Я сажусь спиной к водителю, вытянув ноги на противоположную скамейку. Долгое ожидание, затем авто-

бус отправляется, мы едем в темноте, очень медленно, трясемся на ухабах. Радость. Медленно обгоняем нескончаемые колонны темных теней, стрелки. То тут, то там мелькает огонек сигареты; позади нас, на дороге, я вижу голубые огни семи или восьми машин, которые тянутся одна за другой. Много остановок. На одной из них фары одной из машин высвечивают на слюде заднего окна прыгающую тень идущего человека, она растет и растет, становясь гигантской.

В 9 часов прибытие в Иттенхайм. Нас и трех ординарцев размещают в просторном амбаре, где есть солома и две кровати. Мы выбираем кровати — по одной на двоих. Окна разбиты, слышен лай собаки. С улицы доносятся шум передвигающихся частей, приказы, смех. Время от времени в окно врывается свет какой-нибудь фары. Поль падает рядом со мной, Петер кашляет, шмыгает носом, прочищает горло. Раза три или четыре заходят какие-то солдаты, светят фонариками, спрашивают, нет ли места. Их гонят прочь. Радость, к которой всегда примешивается эта чуточку мрачная меланхолия, неизменно присущая военным переездам. Кругом такой холод, такая грусть, найдется ли назавтра «queerencias»? Но все же радость перемены мест. Я крепко сплю.

Утром нам говорят: «У народа в Иттенхайме самая дурная слава по всему Нижнему Рейну. Ничего не найдешь». И все же часов в одиннадцать мы обретаем в отеле «Бёф д'Ор» тепленькое местечко, которое делят с нами трое ребят из радиоотделения. Я перевожу все наши ящики на тележке (восемь поездов). Смеюсь при мысли: «Вот бы Гилль меня увидел». Впечатление, наверное, обманчивое, что имею бравый вид, когда толкаю свою тележку. Полдень. Пишу в нашей маленькой общей комнате, пока приспешники ищут, чем бы поживиться.

Прочел в «Neueste Nachrichten»:¹

«В силу сложившихся обстоятельств следует опасаться того, что многочисленные бродячие собаки могут спровоцировать эпидемию бешенства.

Напоминаем в этой связи, что закон требует, чтобы хозяин бешеной или с подозрением на бешенство собаки немедленно уничтожил животное и доложил в мэрию или полицию. Последние уведомляют в таком случае местного ветеринара и префектуру. Труп животного должен быть оставлен до прибытия ветеринара. Кроме того, всякая собака, владелец которой неизвестен и которая замечена без хозяина, должна рассматриваться как бродячая и отлавливаться. Если за собакой никто не может присматривать, то ее следует немедленно уничтожить».

Представляю себе этих покинутых в Страсбурге собак. (Примечание от 13 октября: Романтизм. В Страсбурге осталась полиция и служба по уборке города.)

Вчера весь день какая-то тоска. Мне было холодно, деревня, зажиточная и опустошенная из-за большой дороги, не кажется мне приветливой. Тем не менее утром удивился тому, как мало чувствуется, что она переживает войну, как мало в ней чувствуется война. Богатые и белые фермы, большие дворы, деревянные балконы, дикие виноградники. Хотя удивляться тут нечему. Война — это мы ее сюда приносим. Мы, зачумленные, которые разносят повсюду свою болезнь и всё кругом заражают. Мы вдруг изменили смысл этой эгоистичной, богатой и спокойной деревни. Разрушили смысл амбара, в котором мы живем ввосьмером, четверо из метеотделения и четыре ординарца, разорвали его обыкновенные связи (наверное, здесь спал кто-то

¹ «Strasburger Neueste Nachrichten» — эльзасская газета «Страсбургские последние известия».

из прислуги или дворовых), мы превратили его в казарму. Теперь все его связи являются военными, они и определяют в конечном итоге его характер орудия для бытия-в-мире-разрушения. Когда мы уйдем из деревни, амбар вернет себе покой роскоши. Чем только не удивляет эта призрачная война: в этих краях солдаты чувствуют себя так, словно они нарушают чье-то спокойствие, несут с собой заразную болезнь. Война не принесла никаких разрушений, мы ничего не защищаем: мы импортируем войну в богатые деревни, которым от нас ничего не нужно.

Один солдат пьет рядом со мной кофе: «Мне 39, старина, а я служу с теми, кому 29—30, это несправедливо, мне светит передовая, а мой тесть работает на заводе боеприпасов в тылу, получает все сполна, 1800 франков в месяц — я же 10 су в день. Мне не завидно, но должна же быть справедливость. Пусть те, кто работает в тылу, тоже получают по 10 су, как ты думаешь?»

По радио в гостинице «Бёф д'Ор» передают музыку из «Белоснежки». Какое-то стрекотание, сопутствующие шумы. Но когда звучит знакомая мне мелодия (которую я считаю безвкусной и банальной), словно зарница проносится в моей ночи, обещание, что все это кончится, что я снова стану человеком. Это продолжалось пятнадцать тактов, а потом все пропало.¹

Мне случалось пережить моменты сильной радости с тех пор, как меня призвали, однако все мои воспоминания, относящиеся к Сантрею, Мармутье и т. д., отравлены, словно бы пережитые мной моменты обнаруживали свой яд после того, как они уходили в прошлое.

¹ Мультфильм Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» вышел на французские экраны в 1938 г. Песни из этого фильма были переведены на французский язык, часто передавались по радио и были у всех на слуху. По-видимому, Сартр имеет в виду песенку «Когда-нибудь мой принц придет».

Все они (даже чувство радости в четверг вечером) сияют каким-то фальшивым и чуточку болезненным блеском — что-то безжизненное и нехорошее.

Сегодня превосходное настроение. Прошел слух, что мы отбываем в Саарбрюккен. Может, кто-то пошутил. А может, и правда: там скапливают войска, опасаясь серьезного удара.¹ То есть *это бюджет*, я буду на передовой. Ощущение любопытства на фоне удовлетворения и капельки тоски. Я еще не страдал от войны в своем теле. Подумал об этом, слушая Хантзигера, когда он мне рассказывал о том, как охранял грузовик ночью со среды на четверг: «Я уже не чувствовал ног, замерз как ледышка». Необходимо, чтобы я и это пережил: страдание тела и одновременно освобождение тела, поскольку страдание *не в счет*. Я хочу сказать: оно не имеет значения для жизни; мне холодно. Ну и что? Простужусь. Ну и что? Пневмония. Ну и что? Это *не имеет значения*. Тогда как страдание и боль в гражданской жизни имеют нежелательные последствия приостановки жизни: я не смог бы пойти на свидание, работать, сделать намеченное и т. д. На войне же болезнь не разрушает ни одной из моих возможностей, поскольку все они уже разрушены. Война — это болезнь, которая сидит во мне со 2 сентября. Пневмония может быть лишь сопутствующим заболеванием. На войне я могу быть где угодно, кем угодно, когда угодно. Мое тело — это анонимная немощь. Но все это (на моем теле) я могу лишь различать; только неприятное состояние, через которое я учусь это чувствовать: холод, постоянный и непобедимый со вчерашнего утра; сильный насморк.

¹ Саарский фронт действительно существует, но никакого сколько-нибудь серьезного наступления там не наблюдается. Тем не менее газеты дают понять, что французские войска собираются занять этот регион.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО СТОИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ни к чему было так пыжиться: похоже, что мы отправляемся на спокойный участок недалеко отсюда. Что же до холода, то с этим все — мне самому пришлось сходить за углем и протопить печь.

Пришлось прекратить эвакуацию эльзасского населения, настолько плохо принял центр беженцев. Говорят, что префект Дордони освобожден от своих обязанностей.

Пятница, 6 октября

Вся дивизия выступила сегодня утром. Ночью гул голосов и проходящих войск. Полю снится, что он взобрался на какую-то башню, а она падает, и он вопит что есть мочи у меня под боком. Утром я остаюсь один в Иттенхайме. Единственный солдат. Сторожу аппаратуру, за которой вечером придет грузовик. Забавное ощущение свободы и принуждения. Моя судьба уже слишком крепко связана с дивизией, чтобы я мог чувствовать себя свободным. Скорее, мне представляется, что меня оставили в тылу. Но сейчас, когда уедут последние солдаты, я пройду под дождичком по улицам, чтобы посмотреть, как эта спокойная деревня будет восстанавливать после стольких волнений свой мирный облик. Теперь война ее покинула, война идет дальше, в Брумат. В Мармутье нас сменили не негры, а штрафники.

Прочел в дневнике Жида по поводу слов Барреса: «что я люблю в прошлом? Его грусть, его безмолвие, а главное — его устойчивость. Мне мешает то, что движется», — следующие размышления: «Можно ли вообразить себе более тяжкое признание?.. Идея о возмож-

ности прогресса человечества ничуть не трогает его мысль. Соприкасаясь с этими страницами, я лучше понимаю, насколько завладела мной эта идея прогресса, как она надо мной властвует» (13 июля 1931 года).

А я, читая эти замечания Жида, понимаю и лишний раз убеждаюсь, что идея прогресса остается для меня мертвой буквой. Наверное, вся та же гордыня. В том смысле, что я вполне принимаю релятивизм в пространстве, в форме взаимности — но ни в коем случае релятивизм временной. Хорошо себе представляю мировидение Жида: смотреть на самого себя с точки зрения будущей эпохи как на нечто относительное, приблизительное, но — среди других приближений эпохи — наиболее близкое к тому, что будет открыто, что будут думать впоследствии. Здесь кроется некая природная униженность, еще один способ потерять себя, который позволяет чувствовать себя лучше и на своем месте. И, разумеется, в каком-то смысле он прав. Но я более наивно, нежели он, ощущаю свою эпоху как нечто абсолютное, совсем не принимаю во внимание это будущее, в котором меня не будет. Прогресс всегда представлялся мне полным вздором и, естественно, потом находились философские аргументы, что было совсем нетрудно, так как эта идея заключает в себе формальное противоречие. Да, у меня есть какое-то смутное представление о некоем *после*, которое будет человечным, я не такой, как иные евреи, что совсем слепы в отношении того, что произойдет после их жизни. Но это какая-то смутная и неопределенная среда человечества, в которой может еще какое-то время звучать память, если и не обо мне, то по крайней мере о том, что я любил, о принципах, в которые я верил. Если бы все люди должны были умереть вместе со мной, это значило бы умереть дважды. Но достаточно того, чтобы человечество пребывало вовеки, и тут же после меня, равно как и до меня, равно как вокруг меня возникает какой-то слой людей. Меня не волнует, что они будут делать. Именно из-за этого я думаю не

столько о том, как изменить настоящее положение дел, сколько о том, как выдюжить его, что представляется мне последним словом мудрости, выдюжить его и понять. В сущности, я совсем не хочу себя потерять. Это отвращение, с которым я принимал наркотики, этот ужас, который я испытал, когда думал, что схожу с ума,¹ эта сидевшая во мне невозможность стать искренним коммунистом — все это исходит из одной первичной невозможности: я не хочу сделать последнего шага. Какого шага? Понятно, какого, если я говорю, что мне легче пережить окопы и постоянную угрозу смерти, чем дезертировать. Дезертировать — значит отвергнуть свой мир и свою эпоху; воевать в окопах — значит принимать эту эпоху, выдюжить свое время. Дезертир взывает к будущему, я же хочу взывать лишь к настоящему. В сущности, хотя я до самой глубины души пронизан идеей славы, нет ничего более чуждого мне, чем «выиграть свой процесс после обжалования приговора»,² нет ничего более тяжкого для меня, чем известного рода одиночество, известного рода потусторонье. В этом и заключается объяснение моей позиции в отношении войны: я считаю ее злом, воплощением *самого* Зла. Но у меня и в мыслях нет искоренить это зло, я могу лишь выдюжить его. Поль, что рядом со мной, каждый день протестует против

¹ В начале 1935 г. Сартр из любознательности добился того, чтобы ему прописали укол мескалина. Слабым местом теории, которую он тогда разрабатывал и которая определялась сильным влиянием Гуссерля (в ней доказывается, что образ — это не «содержание сознания», а «определенный акт, нацеленный в своей телесности на отсутствующий или несуществующий объект»), был галлюцинаторный образ, навязываемый сознанию (см.: *Sartre J.-P. L'Imagination*. PUF, 1936). Последовавшие галлюцинации оказались сильными и стойкими; в течение нескольких месяцев Сартр считал себя сумасшедшим. См. далее («Дневник III») интерпретацию этого кризиса.

² Выражение А. Жида: «Сколько великих художников выигрывают свой процесс лишь после обжалования приговора!» (op. cit. P. 720).

этого зла, даже радуется, когда ситуация ухудшается. Он бунтует против войны. Я же хочу ее выдюжить и понять, не имея возможности себя потерять, не имея возможности противопоставить ей будущее. Я — консерватор. Я хочу, чтобы мир оставался таким, как есть, но не потому, что он мне кажется хорошим, наоборот, я считаю его омерзительным, а потому что я внутри него и не могу разрушить его, не разрушив при этом себя.

Жид, «Дневник», 2 августа 1931 года:

«Если за все в ответе не Бог, а человек, то нельзя уже чему-либо покоряться».

Верней не скажешь. Вот почему было абсурдом то, что, отбывая 2 сентября в армию, я сравнивал войну с болезнью, которую надо пережить. Впрочем, об этом говорила мне и Бобр, почти теми же словами. Правда, с тех пор я понял следующее: коль скоро война происходит от людей и с людьми, она является человеческой-реальностью. В ней нет ничего от того, что обрушивается на людей извне, наподобие абсурдного смерча, напротив, это организованное, внутреннее видоизменение их бытия, — одна из возможностей бытия человеческой-реальности. Не следует переживать ее как некое бактерицидное заболевание, которым я мучусь, не неся за него ответа, равно не следует хулить войну, видя в ней результат злой воли отдельных людей. Следует видеть в ней не зло, которое кто-то мне причиняет, но зло которое *во мне* сидит. Война — это я.¹ Это мое-бытие-в-мире, это мир-для-меня. Это мое

¹ Желание единения с войной объясняется, возможно, тем, что Сартр не хочет, чтобы она обрушилась на него как безумие 1935 г., о котором только что говорилось, как чужеродный кошмар, от которого только и можно, что убежать. Он совсем недавно обрел равновесие, еще в августе 1939 г. был не полностью свободен от своих волнений (ср.: *Lettres au Castor...* Т. 1. Р. 257—258); ему не раз представится случай столкнуться с внутренними угрозами (письма от 29 февраля и 19 апреля). Ведь в этом маразме в любую минуту

бытие-для-смерти, для-любви и т. п. И это не значит, что невозможно или не следует уничтожить возможность войны, это значит, что так будет уничтожена возможность некоей человеческой реальности.

Буржуа — офицеры. Крестьяне и многие рабочие — солдаты. Я — ни то, ни другое. С краю — и на войне, и в мирное время. Все же поближе к буржуа. Война не уничтожает классы. Она, скорее, их усиливает.

Когда моя часть оставила меня, как какие-нибудь отбросы, на дороге, мое человеческое самоуважение возродилось, ведь я оказался в одиночестве. И моя военная беззаботность исчезает вместе с моей анонимностью. Я больше не анонимен, я — единственный солдат в деревне. И мне кажется, что деревня всеми силами отвергает этого единственного свидетеля войны.

Вчера говорил Полю и Петеру: «Коль скоро мы на войне, следует проживать ее до самого конца, ведь это интересно». На что Поль мне ответил: «Если бы ты это сказал в казарме „Клебер“ в Нанси, тебе бы точно набили морду. Ребята хотели прибить радиста Максима Дюкама за то, что он признался, что ждет от войны „редких эмоций“». Скажу прямо, поскольку этот дневник публичен, что этот Максим Дюкам — редкая свинья. И мне хочется, чтобы кол, который загонят в его задницу, доставил бы ему эти редкие эмоции, которых он заслуживает. Я никогда не хотел сказать чего-нибудь такого. Разве лишь следующее: не имеет смысла отказываться переживать войну, поскольку сегодня она повсюду. Или станешь похожим на Поля: отчаян-

может произойти что-то вроде войны 1914 г., исполненной ужаса Большой войны, о ней и думают все солдаты; газеты, которые только и мусолят войну, не дают ее забыть. Сартру важно подготовиться к тому, чтобы выдержать удар.

ное и настырное бегство от реальности, которая вас обступает отовсюду.

Вчера меня взволновало такое милое письмо от Бобра (хотелось бы представить ее у этой Дамы, я жил с ней), стаканчик белого довершил остальное, я немного запьянел. У меня две жизни. Та, которой я живу здесь, и та, которой я живу там, через других. Бобру выпало жить вместо меня, и она это чувствует. Она — само совершенство.

Чего я хочу (вследствие предыдущих размышлений) — быть как можно величественнее с *подручными средствами*. Мне известно, что существует и другое величие, которое само создает свои средства. И иной раз перед лицом этой бесконечной свободы, которая дана мне как и каждому человеку, я чувствую себя виновным, поскольку не использую ее в полной мере. Довольствоваться подручными средствами — значит быть стойком.

Мне кажется, когда я все это пишу, что я несколько ухожу с критической точки зрения первых страниц, слишком поддаваясь самолюбанию. Надо быть внимательнее.

Даби, брошенный В., пишет в своем дневнике 18 мая 1936 года: «Я потянул за известные ниточки, я играл. Я должен платить. Обворованный вор, обманутый обманщик». Вот что мне придется сказать, если В. бросит меня в ходе этой войны.

Закрываю дневник, иду прогуляться. Местный зачумленный. Не хватает только колокольчиков. У меня такое ощущение, будто я мерзкая гадина. Меня это забавляет. Кстати, похоже, что позавчера, перед вступлением в Мармутье, расстреляли двух штрафников. На радость местным жителям. Не без садизма представляю себе этот столь приветливо принявший нас город — там царит страх, вся окна плотно завешены.

Разочарование: есть еще горстка солдат, которых распикивают по грузовикам. Военные — это надолго, как вши. Но на центральной дороге видны лишь стоящие на порогах своих домов женщины. У кузнеца снова появились гражданские, крепкие мужики в блузах, они, ругаясь, подковывают коня. Поют петухи (мне кажется, что вчера они не пели). Это мои глаза оставляют на всем этом отпечаток войны. Радость. Возле церкви рассматриваю памятник павшим; это добавляет мужества. Возвращаюсь, весь забрызганный гражданскими машинами. Смысл деревни постепенно реформируется; я это сразу почувствовал, и вот, гляди, уже поздно.

Нахожу общий язык с этим дневником. В первые дни я натягивал перчатки, когда писал в нем.

Аджудан Курто: симпатичный хрупкий парень со строгим лицом. Пугливый, как богомол, ибо по его лицу видно, что он никогда не размышляет о себе. По его словам: «Всех, кто идет на эту войну с надеждой вернуться, нельзя считать мужчинами». (Но мне он как-то сказал: «Хочу на передовую, я оттуда вернусь: пули меня не берут».) Еще его слова: идет он с толстяком Тибо мимо дохлой лошади и начинает причитать: «Как жаль! Просто сердце разрывается. Люди, их всегда можно заменить, их сколько угодно. Но вот лошадь — она стоит пять тысяч франков». И при этом чувствительный и нервный, как девушка. Печется о своих отношениях с другими офицерами: из кожи вон лезет при малейшей перемене настроения. Болезненный, всегда в толстом кашне.

Раскрытая уловка: если я жалуясь на войну, все послевоенное время потеряно. Единственный способ уйти от этой невыносимой (для меня) мысли о потеряном времени — видеть в войне возможность прогресса. То есть пытаться пережить войну в ее подлинности.

Похоже, вся моя позиция является защитной реакцией, а это бытие-для-войны придумано в угоду дела. Что, впрочем, не означает, что это ложная мысль.

В ночи, по дороге на Брумат, светит прожектор. Он освещает все небо до самой земли. Там мелькают причудливые ледяные зарницы, на свету вырисовываются черные тени деревьев, которые вдруг совсем пропадают в этом сиянии. По центру, возле прожектора, какое-то, автоматическое, грубое, почти бешеное кружение светящегося пучка. А на дороге наш грузовик шел мимо сотен самоходных орудий, которые стояли на месте, прикрытые ветками, с потушенными фарами. Ветки царапали брезент нашего грузовика. Мы заезжаем в какой-то лес. Прожектор то и дело высвечивает белеющие пни, далеко позади нас освещается опушка. Только листва чернее чернил.

Порой мне случается думать: мне уже не на что надеяться в своей жизни, кроме счастья. Война несет мне обновление. Но не стоит надеяться, что буду благодарен.

Мармутье: там жалеют, что мы ушли. Два штрафника изнасиловали и убили жену мясника. Их расстреляли.

18 часов 30 минут: отправление в Брумат.

Брумат, суббота, 7 октября

Нахожу в дневнике Жида по поводу одного человека, отказавшегося идти в армию по религиозно-этическим соображениям, такую мысль (4 января 1933 года): «Больше мужества не у того, кто идет в ногу со всеми, а у того, кто от всех отходит». Применительно к моему случаю: я остаюсь «вместе со всеми», если под этим

понимать не только общество, но и весь мир таким, каким он есть для этого общества. Часто я думаю против этого общества, но всегда в его же собственных перспективах.

Неоспоримая польза дневника: он избавляет меня от дня сегодняшнего. Без него я бы соблазнился, наверное, писать не роман, а что-то другое. Но уже того, что я бросаю в него совершенно сырые, первые впечатления, достаточно, чтобы роман оставался главным моим занятием.

Воскресенье, 8 октября

Поль¹ — социалист и антимиитарист. Но он также и чиновник. И эта бюрократическая сторона его натуры находит контакт с бюрократической стороной армии. Его любовь к писанине, безынициативность, боязнь ответственности, которые бы вызвали насмешки в гражданской жизни, становятся здесь добродетелями. Он содействует трупной косности приказов; он их выполняет из страха, с предельной бездумностью, и тем самым, хоть и протестуя против войны и армии, несет в себе добровольную покорность. Вместо того чтобы подчиняться, как я — ни шатко ни валко, он повинуется с предусмотрительностью — но на военный манер. И здесь опять же речь идет о гражданской черте характера: трус, пессимист и домосед — он предусматривает все последствия семейной прогулки, обеда, какого-нибудь поступка. Он принимает меры предосторожности против враждебного ему мира. В армии этим враждебным миром становится беспокойный

¹ По поводу своей антипатии к капралу Полю Сартр написал С. де Бовуар: «Знаете, Поль во многом похож на моего отчима... я слегка вымещаю на нем свою затаенную злобу на <того> — теперь уж и не знаю, когда за собой это заметил» (письмо от 3 декабря 1939 г.).

и капризный командный состав. Он боится офицеров точно так же, как боялся несварения желудка или администрации своего лица; словом — как идолов. А ведь им только того и надо. Вот почему этот антимилицарист становится самым «правильным» капралом.

Но в то же время эта предусмотрительность не дает ему постичь глубинного характера «бытия-на-войне», который заключается в отсутствии будущего. Он толкает перед собой скудное будущее беспокойных возможностей, которые не столько его собственные возможности, сколько те самые угрозы, против которых он должен принимать меры предосторожности: если часа в два ему предстоит натянуть противогаз, то за обедом он не усердствует, ежеминутно задается вопросом, куда его поведут; если узнает название деревни, в которую должны нас перебросить, то спешит к карте и измеряет, на каком расстоянии от границы она находится. Он остается гражданским из *заботы*, хотя уже и потерял (или, может, никогда и не имел) гражданскую человечность. Должно быть, он ужасный человек для своей жены. К тому же социалист, но социалист, сбитый с толку (эта война — полный крах его мелких ожиданий, несмотря на то что из-за своего пессимизма он боялся ее на протяжении пяти лет), он уже не знает, какому идолу поклоняться: его злобная покорность бюрократа, его неисчислимые заботы мешают ему встать в полной мере на *позицию* социалистического неприятия войны. Он отказывается по мелочам, довольствуется тем, что с какой-то язвительностью ищет противоречия в газетах, подозревает, что потери в личном составе, в авиации на самом деле гораздо значительнее, чем объявлено. Он пребывает в состоянии нервозности, которое, впрочем, должно быть некоторым болезненным преувеличением его гражданской нервозности. Он не сумел приспособиться к войне ни через ее неприятие, ни через ее приятие. Он колеблется, ожесточается. Ничуть не задумывается

над своим поведением, оно его вполне устраивает, и он его одобряет: если ему указать на него — он упрямит-ся, выходит из себя и раздражается — или смиренно признает, что он пессимист, что само по себе избавляет его от попытки измениться. Он совсем не хочет *делать* себя, узнать себя. Притом, что в нем самом глубоко запрятаны ужасные комплексы (его сомнамбулизм, его сны — всегда одни и те же, — как он задыхается, как рушатся все его надежды, его робость перед женщинами, его неказистый вид — Петер зовет его семинаристом).

Неполноценность, смирение, страх перед окружающим миром. Он глух на одно ухо, причем глухота вполне его устраивает: он слышит только то, что хочет услышать. Не в том дело, что он не худ, ум его погряз в плоти: чревоугодие, утиная походка, носки врозь, кислый запах, вонючие ноги, что он смиренно признает. Все его жесты нацелены на то, чтобы прикрыть это требовательное тело и затормозить нервозность: сначала они помпезны и вроде как точны, но к концу мешаются и теряют всякую связность. Нет ничего более характерного, когда смотришь, как он за столом выпивает свой стаканчик вина. Сначала это показательное гимнастическое упражнение: рука старательно вытягивается, фиксируя на различных положениях отдельные моменты движения, как если бы он демонстрировал его ученикам, затем, когда она оказывается вблизи стакана, ее охватывает мелкая дрожь, она начинает двигаться ощупью, вслепую. В разговоре его жесты, которых у него предостаточно, ничего не *показывают*, это заученные жесты болтуна, он ими поддерживает свою болтовню. И они в конечном итоге заслоняют и полностью закрывают мысль, переводя ее в план учтивости. Его мимика, его понимающая и притворно участливая улыбочка застыли раз и навсегда: с таким выражением лица преподаватель внимает причитаниям мамы своего ученика. Что-то такое, что я и раньше замечал во многих нервных людях, но что я понял,

лишь наблюдая за ним: они раздражают тем, что постоянно стараются казаться спокойными. Но как только эта маска спокойствия появляется на их лице, так сразу она начинает расползаться, разрываться на тысячу мельчайших подергиваний. Тогда без усталости и без всякой надежды, как Сизиф со своим камнем, они пытаются вернуть себе эту маску, утихомирить эти мелкие возмущения, лишиться своих глаз даже тени какого-либо взгляда, добиваясь наконец того, что лицо обретает выражение счастливого покоя, даже руки положат на колени — и кажется, что что-то в их лице говорит: давайте будем благоразумными, успокоимся, вот так. И как раз в этот момент начинает пританцовывать нога, вдруг чешется шея и зудит все тело — и все сначала. И они, уввы, все сначала и начинают.

Когда Полю предлагают добавки, — а у него отличный аппетит, — он говорит: «Еще немножко, с удовольствием», — говорит с неподражаемым тоном; мне слышится в нем старание прикрыть зверский голод и очеловечить его. Фраза произносится с какой-то невинностью и отстраненностью, словно Полю не было никакого дела до этой второй порции — и вместе с тем так, словно съесть вторую порцию было в порядке вещей и чуть ли не хорошим тоном. В то же самое время в его лице проступает какой-то покой, как если бы он смотрел на свой аппетит со стороны, умиротворенно созерцал его. При этом набрасывается на свой котелок, наполнив его до краев. Если добавки не предлагают, он с тем же учтивым безразличием спрашивает: «Не осталось ли немножко капусты?». В его отношении к еде обнаруживается глубокая ущербность его характера: ведь эту тяжкую потребность, которая и самому ему несколько неприятна, он и не принимает в себе, и не отвергает: он ее только прикрывает, украшает.

Неспособный к адаптации: с мясником из Вилетт* он говорит с претенциозностью школьного учителя.

Неспособный к психологии: он сам признает, что замечает лишь самые общие черты человека и что с трудом различает людей. Часто их путает.

Беда ходит за ним по пятам, привлекаемая острым запахом несчастья, смакуя всякого рода катастрофы — как сука в пору течки кидается на кобелей. У него всегда в запасе пять-шесть небольших зловключений.

Мне ни разу не доводилось видеть его веселым, ни разу не доводилось слышать от него чего-нибудь смешного. Любая новизна пугает его, шокирует, представляется ему окутанной смутной пеленой несчастий. Он отмечает ее возгласом «А!», в котором слышны неодобрение и страх. Однако он предвидел самое худшее, но настоящее не приносит ему покоя: оно служит для него трамплином, с которого он может предвидеть еще более худшее.

Сегодняшний сон: мне поручили усмирить собак, и вместо хлыста я взял пояс от своего пальто из верблюжьей шерсти. Я сам нашел это необычное орудие, вспомнив, что раньше для этих целей пользовался кнутом. Вхожу без всякого страха, так как я уже знал этих собак. Первая с воем забивается в свою будку; я думаю: «Ну вот, до этой дошло!» Вторая подходит ко мне, оскалив пасть; накануне она показала себя самой злой. Но я стегаю ее несколько раз по носу своим поясом, и она ложится. В то же самое время забавное ощущение, что она присмирела лишь потому, что готовится что-то другое, чего она ждет и от чего мне не поздоровится — и, сверх того, я замечаю (или мне говорят), что ошибся, что я бью собаку мягким концом пояса, вместо того чтобы взять его за другой конец и бить металлической пряжкой. Беспокойство. В этот миг какой-то зверь, огромный и злобный, которого я про себя называю гиеной, но который кажется много опаснее, выходит из сарая и бросается на меня. Я размахиваю у него перед носом своим ничемным оружием, но он идет и идет на радость ухмыляющимся псам. Я так напугался, что тут же проснулся.

Толкование, которое я сразу же дал этому сну: укороченные собаки — в общем не очень-то страшные — обозначают различные невзгоды военной жизни, которым наступил конец. Но гиена, которая возникает внезапно и которую, в общем-то, более или менее определенно *ожидали* все персонажи моего сна, является истинным образом войны: бомбардировки, кровавые бойни, с которыми я еще не сталкивался, которая *сама* меня прикончит. В общем символическое выражение такой идеи: ты мнишь себя умником, поскольку пока еще не терял равновесия. Но все это, лишь пока война несерьезна. Дождись настоящей — и умрешь от страха. То есть боязнь, что не удастся сохранить свою позицию. И здесь, вопреки Фрейдю, я сталкиваюсь со сновидением страха, а не только со сновидением желания. И в самом деле, этот страх живет во мне — не то чтобы бессознательный, но какой-то смутный, заглушенный: 1) своего рода беззаботностью и верой в себя; 2) тем обстоятельством, что в сущности более чем вероятно, что я никогда не увижу поля боя, что всегда буду на каком-то расстоянии от того места, где стреляют. Пояс, взятый не за тот конец, символизирует, по моему мнению, мою негодность к военному делу, эту разболтанность, над которой смеются мои приспешники. Еще вчера Петер, оглядев мое снаряжение, сказал: «Стыд и позор!» Конечно же смутная идея виновности: «Как раз потому, что я ни на что не годен, потому что у меня вечно все „не так, как у людей“ — я и не смогу вынести подлинного лика войны». В самом деле, теперь припоминаю, что злился на себя при виде гиены: если бы взял пояс, как надо, то у меня в руках было бы против нее отличное оружие — но в данном случае в руках оказалась смешная игрушка, и я был *бессилен* взять его, как надо.¹

¹ Действительно ли в этом сне отсутствует желание, и не относится ли он, помимо военных забот, к любовной жизни, к этой «жизни втроем» сновидца, о которой уже два раза заходила речь в этом дневнике?

Помню, что, проснувшись — еще в полусне, — я вспомнил, что Поль лежит рядом со мной, ворча и вздрагивая, и испытал сильное чувство превосходства над ним: сам я, когда сильно пугаюсь во сне, умею проснуться, тогда как он, этот лунатик, остается во власти своих кошмаров, не имея возможности выйти из них. И в какой-то момент я задался вопросом, не является ли сомнамбулизм приятием кошмара — и беды.

Сегодня офицеры скучают. Капитан Мюнье, лейтенант Ульрих, с которыми я виделся по очереди в трактире, жалуются на скуку. «Хуже всего, — говорит Ульрих, — что неизвестно, зачем мы здесь». Но тут же сам себя перебивает и говорит осторожно: «Да нет, известно, известно. Но... мы здесь, как в мышеловке». Занятно, что именно в воскресенье (смотри прошлое воскресенье) люди жалуются на скуку и ощущают ее. Сегодня я еще не почувствовал воскресенья. Обычное утро.

Понедельник, 9 октября

Голова трещит. Хозяева (муж, призванный в инженерные части, на гражданке работает санитаром в сумасшедшем доме, он приехал без увольнительной, потому что было воскресенье) напоили меня красным вином. Вчера — письмо от Ванды. Эта фраза: «Я все равно тебя очень люблю, но ты как будто на другой планете», — была мне очень неприятна. Думаю, что потеряю ее. Послевоенное время без нее. Со всей очевидностью: бытие-на-войне предполагает полную обнаженность. Сегодня утром в очередной раз «в душе порвал» с ней. Отстраненность: все время один и тот же обман. Ее личность сразу обесценивается из-за того, что я чувствую, что она не любит меня так, чтобы дожидаться. И поскольку она обесценена, она мне больше не дорога, я о ней не жалею. Просто возникает ощущение, что мне не хватает одного измерения, что

мой мир сузился. И тем более реальным становится мое настоящее здесь, в этом классе. Мрачный мир. Я закончил X главу и нет никакого желания браться за XI. «Борис и Ивиш». ¹ Для нее нужно легкомыслие, которого я сейчас лишен.

Что мне неприятнее всего на этой войне, так это одиночество без уединения. Коль скоро, с другой стороны, я вижу, что это подобно положению рабочего на заводе, то заключаю что во мне сидит отвращение буржуа. Иметь свое «местечко» или желать его иметь с тем, чтобы основать на нем свою свободу, — это во мне остаток буржуазного чувства собственности. Мне нужно несколько квадратных метров, чтобы быть свободным и чтобы быть самим собой.

Я думал вчера: в сущности я не видел войны. Все, что я здесь пишу, натянуто, пустые мечтания.

В индивидуальной книжке Поля: *Родители: отец погиб за Францию*.

Прочел сегодня в дневнике Жида эту фразу, которая выражает — и получше — то, что я пытался выразить в пятницу: «Это незаурядное умение — убеждать себя в том, что то, что наводит на тебя скуку, тебя воспитывает» («Дневник», 1902, стр. 130).

Страстное письмо от Ванды. Я «отмечаю это для себя», хотя мне прекрасно известно, что страстной она бывает лишь в раскаяниях.

¹ Образ Бориса навеян Ж.-Л. Бостом, образ Ивиш — Ольгой и Вандой Козакевич (в романе Борис и Ивиш — брат и сестра). Понятно, что, ощущая, что его предадут, Сартр затрудняется представить сестер Козакевич в романтическом свете. Тем не менее, как следует из письма к С. де Бовуар от того же дня, он писал утром и после обеда о Борисе и Ивиш: «это просто и весьма забавно».

Четверг, 10 октября

Уже 70 солдат нашей дивизии оказались в санчасти из-за гонореи.

Думаю, что я просто невыносим для своих приспешников из-за невозможности их уважать. Все время реакция презрения. Моральный педантизм: мне кажется, я немного этим затронут. Постараюсь быть полюбезнее. В сущности, я не могу им простить того, что они такие же буржуа, как и я. С рабочими я бы растаял от униженности.

Думаю, что католик, который за гримасами выискивает «неизмеримую глубину» человека, стал бы делать упор на униженности Поля. Притом что, когда он сам готов выпустить из себя кишки, если его в чем-то упрекают, вся та же униженность, все то же признание своего ничтожества и гарантируют ему спасение. Еще в тот день, когда он признал, что у него воняют ноги. Сегодня у колонки, где мы моем посуду, появляется голый или почти голый Хантзигер. «Я тоже, — говорю я ему с чуть излишней бодростью, стараясь прикрыть то смущение, которое я испытал при виде этого рыхлого и слишком уж белого тела, — не могу умыться, если не разденусь по пояс. Не понимаю этих людей, которые чуть загнут воротник и протираются полотенцем». (При этом следовало бы добавить, что тем не менее и вопреки всей этой сценке, умываюсь я не каждый день.) Поль, который был там и который умывается именно так, полностью одетым, кротко сказал: «Ты-то ладно, ведь ты не стесняешься своего сложения, куда уж нам, кособоким...». Не такой уж он и кособокий. Наверное, он переживал из-за своего физического строения и в конце концов с ним смирился. Отметить также озорство Поля. Очень редко. Лишь тогда, когда пораженческий настрой на короткое время оставляет его. Тогда он кидается в нас бумажками или прячет ремни. Часто дурачится, чтобы

его простили за что-нибудь. Я облаял его за плохо вымытую посуду. Он не знает, как ко мне подступиться, потом потихоньку подкрадывается ко мне и делает вид, что хочет вылить на меня полный котелок воды.

В ответ на вопрос Бобра: она удивляется, что мир человеческой-реальности имеет такие громадные измерения. Не может ли она быть-в-мире с человеческими пропорциями? Ответ:¹ человеческие пропорции — это пропорции человеческой *деятельности*, а не сознания. Человек сознания является *для* этого сознания целым миром, и имеется как бытие-в-человеке сознания, так его бытие-в-мире. Но заброшенность человека — которая и есть то, что вызывает удивление Бобра — происходит оттого, что сознание создает себе конечное представление в бесконечном мире. И можно показать, что иначе и быть не может. В самом деле, сознание, если мы его воспринимаем интуитивно, после феноменологической редукции,² по природе своей охватывает бесконечное. Вот что важно понять прежде всего. Сознание — все время — существует не иначе, как отсылая к самому себе (интенциональность: воспринимать эту пепельницу — значит отсылать к последующим сознаниям этой пепельницы и в той мере, в какой оно отсылает к самому себе, сознание себя превосходит, себя трансцендирует. Итак, каждое сознание заключает в себе бесконечность в той мере, в какой оно себя трансцендирует. Оно может существовать, лишь трансцендируя себя, и может себя трансцендировать лишь через бесконечность. Но в то же самое время каждое *Erlebnis*, являющееся конкретным

¹ Нижеследующее философское рассуждение Сартр повторит, с некоторыми изменениями, в письме к С. де Бовуар от 11 октября.

² В терминологии Гуссерля это «выведение из игры экзистенциальной позиции, принадлежащей сущности естественной позиции», для того чтобы стала возможной рефлексия сущностных структур чистого трансцендентального сознания.

и наличным сознанием, конечно. В общем и целом — как отдельное число в ряду чисел, которое существует лишь через этот ряд, которое включает в себе основание этого ряда и которое тем не менее есть лишь конечное число в бесконечном ряду. Иначе говоря, конечное сознание может существовать лишь через свою бесконечную трансцендентность. Здесь имеется не превосходство бесконечности над конечностью, просто оба эти момента подразумевают друг друга, как тезис и антитезис. Конкретное конечное может существовать не иначе, как утопнув в бесконечном. Здесь и кроется первый исток заброшенности. Может, и нет заброшенности конечного человека в бесконечном мире, а есть лишь освоение. В таком случае человек является обладателем *своего* мира, как полагал Стоик. Сомневаюсь, что физика стоиков была на самом деле *понята* (то есть, доонтологически прочувствована как сущностная возможность) современниками и самими стоиками. Мне представляется, что она витала в воздухе, как, впрочем, обстояло дело и с любой конечностной физикой греческого мира. (Впрочем, во все времена у греков существовала и физика бесконечности: Эпикур.) Отсюда, поскольку ноэзатические объекты параллельны в своем развитии ноэзису,¹ не существует такого объекта, который не охватывал бы бесконечности, мир объектов бесконечен. Невозможно помыслить какой бы то ни было *конечный* объект, ибо это было бы остановкой сознания. Всякий конечный объект в своей величине будет бесконечным в своей малости и т. д. Но в отношении этого бесконечного мира, как я уже отмечал в «Психее», сознание нуждается в конечной точке зрения. Эта точка зрения образована телом. Бесконечным, если оно воспринимается в качестве объекта *другим*, конечным, если мое тело и чувствуется как мое. Таким

¹ *Ноэзис* (от греч. *noësis*) — мыслительный акт; *ноэма* (от греч. *noëma*) — объект мысли.

образом, на уровне *вещей* мы вновь сталкиваемся с этой антитезой конечного и бесконечного, но здесь она уже не создается, а переживается, является антитезой между вещами и самой вещью. То есть конечное и бесконечное здесь противопоставляются друг другу и друг друга отвергают, вместо того чтобы друг друга дополнять, как это происходит на уровне трансцендентального сознания. Ведь человек, коим я являюсь, есть одновременно и сознание, плененное в теле, и само тело, и акты-объекты сознания, и культура-объект, и творческая стихийность этих актов. Человек, как он есть, одновременно и заброшен в бесконечный мир, и — в то же время — творец своей собственной бесконечной трансцендентности. Все *акты* человека, осуществляющиеся телом и через тело, вписываются в двойную бесконечность: бесконечность величия, бесконечность малости. Этим самым любое рассмотрение объектов в виде *орудий* приводит к рассмотрению собственной заброшенности. Хайдеггер не увидел того, что бесконечность мира повсюду выходит за края его орудийности. Откуда удивление Бобра на мысе Дю-Раз:* именно из-за того, что воспринимать какую-нибудь гору — значит ею пользоваться, мыслить о том, как ее использовать, взобраться на нее ради удовольствия или обойти и т. п.; даль звезд и вызывает оцепенение — близкое к ужасу Паскаля. Ведь восприятие звезд фатально влечет за собой попытку использования, которая наталкивается на их «недостигаемость» — последняя происходит от трансцендентной бесконечности трансцендентального сознания. Хайдеггер не увидел, что его мир-для-человека — который и в самом деле непосредственно и доонтологически орудие — отовсюду переполняется и обезоруживается миром для сознания, который не способен быть орудийным, который не охватывается орудийностью. И конфликт между орудийностью и неорудийностью, то есть конечностью и бесконечностью, и лежит в истоке человеческой заброшен-

ности. Через трансцендентальное сознание человек заброшен в мир.¹

В отношении того, что я только что написал: недостает одного фактора — смерти. Если сознание существует лишь через свою трансцендентность, оно отсылает к самой бесконечности. Но как раз событие смерти и влечет за собой остановку в этой бесконечной отсылке. Во всякое мгновение сознание имеет смысл лишь через эту бесконечность, но событие смерти закрывает эту бесконечность и лишает сознание самого его смысла. Тем не менее, событие смерти совсем не узнается так же, как бесконечная трансцендентность сознания. Последняя *проживается*; событие смерти узнается. Мы знаем лишь смерть другого, вследствие чего наша смерть является объектом верования. Вот почему в конце концов верх берет трансцендентность.

Сегодня уже третий день как нет писем от Бобра. Мрачное переживание, от которого освобождаюсь путем расчетов: последнее письмо пришло *тогда-то*, сегодня у нас *такое-то* и т. д. Мои беспокойства из-за задержки писем от Ванды призрачны. Здесь же все серьезно. Ощутить мир без Бобра (не потому что я считаю ее мертвой, но лишь потому, что от нее нет писем, и я переживаю ее и собственный мир через ее письма) значит для меня ощутить пустыню.

В этом социалистическом мире войны (социализированное обмундирование, казарма, общий прием пицци, как в древней Спарте) привязываешься к индивидуальной судьбе тех вещей, которыми *владеешь* на самом деле. Я люблю свою трубку, свою ручку, свою зажигалку, два своих ножа, свой фонарик. Все это

¹ Сартр набрасывает здесь опыт примирения позиций Гуссерля и Хайдеггера в отношении связи человека и мира, который найдет продолжение в следующем дневнике, к сожалению до нас не дошедшем (ср. письмо к Бобру от 30 октября).

мое. А ведь в гражданской жизни я владел к меньшим.

Боюсь, что моя моральная озабоченность заклю ется больше в том, чтобы себя обнаружить, нежел том, чтобы себя изменить. Все мое рвение направле на то, чтобы «увидеть появление» себя, но я принимаю мало решений, будучи убежденным, что Дьявол сле ет за мной по пятам, и достаточно расстроить « козни, чтобы не впасть в грех. Но это не так. Как где говорил Жид: чтобы уничтожить войну, недостаточ ее изобличать.

Сопоставить Дьявола Жида с уловками бессоз тельного Фрейда. Показать, что превосходство Жи над Фрейдом заключается в том, что его мир конеч тогда как мир Фрейда механистичен.

«Меня, — гордо говорит Петер, — ни одна женщи на никогда не любила ради меня самого, я всех их купал».

Выше я говорил, что мои приспешники — бурж Это не совсем так: Келлер не буржуа. И мне думает что маленький внутренний конфликт, который и разъединяет, является классовым конфликтом (хотя естественно, будь он поумнее и полюбезнее, будь хорошим товарищем и т. д., но все дело как раз в то чтобы он таким был. В общем от него требуется бо ше, чем от кого-нибудь другого нашего класса). Его с пость — которая, может быть, является всего лишь э номностью — грубость речи, тяга к жирной пище крепкому красному вину — все это поначалу нас шоки рует и идет от классовых различий.

Я свыкаюсь с настоящим своим положением и очень много о нем думаю.

Среда, 11 октября

Сегодня газеты дают свое объяснение этому подозрительному братанию немцев и французов на границах. Был такой приказ. (Щиты в Варндтском лесу: * «Мы не сражаемся против французов». Трансляция по огромным громкоговорителям речи Гитлера.¹)

Знаменитый аргумент Эпикура: не бойтесь смерти, какая разница, что дела ваши не будут закончены, ведь вас уже не будет, и вы не будете страдать от их незаконченности, — который долгое время меня удовлетворял, ничего не стоит. Он предполагает возврат к эгоистичной самости в духе Ларошфуко. И тем самым самолюбие — это основа эпикурейской психологии. Но когда мы предпринимаем какое-нибудь дело, нам важен успех нашего предприятия «в мире», а не его успех для нас. По правде говоря, всякое предприятие желанно и имеет продолжение на фоне мира. А смерть — это остановка предприятия, всякого предприятия. Но нашу смерть мы понимаем на фоне мира. Она вовсе не мыслится — как того хотелось бы Эпикуру — как уничтожение мира для нас (заодно с нашим собственным уничтожением), она мыслится как наше уничтожение в мире, который продолжает жить своей жизнью. Это не какая-нибудь иллюзия, это естественная позиция; в самом деле, трансцендентальное сознание может существовать, лишь полагая бесконечность

¹ Два выступления по радио Гитлера ознаменовали начало «мирного наступления»: в первом, произнесенном 6 октября, предлагалась мирная конференция, однако в нем требовалось признание факта событий в Польше и возвращение Германии ее бывших колоний; во втором, от 8 октября, звучал «призыв к миру». В тот день Сартр знал, что Даладьё отверг накануне эти предложения; Чемберлен поступит в точности так же 12 октября. Уверенность в том, что война состоится, сыграет, возможно, свою роль в том обороте, который примут его философские рассуждения непосредственно после этих событий.

мира, тем не менее сама природа нашего знания о смерти предполагает, что умирает именно человек, следовательно внутримировое создание, в мире. Вот почему формула Хайдеггера, определяющая смерть: «не реализовывать больше присутствия в мире» — является корректной; ибо она оставляет возможность предполагать постоянство мира. Так что мысль смерти — или, скорее, постижение смерти — упраздняет человека между сознанием и миром — на манер феноменологической редукции. Остается голое сознание без всякой точки зрения в отношении голого мира. Смерть — это событие *на уровне* человека, а не на уровне сознания (что никоим образом не означает того, что последнее не должно быть уничтожено, это означает лишь то, что это уничтожение невозможно помыслить).

Это правда, что мы умираем в каждое мгновение, но это постоянное событие нашей жизни замаскировано — или, точнее, остается виртуальным. Мы можем *реализовать* нашу смерть не иначе, как через экзистенциальное видоизменение, которое и является бытием-для-умирания.

Попытался нарисовать Келлера за чтением, чтобы обнаружить пружины его необычайно глупого вида. Рисунок не удался, посмотрим, смогу ли я это описать. Бровь поднимается и на лбу появляются озадаченные морщины, глазки полуприкрыты, почти смеются за занавесом длинных ресниц, похотливое выражение которых контрастирует с несказанным удивлением лба и бровей: глаз прячется. Прекрасный греческий нос, невыразительный и точеный, местами блестит, неуместный, как концертный рояль в мансарде. Прямо очерченный рот, который мысленно вкушает прочитанное и иногда повторяет, с легким шевелением губ. Трубка засела в нем, как заноза в заднице — и круглая щечка, о! такая круглая и слегка неприличная, скорее сальная, своими очертаниями она поднимает на смех все эти потуги на внимание. И затем дряблые складки двойного подбор-

родка. Сзади — две прямые складки на затылке. Череп прикрыт военным беретом, который натянут по самые уши и добавляет свой штрих к этому тупому упорству, которым светится смехотворная озадаченность и непристойная похотливость всей сцены. Ну вот, скажу с чистым сердцем: письмо ничего не передает. Невозможно *показать* словами, разве что в движении, в действии, легкими указаниями. Да и в этом случае скорее утверждаешь, нежели описываешь: «Келлер говорит с видом глупого обжоры...». Это куда лучше, нежели все описания.

Долгий разговор с Мистлером — высокий и худой эльзасец, кричащие морщины, очки. Не дурак. Упрямец и крепок задним умом, на эльзасский манер. Мы находим с ним понимание по многим пунктам. Согласен с предположением, что по завершении этой призрачной войны нас «одурачат». Согласен с тем, что мы живем при фашистском режиме, что война не идет из-за страха грядущей за ней революции. Но стоит мне немного увлечься и раскрыться, как сразу я ощущаю это легкое отвращение, это чувство приторного похабства, которое охватывает меня всякий раз, когда какой-нибудь мужчина становится мне близок. Мне нравятся лишь поверхностные и несколько натянутые отношения. Блевать охота, едва возникает взаимопонимание и согласие. Помню, Зуорро говорил: «Сартр — антипедераст». Во всяком случае мне легче перенести физическую близость мужчин (Петер срёт рядом со мной, Келлер пердит — их нагота и т. п.), чем их умственную и моральную близость. Хотя меня всегда привлекали красивые мужчины. Нет худа без добра. Петер говорит: «Есть женщины, с которыми выходишь на люди, потому что с ними не стыдно показаться, и есть женщины, с которыми спишь, за которых порой бывает неловко». Так вот: эти мужчины привлекают меня тем, что с ними можно *выйти на люди*. Гилье, Маё, Низан, Зуорро,

Боннафе¹ были красавцами. И здесь тоже есть один красавчик — высокий блондин, который меня немного занимает. Но даже с ними близость кажется мне скучной. Надо бы посмотреть, не является ли эта тошнотворная боязнь дружбы своего рода зачаточной и вытесненной педерастией.

Мистлер: «Самое противное — эта гадость, которую они подсыпают нам в кофе или водку, чтобы мы были поспокойнее». Я, с удивлением: «Откуда ты знаешь?» Мистлер: «Да все говорят, все жалуются, что ни о чем таком уже и не думают».

Я объясняю ему, что, по-моему, такого потрясения, как война, вполне достаточно, чтобы подавить, заодно с надеждой и воспоминаниями, сексуальные желания. Он: «Надо провести опрос». Я в это не верю. Но уже то, что эта легенда стала ходить, доказывает, насколько все мужчины чувствуют себя здесь *ущемленными*. Они утратили человеческое достоинство, вообразив, что их сексуальностью управляют извне, как того захочется командованию. Они изнасилованы в самом что ни есть интимном, унижены, думая, что так и есть на самом деле. И, смиряясь, ведь они продолжают пить сок и водку: «А куда денешься?» Мы в нескольких шагах от состояния помешанного, которому чудится присутствие преследователя даже в собственном рас­судке. У него «крадут его мысли», у нас «крадут наши желания». Сама мысль о такой возможности приводит меня в ужас. Хотя она в порядке вещей. Возбуждающие средства, подмешиваемые в кофе перед атакой во время войны 1914 г. Смятение стойка, когда тот чувствует, что его могут уязвить «в том, что зависит от нас» (*τὰ ἐφ' ἧμεν*²).

¹ Коллега по работе в Гавре, позднее, друг.

² Эпиктет: «От нас зависят мнение, направление, желание, отвращение, одним словом, все наши собственные дела; от нас не зависят тело, богатство, знаки уважения, почетные обязанности, одним словом, то, что не есть наши собственные дела».

Самое грустное то, что мы влачим здесь жизнь, наполненную гнусной ленью, и привыкаем к ней. Ленивые, как герои.

Сегодня нет писем от Бобра (четвертый день без писем). *Растерян*, пока начальник почты не сообщает мне о переводе на 500 франков. Только она могла его послать. То есть у нее все хорошо.

Другое скотство — но это я и сам мог засвидетельствовать. Приказ, который нам зачитали на построении и который призывает нас к доносительству: обращать внимание на пораженческие, антивоенные или подозрительные высказывания и передавать их командованию с описанием человека, от которого мы их слышали, и его «особых примет», добавляется с наивностью в приказе. Впрочем, к этому относятся иронично. Хотя идея его, надо признать, весьма серьезная. Чем мы уступаем немцам?

Мистлер зашел сегодня вечером вместе с Курси в офицерский кабинет, где я нахожусь на дежурстве и где пишу эти строки, готовясь к работе. Он все повторял: «Пойдем отсюда, мы ему мешаем». Я отвечал: «Ну, ну!» — с глупым видом и той неприспособленностью ответов к ситуации, которую замечал еще за своей матерью (в определенных обстоятельствах и я, и она говорим что в голову придет или вообще издаем что-то нечленораздельное, потому что нам кажется, что образовавшуюся пустоту следует заполнить хотя бы звуком своего голоса); но я так и не смог подыскать подходящих слов. Он ушел с подчеркнутой сдержанностью то ли из-за моего поведения, то ли из-за нашего давешнего разговора, как бы вернувшись к сдержанности и невозмутимости.

Почувствовал сегодня, что все мое мужество и даже эта тяга испытать войну объясняются моей уверен-

ностью в том, что Бобр меня понимает, поддерживает, одобряет. Если бы этого одобрения не было, все полетело бы к черту, я бы покатился по наклонной. Даже и этот моральный педантизм, о котором я писал позавчера и который опять же объясняется тем, что мне известно, что она разделяет мои убеждения.

Четверг, 12-е

«Он обладал той гордыней, в силу которой с равным безразличием признаются как в хорошем, так и в плохом, что проистекает из чувства превосходства, возможно, мнимого».

Еще ни один эпитафия так не подходил мне. Нашел его в предисловии Альбера Муссе к «Идиоту». ¹ Он принадлежит Пушкину (эпитафия из «Евгения Онегина»). *

Сегодня утром — божественное настроение. Все кажется легким и глубоким, поэтичным. Я благоухаю изнутри. Задаюсь вопросом, не являются ли такие состояния, которые возникают во мне совершенно естественно и которые, следовательно, не принадлежат, по-видимому, к области морали, в сущности своей аналогичными тем, в которых Жид усматривает высшую моральность. Счастье и невинная радость в обнаженности. Если бы требовалось подыскать им психологическую мотивацию, тогда сегодняшнее было бы результатом следующих причин: нервозность, объясняющаяся ночным дежурством, во время которого комары не давали мне поспать; облегчение, испытанное мной при получении весточки от Бобра, — но облегчение с тенью нетерпения, ибо весточка была косвенной, и в сопровождении надежды получить сегодня и другие

¹ Роман Достоевского в переводе и с предисловием Альбера Муссе вышел в свет в 1930 г. (изд-во «Боссар»), переиздан в 1934 г. (изд-во «Галлимар»).

весточки; я просто обрадовался, когда получил «Идиота». Ощущение зыбкости этого состояния, легкое беспокойство: дрожат руки, какая-то белесая дымка перед глазами. Боюсь, что после обеда завязну в этом тягучем и угрюмом омерзении, как это часто происходит после живительных, плодотворных и острых утренних состояний.

Решил через этот эпиграф из Пушкина посмотреть повнимательнее на то, что думаю о собственной гордыне.

Я не был на «передовой», может, и не буду. Но уже теперь я знаю довольно, чтобы заявить следующее: войну в сотни раз легче пережить, чем нищете. И пусть мне не говорят после этой войны: «Я воевал, я привык ко всему. Я встречал тех, кому было хуже, чем этим нищим. В Саарбрюккене, когда наш батальон...». Это неправда. Военный живет в обществе, нищета принуждает к одиночеству. В распоряжении военного имеется десятков пять разных мифов, призванных подсластить пилюлю, у нищего — ни одного. У военного есть надежда, нищий ее не имеет. Они оба потеряли человеческое достоинство, но военный потерял его вместе со всеми, нищий — в одиночестве. У военного есть выход: вялая и раздраженная мечта о героизме; у нищего нет никакого выхода, кроме смерти. Кроме того, буржуа на войне так и остается буржуа до самого конца. С нищетой сравнится разве что безумие.

Моя тяга к величию почти несовместима с моей метафизической гордыней. Ведь последняя, как я разъясню позднее, есть не что иное, как покой, лишенная радости и грусти, лишенная уважения к моему человеческому уделу уверенность. Это гордость на уровне моего трансцендентального сознания. Тогда как величие бывает только человеческим. Величие — это пре-

одоленная заброшенность. Когда я был ребенком, я это хорошо знал. Я представлял свою заброшенность — в историях, которые сам себе рассказывал, — придумываемые ситуации, в которых я терял свое богатство, оставался неузнанным, несправедливо обвиненным, всеми покинутым. В этих тягостных обстоятельствах я хранил достойное молчание, отказывался оправдываться. Что за праздник был, когда справедливость торжествовала. Слезы наворачивались на глаза.¹ Величие соприродно уделу человеческому, оно имеет смысл лишь через бытие-заброшенное-в-мир. В этом смысл идеи Паскаля: «Человек — это тростник, самый слабый в природе и т. д.». И оно содержит в себе — в своем апофеозе — эту слабость в качестве необходимого элемента. Речь идет о строго антропоморфном понятии, и тот, кто хочет быть великим, должен принять со всем возможным совершенством удел человеческий. Бог не велик, велик Христос. Когда я мечтаю о величии, мне кажется, что я низвергаюсь с этого нечеловеческого умиротворения трансцендентального сознания, воплощаясь в человеке, коим являюсь.

Написав свои замечания о нищете и войне, я потерял от удовольствия руки (само собой разумеется, в уме), вполне доволен собой. Что-то вроде этого гнусного чувства: «Вот молодец, благородный человек. Сам на войне, а находит в себе нерастраченные силы, чтобы посочувствовать нищете других людей». Сразу после этого у меня возникла идея (непредвзятая) занести эту реакцию в дневник. Исключительно ради ее психологического интереса (то, что я называю отравленным сознанием), но я испугался и решил это сделать потом. Не то чтобы мне было стыдно перед самим собой — или перед Бобром. Дело в том, что этот дневник публичен. Затем решение сделать это. Но чем больше я анализирую это решение, тем больше мне кажется, что ему не чужда идея некоего романического, приятного

¹ Ср. схожие описания в «Словах».

и лестного для читателя поворота, словно бы читателю предписывалось подумать: «Вот здорово». В конце концов записываю свои реакции в совершенном спокойствии, с единственной заботой быть точным.

Пятница, 13-е

Странный стыд все время охватывает меня при входе в ресторан. Устойчивое ощущение, что не следует быть расточительным, *потому что идет война*. Не урызения совести в отношении Бобра, которая присылает мне деньги, скорее аскетизм. Точно так же я рано встаю по утрам и презираю Петера, который валяется в кровати до восьми. Наверное, это забавное следствие стоицизма, о котором я уже и не знаю, принимаю ли я его или же хочу от него избавиться — в пользу подлинности.

Мои приспешники: в каждый миг от них исходит какой-то смиренный призыв к солидарности. Но я не могу: они слишком уродливы. С другими, может, у меня и получилось бы. Но за этих мне стыдно из-за этой фактической, а не добровольной солидарности: метеослужба. Не имея охоты помогать им, я проживаю свое военное приключение в одиночестве. В одиночестве и сдержанности.

Мои мысли о войне понемногу уточняются. Отвергнута должна быть мерзость. Но отвергать надо *в мирное время* (делать все возможное, чтобы ее избежать), а не на войне. Если она возникает, нужно в нее погрузиться, ибо она позволяет жить экзистенциально. Она является модусом реализации экзистенциального. Омерзение человека, освобождение трансцендентального сознания, разрыв с «жизнью», присутствие смерти, анонимность индивида и места. Переживать ее так — значит жить антигероем. Но это значит не только познать

ее, это ее *делать* и *делать себя* на войне, делать себя для нее. Естественно, для меня это опыт. Но опыт ввиду чего? Я сохраняю *гражданский* миф мудрости, «светлую умиротворенность» и т. п. и иллюзию, что «следует пройти и через это». Но вопрос в том, не самодостаточна ли война. Она не может присовокупиться к последующей мудрости мирного времени. Нет никакой мудрости войны. Стоицизм перенесен в войну из мирного времени. В сущности, война не может ничему *служить*, так как она является чистым разрушением. Это исключительный в своем роде опыт, который замыкается на самом себе. К примеру, воинское мужество — мужество *ограниченное* — не может быть знаком моего мужества в мирное время (например, на пожаре, вообще говоря: там, где ты *один*). В общем, с моей точки зрения, бытие-на-войне является, судя по всему, некоей второй жизнью, которая мне дана в ином мире и которую следует пережить целиком и полностью вне всяких отношений с другой жизнью (главной). Судя по всему, стоицизм является, скорее, моралью мирной жизни, неприемлемой на войне. Ведь стоицизм заключает в себе обманчивую иллюзию человеческого достоинства. Как можно быть стойком, когда это достоинство уже не существует? Все это так для солдат. Офицер — это лишь хищное насекомое, полностью лишенное сознания.

Мне совершенно ясно, как потом назовут эти два месяца: море скуки.

Мне неведома униженность, и тем не менее я признаю свои ошибки без всяких околичностей, так как у меня нет никакого временного единения с самим собой. В униженности есть что-то интимное и изнеженное — в то же время глубокое и живое, — что идет оттого, что *живут* своим вчерашним «Я». Это виноватое «Я» и есть как раз мое Я, которое видит ошибку. Тут требуется также больше искренности и больше муже-

ства, своего рода постоянство самого себя, за которого ты в ответе. Но каждое мгновение моей жизни отпадает от меня как пожелтевший листок. Дело не в том, что я живу одним настоящим — скорее уж будущим. Из-за моей цели, которая, чтобы быть достигнутой, предполагает некую истекшую жизнь. Из-за этой устойчивой иллюзии развития, засевавшей во мне с отрочества. О каком бы «Я» мне ни говорили, я думаю: я-то лучше, чем оно. Станут мне напоминать о вчерашней оплошности, я ее охотно признаю, будучи убежденным, что больше ее не допущу. По той единственной причине, в общем, что между ею и мной лежит некий пласт времени. Я нисколько не верю в прогресс человека или нравов — или по меньшей мере нисколько этим не интересуюсь — зато верю в свой индивидуальный прогресс. Для меня невыносима сама мысль, что я менее умен, менее мужествен и т. п., чем накануне, и всякий раз, когда мне это дают понять, мне по-настоящему больно, я в полном смятении. Итак, о том, кем я был, я говорю без всякой симпатии, почти без усилия его понять. Я его поднимаю на смех и сам смеюсь. Я его защищаю лишь в той мере, в какой вижу, что те, кто на него нападает, находят в нем общие со мной черты. Итак, я все время расцениваю себя так, будто по сей день нахожусь на вершине жизни. В то же самое время и через это же признание собственных ошибок я обнажаю в себе человека, чтобы встать на абсолютную почву непредвзяттого зрителя, судьбы. Этот зритель — это и есть развоплощенное трансцендентальное сознание, которое смотрит на «своего» человека. Когда я себя сужу, то это происходит с той же строгостью, с какой я судил бы другого, но уже здесь я ухожу от самого себя. Сам акт самоосуждения является «феноменологической редукцией», который я совершаю с наслаждением, поскольку могу таким образом без труда встать выше человека во мне. Чтобы подыскать для этого подходящий случай, нужно мне самую малость. Случалось, что я был не прав в каком-нибудь споре и некоторое время спустя

охотно это признавал, и мне было удивительно, что мой собеседник, несмотря на это признание, все еще злится на меня. Мне хотелось сказать ему: «Но послушайте, это ведь уже не я; это уже не один и тот же человек». Определенно это и делает столь очевидной для меня мою теорию свободы, которая в действительности является способом ухода от себя самого в любой момент. У меня никогда нет угрызений совести. Но не так, как это бывает с иными душами, закаленными столь желанной сплоченностью — наперекор времени — с самими собой, что они без конца утверждают то, что утвердили однажды, а скорее из-за расположенности «отпустить» себя, посмотреть на себя в прошлом — с холодным презрением, не чувствуя при этом, что мое настоящее Я как-то в нем задействовано. Я отпускаю себя (и собственную совесть) в точности так, как можно отпустить своего сообщника. И если перед лицом другого я беру на себя ответственность за собственные поступки — а это уж, по крайней мере в этом я уверен, я делаю всегда — у меня возникает ощущение, что я щедро расплачиваюсь за другого. Например, сегодня, когда я знаю, что идет война, я смеюсь над тем, кем я был раньше и кто не мог ее предусмотреть — кто опасался ее, не принимая ее в расчет. Я смеюсь над ним, потому что, погружая мое настоящее Я в прошлое, я чувствую, что это настоящее Я, которому известно, что война разразилась 3 сентября, всегда об этом знало. Что и определяет его очевидное превосходство над этим бедным, растерянным Я от 2 сентября, которое в этом еще сомневалось.

Откуда другой аспект моей кажущейся скромности: случается, что меня хвалят за то, что я что-то сделал или что-то подумал, а я возражаю, говоря, что в конце концов я был не так уж и хорош. Все дело в том, что самые сильные или самые высшие моменты моей прошлой жизни меня больше не интересуют, стоит им именно пройти. По своей природе я склонен их все время приносить, потому что считаю, что сейчас я лучше, чем

был раньше. Мне чужда эта сплоченность с самим собой, которая столь трогательна у Стендаля и которая не дает ему описывать лучшие моменты своей жизни, поскольку он обесценит их для себя, если будет о них говорить. В этом отчасти кроется основание публичности моей жизни. Все отделяется от меня, я всё всем отдаю, потому что уже от всего отделился. Из меня выпирает одиночество. Из чего следует, как я думаю, что в некоторых чувствах мне отказано.¹

Это может послужить введением к тому, что мне следует сказать о собственной гордыне. Это некая довольно скорбная, довольно пустынная гордость, ведь, собственно говоря, нет ничего, чем я мог бы гордиться. И тем не менее она во всем отличается от несчастной и уязвимой гордости тех, у кого гордость есть, но они не могут ее в себе *поддержать*.² Гордиться нечем: ни своим умом, о котором я ничего не думаю, ни тем, что я пишу, что сразу отделяется от меня и во что я уже не вхожу, ни моей жизнью, которую я до последнего времени не осмыслял, ни *собой*, поскольку я отвергаю сплоченность с самим собой. Мне случилось в опьянении от музыки или вина, или в каких-то исключительных обстоятельствах, говорить себе: «Я гений», — и пустить слезу, как это, наверное, делалось в XVIII веке. Но эти приступы чувствительности длились не долго, а

¹ В восемнадцать лет Сартр записывал в «Дневнике Миди»: «Я искал свое я; я видел, как оно обнаруживалось в моих отношениях с друзьями, природой, женщинами, которых я любил. Я нашел в себе некую коллективную душу, душу группы, душу земли, душу книг. Но своего я, собственно говоря, моего я вне людей и вещей, моего настоящего я, не обусловленного чем-то, я не нашел» (Ecrits de jeunesse. Op. cit.).

² В том же самом юношеском дневнике Сартр записывал: «Не нужно считать себя умным, красивым или сильным, чтобы гордиться собой. Можно считать себя глупым и гордиться собой. Гордость — это склонность, которая сама себя подпитывает. Но гордость, которая не держится на вере в замечательную умственную или моральную ценность, наделяет уязвимостью, робостью, озлобленностью» (Ibid.).

главное — не они лежат в основе моей гордыни. У меня порой возникает ощущение, что я не дотягиваю до собственных требований, приписывая себе гениальность. Довольствоваться этим — значит уже принизить себя. Эта гордыня есть не что иное, как гордыня абсолютно-го сознания перед лицом мира. Я прихожу в восхищение либо от того, что являюсь сознанием, либо от того, что мне ведом целый мир. Сознание, подпирающее целый мир — вот что переполняет меня гордостью, и в конечном итоге, когда я себя жестоко и без всякого снисхождения осуждаю, то обращаюсь именно к этому первичному состоянию опоры мира. Но, могут мне сказать, это состояние опоры мира присуще всем на свете людям. Именно. Вот почему эта гордость колеблется между единичностью каждого сознания и всеобщностью человеческого удела. Я горд тем, что я есмь сознание, которое принимает свой удел человеческого сознания; я горд тем, что я есмь абсолют. И эта обдуманная гордость сразу же оказывается вне досягаемости. Тот, кто кичится своими «мировыми» качествами, своей силой, своей красотой, своим умом или даже своей добродетелью, подвержен отчаянию и униженности, ибо он тем самым принимает сравнение и суждение другого. Я же освобождаю объект своей гордости от суждения другого и от всякого сравнения, поскольку горжусь тем, благодаря чему я вернее всего являюсь единственным в своем роде (притом что, подобно мне, каждый человек является единственным в своем роде) и что прежде всего уклоняется от суждения другого, ведь это сознание, которое и определяет возможность существования другого сознания. Отчаянная гордость сестер Козакевич, которые связывают ее со своим телом, своим очарованием, своей грацией — тем, что увядает и что можно сравнивать. Униженность Козакевич перед лицом совершенных ошибок, ибо они принимают ответственность за свое «Я». Мне неведомо унижение и отчаяние, поскольку я не кичусь *моим я*, а горжусь своим сознанием — как раз

на уровне картезианского *Cogito*. Гордыня, которая неотделима от бытия, от абсолютной надежности бытия. Гордыня, которая является способом моего бытия. Именно она внушала мне в восемнадцать лет эти наивные слова о том, что я не умру. Что я тогда, наверное, выразил бы так: «Такой человек, как я, не может умереть», — и что было бы неправильно. Скорее уж: такой абсолют не может исчезнуть. Такая надежность бытия не содержит в себе боязни не быть больше. Причем это никакое не доказательство, это значит лишь, что сознание не может помыслить свое исчезновение. Но, скажут мне, все обладают сознанием. Почему же не все обладают такой гордыней? Что касается моей гордыни, то мне кажется, что она лежит в самом сердце этого раздвоения сознания, которое принимает себя, вместо того чтобы растрчивать себя во внешнем. Вот почему я называю ее метафизической. На этом уровне она неотличима от моего метафизического оптимизма и моей веры в мою судьбу. Это единое целое.

Следствие моей гордыни: моя постоянная забота о морали (согласно собственным принципам) нацелена не на то, чтобы себя возвысить, наоборот, чтобы себя удостоиться. В общем, во мне есть какая-то смутная и глубокая уверенность, что по природе я достиг морального совершенства, какового мне надо лишь заслужить своими поступками. Всякая новая ситуация — это ловушка, капкан, который грозит мне падением и где я должен показать, что достоин самого себя, совсем как кастильский дворянин — наделенный раз и навсегда своей честью, он озабочен лишь тем, чтобы остаться на той высоте, на которую был вознесен с самого рождения.

Поль, естественно, радостно подхватил рассказы Мистлера. Говорит, что ему подсыпали бром в кофе, когда он служил в форте Сен-Сир (1934), и он оказался не на высоте, когда приехал первый раз в отпуск.

Вследствие чего, если ему будут давать отпуск, то он постарается какое-то время обойтись без кофе. Вот что его характеризует.

Понедельник, 16-е

У Достоевского нет никаких «темных уголков», как бы того ни хотелось детерминистской психологии.¹ Нет никакого топографического разделения персонажей — с равнинами, вершинами, пещерами. Отравление совершается внутри каждого отдельного *Erlebnis*. Достоевский называет это отравление «двоякими мыслями», то есть один поступок *одновременно* диктуется противоположными мотивами, одни из них возвышенные, другие же — низменные. Келлер приходит исповедаться к Мышкину, движимый чувством униженности, но эта униженность отравлена желанием использовать исповедь для того, чтобы занять денег. Рогожин обменивается с Мышкиным крестами и просит, чтобы того благословила его мать: чтобы скрепить братскую дружбу. Но в то же самое время он намеревается убить его, и проявления дружбы являются *также* барьерами, которыми он отгораживается от убийства. При внимательном чтении создается впечатление, что возвышенное побуждение является первичным. Прежде всего из-за природной доброты русского человека, каковая является у Достоевского националистическим ограничением природной доброты человека вообще, — затем идет более глубокое основание, которое при этом представляется пружиной всей его психологии — дело в том, что бескорыстие *естественно*. В общем, полная противоположность Ларошфуко. Эгоизм, возврат к корысти не содержатся изначально в желании, они на-

¹ По Сартру, психоанализ принадлежит к детерминистской психологии (теория «психического аппарата», приведение в действие «механизмов» и т. п.).

кладываются на него. В противном случае было бы не отравление, но глубокое единство. Однако непосредственная реакция персонажа на свое желание и отравляет его. Стоит ему осознать свое желание, и он извращает его природу, делает его неестественным. Впрочем, эта неестественность сохраняет исходную чистоту желания; она лишь добавляет к ней в каком-то иррациональном синтезе иную интерпретацию целей желания. Все происходит так, будто персонаж недоверчив в отношении самого себя и в отношении другого, и будто все в себе он воспринимает с *дурной стороны*. Но эта новая интерпретация с дурной стороны становится объектом глубокой *веры*. То есть она становится пружиной его поступков. Но не совсем так, как это происходит с первичным желанием (в которое не *верят*, которым *живут*), почти что так же. Она даже может встать на место желания. Кроме того, зачастую все так, как если бы персонаж задавался вопросом: «А как извлечь пользу из этого бескорыстного желания?» По моему мнению, все это доказывает, что Достоевский, отнюдь не являясь, как это полагали, Бог знает каким греховодником бессознательного, является прежде всего романистом психологического сознания. Он затрагивает своих персонажей как раз на уровне реакции сознания на самого себя, саморефлексии сознания. Дело в том, что желание может существовать лишь тогда, когда оно сознается самим собой, то есть, когда оно *раздваивается*: только тогда существует отравление. Желание раздваивается по своей природе, и оно не может существовать без искаженного образа самого себя. И в конечном итоге искаженный образ желания (я исповедуюсь Мышкину, *чтобы* занять у него пятьдесят рублей) проскальзывает в само желание, и персонаж уже не узнает себя в нем. То есть тут нет никакого, как полагает этот болван Муссе, переводчик и автор предисловия, «раздвоения персонажа», есть просто-напросто сознание и его нормальная игра. И нет в этом ничего «характерно русского», есть имен-

но сущностная необходимость. Именно это и поражает меня у Достоевского — у меня все время такое впечатление, что я сталкиваюсь не с «сердцем», не с «сокровенным бессознательным» его персонажей, а с голым сознанием, запутавшимся в себе и сражающимся с самим собой. В этом смысле Р. Б.,¹ сумасшедшая, действовала, даже не подозревая об этом, по самому что ни на есть Достоевскому. Она говорила нам, просто так: «Ну хорошо, я надеваю шляпку и иду с вами, куплю газет, чтобы посмотреть объявления» (она только что сообщила нам, что ушла с работы и теперь ищет новое место). Делала несколько шагов, а потом бросала шляпку на кровать: «Нет, я не пойду, это просто комедия». Затем, в полном смятении, закрыв лицо руками: «Но ведь то, что я только что сказала, тоже комедия! Бог ты мой, как из этого выбраться?» Но она «действовала» по Достоевскому не потому, что была безумной — дело в том, что ее безумие на какое-то время приняло форму огромной потребности в чистоте, каковая и открывала для нее неизбежную отравленность ее сознания. Эта потребность в чистоте, в согласии с самим собой, в единстве имеется и у Достоевского, это его идеал. Но именно тут он зачастую и перестает быть романистом и психологом, превращаясь в занудного пустобреха. Князь Мышкин наводит тоску; еще тоскливее Благообразный Мужик из «Подростка». И когда один из персонажей «Идиота» говорит, что с Настасьей Филипповной можно было бы вершить великие дела, я думаю про себя: что может быть более величественнее того, что она делает? Какое место она заняла бы в этой Святой Руси, о которой он грезит? Не лучше ли она и так, как есть — страстная, мятущаяся, сражающаяся против своей страсти, против своего отравленного сознания, отравляющая себя на каждом этапе борьбы и умираю-

¹ Коллега С. де Бовуар по Руану, страдавшая эротоманией. Выведена под именем Луизы Перрон в воспоминаниях С. де Бовуар (*La Force de l'âge*. Op. cit.).

щая в конце концов, одержав над собой победу (она не вышла замуж за Мышкина). По моему, *это* и есть величие и добродетель. Добру не быть без преодоленного — преодоленного на какое-то время — Зла. В противном случае — беркенщина.¹

Позавчера иду фотографироваться вместе с Петером. Утром спрашиваю у Поля: «Пойдешь фотографироваться?» Он смотрит на меня с умильным и кислым видом — вижу, что он находит меня легкомысленным и чуточку насмешливым: «Нет, конечно же нет, я не пойду фотографироваться. Я не испытываю никакой гордости за это состояние, в котором пребываю, и не желаю фиксировать его. Не хочу, чтобы у меня в доме были военные фотографии». Я говорю ему: «Я фотографируюсь, чтобы посмешить друзей». Он с упреком и превосходством в голосе: «Уверяю тебя, что моей жене и моей матери было бы не смешно. Этот отрезок моей жизни я бы хотел забыть как можно быстрее, если я вернусь». Я отвечаю: «Это идиотизм. Что бы ты ни делал, и даже если тебе удастся похоронить большинство эпизодов, ты не сможешь сделать так, чтобы они тебя не *отметили*. Ты не сможешь остаться таким же. Ты вынужден проживать это время изо дня в день». Он молчит. Но дело именно в этом: он не хочет позволить себе *жить* этой войной, реализовать ее. Но он не способен и отвергнуть ее, как Ален. Тогда он ее отрицает, изо дня в день; он забывает ее или пытается забыть. Единственная, в его глазах, приемлемая позиция — это скорбь. Скорбь желанная и афишируемая. Поль — вдовец почившего Мирного времени.

Он очень нервничает последнее время. Говорит, что жена пишет ему каждый день. И вот уже двенадцать

¹ Синоним морализаторства и пошлости (от фамилии французского писателя Арно Беркена (1747—1791), автора книги «Друг детей».

дней от нее нет вестей. Говорит: «Когда есть какая-то безрассудная, как у меня, уверенность, что не вернешься...». Я замечаю: «И какая безрассудная! Ведь все шансы на то, что ты вернешься». Но иной раз я развлекаюсь тем, что говорю ему, что из всех нас убьют только его, и принимаюсь описывать его труп.

Говорит мне: «Ничто не может оправдать войну. Надо было смириться с мировым господством Германии».

Вчера вечером. Расстилали матрасы и простыни на полу (мы меняемся — один спит на железной кровати, другой на полу). Я снимаю башмаки и говорю: «Сними тоже, вдруг придется встать на простыню». Он отвечает: «Я и сам хотел, но чуть попозже». «Почему?» С униженностью: «От ног пахнет». «Но мы же утром были в бане». «Как утром ни моешь, вечером от них все равно пахнет». «Так или иначе тебе придется разуваться. Ты каждый вечер разувашься». «Да, но потихоньку, и когда ты уже спишь».

Ночью ему страшно хочется помочиться. Он терпит изо все сил, чтобы не разбудить хозяйку. На следующий день ходит мрачнее тучи и говорит, что у него «растяжение мочевого пузыря». Я предлагаю ему мочиться через окно. Он не знает, как быть: «Лучше, наверное, брать на ночь зондовый шар, мочиться в него, а утром выливать». Приходится его разубеждать: его моча сильно пахнет. Соглашается, и вчера вечером поссал через окно. Я проснулся от запаха. «Сам же сказал», — смущенно оправдывался он.

Когда я говорю о нем, мне не удается передать эту смесь мрачного упорства, раздражительности и христианской униженности — униженности святой Марии Алакок.*

Мы с Петером разругались с Келлером, который ни черта не делает. Поль переживает: «Поговорите с ним,

пожалуйста». «Зачем?» «Может быть, нам придется провести вместе целые годы. Я, конечно, на вашей стороне. Но я предпочитаю, чтобы внешние приличия соблюдались».

Довольно распространенная уловка у Мистлера: для самоуспокоения он использует свой политический пессимизм. Говорит: «Всем на нас наплевать, старина. Все разыграно как по нотам. Подпишут тайком мир с уступками, и месяца через три-четыре отправят нас как мудаков по домам». Таким образом он останется пессимистом до самого конца, будет мрачным и недовольным и сможет надеяться с плохим настроением. Во всяком случае он сохраняет для себя выгоду этой ситуации.

Очаровательная формула Ванды, которую я здесь записываю, так как часто спрашиваю себя, не выражает ли она и мое мнение: «В конце концов, когда мужиков забирают по очереди, задаешься вопросом, а убывает ли их на войне».

Вторник, 17-е

Сегодня утром в шесть часов я вышел от хозяйки (Поль был на дежурстве в школе). Шел дождь, упрямый дождь, который зарядил надолго. Все небо серое. На улице пахнет дымом, такой запах я вдыхал только в Берлине — и здесь. Ощущение немецкой осени. Смутные воспоминания об осени 1933 г. в Берлине. Немецкая осень: более величественная, более обнаженная, более пустынная, нежели наша. Голые леса с рыжими ветвями на синевато-серой местности — и более сентиментальная. Немецкая осень — это Потсдам. Французская — Версаль.

Бобр написала мне вчера, что ей совестно в отношении Боста. Оставаться в полном бездействии из-за от-

вращения к политике, как она примерно пишет, это именно *для нас*, если затем мы принимаем войну, не жалуясь, как некий катаклизм. Но в отношении молодежи, которые идут после нас — и в особенности Боста, чтобы далеко не ходить за целым «поколением», — мы были виновными, ибо в общем-то ничего не говорило за то, что он сам по себе встанет на эту позицию стоического безразличия; с другой стороны, он не мог еще ни голосовать, ни действовать. Я никогда не смотрел на все это с такой точки зрения: я думал, что в отношении Боста, Руле, Леви¹ у меня есть *индивидуальные* обязательства, но они не касались общего и социального — даже политического. Тем не менее все так и есть, и полагаю, что идеи такого рода сразу возникают в голове отца, так как отцовская функция сразу же вводит социальное начало в отношениях с ребенком.

Таким образом, *в том, что касается меня*, я буду честен: я ненавижу войну, но я — с 1920 по 1939 г. — и пальцем не пошевелил, чтобы ей помешать; теперь я расплачиваюсь за эту непредусмотрительность, не жалея себя, отвергая ярость и отчаяние, выдюживая то, чего не смог и не захотел избежать. Но *в отношении Боста* я виновен. *Когда же я совершил ошибку?* В том-то и парадокс: не сейчас, когда идет война, не в эти, конечно, последние годы, когда войны уже было не избежать. Раньше, когда она казалась дурным сном — с того самого момента, когда я мог рассуждать и иметь политические суждения. Это означает лишь следующее: пока война возможна, имеется с момента рождения человека — в особенности в мирное время — бытие-для-войны. Мне скажут: тогда имеется также бытие-для-обесценения или бытие-для-пропорционального-представления, поскольку речь идет о вопросах, которые встают перед каждым. Но я не захожу так далеко. Все же, если бы так и было, ясно, что война принадлежит другому порядку. Я думаю, что она при-

¹ Бывший ученик Сартра, приятель Бьянки Б.

надлежит порядку великих неразумностей — рождение, смерть, нищета, страдание — среди которых брошен человек и в отношении которых ничего не делать все равно значит что-то делать.¹ Вспоминаю об одном разговоре с Бобром, который состоялся в ресторане «Каскад» в Марселе и касался схоластического диспута между Леви и Бьянкой. Прочитав начало «Возраста зрелости», Бьянка говорила, что аборт — это рационально, тогда как рожать детей — безрассудство: не ведаешь, что творишь. Леви отвечал, что когда женщину заставляют делать аборт, тоже не ведают, что творят. Бьянка сказала тогда, что благоразумнее всего ничего не делать. Мы с Бобром пришли к такому мнению, что когда ничего не делаешь, тоже занимаешь определенную позицию в отношении такой неразумности, как рождение, равно как и в двух других случаях. С того момента, как ты наделен *лолом*, всякая позиция — даже абсолютного целомудрия — подразумевает определенное отношение к проблеме; ты брошен, хочешь ты того или нет, перед лицом проблемы размножения, имеется бытие-для-размножения, каковое можно разве что скрыть, но от которого невозможно избавиться, и мы, какую бы позицию мы ни заняли, сами *себя делаем* производителями потомства. Эту проблему ни обойти, ни рационализировать. И каждое мгновение нашей жизни, даже те, что мы посвящаем работе или игре, подразумевает определенное отношение к сексуальной проблеме, поскольку всегда можно посвятить какое-то мгновение любви и деторождению. То же самое со смертью и нищетой. Теперь мне ясно, что и с войной тоже. Каждое мгновение моей жизни, даже в мирное время, было бытием-для-войны — утаенным,

¹ Появление идеи ангажированности, которая, в понимании Сартра, тесно связана с его философской концепцией свободы и которая сыграла известную роль в его писательской жизни (см.: вступительную статью к первому номеру «Тан модерн» (октябрь 1945), перепечатана в сборнике «Ситуации II»).

завуалированным, отложенным, но все же бытием-для-войны.

Таким образом, у каждого своя война, как Рильке* говорит, что у каждого своя смерть. Она у него есть, даже если он умирает, как Даби, до начала войны. Бытие-для-войны — это перманентная ситуация человеческой-реальности, это и называют миром. Это бытие-для-войны может превратиться лишь в бытие-на-войне. И бытие-на-войне зависит от того, каким было «бытие-для». У того, кто отвергал войну, как Поль, будет своя война, он будет брошен в отвергнутую войну. Тот, кто хотел войны всеми фибрами души, как аджудан Курто, будет брошен в вожделенную, желанную войну. И тот, кто, как я, опасался ее, не сумев ни отвергнуть ее по-настоящему, ни предугадать ее, будет брошен в войну-катаклизм, а потом будет открывать мало-помалу истину и станет рассматривать войну как человеческую ошибку, как свою собственную ошибку. Я пал-на-войну. Возможно, что наступит такая историческая эпоха, когда война будет в *прошлом*. Но все равно она останется, как и рабство, достоянием человечества, и из-за этого достояния вечный мир всегда будет иметь смысл лишь как отказ от этого наследия, как отказ от войны. И все равно останется бытие-для-войны человека. Во всяком случае я в настоящий момент полностью погружен в эпоху, смысл которой заключается в том, что она медленно и с большим трудом пытается осмыслить войну. Эпоху еще подчиненную, разорванную, роль которой, как кажется, не столько в том, чтобы упразднить войну, сколько в том, чтобы реализовать бытие-для-войны. Ведь для меня вовсе не случайность, что я принадлежу к этой эпохе. Выходит так, как если бы я сам ее выбрал. Я хочу сказать, что не следует предаваться этим умственным играм, которые так ценили наши прекраснодушные умы: задуматься, кем был бы Декарт в 1939 г. Декарт вовсе не был сначала Декартом, а потом человеком XVII века. Он даже не был каким-то девственным воском, мягким матери-

алом, на котором иезуиты, пройдя определенные жизненные испытания, записали свои уроки; он выбрал быть Декартом через XVII век, он *сделал себя* из XVII века, его бытие-в-мире было бытием-в-веке. Он создавал себя как «бытие-для» современных проблем, его возможности, и следовательно его природа соизмерялась с возможностями века. Так и я, я *себя* выбрал в XX веке. Говоря словами Хайдеггера, *из XX века и его проблем я возвещаю самому себе, кто я такой*. Вследствие чего я могу быть лишь «сущим-для» этих войн, которые XX век тащит за собой. Я есмь абсолютен лишь потому, что я историчен. Вот что я хочу сказать: если считать, что я претерпеваю Историю, тогда я могу быть лишь относительностью. Напротив, если полагать, что я *делаю себя* в Истории, тогда я и оказываюсь — на своем месте — абсолютом. Но это как раз и подразумевает бытие-для-войны, бытие-в-классе (для того чтобы отрицать ее, ее ненавидеть или ее принимать) и т. д. Все-му этому, что не давалось мне до сих пор, меня научила война, в этом по меньшей мере ее заслуга.

Если когда-нибудь эти строки выйдут в свет, мне бы хотелось все же, чтобы злонамеренные кретины не путали меня с каким-нибудь Жозефом де Местром¹ или Анри Лаведаном.² Я повторяю здесь, что война — это мерзость и абсурдность, которая может произойти

¹ Согласно Жозефу де Местру, «война сама по себе божественна, поскольку является законом мира» («Санкт-Петербургские вечера». 1821. 7-я беседа).

² Лаведан, Анри (1859—1940) — французский писатель, автор легкомысленных произведений, фантазий в диалогах и пьес, некоторые из них пользовались большим успехом; с первых предзнаменований войны 1914 г. его произведения стали серьезными и моралистичными. Начиная с 1920 г. он публикует семитомный роман под названием «Дорога спасения» (изд-во «Плон»), рисующий моральные преобразования послевоенного общества. Очень может быть, что Сартр назвал свою собственную романную трилогию «Дороги свободы» по иронической аналогии с этим произведением Лаведана.

через лень и трусость людей, и себе я ставлю в упрек на предыдущих страницах как раз то, что я недостаточно ее отвергал. Но это не мешает тому, чтобы бытие-для-войны являлось сущностной структурой человеческой-реальности.

Мудрость вне времени. Подлинности, напротив, можно достичь лишь в историчности и через нее. Что примерно и говорит Хайдеггер. Но откуда происходит это всегда возможное колебание между мудростью и подлинностью, между вневременным и Историей? Дело в том, что мы не только, как считает Хайдеггер, человеческая-реальность. Мы — это трансцендентальное сознание, которое *делает* себя человеческой-реальностью.

Грин* цитирует (том II, стр. 120), глупо и некстати, замечательное высказывание Кокто: «Наши книги нас не любят».¹

Среда, 18-е

Небольшое ночное приключение. Я на дежурстве в офицерском помещении. Сплю, натянув одеяло на голову, чтобы защититься от комаров. Около половины второго просыпаюсь от сухого, гулкого, немного театрального разрыва. Скидываю одеяло и вижу, что голубая бумага, закрывающая окна, вся светится каким-то мерцающим светом. Темь. Голубоватый свет. Темь. Пять или шесть разрывов. Я встаю, подхожу на ощупь к окошку и открываю его. На улице льет дождь. Сильный дождь, который бьет по стеклам. Я было подумал, что это бомбардировка. Радостное волнение. Но теперь понимаю, что это гром. Снова ложусь. Гроза, впрочем, стихает так же быстро, как и началась. Десять минут спустя слышу шаги, в темноте открывается дверь. Кто-

¹ Green J. Journal (17 novembre 1937). Paris: Plon, 1939.

то входит. Бледный кружок карманного фонарика. Я говорю: «Кто это?» «Полковник». «Добрый вечер, господин полковник». Я встаю. Между тем он нашел выключатель, и в кабинете загорается свет. Он бодр, слегка сутул, как будто только что вышел из ночного бара. И все время этот его любезный тон. Он поправляет пенсне и говорит своим дрожащим голосом: «Нет донесений?» «Нет, господин полковник». «Вы слышали разрывы?» «Да. Я думал, что это гром». «Хм!» Он качает головой. «Боюсь, как бы не начались обстрелы. Я лежал. Подошел к окну...» Он добавляет чуть более уверенно: «Понимаете, я четыре года слышал разрывы снарядов, мне нетрудно их узнать». Я сижу в рубашке, брюках и носках. Собираюсь обуться. Он меня останавливает: «Нет, нет. Подождите пока. Я сейчас позвоню и узнаю». Он берет трубку и объясняет, заказывая номер: «Видите ли, идет война. Надо быть готовым ко всему». Я жду, сидя на стуле, пока ему ответят. Мне любопытно, испытываю легкое нетерпение. Ощущение какой-то ирреальности. Перед глазами как будто разрывается петарда. «Алло, вы не знаете, что это — гром? Что значит (голос слегка раздраженный, но по-прежнему любезный), вы на это надеетесь? Этого мало. Надо точно знать». Он вешает трубку и заказывает 15—20 (батареинный КП на передовой): «Алло, у вас все спокойно?» Ему отвечают, что да, тогда он поворачивается ко мне, чуть более нерешительный, чуть более сутулый, немного смущенный: «Тем лучше, тем лучше. Но вы знаете, обмануться было бы легко. Война началась... Завтра вам зачитают приказ генерала Гамелена, который похож на приказ Жоффра накануне битвы на Марне».¹ Я поеживаюсь, словно бы мельчаю, пытаюсь

¹ Наверное, старый полковник принял всерьез «Обращение к солдатам Франции» генерала Гамелена от 14 октября (за четыре дня до описываемых событий): «С минуты на минуту может разразиться битва, от которой в очередной раз в ходе нашей истории будет зависеть судьба Франции. На вас смотрит вся страна, весь мир. Выше голову: послужите на славу вашим оружием. Помните о

сделать так, чтобы свидетель незадачи этого старика совсем испарился. Принимаю глупый вид и смеюсь: «Тем лучше, да, тем лучше». Что не помешало мне утром рассказать эту историю всему народу. Любопытно было бы узнать его сегодняшние чувства. В общем, он принял гром за обстрел. Что касается меня, то это небольшое происшествие весьма ценно, так как, кажется, несет мне обещание мужества. В этом моя забота: достанет ли мне его, когда это потребуется? Кажется, что да, поскольку в тот момент, когда я *поверил*, что разрывы были от снарядов (в особенности в тот момент, когда полковник звонил), я испытывал одно-единственное чувство (не очень симпатичное) забавной значимости. Но это все-таки двусмысленный знак.

Полан в «НРФ». В статье «Новый взгляд на 1914»: «Кто идет на фронт сегодня, как они мудрее — и, думается мне, у них более мудрые командиры. Наверное, они более чутки, более праведны. Молчаливы: ни криков, ни любопытства...». «Ясно одно, — говорит один, — грусть тех, кто остается дома». А другой: «Мне кажется, что я ожидаю чувств, которые придут ко мне позже».

Меня поражает главным образом последняя мысль. Почти что мой случай: я ожидаю, еле-еле перебиваясь, рассуждая, полной реализации бытия-на-войне. Хотя верен весь абзац. Что-то вроде премьеры пьесы, в отношении которой 1914 год был генеральной репетицией. Актеры знают свои роли, они не робеют и не волнуются. И неведомое кроется для них не столько в технике или материальных результатах, сколько в их собственных чувствах. Они ищут себя, есть что-то

Марне и Вердене». Но он не посвящен в планы начальства, так как, начиная с 16 октября, французские войска должны были откатиться на исходные позиции, и для высшего командования и речи быть не может о ближайшем крупном наступлении.

такое, что они хотят понять — что уже не относится ни к политике, ни к социальной жизни — война и они сами на войне. Можно было бы сказать, что мы *запоздали* в отношении войны в том смысле, в каком можно сказать, что литература запаздывает в отношении любви. То есть она по ту сторону всякой живописности, а также по ту сторону всех тонких размышлений иных авторов, каковые оказываются для нее лишь общим местом или точкой отправления. Есть живописность войны, живописность ужаса, каковую переживаешь сегодня, не принимая ее в расчет. Все это известно и банально. Приходится отодвигать ее в сторону, чтобы обнаружить позади нечто более обнаженное и более очищенное: сущность войны.

Для обозначения этой войны или этого начала войны он нашел следующее выражение (более удачное, чем «призрачная война»): «неуловимая война».

Следует вернуться к слову «разрушение», поскольку цель войны в том, чтобы разрушать. Не следует заблуждаться: даже тот, кто полагает, что ведет оборонительную войну, нацелен исключительно на разрушение. Человек может защищаться, не разрушая. Может схватить руку противника и держать ее, не причиняя тому боли. Но не следует оценивать оборонительную войну по этой обманчивой аналогии. Оборона нацелена на разрушение средств разрушения, используемых противником. Так что повсюду разрушение.

Современная война — это *потlach*: побеждает тот, кто лучше перенесет разрушение своих благ. Можно даже представить такую войну, в которой каждый из противников собственными руками уничтожает свою людскую силу и свои богатства. В конце этой резни один, наверное, скажет: «Все, больше не могу». А другой: «А я еще могу». Он и будет победителем. Итак, следует рассматривать эту голую идею разрушения, хотя сама война сложнее, поскольку является *борьбой*

за разрушение. Прежде всего следует отметить, что разрушается только то, что организовано: жизни и орудия. Сегодня я бы хотел ограничиться рассмотрением того, что такое разрушение орудия. Нельзя разрушить скалу, кучу песка, ланды — притом, что можно скалу взорвать динамитом, а ланды изрешетить пушками (тем не менее даже в этом случае что-то разрушается. Ниже мы посмотрим, что именно). Разрушают дом, поскольку речь идет об орудии. Что же такое орудие? Это совокупность средств для достижения какой-то цели, каковая сама указывает на другие цели, и так далее вплоть до самого конца Космоса, за которым мы обнаруживаем того, на кого «указывает» вся совокупность орудий, то есть человека. Человеческое-бытие-в-мире — это как раз и прежде всего бытие-среди-реальности-орудий. Все, что он воспринимает, все, что он понимает, — *служит*. И что важнее всего, он самого себя сначала понимает по ту сторону от орудий, через их орудийность. Он всегда на горизонте орудийной реальности; он находится там, как тот, *кто обитает* в доме, кто стучит молотком и т. п. В самом акте обращения с молотком он реализует мир и самого себя по ту сторону мира и в мире. Даже Природу — когда она отвечает его мерке — он воспринимает как орудие. Горы он воспринимает как «покоряемые», моря — как «переплываемые» и т. д. В этих условиях легко увидеть, что сложившийся замысел разрушать переворачивает человеческое-бытие-в-мире. Уже разрушительное безумство поджигателей нацелено не только на орудие, которое оно уничтожает, — например, подожженный стог сена — но через этот стог атака идет на человека, причем не — как это часто говорится — *символически*, то есть в том смысле, что разрушение орудия якобы *равноценно* убийству человека, — атакуется сам человеческий удел человека. Это радость не от того, что ты уничтожаешь, а скорее оттого, что ты обезчеловечиваешь, обнажаешь бесчеловечную природу, которая скрывается за орудием. В самом деле, именно то, что

обретая безразличие. То, что было местом прогулки, познания и т. п., сближается с чистым пространством, становится местом укрытий, расположения батарей, наблюдательных пунктов и т. п. Таким образом, я на войне в малейших своих устремлениях, в самых ничтожных своих жестах, на ходу, открывая глаза и смотря вперед, *разрушаю* мир, как раз по ту сторону мира-подлежащего-разрушению я и обретаю самого себя как того, для кого этот мир-подлежащий-разрушению и существует. Я есмь в мире, подлежащем разрушению, и я есмь-для-того-чтобы разрушить этот мир. Но если бы все этим и ограничивалось, я был бы просто разрушителем, при том что не следует понимать это разрушающее-бытие как каприз моей свободы — или как рок моего темперамента, — но как сущностную необходимость моего человеческого удела — это означает, что именно на это разрушающее-бытие и будут накладываться мой собственный темперамент и мои собственные капризы. Сходным образом в мирное время именно на фоне человеческого удела (бытие-для-умирания и т. д.) обнаруживается темперамент каждого человека. Только разрушение этим не ограничивается: в этом разрушении человек является также *орудием* разрушения, подверженным разрушению. Он перестает быть человеческой-реальностью, потому что утрачивает свои собственные возможности (человеческий материал). Но — и это всего труднее понять — эта утрата всех своих возможностей также является одной из его возможностей. Его бытие-для-разрушения проецируется на возможность разрушения в нем всех человеческих возможностей. Этот разрушитель *есть* бытие-для-разрушения, разрушающее самое себя в мире-подлежащем-разрушению, то есть его удел в том, чтобы *делать себя вещью*. И способ его бытия-в мире, как и всякой человеческой-реальности, заключается как раз в том, чтобы оказаться *посреди* мира, как камень или река. В конечном итоге он входит в состав — в качестве орудия — этого мира ору-

дий, который намеревается разрушить. Ведь смерть солдата рассматривается лишь как разрушение орудия.

К чему же все это нас подводит? К ничто? Нет. Разрушать не значит уничтожать, это значит обезчеловечивать человека и мир. Человек и мир становятся или, скорее, превращают себя в неподвижные объекты перед лицом трансцендентального сознания. Мы обретаем теперь абсурдную исполненность нечеловеческого существования перед нечеловеческим и абсурдным сознанием. Повсеместную полноту. Организованный мир, организация которого нацелена на то, чтобы отрицать самое себя в пользу полного абсурда существования — человеческая реальность, нацеленная на то, чтобы сделать себя вещью и очищающая тем самым трансцендентальное сознание — таковы мир и человек войны. Не следует думать, что это овеществление человека и это обезчеловечивание мира приводит к какому-то результату. Они представляют лишь крайние и постоянные возможности человека на войне. Он *есть*, для того чтобы овеществиться перед лицом трансцендентального сознания, посреди мира, *полежащего* дезорганизации.

Все утро сильная канонада. Вероятно, со стороны Виссембурга.

Невозможно не думать о немецком наступлении, оно несомненно разворачивается в этот момент. Я чувствую, что связан с этим миром, который хотят разрушить. Понимаю, что ему принадлежу. Невозможно не чувствовать этих связей. Этот мир, который разрушают, этот мирный мир — это в нем я был человеком, каждое частичное его разрушение в некотором роде есть разрушение *меня*.

Странная вещь: оружие берут в руки, чтобы защищать некий мир (послевоенную Французскую республику с ее правами и ее идеологиями). И тем не менее

понятно, что сам факт того, что берется оружие, по-настоящему разрушает этот мир. То, что мы защищаем, уже мертво. Я здесь, чтобы защищать свою жизнь 1919—1939 годов. Но уже того, что я здесь, достаточно, чтобы она ушла в прошлое. Если мы победим, мы будем защитниками мира, который мы будем строить после, который будет таким, каким мы сможем, каким мы даже не можем его представить. Так мужчины 1914 года защитили от империалистической Германии Республику 1920 года. Республику же 1870—1914 года они, взяв в руки оружие, сами и похоронили.

«НРФ», Анри Пурра: «Война, которую предстоит вести так, как пишется, по чуть-чуть, страничка письма. Скучно, но надо. Да, странная война...».¹

Потому что в ней нечего выигрывать. Только защищать — от худшего — некое положение вещей, которое никого не вдохновляло, с которым все свыклись и которое не выживет с наступлением мира.

Совпадение: Мориак тоже использует («Пятьдесят лет...»)² это словечко «queerensia», которое подарил нам Хемингуэй.

Четверг, 19-е

Капитан Мюнье пришел поприсутствовать при запуске зонда и требует, чтобы ему все досконально объяснили. После чего приходит к выводу: «Четыре поте-

¹ Заметка, датированная 5 сентября, появилась в разделе «В воздухе месяца» («НРФ», октябрь 1939). Можно отметить, что выражение «странная война» используется уже через два дня после объявления войны в соответствии с тем настроением, с которым французы стали ее воспринимать.

² Текст Франсуа Мориака, опубликованный в октябрьском номере «НРФ».

рянных для армии человека». Меня это обижает. Но я сам этого хотел. В общем, я скорее военный корреспондент, чем солдат. Военный корреспондент поневоле, которому нечего сказать. Срываю свое плохое настроение на Петере, объясняя ему, что он не прав, придавая столько значения своему занятию, потому что, если посмотреть на то, что он делает и учесть смехотворную легкость его работы, его можно принять за полного придурка. Петер притихает. Потом от досады я становлюсь циничным: «Меня сюда поставили, мне плевать. Я неплохо пристроился, ну и что?». Петер в то же самое время объясняет невидимой аудитории, приводя уступки, которые сразу же отменяет, различия, гипотезы и выводы, что такова вся армия. Внести в перечень злоключений смешного стойка. Утром я был в отличном настроении, а теперь его и след простыл. Я знал, что мне здесь нечего делать, что создание этой зондажной службы было возмутительным, что я оказался на тепленьком местечке, которому все завидуют и которому нет никакого оправдания. Я знал это, но мне не нравится, что другие это понимают. И вот я разрываюсь между цинизмом и экзистенциальным душевным благородством. Сегодня верх берет цинизм, потому что меня ткнули носом. Этот дневник внушает мне отвращение, как изливания какого-нибудь пьяницы. Но я его не выброшу, потому что в душе я коллекционер, написано уже много страниц. В конце концов для того, что я здесь делаю, и для того, что здесь вижу, было бы полезно также посмотреть на войну с тыла. Необходимо отметить, что я был в подобном расположении духа, когда начинал этот дневник. На первых страницах я плевал на себя и на эту робкую значимость воина, зарождение которой я в себе чувствовал. А затем этот дневник принес пагубный результат, который я мог бы предусмотреть: я стал воспринимать себя всерьез. По правде говоря, циничная психология не казалась мне чем-то достаточным даже в то самое время, когда я в ней упражнялся. Она дополнялась стоицизмом. Что и

привело меня к экзистенциальному. Впрочем, речь идет о защите. Некий способ сказать: «Я низок», — как Лебедев в «Идиоте». Ответ Достоевского: «Словно бы достаточно себе это сказать, чтобы избавиться от этого». Вывод: мне стыдно, что я не в пехоте.

Предыдущий абзац написан не совсем откровенно. В нем нет никакой лжи, но все приукрашено. Я чувствовал, что пишу. У меня неудачный день, это точно. Тем не менее мой роман сегодня утром продвигался хорошо. Сегодня надо им и ограничиться, не думая ни о чем другом.

Пока я обедаю и пока Петер рассказывает мне о своей семье, ко мне приходит одна мысль: в конце концов, если тебе так стыдно, что ты не в пехоте, почему ты туда не попросишься? И какое-то время я тешу себя мыслью пойти в пехоту. Тем не менее мне прекрасно известно, что сам я не сделаю ни малейшего усилия, чтобы это осуществить. Почему? Из-за романа? Эта перемена, если бы я на нее пошел, означала бы, что я отдаю предпочтение жизни перед романом, и с этой точки зрения я на это не способен. И потом, у меня есть выход: закончить его. Это продлится до января—февраля, а потом надо будет записаться в пехоту. Но есть и другое: Бобр. Очевидно, что по отношению к ней у меня есть долг спасти свою шкуру. Я уже представляю себе, как она, читая эти строки, дает мне пощечину: «Простофиля, глупая мартышка». С одной стороны, строгое обязательство: я ему посвятил свою жизнь. С другой стороны, что-то расплывчатое: в общем, я сам не понимаю, зачем я здесь. Во всяком случае не для того, чтобы защищать родину или цивилизацию. В лучшем случае, чтобы защищать свою свободу (главным образом потому, что не могу иначе). В этом случае самое лучшее оставаться здесь, только это дает мне шанс наслаждаться свободой, которую я защищаю. И потом, не совсем уж я и тыловая

крыса: да, ничего не делаю, бездействую, такова моя судьба. Но я в десяти километрах от передовой, с минутой на минуту может начаться бомбардировка, а завтра, например, я могу оказаться в двух километрах от Рейна. Просто-напросто, поскольку я защищаю — если я что-то защищаю — *свою* свободу, я всегда могу — в силу этой самой свободы — предпочесть подлинность и прожить войну во всей ее полноте. Во всяком случае, здесь есть что-то расплывчатое с этой стороны дилеммы. Я не вижу со всей ясностью, что — кроме нетерпеливого героизма — заставило бы меня искать худшего. Поступать как другие: но я не гуманист. А с другой стороны, строгое обязательство, поскольку Бобр думает, что убьет себя, если больше меня не увидит. Ладно. Но разве я не доволен, что у меня есть такое обязательство? И каким бы доподлинным оно ни было, разве не служит оно здесь предлогом?¹

Мне захотелось быть пехотинцем. Но если бы это случилось, я был бы где-нибудь в Бар-ле-Дюк, как Бост. Тогда мне хотелось бы быть на передовой. Но если бы я был на передовой, я мог бы оказаться на спокойном

¹ Этот кризис самосознания безоснователен: в любом случае Сартр «не годен к строевой службе». Может ли он этого не знать? С раннего детства у него бельмо на правом глазу, которым он совсем не видит; левый глаз сильно близорук. Некоторые молодые люди с подобным недугом были демобилизованы. Понятно, что его самолюбие страдает от этой ущербности: по армейским параметрам он «ни к черту не годен» (см. его разговор с Ж.-Л. Бостом в апреле 1937 г. (Lettres au Castor... Т. 1. Р. 95—96). Парадокс гордыни: в общем его самообвинение в трусости позволяет ему отрицать свое кривоглазие или по меньшей мере его забыть. Возможно, что он скрыл от своих «приспешников» этот недуг (бельмо было небольшое, а неподвижность радужной оболочки могла сойти за обыкновенное косоглазие). В противном случае непонятно, почему Петер, который всегда был в курсе всего, не заметил, что у него не было никаких шансов оказаться в боевом соединении? Выше мы уже видели, что Сартр вполне сознает свою склонность к отрицанию в себе тех или иных (с. 42) качеств.

участке. Тогда бы мне захотелось чего-нибудь похуже и так далее. В конечном итоге я просто мечтаю о том, чтобы оправдать мое присутствие здесь героизмом. Помню, как Лунная Женщина¹ советовала своему призванному мужу в сентябре 1938-го: «Делай, что тебе приказывают, а то у тебя будут неприятности, но особенно не старайся». Героизм нетерпения, надежда на что-нибудь похуже. Единственная реальная пружина, которая могла бы заставить меня действовать, это надежда на обретение истинной подлинности. В остальном же душевное состояние отвергнутого кандидата — в котором я часто пребываю; сегодня утром я сдавал экзамен и завалил его, вот и все. Это меня и обидело. Вот и вся история. Только это и еще нечто ценное: мысль, которая никогда не приходила мне в голову, — о том, что в конце концов я всегда мог бы, когда мне захочется, пойти в пехоту, обяжет меня не принимать себя так уж всерьез и честно *принять* свою ситуацию *здесь* и не мечтать о героизме *где-то там*. Никогда не принимать себя всерьез.

Это написано в 13 часов 5 минут. Успокоился. Правда, для этой умиротворенности оказались не лишними полбутылки вина и рюмочка водки. Моя милая подлинность, где же ты? Если ты подлинен, то просто подлинен — и чуточку как простофиля, — если этого нет, то начинается галерея зеркал, начинаешь себя обманывать, лгать себе до бесконечности.²

¹ Прозвище одной молодой женщины, с которой, как и с ее мужем, Сартр познакомился шестью годами ранее в Берлине (в воспоминаниях С. де Бовуар она фигурирует под именем Мари Жирар).

² Понимает ли Сартр, что занимавшая его только что дилемма (пойти или не пойти в пехоту) была ложной и что *криводушие* — понятие, которое полностью определится, когда он представит в «Бытии и Ничто» феноменологическое описание сознания — владело его сознанием этим утром?

Пятница, 20-е

Любопытно, что со 2 сентября у меня было немало всяких радостей, порой довольно сильных. Не бывает дня, чтобы я не пережил какую-нибудь радость; но когда я о *них* вспоминаю, эти радости, которые казались мне естественными в тот момент, когда я их испытывал, начинают мне казаться кошмарными. Это все равно радости, правда, пылающие адским пламенем, а главное, все разворачивается — и радости, и остальное — в каком-то галлюцинаторном ритме. Однако я не ощущал этого ритма. Возможно, он и обнаруживал себя в какие-то мгновения, но остальное время он был замазан, пропитан повседневной гущей времени. Мне кажется, что именно об этом я писал 1 октября, говоря об этом своего рода бессознательном затвердении, направленном против постоянного искушения впасть в отчаяние. Именно оно превращает в inferнальное шествие (точь-в-точь шествие на костер между двумя шеренгами строящих рожи людей, которые бьют в кимвалы) два этих мирных месяца, которые я и прожил мирно. Но теперь я больше не твердею. Сходным образом все вокруг кажется мне отвратительным (я имею в виду все, что связано с армией), хотя прежде я об этом даже не задумывался или даже этим забавлялся, когда это видел. Наверное, я раз и навсегда закрыл себя от всех этих умильных, гнусных или зловещих смыслов, которые мог бы уловить на окружающих меня вещах. Я их не *видел*, буквально, хотя они были, для меня. Они содержались в моем первичном и предонтологическом восприятии; как мне казалось, любой объект, любая вещь были задействованы в сложной организации «разрушитель—разрушаемый». Я понимал их так, как есть, но дело было в том, что я не остерегался понимаемого. В результате чего первичный смысл вещей становился не неосознанным, а имплицитным. Перед лицом этих мрачных и зловещих вещей, которые, правда, ничем не выдавали себя, я выкидывал ко-

ленца радости и хорошего настроения, закрывавшие их ладной и блестящей завесой. Начиная с Брумата все изменилось: я хотел бы посмотреть на мир без завесы войны, но он не очень-то показывался.

Эта война является сложной — в том смысле, в каком говорят о сложной музыке. Она напоминает философию Брюнсвика,¹ мысль о мысли. Говорили, что война 1914 года была бергсонинской, по крайней мере, в начале. Эта же война является критической. Она идет словно бы *в ответ* на войну 1914 года. Все — начиная с управления военными операциями и заканчивая отношением каждого отдельного человека — является реакцией на 14-й год. Этот новый облик — муки-на-радость, занудство и толика католицизма — воина сложился *в ответ* на показной патриотизм 14-го года. Эти долгие выжидания, это бережное отношение к людской силе, эти осмотрительные отступления и эти хитрости высшего командования вырабатывались в ответ на достославные марши 14-го года. Скромность (увы, ее еще недостает) в промывке мозгов и наше априорное недоверие к промывке мозгов. И смущение профессионалов по ободрению духа, которые уже не так смелы, говорят с таким видом, будто не делают никакого вида: «Вас не ободряют, понимаете, вас не ободряют». Беро, к примеру, пишет в «Гренгуаре» от 12 октября:² «Избавим тех, кто сражается, от

¹ Леон Брюнсвик (1869—1944) был значительной фигурой во французской философии межвоенного периода. Сартр, который изучал его произведения в Эколь Нормаль, с этого времени не приемлет его «критического идеализма». Его друг Поль Низан был еще более непримирим в отношении философии Брюнсвика, считая, что она представляет собой одну из основ буржуазного строя (см.: *Nizan P. Les chiens de garde. Rieder, 1932*).

² Речь идет о статье под названием «Жесткие на бумаге» по поводу речи Гитлера от 8 октября. Анри Беро (1885—1958), французский писатель и публицист, издавал тогда литературно-политический еженедельник «Гренгуар», который перед войной зарекомендовал себя яростными нападениями на демократию, Англию и евреев.

уроков стойкости, от которых некогда сами так страдали». И это удивление Пурра, которое все мы разделяем: «Странная война» рождается от постоянного возвращения к войне 1914 года, с ней соизмеряют войну 1939 года. Вслед за простыми и запуганными идеями, выработанными по аналогии в 38—39-м: «Война 39-го года будет по отношению к войне 14-го года такой, какой была последняя по отношению к войне 70-го года» (мысли об апокалиптических бойнях, 2000 самолетов над Парижем и т. д.), — пришла идея критическая: «Война 39-го года не обязательно будет более страшной, чем война 14-го года, она будет *другой*». Однако эта критическая и *историческая* идея сопровождается постоянной тенденцией к тому, чтобы соизмерять и ограничивать эту новизну через возвращение к войне 14-го года. Коротко говоря, речь идет о войне, которая была *отрепетирована* (1914 год, война в Испании и т. д.) и которая напоминает показ мод от кутюрье. Отыскивают ее концепции («экономическая» война — «промышленная» война и т. д.). Даже Полан («НРФ», октябрь) пишет: «Пусть нам не мешают *осмыслить* войну...».¹ Эта историческая (и феноменологическая) идея, что война 39-го года имеет свои собственные концепции и свои категории (моральные и прочие), является по-настоящему новой идеей, война 14-го года главным образом *ощущалась*. А также осторожная идея, что эти концепции будут выработаны с течением времени, что следует их дождаться: «Кажется, что я дожидаюсь чувств, которые придут ко мне позже» (выражение одного солдата, процитированное Поланом). В общем, речь идет об экспериментальной позиции каждого по отношению к войне. Мы воюем и наблюдаем за войной.

Ко всему прочему эти концепции довольно трудно выработать. Против *чего* мы сражаемся? Против нацизма? Но вот уже год во Франции процветает скры-

¹ В статье под названием «Возврат к тысяча девятьсот сорока четырем».

тый фашизм. Идея об идеологической войне относилась к довоенному времени. В самом деле, странам Оси* не противостоит никакого демократического блока. Мы не являемся врагами Италии. С другой стороны, рискуем стать врагами Советской России. К тому же, что такое нацизм сегодня? «Mein Kampf»?¹ Розенберг? Риббентроп?² И что такое наша демократия, которая упраздняет парламент и свободу мысли?³ Мы сражаемся против горстки людей? Против Гитлера и его клики? По правде говоря, в этой войне есть что-то от карательной операции (листовки РАФ: ** «Немцы, против вас мы ничего не имеем»). Но это привело бы к скорейшему заключению мира с правительством, которое заменит Гитлера. Однако уже многие люди во Франции и в Англии считают и пишут, что стабильный мир мог бы установиться на основе принижения роли, а может быть, и раздробления Германии. И они опираются на тот бесспорный факт, что Германия, в конце концов являясь демократической страной, выбрала Гитлера

¹ Книга Гитлера, написанная в 1925—1927 гг. Полный французский перевод появился в 1934 г.

² В ходе странной войны французские газеты уделяют много внимания различиям и соперничеству высших должностных лиц нацистской Германии, в частности между Альфредом Розенбергом и Иоахимом фон Риббентропом. Напомним, что Розенберг, который был из балтийских немцев, являясь «интеллектуальным вождем» движения с 1923 г., в 1939 г. был начальником отдела иностранных дел нацистской партии; он был сторонником идеи великой нордической империи под эгидой Германии; Риббентроп был министром иностранных дел Рейха.

³ Закон об организации государственной власти в военное время от 18 июля 1938 г. давал Даладье возможность управлять страной посредством декретов; кроме того, заботясь об эффективности управления, Даладье 14 сентября 1939 г. возлагает на себя обязанности нескольких министров; и справа, и слева его обвиняют в злоупотреблении властью. С другой стороны, 29 июля 1939 г. был создан общий Комиссариат министерства информации, который возглавил Жироду — этот институт был подвергнут жесточайшей критике, в частности за весьма капризную концепцию цензуры.

из-за программы, которую он сейчас и осуществляет. Все это тем не менее не доходит у нас до ненависти. И если мы вступили в войну, чтобы защитить подвергнушуюся нападению Польшу, то почему выходит так, что мы сражаемся против Германии, которая взяла себе половину Польши, а не против России, которая взяла себе другую половину? Потому что польское правительство не попросило нашей помощи против России? Шутка: оно это не сделало, потому что ему сказали этого не делать. Потому что мы предпочитаем иметь одного противника? Понятно, но тут и вырисовывается идеологическая недостоверность войны. В самом деле, нельзя сказать, что мы вступили в войну, протестуя против расчленения Польши, поскольку мы принимаем это расчленение в то самое время, когда его отвергаем.

И *ragu* чего мы сражаемся? Чтобы защитить демократию? Но ее больше нет. Чтобы сохранить довоенное положение вещей? Но ведь это был самый что ни есть развал. Не было больше ни партий, ни связных идеологий. Повсюду общественное недовольство. Нами управляли капиталисты? Но они ничего не могут выиграть в этой войне. Они препятствовали ей как могли, они и были авторами Мюнхена. Они примирились с расчленением Чехословакии из-за ужаса перед коммунизмом. Наверное, весь их интерес в сентябре 1939 года заключался в том, чтобы «не потерять лица перед Гитлером», как выразился глава кабинета 30 августа 39-го года. Они больше боятся Сталина, чем Гитлера, вот и воюют с Гитлером, а не со Сталиным. Что ж, тогда мы сражаемся, чтобы уничтожить капитализм? Однако очевидно, что такой цели правительство перед собой не ставит. И что это за солдат, у которого есть такая надежда? Сражаемся, чтобы защитить себя — то есть чтобы защитить Францию от Германии, то есть возвращаемся к устаревшим понятиям прошлых войн? Но Гитлер тысячу раз говорил, что он не хочет нападать на Францию. Конечно, этому нельзя было верить, и наверняка рано или поздно пришла бы наша очередь. Во всяком

случае фактом остается, что мы в *то время* об этом не подумали. Да, но следовало подумать о будущем. Вне всякого сомнения, но тогда мы ведем *превентивную* войну, хотя сто раз заявляли, что не будем этого делать. Слова одного англичанина, сказанные в июне 39-го года капитану Мюнье: «Если Гитлер не объявит нам войну, то мы сами в конце концов ему ее объявим». В конечном счете мы напали на Гитлера. Из-за любви к Польше? Мрачная шутка. Почему к Польше, которая была неверной союзницей, предавшей нас в сентябре 38-го года,¹ антидемократической стране, освоившей гитлеровские захватнические приемы? А не к Чехословакии, верному другу, социалистической республике? Потому что уже надоело! А разве не надоело, когда немецкие войска в марте месяце вступали в Прагу? Надоело, но теперь в нашу программу входит пункт воссоздания Чехословакии. Уверены ли мы, что сможем это? Хотим этого? И разве сами англичане не говорили в 1938 году, что даже в случае успешной войны им не удастся восстановить это государство в прежнем виде? И теперь, разве можно будет объединить словаков и чехов? Вернуть им Судетскую область? Кто может угадать, какой будет карта Европы, когда наступит мир? И потом, никто по-настоящему и не любит поляков, несмотря на выпады прессы. Одним до них нет никакого дела; другие говорят: это мерзавцы, они получили по заслугам. Может, мы ведем, как говорят дикторы «Радио Штутгарт», английскую войну?² Вне всякого сомнения. Но почему Англия хотела этой войны? Следует ли принять эту очаровательную формулировку, которая ходит в последние дни: воевать, чтобы защитить Мир? Но всякому понятно, что един-

¹ Напомним, что Польша поддержала требования Германии в сентябре 1938 г. и приняла участие в расчленении Чехословакии после Мюнхенских соглашений, захватив себе силезскую часть Катовице.

² Лейтмотив «Радио Штутгарт»: «Англичане дают машины, а французы подставляют грудь».

ственный способ защитить Мир — это не воевать. Воюют, чтобы защитить свои богатства, свою свободу, свою нацию, а не Мир. Будущий Мир? Это слишком удобно: после войны в любом случае настанет мир. Тогда остаются расплывчатые формулировки: взрыв негодования... положить конец угрозе, которая нависла над миром... и т. д., и т. д. Вот мы и вернулись к *чувствам*, оставили область интересов и идей. «Не говорите мне больше о валютном курсе или капиталах, экономике, классовой борьбе, как в политическом трактате. Речь идет о скупости, о ярости, о лжи — как в романе. О тревоге, о союзниках, о родине — как в песне.¹ Ну да, так и есть. Но война, это не роман. И не песня. Вследствие чего можно лишь одобрить безмолвие тех, кто пошел в армию без всякого воодушевления — потому что они не могли иначе, — кто оставил гражданским романы и песни и кто пытается честно обдумать эту жестокую реальность, что разворачивается через них и несмотря на них.

Не говорить, что мы сражаемся, потому что не принимаем царства силы. Если бы Гитлер согласился на мирное разрешение данцигского вопроса, войны бы не было, и мы ратифицировали бы захват Чехии и Австрии. Таким образом, чистая сила была бы узаконена *благодаря нам*.

Не путать истоки этой войны, которые, возможно, будут понятны для историка, с мотивами, которые побуждают нас сражаться и которые, как я указал выше, неясны. В самом деле, следует попытаться мыслить эту войну как *событие*, как *значимую реальность* и как *ценность*. Как раз ценность этой отдельно взятой войны и ускользает.

Лейтенант Мюно сказал писарям, что, если война будет долгой, то они не смогут по окончании вернуться

¹ «По словам Полана» (прим. автора). — Из статьи «Возврат к тысяча девятьсот четырнадцатому».

на свои рабочие места. Смятение писарей — вытянутые физиономии. Таким образом, они прожили мирное время, боясь войны, — а войну, боясь мира. И с этой точки зрения я — в привилегированном положении, поскольку я госслужащий.

И все же я на переднем крае, на расстоянии пушечного выстрела от врага, в десяти километрах от Рейна. Если бы враг стал стрелять, то стрелял бы прямо в нас. Только вот он не стреляет.

Суббота, 21-е

Экспериментальный и критический характер этой войны объясняется довольно легко: дело в том, что в 1914 году впервые велась тотальная война, то есть война, которая потрясла нацию вплоть до самых корней и которая чуть было не сожрала всех ее мужчин вплоть до самого последнего. Французские войны XIX века велись профессиональной армией — за вычетом последней — и за пределами Франции: в Испании, Алжире, Греции, Крыму, Италии. Война не касалась жизни нации, она списывалась на издержки умозрительных представлений, это была дорогостоящая и широковещательная обязанность великой нации. Частные лица вносили в нее финансовые вклады. Для них война была хронической пошлиной: престижным налогом. Они не очень-то задумывались о войне и, впрочем, о ней и не стоило особенно задумываться: это был дипломатический ход, решение, которое принималось, когда переговоры сводились к мертвой точке, для профессиональных солдат это был повод блеснуть своим героизмом. Война не противостояла миру как один общественный уклад другому. Скорее уж нация всегда жила в мире в пределах своих границ и где-то там вела какую-то войну, отдаленные отзвуки которой иногда до нее докатывались. Таким образом, воспоминание о великих нацио-

нальных войнах времен Революции, еще такое жгучее при Луи-Филиппе, мало-помалу изглаживалось, и война стала нормальным феноменом для данного типа общества, сопровождавшим политический режим и не вносившим в него никаких изменений. Это было нечто вроде блистательного и дорогостоящего побочного продукта организованного определенным образом общества. Война 1870 года не изменила такого представления о войне: она обернулась поражением, но это было поражение, которое терпят в *такого рода войне*. Налог на войну, который пришлось заплатить Франции, был таким, что его сумму смог нам предоставить один-единственный банкир. Немного убитых, одно большое сражение, долгая, но не смертельная осада Парижа. Страна быстро встает на ноги. Затаившая обиду, но не раненая. По правде говоря, сама эта обида и последовавший за ней подъем национального чувства был для Франции новым феноменом. В 1815 году не было никаких обид. Может быть, лишь чувство освобождения. И унижение, которого нельзя было не почувствовать во время оккупации, вылилось в ненависть к Бурбонам. Эта обида не внесла ощутимых изменений в общественное мнение. Между тем правительство стало формировать общенациональную армию и тем самым готовило нас к тотальной войне. Но умы к ней не готовились. И мы вступили в войну 1914 года с настроем 1860 года. Да, наша буржуазия не поскупилась на мужчин, тогда как прежде давала только наличность. Но эти мужчины отправились на войну, относясь к себе так же, как двадцатью пятью годами ранее они относились к профессиональным солдатам. К этим устаревшим чувствам добавлялись страх перед Немцем и доподлинная национальная ненависть. На чем и явила себя война, которая потрясла всё до основания, но у них не было времени осмыслить ее, пока они ее вели. Из них была новизна и сила чувств, им едва удалось испустить несколько воплей ярости. Эту громадную и немислимую войну стало перебирать по косточкам послевоенное время.

Эту войну мы перебирали по косточкам двадцать пять лет, мы рассмотрели ее со всех сторон, она стала вызывать в нас отвращение, мы боялись, как бы она в будущем не вернулась в настоящем своем виде. И в то же самое время нам было известно, что она не закончилась, что мир 1918 года был лишь перемирием, и мы вооружались против нее: не упустить ее на этот раз, схватить, обдумать, подавить. И вот эта война приходит, рецидив Большой Войны (вот почему мне кажется, что она будет не такой длинной и не такой кровавой). Можно сказать, что ее ожидали. Она не застаёт нас врасплох. И в то же самое время нам везет, что она «неуловима». Временное бездействие немцев — следствие тактической ошибки — дало нам время не только провести мобилизацию против них, но и мобилизоваться против нее. Шарлеруа в 1914 году привел умы в разброд. Сегодня никакое поражение не в состоянии привести в разброд наши умы: мы мобилизованы *также* и на то, чтобы помыслить самые страшные поражения. С 18-го по 39-й год поливали грязью всех участников Большой Войны: поливали грязью командование, поливали грязью тыл, поливали грязью инициаторов мира, даже солдат поливали грязью. Так было еще полгода назад — еще три месяца назад. Вот почему вторая тоталитарная война берет свое от первой. Будьте уверены, что ни солдаты, ни командование, ни дипломаты, ни бойцы не будут прежними. Найдется, может быть, лишь жалкая кучка идиотов-ветеранов 14-го года вроде Доржелеса, которые будут бегать по рядам солдат, потирая руки и приговаривая: «Они не изменились, они не изменились!»¹ Пусть поражаются.

¹ Ср.: «Я был уверен, что они не изменятся. Шинель потолще и другая амуниция, но внутри все те же ребята, которые ничего не боятся. Хотелось бы мне помолодеть, чтобы стать их товарищем». *Dorgèlès R. Retour au front. Gringoire, 1939, 12 octobre.*

Таким образом, хочу я того или нет, я был рожден для войны, начиная с самого детства я-был-для-войны. Не потому, что сейчас воюю (не думаю, что мужчины 14-го года были «для-войны», они были застигнуты врасплох), но потому что я изо всех своих сил, безо всяких преград или отстраненности прожил эти двадцать пять межвоенных лет. Я *сделал* себя *для* войны. Сама моя легкомысленность в отношении войны, это неважно мотивированное отторжение, которое я ей противопоставлял, и та манера, с которой я воспринимал все те речи, что осуждали войну 14-го года, — все это составляло мой способ бытия-для-войны 39-го года. И мой антифашизм, мой антинацизм, плоды времени, служили мне лишь удобным предлогом для того, чтобы сражаться, тогда мое отрицание войны отрицало войну 14-го года, а не войну 39-го года. В конечном счете, сегодня обнаруживается смысл 18—39 гг. — это было межвоенное время, и поскольку я всей душой принадлежал этой эпохе, то был, как и многие другие, человеком межвоенного времени. Как знать, не диктовалось ли очарование, которое охватывало меня при виде огней Парижа, его недолговечных домов и улиц, как раз тем, что оно исходило от мира, которому угрожала война. Мое бытие-в-мире включало в себя войну как крайнюю и собственную возможность этого мира: как возможность больше не реализовывать своего присутствия передо мной, уступить место другому миру, с другими людьми, другими городами, другой моралью. Сколько раз меня навещал призрак разрушения (разрушения, принесенного целыми воздушными армадами, пулеметами, строчащими на площадях, катастрофами, вторжениями)? Сколько раз в ходе прогулки меня охватывал неистовый страх лишь из-за того, что улицы казались мне переполненными, и я представлял себе, что на них устраиваются кровавые бои? Сколько раз меня охватывал страх оттого, что я вдруг ощущал *временность* мира, в котором жил? И так было со всеми; достаточно почитать дневник

Грина или Даби, одни и те же страхи. Прекрасно понимаю, что мне могут возразить: а если бы этой войны все же не было? Вы объясняете прошлое через будущее. Если бы Гитлер умер до того, как решил напасть на Польшу, у вас не было бы войны, вы не были бы человеком межвоенного времени — и все равно переживали бы те же самые страхи. Но я отвечаю, что в истории именно будущее и дает объяснение прошлому, ведь любое прошлое существует только постольку, поскольку имеет на горизонте некое будущее. Исток моих страхов заключается в том, что речь шла о грядущей войне, и я страшился ее, поскольку она была на горизонте моего мира как его крайняя возможность. И этот страх перед войной также поспособствовал тому, что она пришла — и пришла именно такой, какой пришла. И если я все время отвергал свое бытие-для-войны, то причина была в том, что оно мне не нравилось — в точности так отвергают свое бытие-для-умирания. Но я не мог от него уклониться: только лишь преобразовать его в неподлинное-бытие-для-войны. И это неподлинное-бытие-для-войны является знаком целой эпохи, потому что нас таких было много и потому что оно содействовало реализации войны, оно ее притягивало.

Война открыла мне мою историчность. (Обычное стечение обстоятельств, я был к этому подготовлен Ароном и Хайдеггером. Но идет ли речь просто о совпадении? Разве не европейская ситуация подтолкнула Арона написать эту книгу¹ и написать ее именно *так*? Да и меня самого разве не подтолкнуло к тому, что я их стал читать и себя самого стал рассматривать в историческом аспекте, именно то, что Низан называет *самым тяжким бременем* Истории?)

¹ Речь идет о книге Р. Арона «Введение в философию истории» (1938).

Характер мира 18—39 гг.: он сам показывал себя подверженным разрушению. Революцией, войной (напротив, счастливый застой 1900 года). Но мало того, что он показывал, что его можно разрушить, он требовал этой разрушаемости. На чем стяжал себе славу и поэтичность. Но он знал о своей переходности и смаковал свою временность, он стремился к тому, чтобы взглянуть на себя с той точки зрения, с которой его будут судить, когда он уже будет погребен. Он не верил в себя. Его изводила память о войне 14-го года и страх перед войной 39-го года. Но многое себе позволял, так как знал, что скоро должен умереть. И я со всей страстью жил этой недолговечностью. Я знал, мы все знали, что он скоро исчезнет. Мне кажется, что в прошлом только немногие люди так любили свое время, как я любил свое. Держался за него всеми своими силами. В 1921 году, когда я гулял с Низаном по Бульварам, восхищение своей эпохой было хорошим тоном; все говорили: «Неоновая реклама, юпитеры, авто с низкой посадкой». Это были волшебные слова. Писали быстро и отрывисто. И теперь я понимаю, что это значило: это были глупые потуги модернизма (тогда говорили: век скорости — искали язык без синтаксиса, который соответствовал бы ста двадцати километрам в час наших скорых поездов). Но мы были наивны и прямодушны: мы изо всех сил принялись любить эти огни и эти скорости. Мы открыли для себя джаз, но как бедняки: мы не умели танцевать. Нам приходилось слышать, что под звуки банджо происходят волшебные любовные истории, но они были не для нас, мы были слишком молодыми, слишком бедными, слишком некрасивыми. В джазе мы находили жестокую и сексуальную красоту чего-то запретного. Нам приходилось слышать о восхитительных эксцентричностях (это мы их так оценивали) тех, кто был постарше, но у самих нас не было ни смелости, ни времени, ни нужного изящества, чтобы их себе позволить. Вся эта славная послевоенная жизнь оставалась для нас недосягаемой феерией, мечтой. А ведь

именно она наделяла своим шармом малейший уголок Парижа.¹ Вся моя жизнь благоухала этим послевоенным временем, за которым я подсматривал в замочную скважину. И вот эта очаровательная эпоха умерла. Вся ее притягательность — негры, небоскребы, вспышки, оргии, свободная и трагическая любовь, банджо и т. п. — стала штампом. Но что касается меня, на мне остался ее отпечаток. Эту уже прошедшую эпоху я и любил со всей страстью — в Париже, на Менильмонтане, Монмартре, Монпарнасе. Всю свою жизнь я видел через нее, она была утраченным временем, правда, не мною, а другими, которое я пытался завоевать. Кто проживал ее по настоящему, пережили самих себя (сюрреалисты, Мишель Лейрис и т. п.), за ними пришла молодежь — строгая и немилосердная (Птижан,² Максенс³ и т. п.), которая позволила себе быть строгой в отношении этого умершего веселья. Но я, но мы принадлежим к поколению между двух войн. Слишком юные для одного послевоенного периода, слишком старые для другого. Слишком юные, чтобы вкусить этого послевоенного времени, слишком старые, чтобы быть в состоянии строго и непредвзято его судить: как бы то

¹ В восемнадцать лет Сартр писал: «Они шли вместе в чистые дни изумительной радости, отыскивая красоту людей и камней на перекрестках слишком хорошо знакомого города. И все казалось им чудесным: электрическая реклама, неслышимый шелест „роллс-ройса“ переполняли их каким-то оцепенением и отрадой наподобие внезапного появления феи...» (Ecrits de jeunesse. Op. cit.).

² Арман Птижан, французский писатель, сотрудник «НРФ», был на восемь лет моложе Сартра. Будучи последователем Пеги, он в 1938 г. выступил против пацифистов и пытался в своих статьях обосновать идею нового патриотизма; тогда же он опубликовал книгу «Модернист и его ближний» (изд-во «Галлимар»). По словам одного из критиков, «...в ней находишь этот пыл и эту серьезность, по которым легко узнается подлинная и долгая молодость» (Marcel Arland. NRF, septembre 1938). Как это ни странно, но во время оккупации он будет поддерживать Виши.

³ Жан-Пьер Максенс (1906—1956), французский публицист, сотрудник «Гренгуара», в 1939 г. выпустил в свет «Историю десяти лет. 1927—1937» (изд-во «Галлимар»).

ни было, это *наше* послевоенное время. Оно наложило на меня свой отпечаток. Вся моя жизнь и все мои сочинения отражают его и пытаются вернуть к жизни. Вот почему этот мир, в котором я прожил двадцать лет, показался мне еще более хрупким, когда умерло его самое драгоценное изящество. Теперь оно дважды мертво.

Мне думается, что я любил свое время так, как другие любят свою родину, с той же односторонностью, с тем же шовинизмом, с той же предвзятостью. И презирал другие времена с той же слепотой, с которой иные презирают другие нации. И мое время потерпело поражение.

Я всегда думал, что где-то в 1920—1925 чуть было что-то не родилось: Ленин, Фрейд, сюрреализм, революции, джаз, немое кино. Все это *могло бы* сцепиться. А потом каждое из этих явлений пошло по своему спорадическому пути. Поодиночке каждому из них легко свернули шею. В единый мир они сложились лишь в моей памяти.

В общем, я пытаюсь мыслить эту войну (как наш удел) наперекор механистичности, наперекор случайности, наперекор материализму. Это еще один способ защититься от нее.

Воскресенье, 22-е

Петер: «Скажи-ка, сегодня утром будет шукрут?»
Келлер: «С чего ты взял?» Петер: «Его в прошлое воскресенье давали». Поль, поднимая голову, изящно бросает: «Ты что, думаешь, тут есть какая-то периодичность?» Эта фраза приоткрывает мне смысл легкого беспокойства, которое всегда мной овладевает во время разговора с инженерами и физиками. Они ис-

пользуют слова в смысле, который противоположен их смыслу в литературном и светском языке, каковой антропоморфичен. Для них изящество заключается в том, чтобы выражаться образно — как выражается писатель или образованный человек — правда, эти образы характеризуются тем, что в основном представляет человеческий мир в виде физического мира. Откуда: «забавный» эффект обезчеловечивания человека — возможность сохранять в весьма расплывчатом мире точность и строгость научных терминов — свобода в использовании с ироничным изяществом ученых слов. Естественно, тон дает понять, что их самих не проведешь. Но это им лестно.

Лейтенант Мюно: «Мало кто что понял. Мне встречался лишь один такой, один капрал. Он мне сказал: в сентябре 1938-го я не задумывался о жизни, у меня были жена и двое ребятишек, но я ни о чем не думал. Меня призвали, и я сказал себе: ну, ладно, я понял. По возвращении я заставил жену выучиться на шляпницу, это заняло полгода. После чего на все сэкономленные деньги купил ей шляпный салон. Он открылся 20 августа, как раз перед войной. Теперь я спокоен. И лейтенант Мюно делает вывод: «Так вот, кто так поступил, тот для меня человек, не скажу высший, потому что он все-таки не образован, но все же...».

Возмущение идет снизу вверх. Но люди слабохарактерные и дисциплинированные находятся под слишком сильным давлением. Командование давит на них непомерным грузом. Тогда их возмущение распространяется в ширину, на равных. Аджудан Курто узнает, что его отец при смерти. Он просит предоставить ему отпуск, в чем ему отказывают. Было бы проще направить его в командировку в Нанси, где живут его родители. Ему говорят, что об этом не может быть и речи. Он возвращается вне себя от ярости: «Когда я вижу такое... когда я такое вижу...». Он ждет, что вспыхнет

возмущение против его начальников, но колеблется и говорит: «Ну хорошо, пусть теперь кто-нибудь захочет поехать в Нанси за калькой, что бывает чуть ли не каждый день. Я сам буду следить за приказами по командировкам. Я скажу: пардон, калька есть и в Брумате, магазин тут рядом».

Ему даже в голову не приходит, что он может взбунтоваться против своих начальников. Его возмущение выливается на равных. И точно, уж если он закатит скандал по поводу легкомысленного распоряжения о командировке, то отрицание будет направлено именно на распоряжение начальника, но исключительно в лице унтер-офицера, который мог бы им воспользоваться. Ему требуется находящийся на *его уровне* символический представитель этой несправедливости, которую он не может честить на том уровне, на котором она осуществляется. В точности так первобытные люди отыскивают в своей среде представителя преступления, чтобы уничтожить это преступление в его лице. Уже замечал такой прием за старшим сержантом Ноденом. Мне кажется, что именно этим незадавшимся и отклонившимся возмущением благомыслящих людей и воспользовались нацисты, подменив ненависть к капитализму ненавистью к евреям. Возмущение низложенное и не смеющее так себя называть. Наверное, «радикализировать массы» — это значит научить их правильному направлению возмущения.

Три интересных замечания братьев Таро («Парисуар», 21 октября):

«Итак, мы втянуты в войну, которая, наверное, будет похожа скорее на войну XVIII века, чем на войну 1914 года. Одну из этих войн с неожиданными ударами и длинными передышками, когда между двумя операциями войска встают на зимние квартиры...».

«На протяжении почти 300 километров стоит бетонированным заслоном линия Мажино, обеспечивая населяющим ее солдатам такое существование, кото-

рое напоминает скорее существование матроса на броненосце, чем, например, существование наших в Дуамоне».

Мысль одного офицера: «Важно не просто выиграть войну; важно выиграть ее с наименьшими потерями. Мы не так богаты, чтобы расплачиваться гекатомбами. Пусть даже война будет победоносной, но если мы понесем большие потери, это будет проигранная война...».¹

Последнее замечание напоминает лозунг итальянцев (тех времен, когда Италия была воинственной страной): даже если мы потерпим поражение от Франции, мы ее победим, поскольку мы более плодовиты. Новое значение уровня рождаемости на войне, он рассматривается как статистически прогнозируемая величина.

Неуловимая война. Призрачная война. Офицер, с которым встречались братья Таро, называет ее китайской войной.

Понедельник, 23-е

В трактире обедал вместе с тюремным надсмотрщиком (Клерво в Обе): невысокий парень с белокурыми кудрями, нос картошкой, смеющийся рот, который, кажется, никогда не закрывается. Его приятели (один из них работает мясником на бойне, и здесь тоже пристроился на бойне) подсмеиваются над ним, но беззлобно: «Отгадай, *откудава* он!» И так мы не знаем, что сказать: «Он оттудова, откудава уже дальше не пойдешь». «С гильотины?», — спрашивает Петер. «Не, до

¹ Братья *Таро*, *Жером* (1874—1953) и *Жан* (1877—1952) — французские писатели и публицисты вели рубрику «Армейские вести» в «Пари-суар». Их статья сопровождалась военными сводками 1914 г.

нее». «Тебе надо написать роман, — говорит второй, — есть один тип, который так и сделал. Ты знал Дьедонне?» «Дьедонне?» — переспрашивает парень. «Да вспомни, — говорит тот, — он просидел два года. Дьедонне, невинный каторжник из банды в Бонно. «Нет, — отвечает парень, — у нас такого не было». Все смеются: «Ты что, всем пожимаешь руку, когда они уезжают?» «Так ты их мучаешь, мерзавец». «У нас они не мучаются, — серьезно отвечает парень. — Они мучаются, потому как у них нет свободы». И, подняв палец, добавляет: «Свобода — первое из благ, потому как самое дорогое благо человека». Впрочем, он ничуть не волнуется и ест со зверским аппетитом. Мясник, воспользовавшись моментом, когда тот отвернулся, выхватывает у него из тарелки кусок бифштекса. Потом берет мясо в руку, но не всей пятерней, а осторожно, технично, как бы нежно обхватывая его. Кажется, что он знает толк в мясе, как моряк — в море. Говорит нам, что припрятал «у себя на туалетном столике» телячьи почки и попросит потом в трактире зажарить их. Но тем временем продолжают смеяться над маленьким надсмотрщиком: «А правда, что заключенные, которые хорошо себя ведут, тоже могут стать тюремщиками?» «Да он так и стал». Тот тоже терпеливо смеется. Но когда мясник называет его «проклятый тюремщик», он говорит ему ласково: «Прошу тебя, не называй меня так». «Но ведь там зовут же вас как-то». И тот скромно отвечает: «Нас зовут надзирателями».

Тут и возникает угроза ссоры. Один говорит: «Значит, ты госслужащий». «Да, госслужащий». «Значит, ты будешь получать зарплату, пока мы тут паримся ни за что, ни про что». «Еще бы!» «Ну, мерзавец!» Им смешно, что он тюремщик, но немного обидно, что он госслужащий. Мы с Петером расспрашиваем его. Он объясняет, что тюрьма Клерво вместе с производственными цехами, мастерскими для заключенных и аббатством оценивается в два миллиарда. Там 1800 заключенных, «да каких!», и 180 надзирателей. Из 180 надзи-

рателей 60 в отпуске, 40 на службе, 40 на отдыхе, 40 в увольнении. «Какая разница между отдыхом и увольнением?» «Увольнение — это поощрение; если вдруг что-нибудь серьезное или кто-то из охранников заболел, его могут отменить. Тогда как „отдых“ — наше право». Он вздыхает: «Ну и работенка. Они ведь там не потому, что два раза кряду сходили в церковь». Это значит, что там одни рецидивисты. Его глаза загораются тревогой: «А как они едят». Он завидует тому, как их кормят. «Тот, кто работает, ест вволю». «А там у вас всякие есть?» «Всякие», — гордо отвечает он. «И бароны?», — спрашивает Петер. «Смеешься, — отвечает тот с важностью, — но в общем ты прав. Сидел у нас граф д'О., так он построил себе домик в пять-шесть комнат». Петер находит, что нужно возмутиться: «И ему позволили? Так, значит, не у всех один и тот же режим?» Но тут вмешивается мясник и рассудительно замечает: «Это естественно, старина: когда тот выйдет из тюрьмы, все отойдет государству». Мы выходим, а они продолжают над ним смеяться: «А скажи-ка, правда, что заключенным суют палец в жопу, чтобы посмотреть, нет ли там пулемета?». Тот серьезно отвечает: «Никогда такого не слышал».

Сегодня проносится слух, что каждые четыре месяца у нас будет десять дней отпуска — отсчет начинается с первого ноября. Мне это доставляет удовольствие. Немного радостного волнения. Теперь у меня есть чего *ждать*, тогда как до сих пор я ничего не ждал — дни стекали на меня липкой водяной массой, я был залит временем. Может, как раз из-за того, что я ничего — абсолютно ничего — не ждал, мне и казалось, что время течет так быстро.

По поводу моего утреннего спора со старшим сержантом Ноденом: обдумать, что такое мотивы и что такое движущие силы. Сегодня вечером, когда буду на дежурстве, постараюсь это прояснить.

Полезьа этого дневника в том, что он учит меня, если можно так сказать, думать спонтанно. Я был слишком систематичен. Мне было бы легко создать целую теорию войны, отправляясь от принципов и приходя к решающим выводам. Вместо чего я записываю здесь свои мысли в том виде, в каком они ко мне приходят, и не скрываю от себя того, что имеются противоречия между тем, что я думал о бытии-на-войне в тот или иной день. Но мне все равно. Я не хочу теорию войны, я хочу открытий. По правде говоря, до сих пор я так ничего и не открыл.

Выражение, которое братья Таро не решились привести в своей статье: удобная война.

Другой слух: мы отправляемся в Турцию.¹ Кажется, он возник потому, что соседнюю дивизию марсельцев направили в Сирию.

Вторник, 24-е

МОТИВЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

Вот схема небольшого вчерашнего происшествия. В 7.30 я прихожу в класс. Вижу старшего сержанта Нодена (с которым мы взяли обыкновение по-дружески переругиваться, не избегая грубых слов и оскорблений). Он говорит мне со своим занудством и угрозой в голосе: «Ты только посмотри на это. Посмотри на свое снаряжение. На все это. И это! И это! Старина, надо все привести в порядок, иначе всех нас здесь вые...». Я злюсь и говорю в ответ (вроде бы в агрессивном тоне): «Запарил уже, не суйся куда не просят. Если им не понравится мое снаряжение, то попадет мне, а не тебе». Тут он заводится: «Я вежливо прошу тебя привес-

¹ Четырьмя днями ранее Франция и Англия подписали союзнический договор с Турцией.

ти в порядок твое снаряжение, а ты посылаешь меня куда подальше. Ну что же, старина, до сих пор я был до глупости добрым, теперь все будет по-другому, вы у меня попляшете». Я ему отвечаю: «Ты говоришь как Тибо, наш начальник. Когда все хорошо, строят из себя друга, а когда что-то не так — начальника, мне противно это». Перепалка. Приспешники против меня. Заметив за собой, что я расстроен всеобщим осуждением, я настраиваюсь на то, чтобы покаяться и вследствие этого различить в своем поведении и поведении Нодена мотивы и движущие силы.

1) Ноден. *Мотив*: беспорядок в классе может не понравиться начальству. Отвечать будем все вместе — но в основном аджудан и старший сержант. Очевидно, что мотив *объективен*. Он даже *воспринимается* в царящем в классе беспорядке. Он там, вне нас — зримый и беспокойный.

2) Ясно, что меня злит не мотив. В глубине души я признаю его обоснованность, и когда говорю: «Не суйся, куда не просят, попадет мне одному», — я *знаю*, что кривлю душой. Достаточно одного взгляда на мое место, и ясно вижу этот мотив. В чем же я упрекаю Нодена? Именно в том, что он сделал замечание вовсе не «вежливо», как он говорит, то есть в том, что он представил мотив предвзято, окрасил своей собственной аффективностью. Мы вступаем в область движущих сил, то есть в область субъективного. Мотив раздражает меня, потому что он весь запачкан субъективностью. Но здесь надо сделать важное замечание: речь идет не об абсолютной субъективности Нодена, той, что показывает себя только ему самому. Речь идет о его субъективности *для* меня, некоторым образом еще *объективной* субъективности, поскольку я могу обратиться к третьим лицам с тем, чтобы они тоже ее констатировали («Видели, с каким видом он мне это сказал!»), это субъективность, воспринимаемая в предметах, в выражении лица, в тоне голоса. Эта субъективность выдает мне его движущие силы (само собой

разумеется, что я могу ошибаться; речь идет о вероятностном познании).

Движущие силы: сравниваю замечание Нодена с замечанием, сделанным накануне Петеру за то, что он опоздал (и некоторыми другими, более ранними). Мне больше и не надо, чтобы понять, что он по характеру немного занудный, немного требовательный, немного боязливый. В то же время вспоминаю, что накануне он завидовал Полю, госслужащему, который получает свою зарплату на войне, и что в то же самое утро, без четверти семь, когда я отправился на завтрак, он шутливо попрекнул меня тем, что я «бюджетоядный». Легко представить, что он воспринимал беспорядок моего снаряжения с недоброжелательством. Больше и не надо, чтобы мотив, который до этого момента был привязан к реальности, был от нее отрезан, оторван, отъединен и повис «в воздухе», поддерживаемый исключительно аффективностью Нодена. В общем, мое раздражение было вызвано тем, что в моих глазах он виновен, что говорил из-за страха, зависти, злобы, чувства превосходства и т. п., а не *ради* порядка в помещении, *ради* того, чтобы предупредить недовольство начальства и т. д. Через движущую силу поступок Нодена, вместо того чтобы войти в цепочку *объективных* целей, привязывается к веренице причин. И тогда представляется мне абсурдностью и ложью, поскольку он *указывает* на некую цель, но рожден не для нее.

Уже теперь — и перед тем как перейти к рассмотрению мотивов и движущих сил в моем поведении — что посложнее — мы можем извлечь некоторые уроки.

Что такое мотив?

Для начала я констатирую тождественность мотива и того, что я называю техническим описанием поступка. Оно направлено на то, чтобы выделить составляющие моменты действия и их смысл: то, как пилят доску, рубят дрова, готовят какое-то блюдо и т. п. Сборник технических описаний называется руководством. Од-

нако в конечном счете на это руководство можно посмотреть как на сборник мотивов. В самом деле, всякий мотив охватывает все те указания, что необходимы для создания фильма. Пример: когда Ноден замечает беспорядок в моем снаряжении как мотив для того, чтобы я его устранил, он замечает его индивидуально и в особенном его смысле. Беспорядок беспорядку рознь. Речь идет о беспорядке в классе — в отношении к столам и скамьям, в отношении порядка снаряжения других солдат, в отношении армейских требований. Как раз этот беспорядок и намечает существование некоего порядка. Беспорядок такой кучи вещей *на* столе происходит оттого, что она могла быть *аккуратно* разложена *под* тем же самым столом. Таким образом, мотив есть не что иное, как интуитивное постижение некоего преднамеченного в вещах порядка, который должен бы быть наведен технически через какую-то человеческую деятельность (беспорядок моего снаряжения, если взглянуть на него с армейской точки зрения, подразумевает приведение его в порядок; но приведение в порядок *согласно* особым техническим предписаниям: армейским предписаниям).

Примем во внимание, что этот преднамеченный в вещах порядок складывается из двух факторов: 1) *природы* вещей, их «габитуса» и объективных связей их природы. Волокна древесины, сопротивление камня, складки материи и т. п.; 2) конечной цели деятельности. Но следует заметить, что синтез этих двух факторов неразрывен, поскольку особенные природные характеристики объектов обнаруживаются в свете конечной цели и в самом движении человеческой деятельности. Именно в колке дров обнаруживается то направление, в котором следует расколоть полено и, как следствие, волокна древесины. И эти волокна даются не иначе, как в тематическом единстве с ударами топора, каковое и является их объективным смыслом. По-другому мотив выделить невозможно. Он содержит в себе более широкие мотивы и в конечном итоге —

решающий мотив — или скорее конечную цель, которая, собственно, уже и не мотив, но бытие-для-человека в мире. Например, когда Ноден хочет, чтобы я уложил заново свое снаряжение и навел порядок вокруг себя, этот мотив находится в более общей ситуации. Имеется в виду: мы в армии. Кроме того: «на войне», ведь у войны иные требования, нежели у мирного времени и т. д. В конечном итоге мотив соотносится с целым миром и с нашей ситуацией в мире. Мотив — это объективное постижение структуры реальности в бытии-в-мире человеческой реальности и через него. В мотиве заключена природа вещи, но лишь постольку, поскольку она указывает на другую природу, которая в конечном итоге указывает на личность, ее окружение и человечность. Мотив не *познается* одним разумением, он интуитивно схватывается всей личностью, она его одновременно и познает, и проживает, и приводит в движение, и мучается им.

Не станем из этого делать вывод, что он субъективен и лежит «внутри», ведь всецелая и совокупная организация мотивов — это не что иное, как *мир* в том виде, в каком он открывается человеческой-реальности, — ни мне, ни тебе, но человеческой-реальности. Объективность вещей заключается в том, что они *полезны*, что несут в себе свои *мотивы*, то есть в том, что они обнаруживаются как указующие на то или иное применение, какое можно им найти в той или иной ситуации. Естественно, что мотив варьируется в зависимости от ситуации, но все дело в том, что в зависимости от ситуации вещи обнаруживают свои различные и дополнительные аспекты. Таким образом, мотив — это совокупность отношений в группе определенных и наделенных *природой* предметов, совокупность, открываемая в свете некоей ситуации и указующая на что-то за пределами этой ситуации. Он объективен и воспринимается в самом акте проживания ситуации (имеется в виду, что любой человек в подобной ситуации сможет — или должен будет после обучения — уловить те

же самые мотивы). Таким образом, мотивы находятся вовне, представляют собой объективные реальности наподобие самих вещей, наподобие ценностей. И более высокие мотивы также вовне, наподобие математических истин. Когда Арон, к примеру, говорит: мотив, который подтолкнул меня к тому, что я стал изучать историю, заключается в том, что я хотел понять смысл и истоки моей партии (социалистической), то речь идет о некоей объективной и трансцендентальной структуре человеческой культуры. Ситуация Арона определяется тем, что он в партии.¹ Обнаруживается, что партию следует понять, это лишь одна из структур акта жизни в его партии. Именно партия дается ему как то, что должно быть понято. Историческая и культурная природа партии, схватываемая в самом свете бытия-в-партии, подразумевает, что эта партия должна быть понята через Историю. Все это могло бы быть объективно вписано в какой-нибудь учебник «для понимания партий». Тогда это было бы техническое предписание. Но технические предписания — это мертвые мотивы, а мотив — это предписание, проживаемое в свете ситуации.

Что такое движущая сила?

Рассмотрение случая Нодена не может предоставить мне *достаточных* указаний о движущих силах. Необходимо вернуться к себе. Однако я могу собрать кое-какие сведения. Прежде всего я констатирую, что мое раздражение не относится к *мотиву*. Относительно мотива в глубине души я согласен с Ноденом. Более того, я ясно вижу этот беспорядок. И когда утверждаю, что вся вина ляжет на меня, мне прекрасно известно, что, говоря это, я не прямодушен. Дискуссия могла бы привести нас к согласию. Нет: меня вывело из себя еще до всякого рассмотрения мотива, заставило даже сомневаться в его насущности то, как он был введен; ска-

¹ Раймон Арон вступил в социалистическую партию (СФИО) в 1925 г.

жем откровеннее: то, по моему первому предположению, как этот мотив возник в сознании Нодена. Следовательно, именно тон и обстоятельства определили то, как я воспринял мотив, и то, как мотив был воспринят Ноденом, предопределяет сомнительность этого мотива для меня. Но что это значит? Что значит, что для меня мотив — это только предлог? Так можно было подумать исходя из таких фраз, как, например, эта (которую я вполне мог бы произнести): «Он это сделал, чтобы прицепиться ко мне». В действительности я так не думаю, поскольку в глубине души признаю законность мотива. Просто-напросто я, так сказать, переношу от видимых предметов к видящему их глазу. Это как если бы мне сказали: вот человек смотрит на прекрасные тюльпаны, а я бы ответил: да, но у него мерзкие глаза. Что, если вдуматься, не так уж абсурдно, как может показаться (ведь говорят же о взгляде, который оскверняет то, на что он обращен). Таким образом, движущая сила, вероятно, есть не что иное, как способ постижения мотива. В общем, на вопрос: почему он *видит*? следует ответить: потому что у него есть глаза. А почему он уловил такую объективную связь мотивов? Потому что им владела та или иная движущая сила.

Но как и глаз, который видит зримое и не может видеть себя, движущая сила, то есть способ постижения мотива, неотличима от *могуса постижения*, она схватывает мотив, но не может схватить себя. Значит ли это, что она является бессознательной? Мы это сейчас увидим, рассматривая мои мотивы и мои движущие силы. Но уже теперь мы можем увидеть, что для одного и того же поступка мотив может быть очевидным и законным, а движущая сила — грязной и сомнительной. Все происходит так, будто мир человеческой реальности был бесконечной совокупностью мотивов, и что для того, чтобы из нее выделить один из них, приостановить и постичь его вне связей с со всеми другими, необходим был орган зрения. Этот орган зре-

ния, особенный для каждого постижения мотива, и есть движущая сила. Откуда само собой разумеющийся вывод: нет мотивов без движущих сил. Отсюда же невыносимое в своей казуистике и диалектических уловках объяснение: вам указывают на мотив, а вы, не соизволив его рассмотреть, сразу вменяете движущую силу. Пример коммунистов. Им указывали на определенный мотив не вступать в компартию или относиться с недоверием к ее деятельности, и они отвечали, если аргументы казались неопровержимыми: вы так говорите, потому что вы буржуа. И были правы: именно потому, что я являюсь буржуа (движущая сила), я не могу принять диктатуры, пусть даже и диктатуры пролетариата (мотив). Но проблема не в этом. Им было достаточно обнаружить субъективность движущей силы, и они говорили о субъективности (то есть необоснованности) мотива. Но в действительности ее еще нужно доказать. Примерно так я и поступил в своем споре с Ноденом.

2) Я. В общем, теперь нас в основном интересует то, что такое движущая сила *изнутри*. Движущая сила — это я сам, как я постигаю мотив в когнитивно-деятельно-аффективной совокупности переживаемого. То есть речь идет о сложном и своеобразном интенциональном акте. Когда я резко реагирую на Нодена, то речь идет о реакции на его поведение, на его интонацию, которая выдает (как мне кажется) его мелочную придирчивость и его страх. Разумеется, что я интуитивно схватываю его поведение, но не через усилие непредвзятого и холодного понимания, словно дело самого меня не касалось. Я схватывал его поведение как мотив для возмущения и грубого ответа. Разумеется, это значит — ведь нельзя же вообразить себе, что сначала я холодно оценил его поведение и потом вознегодовал, — что как раз через свое негодование и первые свои гневные ответы я и воспринял его поведение как требующее реакции. Мотив, естественно, не был тематизирован, он оставался на Нодене, был самим Ноден-

ном. Таким образом, мое поведение, будучи актом, обнаруживающим мотив, одновременно приспособлялось к этому самому мотиву, тем самым становясь впоследствии его оправданием. Тем самым мотив становился тематическим единством моего поведения и его значения. Вообще говоря, если требуется найти мотив какого-то поступка, совершенного в прошлом, то достаточно вызвать в памяти сам этот поступок: он в себе самом заключает свой смысл. Так бывает не всегда, но это значит, что поступок уже что-то утратил, он как тайнопись с утраченным шифром. Это постижение поведения Нодена *через* эту совокупность, в которой главную роль играет действие (природа молотка лучше всего постигается в работе с молотком — Хайдеггер), не может иметь о себе никакого другого сознания, кроме не-тетического,¹ ибо оно является постижением поведения Нодена. Следовательно, теперь имеется сознание *того* поведения Нодена, которое следует осудить, наказать и т. д. Однако само это сознание является движущей силой моего действия, по своей нозтической структуре оно является субъективным постижением мотива. Ладно. Но если само по себе оно может быть лишь не-тетическим сознанием, то оно не сознает себя. Остается прибегнуть к рефлексивному сознанию, направленному на сознание-движущую силу. Это рефлексивное сознание скажет мне, например, что в настоящий момент я в гневе и т. п. В некотором смысле оно откроет мне мою субъективность. Но такое сознание не всегда возможно, и чаще всего, когда пытаешься оценить свое поведение, оказываешься в присутствии набора *прошлых* поступков, в отношении которых не было никакой рефлексии. Ну и что же? А то, что мне кажется, что в самом поведении, как зримом о воспри-

¹ Или непозиционного (в отношении чего-нибудь): сознание, которое не возвращается к себе самому, чтобы полагать существование того, сознанием чего является. Сознание, о котором идет речь в данном случае, *не полагает себя* сознанием поведения Нодена.

нимаемом объекте (в том, что я слышу собственные слова, когда их произношу, вижу некоторые из своих жестов, когда их делаю), заключается некий второй смысл, некое второе тематическое единство, которое дается мне одновременно с главным единством, или мотивом. В этом именно смысле говорят: «Послушай, что ты говоришь» или «Посмотри на себя в зеркало». Например, в моем ответе чересчур много возмущения и агрессивности. Приспешники сообщили мне, что я говорил грубо и оскорбительно. Пересматривая свое поведение, отыскивая смысл своих слов в свете сказанного ими, я и в самом деле улавливаю что-то вроде нехорошей твердости в тоне своего голоса, во всем своем поведении. Некоторые фразы даже кажутся мне (показались мне, когда я их услышал) неуместными, например: «Не суйся не в свое дело».

Итак, перед нами целый комплекс знаков, подлежащих истолкованию. Чем я располагаю для их расшифровки? Своим прошлым, мнениями обо мне других людей (Гилль, Бобр) и также пересмотром ситуации в какой-то более поздний момент. Этот пересмотр предоставит мне голый мотив — правда, уже мертвый. Я уже не вовне себя, уже не воспринимаю мотив через действие, я его тематизирую и оцениваю. Разрыв между тем мотивом, который я рассматриваю хладнокровно, и тем, чем он был для меня, когда его проживал, может и должен показать мне движущую силу. Как в таких обстоятельствах я буду использовать эту информацию, чтобы реконструировать движущую силу? Прежде всего я должен вспомнить — это мне сразу и приходит в голову, — что, по словам Гилля и Бобра, утром я всегда в плохом настроении. Понятно, что речь идет об информации, идущей извне, ведь пока я один, это плохое настроение кажется мне лишь поэтическим состоянием сговора с самим собой. Что я прежде и называл «внутренним» бытием. Но вот вид приспешника выводит меня из себя. Правда, в этот момент для меня речь идет о постижении характера моего при-

спешника, а не о постижении моего настроения. К чему я добавил бы, продолжая свой опыт реконструкции движущих сил, что ночью я был на дежурстве и очень плохо выспался. Итак, вот первая движущая сила: когда я просыпаюсь, у меня всегда плохое настроение, к тому же в эту ночь я не выспался. Ясно, однако, что в этой предполагаемой движущей силе имеется два слоя весьма различных и неассимилируемых значений. С одной стороны, утверждение Гилля и Бобра. Понятно, что для меня это знание, основанное на молве, но в нем по крайней мере имеется какой-то психологический смысл, и оно зиждется на обобщении конкретных и непосредственных наблюдений, которое Гилль и Бобр могли бы, наверное, пересмотреть, если бы им того захотелось. В результате мы имеем дело с *вразумительным* (по Ясперсу) утверждением; связь утренняя сонливость—плохое настроение относится к *вразумительному* типу. Другая связь является причинной: утверждение, что ты в плохом настроении, потому что не выспался, предполагает не разумное понимание, а обыкновенные психологические и детерминистские постулаты (типа: когда я не досплю, мне плохо; когда мне плохо, я неважно себя чувствую, у меня плохое настроение и т. д.). Психологическая мотивировка Гилля и Бобра *вразумительна*, так как мое объективно воспринимаемое (красные глаза, спутанные волосы, неуверенные и неуместные движения) утреннее пробуждение образует единое целое с моим плохим настроением (агрессивность—упрямство и т. п.). Это понятно всякому. Связь плохой сон—плохое настроение (как плохое пищеварение—плохое настроение) является обычной констатацией (которую, впрочем, можно оспорить) того, что одно сопровождается другим. Тем не менее так понятая движущая сила — нечто физиологическое, психологическое, составленное из сведений различного типа и разнообразных умозаключений — *приемлема*. Всякий согласится, что она может быть такой. Сейчас мы увидим, что это значит.

Я не ограничиваюсь этой первой движущей силой. Мне предстоит открыть также, что я отправился на войну с мыслью жить как мужчина среди других мужчин, тогда как до сих пор, на протяжении десяти лет, моя жизнь проходила среди женщин. Быть мужчиной среди мужчин значило для меня следующее: быть жестким. Быть жестким человеком. Это было глупо, но я никогда всерьез об этом не думал; это было во мне так, в скрытом виде. И естественно, что быть жестким человеком значило: не ныть, не уклоняться из трусости от ударов — но также: не дать наступать себе на ноги. Я уже писал о своей жесткости в отношении трех моих приспешников. Эта жесткость и выскочила здесь. Какой объективный знак в моем поведении дает мне право на такую интерпретацию? Некая поспешность, с которой я выхожу из себя, некая почти мгновенная потеря контроля над собой, словно бы во мне уже было что-то такое, что готово было взорваться, дожидаясь удобного случая. Если бы Ноден был мне несимпатичен, можно было бы сказать: я был готов налететь на Нодена. Именно это часто и называют «быть настроенным» против кого-нибудь. Но все дело как раз в том, что Ноден, чертов горлопан и ладно скроенный малый, был мне симпатичен. Из чего я делаю вывод, что все дело в том, что я настроен *против мужчин*. Если мне захочется, я могу увеличить ставки и расширить интерпретацию, заметив, что был нацелен на эту жесткость уже в своих отношениях с молодыми людьми, которые окружали меня в Эколь Нормаль. Я написал тогда роман, героя которого — жестокосердного ницшеанца — звали Фридрих, и Гиль называл меня «чертов Фридрих».¹ То есть я могу видеть здесь постоянную составляющую своего характера. Если мне вздумается пойти дальше и представить объяснение психоаналитического толка, то я мог бы заметить, что: 1) вплоть до

¹ Речь идет о раннем романе «Поражение», в основу которого были положены отношения юного Ницше и Рихарда Вагнера.

четвертого класса я был избалованным женщинами ребенком, вундеркиндом, неженкой и мечтателем; мои первые друзья тоже были умниками и вундеркиндами; 2) что меня крепко потрепали и взгрили «сволочата» из Ла Рошели. Потом я снова взял себя в руки и пошел на риторiku¹ в Париже, ожесточая себя, «чтобы такого больше не повторилось». То есть, по-видимому, речь идет о защитной и высокомерной реакции ребенка, которого некогда запугали и забили, и который отвечает грубостью, сохраняя на всю свою жизнь эту озлобленную и недоверчивую в отношении мужчин жесткость и это желание не поддаваться.

Ладно. Но это объяснение, расширяясь, теряет в достоверности. В исходной точке имелось поддающееся пониманию вероятное отношение между моей жесткостью в отношении мужчин и моим внезапным возмущением против Нодена. Здесь все нормально. Но следует заметить, что сам мотив «жесткости» в отношении с приспешниками вместе с его разъяснением (доказать самому себе, что я свободно чувствую себя и с мужчинами, и с женщинами) сконструирован как вторичная тематика определенных поступков. То есть тут имеет место конструкция второго уровня. Сопоставление моей грубости в Эколь Нормаль с моей жесткостью здесь является чистой аналогией и имеет чисто аналогическое значение: подобие ситуаций (Эколь Нормаль — война: монастырская жизнь в мужской среде), подобие типов поведения, откуда я вывожу постоянную величину. Но ведь различия более значительны (в школе мне не угрожала опасность, я находился в окружении уважаемых мной друзей. И потом я был молод. Не шла ли эта грубость просто от переизбытка молодости и т. д.). Наконец, доходя до самого отрочества, я оставляю область описания движущих сил, переходя к их объяснению. И при всем моем принципиальном неприятии причин в области психологии, я не

¹ То есть в первый класс лицея.

останавливаюсь перед тем, чтобы ввести в объяснение причинные отношения — комплекс неполноценности — психическая защита — компенсация и т. п. (естественно, можно зайти еще дальше). Мы снова имеем движущую силу, которая на первый взгляд кажется *единичной*, но на деле состоит из нескольких слоев значимых отношений: первый слой — это вразумительная связь, второй — это умозаключение, основанное на аналогии (чистое обобщение недостаточной, следует признать, частотности), третий — это каузальное объяснение, основанное на *механической* модели психологических реакций (вытеснение, перенос и т. п. можно представить как силы). Словом, внутри движущей силы нет никакой однородности.¹

Наконец, третье положение о движущих силах, предложенное Полем в нижеследующей дискуссии...²

¹ Более обстоятельный анализ *мотивов и движущих сил* поступка можно найти в «Бытии и Ничто» (1943) — часть четвертая, глава первая, раздел первый.

² Конец «Дневника I». Дневник II (с 25 октября по 11 ноября) не дошел до нас. См. в «Приложениях» ссылки на него в письмах Сартра.

ДНЕВНИК III

Ноябрь—декабрь 1939

Брумат—Морсбронн

12 ноября (продолжение)

«...(Как) если бы вся его личность перенеслась без всякого перехода из одной среды в другую. И взгляд, и дыхание, и мысли, и конечности — все было задействовано. Уже ничто — ни вовне, ни внутри — не воспринималось так, как прежде...».¹

Только вот его география, унанимизм и статистический натурализм сразу приводят к тому, что он проигрывает в том, в чем силен: «Траншейный страх — дело второе. Как и вши, он бывает только на передовой». Идиотизм в следующем: что толкает его к тому, чтобы превращать этот страх в независимый организм, который сравним с какой-то нечистью и который для своего развития нуждается в особых климатических условиях? Хотя он почти понял — совсем понял, на какой-то миг, — что этот страх был настоящим органом, чувствованием, при помощи которого человек мог понять, что такое мир траншей.

Страница 12 (там же): «Начальство понимало, что если для атаки и шанса победить ничто не могло быть лишним, напротив, не было достаточным для самообороны, самые незамысловатые предметы, то, что валя-

¹ Цитируется роман французского писателя Жюль Ромена (1885—1972) «Люди доброй воли» (1938), т. XV («Прелюдия к Вердену»).

ется где попало, старые как мир хитрости, самые что ни на есть обыкновенные приспособления обнаруживали свои ресурсы: вскопанная лопатами земля; мешки, ящики, набитые песком или булыжниками; ветки, обмазанные глиной, колючая проволока, что натягивают в садах». В общем, именно это я и отмечал в предыдущем дневнике: разрушение разрушает само себя. Если хочешь *разрушить* разрушителя (противобатарейная стрельба), то купаешься в изобилии всевозможных средств, которые в себе самих несут собственную смерть. Но если хочешь заниматься человеческим ремеслом, то есть *предотвращать* разрушение, то достаточно и какого-то минимума — вроде самого захудалого крова, который защитит от самого сильного ветра. Искусственное разрушение само по себе стремится стать чем-то наподобие природной силы (рассеивание при стрельбе) и стремится, как и природа, компенсировать случайность и недостоверность каждого отдельного случая превосходством средств и числом случаев. Разрушение, будучи слепым, является статистическим.

У каждого настоящего есть свое будущее, которое освещает его и которое исчезает вместе с ним, становясь *прошлым-будущим*.

Но где же стародавние будущие?

В этом заключается смысл знаменитого выражения: «Как прекрасна была Республика во времена Империи!»¹ После 70 года стародавним будущим умершей Империи была Республика. Но не Республика Жюль Ферри* и Гамбетта.** Другая, которая была просто будущим и сохранила, ускользнув в прошлое, свое качество будущего. Этой весной я прогуливался в Сент-Клу вдоль железной дороги. Я видел вокзал, платформы, рельсы, бледно-белые и серые крыши пригородных поездов. И пережил в какой-то момент миг прошлого:

¹ Знаменитая шутка, принадлежащая историку Французской революции Альфонсу Олару.

двумя годами ранее у Бобра была пневмония и ее поместили в клинику Сент-Клу, я навещал ее почти каждый день. Но это было время, когда затухала моя страсть к Ольге. Я нервничал, переживал. Каждый день я дожидался того момента, когда снова ее увижу и сверх того — какого-то невозможного сближения. Будущее всех этих моментов я проживал на вокзале в Сент-Клу, дожидаясь поезда, это была невозможная любовь. Однако этой весной то время ожило с какой-то пронзительной и нежной поэзией. Но ожило главным образом тогдашнее будущее этого прошлого. Мне вспоминался Сент-Клу, направленный к Парижу, к Монпарнасу, куда я должен вернуться, чтобы встретиться с Ольгой. И вот теперь передо мной было другое будущее, другие надежды, другие любви. Но не было ничего более волнительного, чем этот момент, когда я отвернулся от своего живого настоящего и людей, которые ожидали меня на горизонте Сент-Клу, чтобы лицезреть какое-то время это умершее будущее. Такое же мертвое будущее, точнее, вереницу утасших настоящих, мы поехали отыскивать в прошлом году вместе с Бобром.

В сентябре, когда я отправился в армию, у каждого мгновения было неопределенное и далекое будущее: конец войны. В силу этого удаленного и неуловимого будущего настоящее подавляло: чем легче будущее, тем тяжелее настоящее. А потом это будущее мало-помалу испарилось, теперь у меня лишь повседневное будущее и несколько ориентиров: посещения, будущий отпуск. Этого довольно, чтобы жизнь стала сносной.

Понедельник, 13 ноября

Замечательное выражение, которое Ромен приписывает Мейкозену (который не любит французов, зато до глубины души любит Париж): «Люди как пчелы. Результаты их труда ценнее их самих».

Время от времени один из нас, аджудан, сержант, солдат, охваченный при чтении письма или наплыве воспоминания какой-то пугливой эмоцией, принимается рассказывать о своих друзьях, своем прошлом, своей гражданской жизни. Воцаряется мертвенная тишина. Одни пишут, другие смотрят в окно, всем глубоко наплевать. Кажется, что голос рассказчика истончается. В конце концов совсем угасает, словно от истощения, и малый сидит в недоумении, тишине, со смущенной улыбкой на губах.

Аджудан, старший сержант Ноден, солдат Ханг говорят об отправке. С героизмом. Таким героизмом, что он в конце концов впечатляет их самих.

Аджудан, воинственно и насмешливо: «Ну что, старина Анг, можете смело идти исповедоваться».

Ханг: «Зачем мне исповедоваться?»

Ноден: «Помнишь, что сказала тебе жена?»

Аджудан: «Мне не в чем исповедоваться, у меня нет грехов».

Ноден: «Если прижмет, пойду».

Ханг: «Куда пойдешь?»

Ноден: «В исповедальню, черт возьми!»

Аджудан: «Не стоит». Глубокомысленно и немного запинаясь на трудных словах: «Когда война, мы все пользуемся исключением. Не нужно никакой исповедальни; какой бы ты ни был веры или политической партии, все равно попадешь прямо в рай».

Ханг: «Ну, тогда это магометанский рай!»

Они смеются, а потом всем им приходит приятная мысль, что толстяку старшему сержанту Тибо будет страшно.

«Если прижмет, он обосрется со страху». Развеселясь, каждый из них приговаривает: «Обосрется со страху, обосрется со страху».

Ханг: «Он захочет пойти с нами в разведку».

Ноден: «Вот увидишь, увидишь!»

Ханг: «А если бы пошел, мне бы хотелось, чтобы немного постреляли».

Я: «Конечно, правда при условии что не в тебя — и не в него, ведь ты не хочешь его смерти — и ни в кого».

Ханг: «Ну да, метров со ста».

Ноден, серьезно: «Не надо никому желать смерти».

Аджудан: «Здоровенный снаряд разорвется метрах в двадцати: посмотрите на толстячка! А я бы протянул ему стульчик и сказал: „Присядьте, мой бедный Тибо, у вас нездоровый вид“».

Они говорят о последних злоключениях толстяка и каждый разъясняет, какую подянку собирается ему подкинуть.

Ноден: «Ну да! Есть тут два-три малых, которых я даже не хочу называть по именам, так вот, они его крепко держат! Они оставили при себе кое-какие бумажки, все записано. Они пока молчат, потому что это все-таки серьезно, но если толстяк достанет нас, тогда увидите. Бумажки всплывут, и ему придется спарывать свои нашивки и побрить череп».

Ханг: «Злому человеку все равно придется испытать зло на собственной шкуре».

Ноден: «Точно говоришь: когда ты злой, тебе все равно придется испытать зло на собственной шкуре».

Вторник, 14 ноября

Вчера вечером болели глаза, и мне пришлось прервать работу; в этот момент Петер говорит мне, что один из друзей написал ему: «Просто удивляешься и огорчаешься непониманию и зависти некоторых людей». Меня это выводит из себя, так как этот же приятель написал ему в точности ту же самую фразу месяц назад. Он коммерсант, сейчас в альпийских стрелках, торчит в какой-то дыре в пятидесяти километрах от Парижа. Товарищи спят в грязи. А в полукилометре от батареи стоят шесть домов и бакалейная лавка. Этот малый и один из его приятелей сговори-

лись с одной женщиной, что за сто франков в месяц будут у нее спать и столоваться. Они не обедают, не ужинают, не спят со своими товарищами. Плюс близость Парижа позволяет, чтобы брат этого малого на машине навещался к нему раза три-четыре в неделю, прихватив цыпленка и несколько бутылочек. Приехала к нему и подружка, повидаться и провести ночь вместе. Получает он и всякие посылочки. После чего удивляется и сокрушается по поводу зависти товарищей. Я сообщаю Петеру свое мнение и осмеливаюсь добавить лишь то, что если этот малый обладает десятой частью необыкновенного и великодушного дружелюбия Петера, если с воодушевлением делится своими посылками, показывает фото своей подруги и предлагает оказать любую услугу, говоря о своих делах с некоторой критической отстраненностью, то он точно должен был заставить себя возненавидеть. «В общем, — возмущенно говорит Петер, — тебе хотелось бы, что мой приятель лишил себя постели, подруги и еды, чтобы доставить удовольствие этим увальням, оказавшимся вместе с ним?» Я отвечаю: «Конечно, же». И вижу, что его шокирует то обстоятельство, хотя ему и не удается ясно его сформулировать, что уже то, что ты находишься с этими увальнями, накладывает на тебя дополнительные обязательства. Он говорит: «В теории все это прекрасно, но на практике... Ты живешь теориями, я же коммерсант, человек практичный». Я говорю: «Забудь хотя бы раз все эти разговоры о теории и практике. Ты не более и не менее практичен, чем я: ты обращаешься ко мне в некоторых практических случаях, равно как в иных случаях я нуждаюсь в тебе». И сразу же другой аргумент Петера — такой же прогнозируемый, как и предыдущий: «Во всяком случае сам ты так не делаешь». Я должен был бы ответить ему: «Допустим, я этого не делаю и что я — свинья, я тебе говорю не о себе, а о том, что следует делать». (На что он наверняка бы сказал: это прекрасно и когда ты говоришь, что *следует* что-то делать, но это просто, когда сам этого не делаешь и т. п.)

Но я притомился и дал увлечь себя на поле обвинения и восхваления, где мне всегда не по себе, потому что у меня нет привычки говорить о себе, и где моя гордость встает на дыбы, едва меня начинают обвинять. И так, я отвечаю: «Если бы мне выпало оказаться в пехоте, я бы так делал. Но здесь совсем другое дело». «Я начинаю тебя понимать, — говорит Петер, — тебе не нравится, когда тебе мешают, ты пишешь целый день напролет и когда тебе захочется пойти в одиночку поесть, ты ведь нам не говоришь». Я говорю ему: «Потому что я здесь с буржуа; я не собираюсь беспокоиться из-за буржуа, и потом у меня нет ничего, чего бы не было у вас или чего вы могли бы иметь». Тут разговор принимает неожиданный поворот: Петер не без язвительности замечает: «Если тебе так противно быть с буржуа, почему ты здесь остаешься?» В самом деле, почему? В этом-то и весь вопрос, прежняя социальная проблема, о которой я уже писал, прежняя моя глубинная неуверенность. Я отвечаю как можно более просто и как нельзя более опасно: «Потому что в 1929 году я сделал большую ошибку, окопавшись в этой метеослужбе. Это было мерзко, теперь я это признаю». Петер: «Ха-ха-ха, значит ты мерзавец!» Я откровенно возмущившись, что меня упрекают в столь далекой ошибке и насильно связывают с тем, каким я был в 1929-м, неловко отвечаю: «Ты что, будешь *теперь* обвинять меня в мерзости, которую я совершил в 1929 году!». Это моя гордость заговорила вместо меня, мое чувство развития и то, как я не связываю уже себя с тем, кем был раньше. Каждый раз, когда кто-нибудь удивляется постоянству моего я, мне приходится теряться от беспокойства. Естественно, я навлекаю на себя прогнозируемую атаку: «Знаешь, кого ты напоминаешь? Того типа, что стащил шоколадку и через недельку ест с превеликим удовольствием, приговаривая: я вор, мерзавец, я раскаиваюсь. Я честнее тебя, я здесь по блату, всем доволен и не скрываю этого». Я: «Не знаю, почему ты называешь это честностью: ты скрываешь от себя, что ты мерзавец».

Петер: «Я не мерзавец. В обществе, где царила бы справедливость, случись мне совершить несправедливость себе на выгоду, я бы мог испытывать угрызения совести. Но в нашем мире! Я говорю себе, что не являюсь каким-то исключением, что есть сто пятьдесят тысяч таких же, как я, и что не заполучи я это местечко, на нем будет кто-то другой. А ты говоришь, что ты мерзавец, так проще, но ты так же, как и я, пользуешься выгодой пребывания в метеослужбе. Если какой-нибудь малый скажет: я мерзавец, а потом откажется от преимуществ такой службы и пойдет в пехоту, я скажу, что это честный малый. Но что доказывает мне, что ты честен?» Поль: «Есть еще одно, что не устраивает меня в том, что говорит Сартр: если так дело пойдет, то ты всегда должен будешь выбирать уровень самого несчастного». Я: «Нет: уровень массы». Петер: «И еще одно: я, всегда будучи честным, радуюсь тому, что жена снова открыла магазин и что он работает. И тут я счастливчик. Но ты посчастливее будешь: ты получаешь жалованье. А тем временем есть парни, у которых на жизнь только и есть, что десять су в день, а у жен только пособия. Почему бы тебе не отдать им свое жалованье?» Поль: «Точно». Я: «Тут другое. В мирное время есть привилегированные люди и общество, основанное на этих привилегированных людях. В мирное время индивиду незачем отказываться от этих привилегий, это была бы капля в море, ему надо бороться за отмену всех привилегий (говоря это, я думаю, как к тому побуждает меня присутствие Поля, социалиста, о Блюме* и Зиромски¹ и питаю смутную надежду тем самым привлечь его на свою сторону). Хочу я того, чтобы не прибавлялось новых привилегий, военных привилегий». Никто не отдает себе отчета в том, разговор отклонился в сторону — в опасную для меня сторону из-за моей же

¹ *Зиромски Жан* (1890—1975), французский политический деятель, вдохновитель движения «Батай сосьялист» в рамках СФИО, социально-экономический обозреватель «Попюлер».

неловкости: я хотел сказать лишь то, что в отдельных военных сферах следовало бы согласовывать свой уровень жизни со средним уровнем этой среды. Но мысль видоизменилась в ходе разговора: речь шла о том, что следовало бы разделить участь самых обездоленных из всего военного сообщества: не иметь спального мешка, если другие солдаты — незримые и далекие — его не имеют, не иметь посещений, если другие, на передовой, не могут себе этого позволить, и т. д. И объясняется это, вероятно, тем, что исходная идея была скользкой и шаткой, в сущности одна видимость. То есть из-за того что я плохо ее продумал, мне и пришлось вдруг защищать это беспринципное преувеличение: проживать участь самых несчастных. Или, точнее, принцип этой новой идеи — я смутно ощущал его присутствие — заключался в гуманизме в духе Гилля, он был весьма дельным, но я его не разделял. Это разделение привилегий мирных и военных ничуть не убеждает Поля, он покачивает головой и замолкает. Тем временем Петер изо всех сил старается мне доказать, что я пользуюсь многими привилегиями: у меня есть кровать, которую он мне раздобыл, я обедаю в ресторане и т. д. и т. п. Черт возьми, мне это прекрасно известно. Я возобновляю наступление, но в этот именно момент мне нанесен сильный удар: я побеждаю Петера, потому что хочу возобладать из-за ущемленного тщеславия, но в глубине себя признаю, что это он возобладал надо мной. Я ему говорю: «Ты все время не доходишь до сути вопроса. Ты знать ничего не хочешь о том, что я тебе говорил об осознании мной своей вины, когда полагаешь что это слова и поза. Ну хорошо, но что доказывает мне, что ты говоришь правду? Может, это просто театральщина». Он прислоняется спиной к обогревателю, весь раскраснелся от своих речей. Я говорю ему (оставаясь на своем месте): «Посмотри и скажи-ка мне, кто из двоих более театрален (криводушие, ведь вопрос не в этом, но я выигрываю очко, так как Келлер и Поль смеются). Ты вполне мог бы указать на то, что ничто не

доказывает моей искренности. Но не останавливаться на этом, потому что здесь разговор завершается: я не могу тебе этого доказать, как и ты не можешь мне доказать, что на душе у тебя все чисто. Но если ты хотел продолжить спор, тогда, наоборот, следовало принять гипотезу об искренности и побить меня на этой почве. Аргументов у тебя было достаточно». Я привожу некоторые из них, будучи убежден в том, что он не воспользуется уже ими, так как я сам ему их открыл: он будет уверен, что у меня есть на них готовые ответы. Однако ответов нет. Добавляю: «Все дело в том, что ты не способен понять, что это значит: думать о себе самом. Если я тебе говорю, что в каких-то обстоятельствах повел себя как мерзавец, ты считаешь, что это только слова, не хочешь понять, что это такое — сделать усилие, чтобы себя осудить. Ты этого не понимаешь, потому что неспособен сделать это усилие. Ты рассуждаешь так: я не мерзавец, потому что пятьсот тысяч парней такие же мерзавцы, как я, ты убегаешь от самого себя, и чем посмотреть на себя как на единственного и исключительного в своем роде индивида, ты успокаиваешь себя тем, что растворяешься в общественном сознании. Ты витаешь над самоанализом. Разве не так? Ну что, припер я тебя к стенке?» Он: «Ну ясно, припер, ты ведь ловкий на это дело». Я: «Вопрос не в ловкости. В тот раз, когда речь шла о супружестве, было то же самое: я встаю на план ценностей и мышления, а ты все равно остаешься на плане фактов и слов». Петер: «Ну, хорошо. Теперь, когда я буду спорить с тобой, то сразу начну с игры словами». Это довершает его поражение: я усталым жестом указываю на него Полю и только что вошедшему Мистлеру и говорю: «Посмотрите на него! Не отмыться». Общий смех. «О, ну ты всегда будешь прав». Оказывается, что уже девять часов, и мы возвращаемся. Разговор идет о другом. Я взволнован и мне совестно, так как мой триумф над Петером — чистая видимость, по существу он задел меня за живое. Расставаясь с нами перед домом своей хозяйки он говорит,

явно намекая на меня: «Ну вот, а теперь возвращаемся к теплым постелям. Весьма приятные привилегии». Я ему отвечаю: «Тебе прекрасно известно, что я не могу спать на соломе, но плевать, сколько раз я ходил вместо тебя на дежурство, и в Мармутье спал прямо на земле». Но все же по возвращении с Полем в нашу с ним комнату я ощущаю, что был смешон и походил на одного персонажа Дос Пассоса (Ричарда)¹ и рассказываю себе историю в стиле Дос Пассоса: «И Сартр взорвался и сказал, что надо жить в нищете, потому что мы на войне. И он осудил Петера, потому что Петер воспользовался блатом. И заявил, что все кругом мерзавцы, включая и его самого, и что нужно спать на соломе или в грязи, как солдаты на фронте. Пробило девять часов и все разошлись по домам. Сартр поздоровался с хозяйкой и завалился в теплую кровать, укрывшись пуховым одеялом». Даже и для Дос Пассоса это было бы грубовато. В комнате я верчусь с одного бока на другой, по-прежнему раздраженный, мне хочется вернуться к спору, но теперь уже с Полем, поскольку тот посильнее в идеях, и, следовательно, мне было бы легче его обдурить и, обдурив его, успокоить себя. Он вежливо меня выслушивает, но не принимает ничьей стороны, я его не очень-то убедил. По правде говоря, спор затрагивает его лично, потому что он социалист и антимилитарист и вместе с тем надежно защищен военными привилегиями (госслужащий, в метеослужбе и т. п.). Гасим свет, и проходит еще долгое время до того, как я могу заснуть.

Этот комический эпизод богат уроками. В отношении Петера, Поля, меня.

В отношении Петера. В свете этого разговора он предстает прекрасным образчиком рационализма не-

¹ Имеется в виду роман «1919», французский перевод — 1937 г. В августовском номере «НРФ» за 1938 г. Сартр опубликовал статью «По поводу Джона Дос Пассоса и „1919“». Перепечатана в сборнике «Ситуации».

подлинности, собственно, хайдеггеровского «*там*». Образчиком тем более законченным, что он вовсе не глуп, и что обладает вкусом к дискуссии и рассуждению. Он болтлив, но как древний грек: выдвигает принципы, извлекает следствия, рассматривает по ходу дела побочные гипотезы, поднимает возражения на свой тезис, которые сам и отвергает, делает уступки предполагаемому сопернику, чтобы вернее его запутать, и, наконец, делает вывод. Нет ни одного примера, по которому не было бы ясно, что он хочет установить, *еще до того*, как он начал говорить. Случается даже, что в трех словах можно выразить то, о чем он будет распинаться с четверть часа. Ему до этого нет никакого дела, так как ему не так важно убедить противника или поделиться какой-то мудростью, как насладиться по возможности дольше согласием своего духа с самим собой. Все его рассуждения начинаются с одного слова: *нет*. Но это «нет» не является собственно отрицанием какого-нибудь предложения, высказанного до того каким-нибудь противником и которое вступало бы в противоречие с его мыслью. Это «нет» уничтожающее, предназначенное снести до основания все, что было сказано до того — как истинное, так и ложное — по обсуждаемому вопросу, чтобы появилась возможность все начать заново и заново все переделать. Случается даже, что он повторяет то, что ему только что было сказано, и развивает это положение, предварив его категорическим «нет». Как в следующем примере, который я хорошо запомнил, поскольку он наиболее типичен. Я: «Поль — заячья душа». Он: «Нет. Все дело в том, что Поль — это такой тип, который боится, заячья душа и т. д. и т. п.». Особенное удовольствие он находит в применении своего практического разума: принципы действия, план, проекты, детали и т. п. Он объясняет свои проекты и, как правило, завершает фразу так: «Понимаешь? Понимаешь... в чем дело», делая короткую паузу между «понимаешь» и «в чем дело». Слово *дело* употребляется в двойном смысле —

«дело» как какое-то начинание, дело рук человеческих, и «дело» как предмет обсуждения, умопостигаемый материал, что видно, например, в выражении «обсуждать какое-то дело». Этот дискуссионный еврейский разум социален: он нуждается в аудитории. Аудитория необходима, потому что только она способна преобразовать чистое и обычное логическое упражнение в «дело». В его логических рассуждениях присутствуют игра, важность и вежливость. Его разум социален еще и материалом, к которому он применяется: нравы и обычаи, общеизвестная психология, правила поведения. Это буржуазный разум, который осмысляет людей, а не вещи. Притом, что сам Петер весьма ловок и неглуп в применении или починке предметов обихода.

Только вот этот разум никогда не повернется к самому себе, причем не только потому, что игнорирует абстракцию, но и потому что все, что напоминает мышление или суждение, ему неведомо. Не то чтобы он не мыслит или не высказывает суждения — стоит ему начать судить свои суждения или суждения вообще, как сразу он принципиально разрушает их всеобщий и абсолютный характер. Что и обнаружилось совершенно естественно в его вчерашних рассуждениях. Прежде всего, мышление он сводит к словам. Я *говорю*, что испытываю угрызения совести. Я это *говорю*, но как это доказать? Мне понятно, что здесь — что меня и поразило — он считает, что доказать это можно *поступками*. Если бы я попросился в пехоту, моя мысль была бы основательной и законосообразной. Но сами акты, когда они имеют место быть, он объясняет через темперамент. Тот, кто действует тем или иным образом, действует так, потому что для него это *естественно*. В самом начале я поразился тому, как он попытался доказать, что героизм — это сказка: те, кого называют героями, просто движимы своим темпераментом — или они становятся героями по воле случая. Аргумент был так себе, но меня заинтересовала сама склонность

сводить обязательство или вынужденность к естественному порыву. Само собой разумеется, что отсюда он легко переходит к морали интереса: раз каждый человек движим своим темпераментом, значит каждый ищет свою выгоду. При этом он знать ничего не хочет об индивидуальном темпераменте — еще один абсолют, — это было бы слишком сложно для него: существуют лишь типы. Типы к тому же формируются через скрещение унаследованной природы и профессиональной деятельности. Он никогда не скажет: Поль боится — он скажет: Поль — это такой тип, который боится. Так получается не только из-за закоренелой вульгарности, которая заставляет его выбирать наиболее вульгарные выражения, но и из-за потребности прибегать к четким категориям. Ясно, что я для него «Богема», «Монпарнас» и все такое. И все мои реакции он будет объяснять через мой богемный характер и мою интеллектуальную профессию. Сегодня утром, возвращаясь к нашему вчерашнему спору, он очаровательным образом объяснил мне, как он понимает мою позицию: «Понимаешь, ты и я — это не одно и то же. Я — коммерсант, ты — тоже. Но я в половине восьмого закрываю свою лавочку и никому не должен отчитываться о своей личной жизни. Тогда как ты не закрываешь своей лавочки ни днем, ни ночью, должен отчитываться во всем, что делаешь. Я могу по благу попасть в метеослужбу и говорить, что всем доволен, это никого не касается. Если ты напишешь об этом в своих книгах, тебя не будут покупать. Вот ты и должен жертвовать мыслями, как я жертвую складскими товарами». Таким образом, поскольку мышление и поступки исходят из темперамента, а сам темперамент — из наследственности, профессии и среды обитания, все тонет во всеобщем релятивизме. Какой-нибудь точный аргумент сводится им к технической находке. Рабочего можно за него похвалить, но сами похвалы превращают ее в находку индивидуальную и случайную. Он никогда не скажет, если его припереть к стенке каким-то доводом,

что довод хорош, он скажет, что я ловок. Он сам теряется в этом релятивизме, растворяется в социальном. Наподобие хайдеггеровского неподлинного человека, который говорит: *люди* умирают, вместо того чтобы сказать: я умираю. Он соотносится с самим собой исключительно через общество: говорит о себе таким же тоном, каким говорит о других людях, разве что с большей нежностью. Он говорит: я такой тип... как он говорит и о Поле, что предполагает, что он подходит к себе через категории. Если он защищается против выдвинутых против него обвинений — ведь он не может даже представить, что можно обвинять самого себя, — то прибегает к помощи категории, к которой себя относит и которая может варьироваться в зависимости от ситуации, говоря, к примеру: «Пятьсот тысяч пристроилось, как и я, не окажись я здесь, другой был бы на моем месте». И эта взаимозаменяемость «пристроившихся» смягчает в его глазах и его собственную вину, и его индивидуальную незаменимость. С другой стороны, с некоторой суровостью он рассматривает себя субъектом права. Но речь идет о социальных правах, и он предполагает воспользоваться своими правами именно в данном обществе и с кодексом под рукой, причем только теми, которые предоставляются ему кодексом. Ему и в голову не придет помечтать о других; если их нет там, где ему хотелось бы их найти, он не будет настаивать, надо извлечь все возможное из тех, что существуют, находясь на полпути между человеком, наживающимся на законе, и гражданином, восседающим на том, что ему должны. Все это сопровождается всецелой слепотой к ценностям: он неспособен отличить должностное от реальности. Ты ему говоришь о *ценности* свободного союза, он в ответ: «Все, кого я знал, кончили женитьбой или сожигательством». Или я ему говорю, что его друг *должен* встать на средний уровень своих товарищей, а он мне отвечает: «Сам ты так не сделаешь». И в этом нет ничего страшного, ведь такой тип ответа произвольно приходит в голо-

ву любому как самый простой. Но здесь мне не удастся передать то, что, несмотря на все мои усилия различить для него ценность и реальность, и хотя своим умом он понимает проведенное мной различие, он никак не может приспособить к этому свои рассуждения и через две минуты возвращается к прежним аргументам. Индивидуальность, потерянная в «людях», социальный релятивизм и всеобщая терпимость, вежливый рационализм, слепота к ценностям — вот в чем основа его неподлинности. Вкупе с его еврейской важностью, с его потребностью пожимать руку, оказать услугу по истинному великодушию и с дальним прицелом, с его любопытством сплетницы, с его потребностью притереться ко всем окружающим, а главное к вышестоящим, — все черты составляют то, что я охотно называл бы «радикал-социализмом». Меня поражает то, что в его неподлинности нет ни единого изъяна, в отличие от большинства людей. Это связанная система мира — без сучка, без задоринки. Вот где наилучшим образом возникает вопрос Бобра: «Если неподлинность связана, чем она хуже подлинности?» В самом деле его психология в духе Ларошфуко в конце концов пугает, не сама по себе, так как для этого она слишком груба, но из-за того, что она наводит вас на мысль о существовании другой психологии такого же порядка. В конечном счете разве не из-за того, что я профессиональный мыслитель и т. п., я веду этот дневник? Оторопь от этого причинного объяснения. А ведь получил же я письмо от Б., которая пишет, что некий Ульман, которого я знать не знаю, агреже по философии, говорит, что «от „Тошноты“ за версту несет профессором философии».

В отношении Поля. Это пустяк, но он меня очаровал. Продолжение вчерашней дискуссии. Он уже заползал в свой спальный мешок, я лежал на кровати. Мы болтали, и я говорю: «Когда ты офицер, даже если ты социалист, даже если „до слабости добр со своими солдатами“, все равно ты пособник системы». Он согла-

сился и сказал задумчиво: «Даже если ты капрал!» Я вежливо заметил: «Ну, капрал...». — «Да, да! Даже если ты капрал. Я стал капралом, сам того не желая. Не было другой возможности, чтобы ездить в Нанси, где была моя жена. Тогда я согласился, чтобы меня назначили капралом, но от жены скрыл. Вот только в прошлом году, когда к нам пришли жандармы, чтобы поменять мое мобилизационное предписание, меня не оказалось дома. Его взяла жена. Что было, когда я вернулся!»

Что красноречиво свидетельствует о его плутовстве и его отношении к своей жене. Он только что попросил у меня адрес «НРФ», чтобы жена могла заказать «Стену» и «Тошноту», но мне до омерзения не по себе от этого, так как я усматриваю здесь некую вежливость коллеги. Я говорю принужденно: «Ты знаешь, не надо считать себя обязанным...», а он отвечает с видимым удовольствием: «Да что ты! Я буду рад, что жена тебя прочтет, да и сам я почитаю, во время будущего отпуска...». Разговорившись, он сообщает мне, что сочувствует социалистам с 15 лет и вступил в партию в 30-м году. Забавно, так как полтора месяца назад он говорил: «Ну... я сочувствую, но я не в партии».

На сегодня хватит, не могу больше ни о чем думать, так как болят глаза. Никогда еще так отчетливо не ощущал, что *мыслю глазами*. Сегодня горизонт весь ужаслся, ни на чем не могу сосредоточить мысль, поскольку нет возможности зафиксировать взглядом какой-нибудь предмет, такое ощущение, что справа и слева от меня две темные стены, а между ними какие-то калейдоскопические переливы. Ощущение, что мысли доносят до меня только поверхность этих стен и ускользают и уходят куда-то вглубь еще до того, как я могу их схватить. Но все равно хорошее настроение.

Вчера в дневнике не писал, так как слишком сильно болели глаза. Да и к лучшему, потому что теперь яснее вижу, что следует сказать о самом себе. Скажу, как только смогу. Сегодня лишь опишу приключение Поля. Ему надо отвезти на велосипеде донесение. Сразу засуетился и забеспокоился. Мы говорим ему: «Наденешь каску и возьмешь винтовку». Это приказ. Идея взять свою винтовку вызвала в нем один из этих приступов нервной и злобной ярости, которые обычны для него и объясняются не злобностью, а страхом. Он говорит: «Ну нет, тогда нет! С винтовкой не поеду. Категорически отказываюсь туда ехать». И начинает объяснять, что у него расстройство полукружных каналов, и ему не удержаться на велосипеде с винтовкой за плечами. В конечном счете полковник выдает ему старый револьвер. Я сразу замечаю, что этот револьвер (незаряженный и небоеспособный) вызывает в Поле какой-то почтительный ужас: «Ладно, ладно, — говорит он, — это вам не игрушка». Поль, надев каску, уезжает; у него вид старой девы. Проходит час. Он возвращается, когда входит, я сначала вижу его каску и очки, только потом — серое и грязное лицо, которое мрачнее тучи. С одной стороны его куртка и штаны измазаны грязью. На левой руке ссадина, правая распухла. Он хотел объехать машину, у него соскочила цепь и он полетел через руль, упав на руки и голову. Я начинаю понимать, что в его ненависти к войне и в его постоянном смятении есть доля боязни самого себя. Это уже сверх всякой меры — поддерживать душевное равновесие, обладая этим рыхлым и неотзывчивым телом. Должно быть, когда он поехал, у него было ощущение, что его отдали во власть его тела, которое подчиняется ему лишь в мирное время в самых благоприятных обстоятельствах и которое, брошенное в войну, в среду крепких мужиков, начнет выкидывать коленца, строить против него мрачные козни и мстить за свое рабство.

Ж. Ромен: «На войне не бывает невинных жертв».¹

Вчера получил открытку от Низана, чему был рад.

Пятница, 17-е

Глаза по-прежнему болят. Расслабляюсь немного, позволив себе беспокойство и нервозность. Речь уже не о том, чтобы важничать перед лицом социального потрясения, но о том, чтобы снести, не испытывая беспокойства, повседневную боль. Это труднее. Кроме того, из-за того, что я не осмелился *закалить* свои глаза, мои мысли сохраняют некую расплывчатость, им недостает отчетливости. Этой отчетливости, которая, вероятно, мне необходима чтобы осмыслить свою боль жестко и ясно, что я и сделал бы, наверное, в отношении боли в руке или печени. У меня такое впечатление, что мое визуальное поле сжато тревожными железными занавесями. Тем не менее я работал над романом. Вроде, хорошо. Пишу черновик с закрытыми глазами. Но мне не очень-то хочется мелко писать в дневнике — как, впрочем (мания коллекционера), изменять величину букв и пробелов между строчками. Из этого вытекают своего рода леность мысли и усердная готовность предаваться повседневным хлопотам — чистка обуви, подметание класса и т. п., — которые избавляют меня от необходимости думать и писать. Больше разговариваю. Тем не менее понимаю, что со многим запаздываю: в частности, замечания о самом себе относительно разговора от 13-го числа, а также определение бытия-в-своем-классе и заключение моих размышле-

¹ В романе «Верден» (1938), XVI томе цикла «Люди доброй воли», Жерфаньон говорит: «Это такое дело, в котором много жертв, но очень мало невинных жертв». Отметим, что Сартр, который не принимал унанимизма Ж. Ромена, в 1937 г. планировал написать о нем «большую статью, чтобы раскритиковать его». См. письмо к Бобру от 3 мая 1937 г. (цит. соч.).

ний о политике. Но воинская апатия, в которой купаются мои приспешники, все время тут как тут, подгалкивая меня к лени, к ловушке. Здесь легко жить, не скучая и ничего не делая, поскольку по милости войны ожидания не существует. Ожидания и заботы. Впрочем, эту боль в глазах перенести намного легче, чем простую головную боль. Все дело в беспокойстве. Именно в том беспокойстве, от которого, как я думал, избавляет война. Думаю, что от него обычно и избавлены, но в *отношении* тех видов боли, которые идут от войны. А эта сопровождается всеми заботами гражданской жизни: страх потерять зрение, не иметь больше возможности писать. Естественно, что все это в виде мнимого верования. Я «не извожу себя», но нахожусь в менее хорошем настроении, чем обычно.

Что я хотел сказать и что ясно увидел благодаря разговору 13-го числа, так это то, что с тех пор, как я нахожусь в Брумате, я соорудил себе позицию морального шута. Нечто вроде *Ridendo castigat mores*.¹ В тот день я и попался. Я вернулся к хозяйке в сильном волнении, принимал себя всерьез. Говорил себе: да, мне следовало бы записаться в пехоту. А потом вдруг: да нет, не за это я должен злиться на себя. Все дело в том, что я строю из себя шута, вот в чем моя вина. А в основе этого лежит мой моральный педантизм. Вначале я делал своим приспешникам нелюбезные замечания из-за своего морализаторского настроения и потому не мог от этого удержаться. Впрочем, как я это уже здесь отмечал, время от времени я упрекал себя в этом. Я и не думал *исправлять*, у меня не было такой безумной мысли. Просто существовали две «натуры», которые раздражали меня до глубины души: пугливая и мелочная разбросанность Поля, добродушное и изнеженное самоуважение Петера, его слащавая и раздоб-

¹ Точнее: *castigat ridendo mores* (через смех (комедия) исправляет нравы) — девиз поэта Сантеля.

ревшая манера «спускать себе» все, что бы он ни сделал, выставляя это чем-то вроде умилительной фантазии. Встает, чтобы пойти за хлебом, — впечатление такое, что снисходительно позволяет себе маленькую слабость. А впрочем, и верно: он облизывается, как кот. С этой точки зрения жирные причмокивания его губ, когда он ест, представляются мне такими же знаками этого самоуважения, как и любое обдуманное действие. Но хватит о Петере. Я хотел отметить лишь то, что сама моральная атмосфера этих двух людей была мне неприятна. Когда я им делал нелицеприятное замечание по поводу того, как они себя ведут, я мог порицать их от имени обычного морального принципа. Но в сущности это порицание было нацелено не столько на отдельную простительную вину, сколько на само их существование, это был символ более радикального порицания, которому тем не менее я не мог их подвергнуть и которое благодаря именно этому преувеличению гораздо менее затронуло бы их, нежели тьма мелких придирок. Следовательно, эти порицания были прежде всего маленькими стыдливими радостями, которые я себе позволял, и я рассматривал их скорее как свои слабости, нежели как свои заслуги. А тут еще Мистлер, которому эти замечания, высказываемые чаще всего в шутовской манере, доставляют удовольствие и смешат, и который сверх того одобряет их содержание. Это незаметное и радостное восхищение производит на меня такое впечатление, будто мои гротескные рассуждения содержат в себе самую что ни на есть суть. А я и рад раздувать их гротескность и начинать ею эту суть. И не только когда присутствует Мистлер, а каждый раз. Забавляюсь тем, что учу их свободе. Так что мои рассуждения, поначалу сугубо негативные и соотносящиеся с общераспространенной моралью, становятся позитивными поучениями. Но, соответственно, они становятся грубее благодаря эстетическому уравниванию. Тут и возникает позиция: я становлюсь шутом-моралистом. Естественно, что мне

глубоко наплевать на освобождение Поля от его проблем. Мне нравилась сама позиция; она позволяла мне выпустить желчь, высказать свои идеи, предаваться смачным рассуждениям, изображать из себя персонажа. Ведь я существо социальное и театральное — здесь, конечно, из-за скуки и потребности освободиться от переизбытка жизненной энергии, где-то в другом месте — из любезности, а иной раз — чтобы в глазах другого отразилась четкая фигура. Кроме того, как я думаю, это был способ иметь со своими приспешниками прочные отношения: поскольку они меня не развлекали, мне надо было находить развлечение в них, то есть, как говорит Монтень, «я разыгрываю себя перед ними»; я вовлекал их в комедию, которую сам перед собой ставил, под предлогом, что ставил ее перед Мистлером; усматриваю здесь также некое стыдливое отступление, нежелание быть с ними в отсутствие всяких церемоний, как раз из-за того, что мы живем здесь без всяких церемоний. Это не извинения, это объяснения. Как бы там ни было, мне не следовало попадаться на эту удочку, это было терпимо лишь в форме беззаботного фиглярства. А потом, 13 ноября, я и попался. К счастью, мое быстрое поражение меня образумило. Теперь я вернулся к тому, что ругаю их направо и налево, без всякого дальнего прицела. Мне кажется, что так они лучше меня переносят; им больше нравится объяснять эту ругань моей агрессивностью, чем моим прозелитизмом.*

Сегодня обедаю в «Раке» с одним стрелком, вернувшимся с передовой. Он говорит: «Немцы в двухстах пятидесяти метрах. Их хорошо видно, в первые дни они играли в траве, звучали аккордеоны и губные гармошки. Дней восемь назад один наш марокканец засадил одного из винтовки, теперь только высунешь нос из укрытия, так сразу пальба». Заключает с меланхолией: «Всегда один напакостит, а другие расплачиваются». Эта фраза часто здесь звучит, правда, обычно я ее

слышу тогда, когда какой-нибудь пьяный солдат набе-
докурит и для всех запретят кафе.

Хотелось бы знать средний возраст призванных на эту войну. Число мобилизованных, которое, как мне кажется, намного выше числа мобилизованных в начале той войны, то обстоятельство, что есть пробелы в годах призыва, наталкивает меня на мысль, что этот средний возраст выше, чем на войне 14-го года. Во всяком случае в нашей дивизии больше всего солдат 23-го года призыва, это 2/3 состава, остальные — различные года призыва, начиная с 1912-го. Поль, 29-го года призыва, самый молодой здесь. То есть средний возраст дивизии — тридцать шесть лет, предельные возраста — 30 и 47 лет. Правда, она считается дивизией стариков. В ней нередко встретишь тех, кто «повоевал еще на той». К примеру, почтальон с густыми черными бровями.

Следует признаться, что если брать только меня, исключительно меня, то я был бы сильно разочарован, если бы эта война через месяц вдруг завершилась. В настоящий момент, когда я в нее брошен, мне хотелось бы увидеть, как она, прежде чем исчезнуть, покажет себя во всем размахе (во всем размахе мошенничества и махинации).

Суббота, 18-е

Сегодня утром медицинский осмотр по случаю «зачисления в часть». В пивном зале нас заставили поспать в пивные кружки. Приспешники разделись догола. Я тоже. О себе не могу сказать ничего, кроме того, что у меня было ощущение, что я *подставляю себя*, хотя я и старался вести себя непринужденно перед сидящими за столом солдатами, работавшими с бумагами. Но приспешники меня удивили: раздевшись догола, они были ничуть не голее, чем обычно. Меня не смутила ни

задница Поля, ни легкое искривление его позвоночника. Мне казалось, что я это всегда видел. Ни огромный, хитрый как улыбка, живот Келлера, который тот предъявил с таким видом, будто говорил: «Вот штучка-то!», пока майор диктовал своим помощникам: «Ожирение, о-жи-ре-ни-е». Мне кажется, что я все время видел их голыми. Думаю, что, несмотря на эти серо-голубые куртки и штаны, мы живем в состоянии полной наготы. Половые органы вносили в это благопристойное собрание оттенок меланхолии. Сморщенные, замученные, застенчивые, напрасно пытались они скрыться за волосьями. Майор ощупывал их элегантно жестом и говорил: «Покашляйте». И я понял и всем сердцем одобрил эту фразу Бретона:^{*} «Мне было бы стыдно показаться нагишом при женщине, разве что когда у меня стоит». Это не обсуждается, вопрос деликатности. После осмотра — прогулка за пределами деревни. Не знаю почему, она напоминает мне прогулку Доктора Фауста, когда тот встречается со спаниелем. Я шел впереди, приспешники за мной. Легкое отвращение из-за того, что увидел столько х... Но что тут такого отвратительного? Мне кажется, это было сексуально. Возможность поставить себя гетеросексуалом. На самом деле, может, зря я себя обвиняю, во всяком случае все было легко и непринужденно. Может быть, сыграл свою роль запах мочи. У Поля она пахнет очень резко, я уже замечал. Сам тускл и сер, но в испарениях его тела есть пикантность.

Понедельник, 20-е

Анг и сержант Ноден все утро упрекали друг друга в том, что они не на фронте и называли друг друга тыловыми крысами.

Кассу, «48-й»:¹ говоря об атмосфере до 48-го года: «Здесь необходимо с самого начала рассмотреть, что

¹ Имеется в виду книга французского писателя Жана Кассу «48-й» (изд-во «Галлимар», 1939. Серия «Анатомия революций»).

такое верование, а что такое религиозный акт. Именно через религиозный акт человек отходит от своих верований, от своих религий, чтобы удовлетворить собственно Религию, ту, посредством которой, он открывает себя самому себе как виду, как „человеку космическому“, как выразился лионский мистик Балланш,¹ или как „коллективному существу“, как говорил Сен-Симон. * „Человек, — говорили те же сен-симонисты, — это развивающееся религиозное существо. У человечества религиозное будущее“... Интерес рода человеческого (провозглашает Ламартин**) привязан к самому роду человеческому“» (с. 43).

В этом и состоит основа гуманизма: человек, рассматривающий себя как *вид*. Именно это принижение человеческой природы я и осуждаю. Вид, судьба которого в том, чтобы завоевать и обустроить мир: человек космический, говорит Балланш. С другой стороны, те, кто определяет человека, принимая удобные для них человеческие обычаи за черты человеческой природы: человек всегда будет воевать, неравенство — закон природы и т. п. Моррас*** и его экспериментальный псевдопозитивизм. В конечном итоге все это вперемишку проникает во всякое политическое сознание: человек как биологический вид со своей судьбой вида — человек как позитивная реальность, которую следует определить исходя из опыта. Ничто не говорит о неотложности такой попытки, как попытка Хайдеггера, и ее политическом значении: определить человеческую природу в качестве синтетической структуры, в качестве целостности, лишенной сущности. Ясно, что во времена Декарта насущностью было определить разум через собственные самому разуму методы. Но тем самым разум и изолировали. И все последующие попытки конституирования цельного человека путем каких-либо добавлений к разуму были обречены на провал, поскольку оставались лишь добавлениями. Метод Хайдеггера и тех, кто может

¹ Французский религиозный писатель Пьер Симон Балланш (1776—1847).

прийти за ним, является в сущности таким же, как у Декарта: вопрошать человеческую природу с помощью методов, свойственных самой человеческой природе; знать, что человеческая природа определяется уже через те вопросы, которые она формулирует в отношении самой себя. Только так мы и полагаем не дух, не тело, не психику, не историчность, не социальность или культурность, а сразу весь человеческий удел в качестве неделимого единства, как объект нашего вопрошания. Ошибка идеализма в том, что он на первое место ставит дух. Ошибка материализма и всех видов натурализма в том, что они превращают человека в природное существо. Религия человека, понимаемого как естественный род; ошибка 48-го, гуманистическая ошибка. Против этого установить человеческую-реальность, человеческое-бытие-в-мире и его бытие-в-ситуации. Идея человека как вида нанесла невероятные потери, потому что даже Бобр заметила однажды, что у нее в бесконечном ряду времени есть два устойчивых ориентира: возникновение человека как вида в прошлом, исчезновение человека как вида — в будущем. Мое непонимание великих научных и романтических предвосхищений будущего: затухание солнца, столкновение земли с кометой и т. п. Для меня это ничего не значит, для меня это *скучно*.

У Петера колики. Когда помотришь на него, он делает большие печальные глаза. Хлебом не корми, пусть только его пожалеют. Отказываю ему в этом удовольствии.

Письмо от Полана: «Капитан Марша весьма корректно допрашивает Алена у него дома.¹ «Увидев в мани-

¹ Как и Жан Жионо, Ален был обвинен в том, что подписал листовку пацифиста Луи Лекуана, распространявшуюся в сентябре 1939 г. В этой листовке, озаглавленной «Немедленный мир!», утверждалось, что ни одна из воюющих сторон не хотела войны, и потому армии должны сложить оружие.

фесте слово „Мир“, — говорит Ален, — я сразу подписал, не читая остального».

Никогда еще война не была столь неуловимой, как в эти дни. Мне ее не хватает, ведь в конце концов, если войны нет, то зачем я здесь торчу?

В одном декрете, появившемся в «Оффисьель», мягко намекается на создание во Франции концентрационных лагерей. Госслужащие могут быть освобождены от должности без всякого разбирательства.¹ В добрый час. Но что же вы хотите, чтобы я защищал, если у нас уже нет свободы?

Написал Полану глупое письмо, которое не отправил. Переписываю его здесь из самоуничтожения (и кроме того, потому что нахожу его остроумным): «В настоящее время я нахожусь в маленькой деревушке, где тужусь над своим романом: я пользуюсь полной свободой и совершенным одиночеством: пенсия. Если бы немцы стреляли, то меня это, наверное, отвлекло бы; но если бы немцы стреляли, это была бы, наверное, другая война (а Сартр — другим Сартром, как сказал бы Водаль.² Эта же похожа на „дело Острик“³ и философию г-на Брюнсвика. Это не делает ей чести, но у каждой эпохи та война, которую она заслуживает. Тем лучше. Я узнал с самым живым интересом, что

¹ 19 ноября в «Журнал Оффисьель» были опубликованы два декрета. Первый из них предусматривал, что «личности, опасные для национальной обороны или для общественной безопасности, могут быть в случае необходимости принуждены к проживанию в местах, определенных решением министра национальной обороны и министра внутренних дел»; он был нацелен в основном на выходцев из стран вражеского лагеря. Во втором на время военных действий приостанавливались гарантии, даваемые госслужащим.

² Намек на фразу из рецензии Жана Водала на «Стену» («НРФ», октябрь 1939 г.): «А если все-таки (Ибьетта) не засмеялся бы? Ну да что об этом гадать, тогда он был бы другим человеком, «Стена» — другой новеллой, а Сартр — другим Сартром».

³ Знаменитый финансовый скандал (1929).

Птижан был ранен. В противном случае отныне он был бы другим Птижаном. Впрочем, если вдуматься в число раненых за каждый день, то можно сказать, что это настоящая удача, и это утверждает меня в моей вере в судьбу.¹

Я был весьма обрадован вашей великодушной посылке с „НРФ“. Но с изумлением прочел „Хронику“ Каэрдаля. Разве некому одернуть г-на Сюареса? Эта война весьма ничтожна и весьма технична, чтобы заслужить такие проклятия. Мне, как и ему, случалось бывать в Ротенбурге, и мне не показалось, что ребята смеялись надо мной: наверное, это зависит от человека».²

Абсурдное и антипатичное письмо. Прежде всего в нем нет простоты. Как только я делаю вид, что отвечаю Полану, так сразу теряю всякую простоту, оказываясь, без сомнения, под влиянием репутации злыдня, которую он мне создает и которой я не заслуживаю. Пыта-

¹ В глазах Жана Полана Сартр и Птижан были двумя надеждами будущего. В августе 1938 г. он писал Роже Кайуа: «Мне бы хотелось, чтобы в „НРФ“ был сформирован своего рода редакционный совет: Сартр, Птижан и вы». Здесь Сартр обнаруживает в отношении Птижана занятное чувство братского соперничества, что подразумевает, что в этот момент Полан выступает для него отцом.

² Сартр был не одинок среди находящихся в армии читателей «НРФ», раздраженных статьями Андре Сюареса, выходящими под рубрикой «Хроники Каэрдаля». 16 ноября Жан Гренье писал Полану: «То, что говорит Сюарес, конечно же правильно; глупа форма выражения, которая может дать понять, что это написано идиотом». С пророческим пылом Сюарес нападает на Гитлера, Зверя Апокалипсиса, и всех немцев, больших и малых, «народ шакалов и тигров». Гренье, Сартр и многие другие воспринимают «Хроники Каэрдаля» как «промывку мозгов» — которая тем более неуместна, что бои не ведутся. Полан, который не разделяет этой точки зрения, сообщит в конечном счете Сюаресу о протестах против них читателей журнала: «Могу ли скрыть... что мне пишут в особенности все наши друзья с фронта; только со вчерашнего дня мне повторяют в трех письмах: желательно, чтобы вы поменьше писали о войне и Гитлере...» (Cahiers Jean Paulhan. Gallimard, 1987. — Письмо от 22 ноября 1939 г.).

юсь быть кратким и резким, сохраняя правила приличия. Кроме того, я играю в игру «ложного доверия читателю», которая весьма в духе «НРФ». Вот что я под этим понимаю: я убежден, что Полан с первого раза не поймет, почему я сравниваю войну с философией Брюнсвика. Следовало бы добавить несколько пояснительных слов. Но все дело в том, что я их не пишу. Я ему оказываю ложное доверие, будучи убежденным в том, что он что-нибудь поймет, неважно что — понятно, что в «НРФ» всегда все поймут — и даже, что он может принять сразу несколько вариантов объяснений. И эти толкования, которые я предугадываю, хотя я их и не знаю, придают моей фразе в тот самый момент, когда я ее пишу, некую изысканную глубину и причудливость — в собственных моих глазах. Расширьте систему ложного доверия, распространите ее на всех возможных читателей — и вы получите метод создания критических заметок в «НРФ». Кроме того, я был раздосадован, потому что во всех своих письмах Полан рассказывает мне о Птижане: в первом он поведал, что его полк подвергся тяжелому испытанию; теперь вот во втором извещает, что Птижан ранен. Настоящий герой «НРФ». Не то чтобы я ему завидую, не то чтобы ревную к его славе. Просто я подозреваю, что Полан в каждом из своих писем проводит незаметную параллель, дабы держать меня в напряжении. И потом я вовсе не уверен, что в его «Не страдаете ли вы от грязи и холода?» нет иронии. Тогда я и начинаю настаивать на малой вредоносности войны, выставляя напоказ свой цинизм, который является единственной моей защитой.

Но есть и другое. Я чувствую, что во мне зарождаются некие права, которые я хочу подавить. Новые права. Права воина. Или, если быть поскромнее, права мобилизованного. Есть два вида прав мобилизованного — два противоречивых вида. Первый, которым я никогда не отравлю себя, грубый — требовать восхищения и признания со стороны гражданских, чувствовать себя важным и героическим. Солдат, который *go*

войны был отозван 15 августа из отпуска, вставал на подножку вагона со словами: «Это мы подставляем себя под пули». Чувствовать, что ты из другого теста, нежели гражданские, не признавать за ними права говорить о войне — как с плохой стороны, так и с хорошей — потому что только те, кто воюет на войне, могут о ней говорить. Другой вид прав — похитрее, эти права мне и угрожают: поскольку это *моя* война, я могу ее умалять. Пусть другие находят ее страшной — те, кто не воюет, — у меня же есть право сказать обыкновенным тоном: да нет же, ничего серьезного. И вновь сталкиваюсь с этой тактикой, о которой писал, говоря о своей политической позиции или, скорее, вот она и пробивается, эта уловка гордыни, которую я называл так: встать на сторону слабых против сильных, в состав которых мне следовало бы на самом деле входить, на сторону жены против мужа, на сторону детей против родителей, на сторону учащихся против преподавателей. Я чувствую уже, как во мне зарождается — из нежелания войти в новую элиту, облеченную своими собственными правами, элиту «мобилизованных» — эта склонность встать на сторону гражданских против воинов, словно бы говоря им: «Да нет же, нет. Не воображайте себе. Там ничего такого нет. Вы нам ничем не обязаны и т. п.». В этом не было бы ничего плохого, если бы я и в самом деле был воином. Но я таковым не являюсь: просто мобилизованный. И я хорошо понимаю, что если бы я воевал, то отдался бы этой склонности, ничуть не боясь зайти слишком далеко. Но коль скоро я не воюю, то мне не остается ничего другого, как помолчать по этому поводу.

Вторник, 21-е

Благодаря Кассу я улавливаю собственную логику и диалектические переходы этой идеи человечности, появление которой он относит к середине Июльской мо-

нархии. Аналитический дух XVIII века разлагает сообщества на индивидов. Французская революция — революция аналитическая и критическая, поскольку она рассматривает общество как договор между индивидами. Дух синтеза снова появляется с де Местром и Бональдом. Он противостоит критическому духу в том, что утверждает, будто анализ разрушает то, что он раскладывает на составные части. К примеру, именно дух анализа увидит в короле человека на троне. Консервативный дух ответит ему, что тем самым разрушается то, что заключает в себе король: королевство. Теоретическое восторжествование духа синтеза над духом анализа в политическом плане выражается в восторжествовании консервативной мысли над революционной мыслью. Общество становится иерархией неразложимых форм. Революционным силам удалось сокрушить институты монархии только потому, что сначала аналитический дух разложил их, разрушив весь их смысл. Ведь свести какую-то институцию к ее составляющим — значит упустить ее смысл, заключенный в ее неразложимой целостности. Под влиянием этих официальных доктрин у реформаторов и революционеров происходит разъединение духа анализа и духа революции. Движущие силы изменения общественной структуры остаются и усугубляются, но надлежит изменить мотивы. Дух анализа раздавлен, его останки присвоены старыми либералами-вольтерианцами. За мотивами новая оппозиция обратится к духу синтеза. Консерваторы используют дух синтеза, когда провозглашают, что целое не сводится к составляющим его элементам, то есть что общество не сводится к индивидам. Революционер уже не будет думать, как в 1789 году, о правах индивида. Он отбрасывает это устаревшее миропонимание, аналитическое *Weltanschauung*,¹ орудие которого пришло в негодность. Он уже не будет противопоставлять элементы целому, индивидов обществу. На-

¹ Мироззрение (нем.).

против, он станет искать более широкого синтеза, который охватил бы собой различные общества, так чтобы можно было бы упрекнуть каждое из них, если оно восстанет против этой целостности — так консерваторы упрекают индивидов в том, что те восстают против целостности коллектива. Объект синтеза тут же и обнаружен — это человечество. Хотя это слово может иметь множество смыслов. Современный смысл: человеческий удел каждого индивида еще не обнаружен, вследствие чего человечество — это историческая совокупность людей, которые жили, живут и будут жить, что и позволяет революционеру и реформатору противопоставить некую человеческую, гуманную традицию традиции монархической или национальной. Но это человечество, стоило только дать ему имя и помыслить его как целостность, сразу трансцендирует свою историю. Нет истории, кроме как в человечестве. И здесь могла открыться дверь к человеческому уделу. Но дух синтеза 48-го года прошел мимо. Единственное трансцендентное понятие, обнаруженное им, — это *вид*. И это понятие предоставлено ему биологией. Оно сопровождается по необходимости идеей земного шара, поскольку вид находится под влиянием среды. То есть получается двойной упадок: человечество низводится до рода, мир — до земного шара. Парадокс в том, хотя так часто бывает, что эти упадочнические понятия еще не найдены. Исторически вырождение предшествует понятиям, которые оно приводит в упадок. Неподлинность воспринимается раньше подлинности. Через идею вида человек выброшен из самого себя, но не в мир в хайдеггеровском смысле, но в среду мира или, если быть точнее, на землю. И близость его с миром ощущается, но в упадочнической форме симбиоза с землей и физическим универсумом. В этом смысле Балланш вполне мог говорить о «космическом человеке», однако речь идет о космической фауне, вот какова тут идея бытия-в-мире. Откуда появление — на этом стыке — идеи *труда* или деятельно-

сти человека на земле. Идея сен-симонистов: эксплуатация человека человеком должна быть заменена эксплуатацией земного шара всем человечеством. Корбон¹ пишет: «Самый значимый из феноменов жизни... — это постепенное создание орудия труда и постепенное расширение человеческой деятельности в мире». Понятно, что здесь труд и создание орудий труда рассматриваются как феномены жизни. Но не жизни индивидов: откуда вид. И Ренан: «Великое царство духа начнется только тогда, когда материальный мир будет полностью подчинен человеку».² Откуда достоинство *труда*, благодаря которому человек как вид с каждым днем все лучше и все больше подчиняет себе универсум. Откуда святость труда: «О труд, священный закон мира» (Ламартин).

Почему *святость*? Потому что идея человека как вида имеет две стороны: биологическую и религиозную. Для человека — это религия, потому что каждый индивид является «коллективным существом» и потому что он живет в «углке рода человеческого» (Бланки*). Человечество является для него живой и духовной средой обитания. Он на земле лишь через это человечество. Речь идет о привилегированном виде, который является абсолютным и самоценным. Кассу справедливо настаивает на этом аспекте гуманитарной доктрины: «Именно через религиозный акт человек отходит от своих верований, от своих религий, чтобы удовлетвориться собственно Религией, той, посредством которой он открывает себя самому себе как виду... (Кассу, с. 43). Сен-симонизм и позитивизм — это религии. Но это религии упадочнические, как и все остальное, поскольку их объектом является *вид*. Есть тут что-то вроде расизма от человечества.

¹ Антим Корбон, типографский рабочий, редактор «Ателье», ежемесячника социалистическо-религиозного толка. В 1848 г. он был вице-председателем Конституционного собрания.

² Ernst Renan. L'Avenir de la Science, pensées de 1848 // Jean Cassou. Op. cit.

Для защиты от этого *вещизма* и служит второй аспект идеи вида — биологический. Открытием века является то, что виды *эволюционируют*. Первым это выражение употребляет Балланш. Источник человеческого прогресса находится в самых глухих и самых органичных силах вида, прогресс опирается на видоизменяемость. Значит, человек как вид — вместо того чтобы оставаться жалким и статичным, каким он был во времена Линнея* — несет в себе какое-то еще неразличимое, неведомое, но великого богатства будущее. Тем самым мы обретаем эту восхитительную неразличимость Бога мистиков, которую мы теряли посредством вырождения и неподлинности первых понятий. В то же самое время мы избегаем *вещизма* и *идолопоклонства*: человечество обожают, но его *нет*, он в становлении. Тем самым он еще лучше противопоставляется наличным обществам, политическими системами, которые просто-напросто *имеются*. Как говорит Кассу: «Отныне будущее — это субстанция, в которой мы обретаемся, живем и продвигаемся».

Откуда последний диалектический отросток идеи человеческого вида: культ женщины, как всеобщей матки, как символа плодотворности. Именно через женщину завоевывает нас Будущее человечества.

Таким образом синтетическая идея всецелого человечества через свою собственную диалектику превращается в идею биологического вида, трансцендирующего свою историю. Последняя призывает дополнительную идею «земной среды», которая видоизменяется в «универсум, который необходимо завоевать». Эта идея завоевания земного шара заявит о себе в антифизиках Конта и Маркса, она придаст *труду* достоинство, которое заявит о себе в марксистском определении стоимости. Тем не менее идея видоизменяемости, которая примыкает к идее вида, побеждает свойственную понятию «рода человеческого» тенденцию к обеднению и застыванию. И индивиду, затерявшемуся как человек Спинозы в своем беско-

нечном Боге, в лоне человеческой субстанции совсем не трудно обожать это синтетическое целое, частью которого он является.

Доктрина не убедительна. Но она оставила на нас свой отпечаток. Гуманитаризм породил наш гуманизм. Даже Жид получил его отпечаток. Перепишу сюда на днях забавные гуманитарные пассажи его дневника, где он говорит, что Бог — в будущем.¹ В сущности, если сегодня искать принципы политического действия, то выбор ограничивается четырьмя концепциями человека. Узкая синтетическая консервативная — «Аксьон Франсез»; обновленная узкая синтетическая концепция — расизм, марксизм; широкая синтетическая концепция — гуманитаризм; аналитическая концепция — анархо-индивидуализм. Но ни в одной из них нет ссылки на удел человеческий, определяемый исходя из индивидуальной «человеческой реальности».

Мы здесь страшно много пожираем газет (чтобы завесить окна, в туалете и т. п.), но никогда не покушаемся на свежую газету. Ее защищает Келлер. Хотя она уже с обеда читана и перечитана, обсуждена каждым из нас — и притом, что каждый пришел к выводу, что в ней нет ничего интересного — стоит кому-нибудь из нас сделать вид, что он хочет взять ее, Келлер вырывает ее из рук, говоря с возмущением: «Ну не эту же, это сегодняшняя». Он требует, чтобы каждая газета пробыла какое-то — для нас загадочное, да к тому же не всегда одинаковое — время в нашем классе, по истечении которого газета считается отжившей, лишается своего титула газеты и попадает в разряд обыкновенной бумаги. Разрушающее действие чистой длительности и старение.

¹ Например, от 30 января 1916 г.: «Бог не позади нас. Он грядет. Не в начале, а по завершении эволюции живых существ его надо искать. Он кладет конец, а не начало. Это высший и последний момент, к которому во времени устремлена вся природа» (цит. соч.).

Келлера не назовешь ни трусом, ни поэтом. Тем не менее, когда он дежурит в школе, он никогда не спит, в отличие от всех нас. Нам никогда не удавалось узнать, почему. Если его спросить на следующий день: «Что ты делал?» — он ответит: «Ну как, до двенадцати читал газету. В три перекусил. В четыре посрал». — «Но почему ты не спишь?» Он смущается и не знает что сказать или мямлит: «Ну, там... свет...». Назавтра он весь день сам не свой, время от времени засыпает на своем месте, нарушая тишину жалобным похрапыванием.

Осень

Падают листья, мы также падем.
Умирают листья, как того хочет Бог.
Мы же падем, как того хотят англичане.
Будущей весной никто и не вспомнит ни об
Опавших листьях, ни о павших пуалю,
Жизнь пойдет своим чередом по нашим могилам.

Этот текст напечатан на зазубренной бумажке в форме листа с прожилками великолепного красно-коричневого цвета. Это одна из листовок, которые немецкие самолеты разбрасывали метрах в двухстах отсюда. Один крестьянин ее подобрал и принес нам. Она переходит из рук в руки. Под текстом изображен череп в каске.

Петер жалуется на то, что жена начинает относиться к нему как к пристроившемуся. Она пишет ему по поводу одного неотложного дела: «Напиши ему ты, тебе все равно делать нечего. У меня нет времени».

Среда, 22-е

Прочел в «48-м» Кассу такую фразу: «Экзотическая кровь Флоры Тристан* и ее авантюрный гений должны были возродиться в этом величайшем герое искусства

и анархии, каким был ее внук Поль Гоген». * Неприятный удар. В отношении Гогена, Ван Гога** и Рембо*** я страдаю комплексом неполноценности, потому что они смогли себя потерять. Гоген — в своем изгнании, Ван Гог — в своем безумии, а Рембо — даже решительнее, чем они все, потому что смог отказаться от литературы. Я все чаще и чаще думаю, что должно что-нибудь сломаться, чтобы ты дошел до подлинности. В общем такой урок извлек Жид из Достоевского, и это я постараюсь показать во второй книге романа. Но себя я защищаю от слов. Я крепко привязан к своему желанию писать. Даже на войне мне все нипочем, потому что я сразу думаю о том, чтобы записать, что чувствую и что вижу. Если я ставлю себя под вопрос, то только для того, чтобы записать результаты этого самоанализа, и я прекрасно понимаю, что лишь мечтаю поставить под вопрос свое желание писать, потому что, если бы я даже попытался, пусть на какой-то час, приостановить это желание, заключить его в скобки, то рухнуло бы всякое основание ставить под вопрос что бы то ни было. Я прекрасно понимаю, что есть тут весьма неприятная для других (для Ванды, для Лунной Женщины, например) уверенность, поскольку она происходит из того, что я из подлости что-то оставляю в себе *нетронутым*.

История, которую рассказывает Ноден. По ту сторону Рейна виден немецкий офицер, он в бинокль смотрит на французскую сторону. Французский лейтенант приказывает своему солдату пристрелить его. Тот отказывается. «Почему?» — «Ведь это человек. Он не сделал мне ничего плохого. Я не хочу лишать его жизни». Лейтенант приказывает второму (с ним было только двое), тот тоже отказывается. Тогда он им говорит: «Ну что же, стреляйте оба, так вы не узнаете, кто из вас двоих его прикончил». Солдаты стреляют, немец падает.

Для сомнения в правдивости этой истории достаточно и того, что рассказывает ее Ноден. Но фактом остается то, что он ее рассказывает и без всякого возмущения: как заурядный факт. Фактом является то, что люди ее рассказывают. Ведь ему ее кто-то рассказал, а тому — кто-то другой, а этому третьему — еще кто-то и т. д. Совсем иная реакция у аджюдана (зверь войны): «Этим солдатам повезло. Если бы нарвались на меня, я бы продырявил их шкуру дюжиной пуль, есть за что». Выведенный из себя, я объясняю ему, что эти одиночные расстрелы бесполезны и только приносят нам людские потери. Он сразу же смягчается, потому что уважает инструкцию, развивая тему *стороной*: «Батарей не должны стрелять без приказа, потому что их могут засечь по звуку выстрелов». И чтобы вернуть себе уверенность на почве инструкции, где он только что ее потерял, он объясняет на доске, с мелом в руках, как можно засечь по звуку.

С другой стороны, Нодену свойственен мелочный пессимизм, который идет от какой-то наивности, неосознанной обиды на войну, желания прощупать эту неуловимую войну с какой-нибудь стороны, спасти свое безделье разными мифами, наконец от его плаксивой крестьянской важности. Ему мало, что немецкие самолеты сбрасывали вчера листовки, он думает, что они всю местность закидали авторучками, которые взрываются, едва к ним прикоснешься. И ему не объяснишь, что они не могут *разом* вести пропаганду за мир и подрывать ее такими «жестокостями». В конце концов он замолкает, подавленный силой голосов, но не доводов. Предается своему пессимизму в тишине. Вдруг выходит, хлопнув дверью. Аджюдан, важный и огорченный, говорит, указывая на дверь: «Такой человек — просто гибель для морального настроения батареи. Командир, настоящий командир...». Дверь снова открывается и входит Ноден, аджюдан так никогда и не скажет, что должен сделать настоящий командир: он

суетится, а я вижу, что свернутое рассуждение так и зудит у него внутри.

Эти зачаточные бунты Нодена в высшей степени интересны. Это *связанный* бунтовщик. Его гложет зависть, она наполняет его горечью: как мобилизованный крестьянин, он завидует рабочим, которые остались на своих заводах или туда вернутся, как старший сержант запаса, он завидует унтер-офицерам действующей армии, которые получают денежное содержание, он завидует также госслужащим, которые так и получают свою зарплату. Но это недовольство не выливается в бунт, потому что слишком много факторов встают на пути этого бунта и распыляют его: католицизм, благомыслящий конформизм, глупость, тупость, неспособность собрать воедино все свои обиды, сделать из них целый букет, комплекс неполноценности по отношению к уставу. И потом «у него же хозяйство». Но стоит появиться хорошему фашистскому агитатору, стоит ему сгруппировать эти мелкие обиды под знаменем хорошей идеи, и Ноден будет маршировать. До самого конца? Не знаю, ведь он трус. Но маршировать будет.

В начале войны Ноден говорил: «Меня мобилизовывали три раза: в сентябре 38-го, в марте и августе 39-го. Надоело, так больше не может продолжаться, я хочу идти до конца, уж лучше повоюем, как следует, а потом будем жить спокойно». Прошло три месяца. Он страшно переживает по поводу унтер-офицерских жалований. Теперь, в промежутке между своенравными приступами героизма, он говорит с обидой: «Все, что мне требуется — вернуться целым и невредимым, и как можно быстрее». А так, это здоровенный, крепкий парень, тело которого радуется жизни. Ему двадцать девять, краснощекий симпатяга, тонкий голосок. Петер говорит, что Ноден наверняка первый парень на деревне. Хорошая мускулатура, правда, уже небольшой жи-

вотик. Ямочка на подбородке, все, кроме красных щек, иссиня-черное из-за густой щетины. Комичный вид приплюснутости щенка, а также гуляки и сердцеда.

На гражданке Келлер каждый вечер приставляет лестницу к фасаду дома, присоединяет два отводных провода к линии и может таким образом пользоваться неучтенным электричеством. Утром, на самой ранней заре, он снова берет лестницу и отсоединяет провода. После войны он хочет купить участок и построиться. Но в его доме не будет газа, потому что с газом не поэкономить. У него будет электропечь, которая будет питаться, как и раньше. «Это, — говорит он Полю, — одно из главных преимуществ пригорода перед Парижем. Понимаешь, в Париже все провода под стальным покрытием».

Четверг, 23-е

В эвакуированных районах, возле Сааргемина, размещенные там солдаты все перебили, обосрали все кровати, разнесли в щепки шкафы. Отмечаю для себя по этому поводу, что «внутренние» французы, несмотря на то, что эльзасское население встретило их с распростертыми объятиями, что буржуа без всякой платы брали их на постой, что девушки любезничали с ними, а ребяташки устраивали им овации, нещадно ругают эльзасцев. Бывает, что, попивая эльзасское вино, закусывая шукрутом, они сетуют промеж собой: «Что вы хотите, — говорит с важным видом образованный сержант, — они никогда не будут такими, как мы». «Да, — грустно говорил он, — мы были слишком добрыми, куда как добрыми в 1918-м. Уважение веры — это, конечно, хорошо, но сначала надо было сделать из них французов». Многие солдаты недовольны, когда слышат, как дети говорят на эльзасском наречии: «По-

думать только. Один час французского в неделю». И они с возмущением хлопают себя по ляжкам. Все они встречали одного эльзасца, который им сказал: «Я не француз и не немец, я — эльзасец». В Брумате один пьяный солдат, когда Бобр отвергла его заигрывания, сказал с недовольным видом: «Так ты эльзаска!» И, возобновляя попытку: «А скажи-ка, ты за нас или против?» Бывает, что, лопая сосиски, они покачивают головами и серьезно говорят: «Дикари! Во всем Брумате нет ни кусочка копченной колбасы». А на днях один капрал говорит, сокрушаясь: «Говорю тебе, я сам колбасник, разговорился тут с местным мясником, так вот, коровы, у которых ящур или туберкулезная палочка, идут на сосиски, они поскоблят немного туши и все. Вот как они делаются, эти знаменитые страсбургские сосиски». Аджюдан: «Увидите: самое приятное в отпуске, это будет не встреча с супружницей или ребятишками, самое приятное будет услышать, как французские французы говорят по-французски». Понятно, что это законное возмущение легко может привести к тому, чтобы обосрать постели эвакуированных. К тому же, со своей стороны, матери и жены этих добрых французов покажут эльзаскам, что не стоит принимать себя за француженок. В Лимузене, в Дордони к ним относятся как к собакам. Глашатай в Сен-Жермен-ле-Вель, пишет мне Пупетта¹, ходит по деревне, возвещая прибытие эвакуированных, и завершает свое выступление такими словами: «И не забывайте, что это все-таки французы».

Утром говорим о политике. Ханг, Петер, Польша и я рассуждаем об устройстве послевоенной Европы. Глупостей хоть отбавляй. Ноден в глубине класса пытается писать письмо. Шум нашего разговора отвлекает его, и он ругается: «Достали, достали». Ханг пытается привлечь его к дискуссии, но тщетно. Тогда я вдруг громко говорю, так как он обхватил голову руками, чтобы по-

¹ Прозвище Элен де Бовуар, младшей сестры Бобра.

лучше абстрагироваться от мира: «Ты знаешь, Ноден, около Виссембурга немцы содрали кожу с живого французского пленного». Он поднимается и подходит ко мне, как бы что-то вынюхивая: «Кто тебе сказал?» Я отвечаю, расплывчато, специально: «Так, один человек...». Привожу несколько подробностей: «Пленных было двое. Один не хотел говорить, с него живьем содрали кожу. Другому пригрозили, что обольют бензином и подожгут. Он перепугался и все выболтал». Ноден вне себя от возмущения, забывает даже о письме: «Вот мерзавцы. Если бы один на один, посмотрел бы я на них, увидели бы, кто с кого сдерет шкуру». Садится в углу, скрестив руки, вне себя от ужаса, ярости, серьезный и довольный: получил свою порцию ужаса на утро.

В спорах аджудан, который выделяется своим высоким чином, подстраивается, но не выдает себя.

Сегодня ночью, проснувшись где-то в час, я принялся думать о воле. Далеко не все понял, но вроде бы распутал немного вопрос.

Прежде всего мне ясно, что классическая концепция воли как акта, возникающего изнутри сознания, наталкивается на два подводных камня.

Прежде всего волевой акт по подобию сознания — какое должно быть сознанием самого себя — должен бы волить самого себя. Я хочу поехать в Париж. Ладно. Но если моя воля мотивируется желанием, это уже не воля, исключительный в своем роде акт, исходящий из сознания, это такая же мотивированная структура, как и все остальные. Надо, чтобы воля волилась. В противном случае моя воля поехать в Париж будет невольной. Что и выразил Кант в своей концепции независимости воли: воля, которая хочет себя годной для акта, которого она хочет. Ни к чему, как он тоже увидел, делать волю производной от «Я», ибо тогда она опять же происходила бы от какой-то данно-

сти (и неважно, что эта данность не *есть*, а длится, наподобие глубинного «Я», о котором говорит Бергсон: во всяком случае, воля была бы его *естественной* эманацией). Воля может происходить от «Я», если «Я» происходит от воли. Таким образом, воля, как и сознание, отсылает к самой себе. И, как и для сознания, следует, если попытаться избежать рефлексивного каскада волящих и волимых волей, допустить, что эта отсылка к себе соответствует инфраструктуре воли. То есть речь идет, наверное, о некоем онтологическом аргументе воли: волящая сама себя воля как воление X. Мы имеем тогда нететическую инфраструктуру (как и для сознания): воля воли и волевая трансцендентная интенциональность: волимое воление является волением к X. Но аналогия с тетической структурой сознания не должна нас обманывать: что сознание есть (само) сознание себя, это понятно, ведь в нететическом сознании сознание не имеет объекта для сознания: речь идет здесь не о *знании*, каковое предполагает дуализм объект-субъект, а о присущей сознанию сверхпрозрачности, каковая является его экзистенциальным условием. С другой стороны, кажется, что это волимое воление принадлежит к типу познания, то есть в сущности своей содержит дуальность. Если не ограничиваться словами, то невозможно помыслить имманентное единство воли и ее объекта, пусть он и будет волением. Причем на вполне очевидном основании, ибо объект воли лежит в будущем. Это определенный тип возможности, онтическая субстанция которого заключается в будущем. То есть, по определению, имеется временной интервал между волей и ее объектом, каким бы малым он ни был. Идея волимого воления в инфраструктуре одного сознания противоречива. Тем не менее именно в нее упирается в силу своей логики идея волевого акта, если только не превращать его в строго детерминированный процесс (но тогда волевой акт утрачивает свою специфичность: становится невозможно отличить его от желания, страсти, механизмов и т. п.).

Вторая трудность заключается в том, что объект моей воли удален от меня своим положением во времени. Ведь даже свобода, которую вы полагаете в волевом акте, воспрещает вам волить *вопреки* времени. В вашей воле совершить завтра тот или иной поступок. Но какие у вас гарантии от самого себя? Завтра ваша сегодняшняя воля канет в прошлое, вне сознания, она окостенеет, в ее отношении вы будете в полной свободе: я могу взять ее на себя или выступить против нее. Со временем и с собой не поспоришь. Клятва самому себе, прототип всякой клятвы, является пустым сотрясанием воздуха, посредством которого человек пытается околдовать свою собственную свободу. К тому же он клянется только тогда, когда чувствует, что есть опасность нарушить собственную клятву. Клятва — это признание в слабости.¹ Ведь всякий волевой акт вышеобозначенного типа — и мы такие часто совершаем — в сущности есть не что иное, как замаскированная клятва. Я волю свое завтрашнее воление. И мы опять сталкиваемся с дуальностью волимого воления, но все дело в том, что я не могу волить свое последующее воление. Если я вытаращу глаза, сожму кулаки и

¹ Эта фраза странно звучит в данном контексте. Может быть, весь этот фрагмент не является исключительно безличным анализом. Не задается ли здесь Сартр вопросом о волюнтаристском характере отдельных своих поступков, в частности в своей любовной жизни? Заметим, что 6 октября он продал на десять лет свой «пакт» с Симоной де Бовуар, а главное поклялся в верности Б. (см. соответствующие письма в «Переписке»), которой продолжает писать любовные письма, хотя он и не уверен, что любит ее. Позволяя своим близким читать дневники по мере их заполнения, он воспрещает себе свободно писать о том, что на самом деле чувствует и думает в этом плане; осторожный характер намеков на свои теперешние (Ванда) и даже прошлые (Ольга) любовные чувства — он и признает их, и отвергает — и немедленный слегда уклончивый отчет о них в письмах к Бобру дают основание так думать. О роли клятвы в отношении с другим см. «Бытие и Ничто» (часть третья, глава 3, параграф 1); см. также «Критику диалектического разума» (том I, книга II, «От группы к Истории»).

заиграю желваками, говоря: «Мне вольно быть ей верным», волю я впустую, волю целую тьму отдельных волений, которые того и гляди ускользнут от меня. Я бы назвал пустыми волеизъявлениями такого рода проявления воли — впрочем, они довольно часто встречаются — по аналогии с пустыми интенциями Гуссерля. Боюсь, не послужили ли они моделью для классической концепции воли. Они отделяются по ходу действия сознания и сопровождаются сильным напряжением, что, конечно, и заставляет думать, что они чем-то наполнены. Но все дело в том, что им недостает плоти, которая могла бы их заполнить, этого самого воления, каковое кажется первобытным феноменом и к которому мы и возвращаемся. Многие, заметив бездейственность этих пустых волеизъявлений, приходили — из разочарования и скептицизма — к тому, чтобы считать волей лишь сознание, которое простирается на осуществление акта. Нет никакого различия между волей и сознанием. Мало того, что мой акт свидетельствует мне о моем волении, но и — с другой стороны — мое воление уточняется и определяется через акт — в том смысле, в каком Ален говорит, что в изготовлении статуи обтесывается руководящая идея скульптора, так что в конечном итоге конкретная идея в конечном пункте своего развития и полноты и воплощается в самой статуе. Это замкнутый круг: о поступках следует судить по их намерениям. Но как судить о намерениях, если не по самим поступкам? Поступок — это материальная опора и разъяснение волеизъявления, как язык — опора и разъяснение мысли. Поступок — это внешний аспект воли, а воля — внутренняя объединяющая тема поступка; нет никакой воли без поступка, как нет мысли без языка.

Я не стану осуждать строгое решение моралиста судить о намерении по результату. Это восхитительная мера предосторожности. И именно существование пустых волеизъявлений и предписывает эту меру предосторожности с тем, чтобы выявить их и вывести из

игры. Тем не менее, для меня совершенно очевидно, если я стану анализировать себя в это мгновение, что во мне существует некоторое число полных и действенных волений, которые вместе с тем не сопровождаются реализацией. Воление остаться твердым и жестким, ни о чем не жалеть, не поддаваться тоске, ставить себя под вопрос, оставить без всякого сожаления Брумат, чтобы направиться в Моорсброн, завершить свой роман до того, как начать что-нибудь другое, ежедневно вести этот дневник, писать через каждые 3 дня Бобру,¹ через день — матери. Более близкие ко мне решения: ответить завтра Полану, сегодня вечером, после того как закрою дневник, написать Бобру, Ванде и т. п. Решения более отдаленные, касающиеся возвращения к гражданской жизни, когда наступит мир. Тем не менее я ничего не делаю для того, чтобы их осуществить — мне нечего делать. Но вместе с тем это не пустые волеизъявления, и не полные волевые акты, которые якобы некогда существовали и дремали в ожидании того, чтобы снова проявиться в поступках. Речь идет не о воспоминаниях о волениях, а о реальных волениях, существующих актуально и конституирующих мое собственное бытие. Каждый может найти в себе подобные устойчивые и сильные воления, которые, однако, не реализуются. Не происходит ли заблуждение оттого, что волю обычно рассматривают как акт сознания, краткий и локализованный во времени, то есть в точности как пустое волеизъявление? Не значит ли это, что сознание, обычно не относящееся к воле, в некоторых условиях может принимать волевою структуру? Но во II Дневнике я уже отмечал, что невозможно добавить воли к сознанию, если там ее

¹ В течение всей странной войны Сартр ежедневно пишет Бобру, а она ему, как они друг другу и обещали; исключения случались редко. Почему же эта неточность? Без сомнения, потому что Ванда будет читать этот дневник. Цифра 3, выведенная более жирной линией, была наверняка вписана впоследствии.

не было с самого начала. То есть следует вернуться к учению Спинозы и отождествлять волю и сознание. Завтра я объясню, что это значит.

Сегодня вечером вдруг почувствовал себя немного жалким. Потом все прошло.

Пятница, 24-е

Этой ночью у Поля новый кризис сомнамбулизма. Вдруг принимается кричать: «О-о-о-о-Оо!» Последнее «Оо» — протяжное, вибрирующее и оскандаленное. Говорю: «Поль!» Поль заспанным голосом: «Что такое?» Я: «Поль!» Он со смущенным и вежливым смешком (таким тоном, каким говорят кому-то, кто подходит к вам и утверждает, что вы знакомы: «Я на самом деле не знаю, кто вы»): «Я совсем не знаю, где я». И, словно забавляясь своим собственным смущением, добавляет со своего рода психологическим чревоугодием: «Нет, на самом деле, совсем». И фыркает. Я: «Ты в Брумате». Поль с явным раздражением: «Я об этом знаю». Я: «Чего ты кричал?» Поль, кривя душой: «Я кричал?» Тишина, затем я слышу какое-то копошение, шуршанье белья, звук передвигаемых тяжелых предметов, сопение. Я: «Что ты там делаешь?» Поль с оскорбленным достоинством: «Ничего. Просто я проснулся». И сразу же ровное и сильное дыхание, переходящее в негромкий храп. Утром мы выясняем, что он спал на протяжении всего разговора. Он отвечал мне — почти к месту — не просыпаясь.

Вернемся к воле. Я констатирую, что ее сущностной структурой является трансцендентность, поскольку она нацелена в такое потусторонье, которое может быть лишь в будущем. Но эта трансцендентность предполагает подлежащую трансцендентности данность. Воля нуждается в мире и в сопротивлении вещей. Она

нуждается в них не только как в точке опоры в достижении цели, но по самому своему существу, в себе самой — чтобы быть волей. В самом деле, единственно сопротивление реального позволяет отличать возможное от того, что есть, и проецировать через него то, что возможно. Здесь, как и всюду, реальное предваряет возможное. Мир сновидения, который является воображаемым миром, не позволяет сделать такого различия, поскольку в сновидении то, что помыслено, в самом акте мысли наделяется сновидческим существованием. Захотеть пить во сне ничем не отличается от того, что тебе снится, будто ты пьешь. Таким образом, дух, падая жертвой собственного всемогущества, не может волишь. Он даже не может волишь проснуться. Ему просто будет сниться, что он просыпается. Для того чтобы он пришел в себя, необходимо, чтобы в сновидение так или иначе проникла реальность. Тем самым сновидец связан по рукам и ногам своей абсолютной властью. То же самое будет, если взять крайний пример с божественным духом, который действует через творческие интуиции. Если для этого духа достаточно обычного акта мысли, чтобы интуитивно породить объект, если он не встречает никакого сопротивления косности, если нет никакого зазора между актом мысли и его реализацией, то Бог спит и видит сны. Его творения ничем не отличаются от его ощущений. Он заперт внутри самого себя и ничего не может волишь. Божественное всемогущество равноценно полной субъективной поработченности. Бог скачет от одного своего творения к другому, не имея возможности «посмотреть со стороны» на самого себя и объект. Воля может быть только конечной и только у конечного бытия, конечность воли происходит не из наложенного извне ограничения, но из самой ее сущности. Сопротивление мира заключено в воле как принцип ее природы. И поскольку невозможно помыслить ни того, что мир предшествует воле — что вернуло бы нас к материализму — ни того, что воля породила мир — что от-

бросило бы нас в область творческих интуиций и повлекло бы за собой упразднение воли, следует полагать, что мир и воля даны одновременно. Нет никакой воли, кроме воли заброшенного в мир человека. Именно мир освобождает сознание, преисполненное своими сновидениями и своей абсолютной свободой. Воля характеризует человеческий удел как необходимость — для покинутого в мире бытия — обрести свои собственные цели вне реальности, которая препятствует немедленному их осуществлению. Она определяется необходимым зазором между целью и осмыслением цели. Воля имеет место быть только тогда, когда целый мир лежит между моим сознанием и его конечными целями. Если дух наделяет меня властью немедленно осуществить все мои пожелания, то я сразу засыпаю, не имея возможности быть от них на расстоянии, *воспрепятствовать* тому, чтобы они осуществились. Что смутно и поняли все эти сказочники со своими историями об исполненных желаниях, которые ничего хорошего не приносят. Воля выступает как «бытие-в» мире, которое является «бытием для» изменения мира. Любая возможность, на которую нацелена воля, есть не что иное, как изменение данной ситуации. Изменение, которое может быть объектом воли только тогда, когда оно показывается на горизонте данной ситуации как результат развития особых виртуальностей этой ситуации. В этом смысле мы воспринимаем для того, чтобы изменять, и хотим изменения, исходя из воспринятого. Всякое восприятие вырисовывается на фоне возможного изменения — но изменения упорядоченного — и в то же самое время оно благодаря как раз своей толще от него отступает. Воспринимать окно закрытым возможно лишь в таком акте, который через это закрытое окно проецирует упорядоченную возможность его открыть. Без этого акта окно не будет ни открытым, ни закрытым: его вообще не будет. Но, соответственно, без настоящего закрытия окна не могло бы быть ничего, кроме уничтожающего образа открытого окна или — в

случае исполнившегося по волшебству желания — сказочное явление открытого окна, которое уже не было бы *вещью*, так как не обладало бы способностью к сопротивлению (оно уничтожалось бы или закрывалось по моей прихоти) и не могло бы высвободить сознание из его имманентности. Таким образом, первичная структура воли заключается в том, что она является трансцендентностью, которая полагает возможность в будущем, по ту сторону данного на настоящий момент положения вещей. Из чего мы видим глубинный смысл воли, который заключается в том, что она может быть сама собой не иначе, как ускользя от самой себя, бросая себя вовне себя — к будущему. Она есть про-ект (*Vor-wurf*). Из чего с очевидностью вытекает, что мир познаваем в настоящем своем состоянии, только исходя из будущего. Таким образом, воля и восприятия неразделимы. Что опять означает, что воля есть не индивидуальный акт, возникающий в определенный момент во временной цепи, но отношение сознания к своим собственным возможностям.

Остается определить, что это за отношение сознания к своим собственным возможностям. До сих пор мы в общем шли вслед за Хайдеггером. Теперь же не можем больше следовать за ним. В самом деле, для него *Dasein* есть просто-напросто его собственные возможности. Но тогда ни к чему полагать, как это делает он, трансцендентность, если мы опять скатываемся к другого рода имманентности. В самом деле, воля — это способность сознания к ускользанию от себя. Всякая имманентность — это сновидческое состояние. Даже хайдеггеровская имманентность, поскольку бытие *обретается* как возможность по ту сторону мира. И я прекрасно понимаю, что *имеется какое-то время* между проецирующим бытием и проецируемыми возможностями. Но поскольку это время читается наоборот, оно утрачивает свое разделяющее качество, оказывается не чем иным, как субстанцией соединения *Dasein* с самим собой. В самом деле, возможности со-

знания трансцендентны. Оно их поддерживает, волит, оно есть сознание, волящее этих возможностей, но все дело как раз в том, что они — вовне его. Они извлекают свою трансцендентную объективность из того, как они схватываются, что и является настоящим объектом видоизменения. Таким образом, они являются внешними экзистенциями весьма особого типа. Назовем их потребностями.

Это объекты, которые требуют реализации. Выборы в отношении себя. Но если бы они только требовали, то не были бы *волимыми*. В самом деле, можно представить, что есть потребности, которые остаются невыполненными: «*meliore video proboque, deteriore sequor*».¹ Сверх того они пробуждают сознание, я *предвижу* их реализацию. И у меня есть ощущение, что в этом предвидении я пользуюсь привилегированным положением. Речь идет о некоей очевидности, которая близка к адекватности. Другие будущие объекты — те, что не волимы — я тоже могу их *предвидеть*, но их возможность сама является вероятностью. Тогда как возможность объекта воли — достоверностью. Например, возможно, что я не напишу слова «достоверность», которое возникает из-под моего пера: мне могут помешать на тысячу и один лад. Но я знаю, что если мне не помешают, оно родится, знаю, что помешают именно *его* рождению. Мне не помешают родить какое-то другое слово, а это будет по крайней мере обладать таким существованием, сущность которого в том, что ему помешали родиться. Тогда как если я вкладываю свое состояние в морскую торговлю, в товары, которые хочу продавать за морем, есть возможность, что я буду разорен, если груз погибнет в кораблекрушении, но мне не дано знать, помешало ли это кораблекрушение *удачному делу*: ведь я с таким же успехом мог разориться из-за недобросовестных конкурентов,

¹ Из монолога Медеи в «Метаморфозах» Овидия: «Я вижу благо, испытываю его — и иду вслед за злом» (Книга VII, 20—21).

плохих расчетов и т. п. Удачному делу помешали лишь *вероятно*. Кроме того, эти выборы-возможности — я их знаю не созерцательно, я их реализую. Это значит, что они появляются на горизонте моих поступков в виде их смысла. Хайдеггер правильно сказал, что мы их не тематизируем. И действительно, тематизировать их значило бы уничтожить их, превратить их в понятия или образы. Только благодаря действиям они появляются с наибольшей ясностью, хотя и остаются неназванными.

Таким образом, смысл нашей ситуации ежемгновенно дается через эти выборы-возможности, нозматические корреляты нашего воления, ожидают нас в будущем. И именно они мотивируют и обрабатывают наши восприятия. Отметим, что они являются *моими* возможностями в двух смыслах: прежде всего потому, что являются, как мы видели, моими собственными выборами, и потому что они представляют собой объективный и трансцендентный образ моего бытия-в-мире. В самом деле, эти выборы имеют для нас вес из-за нашей любви к себе. Хайдеггер хорошо показал, что мир есть то, «исходя из чего человеческая-реальность-возвещает себе свое бытие». Именно для нас существуют эти выборы. Для нас или для других. То есть в конечном итоге для человеческой-реальности. Только вот было бы заблуждением считать, что эта возможная человеческая-реальность, которая проецируется по ту сторону мира *нашей* человеческой-реальности, *есть* наша человеческая реальность. Она может быть лишь трансцендентной, так как она по ту сторону мира, по ту сторону выборов. Выборы суть нозматический коррелят проектов, которые реализуются через поступки, а проецируемая человеческая-реальность есть синтетическое единство выборов. Конечно же, она тоже не тематизируется, но достаточно помыслить, что она является синтезом трансцендентных выборов, и становится понятно, что она и сама трансцендентна. Сознание может выскользнуть из имманентности, может

стать объектом своего собственного воления только тогда, когда оно проецирует пассивный свой образ по ту сторону мира. Таким образом выборы, которые ждут нас в будущем, окрашены человечностью. Это человеческие и мои возможности. Они существуют «для человеческих целей». Но, с другой стороны, стоит им исчезнуть, и трансцендентная человеческая-реальность станет лишь пустой формой, ведь она есть не что иное, как единство этих возможностей. Это мы и будем называть самостью или тенью сознания, вынесенной по ту сторону мира — что не имеет ничего общего с «Я», каковое есть единство рефлексивных сознаний.

Из чего следует, что в каждый момент для сознания существует некоторое число возможностей, которые являются его возможностями, то есть являются перед ним в только что описанной нами форме. Эти возможности являются ноэматическим коррелятом того, что мы будем называть волей сознания, и тем самым эта воля есть не что иное, как особое бытие этого сознания. Сознание определяет себя каждый миг как сознание, у которого есть какие-то возможности. Это следует понимать экзистенциально: в этом суть сознания — быть сознанием, окруженным некоторыми возможностями, именно через это его существование качественно отлично от существования какого-то другого сознания, именно через это оно обретает свой собственный способ бросаться в мир. И естественно, несмотря на то, что бросок этот один, выборов, через которые он обнаруживается, может быть легион, поскольку этот бросок преломляется через все многообразие мира. Они все разом присутствуют для нас, хотя и не тематически. Таким образом, быть сознанием в каждый миг значит хотеть своих возможностей, причем только их. И связь сознания с его возможностями — это связь столь же реальная, столь же конкретная, как связь сознания с воспринимаемыми вещами. В каждый миг сознание определяет себя к нетематическому схватыва-

нию конкретной множественности выборов-возможностей через *ситуацию*. Ситуация — это инертное сопротивление вещей, упорядоченное в иерархию мотивов и иерархию орудий. В конечном итоге ситуация — это мир, упорядочивающийся в зависимости от собственных возможностей сознания.

В этих условиях понятно, что хочу я в каждый миг именно своей ситуации в мире. Я *есть* то, чего я *волю*. И это по необходимости ограничено. В глубине своей я *есть* конечное и всецело ответственное за себя бытие. Понятно также, что то, что обычно называют волевым актом или пустое волеизъявление, направленное к возможностям, которые не являются *моими* возможностями, но которые я по различным причинам хотел бы таковыми видеть (это случай клятвы), или, в случае полных волеизъявлений, это лишь быстрая тематизация остававшихся до сих пор нетематизированными возможностей. В этом последнем случае, не только не получается усиления выборов, но и то, что называют волеизъявлением, есть не что иное, как уничтожение воления сознания. Уничтожение временное, которое, впрочем, упраздняет уничтоженный выбор не более, чем образопорождающее уничтожение упраздняет воображаемое присутствие. Оно уничтожает его на время уничтожения, не больше и не меньше. Вот почему я *есть* целиком и полностью воление, поскольку я *волю* того, что я *есть*. На этом фоне не может быть никакого отдельного волеизъявления. Изменить одну из моих возможностей значит одновременно изменить все мои возможности, изменить ситуацию, значит хотеть себя другим. Впрочем, такое случается постоянно, но всякое видоизменение, сколь частым оно бы ни было, всегда является экзистенциальным и всецелым.¹

¹ Более определенно Сартр будет говорить об отношениях волевого акта со свободой в четвертой части «Бытия и Ничто» («Иметь, делать и быть», глава первая).

В общем, напротив сознания имеется целостность реальности, в каждый миг, группа в ситуации. И эта реальность включает в себя: воспринимаемые вещи — присутствия—выборы — ценности — выборы, которые не являются *моими* выборами, возможности, которые не являются чьими-то возможностями, — так как некоторые из этих реальностей даются тематически (к примеру, воспринимаемые вещи), а другие нетематически. Есть сознание всего *этого*.

Выборы — это реальное будущее, смысл моего настоящего. Но это будущее, будущее мира, будущее самости *трансцендентно* в отношении к сознанию.

Я назвал бы конечным человеком не того, кто убил свою мать, но того, кто чудит с языком.

Суббота, 25-е

Действие инструкций в сновидении: Поль будит меня сегодня ночью своим однообразным «О-о-о». Но быстро прекращает, бормочет «Пардон!», поворачивается на другой бок и снова засыпает. Поражает то, что за три месяца, которые я его знаю, он никогда не выражал свой страх иначе, как через эти «О-о-о-о-о!» Это стало ритуалом. Есть что-то неуловимое в этих о-о-о: раздосадованное порицание и придиричивость вышестоящего (преподавателя) — немного трусоватая — и унылая беспомощность старика (мой дед в период старческого маразма издавал подобные крики, когда гулял по комнате, держа меня под руку, и спотыкался: «О-о-о-о! держи меня, малыш, держи меня!»), нечто иссушенное, рыдающее, подрагивающее. Конечное О!, напротив, является с какой-то очевидностью, словно первые крики знаменовали прозрение перед лицом неотвратимой катастрофы, а О! конечное — причитание перед лицом катастрофы завершившейся. Сначала

малый торопится, и его провидческие покрикивания стремятся предупредить, остановить порицанием, как ругают ребенка, когда он играет с ценной безделушкой. Но катастрофа быстро настигает его, и вот уже безделушка на полу, разлетелась на мелкие кусочки, и последний крик разворачивается неспешно, продолжается в оскандаленной и горькой удовлетворенности пророка, который видит, что его пророчество сбылось: «Я же говорил». В общем, если его не разбудить, Поль сразу после этого раздражается нечеловеческими криками. А потом начинаются жесты: он вскакивает, встает на четвереньки и ползает по комнате.

Одним из самых любопытных феноменов этой технической войны будет методическая пересадка эльзасцев. В 14-м были беженцы, но они оторвались от почвы под давлением обстоятельств. Исход эльзасцев, напротив, организован, и вместо того чтобы рассеять их по всей Франции, правительство сочло за благо перевозить их коммунами и деревнями — соблюдая предосторожности, ничего не нарушая, вместе с их муниципальными советами и их администрацией. «Воодушевленные» газеты удовлетворенно настаивают на этом обстоятельстве: «Страсбург (Дордонь)», — пишет «Л'Ёвр». Но очевидно, что результат парадоксален: в изоляции они были бы обезоружены, погрузились бы в определенную социальную среду, которая проникла бы в них. Но вот их пересаживают целыми небольшими сообществами вместе с коллективными представлениями, нравами, ритуалами, но лишая их окружения, которому соответствуют эти нравы и эти ритуалы: климата, географии, материализовавшейся в архитектуре цивилизации, стиля домов, культуры. Можно догадаться, что социальный ритуализм усугубляется, ожесточается пропорционально тому, в какой мере ему все более недостает реальных опор. Теперь речь идет о некоем обществе без земли, которое грезит о своей духовности, вместо того чтобы постигать ее через ты-

сячу дел каждодневной жизни. Это порождает высокомерие, своего рода защитную реакцию и болезненное стягивание социальных связей. Яростное и подвешенное в воздухе общество. Было бы неплохо в этом случае ввести этих людей в соприкосновение с очагами высокой культуры — с промышленной цивилизацией лионского района — с обществом юга Франции. Может быть, такой возможности не было. Но что же было сделано? Их выслали к лимузенскому мужичью, этому отребью, отсталым, тупым, алчным и ничтожным людям. Эльзасцы, все еще ослепленные воспоминаниями о своей методичной и ухоженной культуре, о своих красивых домах, попадают в эти деревни, в эти грязные города, к этим недоверчивым и некрасивым, по большей части грязным людям. Например, достаточно сравнить великолепные фермы Иттенхайма, где все строения группируются вокруг двора, — наиболее развитая форма крестьянского дома — с этими домами «кучка внизу» и «кучка наверху» Лимузена, чтобы почувствовать, какое разочарование и какое удивление должны были пережить эльзасские коммуны. Контраст должен был лишь усиливаться различием языков и комплексом неполноценности эльзасцев в отношении Франции. Комплексом, который, очевидно, делает их еще более критичными. Привыкшие к чистоте, они, должно быть, были шокированы такими маленькими городками, как Тивье, где еще лет двенадцать тому назад мусор и нечистоты выбрасывались прямо в водосточные канавы.¹ Так или иначе результат ясен: все эльзасцы, которые пишут домой, называют лимузенцев *дикарями*. Это слово появляется во всех письмах, речь идет о настоящем коллективном представлении: «Мы у дикарей». Лимузенцы, со своей стороны, называют эльзасцев бошами. Без особой озлобленности, как кажется. Скорее, это констатация. Естественно, в

¹ Весь этот пассаж приобретает необычное звучание, если вспомнить, что семья матери Сартра из Эльзаса, а его отец родился в Тивье.

начале возникали свары, до тех пор, пока строгие распоряжения не навели тут порядок. Естественно, лимузенское сообщество с этими язвами, распространяющимися внутри него, более остро осознает само себя. Там сегодня сталкиваются два рода шовинизма. Усугубляет все это некомпетентность органов государственной власти. Во многих регионах пятьдесят процентов эвакуированных не имеют еще крова над головой. Больные не получают ухода. Наша хозяйка рассказывает об одной женщине, которая вынуждена каждый день ходить за двенадцать километров, чтобы найти необходимое ее детям молоко. В одном сарае размещают две или три семьи, они страдают от этой скученности: «Мы уже не раздеваемся, — пишет одна эльзаска, — малыш Терезы (14 лет) всегда наготове, чтобы подсматривать, как мы моемся». Эльзаские мэры, как кажется, также несут ответственность, да и префекты: они ничем не хотят заниматься. Что же до местных жителей, они имеют свою маленькую выгоду: за десять су сдают пук соломы и т. п. «Все это на пользу борцам за автономию», — вздыхает Мистлер. Само собой разумеется. Но что еще более любопытно, так это непосредственное соприкосновение двух сохранивших целостность и *организованных* провинций. Такого еще не было. Новое слово в главе об этих массовых переселениях, возникших в России из-за экономических причин и продолженных в Германии и Италии из-за причин политических.

Поразительная концентрация эвакуированных эльзасцев (деревня в 1000 жителей должна принять 1100 эвакуированных) оправдывается, наверное, желанием сохранить кадры (муниципальные советы, префектуры, религиозные кадры: консистории и т. п.), не предоставлять индивида (очаг возмущения) самому себе.

Fluchtlings geld:¹ 10 франков на каждого эвакуированного. Мистлер говорит: в деревне на десять фран-

¹ Пособие беженца.

ков можно свести концы с концами, а если семья многодетная (где каждый получает по 10 франков), можно еще и откладывать. Поль отвечает: «Знаешь, в деревне можно экономить, когда у тебя там корни, иначе нельзя».

Воскресенье, 26-е

Замечаю за собой, что из странной и несколько лицемерной скромности не написал об изменении моего настроения, произошедшем с неделю назад. Я не написал о нем, потому что не считал его «интересным». На самом деле, в этом нет ничего особенно животрепещущего, но если этот дневник посвящен истории одного человека на войне, — человека не из самых обездоленных и не из самых удачливых — необходимо, чтобы я скрупулезно отмечал все эти изменения. Я не описал их и не считал интересными, потому что гордиться было нечем. В самом деле, вот уже с неделю меня тяготит мое воинское состояние. Речь идет не о «тоске зеленой», не о злобе или возмущении. Это неуловимые изменения в мире: поэтический комфорт Брумата испарился. Этот город я оставил раз и навсегда. Нам слишком много говорили об отъезде. Меня там больше нет. Этот город становился для меня «милым уголком». Теперь это лишь потерявшие всякое очарование декорации. Своей поэтичностью он частично обязан близости к линии фронта. По направлению к Востоку там было некое потусторонье, окрашенное опасностью и экзотикой. Все это исчезло. Как говорил вчера Мистлер: «Кто думает о немцах? Кто говорит о немцах? Кто же воюет против немцев?» Может быть, адьютан. Но у него такая профессия. Брумат теперь не более чем *местопребывание*, лишенное всякого смысла, таящее в себе нечто мрачное и холодное. Некоторые места, в которых было что-то вроде светского и человеческого очарования, взять хотя бы таверну «Рак», его вдруг

утратили. В последнем случае не столько из-за моего настроения, сколько из-за постепенного разоблачения истины. Вначале эти дерзкие служанки, которым никто проходу не давал, и которые сами терлись вокруг солдат и вдруг просили их спуститься в погреб, откуда возвращались порядком растрепанными, симпатичная замкнутая хозяйка, которая была похожа на Жаклин Делюбак,¹ да к тому же присутствие «золотой молодежи» — пехотинцев и стрелков, которые порхали в гражданской жизни (один, папенькин сынок, сожалел о своих любовницах, танцовщицах в Табарене, второй, киноактер, полный красивый мужчина), усилие, направленное на то, чтобы превратить это место в нечто равноценное какому-нибудь бару на Монмартре, отбор, осуществлявшийся по ценам в заведениях (те, что поскромнее, шли в кафе-булочную чуть подальше), — все это придавало кафе странное, комичное и немного извращенное очарование. Но теперь, когда я здесь ежедневно обедаю, мне известны все пружины: буржуазная мерзопакость золотой молодежи, животная похоть двух девчонок, которые глупы как пробки, алчность хозяйки. К тому же понемногу изменилась и клиентура: вместо солдат стали ходить унтер-офицеры, время от времени заходит начальство пропустить рюмочку. Таверна «Де ла Роз» по-прежнему хранит очарование по утрам, но его несколько притупляет привычка, с этой странной поэтичностью я встречаюсь позже, в воспоминаниях. Вот Брумат и усох. Школьный класс чем-то напоминает клетку, операционную и рабочий кабинет — все разом. В то же самое время меня начинает формировать и изводить будущее. Это уже не туманности сентября месяца. Прежде всего я дожидаюсь отпуска, и это ожидание населяет мои дни странными образами: длительное пребывание в темных и холодных вагонах, мрачный Париж с его

¹ Знаменитая в то время актриса. В 1936—1939 гг. снималась в фильмах Саша Гитри, который был тогда ее мужем.

фиолетовыми звездами по углам улиц, чернеющая масса у подножья Сакре-Кёр и т. п. Кроме того, стыдно в этом признаться, я жду конца войны. Ох, это мнимое ожидание, я жду его, как ждал зимой 38-го окончания мира, я не верю в это. Но в конечном счете мне не по себе на войне, как было не по себе во время мира в 38—39-м гг. Мне думалось, что я пообвык, а потом, как мне кажется, визит Бобра немного сбил меня с толку. Надеюсь на мир — и не очень далекий, — я примыкаю, как мне думается, к коллективному феномену. Всех этих мужиков, которые отправились на войну вместе со мной, поначалу распирало от гордости — я писал об этом в первом дневнике. Все они, за исключением неженков и добрячков, познали гротескные злоключения стойка. Тогда они провозгласили, что война продлится шесть лет — и это был другой способ погрузиться в тот же самый стоицизм. Более честный, возможно: речь шла уже не о героизме нетерпения, который идет навстречу ударам, а о долгом человеческом терпении, которое учится выдюживать повседневное заточение. Когда-то нам помогали газеты: важно было напугать Германию. Пресловутой молниеносной войне, которая все разгоралась и разгоралась, Англия отвечала сообщением, что она готова воевать три года. На что Гитлер отвечал в Данциге: пять лет — десять лет, если понадобится. Были тогда и мудрые офицеры, которые покачивали головами и писали в восторженных газетах: это продлится долго, дольше, чем можно подумать. Это была реклама. А потом еще эта манера мыслить наперекор 14-му. Уже не хотелось разделять заблуждения этих людей, которые 25 лет тому назад отправлялись на «военную прогулку». Больше нравилось обманывать себя в другом отношении. И, я как и другие, был пропитан этим мрачным убеждением, хотя мой личный оптимизм незаметно склонял меня к надежде на то, что война будет недолгой. Я занял золотую середину и охотно повторял: «Я накопил мужества до весны 41-го».

А потом вдруг начинают ходить слухи о недолгой войне. Здесь один юре читает по блестящим сапогам и предсказывает, что Гитлер падет в декабре. К тому же осторожные размышления умников — тех же самых, что предвидели, что война будет долгой, или других — одни говорят о таинственной возможности войны «быстро завершиться», а другие, более честные: «Я убежден, что война будет короче, чем думают». Обезоруживают самые что ни на есть пессимисты. Наверное, частично это объясняется влиянием новой пропаганды (не организована ли она? Не идет ли речь о том, чтобы поднять упавший дух?),¹ частично тем, что человеческое долготерпение трудно приобрести, и все просто задыхаются от скуки. В этих настроениях отражается образ моего оптимизма, и сразу же возвращается надежда. Может быть, это самое трудное, потому что тогда наша повседневная жизнь снова становится нечеловечески абсурдной. Одновременно война утрачивает свою чарующую привлекательность. А мирное время и в самом деле обернется лишенным всякого величия мошенничеством в угоду правящим классам. И мы снова окажемся обманутыми, нам снова заткнут рот после потерянного года жизни. Еще раз: я не собираюсь здесь приводить *причины*, которые могли бы объяснить мрачное настроение, мне хочется описать изменение атмосферы и горизонта, из-за которого я сохраняю безрадостное настроение. Единственные изменения, которые я обнаруживаю в себе, это возросшая раздражительность и приступы чувственной тревоги по поводу Ванды. Вчера, например, около двух часов я получил от нее письмо, которое завершается так: «Я останавливаюсь, потому что вижу, что появля-

¹ Почти вся французская пресса, преувеличивая трудности, с которыми сталкивалась нацистская диктатура, главным образом вне страны, поддерживает надежду на «чудесную победу»; эта кампания, по утверждению историка Кремье-Брийака, не была организована правительством, но пользовалась его попустительством (Crémieux-Brilhac. Les Français de l'an 40. T. 1. Gallimard, 1990).

ется череп Блена, людей, с которыми он сталкивается по ходу, но его взгляд направлен на меня, и он потихоньку идет в моем направлении с упорством краба. До завтра». Этот конец в духе «продолжение следует» вызвал у меня приступ ревнивого предвидения: я был уверен, что между ними что-то завяжется. Я сразу же написал непоправимое письмо, которое в конце концов порвал. Сегодня я вернулся к более гибким взглядам. Но эти чувственные кризисы знаменуют отсутствие уравновешенности. Возможно, это объясняется физиологически: с глазами было получше, но чувствовал я себя отвратительно. А сегодня утром они снова начали болеть. Еще раз: я знаю свое состояние лишь через это легкое недомогание, которое бросает на все свой свет, и через эти вспышки. Как бы то ни было, вчера днем было особенно мрачно: я варился в своей ревности, голова горела, в то время как Поль, которому утром сделали укол от брюшного тифа, ходил взад-вперед, раскрасневшийся и несчастный, с испариной на лбу, завернувшись в свою синюю шинель. Через него я воспринимал неудобство этого школьного класса. Все было мрачно. Сегодня не знаю: я сух и тверд, как и всегда по утрам, недружелюбен по отношению к себе, не имея ни страсти, ни интереса к этой войне, ни надежды на то, что она скоро кончится. Это состояние кажется мне, в сущности, лучшим способом пережить войну в этот период, который начинается. В то время, как я об этом думаю, я отмечаю как знак неуравновешенности, что четыре или пять дней назад я, наоборот, переживал достаточно пылкие состояния поэтической расчувствованности. И писал об этом Бобру. Стоит отметить, что Бобр почувствовала изменение моего настроения по моим письмам еще до того, как я сам это заметил.

В общем, война — это конкретная идея, которая включает в самой себе свое собственное разрушение и которая его осуществляет также через конкретную диалектику. В тот день, когда, как заметил Ромен, убедил-

лись, что средства разрушения содержали в себе свое собственное разрушение и что достаточно было простых удачных *построений*, бесконечно менее дорогостоящих и более примитивных, чтобы от них защититься, *человеческая война* практически завершилась, и разрушение перекинулось на товары. Очень может быть, что будущие способы транспортировки сделают неэффективной и военную блокаду (например, если транспортировка будет осуществляться по воздушным путям. Говорили же о перевозке сырья из России в Германию на *цепелинах*). В этом случае война станет пережитком. То есть упразднение войны надо ждать не от пацифизма, а от ее собственной диалектики. Сущность войны будет конкретно *реализована* в тот день, когда война станет невозможной.

Я посоветовал Мистлеру провести на месте (он эльзасец, живущий у эльзасцев) небольшой опрос об условиях жизни эвакуированных по их письмам. Он заинтересовался. Сегодня утром, после разговоров с хозяйкой и ее соседками, он передает мне, что письма эвакуированных о дикарях, которые оказывают им прием, вызвали у тех, кто остался, сильное чувство гордости и страха. Их богатый край, цивилизованный и плодородный, с его комфортом и его роскошью кажется им нежной и восхитительной мякотью по краям грубой и отсталой страны. Как никогда они боятся эвакуации. Наша хозяйка еще недавно заявляла: «Я поеду, если меня будут эвакуировать насильно». Старухи, с которыми виделся Мистлер, повторяли: «Пусть нас лучше бомбят, чем грабят». Ведь для них эвакуация — это грабеж. Повсюду рассказывают истории о подозрительных ящиках, которые находились на Страсбургском вокзале и переправлялись одним «*Nocher*» ом жене, власти их открыли: внутри было женское белье. «*Nocher*»ы (офицеры — важные господа) вызывают больший страх, чем солдаты. Рассказывают об одном офицере: он принес на почту в Брумате три большие

посылки, которые отправлял жене. Работавшие на почте девушки, заинтересовавшись, открыли их: снова белье и дамские шляпки. Последняя история совершенно невероятна, ведь как офицеры, так и солдаты не имеют права пользоваться гражданской почтой. Впрочем, если предположить, что военные то тут, то там отправляли посылки с бельем своим женам, то не идет ли речь о тех жителях Страсбурга, которым недавно было разрешено провести какое-то время в городе, чтобы выслать теплые вещи, за которыми они поехали к себе по домам, своим эвакуированным семьям? Во всяком случае слухи о грабежах не прекращаются, и соображения, которыми их сопровождают, забавны: «Ничего удивительного, что они грабят, эти дикари: у них самих нет ничего такого» (слова дочери директора электростанции).

Отсутствие прочной опоры, корней и сохранение социальных управленцев должны вызвать среди эвакуированных, если я не ошибаюсь, всплеск социального мистицизма. Впрочем, священники и консистория всегда готовы повернуть этот мистицизм в русло религии. Тем не менее государственные власти начали контрпропаганду, предназначенную для эльзасцев, оставшихся в Эльзасе. Нет такого дня, чтобы эвакуированные эльзасцы (мэр, кюре, и т. п.) не пришли на радио поговорить по-эльзасски, объясняя им, каким благосостоянием и какими удобствами они пользуются в Лимузене. И все напрасно: письма разрушают всякий эффект от этих речей.

Мистлер входит, и я читаю ему только что написанное. Он находит слишком категоричной запись на предыдущей странице. По правде говоря, я лишь воспроизвел его собственные рассуждения, но я придал им, единственно тем, что записал, жесткость, на которую они претендовали. Он поправляет себя и вот что говорит, что намного интереснее: остается фактом, что в Брумате царит психоз эвакуации и грабежа. Но характер слухов, которыми он питается, является очень

неустойчивым. Сплошной туман. Никакой точности. Факты расплывчаты и словно бы нарочно завуалированы. Например, неправда, что ему сказали: один военный послал по почте ящики, полные белья. Нет, это более расплывчато и более таинственно. В духе: «На почте *были* ящики, набитые бельем». Связь между посылками и Nocheleg является чисто аффективной. Она существует, но сказать, что это они их посылают, никто не осмеливается. Они что-то там делают, это так. Причем это даже не говорится, а подразумевается. Впрочем, стоит попробовать прояснить какой-нибудь слух, как он сразу рассеивается. Эльзасцы осторожничают и говорят: ну, вы знаете, меня там не было, мне это сказали. В общем, речь идет, скорее, о скрытом бредовом состоянии, которое дожидается *фактов*, чтобы превратиться в убежденность. Это нерешительный и осторожный страх, который остерегается самого себя и другого человека, всегда готов сжаться, уменьшиться на публике, но он несомненно еще устойчивее, когда они одни или говорят между собой, когда он не имеет точно определенного объекта.

Словно в подтверждение того, что я говорил утром, газеты публикуют заявление Рузвельта: «Я надеюсь, что война закончится к весне».¹

Дневальный 68-го, который на гражданке живет в Страсбурге, получает много писем от эвакуированных в Перигё. К эльзасцам там очень плохо относятся. Население настроено против них, их упрекают в том, что в них *причина* войны. В самом деле: Гитлер объявил(?) войну, потому что хочет вернуть Эльзас-Лотарингию.

¹ Пресса, выискивая малейший знак, который бы укрепил надежду на «чудесную победу», подняла на щит эту фразу, выдернутую из речи, произнесенной американским президентом по случаю дня Благодарения.

Победить самого себя, а не судьбу. Хорошо сказано. И прекрасно обнаруживает плутовство стоицизма. Ведь в конце концов, если взять определенный случай, раз я изо всех своих сил держусь за ускользающий от меня объект, что может значить для меня отказ? Думают, что я могу плотью своей утверждать ценность объекта, короче, стать мучеником этой ценности и *в то же самое время* на корню зарубить всякое собственное желание? Разве не видно, что я схватываю эту ценность *через* мое желание? То есть необходимо подвергнуть объект некоторой обесценке, которая будет благоприятствовать затуханию моего желания. Этому послужат мелкие иезуитские хитрости, которые позволяют мне непрестанно утверждать ценность объекта на словах и в мыслях (из верности самому себе), отвлекая меня от того, чтобы по-настоящему ее чувствовать. Но это значит ослепнуть по своей воле, ведь ценность объекта, коль скоро она чувствуется только через мое желание, *на самом деле* входит в состав объекта. В этом смысле все эти пресловутые эпикурейские и стоические диатрибы против влюбленных (здоровенный конь кажется им стройным, хромоножка очаровывает своей походкой) являются лишь иезуитскими стратагемами и лозунгами, ведь грация и по правде скрыта в хромоте такой женщины, надо ее только обнаружить. Но чтобы ее обнаружить, эту женщину надо любить. Слепые и глухие — вот каковы стоики. Из принципа, потому что цель оправдывает средства. И неважно, что целью является душевное равновесие. Во всяком случае, стоик — это прагматик, который прибегает к насилию и лжи самому себе ради того, чтобы достичь своей цели. Что же тогда делать? Так вот, лучше страдать и причитывать, и плакать, но никогда не скрывать от себя ценности вещей. Подлинность требует, чтобы мы были немножко плаксами. Подлинность и настоящая верность себе. То, что я говорю о любви, я скажу также и о

жизни. Трудно оставить жизнь. Тот, кто вдруг начинает пыжиться и думает оставить ее без всякого сожаления, тот обманывается, так или иначе. Замечательный пассаж в «Испанском завещании» Кёстлера:¹ «Они умерли в слезах, тщетно взывая к помощи, обессилев до невозможности — как и должны умирать люди. Ведь умирание — это вещь серьезная, не надо превращать его в мелодраму. Пилат ведь не сказал: „Esse heros“; он сказал „Esse homo“». Самое главное, что эта невероятная слабость, которая и обнаруживает смысл того, что Кёстлер называет умиранием, вовсе не препятствует вам умереть, если так нужно. Я всегда мечтал, насколько помню, причем в то самое время, когда сам забаррикадировался в своем стоицизме, нарисовать хнычущего и трусливого героя, который тем не менее всегда поступал бы так, как это требовалось, и который погиб бы со страшными криками и моля о пощаде, но так и не сказав того, чего от него допытывались. По правде говоря, в отношении самого себя мне известно, что в подобном случае крики вырвались бы из меня вопреки моей воле. Я изо всех сил постарался бы не заплакать. Наверное, заплакал бы, не знаю, но побежденный страхом и унижением, страх прорвал бы мой стоицизм как плотину, но, наверное, я попытался бы остаться стойком. Из гордыни, за что себя и корю. Гордость — человеческое уважение. И потом, в сущности, что еще есть в этом прекрасном стоицизме, кроме страха перед страданием. Подлинность требует согласия на страдания — из верности самому себе. Из верности миру. Ведь мы свободны-страдать и свободны-не-страдать. Мы несем ответ за форму и насыщенность наших страданий. Очень легко быть отчаявшимся — столь же легко быть стойком. Но все это время я ощущаю, что почти невозможно *выдержать* подлин-

¹ Речь идет о книге английского писателя венгерско-еврейского происхождения Артура Кёстлера (1905—1983) — французский перевод появился в 1939 г.

ность. Теперь я хорошо понимаю высказывание одного персонажа Стивенсона, который говорит, что он любит полакомиться страхом, потому что страх — это самая насыщенная эмоция, более насыщенная, чем любовь.¹ Лучше бы сказать: самая подлинная.

Среди движущих сил, заставляющих меня писать эту страницу, имеется, с одной стороны, одно событие из моей личной жизни, не представляющее особого интереса, а с другой и в другом плане — все то же странное и горделивое желание встать на сторону слабых против сильных, чтобы чувствовать себя сильнее сильных. Я должен это сказать: я испытываю какое-то безрассудное и самопроизвольное отвращение к тем, кто жалуется, когда страдает. Ни за что на свете я не хотел бы этого делать, и во всех малых страданиях, которые нежат жизнь среднего человека, городского обитателя, я всегда сохранял, без большого труда, но с превеликим удовлетворением, некую скромность. Эта скромность позиции — среди всех этих бо-бо — чудесным образом расценивалась как знак сходной скромности и сходной сдержанности, сохраняемых среди самых жесточайших страданий. Чудесным образом в различных моментах своей жизни я рассматривал себя так, будто уже проявил себя и только что оправился от перенесенных без единого слова страшных страданий. А потом, время от времени, гордость трещала по швам, и я спрашивал себя, стараясь быть честным, каковы же мои пределы в этой области, раздражаясь из-за отсутствия опыта. Но я повторяю: я без всяких на то оснований смотрю на себя так, будто я из тех, кто не жалуется. Так вот, совершенно естественно, что сейчас я поставлю себя в ряд тех, кто жалуется, и эта хитрость рождает приятное ощущение, что я превосхожу и тех,

¹ Речь идет о рассказе «Клуб самоубийц» из двухтомного сборника «Новые арабские ночи» (1882). Это место цитируется в дневнике *Жюльена Грина* от 1 февраля 1931 г.

и других: сильных, безмолвных — потому что я способен на такое же безмолвие и слышать о нем не хочу; других — потому что сам ищу подлинности, которая часто по необходимости возникает перед ними из-за их слабости. Это лишнее доказательство того, что достичь подлинности крайне трудно. В сам ее поиск про- скальзывают обман и хитрость.

Узнаю, что в «Таймсе» опубликован предварительный проект мирного соглашения на основе Федерации народов. «Для этой цели различные европейские государства пойдут на некоторое ограничение их независимости в экономической, финансовой и даже политической области». Об этой статье во Франции не было почти ни слова. «Же сюи парту» предоставили свободу действий в ее критике; с другой стороны, Франциск Гэй пишет в «Об»: ¹

«Мы уже отмечали, что демократическим журналистам, которые пытаются уточнить основные направления наших военных целей, была «рекомендована» крайняя осторожность. Они должны проявлять сдержанность не только в одобрении сенсационной статьи официозной газеты «Таймс», но даже в выражении удовлетворения по поводу замеченных совпадений в отдельных речах господ Лебрена, Даладье, Поля Рейно ² и в еще более категоричных заявлениях господ Чемберлена и Эдена, лорда Галифакса или сэра Невила Хендерсона. ³ Напротив, совершенно очевидно, что существует самый широкий либерализм в отношении пи-

¹ Речь идет о статье под названием «Обвинительные речи против договоров 1919 г.» (номер от 19—20 ноября 1939 г.). Франциск Гэй, основатель «Католической жизни» (1924) и «Об», выступает против доктрин Моррасса и «Аксьон Франсез».

² Напомним, что Альбер Лебрен был в то время президентом Французской республики, а Поль Рейно — министром финансов.

³ Энтони Эден — министр Доминионов в кабинете Чемберлена, лорд Эдвард Галифакс — министр иностранных дел; сэр Невил Хендерсон до войны был британским послом в Германии.

сателей, которые находят своевременным обрушиваться с самыми гневными речами на договоры 1919 г.».

Дальше идут цитаты из «Пти Паризьен», «Аксьон Франсез», «Тан», «Же сюи парту» и т. д., которые совсем не подвергались, а если и подвергались, то очень несущественной цензуре. Наверняка речь идет об инициативе второстепенных и реакционных цензоров.

Сегодня у меня, собственно, нет причин радоваться: эта история с В., и потом болят глаза, погода пасмурная и тоскливая; денег нет, пойти некуда. И тем не менее около половины первого, когда, оставшись в классе вместе с Келлером, который уплетал фасоль, тогда как я ел хлеб и шоколад, я подошел к окну, чтобы посмотреть на небо и на красные ставни стоящего напротив дома, и задумался о подлинности, о диалоге Матье и Марселлы,¹ какая-то крепкая и прочная радость, не очень сильная, но очень прочная, какая-то мозолька радости образовалась во мне. Непонятно, почему. Сначала я испытал радость, стал строить гипотезы, но мне прекрасно известно, что обязан я радостью только самому себе. Она не объясняется ни моей гордостью, ни темной поэтичностью вещей, ни сомнительной расчувствованностью. В ней нет ничего от мимолетного порыва. Она какая-то детская и умиротворенная, и так как я не понимаю движущих сил этой радости, считаю ее чистой.

Я ясно вижу, в чем эта подлинность, к которой я стараюсь приблизиться, отличается от чистоты по Жиду. Чистота — это совершенно субъективное качество чувств и желаний. Они чисты в том, что подобно пламени сжигают сами себя, они не запятнаны никаким расчетом. Чистые и беспричинные. В этот момент

¹ Речь, судя по всему, идет о сцене объяснения: Матье пытается объяснить Марселле, что он больше ее не любит («Возраст зрелости», глава XVII).

они не нуждаются ни в каком другом оправдании, кроме самих себя, они и не ищут никаких других оправданий. В них нет ничего, кроме их самих, они равны себе — целиком и полностью. Подлинность не совпадает с этой субъективной горячностью. Ее можно понять, если исходить из удела человеческого, этого удела брошенного в какую-то ситуацию существа. Подлинность — это долженствование, которое идет и извне, и изнутри, так как наше «нутри» вовне. Быть подлинным — значит всецело реализовать свое бытие-в-ситуации, причем какова бы ни была эта ситуация, сознавая при этом, что через подлинную реализацию бытия-в-ситуации в исполненное существование привносится, с одной стороны, ситуация, а с другой — человеческая-реальность. Что предполагает терпеливое освоение того, чего требует эта ситуация, и, кроме того способа, броситься в нее и определить себя самого к «бытию-для» этой ситуации. Естественно, что ситуации не описаны раз и навсегда. Напротив, они каждый раз новые. Для ситуаций нет и не может быть никаких этикеток.

Ко мне заходит Мистлер. «Я хочу задать тебе один вопрос по поводу солдат-отцов. — Давай. — Я, как и ты, заметил, что они больше жалеют ребятишек, чем жен. Почему? — Чтобы скрыть от себя крах супружеской жизни. С момента объявления войны им представилась возможность подвести черту под прошлой жизнью, подвести итог. Все умерло, можно все проанализировать и сказать: чего я стоил? Так вот, отношения с женами показываются им такими, как есть: жалкими и неудавшимися, это самая тягчайшая неудача. Тогда они отворачиваются от жен и находят утешение в мыслях о детях. Ребенок ведь еще ничего собой не представляет, итоги подводить рановато. Наоборот, это будущее. Их будущее и его будущее: это послевоенное время, их послевоенное время, ведь у них есть дети. Так им можно думать: моя жизнь еще не завершена, итог еще не подведен, у меня есть отсрочка. Ребенок — от-

срочка этой умершей жизни. — Но, — говорит Мистлер, — разве в мирное время не случаются индивидуальных катаклизмов, которые могут склонить кого-то к подобным мыслям? — Может, и случаются, но это не одно и то же. В мирное время существует индивидуальная система, жизнь человека и ее координаты: эпоха. Индивидуальная система может меняться, но координаты остаются постоянными. Она меняется по отношению к координатам. То есть не бывает полной остановки жизни. Наоборот, если начинается война, то можно подводить черту, останавливается и застывает не только индивидуальная система, но и ее координаты. Все оказывается в прошлом, можно давать оценку своей жизни, своей эпохе, оценить свою жизнь, как она сложилась из предоставленных эпохой материалов. Удобный случай стать свободным человеком, но они этого не хотят. Посредством отеческой любви они скрывают от себя свою полную свободу в отношении этой неудавшейся жизни».

«Планета людей» Экзюпери звучит по-хайдеггеровски: «Теперь я догадался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло» (с. 143). * «Требования ремесла преображают и обогащают мир». «Для пассажиров буря остается невидимкой... Лишь белеют внизу широко распластаные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что на воду здесь не сядешь. Эти пальмы для него — как огромные ядовитые цветы» (с. 151, 152).

«Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали... Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служат человеку, они бегут от родника до родника... Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая. А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас

двигаться по прямой... И вот мы становимся физиками... и судим человека по его месту во вселенной» (с. 165).

Я читаю «Планету людей» с каким-то особым волнением. Хотя мне не очень нравится стиль, несколько ватиканский и в духе Барреса-Монтерлана; мне не нравится ни определенное жеманство, ни определенная политиканская закругленность, в силу которой мы переплываем от надгробной речи («Твое возвращение, Гийоме, ты, скупец, нам в нем отказал») к панегирикам, достойным «Науки и жизни». А главное, мне не нравится этот новый гуманизм: «Что я сделал, клянусь тебе, никогда никакой зверь не сделал бы этого. — Эта фраза, самая благородная из тех, с которыми я когда-либо сталкивался, эта фраза, которая говорит о месте человека, облагораживает его, которая восстанавливает подлинную иерархию», и т. п. Но тем не менее есть прекрасные и даже замечательные места, которые приводят меня в волнение. К тому же ничто другое не может так выжать слезу из глаз затворника, как рассказы о головокружительных путешествиях. С момента мобилизации мне уже случалось вспоминать с сожалением о городах и пейзажах, которые я знаю, порой это горько. Но сегодня вечером я думаю с сожалением об Аргентине, Сахаре, всех частях света, которые мне не довелось знать, о всей планете, и это намного нежнее, смиреннее, безнадежнее. Это «нежное страдание», которое напоминает счастье. Это подобно сожалению о жизни, которая могла бы у меня быть в те времена, когда я был «тысячей Сократов». Теперь во мне лишь один Сократ. Или два, может, три.

Вторник, 28-е

Мистлер продолжает свой опрос. Вот факты, собранные им сегодня утром. Похоже, что проблема *работы* имеет огромное значение. Рассуждения одного

эвакуированного (переданные мобилизованным здесь жителем Меца) довольно типичны: «Наверно, нас сюда послали, чтобы научить их работать». Рассуждения, вызванные, очевидно, примитивностью сельскохозяйственных орудий и работ этих «дикарей». Вот, стало быть, люди, которые гордятся, что умеют работать, которые готовы научить других тому, что они умеют, готовы давать советы. Давать советы — это в эльзасском характере. Ведь самое сильное их разочарование, если судить по письмам, заключается, похоже, в том, что им некуда *деть* свою рабочую силу. Кроме того, мне думается, что, если бы они могли работать, то снова бы обрели человеческое достоинство, уже не чувствовали бы себя «эвакуированной толпой». Но их не привлекают к работам или очень мало привлекают (надо все же, для точности, процитировать высказывание одного солдата из Перигё: в его деревне на одной ферме работает 10 эльзасцев. Он считает, что они сначала были сбиты с толку *современностью и новизной* орудий труда, в частности плугов. Но они быстро освоились с ними). Во всяком случае, большинство из них не работает. Они говорят: «Но в конце концов в Лимузене ведь тоже была мобилизация, есть же кого *заменить* . Как так получается, что нас не используют?» Очевидно, они сталкиваются с лимузенской недоверчивостью; лимузенцы лучше подохнут за своей работой, *все* делая своими руками. Но вот зародыш социального феномена: богатые фермеры, намаявшись от безделья, думают о покупке земель в Лимузене. Было бы любопытно посмотреть, что из этого получится.

С другой стороны, в Сент-Жюньене некоторое число эльзасских семей, которым не нравится местная пища («они питаются отбросами»), решили сложить в общий котел свои денежные пособия. Одна или две женщины, более умелые, чем другие, будут заниматься покупками и готовкой. Я усматриваю здесь эту тенденцию к социализации денег социалистического происхождения. Им будет не так трудно сложить их в общий

котел, так как они не воспринимают их как свои. Наверняка, у них есть право на пособие в десять франков в день. Но с этой десяткой у них нет этой терпкой и сокровенной связи, которая возникает с заработанными или унаследованными деньгами. В то же самое время мне кажется, что я присутствую при рождении своего рода фаланстера — в виде этих общих приемов пищи, этой склонности к социальному мистицизму, о которой я уже писал. Узнают друг друга, живут бок о бок. Возможно, еда возвращает себе утраченный давным-давно сакральный характер. Во всяком случае, распространяя вширь эту новую институцию, эльзасцы Сент-Жюньена зовут эльзасцев из соседних коммун присоединиться к ним. Здесь возникает другой феномен: власти соседних коммун *отказываются* находящимся в их ведении эльзасцам в разрешении есть в Сент-Жюньене. Почему? Причин может быть несколько: может, просто-напросто речь идет о местной инициативе мелочного или враждебно настроенного муниципального совета. Но, может, также не хотят того, чтобы *вне рамок*, с ревнивой заботой установленных государством, образовались более широкое сообщество и общины, подобные общинам первых христиан. Может, также не очень хочется, чтобы эльзасцы, эвакуированные в какую-то лимузенскую коммуну, знали, что происходит в других коммунах. Это могло бы усилить недовольство.

Следует отметить, поскольку отвращение эльзасцев к лимузенской пище ничем не отличается от отвращения солдат из центральных областей к эльзасской пище, что появилось несколько открытых эвакуированными евреями колбасных лавок, которые продают страсбургские сосиски и жирную колбасу.

Эльзасцы из Лиможа, которые вне себя от гнева, что не могут найти работы, рассказывают, что владельцы лавок в Лиможе жалуются, что у них слишком много работы: «А все эти эвакуированные, — стонут лиму-

женские торговцы, — понимаете, они все время приходят за покупками, нам все время приходится пополнять запасы».

Ханг, которому я рассказываю о своем исследовании, сообщает мне, что получает письма от своего садовника и жены садовника, которые жалуются главным образом на то, что их нещадно эксплуатируют. Но, несмотря на то, что он эльзасец, Ханг конформист и не хочет возмущаться. Он говорит мне: «Я им отвечаю, что им намного лучше, чем беженцам 1914 года, что не следует жаловаться, так как война могла принять совершенно другой оборот». Тем не менее, эта идея, что их эксплуатируют, его немного удручает. Но он пожимает плечами и говорит: «Но что ты хочешь, это свойственно людям!»

Аджудан вот уже какое-то время повторяет, хмуря брови: «Скорей бы трах-тарарах! С бошами у меня свои счеты». Поначалу это воинственное выражение смахивало на импровизацию. Но мало-помалу оно стало ритуальным, и требовалось подыскать ему какое-то основание. Что и произошло сегодня утром. Попивая свой кофе, он говорит мне: «С бошами у меня свои счеты. Я хочу поквитаться с ними: я отстагаю их, как они отстагали меня, когда я был маленьким». Я живо заинтересовавшись: «Так они били вас?» — «Нет, этого не было. Когда я был маленьким, я жил в оккупированном районе. Так вот боши, они давали шоколад, чтобы я кричал: „Frankreich karutt“. Я не знал немецкого и кричал. Но один раз мой дед сказал мне в их присутствии: „Не кричи это“. Тогда они пригрозили мне хлыстом».

Поль в каком-то приступе ярости обрушился вчера на Петера с упреками за то, что тот изменяет человеческому достоинству, потому что все время попрошайничает. И в самом деле, Петер обожает *просить*: об услуге, милости, о чем угодно. Но было бы большим

заблуждением считать, что он делает это из низости. Наоборот. Ему свойственно определенное обхождение. Он просит, потому что умеет просить. Он скажет, как бы упреждая приятное удивление своей собеседницы: «А знаете, мадам, что я у вас сейчас попрошу?» — так, чтобы она, узнав, чего же от нее ждут, была в полном восторге, удовлетворив свое любопытство. Или: «О! Опять я к вам со своими просьбами...». Есть в нем какая-то щедрость на просьбы. Ему случается начать что-то просить, хотя он не знает в точности чего: ради удовольствия. Но все это не главное. На самом деле, просьба для него — это некий сакральный ритуал гуманистической религии, наивная и почти феодалная церемония, которая на какой-то момент восстанавливает равенство между просителем и дающим. Акт просьбы ставит двух людей лицом к лицу — в их человеческой наготе. В свою просьбу Петер вкладывает всего себя: «Видите, каков я есть, такой же человек как и многие другие, со своим человеческим достоинством». И если ему так нравится просить что-то у вышестоящих, то это из-за иллюзии, что с этой просьбой он обращается к человеку. И в самом деле, в его просьбе всегда есть что-то сокровенное, о чем говорят шепотом, и что, под очень поверхностным почтением, означает: «Я помню о том, что вы офицер, но то, чего я хочу от вас, я хочу прежде всего от человека, и т. п.». Вот почему, когда ему уступают — редко бывает, что ему не уступают — он счастлив вдвойне, и главным образом потому, что у него такое ощущение, будто лейтенант или капитан предоставили ему что-то как человеку. Таким образом, просьба у Петера — это некое мистическое и без конца повторяющееся сообщение его человечности с человечностью других людей. С другой стороны, он дает с такой же щедростью, как и просит, даже тогда, и в особенности тогда, когда у него ничего не просят.

Сегодня утром, поднявшись, я по-прежнему думал об этой мысли Сент-Экзюпери, нашедшей такое удач-

ное выражение: «Смысл видимого мира постигается только через ремесло». Поль говорит, поживаясь: «Сегодня холоднее, чем вчера». Вчера шел дождь. Я чувствую, что этот холод, резкий и пронзительный, совсем не похож на тот холод, что в иные дни я мог испытывать в Париже в своем номере в гостинице «Мистраль». Этот холод — мой, это материал моей работы, холод, который мне по работе надлежит измерять. Его намного легче вынести, чем какой-либо другой, так как я не ощущаю его пассивно. Он не кусает меня, он меня ласкает и немного пощипывает, как котенок, с которым бы я играл. В то же время он не похож на эту ледяную лужицу, которая когда-то просачивалась в номер через оконные щели и застывала: этот холод является знаком хорошей погоды. Он и есть хорошая погода. В этой комнате, с наглухо закрытыми ставнями, он проскользнул сквозь желтый свет электрических лампочек — солнечный лучик, ведренная розовая заря. Мне даже не нужно открывать окна, я уже весь в этой хорошей погоде, и в этом подъеме двух солдат с раскрасневшимися глазами нет ничего зловещего: это подъем в открытом поле, стены уже не в счет. Они не рухнули, но они ничего не могут поделать с этим измерением холода, моей новой средой. Можно было бы отметить множество сходных изменений, но мне лень, я запишу их, если они произойдут со мной. Тем не менее, есть одно, о котором я думаю, и которое рождено не моим ремеслом метеоролога, а моим уделом солдата на войне. Чистые и холодные небеса прячут теперь нечто вибрирующее и мохнатое, что простирается с одного края горизонта до другого, напоминая крыло какого-то гигантского насекомого: это небеса, предназначенные для рейдов немецких самолетов. Их природу, какое-то их видимое качество замечаешь утром, когда поднимаешь голову. Это совсем не страшно, потому что самолеты безобидны, это и не вызывает чрезмерного интереса; дело в том, что само небо слегка ядовито, как эти белые пальмы, о которых говорит

Сент-Экзюпери. А дождливые небеса, наоборот, являются прочными стенами, которые защищают нас, предвкушение мира. Для нашей хозяйки, которая боится воздушных атак, смысл погоды полностью поменялся. Она открывает ставни и улыбается дождю, как прежде улыбалась солнцу.

Я забыл сказать, что утренний холод не является локальным событием моей личности, моих товарищей. Он идет издалека, теперь с высоты, подобно полету перелетных птиц, он пропитан экзотической поэзией. Бобр, читая эти строки, наверняка подумает о холоде зимних видов спорта, который был гуманистической связью между людьми, человеческой средой и в то же самое время густой и ощутимой субстанцией, которую можно было потрогать руками, ощутить кожей лица. Он тоже не чувствовался, поскольку за ним ехали в горы ради удовольствия окунуться в него и ощутить, как он свистит вокруг нас, словно рассекаемый снарядом воздух.

Два анекдота от Ханга, достоверность которых он гарантирует. Около Виссембурга французский патруль натывается на немцев. Солдаты разбегаются, сержант падает в плен. Его приводят в каземат, и немецкий офицер с полчаса допрашивает его на великолепном французском языке. Сержант прикидывается дурачком, но начинает опасаться, как бы его чуть-чуть не прижали, чтобы он разговорился. Через полчаса немецкий офицер говорит: «Ладно. А теперь проваливайте, возвращайтесь домой и не суйтесь к нам больше с вашими патрулями». Другая история: опять же возле Виссембурга. Эвакуированным гражданским лицам разрешают вернуться на сутки домой за необходимыми вещами. Между тем немцы занимают деревню. Они видят, что гражданские заняты переездом, и помогают им упаковать вещи, потом дают им уехать. Второй анекдот кажется мне более сомнительным. Но их здесь рассказывают на каждом шагу. Подтверждается, что немногие пострадавшие в этом

секторе как с той, так и с другой стороны, были убиты или ранены в результате спонтанных огневых ударов в ответ на удары противника. Другая история: как-то ночью 65-й скрытно занимает свой сектор. На следующее утро на другой стороне линии фронта появляется немецкий щит: «Добро пожаловать, 65-й».

В общем, волеизъявление обычно рассматривается как некая вспышка, которая не изменяет субстанции, от которой она исходит. Я, напротив, рассматриваю его как всецелое и экзистенциальное изменение человеческой-реальности.

Словно в подтверждение тому, о чем я вчера говорил, ссылаясь на Валуа,¹ читаю сегодня в «Л'Ёвр»:

«Вчера в полночь „Л'Ёвр“ вынесла в заголовок фразу из речи г. Чемберлена о целях мира: „Речь не о том, чтобы перерисовать географические карты в соответствии с нашими идеями победителей, а о том, чтобы привнести в Европу новый дух“. Замечательная фраза, в полном согласии с десятки раз повторявшимися заявлениями французского правительства, так как „новый дух“, о котором говорит г. Чемберлен, является, по всей видимости, духом свободы, справедливости и мира.

Тем не менее в два часа утра цензура предписывает „Л'Ёвр“ снять фразу английского премьера.

Спешим добавить, что в следующем выпуске изъятый заголовок был восстановлен: вмешалось начальство».²

¹ Жорж Валуа — французский журналист и политический деятель. В 1925 году основал «Пучок» (профашистскую организацию). Позднее отошел от фашизма. За участие в Сопротивлении он будет депортирован и погибнет в лагере Берген-Бельсен в 1945 г.

² В своем выступлении по радио 26 ноября, которое было опубликовано в «Л'Ёвр» 27-го Чемберлен проводит различие между целями войны («бить врага») и целями мира «привнести в Европу новый дух, с которым нации, которые ее составляют, будут со взаимной терпимостью разрешать свои трудности».

Конец статьи, в котором наверняка обвинялись втро-
ростепенные цензоры, был изъят цензурой.

Переписываю здесь это очаровательное и иронич-
ное письмо Ванды о подлинности: «Если бы ты стал
подлинным, то был бы не лучше и не хуже, ты был бы
другим. С социальной точки зрения ты стоил бы мень-
ше, и твоя внешняя жизнь была бы не столь успешной.
Но в себе ты был бы в тысячу раз поэтичнее и в тысячу
раз чище; вместо того чтобы писать, ты стал бы объек-
том книги (тебе это ни о чем не говорит?). Я верю, что
это очень трудно, как ты говоришь, достичь подлинно-
сти. Я всегда думала, что мы были замешаны на подлин-
ности от рождения. Такой недостаток конституции, ко-
торого у тебя нет. А потом ты пошел в другую сторону,
ты слишком много думал, ты слишком хорошо себя
знаешь и, кроме того, ты пишешь. Если допустить, что
в ком-то есть проблеск подлинности, все пропадает,
если он пишет. Мне немножко смешно, когда ты гово-
ришь, что сожалеешь, что у тебя не хватило ума, когда
ты терял себя, этим воспользоваться. Этим нельзя
воспользоваться, потому что о подлинности ничего не
знаешь. Я смотрю на это как на какую-то штуку, за
которой ничего не стоит, ты же подходишь к ней
как любитель, не очень-то желая сломать на ней шею.
В результате не пройдет и года, как ты напишешь
восхитительный многотомный роман о подлинности.
В сущности, для этого тебе следовало бы принимать
наркотики. Единственные немного подлинные писате-
ли — это сюрреалисты и еще: Рембо».

Вечером мы с Петером обычно едим хлеб и шоколад
или консервы. Поль и Келлер обжираются мясом и
овощами. Вчера вечером Петеру взбрело в голову
съесть немного картошки. Он говорит Келлеру: «Я поем
немного картошки». — «Ладно», — ворчит Келлер. Пе-
тер уходит, Келлер и Поль едят. Через десять минут
Петер возвращается, чтобы съесть свою картошку, ко-

телок пуст, они все сожрали: «И это все, что вы мне оставили?», — спрашивает он. Келлер холодно отвечает: «Сегодня мало давали».

Это правда, я не подлинен. В отношении всего, что я чувствую, еще до того, как я это почувствовал, у меня есть знание, что я это чувствую. И я чувствую это лишь наполовину, занятый тем, чтобы определить и обдумать, что же я чувствую. Мои самые великие страсти суть не что иное, как нервные движения. В остальное время я чувствую наспех, а затем развиваю это на словах, тут немного нажму, там — немного натяну, и вот построено образцовое ощущение, которое годится только на то, чтобы оказаться в книге с твердой обложкой. Все, что чувствуют люди, я могу об этом догадаться, это объяснить, записать это черным по белому. Но не почувствовать. Я ввожу в заблуждение, выгляжу чувствительным, а на самом деле я — пустыня. Тем не менее, когда я смотрю на свою судьбу, она не кажется мне такой уж жалкой: мне кажется, что передо мной тьма обетованных земель, куда я ни ступлю ногой. У меня не было Тошноты, я не подлинен, я остановился на границе обетованных земель. Но я хотя бы на них указываю, другие смогут туда отправиться. Я — перст указующий, в этом моя роль. Кажется, что в этот момент я схватываю себя в самой наисущественной структуре, в этой своеобразной унылой ожесточенности при виде себя чувствующего, себя страдающего, но не для того, чтобы познать самого себя, а для того чтобы познать все «природы», страдания, радости бытия-в-мире. Это и есть мое я, это постоянное и рефлексивное раздвоение, эта поспешность, с которой я жажду извлечь выгоду из себя самого, этот взгляд. Я это прекрасно знаю — и зачастую от этого устаю. Именно отсюда и идет это волшебное влечение, которое производят на меня темные и потерянные женщины — Ванда, раньше Ольга. И потом, время от времени у меня есть невинные удовольствия

чистой души, но которые сразу же разоблачаются, выносятся наружу, выражаются, распространяются в моей переписке. Во мне нет ничего, кроме гордости и ясности мысли.

Среда, 29-е

Начиная со 2 сентября я прочел или перечел:

«Замок» Кафки

«Процесс» (его же)

«Исправительная колония» (его же)

«Дневник» Даби

«Дневник» Жида

«Дневник» Грина

«Дети Лимона» Кено*

«Суровая зима» Кено

«НРФ» за сентябрь-октябрь-ноябрь

«Марс, или Война под судом» Алена

«Прелюдия к Вердену» Ромена

«Верден» (его же)

«48-й» Кассу

«Всадница Эльза» Мак Орлана**

«Под холодным светом» (его же)

«Полковник Джек» Дефо

Второй том полного собрания сочинений Шекспира

«Планета людей» Сент-Экзюпери

«Испанское завещание» Кёстлера

Четверг, 30-е

Так как у меня нет больше денег, и так как я не хочу залезать в долги на декабрь, заняв у Петера, я уже пять дней не хожу обедать в «Рак». Поскольку солдатская стряпня ничуть не пробуждает во мне аппе-

тата, я пользуюсь этим, чтобы чуть голодать: утром тартинка с сыром, вечером — кусок хлеба и шоколад, вчера вообще ничего. Надеюсь сбросить два-три кило, которые набрал с сентября. Я уже «выиграл дырочку» на ремне. По правде говоря, вчера я пошел бы поужинать в трактир, но я чувствую, что приспешники следят за мной. Я столько упрекал их за их слабость, так часто давал понять, что они выводят меня из себя с их сотню раз принятыми решениями, которые они откладывали на потом! Они были бы счастливы, застав меня на месте преступления. Но я не доставляю им этого удовольствия. Поль все же отыгрался, рассказав под честное слово Мистлеру, который мне это и передал, что «я никогда не был столь агрессивным, как с тех пор, когда начал эту добровольную голодовку». Меня это забавляет и просвещает: я не отдавал себе в этом отчета. Однако, сравнив даты, прекрасно вижу, что эта нервная агрессивность просто-напросто связана со странным чувственным кризисом, в котором я оказался из-за В. И сам этот кризис случился раньше, чем я принял решение поменьше есть. Позавчерашний день, с этой чувственной точки зрения, был особенно тягостным. Вчерашний уже не так. Письма от нее не пришло, и в таком состоянии я предпочитаю тишину. Я не так остро чувствую, что она представляет собой сознание. Ее жизнь в Париже кажется мне нереальной. Письмо — это внезапный проблеск мелкого неверного и абсолютного сознания среди этого Парижа, о котором я так жалею. Когда я сравниваю то, что пишу сегодня, с написанным в воскресенье 26-го, то вижу, что я, должно быть, пережил кризис «тоски». Но так как из гордости я упорствовал в своем решении не сожалеть о прошлой жизни и не жаловаться на жизнь настоящую, это мелкое эфемерное отчаяние устремилось на единственный свободный путь, который могло найти: болезненное и ревнивое беспокойство в отношении В. Не то чтобы у меня не было — и до сих пор нет — *мотивов* для беспокойст-

ва. Но вне всякого сомнения я бы действовал по-другому в мирное время.¹

Во всяком случае, я, добровольный затворник и голодающий, позавчера читал одну книгу, которая восхитительно подходила к моему мрачному настроению и которая благодаря теперешним обстоятельствам раскрылась во всей силе: «Испанское завещание» Артура Кёстлера. Страстный интерес, который она пробудила во мне, достиг уровня и усилился от интереса, который некогда пробудил во мне «Верден» Ромена. Я ценю сейчас безжалостные книги, которые рассказывают о жестокости, нищете и смерти. Сейчас я хотел бы читать только такие книги. Уже того обстоятельства, что я погряз в этой войне, которая, однако, не очень страшна, но все же имеет какое-то неясное будущее со смертью и разрушением, достаточно, для того, чтобы оживить и наполнить реальностью эти мрачные повествования. В прошлом году я прочел бы их, естественно, с надлежащим возмущением, но мне показалось бы, что они не имеют ко мне никакого отношения, мое возмущение было бы «благородным». Война 14-го года канула в Лету, да и Испания — это вам не Франция. Мне думается, что большинство буржуа доброй воли, читая газеты или сходные свидетельства, не могут отказаться от своего рода цивилизованной защиты: во Франции такого не будет, Испания — это отсталая страна, или еще: на Балканах всегда резали друг друга и т. п. Француз всегда в большей или меньшей степени глядит на Францию как на некий Космос среди не знающей

¹ В письме к Бобру, написанном в этот же день, Сартр замечает: «После чего... я описал в дневнике свой чувственный кризис, который к настоящему моменту уже завершился. Досадно, что дневник будет ходить по рукам, что я вынужден немного хитрить. Я не могу сказать ни (отношения с В.): игра не стоит свеч, ни (отношения с Б.): кризис был несколько сильнее и это объяснялось тем, что начиная с сентября я немного поэтизировал Ванду, которая осторожно начала и т. п. Вывод: я лавирую, я не написал ничего, кроме правды, но не всю правду».

меры, бесформенной и жестокой вселенной. Вселенная волнуется, в ней бушуют невероятные страсти, но все это не затрагивает Космоса. Однако сегодня, когда мы, как бы то ни было, воюем, что по меньшей мере задействует и Космос, я открыт для этих мрачных книг, они соскабливают с меня этот тонкий слой идеалистического оптимизма, который еще оставался на мне. У меня такое впечатление, что они мне говорят о людях, как они есть. Француз — это почти всегда в той или иной степени такой тип человека, который ест говядину, но строго осудит всякого, кто предложил бы ему пройти на бойню, чтобы посмотреть, как убивают животных. Я приблизился к бойне. В первый день рассказ о взятии Малаги вызвал во мне такое чувство, в котором смешивались отвращение и зависть к этой ленивой и жестокой войне, которая по крайней мере проходила на солнце. На следующий день я был захвачен систематическим перечнем уловок, с помощью которых оказавшийся в смертельной опасности человек скрывает от себя опасность и борется со страхом, сохраняя в собственных глазах такой вид, будто стремится исключительно к тому, чтобы быть мужественным. Мне очень нравится это замечание о людях накануне падения Малаги: «У меня было неприятное впечатление, что от этого пахнет кино... что все мы, включая и меня, играем в патетической до наивности драме, не сознавая по-настоящему коварную реальность смерти». Я прекрасно понимаю, что за уловка кроется за этой патетической ирререализацией смерти. А потом, когда час «драмы» проходит, когда надо влачить существование с неотступной мыслью о смерти, каждый героический порыв в сущности является ловким приемом, который скрывает Бог знает до чего наивный способ побороть страх. В общем, чудесная подмога, которую мы никогда бы не приняли в ее наготе, на которую смотрим вполглаза, делая вид, что ничего не знаем. Все время эти уловки стоицизма и эта манера, когда тебя хватают за руку, причем благодаря тебе самому, причем в тот момент, когда счита-

ется, что ты стоишь как скала, с отчаянным мужеством. Во мне это находит множество откликов: разве не прибежал я к этой подмоге в самом начале войны, когда считал себя очень смелым? Откуда значимость этого замечания: «Я не думаю, что хотя бы один человек с тех пор, как стоит мир, умер в *сознании*. Когда Сократ в окружении своих учеников брал чашу с цикутой, он наверняка хотя бы наполовину был убежден в том, что играет комедию... Конечно, в теории он знал, что питье принесет смерть; но у него наверняка было такое чувство, что все будет совсем не так, как воображали себе скорбящие и серьезные ученики, что под всем этим крылась какая-то хитрость, о существовании которой подозревал только он один». И еще одно: «Природа позаботилась о том, чтобы деревья не выросли до неба. То же самое и с деревьями страдания». Но для меня речь идет не о природе — речь идет о нас самих, и мы полностью в ответе за эти хитрости. Впрочем, он признает, что у него было несколько часов подлинности: «Большинство из нас боялось не смерти, а лишь умирания, и были часы, когда нам даже удавалось преодолеть страх умирания. В эти часы мы были *свободны*... беззащитные люди, выведенные из ранга смертных; это был опыт самой абсолютной свободы, которую только может знать человек».

Также и это: «Постоянная близость смерти давила на *нашу жизнь* и вместе с тем облегчала ее. Мы были избавлены от всякой ответственности». Я уже говорил, что война могла служить оправданием: она облегчает, извиняет «здесь-бытие». Теперь я вижу, что и смерть тоже. Как трудно просто жить, без *всякого* оправдания.

В общем, этот чувственный кризис является просто-напросто вызванным внешними обстоятельствами разоблачением целого измерения моего мира и моего будущего и в то же время — разоблачением ужасающей *одновременности*, которая, к счастью, большую часть времени остается от нас скрытой. Мне думается, что

если ее, одновременность, проживать здесь во всех ее измерениях, то пришлось бы целыми днями кровоточить подобно сердцу Христову, однако слишком многое ее от нас скрывает. Например, письмам, которые я получаю, нужно три дня, чтобы до меня дойти, и тем, что я посылаю, тоже требуется три дня. Таким образом, я живу, плавая между прошлым и будущим. События, о которых я узнаю, уже давно произошли, и даже краткосрочные проекты, о которых мне сообщают, уже реализованы (или потерпели крах), когда я о них узнаю. Письма, которые я получаю, это обрывки настоящего, окруженные будущим, но речь идет о прошлом-настоящем, окруженном мертвым будущим. Да и сам я, когда пишу, разрываюсь между двумя временами: тем временем, в котором пребываю, когда вывожу строки для получателя письма, и тем, в котором окажется этот получатель, когда будет меня читать. Из-за чего это «окружение» становится не нереальным, а скорее вневременным. В силу чего оно притупляется, утрачивает свою вредоносность, а мое здешнее настоящее, мое нейтральное настоящее может обрести какие-то оттенки, я могу привязаться к определенным вещам, своему чтению, ранним утрам в «Розе» и т. д. Равно как и письма, которые я получаю, кажутся мне уже не беспокойными знаками существования других сознаний, а некоей удобной формой, которую обрели эти сознания, чтобы достичь меня. Когда я читаю письма, я держу эти сознания в плену, собираю вокруг себя, они не могут ускользнуть, уйти отражать другие небеса и другие лица, они чуть-чуть застывают, чуть-чуть уходят в прошлое. Но стоит одновременности разоблачиться, и письмо становится подобным удару кинжалом: для начала оно обнаруживает события непоправимые, ведь они уже в прошлом, кроме того, они выпускают самое главное, эту настоящую жизнь сознаний, которые обогнали во времени письма, сознания уже ушли от них и продолжают свои жизни по ту сторону этих мертвых посланий, как живые люди живут по ту сторону

могил. В такие мгновения я не знаю, что и сказать: мне кажется, что это я в прошлом, обессиленный, бездеятельный. Я не могу зацепиться за мое здешнее будущее, оно тонет. Откуда некое состояние нервозности, способное принять форму ревности.

Впрочем, я не жалею об этих нескольких мрачных днях. Это была полноценная жизнь; они принесли мне, помимо этой бесплодной и тягостной нервозности, «нежные страдания», о которых говорит Экзюпери, и поэтический вечер 27-го, они принесли мне также зловещие очевидности «Испанского завещания». Ясно, что все это лишило меня равновесия: я кинулся в развлечения. Но по крайней мере я предавался этим развлечениям; по крайней мере два раза я был другим человеком.

Мадам Магделен, пишет мне мама, шьет золотые галуны для риз фронтовых священников. «И поскольку на всем приходится экономить, армия работниц реквизирует все — расшитые одеяния префектов, академиков, бальные платья, старинные ткани».

Аджюдана милостиво приютила одна молодая женщина (муж которой — немец и в настоящее время находится в концентрационном лагере). Но он страдает и «никогда ей не простит, потому что она называет своего мальчишку Вилли, как боши».

Подтверждается, что в районе Виссембурга все было разграблено французскими солдатами.

В шесть часов аджудан возвращается и сообщает нам, что Россия напала на Финляндию. Плохо дело.

Пятница, 1-е декабря

Слух уточняется: Петер болтал вчера вечером со своей хозяйкой. «Я знаю одного, — говорит она, — я

даже могла бы назвать его имя, он охранник в Страсбурге и как раз сторожит дома эвакуированных. Так вот, каждую неделю он возвращается с тюками, набитыми бельем и одеждой».

Наша хозяйка сказала ей, что после нашего отъезда она согласится принять на постой только офицеров, поскольку с теми хоть можно поговорить.

Петер говорит мне: «Мы как раз говорили о тебе с Полем вчера вечером. Будь осторожен, старина, ведь ты работаешь по шестнадцать часов в день! Как тебе не раздражаться?» Сначала мне это польстило, но, подумав, я понял, что работаю максимум тринадцать часов, поскольку усаживаюсь за стол лишь в 8 часов, а уйду из школы в 9 часов вечера. Надо вычесть два часа на еду (с 11 до 13). Я конечно же пишу в дневнике в это время, но намного меньше. Кроме того, Петер называет работой и те моменты, когда я читаю романы или отвечаю на письма. То есть на самом деле я насчитываю самое большее 8—9 часов эффективной работы. Тем не менее я действительно провожу за чтением и письмом часов десять-одиннадцать в день. Этим и объясняется, что у меня устают глаза.

Вчера поразился, снова листая дневник Жида, его религиозному аспекту. Прежде всего, речь идет о самоанализе протестантского сознания, а уж затем это книга размышлений и молитв. Ничего общего с опытами Монтеня, дневником Гонкуров* или Ренара. По сути, это борьба против греха. И само ведение дневника часто выступает как одно из смиренных средств, как одна из смиренных хитростей, которые позволяют бороться против Демона.

Пример: «Я никогда не был скромнее, чем в те минуты, когда *принуждал* себя ежедневно заполнять в этом дневнике страницы, ничтожность которых я понимаю и чувствую со всей прозорливостью... Я с отча-

янием цепляюсь за этот дневник; он составляет часть моего терпения; он помогает мне не погрязнуть» (1916, 7 февраля). И (16 сентября 1916): «Мне этого не достичь без постоянного усилия, без ежечасного и постоянно обновляемого усилия. Мне этого не достичь без хитрости и без скрупулезности.

Ничего не достичь, если я собираюсь записывать здесь лишь что-то важное. Я должен решиться писать в этом дневнике обо всем. Я должен заставить себя писать абы что».

Дневник — это трудное дело, каждодневный и смиренный труд, со смирением его и перечитываешь. Естественно, в нем есть только это и не может быть ничего другого. Прежде всего из-за личности Жида, его писательского ремесла, а потом по причине диалектического характера дневника, который вменяет себе и реализует писатель. Но остов остается религиозным. Откуда суровость этого дневника и временами его *сакральный* характер. В то же самое время это дневник *классика*, то есть он ведет книгу *повторных прочтений* и размышлений по поводу этих прочтений. На что следует списать и строгость многих заметок. Не может быть и речи, чтобы дневник был отражением жизни. Это своего рода религиозное и классическое дароприношение, счетоводная книга морали: страница — на кредит, страница — на дебит. И почти каждая заметка является не столько верным описанием какого-нибудь поступка или чувства, сколько собственно поступком. *Деянием* молитвы, *деянием* исповеди, *деянием* размышления. Исходя из чего я возвращаюсь к собственному дневнику и вижу, как он отличен от дневников Жида. Мой дневник — это дневник свидетеля. Чем дальше я продвигаюсь, тем вернее смотрю на него как на свидетельство: свидетельство буржуа 1939 года, призванного в армию, свидетельство о войне, в которой его заставляют принимать участие. Я тоже пишу абы что в своем дневнике, но делаю это с ощущением, что историческое значение моего свидетельства служит этому оправ-

данием. Договоримся: я не отношусь к сильным мира сего и не вижу сильных мира сего, то есть мой дневник не может иметь такого значения, какое могли бы иметь дневники Жироду¹ или Шамсона.² С другой стороны, я не нахожусь в каком-то привилегированном положении, например на линии Мажино или наоборот, в тылу, во 2-м отделе или среди цензоров. Я в штабе артиллерийской дивизии, в двадцати километрах от фронта, в окружении мелких и средних буржуа. Но как раз из-за этого мой дневник и является свидетельством, которое представляет ценность для миллионов людей. Это ничтожное свидетельство и тем самым свидетельство всеобщее. И здесь, как сказал бы Жид, возникает другая уловка Дьявола: мне придает смелости сама ничтожность моего положения, я не боюсь ошибиться и смело говорю об этой войне, потому что даже мои ошибки будут иметь историческое значение. Если я ошибаюсь, считая эту войну мошенничеством, эта ошибка объясняется не только моей глупостью, она характерна для какого-то момента этой войны. Другие люди, более или менее умные, чем я, более или менее осведомленные, были тоже удивлены, тоже реагировали, как и я, не описывая это или прибегая к другим словам. Мне большего и не надо, чтобы быть убежденным в том, что то, что я пишу, интересно — даже признания в собственной угрюмости, ведь речь идет об угрюмости, о зеленой тоске 1939 года — даже это «абы что», за которое Жид извиняется и которое он заставляет себя писать. Вот почему я стану писать абы что, не испытывая никакой униженности. Имея слишком ясную голову, для того чтобы придавать значение всему, что я пишу (сплетни, пересуды, политические

¹ Французский писатель Жан Жироду с 29 июля 1939 г. исполнял обязанности главного комиссара министерства информации и отвечал среди прочего за цензуру.

² Французский романист Андре Шамсон служил при штабе Пятой армии.

прогнозы, слухи), я все равно прихожу — по окольным путям Истории — к тому, чтобы придавать это значение всем моим записям без исключения. Я использую историческую *относительность*, для того чтобы придать моим записям абсолютный характер. Преимущество этой уловки — ибо в ней есть все-таки это преимущество — в том, что она дает мне смысл моей историчности, которого я в общем никогда не имел. Дает мне его ежедневно, в самых моих ничтожных делах, тогда как прежде я достигал его — в сентябре месяце — лишь в самом возвышенном, чего надо всегда избегать. Но, стало быть, этот дневник лишен всякой униженности, кроме того, как я уже где-то отмечал, лишен всякой интимности. Это языческий и горделивый дневник. С другой точки зрения и совершенно в ином духе, этот дневник является опытом самосомнения. И в этом плане его можно было бы сблизить с исповедями Жида. Но эта близость кажущаяся. В самом деле, ставя себя под вопрос, я избегаю стенаний и униженности — делаю это с холодной головой и для саморазвития. Ничего из того, что я пишу, не является поступком, в том смысле, в каком я говорил о поступках Жида. Это регистрация, и когда я пишу, у меня такое впечатление — обманчивое — что я оставляю позади то, что я пишу. Мне за это не стыдно, и я этим не горжусь. Почти всегда имеется зазор между тем моментом, когда я что-то почувствовал и когда я пишу. То есть, по существу, это чистовая запись. За исключением, быть может, некоторых случаев, когда чувство в едином порыве надиктовало письмо. Когда я пишу, я пытаюсь образовать твердую, сложившуюся базу, от которой я отправляюсь. В общем, у первобытных людей имеются определенные церемонии, призванные помочь живым умирать, помочь душе покинуть тело. Мои «исповедальные» заметки имеют ту же самую цель: помочь моему настоящему бытию уйти в прошлое, загнать его туда, если надо. Тут есть, конечно, доля иллюзии, ведь чтобы изменить какую-то психоло-

гическую константу, недостаточно ее разоблачить. Однако это разоблачение хотя бы вырисовывает линии возможного изменения.

Все эти замечания естественно приводили меня к тому, чтобы сопоставить моральное становление Жида с моим моральным становлением. Что я и сделал. Сегодня, во второй половине дня, и в ближайшие дни я попытаюсь описать, что же представляли собой мои моральные опыты начиная с восемнадцати лет, и я попробую обнаружить некоторые моральные константы, которые я открыл и которые можно было бы назвать моими моральными «аффекциями». В самом деле, мне думается, что каждый человек определяет себе некий моральный аффект, исходя из которого он воспринимает ценности и мыслит свое развитие. Например, очевидно, что с самого начала у меня была мораль без Бога — без греха, но не без Зла. Я к этому еще вернусь.

Я потерял веру в двенадцать лет. Но мне думается, что я никогда сильно и не верил. Мой дед был протестантом, бабушка — католичкой.¹ Но их религиозные чувства, насколько я мог видеть, были благопристойными и холодными. В моем деде было заложено принципиальное уважение к религиозному, как великому феномену культуры, это уважение соединялось с презрением «безбожника» в отношении к священникам. Мне кажется, что за столом он позволял себе антицерковные шутки, и бабушка шлепала его по рукам со словами: «Молчи, папа». Моя мать настояла, чтобы я принял первое причастие, но это было сделано, как мне кажется, скорее из уважения к моей будущей свободе, нежели из истинной убежденности. Как некоторые люди из соображений гигиены делают своим детям об-

¹ Речь идет о родителях матери, *Швейцерах*. Сартру было всего пятнадцать месяцев, когда умер его отец *Жан-Батист Сартр* (сентябрь 1906 г.), и он жил в семье матери вплоть до ее второго брака (апрель 1917 г.).

резание. У нее не религия, а скорее расплывчатая религиозность, которая ее немного утешает, когда это требуется, и которая все остальное время оставляет ее в полном покое. У меня почти нет религиозных воспоминаний, тем не менее я вижу себя на улице Ле Гофф, мне лет семь или восемь, и я поджигаю спичкой тюлевые занавески, и это воспоминание, не знаю почему, связано с Боженькой. Может быть потому, что этот поджог проходил без свидетелей, а я тем не менее думал: Боженька видит меня. Помню также, что я описывал жизнь Христа на уроке катехизиса отца Дибильдо (это было в здании школы Боссюз) и что я получил медаль из серебристой бумаги. Я до сих пор переполняюсь восхищением и радостью, когда думаю об этом рассказе и об этой медали, но в этом нет ничего религиозного. Дело в том, что моя мать переписала своим красивым почерком мое сочинение, и мне кажется, что ощущение, которое я испытал при виде моей переписанной прозы, было в общем и целом сравнимо с тем восхищением, которое я пережил, когда меня в первый раз напечатали. Кроме того, серебряную медаль, которая была красивого светло-серого цвета и переливалась, следовало приклеить на первую страницу моей работы, и все это представляло собой замечательную и драгоценную игрушку. Сверх того, аббат, проверявший мою работу, был симпатичным, рыжим и бледным, очень молодым, у него были красивые руки.¹ Как я ни ищу, ничего другого я в себе не нахожу. Да нет. Меня еще часто водили в церковь, но — и это, как мне снова думается, достаточно характеризует тот род буржуазии, к которому я принадлежал — главным образом для того, чтобы послушать прекрасную музыку, орган в Сен-Сюльпис или в Нотр-Дам. Я прекрасно понимаю, какое чувство высокой духовности вызывало в моей матери и в моей бабушке это соединение самых чистых

¹ В «Словах» этот эпизод заканчивается на плохой ноте: сочинение получило лишь серебряную медаль

форм искусства с самыми возвышенными формами веры. Я также прекрасно вижу, что в души этих профессорских жен и дочерей религия получала доступ лишь тогда, когда была украшена очарованием музыки. Мне думается, они не очень хорошо понимали, что их потрясает — музыка, оттого что она религиозна, или религия, оттого что она гармонична. И их уважение к религии смешивалось с их университетским культом духовных ценностей. Что касается меня, я ничего не понимал в этой музыке, в этих завывающих ветрилах, которые вдруг заполняли церковь. Но тем не менее для меня эти мессы были связаны с идеей добродетели. Поскольку мне было очень скучно, моей матери удавалось провести меня, объясняя, что *по-настоящему* послушный маленький мальчик должен вести себя на мессе как паинька. То есть, не прилагая больших усилий, я добивался в себе этого совершенного послушания на тот час, что длилась служба, чтобы иметь возможность спросить потом у матери, будучи совершенно уверенным в ответе: «Я был послушным, мама?» Стараясь избежать малейшего поскрипывания стула, я даже ногой боялся пошевелить. Но мне не нравилось опускаться на колени, потому что у меня на коленках, сам не знаю откуда, есть две болезненные шишки. Вот и все. Не густо. Бог существовал, но мне не было до него никакого дела. А потом как-то раз в Ла Рошели, когда я дожидался барышень Мачадо, которые по утрам шли вместе со мной в лицей, из-за их опоздания я потерял всякое терпение и решил подумать о Боге, чтобы убить время. «Так вот! — сказал я себе, — Он не существует». Это была доподлинная очевидность, хотя я уже точно не знаю, на чем она основывалась. Потом все кончилось, я больше никогда об этом не думал, этот мертвый Бог занимал меня не больше, чем когда он был живым. Мне думается, что трудно найти натуру менее религиозную, чем моя. В двенадцать лет я решил этот вопрос раз и навсегда. Много позже я анализировал доказательства бытия Божьего, приводимые религией,

и аргументы атеистов. Мне нравилось говорить, что возражения Канта не затронули онтологического доказательства Декарта, но все это казалось мне не более живым, чем спор Древних и Новых. Мне кажется, что я должен все это рассказать, потому что, как я уже говорил, я затронут морализмом, а морализм зачастую берет начало в религии. Но со мной ничего такого не было. Впрочем, меня вырастили и воспитали в общем и целом родственники и учителя, большинство из которых были чемпионами светской морали и пытались заменить ею мораль религиозную.

Прерываюсь, чтобы записать прелестный анекдот о Келлере. В форте Сен-Сир, в 21-м, ему сделали укол от брюшного тифа и дали три порошка хинина на тот случай, если в ближайшие два дня у него поднимется температура: «От укола у меня ничего не было, — говорит Келлер самодовольно, — но я все-таки принял три порошка, чтобы они зря не пропадали».

Записываю здесь кое-что, что говорит в пользу Петера и что я уже давно хотел записать: он получил лишь самое общее образование и знает об этом. Вот почему он пользуется вынужденным бездельем, чтобы часа три или четыре в день заниматься алгеброй, делая это без особого удовольствия, но упорно. Мы с Мистлером зовем его Ангелом или Херувимом. Это и в самом деле ангел, есть в его плутнях какая-то невинность, которая очаровывает меня. И потом, он свободен от всяческих комплексов и ничего, кроме счастья, от жизни не требует. И он счастлив, даже здесь. Кроме того, его нежное отношение к самому себе делает его похожим на серафима, который трется щекой о крылья. Эти часы, отведенные на алгебру, представляют собой отказ терять время войны, отказ распускаться, желание использовать эту праздность; единственно возможный для нас отказ. Когда после него я смотрю на Келлера, который обжирается, потому что еда дармовая, на

Поля, эту загнанную крысу, и на всех других, я испытываю к нему уважение.

Не думаю, что слишком обобщаю, говоря, что моральная проблема, которая до сих пор меня занимала, является в итоге проблемой отношений искусства и жизни. Я хотел писать, в этом сомнения не было, в этом никогда не было сомнения; только рядом с этими чисто литературными трудами существовало «остальное», то есть все: любовь, дружба, политика, отношения с самим собой, что там еще? Что бы мы ни делали, мы были брошены в гущу этих проблем. А что делать? Думаю остаться верным истине, различая три периода, с этой точки зрения, в моей юношеской и зрелой жизни. Первый — от 1921 до 1929 года, это период оптимизма, это время, когда я был «тысячей Сократов». Тогда я с легким сердцем думаю, что жизнь всегда проиграна, и строю метафизическую мораль произведения искусства. Но в глубине души я вовсе не убежден; правда заключается в том, что я убедил себя в следующем: достаточно посвятить себя писательству, и жизнь сама сложится. И жизнь, которая должна сложиться, уже предначертана у меня в голове: это жизнь великого писателя, как она обнаруживает себя в его книгах. Где-то в глубине существует магическое верование: чтобы иметь жизнь великого писателя, достаточно быть великим писателем. Но есть только один способ быть великим писателем: заниматься исключительно писательством. Таким образом, судьба предоставит мне эту патетическую и насыщенную жизнь с соблазнительными очертаниями, жизнь Листа, Вагнера, Стендаля, если только я буду писать хорошие книги. Этот оптимизм я унаследовал конечно же из детства и, кроме того, из аристотелевского мышления (концептуального и сопричастного); у великого писателя жизнь великого писателя, то есть все свои усилия я должен был направить на то, чтобы стать великим писателем. Остальное получится само собой. Если бы сейчас меня спросили, а

чего тогда я хотел больше — написать великую книгу или иметь жизнь великого человека, я бы затруднился ответить. Мне кажется, я вождедел этой расчудесной жизни, которую, однако, я хотел *заслужить* хорошими книгами. Не моралью, а тем, чтобы она была именно моя. Что же до содержания этой жизни, его легко себе вообразить: там было и одиночество, и отчаяние, страсти, великие начинания, длинный период болезненного мрака (но в своих грезах я его незаметно укорачивал, чтобы не быть слишком старым, когда он подойдет к концу), а затем — слава в сопровождении любви и восхищения. К своему стыду должен признаться, что роман «Жан Кристоф»,* это отвратительное слабительное средство, в двадцать заставил меня пролить не одну слезу. Я понимал, что это никуда не годилось, что передо мной отвратительный образец искусства, что это история о художнике, написанная университетским филистером, и все же... Там был такой прием — поднять к концу главы палец со словами: Увидите! Увидите! Этот маленький Кристоф, он страдает, заблуждается, но его страдания и его заблуждения станут музыкой, и музыка искупит все — что заставляло меня скрипеть зубами от раздражения и вождеделения. В общем, мне хотелось бы быть уверенным в том, что позже я стану великим человеком, это позволило бы мне прожить свою молодость так, будто это была молодость великого человека. Не имея такой уверенности, я действовал так, будто я должен им стать, и я признавал себя молодым Сартром, как говорят о молодом Берлиозе или молодом Гёте. Время от времени я совершал экскурсии в будущее только ради того удовольствия, чтобы вернуться оттуда к моему молодому настоящему и покачать головой, как я сделал бы это тогда, говоря себе: «Никак не думал, что эта мука настолько пойдет мне на пользу и т. п.», я обращался, уже в старости, к моей молодости и смотрел на нее с полным уважением и умилением. Эти искусственные раздвоения оставили свои следы в моем толстом дневнике,

который я потерял, где между какими-нибудь сухими философскими записями я распекал Симону Жоливе,¹ выкрикивая что-то в духе: «Ты заставляешь меня страдать, но хорошо смеется тот, кто смеется последним, ведь я великий человек». В этом случае я, в общем, развлекался тем, что относился к своим любовным горестям с сокрушенным вниманием какого-нибудь ученого будущего, вроде того как Косцюль говорил о муках Шелли² или Ловриер о страданиях По.³ Но мне думается, что самым главным были крайне юношеская вера в будущее и эта буржуазная решимость, которая кроит правдоподобие, как ей вздумается, и никогда не доводит его до ужасов, до катастроф. Кроме того, я был готов ко всему: все было возможным, ведь я ничего собой не представлял. Ценой этой нерушимой веры в свою звезду было то, что я мог спокойно говорить, что жизнь — это заранее проигранная партия, и с воодушевлением размышлять над этим выражением Амьеля, который говорил о Моисее: «Подобно ему каждый человек имеет свою обетованную землю, свой день славы и кончину в изгнании».⁴ Кончина в изгнании, я охотно ее принимал, до нее было далеко, кроме того эта пессимистическая нотка позволяла мне принять и мой день славы, не отказываясь от собственной точки зрения. Черт возьми, жизнь была пропащей, поскольку она всегда кончалась провалом. Только вот был день славы. Конечно же достойный презрения, поскольку он все равно кончался провалом. Но тем не мене он был, подобно невидимому солнцу, он грел мне сердце.

¹ Первая любовь Сартра, связь с ней относится к 1926—1928 гг. С. де Бовуар в своих воспоминаниях называет ее Камиллой.

² Имеется в виду книга А. Косцюля «Детство Шелли» (Париж, 1910).

³ Подразумевается книга Э. Ловриера «Эдгар По, его жизнь и его творчество. Психопатологический этюд» (Париж, 1904).

⁴ Точнее: «У кого из нас нет своей обетованной земли, дня торжества и кончины в изгнании». Цит. по: *Amiel Henri-Frédéric. Fragments d'un journal intime* (Lancy, 28 april 1852).

Именно эти уловки, этот пессимизм, за которым скрывался и маскировался мой сокровенный оптимизм, и позволили мне пережить более мрачный и более отчаянный период жизни, притом что принципы мои с виду не поменялись. Я оставался в убеждении, что жизнь являлась проигранной партией, только на этот раз я верил в это. И я верил в это, потому что испытывал потребность в это верить. Во всем этом была та же ложь. Вот почему: я всегда считал, что великий человек должен хранить свою свободу. Под этим имелась в виду не бергсонианская свобода сердца, ни тем более та свобода, которую я теперь открыл в себе и которая является не шуткой, но своего рода карикатурой на гегельянскую свободу: сохранять свою свободу, чтобы реализовать в себе и через себя конкретную идею великого человека. Все время был риск натолкнуться на какие-то препятствия, попасть в какие-то ловушки, но следовало безжалостно продолжать свой путь. Много писалось об этой свободе великого человека — свободный-для-своей-судьбы, которая, естественно, приобретает облик рока для тех, кого он встречает на своем пути. Вспоминаю об одной довольно глупой пьесе — «Молох»,¹ в которой эта тема развивается. Короче говоря, голова моя была забита этим, и, что естественно в таком возрасте, в основном я собирался утверждать эту свободу в отношении женщин. Это было тем более комично, что они совсем не собирались бегать за мной, что это я, скорее, за ними бежал. Таким образом, после того как ценой невероятных усилий мне удалось провести одну юную особу, я счел, что обязан объяснить ей с дикой невинностью, что она должна поостеречься посягать на мою свободу. Но

¹ Насколько нам известно, существует две пьесы с таким названием. Первая — это незаконченная драма *Фридриха Геббеля* (1813—1863), вторая — четырехактная пьеса *Буссака де Сен-Марка*, премьера которой состоялась в «Комеди Франсез» 21 декабря 1928 г., затем пьеса была опубликована (1929). В последней пьесе главным героем выступает гениальный музыкант, который приносит несчастья своей семье.

очень скоро, так как от природы я был добр, я принес ей в дар эту драгоценную свободу; я говорил ей: это самый большой подарок, который я только могу вам сделать. В наших отношениях ничего не изменилось, но если эта особа оставалась еще немного наивной, она прониклась благодарностью, если же она была себе на уме, то притворялась такой. Впрочем, к счастью для меня, вовремя возникли независимые от моей воли обстоятельства, которые, немного меня потрепав, вернули мне эту дорогую свободу, которую я сразу же поспешил отдать другой молодой особе. Один раз я попался. Бобр приняла эту свободу и сохранила ее. Это было в 1929-м. Я был достаточно глуп, чтобы огорчиться этим: вместо того чтобы понять, как необычайно мне повезло, я погряз в некоей меланхолии. В то же самое время я покинул стены Эколь Нормаль и эту аморфную и жестокую среду товарищества, стал жить один. Кроме того, военная служба подтолкнула меня к этой превеликой скромности, которую, впрочем, я с радостью оставил. Но эта скромность окончательно соскребла с меня последние крохи сверхчеловечности, которые я еще сохранял. К тому же я стал преподавателем. Выше я уже говорил, что это был жестокий удар. Дело в том, что я вдруг стал одним-единственным Сократом. До этого времени я готовился жить: каждое мгновение, каждое событие затрагивало меня, но я от этого не старел, все время речь шла о репетиции перед началом представления. А потом вдруг я уже играю пьесу, все, что я делал с тех пор, делалось *вместе с моей жизнью*, я больше не мог что-то переиграть, все вписывалось в тесные рамки этого существования. Каждое событие извне вторгалось в мою жизнь и потом вдруг становилось моей жизнью, моя жизнь делалась из этого. Я был как тот китаец, о котором говорит Мальро в «Завоевателях», я поздно открыл для себя, что жизнь у человека одна. Впрочем, помню, что, читая эту фразу в «Завоевателях», я был поражен ее милым остроумием, однако не почувствовал ее истины (это было в 1930-м). Эту

истину, я ее по-настоящему почувствовал только в последующие годы — в 31, в 32, в 33-м. Я смутно чувствовал, что нельзя было занимать какую-то точку зрения в отношении своей собственной жизни в тот самый момент, когда ты ею живешь, она настигает вас, и вы оказываетесь внутри ее. И тем не менее, если обернуться назад, можно констатировать, что ты в ответе за то, что прожил и что ничего уже не вернешь. Я чувствовал, что глубоко увяз на пути, который вел вперед, все время сужаясь, я чувствовал, что с каждым шагом теряю одну из своих возможностей, как теряешь волосы на голове. Волосы, кстати, я их тоже начал терять — это уже прошло или продолжается в более медленном темпе. Когда я это заметил или, точнее, когда это заметила Бобр — в Бозульской впадине — заметила это, вскрикнув, — для меня это стало символическим бедствием. Я оставался почти что невосприимчивым к идее смерти. Наоборот, в это время я вкусил всю трагичность и всю непоправимость того, что несло в себе старение. И в течение долгого времени я массировал себе голову перед зеркалом, полысение стало для меня ощутимым знаком старения. Короче говоря, я как нельзя хуже перенес переход к зрелости. В тридцать два года я чувствовал себя старым, как мир. Как она была далека эта, жизнь великого человека, которую я себе наобещал. Вдобавок ко всему я был не очень доволен тем, что писал, и потом мне очень хотелось, чтобы меня печатали. Я понимаю сегодня все свое разочарование, когда вспоминаю, что в двадцать два года выписал в дневник эту фразу Топфера, которая заставила колотиться мое сердце: «Тот, кто не стал знаменитым в двадцать восемь, должен навсегда отказаться от славы».¹ Фраза, разумеется, совершенно абсурдная, но она погрузила меня в транс. Ведь в двадцать восемь я был

¹ Швейцарский писатель и рисовальщик (1799—1846), автор, в частности, «Размышлений и мелких наблюдений одного женеваского художника» (Париж, 1848).

никому не известен, не написал ничего хорошего, и мне следовало сильно потрудиться, если я хотел написать когда-нибудь что-то такое, что стоило читать. Один год я провел в Берлине,¹ там ко мне вернулась эта юношеская безответственность, а по возвращении я снова увяз в Гавре, в своей преподавательской жизни, причем, может быть, еще и глубже. Помню, что в ноябре того года мы с Бобром в Гавре сидели в кафе под названием «Чайки», у моря, и жаловались, что в нашей жизни уже не произойдет ничего нового. Наши дружеские привязанности уже определились: Гиль, мадам Морель, Пупетта, Жеже; мы устали от нашего интеллигентского самокопания, устали от того, что называли тогда «построенным». Ведь наши отношения были «построены» — на основе совершенной искренности, всецелой взаимной преданности; свои прихоти, и все, что в нас было беспокойного, мы приносили в жертву этой постоянной и управляемой любви, которую мы построили. В сущности, мы тосковали по беспорядочной жизни, по волнительному и властному желанию отдаться сиюминутному, по своего рода темноте, контрастировавшей с нашим ясным рационализмом, по той погруженности в самих себя, когда ты что-то чувствуешь, но не знаешь в точности что. По ту сторону нашего мелкобуржуазного рационализма мы предоцущали что-то экзистенциальное и доподлинное. Испытывали потребность в безмерности, так как слишком долго все отмеряли. Все это закончилось странным мрачным настроением, обернувшимся к марту того года настоящим сумасшествием — и моей встречей с Ольгой, которая представляла собой то, чего нам так хоте-

¹ Сартр пробыл там 1933/1934 учебный год. «Арон убедил (Сартра), что феноменология в точности соответствовала его философским задачам: преодолеть оппозицию идеализма и реализма... Сартр решил серьезно заняться Гуссерлем и по совету Арона предпринял необходимые шаги, чтобы сменить в следующем году своего товарища во Французском институте в Берлине» (*Beauvoir S. de. La Force de l'âge. Paris, 1960*).

лось, и которая показала нам это. Итак, одна-единственная жизнь, а мне предлагалось это вязкое и незадавшееся существование — такое далекое, такое далекое от пресловутой «жизни великого человека», о которой я грезил. Тогда началась медленная, кропотливая, муравьиная работа, посредством которой я попытался убедить себя в том, что *всякая* жизнь была заранее потеряна. Для меня это было тем легче, что я всегда так *говорил* (правда, не веря в это). Естественно, аргументов хватало. А если бы потребовалось, я бы мог их придумать: для меня было бы слишком страшно представить, что эта жизнь знаменитого человека была *возможна*, что ее прожили другие люди, в другие времена, в других местах, и что у *меня* ее не будет. Отныне для меня писатель оценивался по его произведениям — объективно, — а его жизнь ничем не отличалась от жизни самых ничтожных людей. Расин был мелким буржуа эпохи Людовика XIV. Но этот мелкий буржуа написал «Федру». Невозможно было уравнивать произведения с жизнью, они ускользали от жизни, развертывались вне ее и оставались вонне навсегда; тому, кто их создал, они принадлежали не больше, чем читателям. Может, даже меньше. Исходя из этого я с ожесточением принялся писать. Единственная цель абсурдного существования заключалась в том, чтобы без конца порождать произведения искусства, которые сразу же от него отделялись: это было единственное его оправдание; впрочем, оправдание несовершенное, ему не удавалось спасти этих длинных слизняков времени, которых приходилось глотать одного за другим. Это и на самом деле была мораль спасения через искусство. Что до самой жизни, ее следовало проживать в духе *иди-так-как-я-тебя-веду*, как попало. Я так успешно проживал ее «как попало», что все больше коснел; у меня появились привычки старого холостяка.

Я опустил ниже некуда в период моего сумасшествия и моей страсти к Ольге: два года. С марта 1935-го до марта 1937-го. Тем не менее эти невзгоды пошли мне

на пользу. Безумие раздвинуло границы правдоподобного: с этого времени я оставил свой мелкобуржуазный оптимизм, я понял, что со мной, равно как и с любым человеком, может произойти все. Я вступил в более темный, но менее пресный мир. Что же касается Ольги, то страсть к ней сожгла мои рутинные пороки, как газовая горелка Бюнзена.* Я стал тощим, как спичка, и совсем потерял голову; прощай спокойная жизнь. К тому же мы с Бобром пережили смятение этого голого и мгновенного сознания, которое, казалось, лишь чувствовало — с неистовостью и чистотой. Я поставил ее так высоко, что в первый раз в своей жизни почувствовал себя униженным и безоружным перед лицом другого человека — человека, которого я желал постичь.¹ Все это пошло мне на пользу. Примерно в то же время и как раз из-за этой страсти я начал сомневаться в спасении через искусство. Искусство казалось тщетным перед лицом этой жестокой, неистовой и нагой чистоты. Один разговор, в котором Бобр продемонстрировала мне мерзопакость моего положения, окончательно отворотил меня от этой морали.

И как раз к этому времени, когда я опустился ниже некуда — до той степени ничтожности, что неоднократно с безразличием подумывал о смерти, чувствуя себя старым, падшим, конченным, убежденным человеком вследствие одного недоразумения, а именно — «Тошнота» была отклонена «НРФ», все вдруг стало мне улыбаться: моя книга была принята, «Стена» появилась в июньском номере «НРФ», я познакомился с Вандой, получил место преподавателя в Париже. Я вдруг почувствовал, что меня переполняет необычайная и сокровенная молодость, я был счастлив, находил, что жизнь

¹ Любовь к Ольге постоянно дает о себе знать в дневниках. Сартр пытается «нейтрализовать» это место в письме к Бобру, написанным в тот же день: «Итак, любовь моя, я подумал, что это перед вами, драгоценная вы моя, я должен был бы чувствовать себя униженным в то время...».

моя прекрасна. Не то чтобы в ней было что-нибудь от «жизни великого человека», но это была моя жизнь. Я объяснюсь в этом пункте в другой раз. Жизнь обошла искусство, но медленно, неуверенно. Теперь я думаю, что нельзя потерять собственную жизнь, я думаю, что с жизнью ничто не может сравниться. Но тем не менее я не отказался от своих идей; мне известно, что жизнь является вязкой и тягучей, не знающей оправдания и случайной. Но это не имеет значения, мне известно также, что со мной все может произойти, но это произойдет именно со мной; всякое событие — это мое событие. Не хочу об этом распространяться. Это разделение на три периода является предварительным. Мне захотелось поместить колебания моей морали в аффективную атмосферу. Все, что я только что написал, представляет в общем не что иное, как описание *движущих сил*. Завтра я буду говорить о мотивах.

Суббота, 2-е декабря

Вчера мне хотелось обозначить аффективную атмосферу, в которой сформировалась для меня моральная проблема. Я вижу, что она в некотором смысле уже была решена. Уже из-за того, что я всегда думал о том, чтобы создать «творение», то есть ряд произведений, соединенных между собой общими темами и отражающих мою личность, будущее всегда находилось передо мной. Что бы мне ни случилось думать в различное время о моей жизни, то приукрашивая ее в будущем романическими цветами, то представляя ее в черном свете, я все равно с самого раннего детства имел некую жизнь. Имею и сейчас. Жизнь, то есть канву, которую предстоит заполнить — уже — целой кучей наметок, по которым затем предстоит вышивать. Жизнь, то есть некое целое, которое существует еще до частей и которое через эти части реализуется. Какое-нибудь мгновение не казалось мне чем-то вроде расплывчатой еди-

ницы, присоединяющейся к другим единицам того же рода, то был момент, вырисовывавшийся *на фоне жизни*. Жизнь была композицией в форме розы, где конец смыкался с началом: зрелость и старость задавали смысл детству и отрочеству. В каком-то смысле я смотрел на каждый настоящий момент своей жизни с точки зрения уже завершившейся жизни, чтобы быть точным, следовало бы сказать: с точки зрения биографии, — и я смотрел на себя так, будто мне нужно было передать этот момент в моей биографии, я чувствовал, что его полный смысл можно расшифровать не иначе, как переместившись в будущее, и я всегда набрасывал перед собой некое расплывчатое будущее, которое могло бы мне позволить придать моему настоящему все его значение. Естественно, вся эта «жизнь» проецировалась передо мной не тематическим образом, это был предмет того, что Хайдеггер называет «предонтологическим пониманием». По крайней мере, большую часть времени, ведь мне случалось *воображать* моменты моего будущего существования. Такой способ жизни, при котором я, с самого детства и без возможности как-то это обдумать, оказывался втянутым в «великую жизнь», как другие в католическую или коммунистическую веру, всегда накладывал для меня запрет на эти тревоги и кризисы сознания, в которых, как я мог наблюдать, погрязало столько моих товарищей. Я был застрахован, я слепо верил. Я настаиваю на том обстоятельстве, что эта «жизнь» не имела ничего общего с распространенным и биологическим понятием жизни, в котором причудливо перепутаны идеи сознания, *пережитого*, судьбы. Моя жизнь была начинанием. Но начинанием, которому благоприятствовали боги. Я рисковал лишь тем, что из-за легкомыслия, страсти, лени, мог от нее отвернуться, задержаться в том или ином ее моменте, предавшись каким-нибудь губительным утехам. Если бы я упустил свою жизнь, то только по своей вине. Однако моя усидчивость, моя забота о том, чтобы сохранить свою свободу и мое рве-

ние, давали мне бесспорное право осуществить свою жизнь. В общем, моя жизнь напоминала карьеру: блестящий молодой человек поступает в банк, у него есть могущественные покровители, карьера ему обеспечена. От него требуется лишь прилежание — и чтобы он во всех своих поступках доказывал, что он ее достоин. Все это я никогда не ставил под вопрос, и даже в течение тех мрачных лет крушение моей молодости прошло по низу, тогда как фасад остался целым и невредимым, вся жизнь была потеряна, но я все равно оставался человеком, у которого была жизнь. Тогда я имел обыкновение говорить: «Я добился всего, чего хотел, но ни разу так, как мне этого хотелось». Тем самым я давал понять, что моя жизнь удалась настолько, насколько только может удаваться жизнь вообще, но это была такая малость — удавшаяся жизнь. И это почти правда, что я получил все, к чему стремилось мое наивное воображение. Правда и то, что всякий раз я испытывал разочарование. Дело в том, что мне очень хотелось, чтобы каждое событие моей жизни происходило так, будто оно происходит в биографии, то есть когда уже известен конец истории. Именно это разочарование я и выразил в «Тошноте», говоря о приключении. Короче говоря, меня всегда мучила идея жизни. Просто-напросто в Эколь Нормаль в отношении этой жизни я еще испытывал чувство свободы и безответственности, все было не в счет, я готовился к ней, тогда как потом я оказался внутри нее. Понятно, насколько далеки от меня были иные восхитительные эксцессы, сюрреалистическое отчаяние, христианское смирение, революционная вера. Я был проникнут идеалом великого человека, который я заимствовал у романтиков. Это у Шелли, Байрона, Вагнера были такие жизни, которые я выбирал в качестве образца. Вот почему я упорно и не отдавая себе в этом отчета старался прожить в 1920—1960 жизнь 1830 года. Естественно, я об этом не подозревал и заимствовал материал в своем времени: марксизм, пацифизм, антифашизм и т. д. Но

канва относилась ко времени пьесы «Энтони» Александра Дюма-отца. Не приходило мне в голову и испытать себя моралью чистого удовольствия или счастья: это был не мой удел. Напротив, понятно, насколько, в этой перспективе обретали совершенно особое значение идеи прогресса, сверхчеловека, побуждение к самопреодолению. Я извлекал их из сферы их собственной морали и вводил в рамки собственной жизни. Конечная цель заключалась не в том, чтобы создать сверхчеловека, не в прогрессе морали, а исключительно в желании иметь прекрасную жизнь. Эти советы были словно бы специально для меня и имели значение исключительно для меня — для моей карьеры, точно так, как когда благосклонный покровитель говорит молодому человеку с большим будущим: нанесите визит заместителю директора, будьте повнимательнее с мсье X, это очень важный клиент. Если сейчас спросить себя, а каков критерий, по которому можно определить, что жизнь прекрасна, то мне совершенно ясно, что это была такая жизнь, которая вызывает слезы у читателя, когда она рассказана чувствительным биографом. Я был до мозга костей пропитан тем, что можно назвать биографической иллюзией, заключающейся в том, что ты веришь, что прожитая жизнь похожа на жизнь рассказанную. В противном случае как мог бы я находить «прекрасной» — с той точки зрения, на которую вставал — жизнь Стендаля с его неудачными любовными историями и томительной скукой в Чивита-Веккии. Только когда она читалась — у Арбеле¹ или Азара² — не упускалась из виду «Пармская обитель», «Пармская обитель» и спасала всю жизнь.

Того, что я сейчас объяснил, я никогда себе не говорил или говорил невнятно. Но я это чувствовал. Зато у

¹ Имеется в виду книга Поля Арбеле «Юность Стендаля» (1919).

² Поль Азар является автором книги «Жизнь Стендаля» (1928).

меня были вполне определенные моральные задачи: мне не хотелось быть просто великим писателем, не хотелось просто прекрасной жизни великого человека. Я хотел быть «хорошим» человеком, как я говорил году в 30-м с известной наивностью. Эти моральные задачи исходили, по всей видимости, из иного источника, нежели мое желание писать и стать великим человеком. Но они легко соединялись с моей мечтой о прекрасной жизни, сплавлялись с ней: я еще больше буду заслуживать эту жизнь, если буду проживать ее морально; и биография станет еще богаче, еще волнительнее, если этот человек, все познавший, все страстно любивший, оставивший после себя шедевры, был ко всему прочему «хорошим» человеком.

Но в течение долгого времени эти моральные наклонности, слившись с моим желанием жизни, оставались ему подчиненными: как раз для того, чтобы реализовать самую прекрасную жизнь, мне и следовало быть моральным, а не для самой морали. Естественно, эта подчиненность морали исчезала, когда я рассматривал моральную проблему саму по себе или когда пытался поступать морально. Но в остальное время она оставалась на заднем плане, но я не отдавал себе в этом отчета. Лишь позже, после разрушения моей юности, моральные задачи вышли на первый план.

Я не говорю о разрушительном и анархистском индивидуализме своей личности в девятнадцать лет, потому что понимаю, что сразу же после него я стал разрабатывать созидательную мораль. Я всегда был созидателем, «Тошнота» и «Стена» представили меня в ложном свете, потому что сначала я был вынужден разрушать. То есть я искал и мораль, и метафизику, и должен сказать, оставаясь в этом плане последователем Спинозы, что в моих глазах мораль *никогда* не отличалась от метафизики. Мораль долженствования никогда не вызывала у меня интереса, прежде всего по тем причинам, которые я изложил 5 ноября: в моих глазах ее воплощением был мой отчим; главное же,

напрасно мне твердили, что категорический императив являлся выражением независимости моей воли — я в это никогда не верил. Я всегда хотел, чтобы моя свобода шла впереди морали, а не за ней, я этого хотел, как уже отмечал выше, даже тогда, когда был избалованным ребенком. Кроме того, мораль долженствования вела к отделению морали от метафизики, в моих глазах это значило лишить ее самого привлекательного. Сегодня я ясно вижу, что в моих глазах, начиная с двадцати лет, моральная позиция обладала привилегией придавать человеку высшее метафизическое достоинство. Именно это мы с Низаном и наградили в 1925 году Спинозистским словом *спасение*. Все время, пока я оставался в Школе, быть моральным означало для меня искать для себя спасения. Выражение было неудачным, но все как было, так и есть. Искать для себя спасения — не в христианском смысле этого слова, а в стоическом: принудить свою природу к всецелому видоизменению, в силу которого она перейдет в состояние экзистенциальной прибавочной стоимости. Понятия экзистенциального, которым я здесь пользуюсь, я тогда не знал, как не знал и того, что за ним стоит, я его предощущал. То есть просто-напросто в нем нуждался. В философии нуждаться в каком-то понятии — значит его предощущать. У Спинозы я также нашел идею всецелого преобразования — и, даже если отнестись к нему как следует, у Канта. Таким образом, быть моральным значило добиться наивысшего достоинства в плане бытия, существовать как можно больше. В то же самое время — отъединиться. Мудрец не находит понимания у остальных людей, и сам их больше не понимает. Это экзистенциальное преобразование раз и навсегда заняло свое место в мудреце и не покидало его: «Мудрец способен сделать тройное сальто». Я прекрасно понимаю, что до этого нас с Низаном довел инкубационный период сверхчеловечности: что значит преодолеть самого себя, если не достичь наивысшего достоинства? Понимаю также, что наше презрение к

людям заставляло нас отходить от их рядов, таким образом мы сразу теряли, наверное, всю нашу человечность. Понимаю наконец, что поиск спасения был поиском пути, на котором можно было бы получить доступ к абсолюту. Впрочем, этот поиск абсолюта был в то время в моде. Журналы «Эспри» и «Философи»¹ (с Фридманом и Моранжем), сюрреализм, на свой манер, тоже стремились его достичь. Но для нас это соотносилось с некоей глубинной тенденцией. Мне было неприятно читать в какой-нибудь философской книге обычные доводы релятивизма, направленные против философии абсолюта. В то время я был реалистом из склонности чувствовать сопротивляемость вещей, но главным образом, чтобы придать всему, что я видел, характер безусловного абсолюта; я не мог восхищаться пейзажем или небесами без мысли, что они были абсолютно таковы, какими я их видел. Слово интуиция и все термины, обозначающие непосредственное сообщение духа с вещами в себе, радовали меня сверх всякой меры. И эта первая мораль, которую я построил, основываясь на нескольких строчках из «Обладания миром»,² требовала радоваться простому восприятию чего бы то ни было. Дело в том, что тогда восприятие, совершаемое с церемониями, с уважением, станови-

¹ Журнал «Философи» выходил с мая 1924 по март 1925 г., он был обращен к «поэзии, анализу и возрождению философии». Сменивший его журнал «Эспри» вышел всего лишь два раза (май 1926 и январь 1927 г.).

² Имеется в виду книга Жоржа Дюамеля (1919). Во время первой мировой войны Жорж Дюамель стал военным хирургом и написал это эссе в 1917—1918 г. в противовес зловещему мироощущению, порожденному этой войной. Такие места, как «Нет ни одной вещи в мире, которая не могла бы быть источником счастья» или «Рассказывай о том, что ты открываешь, что ты знаешь. Утверждая свое обладание, ты делаешь его надежным, окончательным. Ты работаешь для других людей и для самого себя. Ты придаешь форму своему сокровищу и отдаешь его во всем его совершенстве тому, кто захочет им завладеть», могли перекликаться с мыслями юного Сартра.

лось сакральным актом, сообщением двух абсолютных субстанций, вещи и моей души. Я говорил, что мне случалось смотреть на свой стол и твердить: «Это стол, это стол» — до тех пор, пока не рождалась легкая дрожь, которую я окрестил радостью. Из этой склонности рассматривать воспринимаемые вещи в качестве абсолютов родилась, как мне думается, некая мания моего стиля, которая заключается в том, что я без конца ставлю «есть». Гилль смеялся надо мной, говоря: «О Жюле Ренаре говорили, что он в конце концов напишет: курица несется. Ты же напишешь: есть курица, и она несется». Это правда: через это «есть» я с удовольствием отделил бы курицу от остального мира, я бы превратил ее в маленький отдельный и неподвижный абсолют и приписал бы этому абсолюту несение яиц как какое-то свойство, качество. Есть какая-то переходность в выражении «курица несется», которая мне очень не нравится, в силу которой «субстанция» курицы испаряется, превращаясь во множественность отношений и актов. Короче говоря, я искал абсолюта, я хотел быть абсолютом, и именно это я и называл моралью, именно это мы прозвали «искать себе спасения». Таким образом, мораль оказалась выгодной. Я никогда не верил, что мораль невыгодна. Этот реализм заключался также в утверждении сопротивления мира и его опасностей — в противовес разлагающей философии идеализма, в утверждении Зла — в противовес оптимистической философии единения. Но мне думается, что был еще один источник: мое восхищение миром и эпохой, которую я открывал. Как можно было допустить, что столько прелестей, столько удовольствий, которые предстояло завоевать, и столько прекрасных опасностей были лишь тенями, плохо «согласующимися» представлениями. То есть выходило, что имелось что-то, что надо было завоевывать, мы были как голодные волки и грезили о грубых победах, насилии. Мир был землей обетованной, и наше завоевание должно было стать абсолютным. К тому же идеализм за-

ключался в науке, это был мой отчим. В этом реальном мире имелось что-то терпкое, имморальное и голое, чему плевать было на родственников и преподавателей. Если цвета вещей не были кажимостями, значит в них были свои тайны, о которых не подозревали ученые. То есть, чтобы завоевать мир, было совсем не обязательно пройти до конца курс, дожидаться своей очереди в лаборатории, им можно было завладеть в одиночку, можно было в одиночку думать о нем, он открывал свои тайны одинокому человеку, я пришел не слишком поздно. Я смотрел на деревья и на воду, повторял в экстазе: «Ведь есть что делать. Можно много чего сделать». И каждая из моих «теорий» была актом завоевания и обладания. Мне казалось, что под занавес, доведя все до конца, я в одиночку покорю мир. Впрочем, то было время неистового литературного неореализма. Перечитывая иные книги того времени, я сегодня, наоборот, поражаюсь их интеллектуальной сухости. Но в то время мы их так не воспринимали. Они говорили нам о целом мире — о Константинополе, Нью-Йорке и Афинах, и переливы их сравнений, которые сегодня я как раз и нахожу надуманными и претенциозными, ослепляли и оглушали нас смешением цветов и звуков. Мне потребовалось много времени, для того чтобы понять, что сравнивать нужно как можно меньше. В то время каждое сравнение казалось мне завоеванием. Жид смеется в дневнике над писателями, которые думают только об образах: «Свежевыбритый луг. Почему свежевыбритый?» «Свежевыбритый» звучит магически: самолично придуман синоним глагола «косить», придуман *перед* этим самым лугом, эта словесная выдумка равноценна некоему присвоению чего-то. Я повсюду с каким-то грубым опьянением разбрасывал образы. С таким же опьянением я столкнулся, перечитывая роман Мак Орлана «Под холодным светом»: «Розовый и белокурый норвежец обхватил двумя руками свой маленький стакан, как птицу, которую хочется согреть». Бог мой, к чему этот образ?

Но тогда я с варварской радостью бил по вещам образами. И придумывание образов было в сущности моральной и сакральной церемонией, это было присвоение одного абсолюта — вещи, другим абсолютом — мною.

Этот поиск абсолюта, я уже об этом говорил, мог привести меня к экзистенциальному. Но, по правде говоря, идея экзистенциального была слишком трудной, чтобы я мог придумать ее сам. Кроме того, я отвлекся от нее и по другой причине. Было тогда экзистенциальное, которое почти повсюду встречалось в нашем маленьком мире. Для многих студентов первое соприкосновение с философией выражалось в по-настоящему экзистенциальном и подлинном оцепенении, правда, пока еще довольно глуповатом, перед лицом смерти, времени, существования других сознаний. Не избежала этого и Бобр, потому что от природы она была куда подлиннее меня. В восемнадцать лет она сидела на железном стуле в Люксембургском саду, спиной к стене Музея, и думала: «Я здесь, время течет, и это мгновение больше не вернется», что ввергло ее в оцепенение, напомиравшее сон. Ведь эта философская скудость в действительности относится к очень подлинной философии, это момент, когда вопрос преобразует вопрошающего. Бобр на своем стуле была настоящим метафизическим существом, она от всей души метафизировалась, бросалась во время, жила временем, *была* временем. Только вот по пробуждении слова, пустые и напыщенные слова изменили этой странной метаморфозе: «Это мгновение больше не вернется». Сама скудость языка вынуждала студентов-метафизиков искать какой-то другой язык, который был бы богаче. Они находили язык Барузи¹ — туманный и непроницаемый, язык Брюнсвика — разлагающий; они приспособивались к

¹ Жан Барузи (1881—1950) — французский философ и историк религии, профессор Коллеж де Франс, автор книги «Проблемы истории религии».

ним, насколько это было возможно, они пытались отливать свои впечатления в эти новые слова, но это им почти не удавалось. Отсюда возникала своего рода философская риторика, скрывавшая экстаз, этаким приемом без конца пережевывая проблемы, которые не имели никакого решения, слова. Существовало слишком большое расхождение между этой метафизической порой и этим университетским языком. Что касается нас — Низана, Арона и меня, то мы были очень несправедливы к этим несчастным людям, которые на самом деле обладали *чувством философии*, но которым недоставало инструмента. Для нас они были самыми презренными представителями вялого мышления и словоблудия. Наперекор им мы вставляли под знак Декарта, потому что Декарт — это взрывной мыслитель. Ничто не вызывало у нас такого отвращения, как эта серая мысль, как эти трансмутации, эти переходы и эти метаморфозы, это мелкое подрагивание. От таких фраз, как «Стань самим собой», мы скрипели зубами. Мы тратили свое время на то, чтобы отделить одно понятие от другого, сделать их непроницаемыми друг для друга, замкнутыми на самих себе — наподобие Декарта, который так удачно разделил душу и тело, что уже никто не мог их соединить. Мы охотно сказали бы: «Нельзя стать тем, кем ты еще не являешься. То есть нельзя стать самим собой». Таким образом, предназначая себя к тому, чтобы придерживаться строгих понятий, мы отвергали элегантные и дряблые мысли, у нас было такое ощущение, что мы мыслим так, будто наносим сильные удары шпагой. Именно это мы и называли революционной мыслью. И в самом деле Декарт, отвергая всякое опосредование между мышлением и протяженностью, обнаруживает катастрофический и революционный характер своей мысли, он раскраивает и режет, а другие должны сшивать. Мы кроили и резали вслед за ним. Во мне осталось что-то от этого времени: я прыснул со смеху от напыщенного названия книги Шардонна — «Любовь — это больше, чем лю-

бовь».¹ И точно, дурацкое название. Но главное было в том, что проснулось мое старое картезианское негодование, ведь любовь и в самом деле больше, чем любовь. Только сказать об этом надо было по-другому. Таким образом, наше восприятие изолировало одну вещь от другой, превращая их в смежные абсолюты; наша мысль дробила понятия и делала их не сообщающимися, тем самым у нас создавалось впечатление, что мы мыслим сильно и варварски, воспринимаем остро, доходя до самой сути. Мыслить, выделять понятия значило для нас быть моралистами и поборниками справедливости. В силу этого упорного отказа выходить за рамки мы становились законодателями и наверняка превратились бы в мегарцев, если бы на свое счастье, не были куда менее требовательными к своей мысли, чем к мысли других. Мы по-прежнему были обращены к неореалистическому плюрализму, и чтобы обнаружить абсолют в вещах, я повернулся спиной к экзистенциальному абсолюту, который заключался во мне. Однако я смутно ощущал себя абсолютным и свободным сознанием; в качестве морального субъекта я рассматривал себя как нечто необусловленное. Именно эта непримиримость, равно как моя теория случайности, и привели меня к принятию морали спасения через искусство, которую я изложил в этом дневнике 8 ноября.² Прекрасно видно, в каких планах я тогда двигался: официально все было случайностью, и вся жизнь была потеряна, можно было лишь вне себя создавать прекрасные произведения. Но в глубине себя я был убежден, что у меня будет жизнь, соответствующая моим произведениям, я искал дружбы, любви, всякого рода страстей, искал всякого рода опытов. И чтобы заслу-

¹ Книга французского писателя Ж. Шардонна (1884—1968): «Любовь — это больше чем любовь. Размышления романиста» (1937).

² Речь идет о втором дневнике, который был потерян. Мораль спасения через искусство затрагивается также в записях от 1 декабря.

жить эту жизнь, которую я ожидал, но в отношении которой я еще стоял в стороне, ведь я все еще считал себя свободным, — я думал, что писать будет недостаточно, следовало еще быть моральным. Мораль эта являлась для меня всецелым преобразованием моего существования и абсолюта. Но, в конечном счете, абсолюта я искал больше в вещах, чем в самом себе, благодаря морали я был реалистом. В то же самое время, в силу протестантской суровости поборника справедливости, я пришел к тому жесткому и безапелляционному мышлению, которое удаляло меня от этого абсолюта, коим я сам являлся, и замыкало меня в некоем суровом педантизме, находившем наслаждение в собственной жесткости. Эта жесткость была неразрывно связана с моим жестоким отношением к товарищам по Школе. Все это вело меня к неистовому наслаждению кричащим и блистающим миром, который вступал в полное противоречие с тем миром, который я разработал для себя в своей теории случайности. Я доходил до того, что проповедовал ницшеанскую мораль радости, тогда как оказывалось, что всякая радость, всякая жесткость невозможны в том случайном и тошнотворном мире, который я некогда открыл.

В таком счастливом беспорядке и прошли мои годы в Эколь Нормаль. Затем наступили мрачные времена. Тогда эстетическая мораль, которую я разработал для себя из великодушного пессимизма, мало-помалу приобрела большее значение в моих глазах. Было нехорошо, что человек познает самого себя, слишком много занимается самим собой — надо было просто писать и творить. Тем не менее я не отказался от абсолюта, однако в силу весьма естественного смещения он облачился в человеческие произведения. Отныне человек становился абсурдным существом, бытие которого было лишено всякого основания, и главный вопрос как раз и заключался в том, чтобы найти его *оправдание*. Я ощущал себя совершенно нелепым и не имеющим никакого оправдания. Это оправдание, его могло при-

нести лишь произведение искусства, ведь произведение искусства — это метафизический абсолюте. Таким образом абсолюте был восстановлен в своих правах, но вне человека. Человек ничего не стоит. Именно в этот момент моя теоретическая оппозиция гуманизму была сильнее всего. Я говорю теоретическая, так как в это же самое время, как я уже отмечал, я потихоньку искал компромиссов. И, как прекрасно видно, речь по-прежнему шла о морали спасения, но на этот раз в сердце человека, которого она спасала, не было никакого потрясения. Спасение приходило к нему извне. Я уже говорил, каким мрачным настроением я подпирал этот тезис. В сущности я не утешал себя тем, что потерял свою «жизнь великого человека». У меня были заклятые враги: Бенда,¹ потому что его клерки немножко напоминали моих художников, Элемир Бурж,² потому что он тоже защищал теорию спасения через искусство. Даже Пруст меня беспокоил. Особенно презирал Теннисона,^{*} потому что этот английский писатель, которого я не прочел ни строчки, прожил свою жизнь, согласно достойным доверия свидетельствам, в соответствии с моими проповедями — он писал, и с ним никогда ничего не случилось. Я с возмущением говорил Бобру: «И все же я не хотел бы иметь жизнь Теннисона». Зато мрачная и тяжелая жизнь Сезанна^{**} поражала меня своим величием. Понятно, что именно она служила лучшей иллюстрацией к моему тезису. Но все же я находил, что это слишком трудно. Быть, как Сезанн. Да. Конечно. Если угодно.

¹ Жюльен Бенда (1867—1956) настаивает на своей принадлежности к классу клерков (философы, литераторы, художники и ученые), «развитие которого связано с формальной оппозицией реализму масс»; своим примером или своими работами они препятствуют тому, чтобы коллективные страсти — политические, национальные, религиозные и т. п. — могли полагать себя оправданными, пусть даже они на какое-то время и берут верх. Автор знаменитой книги «Предательство клерков» (1927).

² Элемир Бурж (1852—1925) — французский романист и драматург, автор драмы «Неф» (1904—1922).

Но я не мог помешать себе зариться на трагические и блистательные жизни Рембо и Гогена.

К этому времени вопрос усложнился, потому что чтение Шелера дало мне понять, что существовали *ценности*.¹ В сущности, вплоть до той поры, будучи поглощен метафизической доктриной спасения, я не очень хорошо понимал своеобразие моральной проблемы. Казалось, что «долженствование» воплощалось в категорическом императиве, а поскольку я его отвергал, мне представлялось, что вместе с ним я отвергал и долженствование. Но когда я понял, что существовали самостоятельные субстанции, наделенные правомерным существованием и называвшиеся ценностями, когда я понял, что ценности, как провозглашенные, так и не провозглашенные, управляли каждым из моих поступков и каждым из моих суждений, и что их природа как раз и заключалась в «долженствовании», проблема до крайности усложнилась. К этому времени Бобр заставила меня отказаться от теории спасения через искусство. Уже давно я оставил картезианскую мысль с ее сияющими мечами. Уже давно перестал рассчитывать на свою «жизнь знаменитого человека». Наша общая вера в значение «построенного» была поколеблена историей с Козакевич.² Не оставалось ничего другого, как начать все с начала.³

¹ Вероятно, имеются в виду работы «Природа и формы симпатии» (французский перевод — 1928 г.) и «Формализм в этике и материальная этика ценностей», последнюю работу Сартр, вероятно, читал в оригинале.

² Имеется в виду *Ольга Козакевич*. «Построенное» — это отношения Сартра с С. де Бовуар.

³ Заметим, что говорит Сартр об этих страницах: «Сегодня я не сделал ничего хорошего <...> был немного уставшим и марал бумагу, именно марал бумагу. А жаль, предмет был интересным; порочность моих моральных теорий» (письмо к Бобру от 2 декабря).

Мистлер говорит мне сегодня утром с восхищением: «Забавно, я всегда считал, что война — это большая гадость, и по-прежнему так считаю, и тем не менее она будет для меня источником невероятного прогресса».

Дневник Жида: 4/5 были написаны (по крайней мере, в опубликованном виде) между 40 и 67 годами. Дневник зрелости. Он напоминает мне эту тетрадь в обложке, украшенной цветами, которую мне однажды показал дед. В ней были записки моего прадеда: главные семейные события (рождения, смерти, женитьбы, и т. д.) — моральные и благочестивые изречения, с которыми он обращался к самому себе. Разве это не зовется семейной книгой? Кажется, что тетрадь была выбрана с помпой, и я вижу, что и Жид заботится о выборе своих тетрадей. И чувствовалась магическая роль письма: фиксировать, запечатлевать формулы и даты, защищать их от забвения, наделять их помпезностью. Этот род дневника ведет свое начало от табличек, которые вешались на стены в протестантских семьях и которые были украшены благочестивыми изречениями, подобно тому как искусство мистерий берет свое начало в витражах. В глубине всего этого есть идея *запечатлеть* мистическое и сокровенное чувство, восходящее, по-видимому, к временам начала письменности. Я нахожу это чувство в дневнике Жида, оно приглушено, окультурено, но реально. И мне кажется, что это магическое религиозное чувство лежит в основе классицизма: классик запечатлеывает максимум на стене, впечатывает ее в материал, а потом встает напротив и размышляет. Классицизм — это искусство управляемых размышлений.

В то же самое время — и это идет в разрез с предыдущей тенденцией, но противоречие существует у самого Жида — дневник является для него упражнением в самопроизвольном письме. Научиться писать с ходу.

Это любопытство к самому себе, желание увидеть себя не-сочиняющего приведет его позднее к «Диктовкам». Он уже не захочет водить пером, перо не должно быть между ним и бумагой. «Великий секрет Стендаля... заключается в том, что он пишет *сразу*... Можно подумать, что его мысли даже некогда обуться, чтобы бежать дальше». Этот путь к раскованной и немотивированной, несделанной мысли, это значение истины, которое придается тому, что не имеет никакого облачения, могло бы привести к автоматическому письму, и иных писателей к нему и привело. Но тогда пришлось бы потерять себя, а Жид никогда себя не теряет. Он лишь указывает. Он хочет зафиксировать мысль на том крайнем пределе, где она складывается, но не дальше. Он выступает против слов, но не против мыслей. Естественно, в противоположность такой заботе есть постоянное стремление *работать*, писать твердо и жестко. Вот, что он говорит 27 июля 14 года о рукописи Ж.-Е. Бланша:* «Сегодня утром я полностью переписал три страницы (этой рукописи), впрочем, почти ничего не меняя, за исключением порядка слов и фраз, которые были разбросаны как попало. Необычайная слабость его стиля бросает свет на слабость его живописи: он никогда не сжимает объекта; его достоинства всегда относятся к *нетерпению*: он легко удовлетворяется. Когда, переписывая страницу, он вносит четыре исправления, то полагает, что „много поработал“». Но разве нетерпение не является главным качеством Стендаля и этой мысли, что бежит, не обуываясь? Зачем в одном месте ругать то, что хвалится в другом? Из-за результатов? Но тогда появляется новый элемент: дар или предварительное упражнение, о котором здесь нет и речи.

По правде говоря, этот дневник отражает колебания Жида между двумя аспектами его личной жизни: напряжение и расслабленность. Бескорыстный поступок, его чувственность, его пресловутая любознательность, которые оказали такое влияние на нашу литера-

туру, наконец его желание потерять себя с тем, чтобы вернуть себя найти — все это аспекты его *расслабленности*. Мир даст ему знать, что он собой представляет. Сходным образом фраза, написанная наспех, *в одно мгновение* даст ему знать, что он думает. В общем, речь о том, чтобы броситься в универсум, чтобы универсум вернул вам ваш образ. Достичь индивида через пантеизм. Этот неожиданный и открывшийся образ является также пресловутой *голей дьявола*. В сущности, Жид стремится схватить себя в те моменты, когда он не знает, что сам за собой наблюдает. Но точно ли этот способ потерять себя является тем же, что позволит нам себя обрести? Временами Жид в этом сомневается. Тогда он будет звать его (19 января 1912): добровольная деперсонализация. В этот же день он напишет: «Постоянное *бродяжничество* желания — одна из главных причин разрушения личности». И приказания, которые он дает себе в тот день, проясняют для нас его привычку бродяжничать: «Не выходить больше, не имея точной цели; держаться. Ходить, не отводя глаз. В поезде садиться в первое попавшееся купе». Понятно, на каких несчетных курьезах основывается эта всеготовность, которую он прославляет в «Яствах земных». Но необходимо *снова взять себя в руки*; вернуться к сложившейся личности: «Опасность желания сделать свои владения безграничными. Завоевывая Россию, Наполеон должен был рисковать Францией. Необходимость связывать границу с центром. Пора возвращаться» (19 января 1912). Он пользуется также выражением «*взять себя в руки*». Его личный дневник является, по существу, инструментом *взятия себя в руки*. Вследствие чего он оказывается скорее свидетельством и инструментом *напряжения*, чем *расслабленности*. Вот почему Жид редко пишет в нем о спектаклях, которые он видел, о разговорах, которые он вел, редко описывает людей, с которыми встречался. Все это относится к *расслабленности*. Иногда он дает себе волю, но словно бы с сожалением. Впрочем, похоже, что часто для

каких-то внешних записей он использует другие тетради, которые не опубликовал в своем дневнике: «Я по глупости оставил в Кювервиле... тонкую тетрадь, родную сестру этой, ей было всего четыре дня, там я записал вчера вечером или даже сегодня утром несколько мрачных мыслей по поводу Х.» (25 июля 1914).

С другой стороны, поскольку дневник является в основном орудием взятия себя в руки, он заполнен призывами, мелкими обычными советами, с которыми Жид обращается к самому себе:

«Чтобы быть позкономнее, я буду тщательно записывать распорядок дня.

Половина восьмого: ванна, чтение статьи Судея об А. С.

С половины девятого до девяти: завтрак, и т. д.» (31 января 1912).

«1914, 11-е июня: Каждое утро повторять себе, что самое главное еще только предстоит сказать и что наступает время, и т. д.».

Именно в этот момент дневник больше всего и самым отвратительным образом напоминает моральные труды пастора Вагнера. В нем встречаются детские максимы в духе следующей: «Не пренебрегать малыми победами; когда речь заходит о воле, многое является лишь терпеливым сложением *малого*» (19 января 1912). И, черт возьми, так и есть, можно подумать. Он испытывает потребность писать — это каждому известно. Он написал об этом не для того, чтобы нас этому научить, не для того даже, чтобы себя этому научить, а для того, чтобы *снова* себе это *сказать*, чтобы это *запечатлеть*. Этакая протестантская табличка, которая висит над кроватью и вас укоряет. Маленькая набожная хитрость, обычная вещь для святош.

В общем, Жид колеблется между двумя концепциями истинного: истинное как то, что я собой представляю (что Ален называет вялым мышлением психологов) — истинное как то, чем я хочу быть.

И сам дневник становится долгом. Жид призывает себя вести его. И если он этого не делает, значит он

согрешил. Таким образом, давая нам читать его, он приглашает нас посмотреть, как тяжело ему выполнять свой долг. Мы сразу же попадаем в мораль, едва только открываем книгу.

Другая цель дневника: позволить Жиду писать абы что, когда он не чувствует вдохновения, чтобы не потерять навык, чтобы сохранить приобретенные порыв и скорость. Откуда размышления вроде следующего: «Довольно хорошая работа; отсюда безмолвие в дневнике» (18 января 1917).

Таким образом я объясняю разочарование тех (в число которых я тоже поначалу входил), кто, попав под влияние дневников Стендаля, Ренара, Гонкуров, открыли дневник Жида с надеждой найти там подробности его жизни, сведения о его характере или его окружении. Мое разочарование относится к тому времени, когда я был в Берлине и читал отрывки дневника в «Полном собрании сочинений». Тогда я нашел, что книга очень скучна. Но я ошибался: в ней есть все. Только все в ней завуалировано. Забота Жида заключается не в том, чтобы что-то узнать, но в том, чтобы что-то реформировать. Вот почему, если ты хочешь что-то узнать, иметь свое собственное суждение, следует противиться естественной склонности, которая ведет к тому, что ты становишься сообщником автора. Надо читать, сохраняя трезвую голову, оставаясь вовне, ставя под вопрос сами принципы реформы. Жид постоянно наблюдал за собой, и он все время движется в рефлексивном плане. Порой есть даже раздвоение рефлексии. Но он никогда не является психологом, его цель никогда не заключается в том, чтобы просто констатировать. Исходная забота является моральной.

Никогда не следует читать фразы из дневника Жида так, словно это простые констатации, пусть даже они написаны в изъяснительном наклонении: это обеты, мольбы, приказания, гимны, сожаления, хула. Мне не нужно другого доказательства, кроме этого презабав-

ного «Аминь», которое встречается в конце одного места, которое можно было бы считать чисто информативным: «Я стремлюсь помешать тому, чтобы когда-нибудь о ком-нибудь сказали, что он мне подражает или на меня похож... Я хочу не иметь своей манеры... Аминь» (7 мая 1912). Аминь, конечно же, ироничное. Но оно выдает, подсмеиваясь над ним, какой-то внутренний трепет, пыл, с которым Жид писал эти строки. Я хочу — это не констатация (как когда я спрашиваю у Келлера: «Куда ты?», — он мне отвечает: «Я хочу побриться»), он хочет этого «я хочу», речь идет о настоящей воле. Впрочем, он сам это говорит: «Если эмоция идет на спад, перо должно остановиться» (7 мая 1912). Что совершенно невозможно за рамками личных дневников, и что меня немного шокирует, притом что я в этом дневнике сразу же сбиваюсь, когда не держу расстояния в отношении того, что пишу.

Роль упражнения у Жида аналогична греческому *ἄσκησις*; дневник, духовное упражнение, чтение по-английски, литературное упражнение, упражнение мысли, упражнения на фортепьяно (и этюды). В Кювервиле зачастую целые дни напролет упражнения: фортепьяно, английский, дневник. Потребность не отпустить узду (немного напоминает занятие барышень вышиванием). Также постоянное желание быть в выигрыше. Упражнение заменяет у него профессию.

Едва я написал эти строки, как наткнулся на следующее место (с. 389): «В последнее время я целые дни напролет занимался переписыванием моих „Воспоминаний о Суде присяжных“. Думается, что это хорошее упражнение...» (2 июля 1913).

Дневник более занятен и более характерен тем, о чем он умалчивает, нежели тем, о чем говорит. Все отношения с Эм.* обойдены молчанием. И наверняка Жид убрал добрую половину, когда готовил его к печати. Но известно также, что он что-то порвал по дороге по просьбе самой Эм. Главное, в разных местах

можно прочесть, что он *запрещает себе изо дня в день* говорить об Эммануэль. Почему, ведь он признает в 1939-м, что передает таким образом лишь «свое искаженное я»? Думаю, из жалости. Так что в его душе есть различные иерархии сакрального. Бортовой журнал — вещь священная, но Эммануэль еще священнее. Не следует ее касаться. Но, с другой стороны, за исключением нескольких намеков на его страсть к М. в 1914 году, дневник изображает его сексуальную жизнь лишь в аспекте порока и угрызений совести, которые она внушает. В нем много говорится о грехе рукоблудия, и я прекрасно понимаю, чем это объясняется: природа этого греха в лени, рассеянности, отсутствии рвения, во всех этих недостатках, за которые можно поругать самого себя. В основном в дневнике речь идет об отношениях с самим собой; есть одна область, которой Жид никогда не касается: область *построенных* с другими людьми отношений. Наверняка ему представился бы такой случай, если бы он стал говорить об Эммануэль. Но он как раз о ней и не говорит. Его ночи любви заставляют его время от времени кричать от радости, но он скрывает это, при том что ему, похоже, хотелось бы об этом рассказать. В конце концов обо всем, что имеет отношение к людям, к миру, к обществу (идет ли речь об Уайльде, * суде присяжных или некоторых забавных встречах), он говорит где-то в другом месте — наверняка из-за того, что это литературный материал, и в качестве такового он не достаивается места в семейной книге. Тем не менее иной раз он забывается, набрасывает чей-нибудь портрет, рассказывает забавный анекдот. Но это бывает *по случаю* выговора, который он себе делает из-за того, что теряет много времени в обществе, или для того, чтобы как-то оживить мрачный отчет о прожитых днях. То есть речь идет о дневнике, который находится под очень строгим надзором и чужд распушенности. Если он теряет меру, то рвет его. Вспоминаю Даби, который строго отчитывал себя в

своем дневнике за то, что у него возникло желание его разорвать. Однако Жид, если и поругивает себя время от времени, то, как кажется, уже привык. Он пишет 15 июня 1916 года: «Я порвал около двадцати страниц этого дневника... О страницах, которые я порвал, можно было бы сказать, что их автором был безумец». Но как раз этого безумного Жида нам и было бы любопытно увидеть. Только вот даже в своих угрызениях, даже в волнительной запущенности он остается классиком: если он не сочиняет, то выбирает.

А затем, в самом сердце этого дневника, по всей его ткани вырисовывается самый гениальный, самый цивилизованный результат этого самоанализа: Дьявол. Дьяволу следовало бы посвятить эти дневники, по-видимому, он это на самом деле заслужил.

Выхожу вместе с Мистлером и иду с ним обедать в «Золотого льва». Он объясняет мне, что благодаря мне он полностью переменялся, что в сентябре в армию он отправлялся в полном отчаянии и что теперь он близок к умиротворению, что он понял, что война была событием *его* жизни. Он волнуется и запинается, благодаря меня. Я тоже волнуюсь и пью молоко. А потом испытываю удовлетворение, потому что это как бы экспериментальное подтверждение моих новых моральных идей. Но в то же самое время возникает прежнее странное ощущение, что это адресовано не мне, что я играю комедию и что в глубине себя я остаюсь жалким полишинелем, обманывающим весь мир.

Замечательное место в «Листках» 1913—14 гг.:

«Тот, кто протестует, позже превратит умение-отказываться в мудрость своей жизни.

(Это может быть также моралью самолюбования.)»

Это выражение «мораль самолюбования» кажется мне богатым и глубоким. Оно довольно хорошо охватывает мои нынешние заботы:

смирение может быть моралью самолюбования (грустная умиротворенность, сияющая и умиротворенная меланхолия, и т. п.);

стоицизм тоже. Я испытываю это на протяжении этих трех месяцев.

Натурализм. Есть у Жида известный натурализм, известная вера в добродетели голой природы (быть самим собой без всякого договора, приспособливаться к миру, как организм приспособливается к своей среде), которая часто его мучает и в отношении которой он задается вопросом, не внушена ли она Дьяволом.

Мораль долженствования. Все, что скрывает эта стыдливая формула кантианского обличья: я имею право только на то, чтобы исполнять свой долг...

В конечном итоге, упрека в самолюбовании может избежать, насколько я вижу, только мораль подлинности (подлинности, а не чистоты).

Мориак («Фигаро» от 2 декабря): «Вечный вопрос, который всегда разделял французов, идет ли речь о внутренней распри наподобие дела Дрейфуса, об испанской трагедии или о войне с Германией, касается отношений политики и морали».¹

Мне думается, что теперь я понимаю и чувствую, что такое настоящая мораль. Я вижу, как связываются воедино метафизика и ценности, гуманизм и презрение, наша абсолютная свобода и наш удел в единственной и ограниченной смерти жизни, непостоянство нашего бытия без Бога, которое не является собственным творцом, и наше достоинство, наша индивидуальная автаркическая независимость и наша историчность. Я проясню это завтра или в какой-нибудь другой день, мне хочется еще об этом подумать. По крайней

¹ Отрывок из заметки под названием «Дюпон & Дюран» («Фигаро» от 2 декабря).

мере на сей раз это будет мораль, которую я прочувствовал и стал применять прежде, чем ее придумал.

Я дал себе послабление на какое-то время, но в последние дни вновь обрел напряжение первых дней войны.

Понедельник, 4-е декабря

Завтра утром мы выезжаем в Морсбронн. Сегодня, пока я работаю, вокруг меня царит сильная нервозность. Приспешники и трое из разведотдела суетятся вокруг своих мешков. Споры и перепалки.

Не *принимать* того, что с вами происходит. Это и слишком, и недостаточно. *Брать это на себя* (когда вы поняли, что все, что с вами происходит, происходит только через вас), то есть принимать это на свой счет в точности так, как если бы вы это себе давали по собственному решению и, принимая эту ответственность, превращать ее в повод для дальнейшего прогресса, как если бы как раз для этого вы это себе и давали.

Это «как если бы» — не ложь. Оно исходит из нестерпимого человеческого удела, который разом и самопроизволен, и безоснователен, так что не ему судить о том, что с ним происходит, но все, что с ним происходит, может с ним произойти лишь *через него* и под его ответственностью.¹

Исходить из этих двух идей:

¹ Видно, что сартровская концепция свободы возникает из стоического понимания свободы, согласно которому, напомним, человек свободен, когда, принимая то, что с ним происходит в ходе развития мира, на которое он не оказывает никакого влияния, он занимается только тем, что «зависит от него самого», то есть руководством своими страстями. Ср.: «Бытие и Ничто» (первая глава четвертой части, в частности § 11, «Свобода и Фактичность: Ситуация».

1) Человек — это толща, которую человек покинуть не может.

2) Следует потерять всякую надежду. Мораль начинается там, где останавливается надежда (будущая жизнь, совершенство человеческой природы и т. п.).

Мы полностью отвечаем за свою жизнь.

Мир в каждое мгновение присутствует в моей жизни во всей своей полноте.

Извинений не бывает, потому что событие может вас затронуть только тогда, когда оно принято на себя вашими собственными возможностями.

Келлер подбирает то, что бросают другие, главным образом офицеры — номер журнала «Конференсия», экземпляр «Ла Ревю де Дё Монд», старый роман, выкинутый Хангом, потому что на него пролилась склянка с сиропом от кашля и от него воняло — и все, даже не разглядывая, кладет в свой мешок и говорит: «Это для жены» или: «Это для малыша, отвезу ему, когда поеду в отпуск». Его привлекает именно предмет, который можно взять и который еще может «послужить», он бродит вокруг мусорных ящиков, корзин для бумаг и т. п. и всегда что-то вылавливает.

Никто вам ничего не должен, а главное, у вас нет никаких прав на судьбу. Всегда все дано, потому что вы всегда лишний в отношении мира.

Метафизическая ценность того, кто принимает на себя свою жизнь или подлинность. Это единственный абсолют.

Завтра в пять часов утра мы отправляемся в Морсбронн. На полосу обороны. Кажется, что офицеры не

очень хорошо принимают перспективу этой новой ответственности.

Когда Петер поговорит несколько секунд с офицером, то потом всегда скажет «я поболтал», чтобы передать доверительную раскрепощенность мужского разговора.

Вторник, 5-е декабря

Четыре утра. Приспешники кончают со своими мешками, а я тем временем переписываю основные отрывки из статьи *** в «Ла Ревю де Дё Моңд» от 15 августа 1939 года, она называется «Мир-Война».¹

«При современном состоянии военной техники необходимо иметь сотню танков и более ста тонн снарядов, чтобы наверняка подавить сопротивление одного батальона на участке фронта в один километр, имеющем развитую систему земляных укреплений и огороженном колючей проволокой... На таких тесных границах, которые существуют в Европе, слишком узких для использования большого количества живой силы, оборудованных долговременными укреплениями, мало надежды нарушить диспозицию (противника)... Решение может быть принято лишь после многочисленных успешных наступательных действий, то есть ценой гигантского усилия, которое предполагает чис-

¹ Точное название статьи: «Новая форма международных конфликтов, Мир-Война». Нам не удалось установить, кто был автором (или авторами) этой статьи за подписью ***; выраженные в ней идеи странным образом перекликаются с идеями полковника де Голля и его первых приверженцев, главным образом полковника Нашена, равно как с идеями Поля Рейно, тогдашнего министра финансов, который вместе с военными выступал против пассивности Франции перед лицом неоднократных выпадов Гитлера. Ср.: *Nachin Lucien. L'avant-propos à Trois études*, de Charles de Gaulle. Paris, 1945.

ленное превосходство и сильную промышленность. Если дело обстоит иначе, то конфликт может быть разрешен лишь путем морального и материального выматывания одной из воюющих сторон. В обоих случаях борьба будет не на жизнь, а на смерть, и повлечет за собой такие потери и разрушения, что даже самые выгодные условия мира не смогут их компенсировать...

Таким образом, классическая концепция войны приводит к такой форме конфликта, которая больше не отвечает возможностям и потребностям сегодняшней Европы. В самом деле, последняя еще не во всех отношениях оправилась от потрясаний, вызванных Большой Войной. Она нуждается в мире, чтобы перестроить и реорганизовать свою экономику в соответствии с современными средствами производства... С другой стороны, общественное мнение большинства европейских государств инстинктивно не приемлет самой идеи войны... Это убеждение является основным обстоятельством, характеризующим нашу эпоху.

Как же тогда разрешать межнациональные конфликты?... С неизбежностью возникают новые методы... Проблема все та же: она заключается в том, чтобы принудить какое-то государство подписать те обязательства, которые хотят на него наложить, словом, капитулировать. Форма войны может претерпеть изменения, но главный предмет ее остается прежним...

Если нет возможности победить противника одним ударом, новая война будет нацелена на то, чтобы убедить его предпочесть продолжению борьбы капитуляцию. На смену радикальному действию приходит *убеждающее применение* силы... Просто... раньше политика располагала лишь узким радиусом давления... какая-нибудь ничтожная оплошность на маневрах, ничтожный эксцесс могли повлечь за собой войну. То есть политика велась путем изоэренной игры всевозможных комбинаций и компромиссов. Сегодня ситуация совершенно иная: неотступный призрак тоталь-

ной войны, порождаемый им страх приводят к тому, что в войне усматривают не что иное, как продиктованное отчаянием решение, к которому прибегают лишь в самом крайнем случае. Бесполезность военных действий содействовала тому, что государства стали не такими обидчивыми (Аншлюс, Судеты, вторжение в Испанию, русско-японский конфликт на Халхин-Голе)... Можно было бы увеличить число примеров, свидетельствующих об удивительном терпении наций в сравнении с их прежней возбудимостью.

Таким образом, это неприятие тотальной войны совершенно неожиданно приводит к росту насилия, которое уже не укладывается в рамки дипломатических традиций... Это уже не мир и еще не война, как мы ее понимаем, это промежуточное состояние, которое мы назовем *миром-войной*.¹

Мир-война основывается на мысли использовать страх перед войной-катастрофой, для того чтобы оказывать более сильное нежели прежде давление, избегая при этом создавать такую напряженность, которая может подтолкнуть противника к тотальной войне.

Таким образом, первый элемент всей комбинации будет заключаться в том, чтобы точно отмерить „критическую точку“, переступив которую противник предпочтет капитуляции тотальную войну...

Характерный прием: *политическая война*, то есть вмешательство во внутреннюю политику вражеской страны. Таким образом, идет атака непосредственно на нервные центры, от которых зависит капитуляция.

¹ Это понятие следует сопоставить с теми идеями, которые Поль Рейно, разделявший убеждения де Голля, развивал еще до войны, говоря о необходимости переосмысления французской армии и ее роли в международной политике: «Мы вступили в бескровную зону войны... Расхождение (между показателями военной промышленности Германии и Франции) — вот победы или поражения этой тихой войны... Дипломатическое отступление есть не что иное, как тень этих поражений на зеленом ковре международных совещаний» («Пари-Суар», 1 ноября 1937 г.).

(Людендорфф,* *тотальная война*: анимистическое сливание нации — важнейший фактор победы.)

3 решения:

Восстание заканчивается успехом. Цель достигнута. Новое правительство стихийно принимает навязанные условия.

Восстание имеет частичный успех (Испания, Палестина): гражданская война и интервенция.

Восстание терпит полный крах. В случае благоприятной международной обстановки: прямая интервенция (Судеты). В противном случае, умывают руки (убийство Дольфуса**).

Экономическая война:

Все та же коварность, но ее применение в ходе войны-мира не приносит решающих результатов. Дело в том, что тотальная война требует тотальной реорганизации всей экономики для удовлетворения порождаемых ею громадных потребностей. В этом случае необходимо свести к минимуму гражданское потребление и покрыть дефицит через импорт. Таким образом, в конечном счете это усилие может поддерживаться в состоянии необходимой интенсивности только в том случае, если государство обладает достаточными финансовыми ресурсами или кредитами и если оно располагает свободными путями сообщения... Эти соображения привели послевоенных теоретиков к тому, что в оценке „военного потенциала“ страны они стали придавать определяющее значение экономическим ресурсам... Эта идея лежала в истоке применения экономических санкций под эгидой Лиги Наций. Их применение против Италии завершилось полным провалом. Причины: экономические санкции могут возыметь эффект только против государства, которое вступает в конфликт, имеющий характер тотальной войны. Чего не было в данном случае: захват Эфиопии... представлял собой войну ограниченного характера... Италии не требовалось налаживать военную экономику... Санкции были применены к процветающей мирной экономике.

Наряду с блокадами — различные формы экономической борьбы (демпинг, и т. п.)...

Постоянное использование *военных сил*:

а) в форме угрозы,

б) вмешательство во внутренний конфликт с поддержкой одной из сторон,

в) прямые военные действия. Очень частые, но очень ограниченные и представляющие собой простые налеты, чаще всего неожиданные».¹

Прибытие в Морсбронн в 7 часов. Меня сразу посылают на телефонную станцию, большое помещение, где ходят взад-вперед наши офицеры, а также те, которых мы сменяем. Последние представляют собой наш вылитый образ: их дивизия организована в точности, как наша; вот этот лейтенант симметричен лейтенанту Пенато; этот полковник симметричен нашему полковнику, нет такой симметрии, которая бы здесь не присутствовала — даже в отношении нас, зондеров, толстый, краснорожий Фатти, в очках и с жеманным видом расплывшего бонвивана, другой — худой и бледный, с круглой бородкой. Мы с любопытством и враждеб-

¹ Помимо подготовки Франции к тотальной войне, в статье рекомендуется создать «мощный и исключительно наступательный экспедиционный корпус... отвечающий политическим целям, который, в отличие от оборонительной системы, должен быть постоянно наготове еще до того, как будет проведена частичная мобилизация. Таким образом, его действия могут осуществляться без всяких проволочек и, главное, без потрясений общественного мнения». Только так, заключает автор статьи, Франция может ответить на те «действия, посредством которых ее пытаются подавить». Это место, которое Сартр не переписал в своем дневнике, но о котором он думал (см. ниже), следует сопоставить с идеями Шарля де Голля. По мысли де Голля, Франция не смогла, к примеру, отреагировать на оккупацию Германией 7 марта 1936 г. демилитаризованной Рейнской области исключительно потому, что «не имела специализированного корпуса и, следовательно, возможности ответить сразу же, то есть до мобилизации или вообще без мобилизации, на эту оккупацию оккупацией левого берега Рейна». См.: *Gaule Charles de. Lettres, notes et carnets, 1919—juin 1940*. Paris, 1980.

ностью рассматриваем собственные образы. Смутное чувство солидарности с *нашими* офицерами против их офицеров. Впрочем, они очень несимпатичны. Один из них, лейтенант-краснобай, возвращается из Парижа и говорит полковнику: «Рад стараться, господин полковник! — А что говорят в Париже? — Говорят, что немцы уже их достали тем, что не атакуют, потому что так война будет длиннее; им все это не очень-то нравится. — Париж ночью, все огни потушены, и им хотелось бы, чтобы мы побыстрее сломали себе шею и все это закончилось. — В общем, — говорит один капитан — так мы и думали». Легкое чувство собственной значимости, потому что мне доверили этот грозный и звонкий аппарат с двумя десятками штекеров и гнезд. Но в сущности, полное дерьмо, так как в день бывает до 200 соединений, и у меня не останется времени на работу. Тревожусь: не оставят ли меня на этом посту? Уговариваю Поля протестовать: я ведь зондер, а не телефонист. Пишу это, сидя на стуле во время короткой передышки, а вокруг меня постоянное хождение взад-вперед.

Этот мир-война, о которой умно рассуждает ***, позволяет понять продолжение — то, что мы сейчас переживаем: войну-мир. Переход от одного к другому незаметен. И это объясняется двумя причинами: 1) Германия не *хотела* войны. Прежде всего она стремилась к этой форме международных отношений — мир-война — которые были для нее необычайно благоприятны. Она разыграла щекотливую партию в Польше и не смогла определить «критическую точку». Партия все время разыгрывается в плане «война-мир»; она отказывается от тотальной войны, потому что не хочет ее вести. 2) Но демократические сверхдержавы озабочены главным образом применением санкций. В сущности, они держатся за Женевское соглашение и за мирную политику санкций, как во время войны в Абиссинии. И там и здесь речь о том, чтобы наказать агрессора. Правда, наученные опытом войны в Эфиопии, они уже знают, что для плодотворного применения экономических санкций против какого-то

государства необходимо предварительно принудить это государство к подготовке к тотальной войне. Таким образом, французская армия на границе с Германией не имеет иной цели, кроме той, чтобы заставить Германию перейти к военной экономике, предназначенной для того, чтобы блокада была эффективной. Так что тотальная война остается призраком, приводимым в движение воюющими сторонами, как и во время мировой войны. И что делает Гитлер, когда угрожает нам высадкой в Англии, налетами на Лондон, и т. д., как не взывает к призраку тотальной войны? И беженцы, провинциалы, которые начинают привыкать к такой войне, боятся войны, настоящей войны, словно сейчас мир. Что же касается приемов, то они остаются прежними: военная сила остается поддержкой; экономическая война сопровождается войной политической, каждая из воюющих сторон рассчитывает на политическое возмущение в стане противника, которое избавит ее от применения собственных вооруженных сил. Остается возможность искать решения на отдаленных полях сражений, в странах, которые не защищены фортификационными барьерами, где будут сражаться экспедиционные корпуса. Если, к примеру, Румыния будет захвачена немецкой армией, а мы посылаем туда подкрепление. В этом случае война снова станет похожей на прежние конфликты (те, что были до 1914), когда, как говорит Жюль Ромен, *побежденный* решает, на самом ли деле он побежден, как, например, Россия, решившая после Цусимы, что Япония ее разгромила. То есть вот, что такое эта война: женевские и экономические санкции, с одной стороны, против мировой войны — с другой. Общая забота воюющих сторон заключается в том, чтобы не дойти до тотальной войны. Наша война кажется «странной войной», потому что это война, в которой противниками прежде всего движет забота не воевать.¹

¹ В письмах от 5 и 6 декабря Сартр с воодушевлением советует Симоне де Бовуар почитать «эту замечательную статью за под-

Среда, 6 декабря

Я мало-помалу разобрался с телефоном. В итоге все стало казаться мне магическим — все эти маленькие створочки, которые звонят, открываясь, эти штекеры, которые засовываешь в дырки и которые вызывают к жизни голоса, а главное — эти длинные разговоры, немым свидетелем которых я остаюсь. Меня это забавляло, у меня было странное ощущение могущества, я был подобен фокуснику, который сам поверил в свои штучки. Правда, дымила печка, и у меня страшно разболелась голова. В редкие моменты передышки я читал «Воспитание чувств» Флобера.* Как это неловко и несимпатично. Какая глупость, эти постоянные скачки от стилизации в диалогах и зарисовках к реализму. Жалкая история, запечатленная в мраморе. Через этот парнасский и тяжеловесный стиль проглядывает Золя. Впрочем, пока полнейший идиотизм: никаких впечатлений, никаких идей, никаких характеров, нет даже этих исторических замечаний, которые так удаются Бальзаку. Его описания не рисуют. Фраза тяжеловесна и скована, когда она хочет зацепить предметы, например, описать какую-то машину: «Стук растворялся в шуме пара, который, прорываясь сквозь листы железа, обволакивал все вокруг белесой дымкой, в то время как на носу беспрестанно звенел колокол». Этот стук *«растворяется»* — и как это пар может прорываться *сквозь листы железа?* «Палуба тряслась от какого-то внутреннего подрагивания. От? Он хочет сказать, что подра-

писью***, которая полностью прояснила для него причины и способы ведения этой войны». Таким образом, сам того не подозревая, он одобряет идеи, разделяемые политическим деятелем, которого почти вся пресса называет поборником войны (Поль Рейно), а кроме того одним полковником, дальнейшая судьба которого прекрасно известна (будущий генерал де Голль), хотя в это время, выступая против официальной военной доктрины и призывая превратить французскую армию в наступательную силу, он является объектом презрения и подвергается нападкам со стороны Генштаба.

гивание шло с боковин корабля и передавалось палубе. Банальность глаголов (чаще всего Флобер, не находя нужного слова, прибегает к анимистским метафорам: берега бегут, тюки поднимаются, стук растворяется). Часто он совершенно не к месту использует пассивные конструкции: «На ее спину *была накинута* шаль». Раздражающее употребление прошедшего незаконченного (которое предвещает Гонкуров), чтобы нарисовать картину и скрыть неприятную сторону *поступка* в некоем поэтичном повторе, который ничем не отличается от ухода в чудесное. «Мадмуазель Марта подбежала к нему и, повиснув у него на шее, тербила его усы». Что я назвал бы незаконченностью Вергилия: «*Ibant obscuri sub sola nocte*».¹ Самый типичный пример (мне кажется, что реминисценция из Вергилия просто паразитична — Нис и Эвриал²): «Фредерик накиннул половину своего пальто на его плечи. Они вместе укрылись им; и, положив руки друг другу на бедра, они шли под ним, бок о бок». Можно заметить, что прошедшему незаконченному всякий раз предшествует причастный оборот, относящийся к подлежащему. Тик стиля: запечатлевать в мраморе.

Пример неряшливости в глаголах: «Безжалостная энергия покоилась в его глазах». Вовсе не случайно, что Флобер изощрен в существительных и небрежен в глаголах: этот парнасец заботится о *зрелище* и пренебрегает *событием*. Событие остается для него скандалом: ненавижу движение, которое нарушает порядок линий. Но его фразы остаются колоссами на глиняных ногах: они рассыпаются на отдельные слова, так как не работают связки. Значение Флобера: его стиль знаме-

¹ «Они шли, темнея, в одинокой ночи» («Энеида», книга VI, стих 268. Сартр, цитируя по памяти, допускает небольшую неточность, в тексте: «*Ibant obscuri sola sub nocte*»).

² «Энеида», книга IX. Построение некоторых стихов (например, 182—183) немного напоминает построение приведенных флоберовских фраз: «Соединяла их одна любовь; и вместе они кидались в бой; А в этот день вместе несли дозор».

нует переход. Промышленная цивилизация эпохи Луи-Филиппа и социальные движения 48-го года побуждали говорить о вещах (машинах, инструментах и т. п.), а стиль, который находился в распоряжении Флобера, сложился в описаниях нравов и людей. Флобер пытается *переводить*. Ему надо говорить о предметах, сохраняя *выдержанность* стиля. Недостатки Флобера и приведут Гонкуров к их словотворчеству. В общем, Флобер, враг луи-филипповского буржуа, сам остается буржуа, и его искусство является продуктом промышленности 48-го года. Речь о промышленной буржуазии, которая испытывает любопытство к самой себе, к своей культуре, к своим занятиям, к людям и предметам, над которыми она царит, но которая хочет все это познавать через определенные культурные тики, через классическую форму. Последующее смягчение будет вульгаризацией, отказом от некоторых требований. Следует отметить, что исправления, которые по просьбе Флобера предлагает Максим дю Кам,* все как одно имеют консервативный характер, то есть нацелены на то, чтобы спасти чистоту формы. Флобер очень восприимчив к этому.

Самое худшее в «Воспитании чувств» то, что эту книгу может прочитать любой телефонист, который читает фразу, останавливается, возвращается к ней и т. д. В ней нет ничего, что рискует оборваться. С другой стороны, мне кажется, что непрерывное ее чтение должно наводить страшную скуку. Каждая фраза стоит особняком, и надо порядком потрудиться, чтобы оторваться от нее и перейти к следующей.

Выписываю здесь несколько примеров слабости в употреблении глагола Флобером:

«Он всегда был в раздражении и в этом возбуждении, одновременно искусственном и естественном, которое *образует* актеров».

«Его шляпа с загнутыми вверх полями издали *делала его заметным* в толпе».

«Он погружал свою душу в белизну этой женской плоти».

«Дома сменяли друг друга (что и следовало ожидать) вместе со своими серыми фасадами, своими закрытыми окнами».

«Он испытал словно бы какое-то проникновение во все атомы своей кожи». (!!!)

«Здания, которых не было видно, двоились темнотой».

Для многих молодых писателей характерна известная банальность прилагательных, которая, если существительное уже дано, позволяет угадать, угадать каким будет его качество. Например, долина всегда «смеющаяся». У Флобера прирожденная слабость глагола влечет за собой его банальность, что еще неприятнее от того, что существительное чаще всего уже содержит в себе значение действия, и глагол громоздится на подлежащем как огромный нормандский тюк. Например: «Дул легкий ветерок». А что еще делать ветру, как не дуть? Уж лучше, как Лоти,^{*} написать «легкий ветерок». Сам бы я, из отвращения, скорее написал: «был легкий ветерок», потому что в этом «был» есть какая-то расплывчатость и неопределенность, которая не предрешает никакого продолжения, и фраза заканчивается сильно. Другой пример из Флобера: «Его окутал влажный воздух». Еще один из объемных и бесполезных аппендиксов. Фраза Флобера всегда слабо заканчивается. И сколько грубых нормандских хитростей. Например: «Он видит себя на краю набережной».

Выше, двухлошадная коляска дожидается на вокзале Фредерика Моро: «Обе лошади не принадлежали его матери». То есть лишь одна из этих лошадей ей принадлежала, но Флобер не захотел написать столь тяжеловесную фразу. В результате чего он допустил еще более тяжкую неправильность мысли. Ведь «обе лошади не принадлежали его матери» — значит, что ни одна из них ей не принадлежала.

Типичный пример того, как фразы Флобера умирают в слабости из-за астении глагола:

«Необычайная способность, предмета которой он не знал, оказалась у него».

«Его лицо показывалось ему в зеркале».

Скрытое изнашивание этого мрамора: союзные слова, «когда», «в», «через» употребляются в расплывчатом значении связок (недостаток, который перейдет ко всем натуралистам и реалистам).

Пр.: «Он был охвачен одним из этих волнений души, *когда* вам кажется, что вы переноситесь в высший мир».

«Уличные фонари горели в две прямые линии».

И причастные обороты, которые значат что попало: «потому что», «хотя», «ввиду того, что», и т. п.».

«Сенекал, спрошенный, заявил... и т. д.».

«Пеллерен... думая найти аргумент...».

В сущности, большинство из этих обстоятельств заменяют глагол, то есть действие. Все время один и тот же изъян:

«Сенекала спросили, и он заявил, что...».

«Пеллерен подумал, что нашел аргумент и...».

«Восп. чув.», глава V: «Беседа была тягостной... он не находил стыка, чтобы ввести в нее свои чувства». Стык служит для соединения, а не для введения.

Довольно глубокое изменение с начала моего пребывания в Морсбронне. Прежде всего гостиница, где мы устроились, гораздо больше напоминает классическую штаб-квартиру военного времени, нежели наша мирная школа в Брумате. Здесь собраны все службы. Солдаты и офицеры спят в гостинице, полковник завтракает в одной из столовых — там же обедают офицеры, они сидят за круглым столом, покрытым клеенкой, где почти все время стоят их приборы с кольцами для салфеток, на которых они вырезали ножом свои номера. Гостиница, стоящая в уединении на краю дороги, —

она в полукилометре от Морсбронна — представляет собой зрелище накладывающихся друг на друга сторон войны и мира. Снаружи это еще гостиница — второклассная (кажется, что в Морсбронне лечатся в основном мелкие служащие: социальное страхование, кассы взаимопомощи и т. п.). Но стоит в нее войти, и тебя сразу поражает этот дух заброшенности и медленного гниения, свойственный эвакуированным домам. В комнатах пахнет плесенью. Они битком набиты военным снаряжением, тюками, плащ-палатками, вещмешками. Но все равно в них витает душок гражданской убогости. Под грубыми красными покрывалами толстые матрацы и отменная пружинная сетка, как и полагается для ревматиков. Грязные и рваные обои в цветочек имеют более гражданский, более индивидуальный вид, чем крашенные стены школы, куда военный социализм проник без всякого труда; комнаты напоминают — впрочем, впечатление это обманчивое — жалкие и темные гостиничные номера, в которых живут парижские рабочие. Секретарская комната, где находится телефон, и на самом деле стала каким-то совершенно особенным и индивидуальным объектом, в котором сливаются воедино эти различные смысловые пласты. Это прямоугольная и очень грязная комната, которая выходит на большую дорогу, возвышаясь над ней застекленной верандой. Деревянный потолок с выступающими балками резко скошен от середины к веранде. Он выкрашен белой краской, но из-за грязи выглядит скорее серым. Вечером веранду занавешивают покрывалами и ковриками, что создает впечатление Востока: шатер, звериные шкуры, лагерь — и пробуждает смутное, очень смутное впечатление какой-то татарской роскоши. К стене придвинули сервировочный стол, дубовый шкаф с зеркалом и низкий комод в стиле Буля* с мраморной столешницей. Очень мрачный натюрморт и реклама: Сузы, Мандарен, Лития, Перно-сын, Дюбонне, столовая вода Карола, Дольфи. В позолоченной раме, под стеклом, на белой бумаге — «Лансон-отец и

сын. Реймс». А сверху на гвозде висит черная грифельная дощечка, на которой мелом написано: «Дежурный: Мистлер — Плантон: Ханзигер». Посередине комнаты большая немецкая нюрнбергская печь. Рядом с окнами веранды стоят семь прямоугольных столов с пишущими машинками, картотеками, папками: штаб. Но у последнего стола есть еще маленький круглый столик, покрытый красной с белым скатертью. На столе стоит большой бокал с искусственными цветами, что-то вроде ирисов, сам вид их вызывает в мыслях ресторан. Ресторан завсегдаев, с хорошей буржуазной кухней. У стены, возле двери, вешалки. На крючках висят противогазы, плащ-палатки цвета хаки. Пять лампочек, прикрытых газетами, бросают на все это приглушенный и какой-то семейный свет. Я забыл о двух странных предметах, они оба механические, но относятся к механике так, как Арлекины Пикассо относятся к людям: телефонные провода, которые жалко свисают с потолка, как жесткая засаленная шевелюра, и — посередине этого сюрреалистического потолка, ведь надо принять во внимание время года и трудности, которые мы испытываем, чтобы согреться, — вентилятор, который безжалостно начинает работать всякий раз, когда кто-то включает или выключает свет. Близость офицерской столовой наполняет комнату нежным ароматом пищи.

«Тогда он мне сказа-а-а-л...». И Петер с важным видом повторяет «рассказни» кого попало. Я в этом видел лишь важничанье, но сегодня, когда он наклонился ко мне, чтобы доверительно сказать: «Знаешь, я встретил Дюбуа. Мы поболтали. Он мне сказа-а-а-л», — меня осенило. Он совершает социальный ритуал. Он воспринимает «рассказни» и любит их, потому что от них пахнет человеком. Относятся ли они к жалобам конторщика или к тому, как готовится эльзасская колбаса, рассказы являются человеческими рассказами, и он осуществляет свою функцию человека, разнося их от одного к другому. Таким образом, есть

два вида человеческого приобщения: одно, которое имеет место, когда «рассказы» рассказываются, второе, когда они разносятся. Он говорит: «Дюбуа мне сказа-а-а-л...», — и его голос теплеет, он хлопает своими густыми ресницами, и он счастлив.

Он достал меня сегодня утром, потому что ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы все солдаты, которых он видел, были из 109-го, потому что у него дружок в 109-м. В ресторане, показывая на солдата с охотничьим рогом в петлицах: «Да посмотри же, — говорит он с возбуждением, — это 109-й, точно тебе говорю 109-й». Он все время хочет *узнавать*: людей и вещи. И если не получается, то он все равно найдет какое-то косвенное отношение между ними и собой. Так он улыбается миру, приветливо открывается событиям, утверждает свой оптимизм.

Сегодня он болеет, наш ангелочек, сложил свои крылышки, у него кружится голова. Он засовывает подбородок в воротник шинели, и вид у него совершенно изумленный и совершенно невинный. Он не верил в Зло, ни в то, что можно так страдать. Впрочем, он совсем не страдает. «У моего отца под конец было то же самое, бедный отец. Он со мной разговаривал, а потом секунд на тридцать отворачивался и ничего не говорил или просто: Ох, что-то сердце пошаливает! А потом возвращался к разговору как ни в чем не бывало. — А что с ним было? — Грудная жаба». И глядя на меня: «О, я точно знаю, что у него болело больше, чем у меня. Но... — Но у тебя-то не болит? — Нет. У меня кружится голова».

Везде — в школах, на почтах и в мэриях, где есть мужские и женские туалеты, офицеры забирают себе женские, сверху надписи W.C. пишут «Офицеры». Это придает им видок барышень, который так хорошо подходит к их форме, к их перетянутым талиям. Я охотно допускаю, что офицеры — это женский элемент армии. И что мы, шершни, в наших грубых башмаках и окоченевшие, мы — это самцы. Но Петер благочестиво

ходит в туалеты для офицеров, вот ведь как много нежности в его сердце и его толстой заднице.

Походная кухня остановилась в двухстах метрах от гостиницы, но полковник Делинь потребовал, чтобы она отъехала подальше, потому что вид солдат с котелками отбивал у него аппетит.

Я этого не писал в Брумате. В «Раке» был один солдат, маленького роста, с видом двоечника, бледным лицом с торчащими ушами, который упорно и безнадежно повторял: «Когда мой отец вернулся в 1916-м, меня толкали в его объятия, мне говорили: Вот твой папа, а я думал: Кто это такой? Теперь моя очередь, с моим сыном будет то же самое, он меня не узнает. С ним будет то же самое, то же самое».

Я забыл о следующем, по поводу рассказней Петера. Его зачаровывает и переполняет чувством восхищенной и будто бы мистической важности как раз это «люди говорят». Всегда и повсюду Петер любит человека в форме *людей*. *Люди* живут, *люди* говорят, *люди* умирают. Передавая, что говорят *люди*, он служит обедню своей неподлинности. Петер, или ангел неподлинности.

Четверг, 7-е

Необходимо начать приводить в порядок мои идеи о морали.

Вопрос первый: мораль это система целей; то есть с какой целью должна действовать человеческая-реальность? Единственно возможный ответ: это самоцель. Никакой иной цели у нее и быть не может. Прежде всего отметим, что цель может быть положена лишь бытием, которое есть не что иное, как его собственные возможности, то есть которое себя проецирует в эти

возможности в будущем. Ведь цель не может быть ни совершенно трансцендентной в отношении того, кто ее полагает как цель, ни совершенно имманентной. Будучи трансцендентной, она не была бы *его* возможностью. Будучи имманентной, она относилась бы к области мечты, но не воли (смотрите этот же самый дневник от 23 ноября). То есть связь субъекта действия с целью предполагает некую связку в духе «бытия-в-мире», то есть человеческое существование. Моральная проблема является собственно человеческой проблемой. Она предполагает ограниченную волю — она не имеет смысла вне ее — у животного или божественного духа. Но кроме этого цель обладает совершенно особым экзистенциальным типом: она не могла бы быть заданной от лица сущего, в противном случае она сразу бы перестала быть целью. Но она не может быть и чистой виртуальностью в смысле обыкновенной трансцендентной возможности: тогда она потеряла бы свою привлекательность. Она обладает преисполненным и *грядущим* существованием, которое из грядущего приходит к человеческой-реальности, требуя от нее собственной реализации в настоящем. Отсюда следует, что некое вечное и трансцендентное существование наподобие Бога или божественной воли ни в коем случае не могло бы быть целью для воли человеческой. Напротив, человеческая-реальность может и должна быть целью для самой себя, поскольку она все время находится *на стороне* будущего, она является своей собственной отсрочкой.

Однако человеческая-реальность повсюду ограничивает саму себя, и какова бы ни была цель, которую она себе полагает, эта цель всегда сводится к ней самой. Мир познается лишь через технику, культуру, удел; и в свою очередь мир, который так понимается, обнаруживает свою человечность и отсылает к человеческой природе. Эти ядовитые цветы, которые Сент-Экзюпери видит со своего самолета и которые вычерчены ветром на море, их ядовитость он воспри-

нимает исключительно через свое ремесло пилота. Но опять же, ядовитость возвращает ему набросок человеческой реальности, ведь ядовиты они для человека. Я когда-то написал в «Тошноте»: «Существование — это толща, которую человек покинуть не может». Я себе не противоречу. Но следует добавить, что эта толща человечна. Человеческое — это экзистенциальная толща, которую человеческая-реальность обнаруживает на необозримом горизонте. Человек повсюду обнаруживает свой проект, он *не* обнаруживает ничего, *кроме* своего проекта. В этом отношении самое сильное, что можно сказать по поводу морали без Бога, это то, что всякая мораль человечна, даже теологическая мораль, всякая мораль — в замысле человеческой-реальности, даже мораль Христа. Но это не означает *ни* социального утилитаризма, *ни* индивидуализма, в котором индивид самого себя воспринимает как цель, *ни* ползучего гуманизма, в том смысле, что *люди*, единичные частички человечества, являются целью для человека. Это означает лишь то, что человеческая-реальность относится к такому экзистенциальному типу, при котором ее существование конституирует ее в качестве ценности, подлежащей реализации через свободу. Это и выражает Хайдеггер, говоря, что человек — это бытие далеких далей. Но следует уяснить, что это бытие-ценность, которое нас конституирует в качестве ценностей наших горизонтов, не сводится ни к вам, ни ко мне, ни к людям, ни к сложившейся человеческой сущности (в смысле *аристотелевского* эвдемонизма), речь идет о подвижной отсрочке самой человеческой-реальности (разом — и без всякого различия — я, вы и все). Человеческая-реальность существует в собственном замысле. Речь идет о той самой *самости*, с ее собственным типом существования (в виде того, что ее ожидает в будущем как то, что подлежит реализации через свободу), которая и является *ценностью*. Для человеческой-реальности не существует иных ценностей, кроме челове-

ческой-реальности. И мир является тем, что отделяет человеческую-реальность от ее замысла. Без мира нет никаких ценностей. Мораль — это сугубо человеческое дело, она не имеет никакого смысла для ангелов или Бога. Следует быть отделенным от самого себя, следует чего-то хотеть, следует быть ограниченным, чтобы существовала моральная проблема. Кант говорил о голубе, который думает летать выше и лучше, если убрать воздух, в котором он летает. Он применяет образ к употреблению категорий. В этом плане много чего можно было бы сказать. Но образ обретает всю свою силу, если его применить к морали: человек полагает, что он был бы *более* моральным, если был бы освобожден от своего человеческого удела, если был бы Богом, если был бы ангелом. Он не отдает себе отчета в том, что мораль и ее проблемы испарились бы вместе с его человечностью.

Но если человеческая-реальность является самоцелью, если мораль — это закон, который *через* мир регулирует отношение человеческой реальности с собой, то отсюда прежде всего следует, что человеческая реальность отчитывается в своей моральности исключительно перед собой. Достоевский писал: «Если Бога нет, тогда все позволено». Это великое заблуждение трансцендентности. Существует ли Бог или не существует, мораль — это такое дело, которое решается «промеж людей», и Богу не следует совать сюда свой нос. Напротив, существование морали не только не доказывает существования Бога, но и держит его на расстоянии, ведь это персональная структура человеческой реальности. Кроме того, отсюда вытекает, что для определения предписаний морали не существует другого метода, кроме определения природы человеческой-реальности. Здесь следует поостеречься и не совершить той ошибки, которая получается, когда ценность выводится из фактичности. Ведь человеческая-реальность не является фактичностью.

Характеристика человеческой-реальности, с той точки зрения, которая нас здесь занимает, заключается в том, что она мотивирует саму себя, не являясь при этом своим основанием. То, что мы называем ее свободой, заключается в том, что если она не мотивирует самое себя, то ничего с ней и не бывает. *Извне* с ней никогда ничего не может произойти. Это объясняется прежде всего тем, что человеческая реальность — это сознание, то есть нет в ней ничего такого, чего она не создала бы. Она мотивирует свою собственную реакцию на идущее извне событие, и событие в ней есть не что иное, как эта реакция. Впрочем, она открывает мир исключительно через эти реакции. То есть она свободна в том смысле, что целиком и полностью в ответе за эти реакции и тот способ, которым является ей мир. Однако полная свобода может существовать только для такого бытия, которое является собственным основанием, то есть несет ответ за свою фактичность. Фактичность есть не что иное, как тот факт, что в мире ежесекундно есть человеческая реальность. Это *факт*. Он, как таковой, ни из чего не выведен и ни к чему не сводится. И мир ценностей, необходимость и свобода — все это подвешено на этом первобытном и абсурдном факте. Рассмотрев любое сознание, мы не найдем в нем ничего, за что бы оно не было в ответе. Каждое сознание несет в себе сознание ответственности за себя и сознание того, что не оно является причиной собственного бытия. Эта фактичность не вовне, но она и не внутри. Речь идет не о пассивности созданного и поддерживаемого объекта и не о полной независимости некоей *ens causa sui*. Если повнимательнее взглянуть на эти вещи, то становится ясно, что фактичность не означает того, что сознание имеет свое основание где-то помимо себя, например в Боге — ведь всякое трансцендентное основание сознания, порождая его, убило бы сознание собственными руками. Просто-напросто дело в том, что сознание существует *без* основания. Речь идет о своего рода присущем сознанию

ничто, которое мы будем называть беспричинностью. Эта неощутимая беспричинность бытует здесь, простираясь через все сознание — нигде и повсюду. Эту беспричинность можно было бы сравнить с падением в мир, а мотивацию сознания — со своего рода ускорением, которое падающий камень волен задавать самому себе. Иначе говоря, скорость падения зависит от сознания, а не от самого падения. Как раз на уровне беспричинности и возникает для сознания возможность смерти. Исходя из этого, ее нельзя считать одной из его возможностей, ни его самой сокровенной возможностью, как полагает Хайдеггер. Вместе с тем это и не внеположная ему возможность. Смертность сознания составляет единое целое с его фактичностью. Вследствие чего сознание, которое не может *помыслить* свою смерть, ведь оно еще мыслит ее как смерть сознания, экзистенциально замыкает ее в самом себе на том самом уровне ничто, которое простирается из края в край сознания. Нет бытия-для-умирания в хайдеггеровском смысле, однако по каждому сознанию гуляют Ничто и смерть, а оно даже не имеет возможности повернуться к этому ничто, чтобы посмотреть ему в лицо.

Собственная структура сознания заключается в том, что оно бросается прямо в мир, чтобы ускользнуть от этой беспричинности. Но оно бросается в него по собственному замыслу, чтобы стать в будущем своим собственным основанием. Сказать, что человеческая-реальность существует по собственному замыслу, значит сказать, что сознание бросается к будущему, чтобы стать там своим собственным основанием. То есть что оно проецирует по ту сторону мира, на горизонте, некое свое будущее, имея иллюзию, что когда оно станет этим будущим, оно будет им как свое собственное основание. Эта иллюзия имеет трансцендентальный характер и происходит оттого, что сознание, свободное основание своих возможностей, является основанием своего грядущего бытия, не имея возможности

быть основанием своего настоящего бытия. В самом деле, это *грядущее* бытие, как мы уже видели, не обладая через отношения с сознанием трансцендентностью некоей реальной возможности в отношении какой-то вещи, тем не менее затронуто нозматической трансцендентностью. Выходит, что грядущее бытие сознания перестает быть бытием сознания. И, следовательно, оно полностью релятивно в его отношении. Именно это и называют волей. И мое описание смыкается здесь с тем, что я писал в четверг 23-го и в пятницу 24-го. От сознания ускользает здесь как раз то, что, когда это будущее становится настоящим, пусть даже оно будет в точности таким, каким оно *должно* было быть, оно будет сознанием и, следовательно, будет извлекать свои мотивации из самого себя, хотя по нему гуляют беспричинность и ничто.

Таким образом, первичной ценностью и первичным предметом воли является следующее: быть своим собственным основанием. Что следует понимать не как тщетное психологическое стремление, а как трансцендентальную структуру человеческой-реальности. Есть первоисходное падение и усилие, направленное к искуплению, и это падение вместе с этим усилием составляют человеческую-реальность. Человеческая-реальность является моральной, потому что она хочет быть своим собственным основанием. И человек — это бытие далеких далей, так как лишь в качестве возможного он может быть своим основанием. Человек — это бытие, которое бежит в будущее. Во всех своих начинаниях он стремится не сохранить себя, как это часто говорилось, не вырасти, а себя основать. И в конце каждого из начинаний он вновь встречается с собою прежним: беспричинным до мозга костей. Отсюда пресловутые разочарования, которые приходят после какого-то усилия, после торжества, после любви. Отсюда идет усилие творца, отсюда, как самое низкое проявление этого желания, чувство собственности (в двух последних случаях имеет место быть перенос на объекты:

сотворенный объект символически представляет основанную на самой себе человеческую-реальность. *Обладаемый* объект символически представляет владеющую собой человеческую-реальность. Любовь — это усилие человеческой реальности, направленное к тому, чтобы стать собственным основанием в другом). Отсюда глубинный исток чувства обладания *правами*: право состоит в том, что оно прикрывает фактичность человеческой реальности, схватывая нас как существующее-которое-существует-потому-что-оно-имеет-право-существовать. Но это схватывание самих себя в виде существующего по праву может осуществляться лишь в отношении отдельных объектов, на которые, как мы полагаем, у нас есть права.

Таким образом, источником всякой ценности и высшей ценностью является субстанциональность, или природа бытия, которое является своим собственным основанием. Эта субстанциональность входит в состав человеческой природы, правда, как проект, как конституирующая ценность. И человеческая реальность отличается от чистого сознания в том, что она проецирует перед собой некую ценность: она является сознанием, которое мотивирует себя в направлении этой цели.

Жизнь — это трансцендентный и психический объект, построенный человеческой-реальностью в поисках своего собственного основания.

Тем не менее эти поиски абсолюта являются также бегством от самого себя. Обосновать субстанциональность для будущего значит убежать от данной в настоящем беспричинности. Человеческая-реальность теряет себя, пытаясь себя обосновать. *Жизнь*, которая из нее выделяется, является целостностью лишь с лица, с изнанки ее разъедает смерть, *право* — это отвратительная ложь, любовь отрицает себя через *ревность* или постижение невозможности стать для другого основанием человеческой реальности. Человеческая реальность остается пленницей своей собственной ничем

не оправданной фактичности, остается вместе с ней на горизонте своих поисков, повсюду.

Тогда случается, что она изведывает усталость и освобождается от мук свободы, приводя в оправдание свою фактичность, то есть человеческая-реальность пытается скрыть от себя тот факт, что она навсегда обречена быть своей собственной мотивацией из-за того, что она не является своим собственным основанием. Она расслабляется, превращается в вещь, отказывается от своих возможностей, они перестают быть ее *собственными* возможностями, она схватывает их как внешние возможности, аналогичные возможностям вещей. Например, в прошлом году война могла каждому показаться внешней возможностью, неким механическим взрывом, который был неподвластен отдельной человеческой-реальности, как неподвластна катящемуся шару складка ковра, которая его остановит. Это состояние мы будем называть мятущейся человеческой-реальностью, так как она реализует себя тем, что мечется между различными возможностями, как доска, которую кидает от одной волны к другой.

Но само это состояние является неподлинным. Ведь человеческая-реальность из-за усталости скрывает от себя тот факт, что она обречена мотивировать саму себя. И она, скрывая это, мотивирует саму себя. Она самоустраняется, делается вещью, но все же она сама реализует это самоустранение. И даже это самоустранение является всего лишь эпизодом в ее поисках субстанциональности. Она самоустраняется, чтобы избежать принуждения со стороны ценностей, чтобы реализовать субстанциональность каким-то иным способом и т. д. и т. д. Например, она отказывается взять на себя ответственность за какое-то событие под тем предлогом, что она в принципе его не принимает. С этой точки зрения тип мятущегося сознания воплощается в Поле, когда он говорит мне: «Я солдат? Я смотрю на себя как на гражданское лицо,

переодетое в военную форму». Это было бы очень хорошо, но ведь, что бы он ни говорил, он делает себя военным человеком — через свои желания, свои восприятия, свои эмоции. Военным, то есть тем, кто принимает на свой счет приказы вышестоящих, чтобы их выполнять, потворствуя этому всем своим существом, вплоть до рук, которые держат винтовку, вплоть до ног, которые маршируют, — военным в своих восприятиях, своих эмоциях, своих желаниях. Выходит, что он изо всех сил старается *убежать* от того, что он *с собой делает*, это и повергает его в состояние жалкой и рассеянной тревоги.

Именно это жалкое состояние и может стать мотивом к тому, чтобы сознание возвратилось к верному видению самого себя и перестало от себя убежать. Для него не может быть и речи о том, чтобы искать какую-то другую ценность, кроме субстанциональности, в противном случае оно перестанет быть *человеческим* сознанием. Ценность, которая будет диктовать ему новую позицию, остается главной ценностью: быть своим собственным основанием. Оно точно также будет продолжать утверждать эту ценность и хотеть ее, как когнитивное сознание Гуссерля продолжает после *ἐποχή*¹ полагать мир. Как раз в этом первичном порыве к субстанциальности человеческая реальность и должна черпать тот мотив-ценность, который позволит ей заново овладеть собой. В самом деле, мятущееся сознание может совершенно свободно захотеть реализовать во всецелой подлинности свое усилие, направленное к самообоснованию. И не оттого, что подлинность изначально является ценностью и превосходит неподлинность, а, скорее, наподобие того, как мы исправляем какое-то неловкое и неэффективное усилие, очищая его от всех бесполезных и сопутствующих жестов. Таким образом, подлинность — это ценность, но не первичная, она выступает средством

¹ Эпохэ — термин Гуссерля.

достижения субстанциональности. Она упраздняет в поисках то, что является *бегством*. Но, естественно, эта ценность подлинности лишь *предлагается*. Только сознание может найти в себе мотивацию к этому превращению.

Что же это за превращение? Поиск основания требует того, чтобы мы *брали на себя* то, что мы основываем. Если действие обоснования предшествует существу, которое обосновывают, как в случае творения, тогда допущение априорно содержится в действии обоснования. Но если речь идет, как в том случае, который нас здесь занимает, об усилии обосновать то, что фактически уже существует, допущение должно предшествовать обоснованию, как интуиция, обнаруживающая *то, что* мы обосновываем. Взять на себя ни в коем случае не означает принять, хотя в некоторых случаях то и другое неразрывно связаны. Когда я беру на себя, я беру на себя *для* того, *чтобы* осуществить данное применение тому, что я беру на себя. Здесь я беру на себя, *чтобы* обосновать. Кроме того, взять на себя означает принять на свой счет, требовать от себя ответственности. Таким образом, допускаемое превращение, которое выступает ценностью для сознания, является не чем иным, как интуицией воления, которая заключается в принятии на свой счет человеческой-реальности. И в этом принятии человеческая реальность открывается самой себе в акте не-тематического постижения. Она открывается не в том смысле, что мы ее познаем через понятия, а в том, что мы ее *волим*.

Если допущение выступает ценностью подлинности, объясняется это тем, что оно уже заведомо существует. В общем, ценность предписывает человеческой свободе делать то, что она делает. Сознание мотивирует само себя, оно свободно, за исключением того случая, когда прибегает к свободе больше не быть свободным. Мы видели, что оно отказывается от своих возможностей лишь тогда, когда приобретает

другие возможности. Оно может *свободно сделать себя* похожим на вещи, но оно не может *быть* вещью. Все, что в нем есть, есть в нем благодаря ему. Все, что с ним происходит, должно происходить с ним только благодаря ему, это закон его свободы. Таким образом, первое допущение, которое может и должна сделать человеческая-реальность, обращаясь к самой себе, является допущением свободы. Что может быть выражено в следующей формулировке: *у нас никогда нет никаких извинений*. В самом деле, можно вспомнить, что мятущееся сознание было сознанием, которое *извинялось* своей фактичностью. Но нужно понимать, что фактичность тут ни при чем. Да, это в силу фактичности я брошен в войну. Но то, чем станет для меня война, лицо, которое она мне откроет, что со мной самим станется на войне и для войны — мое бытие во всем этом зависит только от меня, и я за это в ответе. Есть тут нечто нестерпимое, но на это нельзя жаловаться, ведь это все равно не уловить, речь идет об этой обязанности *взвалить себе на спину* то, что со мной происходит. Именно это наверняка и породило религиозное понятие *испытания*, ниспосланного мне с Небес. Однако, отказываясь от извинения и беря на себя свою свободу, я с ней осваиваюсь. Разумеется, дело не только в том, чтобы *признать*, что у нас нет никаких извинений, но и в том, чтобы по-настоящему *хотеть* такого положения вещей. Все мои трусости, все мои глупости, вся моя ложь — я все это несу на себе. И не следует говорить наподобие святого: «Это уж слишком, Господи, слишком». Никогда ничего не бывает слишком. Ведь в тот самый момент, когда я даю себе послабление, когда тело «*верховодит надо мной*», когда, испытывая физические страдания, я признаюсь в том, что хотел сохранить в тайне, я решаю в этом признаться исключительно в силу свободного сознания своего страдания, исключительно благодаря себе. Жюль Ромен говорит, что в прежних войнах сам побежденный решал, побежден он или нет

(ведь это были не тоталитарные войны, и он располагал еще ресурсами в людях, в оружии, в богатстве). Так вот, сходным образом именно на меня возлагается страшная ответственность признать себя побежденным, и где бы я ни остановился, это я решил, что не могу идти дальше, то есть я мог бы пойти чуть-чуть подальше. Но если я признаю и если я хочу не иметь извинений, моя свобода становится собственно *моей*, я навсегда беру на себя эту страшную ответственность.¹

Очевидно, что допущение моей свободы должно сопровождаться допущением моей фактичности. То есть, я должен ее хотеть. И, наверное, хотеть ее, *чтобы ее обосновать*. Но мы еще увидим, что с ней будет. Что значит хотеть своей фактичности? Прежде всего это значит признать, что у тебя нет никаких прав и никаких извинений. Я не признаю за собой никакого права на то, что со мной произойдет что-то другое, нежели то, что со мной происходит. И опять же я лишь хочу того, что есть. Все, что со мной происходит, обладает двойным характером: с одной стороны, это мне *дано* в силу моей фактичности и моей беспричинности — и, как бы то ни было, это опять же слишком в отношении того,

¹ В этих нескольких страницах сосредоточена самая суть философской концепции свободы, как она будет изложена в «Бытии и Ничто». Можно заметить, что Сартр еще не пришел к термину *для-себя*, которым будет обозначать потом бытие сознания (которое не имеет в себе своего собственного основания), ни к оппозиции «в-себе — для-себя» (бытие Бытия — бытие сознания). Обращение к вопросу о Бытии еще не представляется ему необходимым в рассмотрении возможности морали. Речь только о том, чтобы определить условия всякого человеческого поведения. Отметим тем не менее, что переписывая для Симоны де Бовуар часть того, что он здесь написал, Сартр заменит фразу: «Таким образом источником всякой ценности и высшей ценностью является субстанциональность или природа бытия, которое является своим собственным основанием» на следующую: «Таким образом первичная ценность, конституирующая человеческую Природу, и источник всех ценностей заключается в том, чтобы быть-для-себя-своим-собственным-основанием» (письмо от 9 декабря).

что мне должно, поскольку само мое существование *дано* — и, с другой стороны, я за это в ответе, поскольку я мотивирую самого себя это открывать, как отмечал выше. Следовательно, у меня нет никакого *права* на то, чтобы это совсем со мной не произошло. Например, для войны...¹

¹ Дневник IV (от 8 до 16 декабря) отсутствует. См. Приложение II.

ДНЕВНИК V

Декабрь 1939 г.

Морсбронн

«...И немного почесали голову. Самое главное, чтобы поспать, поесть и не мерзнуть. Это все. О чем-либо другом думать невозможно... Все, что я представлял себе по рассказам и книгам, не дотягивает до реальности. Мы и в самом деле звери. Просто невероятно.

Я пытаюсь вести свой дневник как можно лучше, но это нелегко. Запишу все позже, в любом случае я ничего не забуду из того, что сейчас делаю и вижу.

Когда я думаю, что есть люди, которые сейчас сидят в кафе и ресторанах, одеты в гражданское, во все чистое, что они будут спать в своих постелях, мне смешно и совсем не завидно, я не думаю, что такое может быть со мной, и если бы мне предложили по мановению волшебной палочки перенестись на их место, я бы согласился, но скептически пожав плечами и не испытав никакого энтузиазма. Я еще никогда не был в подобной ситуации».¹

¹ Письмо Жака-Лорана Боста (из армии) к Симоне де Бовуар, которая переслала его Сартру 11 декабря. Это письмо напугало Бобра, которая смотрит на Боста как на привидение, «нездешнее и пропащее». Сартр не разделяет ее мнения: утрата интереса к гражданской жизни со стороны молодого человека кажется ему оборотной стороной его громадного интереса к новой жизни.

У Петера уже две недели сохнут губы вследствие, как ему кажется, легкого расстройства желудка. Он их постоянно облизывает, чтобы немного увлажнить. По крайней мере, сначала с такой целью. Но мало-помалу это вошло в привычку и стало для Петера настоящим развратом. Он облизывает себе губы, чтобы себя касаться, вроде того как мальчики щупают себя через штаны, он убажает себя этим мягким соприкосновением со слизистой как какой-нибудь сладостью. Не переставая вас слушать, не переставая даже с вами говорить, он принимает отсутствующий и чувственный вид и, вытягивая трубочкой верхнюю губу, он затягивает нижнюю губу в рот, как развратник затягивает к себе домой маленькую девочку, он вдыхает ее, увлажняет и, подчиняясь его зову, губа набухает и углубляется в его рот, громадная и разбухшая — и там только Богу известно, что он с ней вытворяет, языком и трепетными ласками, он также ее слегка покусывает. Но главное из его удовольствий это, как я думаю, самое примитивное сладострастие, мление обнаженной слизистой, которая распускается, прилипает к другой слизистой, как слипаются друг с другом две сушеных смоквы — и наслаждение передается от одной слизистой к другой, как густая смазка, через слияние. Но чтобы наслаждение было полным, следует, чтобы оно сопровождалось шумом. Петер всегда окружен множеством мелких шумов, сухих или мягких, мелодичных и жалостливых или немного хриплых, которые составляют своего рода непрерывное и ангельское песнопение его углубления в себя. Пока он мастурбирует свою губу, он издает тысячу вязких причмокиваний, напоминающих сладострастное сосание, лакание, «мям-мям» младенца, пыхтение самца, занятого своим делом, и довольные хрипы удовлетворенной женщины, а потом губа выходит наружу, непристойная и размякшая, блестящая слюной, она немного свисает, громадная и бабская,

томная от счастья. Когда я за ним наблюдаю, когда я вижу на его лице этот отсутствующий и плутоватый вид порочного и избалованного ребенка, он меня почти пугает органической и инфантильной глубиной своего нарциссизма. За этой игрой он заработал себе большую белую бляшку, которая сияет внизу его нижней губы и из-за которой сегодня утром он так страдает. Он еще немного облизывается, потому что абсолютно неспособен взять себя в руки и прервать свои утехы, правда, уже осмотрительно, без всякого удовольствия.

Петер пригласил товарища, коммивояжера, который по случайности оказался со своей частью в 3 километрах отсюда. Он стрелок, и там ему, похоже, не очень-то весело. Петер оставляет нас на минуту, и тот говорит мне с убеждением, от которого звук его голоса понижается на три тона: «А, его отец! это был настоящий светоч! Какой умище!» Он вперяется в меня неотвязным взглядом, который требует, чтобы я решительно согласился, что я наверняка и сделал бы, если бы знал отца Петера. Что тут поделаешь? Я говорю: «Да, да. Он мне рассказывал...», — вкладывая в свои слова столько уважения, сколько могу испытывать к мнению Петера. Но этого явно недостаточно. Тот опять за свое: «Ты мог бы задать ему любой вопрос. У него было такое умение договариваться(?), какого я не знал ни за кем, кроме него. Могу сказать, что это один из тех людей и даже, так сказать... единственный человек, которого я встречал в своей жизни. И потом, силач. Видишь этот стол, так вот он бы вдарил по нему, и тот ушел бы в землю. А если бы он принялся бить кулаками в стену, я это видел, говорю тебе, я был еще маленьким: то стена бы рухнула!»

Мне нравится представлять себе этого легендарного отца, смотря на его сына, этого толстого сладострастного ангелочка. Он был поляком, они жили под русскими, и году в 1898 он служил в кавалерийском эскадроне. Один лейтенант дал ему пощечину, служить оставалось с месяц, но отец Петера так ему ответил, что уложил на месте.

Он попал под трибунал, но военный врач, который по-дружился с Петером (отцом), предложил ему: «Помочь тебе, идиот ты несчастный, можно тем, если я скажу, что у тебя лопнула перепонка, тогда я мог бы заявить, что пощечина повредила тебе ухо и ты действовал будучи в невменяемом состоянии». Петер отец возвращается в казарму, берет нашатырь и вливает себе в ухо. Вследствие чего военные власти предпочли замять дело, и солдат Петер был отпущен на свободу с пенсией. В 1900 году он обосновался в Париже, мой Петер родился там в 1902-м. Они жили на улице Розье, и мальчишка ходил в школу на площади Вогезов; его товарищи были крутыми ребятами, мечтавшими о том, как потом они будут кружить на улице Лапп и царить над проститутками. «А, эта улица Лапп, — охотно говорит Петер — теперь она уже не та. Вот были мужики». И часто за два су он караулил на площади Вогезов, пока главари с Бастилии играли в сквере в фараона, держа на коленях подстилку. Война мало-помалу разбросала этих знаменитостей, и дружки Петера нацепили мировые кепки и стали изображать из себя взрослых; у тех, что постарше, уже были одна или две женщины, которые на них работали. Петер ходил за ними по борделям, где они пытались повышать голос. Время от времени случался мордобой. Все это, в особенности поначалу, украшало для меня это толстое тело некоей поэтичностью, которой оно совсем не заслуживало. Прежде всего Польша и схожая судьба еврея Б.¹ и еврея Петерковски. Схожая, но на разных уровнях. Б. покидает Вену и оставляет свои занятия медициной, вызванный в Париж одним своим кузеном ювелиром и, после смерти последнего, вместе со своими братьями берет руководство крупным ювелирным делом. Петерковски устраивается в Париже на улице Розье и с трудом налаживает торговлю, затем переезжает на улицу Фобурдю-Темпль. Есть тут уж не знаю какая еврейская и

¹ Имеется в виду отец Бьянки.

польская судьба, которую я уже ощутил через Бьянку и которая меня немного волнует в Петере. Вначале, когда верили, что война это серьезно, Петер, как всегда осторожничая, говорил: «Меня зовут Петерковски, но лучше пусть меня называют Петер, потому что, если я попаду в плен, и немцы узнают, что у меня польская фамилия, они меня сразу же растерзают». Кроме того, я ощущаю вокруг него весьма своеобразную поэзию парижского квартала, который я люблю наряду с другими его прекрасными кварталами. Сколько раз я бродил вместе с Бобром, с Вандой, с Ольгой, с Бьянкой, с маленьким Бостом по улице Фран-Буржуа, по улице Вьей-дю-Темпль, по улице Риволи, за лицеем Карла Великого, по улице Розье. У меня об этом сотни воспоминаний, маленькое темное кафе на улице Розье, напротив старьевщика, торгующего прямо на улице, там я пил ром вместе с Вандой, тяжелый летний день, когда я гулял, по возвращении из Лаона, с Ольгой по этим узким и темным улочкам и когда мои чувства к ней еще не умерли. А еще: 14 июля, смертельно скучный вечер с Ф., когда я обнаружил ночью, недалеко от улицы Розье, очаровательный проходной двор, весь загроможденный тележками торговцев овощами. Всем этим светился Петер — и как это было несправедливо! — поскольку он обладал в моих глазах ореолом *обитателя* этого квартала, в котором я был лишь на правах туриста, обитателя, жившего в нем евреем среди евреев, хулиганом среди всех этих маленьких хулиганов, которые осаждают по вечерам какого-нибудь Дюпона с Бастилии. И еще одно, что намного глубже, намного сокровеннее: его отрочество связано с тем поэтичным и таинственным Парижем войны 14 года, этого притушенного Парижа, когда предвоенное время незаметно превращалось — сжимаясь под гнетом страха, траура и запретов — во время послевоенное, наподобие того, как охлажденный и сжимаемый поршнем газ незаметно переходит в жидкое состояние. Признаюсь здесь, раз уж говорю об обращенном в жидкость газе, что уже

не впервые прибегаю к этому сравнению. Я был просто восхищен, когда мне рассказали о некоем состоянии газа — невидимом, скрытом за толстыми стенками цилиндра, — которое было и не твердым, и не жидким, переходным между одним и другим. Я увидел в этом что-то чудесное и извращенное, на этом, как на каком-нибудь парадоксе, оттачивался мой ум, и этот образ остался для меня интеллектуальной схемой двусмысленности — которую следует поставить в один ряд со «смертью на солнце» и «запачканным фарфором». Таким образом, двусмысленность, которая стала бы настоящим скандалом для какого-нибудь систематика (и тем не менее я систематик), эта двусмысленность, которую призвал себе в помощь Кьеркегор в борьбе против Гегеля, в первый раз показалась мне через физический опыт или, по крайней мере, этот физический опыт зафиксировал *наперекор физике* эту идею двусмысленных состояний. Во всяком случае, чтобы уж закрыть эту скобку, Париж прошлой войны стал мне казаться поэтичным лишь совсем недавно, как раз тогда, когда он принялся сиять своим мрачным огнем между двумя мертвыми сезонами, 1900—1914 и 1918—1939, и когда я научился грезить тем, что позади, дабы избежать на какое-то время давления того, что впереди. Тогда он мне показался во всей своей двусмысленности, темное маленькое сокровище, притушенное, и следует сказать, что Петер много сделал для того, чтобы открыть для меня его очарование, в его рассказах он был огромным ночным городом, отданным во власть ужасным детям. К примеру, я действительно слышал рассказы о солдатских вдовах, которые, надев траурные платья, заманивали клиентов, но для меня это оставалось незначительной исторической и литературной подробностью, признаком нравов. Петер же потерял девственность с одной из таких женщин. Он доставил пакет клиенту. И ждал автобуса, где-то возле Клиши, эта женщина тоже его ждала. Они вместе поднялись по длинной авеню де Монмартр, темной и унылой,

по дороге она вела с ним жалкий и игривый разговор. Она отдалась ему в гостиничном номере, приняла от него сто су, но хотела, чтобы он остался с ней, говорила ему: «Останься, останься». А ему хотелось уйти. Он так и не узнал, искала ли она прежде всего нежности и удовольствия, с небольшим вознаграждением в придачу, или же то была профессионалка по грустному эротизму. Так вот: он пользуется всем этим — воспоминаниями, атмосферой. Я видел его старую фотографию — ему было двадцать — он в шляпке, на побережье, со своими красивыми велюровыми глазами и пушистыми женскими ресницами. Изображает себя забиякой и сорви-головой. В 20-м, когда ему было двадцать, у него уже были деньги, и это тоже классика, все это в духе «послевоенного времени». И он говорит: «Я слишком рано разбогател». Машина, женщины, легкая гонорей, которая время от времени напоминает о себе — с дружеским приветом. Мне думается, что он немного приукрашивает свои былые похождения. Но все же — как он превратился в *это*? *Это* — чревоугодная мягкость и обывательщина, замаструбированная чувственность, радикально-социалистическая неподлинность.

В III дневнике я говорил, что опишу себя за каким-нибудь *актом*. Не думаю, что вполне готов. Тем не менее замечаю множество мелочей: вещи, которые превращаются у меня в руках в метлу ученика чародея и усиливают свою изначальную капризность с неумолимостью, которая сводит меня с ума и расстраивает все мои планы. Для меня вещи — это и не машины, и не живые существа. Это некие разлаженные механизмы, которые сохраняют в своем поведении какую-то хитроумность, но прикрывают недобрую, колдовскую волю притворной неукоснительностью. Я им совершенно не доверяю. Есть в них всегда, стоит мне к ним прикоснуться, что-то насмешливое, они имеют обыкновение распадаться на части как раз тогда, когда мне надо взять их в целом; но стоит мне сосредоточиться на

деталях, как целое сразу же восстанавливается без моего ведома, и малейшее изменение, которое я ввожу в какой-нибудь элемент, отзывается на целом совершенно непредсказуемым образом. Однако оставим это. Сегодня я хотел отметить лишь то, что не так уж далеко от акта, как я бываю верен принятому решению. Например, в общем и целом я могу сказать, что вчера и сегодня оставался верен принятому решению есть только один раз в день, не пить и не есть хлеба. Но эта победа, стоит к ней приглядеться, распадается на множество мелких поражений, как те баталии, которые, если к ним как следует приглядеться, оборачиваются поражениями для победителя. Прежде всего, стоит мне принять решение, как за ним следует поправка: в конце концов я буду есть хлеб, но только за завтраком. Причина не в том, что я считаю, что в этой уступке нет ничего страшного, а в том, что, рассмотрев как следует свои возможности, я понимаю, что не смогу помешать себе есть хлеб. Когда хочешь принять решение, оглядываешь горизонт вокруг себя, осматриваешь свои возможности. Есть среди них возможности, крутые как скалы, которые необходимо обогнуть, есть и другие, они образуют мягкие и вязкие массивы, на них-то и надо направлять свои усилия, в них надо входить поглубже. Мой завтрак по утрам — это скала. Я легко могу пропустить обед, а то и ужин, питаться одним хлебом или, наоборот, одной зеленью без хлеба, даже голодать день-два. Могу также не спать целую ночь или даже две. Во времена моей страсти к Ольге я часов по сорок оставался на ногах. Но отказаться от завтрака мне труднее всего. Не знаю, почему, но это время, когда я пребываю в каком-то зачаточном состоянии, безволии, когда я люблю быть наедине с собой, правда, для этого нужен предлог, и этим предлогом выступают чашка кофе и тартинки. Если у меня это есть, то я на седьмом небе, чувствую себя поэтичным, благоухающим. В такие моменты я не люблю общества. Даже Бобра с трудом переношу. Мне случалось, когда

она меня дождалась в «Ралли», забежать в «Трех Мушкетеров» и проглотить там кофе с круассанами, чтобы еще какое-то время побыть в оболочке самости и ночных грез. В эти мгновения моя мысль жива и услужлива, я самому себе рассказываю истории, нахожу идеи. День, начавшийся с завтрака, — благоприятный день. И когда в последние годы мне случалось проспать до одиннадцати, так как я ложился часа в четыре, я предпочитал пойти в «Дом», где брал два кофе с круассанами, чем подождать с часок и уже обедать. Мне думается, что таким образом я делал длиннее свое утро. Даже в эти дни мне хотелось оставить за собой свое утро. Я измучил Поля, он большой любитель поспать, а я каждый вечер ставлю будильник на шесть часов, хотя нам можно вставать в семь — только ради удовольствия прокатиться по холоду на велосипеде до таверны «Де ля Роз», съесть там пару румяных хлебцев и выпить стакан холодного цикория. Это были очаровательные мгновения. Но к концу Мистлер разрушал их, приходя поговорить о Хайдеггере. То есть мне изменило мужество, когда я понял, что этому завтраку будет чего-то недоставать. Ведь необходимо, чтобы он состоял из кофе и хлеба (или круассанов). Напрасно Ванда тысячу раз настаивала, чтобы я пил чай и ел фрукты. Я предпочитал, не дожидаясь ее, спуститься утром в кафе «Де ла Пост» на бульваре Рошешуар и тайком наесться круассанов.

(Я рассказываю все это с толикой самолюбования, я *ощущаю* себя немного смешным и немного симпатичным; развлекаюсь собой.) Короче, первое небольшое поражение. Отмечаю, что сам драконовский характер моих решений от этого менялся. Раз в четыре или пять месяцев я осматриваю свой живот в зеркале и прихожу в отчаяние. Тогда я принимаю решение соблюдать строгую и с трудом переносимую диету. Страх расползеть пришел позже: вернувшись из Германии, я был похож на маленького Будду. Гиль хватал меня за живот, через свитер, показывая госпоже Морель, что он у

меня и впрямь большой, и я смеялся от удовольствия, меня совсем не смущало, что я растолстел. Но когда я познакомился с Ольгой, я стал испытывать отвращение к толстякам и начал умирать со страха, что превращусь в маленького лысого толстяка. По правде говоря, у меня была к тому склонность, если бы я не следил за собой. Но все дело как раз в том, что я не могу за собой следить. Эта Дама и Бобр часто умоляли меня соблюдать мягкую, но постоянную диету. Но я совершенно неспособен безотрывно следить за собой, кроме того, я так спешу увидеть результаты диеты. То есть я всегда делаю выбор в пользу крайностей и предпочитаю немного помучить себя, потому что мне кажется, что я *ощущаю* развитие моего похудения через протест моего желудка. И потом, естественно, если я слишком туго затягиваю гайки, у меня возникает впечатление, что я владею собой, что я свободен. Госпожа Морель сказала мне как-то: «Вы любите заставлять себя делать то, что вам не нравится». Да, но из-под палки. Месяц принуждения (я каждый день смотрюсь в зеркало, чтобы убедиться в результатах, и каждый день взвешиваюсь на весах, которые аптекари выставляют возле двери) и результат налицо — или считается таковым — и я снова начинаю жить в свое удовольствие, больше за собой не слежу, толстею, и так продолжается до того дня, когда я опять начинаю озабоченно разглядывать свой живот и размышлять о тех мерах, которые необходимо принять, чтобы сбавить в весе. То есть слабость заключается в самом решении, в его жесткости, в его чрезмерности. Отмечу также, что я написал об этом решении здесь, потому что не могу его растрезвонить, как я это делаю обычно, но не из хвастовства, а с тем, чтобы сжечь мосты и зайти подальше. Впрочем, есть у меня за спиной и некая мыслительная схема, в силу которой я держусь за эти решения до самого конца: священный ужас перед всеми этими типами, которые раз в три месяца решают бросить курить, держатся день или два — и ценой каких усилий! — а потом сда-

ются и снова начинают курить. Синклер Льюис замечательно описал их в «Бэббите»,* и Бэббит стал для меня образцом этих слабаков. Здесь я хотел показать лишь то, что своей манерой держаться я не очень-то отличаюсь от их манеры уступить.

То есть я отправился завтракать в одиночестве в привокзальный ресторан, и так как мое решение, являясь совсем свежим, оставалось на поверхности, я хранил в себе своего рода глубокую, счастливую и неизъяснимую убежденность в том, что я сейчас без всяких ограничений плотно позавтракаю, попью и поем в свое удовольствие. Оказавшись на месте, я вспомнил свое утреннее решение, и оно показалось мне своего рода объективной невозможностью. Я сказал себе: «А ведь я забыл, что не должен пить и есть хлеб», — находясь в таком расположении духа, в котором вы можете пребывать, когда говорите себе: «А ведь я забыл, что такой-то (к кому вы шли) по понедельникам никогда не бывает с утра дома». И сразу же, совершенно естественно, как раз из-за того, что в своем чистосердечии я воспринимал это решение как объективную невозможность, я стал искать, как его обойти — точно так же, как мы ищем, вспомнив, что такой-то по понедельникам не бывает дома по утрам, способ с ним увидеться: на работе, у родителей и т. п. Это размышление продолжалось не больше минуты; оно сразу мне обнаружило то, что было самым опасным и самым страшным: всецелое отсутствие объективности в этом решении, его имманентность и мою абсолютную свободу в его отношении. Если Кьеркегор прав, называя страх «возможностью свободы», то не без толики страха я лишней раз убедился вчера утром в том, что был волен разломить хлеб, который поставила передо мной официантка, и также волен поднести кусочки хлеба ко рту. Ничто в мире не могло помешать мне это сделать, даже я сам. Ведь воздержаться — это не значит помешать себе... Воздержаться — это лишь «отложить», оставить в подвешенном состоянии, внимательно посмотреть на дру-

гие возможности. В самой идее «помешать себе» есть образ сильной руки, которая перехватывает мою руку. Но я не распоряжаюсь находящейся под запретом рукой, я не могу сам в себе самом воздвигнуть барьеры, которые разделяли бы меня и мои возможности — это значило бы отречься от моей свободы, на это я не способен. Мне остается лишь возможность внутреннего умаления моей свободы, которая разъедается изнутри до тех пор, пока не рухнет и не преобразится свободно, чуть далее, в какую-то другую возможность. Так что в моей верности принятым решениям не было ничего от окончательного приговора, ничего от благородного *Нет*. Скорее, она представляла собой тайный способ протащить в мое решение не есть хлеб некую мягкотелость, способ сказать себе со всей мягкостью: «О! Стоит ли есть хлеб? Хочу ли я его на самом деле? Испытаю ли я такое удовольствие, которое не заставит меня сожалеть о нарушении собственной клятвы?» Таким образом, пресловутый «приговор» оборачивается совершенной слабостью, это всего лишь способ продлить колебания, дожидаясь того момента, когда изменится сам мир и, упраздняя объект ваших желаний, выведет вас из стеснительного положения, сам собою отнимая у вас какую-то возможность. И вот я завтракаю, более расслабленный, чем обычно, испытывая неприятное ощущение, что нахожусь в «слабой форме» (в смысле Кёллера),¹ что являюсь частью некоего открытого и неуравновешенного целого, тогда как в другие дни ресторан в полдень оказывался какой-то замкнутой на себе, твердой, самодостаточной полнотой, в которой я занимал свое место. Оставалось *вино*. Мне помогало то, что в этом ресторане оно не очень хорошее, какое-то розоватое и мутное, оно не возбуждает во мне

¹ Имеется в виду *Вольфганг Кёллер* (1887—1967), психолог, один из основоположников теории *Формы*, отрицавший ассоцианизм. Сартр ссылается на его работы в книге «Воображаемое» (изд-во «Галлимар», 1940).

аппетита, кроме того у него кисло-сладкий вкус, напоминающий скорее яблоко, чем виноград. Но вот происходит событие такого рода, что с ним все время нужно считаться, о котором никогда не задумываешься и для которого характерно ввести вас в грех, сразу же предложив вам извинение: «Я не мог поступить иначе». Официантка, улыбнувшись, пошла, хотя я еще ничего не заказал, наполнить из бочки кувшинчик и поставила его передо мной, как бы говоря: «Видите, я знаю, что вам нравится». Она была просто счастлива, что осведомлена о вкусах своих клиентов, и у меня не хватило духа разубедить ее. Итак, я сижу с этим кувшинчиком за своим столиком, рядом с тарелкой пустой стакан. Но это еще не все, ведь если я не притронусь к кувшинчику, она удивится и спросит: «Так что, вино не очень?» Что же делать? Пить, думая при этом: «Я сяду на диету с завтрашнего дня, сегодня не получится, чего держаться за невозможное», — пить из человеколюбия? В общем, я на это почти решился и почти уступил. Все дело в том, что я принял решение так, словно в мире ничего больше не было, только бутылка, стакан и я сам. Мое решение относилось лишь к материальным предметам в мертвом мире: «По своей воле я никогда не закажу ни одной бутылки вина». Но я не предусмотрел того случая, когда мне принесут бутылку, хотя я ее и не заказывал. Не предусмотрев такой возможности, я не принял никаких мер на тот случай, если она будет иметь место. Я был в новом краю, и мое решение было не в счет. Я втайне даже думал, что уже довольно помучил себя этим своим драконовским решением, не говоря уже о том, что я рисковал расстроить официантку, что совсем не входило в мои планы. Здесь губит то, что решение принимается с учетом очень упрощенной ситуации и что ситуация эта не *распознается* в реальном событии, которое имеет место быть и которое всегда сложнее. Спасает же мягкотелость. Я отложил решение на потом, в моем внимании образовалась дыра, и я оказался за тысячу километров от бутылки и офици-

антки, читая «Коломбу». * Потом, когда вопрос встал заново, я нашел обходной путь: я налью немного вина в свой стакан. Тогда официантка, увидев, что кувшинчик пуст только наполовину, подумает, что мне не очень хотелось пить, и не догадается, что содержимое стакана в точности соответствует тому, что убыло из кувшинчика. К тому же, чтобы усилить иллюзию, я пригублю стаканчик. Итак, я наливаю вино в стакан — двусмысленный акт, который, с одной стороны, строго соответствует наличной ситуации, но, с другой стороны, просто-напросто ставит меня в положение любителя выпить, который наполняет стакан до самых краев. И понятно, что этот акт, оправданный особыми обстоятельствами, приносил мне символическое удовлетворение, он имитировал то, что мне было запрещено делать. Опять же слабость. Слабость также этого разрешения, которое я себе сразу же дал — выпить один глоток, пребывая в полном убеждении, что один не в счет, поскольку я делаю его не из жажды, поскольку у меня есть «хороший мотив», и я не могу поступить иначе. Итак, я делаю этот глоток, но осторожничаю, так как меня все же сразу охватывает страх зайти слишком далеко. Я теряю мужество и останавливаюсь. Но в то же самое время, «если уж все равно приходится пить», я стараюсь извлечь из этого максимум удовольствия, я направил свое внимание на аромат вина, на прохладный вкус влаги, удовольствия мимолетного и тайного, которое напоминает удовольствие врача, «пользующегося» прослушиванием красивой пациентки и направляющего всю свою чувственность в кончики пальцев, и наслаждающегося ею через свои пальцы, не прекращая при этом профессионального осмотра. Опять же слабость. Слабость также этой внезапной остановки, этой неожиданной манеры отставить стакан из *страха* изменить своему слову. В общем, я кокетничал с дьяволом, не находя в себе мужества пойти до конца. Вспоминаю одно место из дневника Жида (1917, с. 621): «Тем не менее этой ночью я

не полностью отдался удовольствию; но даже не испытываю сегодня утром никакой гадливости, которая его сопровождает, я сомневаюсь, не является ли это подобие сопротивления еще чем-то более худшим. С дьяволом ты не прав уже в том, что завязываешь с ним разговор, ведь как ни крути, он всегда хочет оставить за собой последнее слово».

Сегодня утром то же самое стечение обстоятельств: у Петера был гость (о котором я говорил выше); он выставил огромную бутылку, настаивал, чтобы я выпил, было бы невежливо совсем отказаться, и я выпил на доньшке. К чему все это детально описывать? К тому, что извне мы видим человека, который решил не пить и который в приведенных случаях и в самом деле пьет лишь самую малость, например десятую часть стакана, тогда как привык выпивать по два полных. Говорил, что не будет есть хлеба, и не ел его. То есть победа, правда, Пиррова. Я одержу еще пять-шесть таких побед, а потом привычка есть и не пить при этом вернется ко мне, и таким образом я *на самом деле* сдержу свое слово. Но когда все эти послабления исчезнут, исчезнет и сознание, акт будет автоматическим. Вот почему, когда меня за что-нибудь хвалят, у меня возникает такое ощущение, что эта похвала адресована кому-то другому. Нет такого акта, в котором не было бы скрытой слабину. Другим виден лишь стиль, мне видна лишь слабину. Короче говоря, я не нарушу своей клятвы — если так и дальше пойдет — до отпуска. Это и называется обладать волей. Понятно, чего это стоит.

Понедельник, 18-е

Люди, как говорится, — говорил Маё в последнем письме, — *не заслуживают* мира. Это правда. Правда в том смысле просто-напросто, что они *воюют*. Ни один из тех, кто сейчас призван в армию (я не делаю из себя исключения), не заслуживает мира по той про-

стой причине, что, если бы он его заслуживал, то его бы здесь не было. — Однако, возможно, что его принудили, заставили... Ну-ну: ведь он был свободен. Я прекрасно вижу, что он отправился в армию, веря, что не может поступить иначе. Но эта вера и имела решающее значение. Но почему он так решил? Тут-то мы вновь сталкиваемся с движущими силами и попустительством. Из-за инертности, мягкотелости, уважения к властям, из страха перед осуждением — потому что он взвесил свои шансы и просчитал, что рискует меньше, если подчинится, нежели если будет сопротивляться — из-за тяги к катастрофам — потому что жизнь не удерживала его в достаточной мере (в этом смысле *преуспеть* в своей жизни, насколько это позволяет природа предмета, значит работать на мир. Я встречал людей, которые, потерпев неудачу в браке, заявляли в октябре 38 года, что с безразличием смотрят на приближение войны, при этом, как кажется, не понимая, что их ситуация *исторического человека* придавала веса и определенные последствия этому безразличию, и что оно приближало войну — не то чтобы вызывало ее, но делало их ее пособниками) — потому что он нуждался в этом великом потрясении, чтобы осуществить свое человеческое предназначение — из-за чувства собственной значимости, глупости, наивности, конформизма — из страха мыслить свободно — потому что он был боевым пегухом. Вот почему на войне не бывает невинных жертв. Если такие и бывают поначалу, то они, впрочем, все равно примут войну на свой счет — найдут тысячу способов стать ее пособниками в каждой мелочи своей военной жизни. Так что миф об Искуплении обретает тут всю свою моральную силу: природа историчности такова, что перестаешь быть пособником, когда превращаешься в мученика. Войны не заслуживают только те люди, которые согласились стать мучениками мира. Только они невиновны, ведь сила их отказа достаточна велика, чтобы они вынесли горе и смерть. То есть и в самом деле, принимая последствия

своего отказа, они невинно страдают ради другого; платят долг другого. То есть нет другого способа принять свою историчность, кроме как стать мучеником и искикупителем. Вот что заставило меня восхищаться Кёстлером, иностранным журналистом, который присутствует в качестве зрителя при взятии Малаги. Его друзья усаживают его в машину и отправляются в Аликант посреди всеобщей паники. Но при первом же заторе он прыгает на землю и остается один в Малаге. Он этого не говорит, но чувствуется, что он хочет заплатить. Заплатить за генералов, которые предали, за солдат, которые сбиты с толку, за трусливые демократические правительства, которые не осмелились вмешаться. Заплатить, потому что он чувствует себя ответственным за человеческую-реальность и потому что он хочет принять свою историчность. Пособник или мученик — такова альтернатива. И ваше решение делать историю. Отвергнув войну, я заплатил бы за других. Приняв ее, я тоже плачу, но только за самого себя.

Мы больше не будем дежурить на телефоне. Нам на смену посылают какого-то военного инженера.

Мне хотелось бы записать здесь в качестве упражнения и примера, и чтобы придать предыдущим и последующим страницам своеобразную тональность, основные характеристики того, что Левин¹ назвал бы моим «годологическим пространством», то есть, в общем, строение мира, каким он мне открывается из этой гостиницы «Бельвю», дорог, которые его бороздят, его дыр, его ловушек, его перспектив. Прежде всего речь идет о мире, с которым я *освоился*. В первые дни он был холодным и инертным, и вот он *мой*; эта природа, этот холод, эта особая точка зрения, с которой я вижу, как

¹ Курт Левин (1890—1947), психосоциолог, связанный с немецкой группой теории Формы; он эмигрировал из Германии в США в 1933 г.

вокруг меня простираются Франция, Германия, Европа, все это мое. Керенсия. Я на гребне мира, на крыше мира (= на вершине холма). Мир — это равнина, над которой возвышается этот гребень (Альпы, Пиренеи *внизу, снизу*, над ними возвышается крыша. Очевидно, что здесь имеет место синтез реальной высоты этой возвышенности и того обстоятельства, что на географической карте она оказалась бы выше альпийского и пиренейского массивов). Конечно, эта возвышенность, которая выступает крышей мира, символически представляет мою волю *возоблагать над войной*. То есть я на вершине великолепного конуса владетельной умиротворенности. Выше, чем все остальные, так как на этой крыше мира есть дом, и я живу на втором этаже этого дома. Материализация моего презрения к писарям: я смотрю на них сверху вниз. Завихрения ледяного и серого ветра вокруг дома: дом является то кораблем на гребне волны, то маяком. Вечером, когда я один в теплой комнате, где мы обычно находимся, это маяк, я знаю, что нахожусь в круглой башне. Ветер и холод способствуют моему уединению. Для меня холод всегда соотносился с ощущениями «чистоты» и «одиночества». Германия отдалилась — не знаю, почему. В Брумате я ощущал, что она напротив, теплая и ядовитая. Здесь — хотя я могу ее *видеть*, когда стоит хорошая погода (серые холмы на Северо-Востоке) — она является лишь абстрактной близостью. Скорее уж я нахожусь на самом краю света, позади меня теплые и шумные города, люди и земли. Конечно же это обозначает то, что я в аррьергарде, что и подталкивает меня сзади к передовой. И этот перенос выступает передо мной через поэтическую схему, которая воздействует, как мне думается, на всякое инфантильное воображение: маяк на краю света, *finis terrae*, и т. д. В самой позиции *авангарда* тоже обнаруживается символ. Откуда легкое смещение в направлениях: мне кажется, что дорога, которая идет мимо гостиницы и которая идет из Морсбронна, ведет туда, в Морсбронн, поскольку Морсбронн является

передовым краем мира (= там есть еще гражданские). То есть, она тянется вперед, к Германии, к линии фронта. В действительности же она идет к северу, а фронт оказывается, скорее, справа от меня, когда я выхожу на эту дорогу. Кроме этого север воплощает для меня чистоту, уединенность, остановку жизни, *finis terrae*, из чего вытекает, что иной раз я думаю, что дорога ведет к востоку, а иной раз, что к северу, но тогда Германия оказывается на самом краю. Германия, я уже сказал, выступает своего рода темным морем, а не опасностью.

Последний выступ тыла, Морсбронн, я ощущаю его издали, позади себя, как своего рода угрожающую и ядовитую (тропическую), но пьянящую духоту: прежде всего из-за того, что Петер ездил туда время от времени и говорил мне: «Это липа». Затем из-за того, что там к тебе «относятся как к солдату». Там находятся учреждения, где мной распоряжаются, медчасть, где из-за какого-нибудь пустяка меня могут раздеть догола, где мне скоро будут делать укол (укол — это опасность, но не сам по себе, из-за того что он дает право на сорок восемь часов отдыха, а потому что его делают три раза с промежутком в восемь дней, и в этот промежуток нельзя уехать в отпуск). Тем не менее есть там, в самом сердце этого отравленного цветка, теплая и гражданская кровь: я представляю себе салоны с фортепьяно — так как Ханзигер сказал, что он пойдет к мэру и попросит у него на время музыкальные альбомы. Между деревней и гостиницей «Бельвю» есть изолированные аванпосты: гостиница, где у начальника почтовой службы есть свой кабинет, и ферма, в которой располагается полевая кухня. Когда я иду с Полем обедать, когда я иду за посылкой к начальнику почтовой службы, я *разворачиваюсь*, иду обратно, поворачиваюсь спиной к своему естественному направлению, северу, я чувствую в воздухе некое возмущенное сопротивление. В самой гостинице, на втором этаже, тоже есть две дыры: дыра света и тепла, «домашний очаг», комната

для зондеров (кабинка капитана) — черная дыра, в которой веет и свищет ветер, ледяная дыра (потому что Петер держит весь день окно открытым): моя комната. Она отталкивает: в нее погружаешься, как в холодную воду, с решимостью, сжав зубы. Она поэтична, потому что это своего рода открывающаяся на природу щель: ландшафты входят через окно. Снаружи — холод, который является субстанцией, как в зимних видах спорта, — металлической и чистой субстанцией, которую можно *потрогать*, когда утром выходишь на улицу, как трогаешь красивую стальную стенку. Небо — мое измерение в высоту (из-за шариков, которые я туда запускаю). Серое и неподвижное, с воздушными потоками, кривую которых можно вычертить. Небо, которое делится на «слои». Одновременно и моя компетенция, объект моего технического знания, и то, что надо мной. Продолжение меня самого в вышине, а также пребывание вне моей досягаемости. Мне известно, что оно, как и молоко, обладает, даже в солнечные дни, своей тайной и ледяной чернотой. Потому что нам каждый день передают по телефону его температуру. Например: — 50 на 8000 м.

Такова схема моей теперешней ситуации: символические направления, ориентация, в которых отражаются мои заботы, мои занятия, мое ремесло. Я сожалею, что не проделал такой работы для Брумата и Мармутье; интересно зафиксировать эти аффективные места пребывания и, возможно, сравнить их. Эта топография довольно хорошо показывает, как дух завладевает местами своего пребывания и обустроивает их для себя. В настоящее время, если я захочу в точности определить, на каком уровне существования размещается эта география, то я скажу, что она в самом низу, на дотематическом уровне. Это основа рифов. Если я стану ее тематизировать, это будет бред сумасшедшего, но дело в том, что она никогда не тематизировалась. Она содержится в жесте, который я делаю, в моем желании располагать восток там, где он должен нахо-

диться, и т. д. В Брумате Полю, несмотря на многократные усилия, никак не удавалось поместить север там, где он должен был быть. Он жаловался, говорил: «Как я ни стараюсь, он всегда у меня на востоке». В основе этой ошибки лежало, я мог бы поклясться, некое сопротивление аффективной топографии.

Кьеркегор («Понятие страха», с. 85):¹ «Отношение страха к своему объекту, к чему-то такому, что ничего из себя не представляет (и мы также говорим в топическом модусе, что мы страшимся из-за ничего)...

Влияние на Хайдеггера вполне отчетливое; обращение к топической фразе: «Мы страшимся из-за ничего» слово в слово повторяется в «Бытии и времени».² Правда, однако, что для Хайдеггера страх — это страх-перед-Ничто, каковое не есть Ничего, но, как говорит Валь,³ является «космическим фактом, на фоне которого вырисовывается экзистенция». Тогда как для Кьеркегора речь идет о «психологическом страхе и том *ничего*, которое сидит в духе». В общем, это *ничего* является возможностью. Возможностью, которая пока собой ничего не представляет, поскольку человек в невинном состоянии еще не знает, *чего* эта возможность. Но она тем не менее наличествует, как предвестие свободы: «То, что стояло в глазах невинного Адама в виде ничего страха, теперь внедрилось внутрь него и пребывает там по-прежнему в виде ничего, страшная возможность *власти*. О том, что он может, у него нет никакого представления... Единственно дана возможность *власти*, как высшая форма неведения, как самое высшее выражение страха...».

¹ Французский перевод П. А. Тиссо с предисловием Жана Валя вышел в свет в 1935 г.

² Сартр прочел работу Хайдеггера в оригинале несколькими месяцами ранее.

³ Жан Валь (1888—1974) — французский поэт и философ, автор «Кьеркегорианских этюдов» (1938).

Страха перед Ничто, как у Хайдеггера? Страха перед свободой, как у Кьеркегора? Насколько я понимаю, речь идет об одном и том же, ведь свобода — это появление Ничто в мире. До свободы мир есть полнота, каковая есть то, что она есть, густое месиво. После свободы есть различные *вещи*, поскольку свобода принесла с собой отрицание. И отрицание может быть привнесено в мир свободой лишь потому, что свобода целиком и полностью пронизана Ничто. Свобода есть свое собственное ничто. Фактичность человека заключается в том, что он есть бытие, уничтожающее свою фактичность. Именно благодаря свободе мы можем *воображать*, то есть одновременно уничтожать и тематизировать предметы мира. Именно благодаря свободе мы можем в каждый миг отступать в отношении нашей сущности, которая становится бессильной и повисает в Ничто, становится бездейственной; свобода осуществляет разрыв преемственности, она является нарушением контакта. Она представляет собой основу трансцендентности, потому что она может — по ту сторону того, что она собой представляет — проецировать *то, чем она еще не является*. В конце концов она отрицает саму себя, потому что будущая свобода является отрицанием свободы настоящей. Я не могу пойти дальше, потому что будущее свободы в ничто. Свобода создает будущее мира, уничтожая свое собственное будущее. И снова я не могу пойти дальше, потому что ставшее прошлым мое настоящее будет уничтожено и выведено из игры моим грядущим свободным настоящим. Я в другой раз объясню, что эти характеристики свободы ничем не отличаются от характеристик сознания. Но все дело как раз в том, что если Ничто вводится в мир через человека, то страх перед Ничто есть не что иное, как страх перед свободой или, если угодно, страх свободы перед самой собой. Если, к примеру, я вчера испытал легкий страх перед этим вином, которое я мог выпить, но которое я не *должен был* пить, то это «я не должен» было уже в прошлом, оно отступило назад,

выскочило из цепи, как сущность, и *ничего* не могло помешать мне выпить. Как раз этого *ничего* я и страшился, этого ничто способов воздействия моего прошлого на мое настоящее. *Ничего* не сделаешь. И пресловутое «я боюсь себя» является как раз страхом перед *ничего*, поскольку *ничего* не позволяет мне предвидеть, что я буду делать в будущем и что, пусть даже я мог бы это предвидеть, *ничего* не может мне мешать. Таким образом страх на самом деле является опытом Ничто и тем самым он не может быть психологическим феноменом. Речь идет об экзистенциальной структуре человеческой-реальности, это есть не что иное, как осознающая себя в виде своего собственного ничто свобода. Страхи перед Ничто Мира, перед истоками сущего являются производными и вторичными. Речь идет о проблемах, которые появляются в свете свободы. Мир *есть* в себе самом и не может не быть. Его характер *фактичности* не позволяет ни вывести его из чего-либо, ни предварить его неким *до*. Проблема начала мира возникает лишь вследствие воздействия свободы на предметы. Таким образом, экзистенциальное постижение нашей фактичности сводится к Тошноте, а экзистенциальное постижение нашей свободы — к Страху.

Вторник, 19-е

«Страх перед грехом порождает грех. Если дурные желания, похоть и т. п. рассматривать как врожденные склонности, тогда пропадает двусмысленность, в силу которой индивид одновременно и виновен, и невинен. Индивид изнемогает в бессилии страха, но из-за этого как раз он и виновен, и невинен» (Кьеркегор. «Понятие страха». С. 122).

Страх перед возможностью, которую не хочется осуществлять, является в действительности страхом перед Ничто, отделяющим вас от этой возможности,

перед тем фактом, что *Ничего* мешает вам ее осуществить. Начиная с того момента, когда, вместо отрицания этой возможности, он будет рассматривать ее как свою собственную возможность, будет иметь место полное принятие возможности со стороны свободы, проект и набросок акта. В этот момент *Ничего* исчезает, появляется исполненность. Таким образом, вина на время устраняет страх, заменяя *Ничего* полной фактичностью. Следует также заметить, что если *Ничего* не мешает нам *осуществить* вменяемый в вину акт, *ничего* и не обязывает нас к нему. И это другое *Ничего* тоже заключено в страхе. Речь идет о позитивном *Ничего* в свободе, с него-то и берет начало ответственность. Это *Ничего* схватывает себя в том факте, что движущие силы, которые могли бы склонить нас на реализацию какой-то возможности, всегда отделены от нее тем или иным ничтожным пробелом. Движущие силы, человеческая сущность, аффективность, прошлое заключены внутри свободы, они находятся в подвешенном состоянии, и в то же самое время свобода обрисовывает в будущем возможность реализации. Но между таким образом заключенными движущими силами и таким образом обрисованной возможностью никогда не бывает *контакта*.

То есть в самой сердцевине сознания недостает звена, отсутствие этого звена и лишает нас всякого извинения. Но следует понимать, что это Ничто не есть просто и беспримесно данная дыра. Если бы так и было, то Ничто являлось бы данностью, что вернуло бы нас к Бытию и Фактичности. Ничто, которое сводилось бы к Бытию, — это бессмыслица. В действительности это Ничто есть Ничто, каковым мы пребываем. Существование для сознания значит самоуничтожение. Исток ответственности заключается в том факте, что мы реализуем себя в виде нарушения связи между движущими силами и актом. Именно за это мы прежде всего несем ответ: ответственность за этот акт не проистекает со всей естественностью из движущих сил. Но сама возможность может быть лишь неким

сгущением Ничто, поскольку его существование в виде *моей* возможности не заключается в том, что оно предусматривается в виде реальности, которая *будет*, а удерживается в виде реальности, которая *может быть будет*. Следовательно в неотложности возможности имеется некая ничтожность. Понятно также, что возможность не может предшествовать бытию. Как раз наоборот, изначальные возможности и являются моими собственными возможностями и вытекают из *моей* «фактичности-как-бытия-которое-есть-свое-собственное-ничто». Возможности Мира, связанные с предметами внешними отношениями, наподобие того, когда я говорю, например, «возможно, что огонь погаснет — что ветер стихнет — что бутылка разобьется» — являются со всей очевидностью производными возможностями, отражениями на вещах моих собственных возможностей. Таким образом мы имеем здесь Триаду: Ничто — Возможность — Бытие, но порядок ее иной. Приоритет у Бытия, а Возможность появляется лишь на горизонте Ничто. Причем необходимо, чтобы это Ничто было Ничто некоего бытия, каковое есть свое собственное Ничто.

Понятно, что Вина — это попытка заполнить Ничто каким-то Бытием. Вина — это нетерпение перед страхом, бегство Ничто в Реальность.

Сознание — это облегчение бытия. Бытие-для-себя — это распад бытия-в-себе. Бытие-в-себе, пронизанное Ничто, становится бытием-для-себя.¹

Обнаруживается исток третьей кардинальной категории: Необходимость. Возможное имеет приоритет по

¹ Здесь возникает рассуждение о Бытии. На последующих страницах оно будет впереди поиска морали: необходимо понять, как обстоит дело с бытием человеческой-реальности, а уж потом задаваться вопросом, что может и что должен делать человек. См. также последние страницы книги «Бытие и Ничто», над которой Сартр начнет работать в лагере для военнопленных.

отношению к необходимому, как это справедливо заметил Кант, определяя необходимое: такое бытие, существование которого вытекает из его возможности. Что мы назовем собственным объектом свободы. Свобода — это, опять же, Ничто, потому что она нацелена на то, чтобы упразднить саму себя, уничтожая Ничто, которое в себе содержит. То есть идеалом свободы является возможность, которая реализуется, не испытывая потребности в помощи ответственности, возможность, которая сразу же стала бы *извинением*. Тайной мечтой всякой свободы является упразднение пробела между движущими силами и актом. Если мы упраздним мышлением этот пробел, нам не дойти до чистого существования, поскольку мы сохраняем временной зазор между движущими силами и возможностями. Но вот возможности реализуются исходя из собственного замысла. С этого момента возникает «это не по моей вине». То есть любое извинение взывает к Необходимости. Но Необходимость, естественно, остается на почве ценностей и никогда не опускается на почву существования. С этой точки зрения ясно, каков Идеал всех на свете возможностей: человеческая-реальность, которая являлась бы собственной необходимостью, то есть для которой было бы достаточно быть собственной возможностью, чтобы стать собственным существованием; человеческая-реальность, где пустота бытия «для-себя» была бы заполнена и которая стала бы своим собственным основанием. Следовательно, Необходимость — это категория действия, *моральная* категория, лишь благодаря воздействию свободы на вещи она может показаться структурой реальности. Первичный смысл приложенной к вещам Необходимости — это смысл *извинения*. «Мне просто *необходимо*» («Я беру то, что мне необходимо», «Давайте будем отличать необходимое от избыточного», «Свести свои расходы к строго необходимым») — это то, отсутствие чего может представлять для меня временное или постоянное извинение. Неимение *необ-*

ходимого, например, может стать для «нуждающегося» *извинением* кражи, которую он совершил. Таким образом, все науки о Необходимом являются нормативными науками, потому что они изучают все случаи, когда сознание может самоустраниться.

Когда живешь так, что все время готовишься дать отпор окружающим тебя людям, то волей-неволей проникаешься, переполняешься стилем и смыслом каждого сделанного ими жеста, от этого никуда не деться. Та манера, с которой Петер берет стул, присуща Петеру, и я узнаю в ней Петера целиком и полностью. Он приближается к стулу неслышными огромными шагами, немного сторбившись, подчеркнуто тихий и себе на уме, ему, как ребенку, хочется, чтобы каждому стало ясно, как он тих, и в то же время он непомерно удивлен, что совершает действие, которое занимает какое-то время и которое тем не менее не соотносится напрямую с социумом. Но он приглушает это удивление, это своеобразное недомогание, которое охватывает его, будто ему не хватает воздуха, и он начинает представлять себе свое действие с социальной точки зрения. Чувствуется, что он осуждает себя и оправдывается поздравлениями за то, как удачно и как незаметно он взял стул. Но в нем остается что-то от тупицы и хитреца, как будто бы он провел нас, ведь он-то знает, что шумит. Короче, он не может помешать себе взять стул *для нас*, хотя мы и поглощены чтением или письмами. Он играет комедию «я беру стул» и в то же самое время его действительно берет. Впрочем, комедию добродетельную и благомыслящую: «Я беру стул. Это мое право — взять стул. Любой может одобрить, что я беру стул и т. п.». Тем не менее есть какая-то нежность в том, как он подкрадывается к стулу с видом старого чревоугодника, «который готовит себе любимые блюда». Он назначает себе нежное свиданье в будущем, через какую-нибудь минуту он будет так нравиться себе на этом стуле! И, довольный собой и другими, делясь

с нами этим удивлением, которое он сейчас испытает, он с благодушным видом берется за стул и семенит с ним к печке, перед которой и устраивается.

Именно *это* мне хотелось бы ухватить в себе и описать: стиль моих действий, как он может быть воспринят тем, у кого напряжены нервы и кого я раздражаю вот уже три месяца. Боюсь, что это невозможно, тем не менее попытаюсь.

Мои приспешники все больше и больше начинают походить на помощников К. из «Замка». Я слишком часто читал им мораль — что они принимают теперь с подозрительными физиономиями и не говоря ни слова. Теперь они за мной наблюдают, чтобы поймать на какой-нибудь ошибке, и заставляют меня следить за собой. Петер говорит, что я «наживаюсь на войне», так как я пользуюсь ей, чтобы писать; он подозревает меня в том, что я испытываю на них моральные аргументы, принципы, ставлю на них опыты, которые послужат мне материалом. Поль в свою очередь, переходя в контратаку, упрекает меня в криводушии, потому что я начал с того, что тоже его в нем упрекал. Оба важничают, когда я их распекаю, и делают вид, что считают, будто я говорю из чистой агрессивности. И наблюдают за мной. При первой же ошибке — какой триумф! Вчера я пошел обедать с Петером, и когда он удивился, что я отказываюсь от хлеба и вина, я ему сказал, что соблюдаю диету. Однако в меню оказались телячьи котлеты с брюссельской капустой. Котлеты, впрочем, были очень маленькими, и кроме того, я не люблю брюссельскую капусту. То есть я почти ничего не ел. Впрочем, пережевывая несколько доставшихся мне кусочков, я чувствовал, что накапливаю извинения и права — с единственной целью иметь возможность воспользоваться ими вечером, если мне этого захочется; я был в положении святого, который говорит: «Это уж слишком, Господи, слишком!», смутно обкатывая внутри себя такие идеи, как: «Да, я решил голодать по

вечерам, однако с тем условием, что как следует пообедаю в полдень. Вот я уже не ем хлеба и т. д. и т. п.». Жалобы — это еще куда ни шло, если они порождены искренним возмущением, однако эти были изобретательны и предусмотрительны, смотрели далеко вперед. Можно было бы много сказать о терпеливом искусстве придумывать себе извинения, то есть готовить пьесу, поставленную так, чтобы можно было счесть *необходимым* уступить давлению обстоятельств. Таким образом мы сожжем, насколько это возможно, узкий слой ничто, разделяющий движущие силы и поступки. Но всегда упускают из виду, что только свобода может судить, является ли необходимым отношение движущих сил к поступку, мы перемещаем Ничто, но не устраняем его: остаемся без извинений. Поскольку речь шла о грязных внутренних махинациях, я смог сдержаться и ничего не сказал Петеру, я воздержался даже от того, чтобы поставить его в известность, что я почти ничего не съел, что было истинной правдой. Однако к пяти часам я стал испытывать голод. Я проерзал с часок на стуле, потом встал, взял буханку хлеба и вонзил в нее свой нож: голод пробудил жалобы и права, заботливо отложенные про запас в обед, и вдохнул в них новую жизнь. И тем не менее. Я испытываю отвращение к извинениям и всегда направлял свою гордыню на то, чтобы их не иметь: если меня ловят на какой-то ошибке, я говорю, что у меня нет никаких извинений, или, если извинение уже готово, как это было вчера, я выставляю его другой стороной, отнимаю у него смысл извинения и выставляю себя в собственных глазах так, будто это был мой свободный выбор с учетом всех обстоятельств дела. Тогда извинение превращается в обычный объективный аргумент, который я непредвзято рассматриваю с единственной заботой принять лучшее решение. Итак, повернувшись к своим Помощникам, я заявил бесстрастным тоном: «Я очень мало съел за обедом, вот почему сегодня вечером я немного отступаю от своей диеты». Говорю это совершенно не-

винно, скорее для самого себя, чем для них, слишком глубоко увязнув в собственном внутреннем мошенничестве, чтобы уберечь себя от их суждений. Вот почему я был прямо-таки ошарашен результатом: какой поднялся гогот, они оба схватились за животы и принялись хохотать, топая ногами, строя гримасы и выказывая знаки понимания. Петер хотел что-то сказать, но не мог, так сильно он смеялся. В конце концов он выдавил несколько слов, смысл которых был в том, что я ломал комедию и что я не больше, чем кто-либо другой, способен сопротивляться своим аппетитам. Я так и держал хлеб с воткнутым в него ножом и ответил с достоинством, но неуверенно, что я на самом деле почти ничего не ел утром. После чего Поль — который не ходил в ресторан — повернувшись к Петеру спросил: «Это правда? Он плохо поел?» — строгим тоном судьи. А Петер: «Да что ты. Он нормально пообедал». Я был вне себя, но что тут поделаешь? Я решил посмеяться над этим и сказал: «Вы правы, теперь вы будете говорить, что я должен делать. Ах, какое счастье, что вы у меня есть». После чего я положил хлеб, убрал нож в карман и вернулся к работе. Я думал, что смех будет продолжаться — и сам, конечно же, в подобном случае, не упустил бы противника, «не дал бы ему уйти», как говорят боксеры. Но они были озадачены моей покорностью, не сказали ни слова и даже, сходяв за ужином, предложили мне фасоли, настаивая на том, чтобы я поел. Мне кажется, что они испугались, как бы я из гордости не заморил себя голодом. Естественно, я от всего отказался, уязвленный и голодный. Но сегодня, по крайней мере за обедом, это вошло в привычку; мне кажется *естественным* не пить во время еды и не есть хлеба. И уже почти *естественно* не ужинать, то есть мое дневное время, которое еще вчера было разделено двумя параллельными чертами, обед и ужин, сегодня завершается чистыми привычками; послеобеденное время колышется над обедом, как приспущенное знамя на древке, я не жду ничего, что могло бы его «поделить».

Так Помощники заставляют меня быть свободным.

Бобр мне пишет (датировано субботой 16-го): «У меня такое ощущение, что начиная с Морсбронна вы еще больше, чем раньше, отрезаны от мира, еще больше замкнуты в своем одиночестве... Мне кажется, что вы окутаны вашим одиночеством, совершенно замкнуты с вашим телефоном, теплой печкой и моральными размышлениями».

Так ли это? Не знаю. Мне кажется, что я уже начал привыкать к войне и в Брумате, когда Бобр приехала туда в начале ноября, и когда ее приезд имел эффект бомбы с замедленным действием, разрушив мое спокойствие через несколько дней после ее отъезда и направив меня в конечном итоге к чувственному трепету конца ноября.¹ И я думаю, что сразу же после кризиса, как это всегда бывает со мной в подобных случаях, я ушел в себя и начал заниматься, как бы в ответ, исключительно своими мелкими делами. В действительности же в настоящее время я совершенно спокоен и всем доволен. Во всяком случае, я не очень хорошо понимаю этот ноябрь, была в нем какая-то мертвая зыбь.

Сегодня утром, записывая в дневнике, что мне хотелось бы попытаться ухватить стиль моих жестов, я почувствовал себя маньяком анализа в духе Амьеля.* А ведь я больше пятнадцати лет не наблюдал за тем, как живу. Совсем не интересовался собой. Я испытывал любопытство к идеям, к миру, к сердцам других людей. Интроспективная психология сказала свое лучшее слово в Прусте, я самозабвенно пробовал себя в ней где-то

¹ Имеется в виду Вагда. Из письма к Бобру, написанном в тот же день: «Итак, я думаю, что переживаю период „выздоровления“; вы знаете, со мной уже такое случалось однажды, это длилось дольше и имело отношение к истории, которая не идет ни в какое сравнение с этой, к истории с Ольгой...».

между семнадцатью и двадцатью годами, но мне показалось, что в ней можно было слишком быстро наловчиться, к тому же результаты получались довольно монотонными. Кроме того, от нее меня отвращала гордость, мне казалось, что когда суешь нос в ничтожные мелочи, они от этого разбухают, набирают силу. Потребовались война и содействие многих новых дисциплин (феноменология, психоанализ, социология), а также чтение «Возраста мужчины» Мишеля Лейриса* — все это подтолкнуло меня набросать собственный портрет в полный рост. Бросившись в это предприятие, я стал упорствовать в нем из любви к систематичности, тяги к цельности, маниакально отдавшись ему целиком и полностью. Я хочу сделать по возможности максимально полный портрет, как хотел, когда был маленьким, иметь полную коллекцию книг «Буффало Билл» и «Ник Картер», как позднее хотел все знать о Стендале и т. д. У меня конечно же отсутствует чувство меры: либо безразличие, либо маниакальное упорство, или одно, или другое. Но я не думаю, что в самокопании есть какая-то польза. Отнюдь. Я испытывал отвращение к личным дневникам и думал, что человек создан не для того, чтобы смотреть на себя, что он все время должен направлять свой взгляд на то, что находится перед ним. И я не изменился. Просто мне кажется, что можно в случае каких-то исключительных обстоятельств и когда ваша жизнь меняется, как змея, сбрасывающая кожу, посмотреть на эту отмершую кожу, на этот хрупкий образ змеи, который оставляешь позади себя, и подвести итог. После войны я не буду вести дневника или, если все-таки буду, то не буду в нем говорить о себе. Не хочу стать наваждением для самого себя до скончания века.

Прочел — с момента последнего обзора прочитанного:

Мак Орлан: «Под холодным светом»

Поль Моран:** «Открыто по ночам»

Мариво:* «Избранные пьесы»
Мериме: «Мозаика»
(Его же): «Коломба»
Флобер: «Воспитание чувств»
Мак Орлан: «Всадница Эльза»
Кьеркегор: «Понятие страха»
Доржелес: «Деревянные кресты»
Сегодня получил:
Люсьен Жак: «Молескиновые тетради»¹
Моруа: «Истоки войны 1939 года»**
Мак Орлан: «Набережная туманов»
(Его же): «Мэтр Леонар»
Лесаж: «Хромой бес»
Ларбо:*** «Барнабут»

Среда, 20-е

Отличное предисловие Жионо к «Молескиновым тетрадям».

«Когда не хватает мужества быть пацифистом, становишься воином. Пацифист всегда одинок.

Воин уверен, что он согласен с большинством. Если это дело большинства, он может быть совершенно спокоен, он из их числа... Если же он, как и все, нуждается в величии, то величие «по своей мерке» он обретает в обыденной жизни. Для него все готово заранее. Если какой-нибудь человек дрожит от нетерпения (может быть) превзойти человека, пусть он больше не дрожит и станет воином или, еще проще, пусть не сопротивляется, пусть согласится, чтобы его поместили в услужение к воинам... Вся ставка войны разыгрывается на слабости воина... Простой солдат: ни хороший, ни плохой, задействован, потому что был не против. Он без всяких приключений выдюжит судьбу воинов вплоть

¹ Дневник военного санитаря, рассказывающий о войне 1914—1918 гг.

до того дня, когда он, как герой Фолкнера, обнаружит, что любой может по неосторожности слепо впасть в героизм, как можно провалиться в распахнутый канализационный люк посреди тротуара... Абсурдно полагать, что армия, образованная из миллионов людей, является персонификацией мужества; это было бы слишком просто».

Сами дневники тусклые и неинтересные, в них нет ничего нового. Ретроспективный взгляд на войну 14-го года сквозь все эти книги. Она уже мне не кажется, как это еще было в прошлом году, образом *собственно* войны, она мне кажется определенной войной, определенной беспорядочной бойней, которая состоялась из-за того, что генералы еще не изобрели техники того, что Ромен называет «миллионом людей».

Виль, унтер-офицер в артиллерийской части, пишет Бобру: «Ситуация настолько застойная, что некоторые время от времени хотят, чтобы все изменилось. Но, вдруг подумав, что если все это изменится, на нас обрушатся удары, они отказываются от своих неосторожных слов и высказываются за то, чтобы все оставалось, как есть. На что иной может возразить, что статус кво может обречь нас на то, чтобы оставаться здесь до самой старости. Тогда заговаривают о другом. Проблема стоит весьма остро; к несчастью, тем временем дни уходят.

Я не очень хорошо знаю, что думают в тылу; газеты настолько глупы, что их никто не читает, хотя мы их и покупаем по привычке. Что мы в данный момент думаем, можно выразить одним словом: ничего. Мы ждем весны, окапываемся, ставим над собой накат за накатом. Возможно, если бы нам пришлось побыть в одиночестве, у нас были бы личные идеи. Но солдат никогда не одинок; или же, если такое случается, у него сырые ноги, что парализует мысль».

Барнабут распродает все свое имущество, «замки, яхту, автомобили, огромные поместья...» и называет

это «дематериализацией своего состояния». Поступок продиктован поведением Меналька, поведением Мишеля в «Имморалисте». То есть поведением персонажей книг Жида. Это слово «дематериализация» наводит меня на размышления. Ведь, в общем, речь идет о том, чтобы отделить себя от *благ*, как конкретного аспекта состояния, и сохранить за собой лишь *абстрактный* его аспект: деньги. Впрочем, здесь в виде пакетов акций и чеков. В общем, вот совет, который дает Жид, и которому следует Барнабут. Обменять реальное владение на владение символическое, обменять состояние-недвижимость на состояние-знак. Не случайно, что Жид проповедует расположенность. В глубине расположенности, по Жиду, заключен человек, который располагает своими капиталами. И мне было ясно то, что мораль Жида — это один из тех мифов, которые знаменуют собой переход от великой буржуазной собственности — конкретное владение домом, полями, землей, личная роскошь — к абстрактной собственности капитализма. Блудный сын — это сын богатого торговца зерном, который становится банкиром. У отца были мешки с зерном, у сына — пакеты акций. Владение *ничем*, но это ничего является ипотекой на все. Не ищи Бога, Натанаэль, где-то в другом месте, как и повсюду: отбрось материальное владение, которое ограничивает твой горизонт и которое превращает Бога в самоутлубление, обменяй его на символическое владение, которое позволит тебе ездить на поездах и плавать на пароходах и искать Бога повсюду. И ты его найдешь повсюду, стоит тебе поставить подпись на этом клочке бумаги, в твоей чековой книжке. Я не преувеличиваю: именно это Барнабут, последователь Жида, называет на 19-й стр. «пылким исканием Бога». И сам Жид, то путешественник, то глава патриархального сообщества в Кювервиле, является заглавной фигурой в переходе от владетельной буржуазии XIX века к капитализму XX века. Кроме того, следует заметить, что экзотизм XX века, вполне в духе Жида, является, в

значении своем, капитализмом. У него и быть не может более истинного смысла *экз-отизм* (в общем удаляться от дома — от *ex-otisme*). Старый экзотизм понимался в отношении строго установленных координат: *имущество*, которым располагаешь дома:

«Счастливы тот, кто, как Уллис, из дальних странствий возвратясь...».¹

Современный экзотизм начинается с заявления о равноценности любых координат. Что означает, что фунт стерлингов можно поменять где угодно. Нет привилегированной точки зрения на мир. Что означает, что вы можете рассматривать фунт стерлингов как абстрактную покупательную способность, трансформирующуюся, если вам этого захочется, в марки, франки, эре, песо. Классический экзотизм — это когда предусмотрительный обитатель Лиона посылает своего сына в Китай, чтобы он научился там предпринимательству. Юноша так и останется лионцем среди этой китайской жизни; он находится в Китае, чтобы оказаться среди лучших лионцев, чтобы позднее лучшим образом использовать свое лионское состояние. Капиталистический экзотизм не имеет привязок: путешественник теряется в мире. Он у себя дома везде или нигде. Откуда новый аспект литературного экзотизма: подвести все, что видишь, под общие структуры, вместо того чтобы *противопоставлять*, как это было раньше, за границу родному дому. Обнаруживать под пестрым аспектом социальных нравов всемирное и повсюду одинаковое давление капитализма. Настаивать на ветхом, умирающем аспекте нравов, извлекая из этого поэтические эффекты (тогда как старый экзотизм извлекал поэтические эффекты из стихийного богатства местных обычаев). Писать, например, как это делает Ларбо в «Барнабуте», что Флоренция — это «занятый американский город, построенный в стиле итальянского Возрождения». Именно в этом смысле мусульманка в

¹ Неточная цитата из дю Белле.

своей чадре и в седле велосипеда, которую я как-то наблюдал где-то между Агадиром и Марракешем, показала мне совершенным воплощением современного экзотизма.

Дело «*Graf von Spee*».¹ Осторожность и хитрость со стороны союзников. Трубят на весь мир, что «*Renown*» и «*Arg Royal*» ждут немецкое судно на выходе из порта. Немцы пугаются и затапливают судно. А «*Renown*» и «*Arg Royal*» были за тысячу миль оттуда. Можно сравнить с нашим тайным отходом в начале октября: немцы, обманутые сопротивлением нескольких аванпостов, наступают в полной пустоте, в сопровождении шквала пулеметного огня. Можно сравнить с принципами 14-го года, героизмом, войной по-честному. На этот раз, понятно, идет война пройдох, ловкачей. Война против воинской чести. Немцы не исключение: самоубийство «*Graf von Spee*». Гитлер сказал Раушенингу: «Мне не нужны рыцари». Французские газеты, которые ничего не боятся, находят смелости поставить ему это в упрек и осмеять гибель «*Graf von Spee*». Но все дело в том, что на некоторое время им необходимо поддержать в глазах тыла легенду воинской чести. В действительности же война идет против чести, равно как она идет против войны 14-го. Честь в ней канет безвозвратно. К счастью. Понятно, что всегда есть какие-то стратагемы войны. Но наша война кроме них ничего и не знает. Еще года два или три в этом духе, и понятие мужества будет связано с мирным временем, а понятие трусости — с войной. Кажется, впрочем, что за границей ее и рассматривают в этом лишенном всякого величия тоскливом аспекте. Мой ученик Кристен-

¹ Немецкий броненосец, который, после атаки союзников, укрылся для ремонта в порту Монтевидео. Союзники распустили слух, что их корабли будут дожидаться, пока немецкий броненосец не выйдет в море, после чего капитан «*Graf von Spee*», сочтя, что кораблю грозит неминуемая гибель, затопил его, а сам 17 декабря 1939 г. покончил жизнь самоубийством.

сен пишет мне из Норвегии: «Существует линия Маннергейма, которая защищает Хельсинки. Этот регион напоминает о позиционной войне, с которой вы знакомы. Тут просто подымают со скуки, по крайней мере в фигуральном смысле. Надеюсь, однако, что вас немного занимает работа над вашими книгами».

Четверг, 21-е

Очарован «Барнабутом». Благородно и грациозно. Большое влияние Жида, темы которого проникают в книгу вплоть до мозга костей. Даже слово «пыл» появляется. И критика от имени жизни сторонников Барреса: отказаться пойти в Уффици ради того, чтобы потерять от наслаждения голову в каком-нибудь кабаке. Все мы проходили *этот* способ путешествия. Все мы с той же разборчивостью посещали Баррьо Чино в Барселоне, пользующийся дурной славой квартал в Гамбурге или просто-напросто рабочие кварталы Траствера, что и немцы, лет двадцать тому назад не пропускавшие ни одной выставки гравюр с Бедекером в руках. У нас тоже были свои Бедекеры, но их не было видно. И тот конец вечера, что я провел в одном из борделей Неаполя, куда меня привели матросы, тоже относился к великому туризму. В общем, в книгах и веяниях времени я обнаружил эту тенденцию к демократизации объектов, которая тридцать пять лет тому назад породила множество жестоких газетных схваток и громких скандалов — и которая выступает в качестве продолжения романтических боев за демократизацию слов. Около 1910 года против гобеленов и картин, диковинных архитектурных памятников шла та же самая война, что и в 1830 году против устаревших слов в справочниках. Жид тоже мог бы отозваться о каком-нибудь шартрском витраже или портрете кисти Шардена, что они «из бывших». Когда же пришли мы, бои закончились. Для нас было отвоевано право бродить по докам

Лондона, вместо того чтобы отправиться в Национальную галерею, право пойти посмотреть на танец живота в Бушбир в Касабланке, право целыми днями сидеть в жалких пивнушках вокруг Александерплац в Берлине. То есть мы путешествовали совершенно естественно, «отыскивая Бога повсюду», даже не отдавая себе в этом отчета. Благородство, которое покинуло людей, чтобы найти пристанище в словах, а затем слова, чтобы найти пристанище в вещах, благородство, которое отовсюду гнали, исчезло из этого мира. Капиталистическая демократия. Все это я нахожу в Барнабуте. И все это в духе Жида. Тем не менее я вижу, как у него складывается идея, которой совсем нет у Жида и которую мы все глубоко пережили: идея, что вещи имеют некий смысл. И что нужно уметь его читать. Эта идея идет от Барреса. Только у Барреса она слишком понятная и даже рациональная, поскольку она означала, что объекты *Kulturwissenschaft*, человеческие произведения, были облечены смысловым значением, и что это значение могло открыться художнику. Разумеется, это значение всегда превосходило то, что создатель вложил в них сознательно, тем не менее оно все равно основывалось на сознательных намерениях творца. Было значение Аква-Морта, поскольку Аква-Морт — это природа, повторенная людьми, значение Лотарингии, поскольку Лотарингия — это возделанный край, значение Толедо, поскольку Толедо был результатом яростного и постоянного прилежания толедского благородного сословия. Какой-нибудь народный квартал, плод случайностей и нищеты, не имел значения. Жид, занятый завоеванием новых земель для литературы, а также слишком озабоченный чувственным сладострастием, упустил из виду эту сторону вопроса. Тщетно я ищу в его книгах усилие, направленное на то, чтобы ухватить эти мимолетные, летучие смыслы, которые отражаются мимоходом на какой-нибудь крыше, в какой-нибудь луже. Но поколение последователь Жида смогло сделать синтез. Работа, которую Бар-

рес проделывал в отношении нескольких аристократических произведений, теперь будет делаться в отношении чего угодно. Для Барреса только Толедо имеет свою «тайну».¹ Для путешественника 1925 года в мире нет ничего, что не имело бы своей тайны. Барнабут ищет итальянский «воздух»; Дюамель, оказавшись как-то вечером в Кельне, говорит Арону о «запахе» Кельна. Лакретель ищет ключи к Мадриду.² Чтобы раскрыть все эти тайны, все средства хороши: самые вульгарные и самые благородные объекты равнозначны. Барнабут, к примеру, стремится ухватить итальянский смысл в том, «что воспевают величайшие поэты... в заглавных принципах Рисорджименто...». Но он добавляет: «Это куда менее важно, чем унылый розовый цвет, которым раскрашены доки Неаполя». В Барнабуте я узнаю себя: я тоже, уплетая маленькие кричащие и блестящие пирожные в кондитерской Кафлиш, вдруг ощутил во рту тот самый итальянский дух, который уже ощущал при виде «унылого розового цвета» неаполитанских домов или печального и сухого великолепия садов верхней Генуи. Для меня тоже итальянская тайна заключалась во всем итальянском, и, например, зубная паста из Болоньи обладала каким-то тайным сродством с прозой Д' Аннуцио⁴ и фашизмом. Очаровывает меня в Барнабуте и то, что «герменевтическая» склонность здесь только-только проклевывается. Он пишет, извиняясь: «Эта Италия, окончательную формулу которой мне хотелось бы найти (взамен этих робких описаний)... Я нагромоздил целые кучи слов, так и не сумев передать итальянский *воздух*, который тем не менее так хорошо ощущаю». С тех пор появилось кое-что и получше — но не было ничего столь грациозного. Кажется, когда читаешь эти страницы, что погружаешься в какое-то наивное литературное предчувствие, напо-

¹ Подразумевается книга М. Барреса «О крови, сладострастии и смерти» (1894).

² Имеется в виду книга Ж. Лакретеля «Испанские письма» (1927).

добие того, когда наталкиваешься на описания природы в письмах госпожи де Севиньи.* Сам Ларбо написал кое-что и получше — но не так хорошо. Что до меня, то фурия тайны — в отмщение Барресу — довела меня в «Тошноте» до того, что мне захотелось ухватить тайные улыбки увиденных в совершенном безлюдье вещей. Рокантен перед городским парком — это я сам перед неаполитанской улочкой: вещи делали ему знаки, надо было их расшифровывать. А когда я решил писать новеллы, моя цель была совершенно отлична от той, которой я достиг впоследствии: я заметил, что чистые слова упускали смысл улиц, пейзажей, как заметил это и Барнабут. Я понял, что следовало представлять смысл, когда он еще связан с вещами, так как он никогда от них полностью не отделяется, и, чтобы обнаружить его, показать мельком какие-то объекты, которые его в себе содержат, и дать почувствовать их равнозначность, чтобы эти твердые тела сталкивались и уничтожали друг друга в сознании читателя, как один гвоздь выбивает другой, и чтобы в конечном итоге на горизонте этого пестрого хаоса не осталось ничего, кроме этого незаметного и устойчивого смысла, совершенно точного, но все время ускользающего от слов.¹ И чтобы избежать логических связей, как, впрочем, и недостатка бессвязного перечисления, самым лучшим было, как я думал, соединить эти разнородные вещи в каком-нибудь очень быстром действии. В общем, видимо, я написал новеллы в духе, очень близком новеллам К. Мансфильд.** Их было две: одна о Норвегии — «Полуночное солнце»,² которую я потом потерял посреди Коса, когда шел пешком и держал куртку в руке; вторая, которая совершенно не удалась, о Неаполе —

¹ Сартр попытается осуществить этот замысел в 1951 г. в оставшемся незавершенном эссе об Италии — «Королева Альбемарль, или Последний турист» (издано посмертно в 1991 г.).

² Написана в 1935 г. во время путешествия с семьей по Норвегии.

«На чужбине».¹ И в конце концов логика, свойственная жанру «новеллы» привела меня к созданию «Стены» и «Спальни», которые уже не имели никакого отношения к моему начальному замыслу. Короче говоря, я довел склонность к тайне до полной дегуманизации тайны вещей. Но я стою на том, что в большинстве своем тайны являются человеческими. И я вижу логическое завершение «робких исканий» Барнабута в хайдеггерианских страницах «Планеты людей», которые я приводил в третьем дневнике, и где Сент-Экзюпери говорит примерно следующее: «Предмет обладает смыслом лишь через цивилизацию, культуру, ремесло». Вот мы и вернулись к бытию-в-мире. И мир снова становится этой совокупностью значений, «откуда человеческая-реальность узнает, чем она является». То есть мне кажется, что мы перевернули новую страницу литературной истории «чувства природы». Баррес, или тайны, Жид, или демократизация вещей, Ларбо и вся послевоенная литература, или демократизация тайн. И наконец, этот более широкий гуманизм 39 года: возврат к действию, и *ремесло*, понимаемое как лучшее орудие для раскрытия тайн. Я сказал бы даже, что эпоха Ларбо, когда казалось, что существует художественное прозрение секретов, доступное любому человеку доброй воли, принадлежит к капиталистической абстракции, о которой я писал вчера. Человек, который улавливает секреты, является здесь абстрактной антенной, это и есть тот пресловутый «абстрактный человек» демократических режимов. Тогда как в утверждении Сент-Экзюпери, что секрет лежит на самом кончике жеста работника, я ощущаю какой-то тайный протест против капитализма, желание обрести конкретного человека, снова привязать его каким-нибудь новым способом к земле, поскольку буржуазный дом

¹ Написана под влиянием путешествия в Италию с Симоной де Бовуар. Опубликовано в Приложении к Полному собранию прозы (1981).

обрушился. На сей раз это будет ремесло. И нет никаких сомнений, что есть здесь какая-то смутная ностальгия по фашизму. И я сам признаю, что в моей теперешней мысли есть подозрение на фашизм (историчность, бытие-в-мире, все, что приковывает человека к своему времени, все, что заставляет его пускать корни в своей земле, в своей ситуации). Но я ненавижу фашизм и пользуюсь им здесь как той щепоткой соли, которую добавляют в пирог, чтобы он казался послаще.

Это противопоставление работника Сент-Экзюпери абстрактному туристу обладает такой силой, что для Ларбо путешественник (то есть Барнабут) может *видеть* белые цветы моря, тогда как только пилот *чувствует* их ядовитость. И конечно же образованный человек без всякого удивления будет сталкиваться у Сент-Экзюпери с этими внезапными переходами от Сахары к Огненной земле, от Парижа к Андам, к которым нас приучили современные писатели. Однако, если он не будет настороже, то упустит существенное различие: для Барнабута Норвегия, Франция, Италия — это земли и культуры совершенно устоявшиеся, которые, похоже, в силу собственной инертности стремятся отделяться друг от друга. Они соположены. Тогда как для Сент-Экзюпери, авиатора, на первом месте единство *его* мира. Он-есть-в-мире в силу главенствующего действия *летать*. И именно на фоне мира и появляются города и страны как пункты *назначения*. В этом смысле речь идет о смерти экзотизма: эти города с волшебными названиями — Буэнос-Айрес, Карфаген, Марракеш — лежат перед ним так, чтобы он мог ими *воспользоваться*, как гвозди и рубанок лежат на верстаке. Танжер — это прежде всего вежа, ориентир, радиоточка; потом инструкция, задача, понимаемая через ремесло. Наконец, по мере того, как к нему приближаешься, цветок распускается, и вот он, этот желтый и сухой город со своими нищами и надменными испанцами и пре-

красными кабильцами. Но она, эта нежность, возникает лишь *напоследок*. Сент-Экзюпери — это анти-Барнабут.

Итак, вещи человечны, ничего тут не поделаешь. Они возвещают человеку о человеке. Но не следует это понимать так, будто их человеческий смысл накладывался на них последовательными слоями, от поколения к поколению, год за годом жизни индивида. Достаточно существовать, броситься в мир через дыру ничто и бросить на горизонт сущего нашу человеческую-реальность в виде подлежащего обоснованию идеала, и каждая вещь будет возвращать нам, возвещать нам эту человеческую-реальность, правда, отражая ее со своим собственным показателем. Таким образом мы познаем себя по вещам. Но человеческие смыслы, которые они нам посылают, отягощены, обогащены их собственной субстанцией, в силу чего то, что мы читаем на них, совсем не ограничивается тем, что открывает нам нас самих, оно нас *творит*. Не следует думать, например, что мы сначала выстроили психологическую природу: «подозрительную и тревожную томность, низость, которая засасывает заинтересованной лестью и склонностью к самоуничижению и т. д.», и лишь потом, *загнем числом*, нашли *липкость* как психический образ этого психологического характера. Что значило бы, что образ всегда является метафорой, схватыванием абстрактных отношений, что мораль басни была придумана до басни. В действительности, в силу того, что я бросаюсь в мир, каждый объект направляет на меня человеческий взгляд еще до того, как я научусь пользоваться этим объектом и понимать этот взгляд. Липкость тревожит меня, терзает еще до того, как я узнаю, что существует в людях некая цепкая и томная низость. Речь идет не о *Einfühlung*,¹ не о воодушевлении *загнем числом* от природы, напротив, липкость, еще до

¹ Вчувствование, эмпатия.

всякого психологического чувства, еще до всякого эмпирического *Einführung*, выступает как экзистенциальная категория, именно ее густое и глинистое засмоление, поскольку оно вырисовывается на фоне человеческого мира, будет направлять нас к другим людям. Липкость человечна, поскольку она обретает формальную и прагматическую категорию сопротивления человеку, расстояния между людьми, способа, к которому прибегает человеческая-реальность, чтобы соединиться с собой. Но остальное делает ее собственная природа, она возвращает человеку «человеческую-липкость». Это и объясняет отвращение. Отвращение — это всегда отвращение человека к человеку. Ребенок, который по неосторожности засунул руку в липкую массу и вытаскивает ее, расплакавшись от отвращения, пережил человеческий опыт. Не то чтобы он прочувствовал низость человека через липкость, он познал лишь некую вещь. Но эта вещь человечна по самой глубинной своей структуре; она обладает неразличимой глубиной, где перемешаны тысяча неразличимых и человеческих возможностей, тысяча возможностей, присущих плачущему ребенку. Липкость как *наваждение*. Отсюда легко скатиться в фетишизм, затем в анимизм, но природа — это и не фетишизм, и не анимизм. Вещи обладают колдовским характером, но просто потому, что они неизбывно человечны, они таят в себе человеческие смыслы, которые мы недооцениваем, прежде чем их понять. Нет никакой низости, что таилась бы в липкости, есть лишь человеческая-липкость, липкость-для-человека, мать всех низостей. Липкая человеческая-реальность находится на горизонте этой липкости, и эта человеческая-реальность, которую мы даже не понимаем, и является нами. Нами: возможное засасывание нас самих в эту липкость. Возможное облипание нас самих, которое мы с тоской предчувствуем, не будучи в состоянии понять, что же оно собой представляет. Вот почему следовало бы описать эти реальные категории, исходя из которых чело-

век медленно подходит к самому себе: липкость, гибкость, ломкость, и т. п.¹ По этому поводу я скажу, что теперь яснее вижу нечто такое, что уже давно предощущал: предсексуальность. Последователи Фрейда справедливо заметили, что невинное занятие ребенка, который, играя, копает ямки, вовсе не является таким уж невинным. Как и то, когда он сует палец в щель двери или стены. Они сближают его с этими фекальными удовольствиями, которым предаются дети, получая или ставя клизмы. И они правы. Но суть вопроса остается непроясненной: следует ли сводить все эти опыты исключительно к познанию анального удовольствия? Я бы заметил, что это предполагает таинственную прозорливость инстинкта, ведь ребенок, который сдерживает свои испражнения ради удовольствия, не может догадываться, что у него есть анус, что этот анус имеет некоторое сходство с этими ямками и щелями, куда он сразу же пытается засунуть пальцы. Иначе говоря, Фрейд будет стоять на том, что все дырки являются для ребенка символическими анусами и притягивают его к себе в силу этого родства — я же скорее задамся вопросом, не является ли для ребенка анус объектом вожделения как раз из-за того, что это дырка. И конечно же дырка в заднице является самой живой из всех дырок, лирической дырой, которая хмурится, как бровь, сжимается, как раненый зверь, зияет, наконец, побежденная и готовая открыть все свои тайны; эта самая нежная, самая сокровенная из всех дырок, как бы то ни было, я не могу помешать фрейдистам слагать гимны анусу, но все равно культ дыры появился раньше культа ануса, и он применим к большему количеству объектов. Я охотно допускаю, что мало-помалу он заряжался сексуальностью, но мне представляется, что изначально он является предсексуальным, то есть он содержит в себе сексуальность в зачаточном, нераз-

¹ См. в четвертой части «Бытия и Ничто», глава 2, § 3: «О качестве как проявителе Бытия».

личимом состоянии и не укладывается в ее рамки. Я думаю, что удовольствие, которое испытывает ребенок, ставя клизмы (многие дети играют в доктора, чтобы получить это удовольствие. Для меня самого это одно из первых воспоминаний: моя бабушка простирает руки к небу, потому что застала меня в гостиничном номере в Силсберге, когда я ставил клизму одной маленькой швейцарке моих лет), является предсексуальным: это удовольствие от проникновения в дыру. И сама ситуация «проникновения в дыру» является предсексуальной. Будем под этим понимать, что она не является ни психологической, ни исторической, она не предполагает связи, установленной в ходе человеческого опыта между отверстиями и нашими желаниями. Но стоит человеку появиться в мире, дыры, отверстия, все выемки, которые его окружают, становятся человеческими. Мир — это царство дыр. В самом деле, я вижу, что дыра связана с отказом, с отрицанием, с Ничто. Дыра — это прежде всего то, чего *нет*. Эта уничтожающая функция дыры обнаруживается в просторечных выражениях, которые здесь можно услышать: «дырка от жопы», что означает — ничто. Обозвать противника дыркой от жопы значит уничтожить его, превратить его в глупое ничтожество, в ноль. Понятно ведь, что в народной образности жопа это то, что вокруг ануса. Замечу также, что умам не дает покоя идея глубины дыры. Говорят о «бездне глупости» и о бездонной глупости. Есть здесь некая соблазнительная двусмысленность, своего рода переливы конечного и бесконечного: в каждой дыре ищут самого дна, поскольку у нее есть края, но с другой стороны Ничто — это бесконечное, поскольку оно может быть ограничено только самим собой. То есть существует некая тяга к Ничто, тяга двусмысленная. Откуда игра в *прятки*. Спрятаться — значит изначально залезть в какую-то дыру, уничтожить себя, отождествляясь с пустотой, которая эту дыру составляет. Защититься, скажут иные. Возможно, но защититься в самоуничтожении, в само-

устранении в незримое. Таким образом, ничто дыры — это ничто человека, одновременно смерть и свобода, отрицание социального. Один раз я видел, как одна мать-фрейдистка пожирала умиленным взглядом свою маленькую дочь, сидевшую на четвереньках под столом. Она была убеждена, что эта тяга ребенка к темным укрытиям была желанием возвратиться к родовому состоянию; она была польщена, словно ребенок стучал к ней в дверь и хотел вернуться внутрь ее утробы. Предполагаю, что она уже была готова раздвинуть ноги. Но все это вздор. Смятение, вызываемое дырами, проистекает из того, что они дают возможность уничтожения, ускользнуть от фактичности. Именно это ничто и притягивает в том, что, собственно, и называют *смятением*. Бездна — это дыра, она предполагает возможность *поглощения*. И поглощение тоже всегда притягивает как уничтожение, которое является своим собственным основанием. Естественно, что тяга к дырам сопровождается отвращением и страхом. Но ничто дыры имеет свой цвет: это *черное* ничто, что вводит здесь еще одну природу, еще одну кардинальную категорию: Ночь. Природа дыры является ночной. Именно это определяет ее подозрительный, таинственный и сакральный характер. И как раз потому, что дыра является ночной, она что-то таит в себе. Дневные дыры прорезаны ночью. В глубине ночи всегда *что-то* есть. Дыра священна, потому что таит в себе что-то. Кроме того, она представляет возможность соприкосновения с тем, что не видишь. Своеобразие ситуации, когда человек роется в какой-то дыре, заключается в том, что его руки встречаются с врагами, которых не видят его глаза. Его глаза еще находятся в царстве света, но добрая половина его, ослепленная, уже спустилась в ад. Я уже отмечал, что зачастую дыра являет собой сопротивление. Чтобы пройти через нее, надо приложить силу. Уже через это дыра обретает женский характер. Она есть сопротивление Ничто, то есть чистота. Ясно, что именно этим она привлекает сексуальность (воля к

власти, насилие и т. п.). Но в то же самое время в акте проникновения в дыру, который является насилием, взломом, отрицанием, мы обнаруживаем рабочий акт *затыкания дыры*. Ребенок, который сует палец в дырку в земле, испытывает радость от того, что *заполняет*. В некотором смысле все дыры втайне хотят быть заполненными, они как призывы: заполнить = торжеству полноты над пустотой, существования над Ничто. Речь идет здесь о жесте ремесленника. Выражение «затыкать дыры» и «затычка» уже указывают на человеческую задачу добиться полноты — в противоположность смятению уничтожения, каковое является черной магией. Заткнуть дыру — это превратить пустоту в полноту и тем самым магически сотворить материю, обладающую всеми характеристиками дырявой субстанции. Чтобы заделать глиной дыру в кирпичной стене, я изготавливаю из этой глины кирпич. Откуда стремление заделывать дыры с помощью собственного материала, что приводит к идентификации с продырявленной субстанцией и в конечном итоге к метаморфозе. Ребенок, который засовывает палец в дырку в земле, составляет единое целое с землей, которую он затыкает, через свой палец он превращается в землю. В глубине этого колдовства я нахожу ремесленную идею *вхождения одного в другое*, примитивный вид необходимости. Два тела, которые входят друг в друга, сделаны одно для другого. Это вхождение магическим образом влечет за собой слияние. Понятно, что природе дыры — предсексуальной — легко удастся поляризовать почти всю сексуальность, когда ребенок сможет подумать, что он сам является дырой, в которую можно проникнуть, или, наоборот, что он может проникнуть и заткнуть своей собственной плотью какую-нибудь дыру, которая прячется в другом живом теле. И понятно, что отнюдь не сексуальность определяет привлекательность дыр для ребенка, наоборот, категориальная природа дыры составляет основополагающий слой значения для разного рода сексуальных дыр — влагалище,

анус, рот и т. п. И это совсем не означает, что дыра сама по себе не является объектом сексуальности, но следует заметить: 1) что эта сексуальность пребывает в зачаточном, неразличимом состоянии, растворенном во всей совокупности человеческих наклонностей и человеческого отношения к дырам; 2) что она обращена к дыре не так, как нечто от нее производное и аналогичное анусу, а непосредственно как основополагающая часть своей собственной структуры. Дыра, женский и ночной орган природы, оконце в Ничто, символ целомудренного и попранного отказа, темный зев, который поглощает и усваивает, возвращает человеку человеческий образ его собственных возможностей, его липкость, его ломкость. В затыкании дыр, в нем, может быть, есть человеческое наслаждение — и оно не является собственно сексуальным, как есть человеческое наслаждение в том, чтобы скрести какую-нибудь хрупкую субстанцию и отделять от нее различные фрагменты. Фрейдисты сделали сексуальными поэтами дыры, но они не объяснили природы ее притягательности. Для этого нужно разглядеть человеческую тень, отбрасываемую на природные впадины и кратеры. Бобр мне рассказывала, что испытывала чудовищный страх, когда читала книгу под названием «Охота в джунглях»,¹ так кажется. В ней рассказывалась, среди прочих ужасных историй, в частности, следующая, которая, если задуматься, восхитительным образом проливает свет на все свойства дыры: двое пленников обнаруживают вход в узкий и мрачный подземный ход и убегают, пролезая по нему на четвереньках. По мере их продвижения проход сужается, и в итоге тот из них, кто шел первым, толстый парень, на вид веселый и симпатичный, застревает между стенами и не может больше двинуться ни вперед, ни назад. Тем временем появля-

¹ Имеется в виду книга французского писателя Луи Жакольо, вышедшая в свет в 1888 г. См. также: *Beauvoir S. de. Mémoires d'une jeune fille rangée*. Paris: Gallimard.

ется удав и аккуратно проглатывает его, несмотря на отчаянные вопли последнего. Историю рассказывает другой, он становится беспомощным свидетелем заглатывания этого страдальца. Весь ужас истории, которая часто не давала Бобру заснуть, заключался, очевидно в том, что она происходила в дыре. Конечно же, мало приятного в том, чтобы быть проглоченным удавом, но когда эта операция разворачивается на открытом воздухе, то она относится к тому типу ужасов, которыми изобилуют книги для детей и которые дети хладнокровно читают, жуя тартинку с джемом. Только здесь эта история пробудила исполненный ужаса и вождедения страх перед дырой. К чему искать здесь все эти рассуждения про задницу? Эпизод говорит сам за себя. Не есть ли это сама суть *дыры*, этого темного отверстия, куда проникают силой, и которое поначалу поддается, которое являет собой ничто и ночь, и которое затем медленно закрывается, как пасть, как сфинктер,* и которое что-то заключает внутри себя, прячет в себе — что же? — *другую дыру*, наделенную неимоверной прожорливостью и разрушительностью, удава. Не знаю, не крылось ли в ужасе Бобра какое-то темное наслаждение, потому что это поглощение с последующим заглатыванием, этот человек, целиком проглоченный силами тьмы — есть во всем этом что-то приносящее удовольствие уму и сердцу.

Естественно, то, что я проделал здесь с дырой, можно было бы повторить с десятком или двумя десятками предсексуальных объектов — с пальцем, кривой, затвердеванием, положениями (положениями вещей по отношению друг к другу, их соположению, наложению — положением борцов, воинов, игроков, и наконец, положением мужчины и женщины в любовных играх). Я лишь хотел отметить человеческое происхождение смысла вещей — не в том смысле, что человек предшествует смыслу вещей, но в том, что мир человекен, и что именно в человеческом мире и появляется человек. В самом деле, отметим здесь, что липкость

отнюдь не является прежде всего липкостью, а уж *потом* человеческой-липкостью, и что дыра не является прежде всего дырой, а уж *потом* ночным ничто, прожорливой силой и т. д. В одном и том же движении они образуют себя в виде естественных объектов и в виде объектов человеческих. Так как без человека и без его ничтожащей силы не было бы ни липкости, ни дыр, был бы лишь расцвет зачаточной, неразличимой полноты. Проецируя свое ничто в эту полноту, человек силой отрицания делает так, что есть дыры и что эти дыры являются дырами-для-человека.¹

Сегодня вечером нас навещает Кляйн, шофер полковника. Он услышал наши громкие разговоры (я объяснял Петеру, что у него женский темперамент, а он злился), и это его привлекло: свет, тепло. Мы ему предложили кусок пирога, и он принялся рассказывать всякие истории. Это первый встреченный мной человек, который действительно *видел* состояние, в котором находятся эвакуированные деревни. Как-то раз они остановились в приграничной деревушке, и пока полковник ходил на батареи, он попросил у сержанта открыть ему один из домов и показать в каком состоянии имущество. Поучительно: разбитые зеркала шкафов, разломанная мебель, разворованное белье — то, что не могли взять с собой, разорвали. Разбитая черепица на крышах, разграбленное столовое серебро. В погребках выпили, сколько могли, а когда уже больше не могли, ушли, оставив открытыми краны на бочках. Погреб залит вином. Швейная машинка разломана на две части. Топором? «А ведь она чугунная», — задумчиво говорит Кляйн. Недавно в эту и соседние деревни вер-

¹ В письме к Бобру, написанном в тот же день, Сартр пишет: «Я также открыл теорию ничто за чтением Кьеркегора. Хорошо поработал в эти дни, думаю, что мои теперешние дневники намного лучше прежних. Может, более философские, но без всякого лепета».

нулись эвакуированные, у них было разрешение на сутки, чтобы забрать белье. Когда они вышли из своих домов, многие из них плакали от отчаяния; там уже ничего не было. Они пожаловались коменданту. Но что тут поделаешь? Виновники не из нашей части и даже, наверное, не из той части, что была до нас. Это случилось в первые дни войны. Как справедливо заметил Петер, это было время, когда думали, что война будет настоящим катаклизмом. Солдаты торопились награть побольше, думая что после того, как пороботают пушки, все следы грабежа будут уничтожены вместе с разграбленными домами. И вот вам, война стала томительной скукой, долгим ожиданием, разграбленные дома стоят себе, сущее безобразие и постыдство. «Быть того не может, — говорил сержант, — быть того не может, чтобы им все вернули в таком виде, будут волнения. Надо будет им говорить, что это фрицы все разграбили. Но для этого надо, чтобы фрицы начали наступать...». Кажется, что примеры подавали офицеры. В Херлисхайме распломбировали вагоны с так называемыми сэкономленными припасами: они были битком набиты бельем, швейными машинками, серебром. Как знать, не грабят ли и гражданские, приезжающие за теплыми вещами. У них есть пропуск. Как знать, заходят ли они в свой дом или к богатому соседу. Только мэр может это сказать, но мэра тут нет, он в Лимузене. Говорим о Страсбурге. Он говорит, что там, наоборот, полиция строгая и хорошо справляется со своим делом. Один старый оригинал, которого он лично знал, торговец зонтиками, не захотел уезжать, спрятался в своем доме и подождал, пока все остальные уедут, потом зажил в одиночестве, питаясь консервами. Под конец осмелел, стал по вечерам зажигать свет. Как-то ночью полицейские, делая обход, увидели свет. Они стали звать, кричать, старик не отвечал. Они обращались три раза, а старик все молчал, опасаясь как бы его не эвакуировали силой. После третьего раза они стали стрелять в окно и первыми же выстрелами убили его наповал.

Я совершил «паломничество» в Пфафенхофен, колыбель моей семьи с материнской стороны, насколько я помню. Во всяком случае летом 1913-го я отдыхал здесь у моей тети Каролины Бидерман, у нее был магазин белья, самый богатый в городе (кстати, как только мой дед, столь щепетильный в вопросах интеллигентского благородства, терпел мезальянс своей сестры?). Смутно помню, будто наблюдал тогда за серебристым сверканием немецкой части, дефилировавшей под нашими окнами под звуки флейты — резкие и неприятные. Именно к Пфафенхофену относится мое первое «литературное» воспоминание. Сидя за секретером, спиной к окну, я писал тогда приключенческий роман «За бабочку». Бумага, на которой я писал, была разнована — не карандашными линиями, а настоящими полосами: через каждые два сантиметра были проведены две параллельные линии на расстоянии с четверть сантиметра одна от другой, мои ученические буквы не должны были залезать за эти линии, что вызывало во мне неприятное ощущение какой-то скупости. Я покупал эти тонкие тетрадки у Розенфельдера,¹ владельца жалкого писчебумажного магазина, стоявшего как раз напротив громадного магазина Бидерманов, там же я приобретал перья и конфеты. Они во мне каким-то удивительным образом связались — эти конфеты и эти перья с тетрадками, когда я ел конфеты, у меня было такое ощущение, будто я жую бумагу. В душе было такое чувство, что эти конфеты были какими-то прилежными, слегка занудными и оттого более притягательными — рабочие конфеты. Я все время шнырял в этом магазине, и тетя Каролина, которая была большой сволочью, делала мне неприятные замечания: «Не до-

¹ Позднее это воспоминание немного спутается: в «Словах» Розенфельдер выведен бакалейщиком под фамилией Блюменфельд. (Этот писчебумажный магазин с вывеской «Розенфельдер» существует и поныне.)

кучай г-ну Розенфельдеру со своими мелкими покупателями». По правде говоря, насколько я помню, г-н Розенфельдер, лысый доброжелательный человек в очках, был не из тех, кто пренебрегает мелочью. Помню, после войны, году в 20-м или 21-м, я снова приехал в Пфафенхофен, с дедом. Тетя Каролина была по-прежнему невыносимой. Помню также сад, где я играл с ее внучатым племянником Тео, ее сноху, с которой я играл в четыре руки на пианино, ее дочь Анну, она была горбатая и заставляла меня говорить что-то вроде «Ripele» и «Ripele»,¹ чтобы посмеяться над моим французским произношением. А также поездку в замок Лихтенберга, в коляске, на одной лошади. Когда вернулись оттуда, ужинали в каком-то кабачке; кухня Матильда и кухня Анна славно наелись, по-эльзасски, раскраснелись от горячих блюд. Меня это поразило или, точнее, мне очень хотелось, чтобы меня это поразило: я был в том возрасте, когда мнят себя Ален-Фурнье,* когда чувствуют себя утонченным, требуют от женщины грациозной нереальности, что позволяет, если ты симпатичен и твоего общества уже домогаются, выставлять себя с ними тираном и баловнем, чтобы отплатить им за тот ужасный грех, что они из плоти и крови, а если ты безобразен, тебе остается читать Лафорга,** предаваясь презрительной горечи. Я отведал чуть-чуть этой утонченности, но самую малость. Это было одним из возможных направлений. Почти тогда мы с Низаном пошли по другому пути, стали исповедовать культ тела. Помню, как мы веселились в Клюни — и напоказ тоже, — наблюдая, как крепкая блондинка вгрызается своими зубами в сэндвич с холодным мясом. Мы вполне могли бы написать, как Ларбо: «Полагаю, мало что так мило взору, как вид красивой женщины в простом платье, которая с большим аппетитом поедает огромный бифштекс с кровью» («Барнабут»). Возможно, что в основе многочисленных разговоров,

¹ Слова эльзасского диалекта — «куколка», «котлетка».

которые мы вели по этому поводу, лежал этот маленький текст Ларбо. Но главное, что это отвечало нашему картезианству: тело есть тело, если любишь женское тело, его надо принимать целиком и полностью, нет никаких «слабостей» тела и т. д. Разумеется, все это было приправлено шепоткой язычества: это было время, когда мы читали «гимны телу» Монтерлана. Естественно, нам не всегда доставало последовательности, и время от времени мы снова впадали в неземную утонченность, и воспоминание об этих двух женщинах с пунцовыми щеками всегда приходило мне на ум в подобных случаях. Оно служило золотой гарантией в моих приговорах. Ведь в то время, когда я быстрее строил, чем обосновывал, основная моя забота заключалась в том, чтобы на всякий случай обеспечить себе воспоминание-гарантию. Мадам Морель вдоволь посмеялась, когда я заявил своим тогдашним безапелляционным тоном (который Гиль назвал «тоном Фридриха»): «Мне отвратительны женщины, которые краснеют за едой». Вот те немногие воспоминания, что остались мне от Пфафенхофена. Тем не менее я счел, что мне необходимо это паломничество. Почему? В общем, я надеялся, что это внезапное соприкосновение с городом, где мне доводилось бывать, выльется в тучу воспоминаний. К тому же он делал меня поэтичным, этот маленький городок, погребенный в глубине моей памяти, как тот город Юс на дне моря (есть вроде что-то такое у Ренана).¹ Надо было съездить в аэростатную службу за водородным баллоном, и я упросил Поля послать туда меня. Сегодня утром, уже перед отправлением, я почти что пожалел о своем решении, просто

¹ «Мне часто кажется, что в глубине моего сердца лежит этот город Юс, который бьет еще в колокола, призывая на священные службы верующих, которые уже ничего не слышат... С приближением старости мне стало нравиться прислушиваться во время летнего отдыха к этим далеким шумам исчезнувшей Атлантиды». См.: *Renan E. Souvenir d' Enfance et de Jeunesse*, 1883 // *Oeuvres complètes*. Vol. 2. Calman-Lévy, 1948.

из-за того, что мне всегда приходится немного заставить себя, прежде чем тронуться с места. К тому же надо было брать с собой винтовку и каску, что уж было мне совсем не по нраву, они ведь не относятся к классическим атрибутам паломника, наконец, следует признать, что я был просто вне себя из-за того, что должен отказаться от своего поэтического завтрака. Мы поехали на грузовике, я и Грене. Я сидел рядом с шофером, усатым эльзасцем лет сорока, Грене был в кузове. «Погода стояла прекрасная», как сказал перед нашим отъездом это резонер Курси таким тоном, который как раз и необходим, чтобы обезвредить сказанное, с каким-то вялым и добродушным превосходством, какой-то небрежной старательностью, которые смягчают фразу, словно бы наделяя ее невидимыми скобками, и дают понять, что дело за тем, чтобы сказать то, что должно быть сказано, но никак не за тем, чтобы подумать, главное не подумать это — идет ли речь о погоде или музыке Бетховена. У Курси слово является лучшим лекарством против мысли. Земля была твердой, будто каменной, растрескавшейся, желтоватого цвета, выбеленного изморозью. Чудесное блеклое солнце освещало просыпавшиеся деревни — Эбербах, Швейгхаузен, Нидермодерн. В полях стояли огромные першероны в артиллерийских упряжках, но природа забирала их на свой счет, превращала их в рабочих лошадей, а солдат — в крестьян. Сухая и пронзительная зимняя деревня. Было минус 9. Я ничего не узнавал. Встретил в одном кафе одного метеоролога, который вечером уезжал в отпуск и захотел угостить всех шнапсом. После чего угощал я, потом Грене, потом шофер. Откуда я направился в БНК, где за стеклянной перегородкой размещается метеослужба армейского корпуса. Там выпили рома. Когда я вышел, в голове уже шумело, я стал бродить по этому богатому и немного печальному городку, который ничего мне не говорил. Все это прошлое было похоронено, ничто не могло его возродить. Я купил махровых полотенец для капитана Ор-

селя, пачку почтовой бумаги для лейтенанта Ульриха. На повороте одной улицы я оказался перед большим выкрашенным охрой строением, весьма уродливым — шиферная крыша, башенки и шпили: это был магазин Бидермана. И здесь моя память безмолвствовала. Я зашел напротив, к Розенфельдеру, как и раньше, купил бумаги, как и раньше. Магазин модернизировался, на показ выставлено немного, есть в нем какая-то строгая скромность протестантского магазина, тем не менее он, как кажется, битком набит всякими милыми штучками, красивыми канцелярскими книгами, папками, скоросшивателями, ручками и т. п. Конфет уже нет. Выйдя, я немного покрутился перед магазином Бидерманов. Каролина умерла, Матильда тоже. Анна наверняка эвакуирована (она жила в Страсбурге). Тео должен быть в армии. Должно быть, остался только старый Жорж, о котором в семье обычно говорили, покручивая у виска пальцем. Я уж точно не хотел заходить, но увидел в окнах какое-то движение, появилось вдруг женское лицо, которое прилипло к окну; не знаю почему, меня что-то пронзило — на какую-то секунду. Наверняка символическое желание зайти внутрь дома, снова увидеть гражданских людей, занятых гражданскими делами, погрузиться в темное и нежное сердце Мира, поговорить с женщиной. Словом, смотаться. Я вернулся в кафе, где меня дожидался Грене. Метеорологи дали мне кипу газет, среди которых была «Люмьер» от 15 декабря, где Эмиль Бувье писал обо мне: «Сомневаюсь, что г-н Сартр станет великим романистом, так как он, похоже, не любит искусственности; а в искусственности и присутствует „искусство“. Следует опасаться, как бы он, не приняв слишком всерьез своей миссии и убедившись, что средства выражения, которыми он располагает, все равно будут искажаться, не оставил литературу в пользу философии, мистицизма или общественного проповедования».

Я был совершенно ошарашен: никогда бы не подумал, что меня спроводят к мистицизму. Что же каса-

ется общественного проповедования, то господин Бувье может быть совершенно спокоен. И какое странное у него обо мне представление, если он полагает, что я испытываю отвращение к искусственности. Черт возьми, мне прекрасно известно, что в романе нужно лгать — чтобы быть правдоподобным. И я люблю эти приемы, я агун по призванию, иначе не писал бы. Мне было немного неприятно, тем более что в силу одного из этих совпадений, которые часто случаются в моей жизни, это произошло на следующий день после письма от Бьянки, в котором она мне сообщала, что Леви ценит меня больше «как философа, нежели как романиста», потому что у меня якобы не хватает воображения. Чуть дальше этот же самый господин Бувье упрекает меня, что я забыл о том, что роман — это «развлечение». Это он так говорит. То, что объектом романа является нереальное, с этим я согласен. Но было бы несколько грубым утилитаризмом полагать, что сам по себе роман — это развлечение. Он же в разделе «похвал», заявляет, что в моих книгах «со спокойным бесстыдством разворачивается восхитительная сочность жизни». Эта фраза меня смутила больше, чем все остальное: когда говорят о «сочности жизни», я вспоминаю Рабле, «Золотые кишки» Кроммелинка,¹ да мало ли что? Но чтобы у меня — зануды, скряги — была «жизнь»? И в моем бесстыдстве нет ничего спокойного. К тому же это совсем не бесстыдство. — После чего угощает Грене, потом я, потом шофер, и мы возвращаемся немного навеселе. Пейзаж чуть рыжее, солнце чуть желтее. Полдень. Я плохо понимаю, почему так славится полуденная точность под тем предлогом, что в полдень вещи не отбрасывают тени.² Настоящая точность, про-

¹ Имеется в виду Фернан Кроммелинк (1886—1970), бельгийский драматург. Упомянутая пьеса была поставлена Луи Жуве в «Комеди де Шанзелизе» в 1925 г.

² Возможно, аллюзия на выражение П. Валери «Полдень-праведник» в «Морском кладбище».

нзительная точность ума — это точность раннего утра. Когда я вернулся в Морсбронн, меня немного подташнивало, я испытывал какое-то смутное удивление, что мне предстоит прожить еще целый день, я горько пожалел о моей радостной утренней точности мысли; шофер сказал мне: «Люблю заводить друзей; такая уж у меня натура. Могу я к вам зайти на Рождество? — Конечно». Однако я рассчитываю, что развлекать его будут Поль и Келлер. А ведь и правда, до Рождества осталось два дня. Большинство солдат придают этому значение, это будет для них временем сожалений. Рождество — это один из тех моментов года, когда от семьи сильнее всего несет затхлостью, об этом запахе они и будут сожалеть. Военные власти, которые заботятся о солдатской морали, готовят им на этот день маленький сюрприз. В привокзальном ресторане будет елка. Наверное, я пойду. Хочу посмотреть на эту солдатскую елку. Но только как турист. Надо бы там выпиться. Кстати, Поль попросил меня привезти из Пфaffenхофена бутылочку хорошего вина, у него завтра день рождения. То есть будем отмечать, наверняка будет пирог. Услуга за услугу: мой будем отмечать 21 июня. Мне это кажется немного смешным и трогательным.

Письмо от Полана. Арагон «по-прежнему в завхозах в „стройбате“ (несколько самоубийств). Утверждает, что СССР, пока мы „делаем вид“, с каждым днем все сильнее давит на Гитлера».¹

Суббота, 23-е

Сегодня утром — 10. Антисептический и очаровательный холод, вроде местной анестезии, мороженого мяса и сжиженного газа. Его плотность чувствуешь,

¹ Напомним, что Арагон одобрил советско-германский пакт, считая, что СССР заключил его в целях сохранения мира.

когда шагаешь по дороге, покрытой изморозью. Предметы уменьшаются в объеме и становятся более четкими, кажется, однако, что они отделены от меня какой-то средой преломления света, когда я спускаюсь по замерзшей дороге, направляясь позавтракать в ресторан, у меня возникает такое ощущение, будто я углубляюсь в стекло. Теперь в кафе по утрам военных не обслуживают, и я по большой милости завтракаю в ресторанной кухне, за грязной клеенкой, среди невыносимого шума воды и пресного запаха мяса (оно тут, за моей спиной, это мясо, нарубленные куски бурого цвета с голубеющими, как глаза, костями) на шесте, положенном одним концом на раковину, другим на подоконник, жирные черноватые сосиски копошатся, как червяки. И я веду свой утренний разговор с хозяевами заведения: поваром офицерской столовой, военным мясником, который дожидается своего грузовичка, чтобы поехать за мясом на Цыганский перекресток, стрелком в каске, с длинной лошадиной физиономией, который пришел к прибытию автобуса забрать отпускников, возвращающихся в часть. Все время одни и те же фразы, но все время «прочувствованные», что их немного оживляет и придает им свежести. «Пощипывает сегодня утром. — Минус девять, мать твою. — Сейчас бы домой. — Грузовик чего-то не едет: чего он там копается? — Ну, знаешь, по такой погоде радиаторы... Возьми того верзилу с конезавода, тоже шофер, вчера пришлось вызвать машину, чтобы он завелся. Они протащили его метров пятьсот, никакого толку». Смотрят на мои книги: «Все читаешь?» Я стыдливо извиняюсь: «Мать твою, а что еще делать». Они мне снисходительно прощают, даже ободряют с превосходством хорошего мальчика: «Все правильно. Раз есть время...». Время от времени пробегают, посмеиваясь, ресторанный придурок, дылда с заросшим лицом. Как-то раз я отправился в то место, которое они здесь называют писсуаром, на немецкий манер. Одна из дверей кабинок была открыта: там справляла нужду, удобно

устроившись и распустив вокруг все свои юбки, одна из официанток. Придурок сидел на скамеечке снаружи и вел с ней беседу, чистя картошку. Увидев меня, она крикнула «Пардон» и быстро захлопнула дверь.

Второе письмо от Боста:¹ «Что меня удивляет — меня это поразило уже несколько дней тому назад, но здесь зачастую мало думаешь, — так это то, до чего же естественной мне кажется та жизнь, которую я веду. В первый день было какое-то легкое удивление... но оно тотчас же прошло — и редко случается, что оно возвращается. Забавно то, что это произошло сегодня вечером, когда я закончил читать ваше письмо. Я положил его обратно в конверт с каким-то глупым смешком, и эта глупость меня и поразила. Именно это ошарашивает меня теперь — до какой степени нормальной кажется мне моя жизнь. Мы уже не удивляемся грязи, уже не слишком мерзнем, считаем совершенно естественным спать на соломе, ненормальной кажется та идея, что надо умываться. Состояние, которое соответствует здесь „серьезности“ в гражданской жизни, это подавленность. Это не заходит дальше, чем какое-нибудь „Ты что?“, и мы не чувствуем себя по-настоящему мрачными и угнетенными, мы чувствуем себя одинокими и отвратительными. Я говорю отвратительными, не зная точно, почему, ведь никто не выносит, понятно, никаких моральных суждений, но мне кажется, что это передает, что мы чувствуем. Остальное время мы горлопанам, рассказываем дурацкие истории, курим и ругаемся. Я боюсь, что могу показаться трагичным, но это совсем не то, о чем я говорю. Это совсем не трагично, это безобразно, но самое главное заключается в том, что мы никогда по-настоящему не возмущаемся. Я вам говорю, что мы чувствуем себя отвратительными, но это не точно. На самом деле мы ничего не чувствуем, мы знаем, но это нас не трогает. В настоящий момент

¹ Адресованное С. де Бовуар.

я не грущу, я *никогда* не грущу и *никогда* не устаю. Когда я пишу, что я устаю, это неправда, я просто-напросто опустошен и измотан: такое часто бывает, но ты никогда не бываешь измотан от усталости — просто-напросто измотан. Думаю, что меня спасает то, что все это мне интересно, все, что я вижу в настоящий момент, я даже в этом уверен, и даже немного горжусь. Не знаю, говорил ли я вам, какие из себя Лавис и Вала, к примеру. Их распирает от гордости — что совсем не омерзительно: потому что они, наверное, смогут почувствовать себя интересными, например, и будущими ветеранами. Это какое-то наивное тщеславие, их тщеславие — тех, кто никогда не вылезал из своей дыры — от сознания того, что они участвуют напрямую и самым активным образом в событиях мирового значения. Это доставляет им радость и заставляет их переносить все с прилежанием и серьезностью. Что касается меня, то со мной происходит почти то же самое, и это смешит меня, потому что я отдаю себе в этом отчет, глядя на них. Так как в данный момент я испытываю ощущение, что наблюдаю за чем-то знаменитым и достопамятным. Мой брат химик написал мне, что был недоволен возвращением домой, потому что у него было впечатление, будто он прошел мимо мыса Ра во время шторма, я над ним жестоко посмеялся, но он был не так уж не прав. Я буду об этом помнить. Это нечто.

Знаете, у меня часто хорошее настроение. С тех пор, как я в лесу, оно преобладает, если не считать утренних часов и того времени, когда нас достают, но нас почти не трогают. Это глупое хорошее настроение, но ничего...

Обычно ничего не происходит. Встаем около восьми, немного работаем на блокгаузах и на благоустройстве землянок, идем есть (вечером в полной темноте, это странные вылазки). Сегодня после обеда ходили мыться, для этого пришлось протопать четыре километра по грязи. Эта помывка, уверяю вас, вот зрелище. Читали „Записки из мертвого дома“? Так вот, все, что

он говорит о психологии каторжников, столь же спра-ведливо и для психологии солдат. Все, что он говорит об отношениях людей друг с другом, об их отношении к работе, к деньгам, табаку, то, как они привыкают к неудобствам, все это может быть применимо и к нам, вплоть до последней запятой, несмотря на то, что речь идет о русских. Я даже ошарашен, настолько это похоже. Думаю, что как только людей собирают вместе, всегда будет одно и то же. В точности то же самое. Одна и та же комедия, одни и те же повадки и отупение».¹

Все, что он говорит — правда. Правда прежде всего в том, что война, как говорит Жионо, играет на слабости воина, то есть на некоторой инертности человеческих сердец и некоей склонности свести все к *естественному*. Две недели на войне меняют координаты мира. Барнабут пишет по поводу посещения флорентийской тюрьмы: «Через окошечки камер я сто раз видел одного и того же пьерро в желто-зеленом полосатом костюме, облокотившегося на одну и ту же дощечку, в квадратике голубоватого света. Наказание казалось мне бесполезным, а еще более бесполезным — поступок, который привел к наказанию. Жизнь приняла здесь такую форму, вот и все». Это и преобладает в узниках, каковыми мы являемся, пьерро в костюмах цвета хаки или морской волны: жизнь приняла такую форму, вот и все. И тогда на этом уровне тутошней жизни мы так же жадно, как прежде, ищем свои маленькие удовольствия и привычки. Как и Бост, я с самого начала войны не видел вокруг себя ничего, кроме привычек. Привычки и отупение, как он верно подмечает, а затем, исподволь, маленькое цепкое растение жадно зарывается в твердую землю и закрепляется в

¹ Ж.-Л. Бост находился тогда в Арденнах. Он расскажет о своем военном опыте (более суровом, чем у Сартра) в книге «Последнее ремесло» (1946).

ней. И будет там жить. Правда и в том, что на некотором уровне, как говорит Кёстлер, грусть сворачивается вокруг самой себя и притупляется. Грусть неспособна бесконечно расти, наподобие мира Эйнштейна, она не имеет предела: когда пройден определенный уровень, от нее уже не избавиться, просто попадаешь под власть меньшей грусти, мир грусти безграничен и конечен. Кроме того, совершенно справедливо, что война приносит всякого рода оправдания. У нас у всех есть оправдание, что мы здесь, что ничего не делаем, скучаем, даем себе целую тысячу маленьких поблажек. Все мы до самой глубины души прониклись, как он говорит, чувством того, что участвуем в событии мирового масштаба. На самом деле мы всегда принимали участие в событиях мирового масштаба, не было ни одного мгновения, чтобы мы утратили свою историчность, однако война каждому дает почувствовать его историчность. Тогда мы плывем по течению ничтожных и глупых поручений, навязанных каким-нибудь тупым аджюданом, «серьезностью и прилежанием», которые подобают историческим созданиям. Дурачим друг друга: как раз *в мирное время* нам следовало бы иметь это прилежание и эту серьезность; тогда, возможно, мы избежали бы войны. Но мир вернется, позволив каждому из нас чувствовать себя «анахроничным»; до сих пор все послевоенные периоды были периодами разбросанности.

В предисловии Жионо верно главным образом то, как он объясняет, что человек стремится одновременно и к величию, и к простоте, и что война через простоту приносит это величие.

Келлер возвращается из отпуска. На лестнице слышны его тяжелые и медленные шаги, он входит, невозмутимый и спокойный, с довольным видом. Отпуск скользнул по нему, не оставив ни единого следа. Легкое радостное возбуждение при встрече с ним, потому что он прямиком из Парижа, но и легкое раздражение,

потому что Париж остался у него за спиной, закупоренный, закрытый своей громадной непроницаемой массой. Он там был, он видел, но видел все то, что я сам мог бы увидеть, он непосредственно соприкасался с воздухом Парижа, его улицами, его светом. Это соприкосновение было полным; несмотря на всю мою жадность, я не смог бы *быть-посреди* большего количества вещей, чем он. Ему был дан весь Париж, просто он сделал другой выбор, не мой, и этого хватило, чтобы весь этот необъятный опыт, который составил его «бытие-в» Париже, остался у него за спиной, без всякого употребления, утраченный. И тем не менее он был.

Он говорит, что отпускники, которые возвращаются из Парижа, что есть силы чествуют «этих юнцов, отсидживающихся по заводам». Все его купе было сплошным воплем возмущения. «Больше всех орал один мужик, который на прошлой войне потерял два пальца на левой руке и получил две пули в легкое. Они и теперь там сидят: 65 % инвалидности. А они все равно его взяли. Он курил, клянусь тебе. Он говорил: «Я понял, завтра я закошу». И рядом с этим один служащий метро, бывший боксер, который сломал себе палец на правой руке во время боя в Лондоне и которого хотели комиссовать, отказался, «потому что так я потеряю свое место».

В Пор-д'Ателье, когда уезжали, один пьяный отпускник начал бузить. К нему подходит лейтенант, совсем молоденький: «Встаньте в строй вместе с другими». А тот: «Скажи на милость, когда я был там, меня никто не ставил в строй». Они стали препинаться, и лейтенант, чувствуя, что проигрывает: «Подчинитесь, не то я вызову караул и отберу у вас увольнительную». Все отпускники собираются в кучу вокруг своего товарища и кричат лейтенанту: «Пусть придет твой караул, мы их быстро на рельсы уложим». После чего лейтенант убегает, не сказав ни слова.

Помимо этого, рассказы про стоимость жизни, подорожание масла и кофе. Он рассуждает своим спо-

койным и безразличным голосом, делая длинные и неожиданные паузы между предложениями.

Вчера в Пор-д'Ателье прошел слух, что в Шомоне сошел с путей поезд с отпускниками. Это возмущение отпускников, направленное против тыловиков, мне просто отвратительно. Все время одно и то же: их возмущение не умеет или не хочет подняться до нужного уровня. Тогда оно обрушивается на тех, кто с ними наравне. Они хотят видеть возмутительную гнусность войны исключительно через мелкие привилегии «таких же, как они сами». Тем не менее они от нее страдают, томятся на войне от скуки, они испытывают — и это и лежит в основе их бешенства — смертельную тоску, оттого что на нее возвращаются. Но вместо того чтобы порадоваться, что некоторым достало удачи или хитрости от нее уклониться, они хотели бы затащить их в свой котел и утопить вместе с собой. В этом смысле, желая войны для другого, они вполне достойны быть на ней, они ее *заслуживают*. Чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что люди заслуживают войны и что заслуживают ее еще больше, когда в ней участвуют. Это как грех Адама, который каждый человек, по Кьеркегору, свободно принимает на свой счет. Объявление войны, в котором виноваты определенные люди, было принято нами на свой счет, со всей нашей свободой. Эту войну, мы все ее объявили, в тот или иной момент. И тогда, вместо того чтобы искупить эту вину, вместо того чтобы говорить — это *моя война*, и пытаться прожить ее, они бегут от нее в своих поступках, они, кривя душой, отвергают ее в точности так, как мы отпираемся от ошибки, которую только что допустили. Они покрывают ее завесой *естественного и нормального*. И все эти мерзавцы, когда наступит мир, будут попеременно извлекать свою выгоду то из ореола невинных жертв, то из лавров ветеранов.

В общем, я столкнулся к настоящему времени с этими фигурами человека на войне: «запоздавшие и

потерянные», как говорит Лансон¹ в своем учебнике, те, кому в тепле и безопасности снятся старые сны о войне 14—18-го годов — те, «против кого не воюют», они с другого края, пребывая в полном убеждении, что эта война — злая шутка, сыгранная правительствами со своими гражданами, они чуть ли не верят в тайный сговор между Гитлером, Сталиным, Даладье и Чемберленом — основная масса недовольных, большая часть которых отправилась в армию с таким чувством, что им не удалось устоять, и которые стали торговать недовольством *в розницу*, так как они пребывают в неуверенности относительно общих принципов протеста, они перескакивают от одной обиды к другой, прячутся в этой обиде — чиновники, которые, пережив смутное время, невозмутимо вернулись к своим гражданским привычкам, которые говорят о своих будущих отпусках теми же самыми словами, которыми говорили об оплачиваемых отпусках, которые держатся за свои бумажки, за свои маленькие привычки — Курси, курящий по вечерам трубку на веранде гостиницы и говорящий с улыбкой непомерного тщеславия, ставя в привычки английское словечко: «В общем, у нас все равно есть „*living-room*“* — запуганные, те...»²

¹ Имеется в виду «История французской литературы» (1894) Гюстава Лансона, где есть глава под названием «Запоздавшие и потерянные», посвященные отдельным авторам XVII века, таким как Агриппа д'Обинье и Вуатюр.

² Пять следующих дневников (от 23 декабря 1939 г. до 31 января 1940 г.) утеряны.

ДНЕВНИК XI

Февраль 1940

Морсбронн—Париж—Буксвиллер

[Поль]¹ воображал, что ремесло нас объединит, он из числа тех преподавателей, тех чиновников, которые сразу же чувствуют, что их привлекают коллеги. Мы могли бы поддерживать друг друга, обсуждать профессиональные вопросы, утверждать среди этой войны непреходящий характер разума. Но я ставлю ему в упрек как раз то, что он преподаватель, мне совсем не нравится, что вышло так, что посреди войны я ежечасно должен видеть собственную карикатуру. Я не чувствую себя преподавателем так, как это чувствует он, и всякий раз, как он пытался привлечь меня к себе, мне сразу представлялся этот мир, которым он кормится, коллеги, жены коллег, профсоюзы, чашечки чая, [разговоры] с дамами, университетское поклонение природе, социалистическое мироощущение, страх перед директором лицея, ненависть к нему. Я отталкивал его изо всех сил. Он же, наблюдая мое сопротивление, объяснял его по-своему: он — сын учительницы начальных классов, муж учительницы начальных классов, преподаватель без степени. Всем известно о гнусном элитном превосходстве, которое ощущают преподаватели со степенью по отношению к преподавателям без степени. Впрочем, большинство последних ничем не лучше;

¹ Некоторые страницы этого дневника отсырели. Слова в квадратных скобках расшифрованы издателем с большей или меньшей достоверностью.

в их ненависти, ревности, претензиях имеется — им самим вопреки — признание этого превосходства, они никогда не могли возвыситься до презрения. Поль списывал на различие [положения] в университетской системе ту [сдержанность], которую я выказывал. Как-то раз, когда Петер заговорил об астрономическом различии между капитаном Орседем, богатым промышленником, и лейтенантом Мюно, жалким инженером, Поль заметил своим ироничным и смиренным тоном: «В общем, как между мной и Сартром». А в другой раз, когда я уж не помню кому доказывал, что он дурак, Поль встрял со своей слащавостью: «Сартр, а не ученики ли Эколь Нормаль, с которыми ты только и общался, сделали тебя таким несносным?» На что я ответил, что почти не общался с учениками Эколь Нормаль, тем не менее это точно характеризует то, как он оценивает мое [положение]: оно такое же, как у него, но в университете высшего класса, общение со «сливками», Париж вместо провинции и т. п. В общем, его идею я вознаграждал презрением. И вот реальная структура наших отношений внутри группы: с моей стороны — раздраженное отвращение к этому университетскому преподавателю, с ролью которого он просто сжился, с его — смиренное и недоверчивое достоинство, которое, конечно, не выливается в зависть, но все равно является уязвленным. Я «загордился», слишком упираю на «элиту», к которой принадлежу, и в силу этой непомерной гордыни я [ограничен рамками] моей профессии. Вместе с тем, когда он замечает какое-то забавное физическое явление, он не может удержаться от того, чтобы, решительно отстраняясь от Петера и Келлера, обратиться ко мне и поделиться этим со мной, добываясь на несколько секунд того интеллектуального согласия, которое наверняка царило между ним и лицейским преподавателем географии и которое, вне всякого сомнения, позволяло ему ощущать привилегии интеллектуального сословия. Но он попадает впросак: я ничего не понимаю в физике, мне это неинтересно.

Он замечает и лишний раз убеждается в моем к нему презрении.

Однако сущностная структура моих отношений с Полем, та, что образует сам стержень [наших отношений], является другой. Поль представляет собой власть. С одной стороны, ему стыдно, что он обладает властью, но, с другой стороны, он стремится проявить ее через множество уловок, причем делает не потому, что ему нравится командовать, а из боязни ответственности, которая лежит на нем. Но я сопротивляюсь, ненавижу, когда мной командуют; мне дадут приказ, и этого довольно, чтобы я ощетинился, и эта мания независимости способствует тому, что в любезностях Поля я сразу обнаруживаю скрытый или завуалированный приказ. И раздражаюсь тем сильнее, чем тщательнее он там скрыт. Естественно, я отказываюсь подчиняться. Но мой отказ злит Поля не только [по причине] его страха перед ответственностью. Он видит в нем то, что, будь на то его воля, он не был бы командиром, и что, следовательно, он должен быть заодно со мной, когда я отказываюсь выполнять приказ. Уязвленный в самой своей морали, Поль упорствует из чистого криводушия. Таково наше сущностное отношение, которое пронизывает нашу органическую группу. Он стыдливый командир, который тем не менее хочет добиться того, чтобы я ему подчинялся, а я недисциплинированный солдат, который не хочет ему подчиняться, и обращается к нему как к социалисту, но не как к командиру. Вокруг этого жесткого и хронического отношения (он не уступит, и я никогда не уступлю) и упорядочивается вся группа. В самом деле, мне казалось, что можно ему сопротивляться, коль скоро он демократ, [взывая] к большинству. И против него я [призываю] большинство: Петера — он пацифист по своей природе и немного ворчит на Поля, правда, так, как ворчит жена на мужа — с мыслью не «зайти слишком далеко» — удастся подключить к большинству, если застать его врасплох. Надо вытянуть из него согласие,

посмотреть на него большими глазами и быстро зарегистрировать его «да» еще до того, как он возьмет его обратно. Келлер пробурчит неразборчивое «да» исключительно из удовольствия сыграть злую шутку с капралом. Таким образом, оппозиция, быстро складывающаяся всякий раз при новых обстоятельствах, [рушит благодушную власть Поля, который] всякий раз приходит в отчаяние из-за того, что он ничего не может противопоставить принципу большинства. Он не заблуждается на этот счет и называет меня «оппозицией».

Тем не менее он старается незаметно сгруппировать силы в совершенно противоположном порядке, который, впрочем, не имея характера большинства, нацелен на то, чтобы изолировать меня перед лицом общественного мнения. Поскольку я превратил себя, хотя меня об этом никто и не просил, в их моральное сознание, они стремились, как я говорил, к тому, чтобы загнать меня в угол, поймать меня на тех прегрешениях, в которых я их упрекаю. Они [постоянно] следят за мной; правит [бал] Петер, это он с невинным видом травит меня. Поль же дожидается удобного момента и внезапно переходит на его сторону, приведя какой-нибудь незначительный факт или рассуждение, когда чувствует, что необходима поддержка. Келлер решительно соблюдает нейтралитет или уходит. Все равно получается, что двое других против меня. С другой стороны, такая структура, как Поль, Келлер и я против Петера, никогда не складывается. Таким образом, наша группа сильно напоминает подвижную пластину, которая наклоняется то вправо, то влево, а на ней шарики, что катятся то в одну сторону, то в другую в зависимости от наклона, [который придает ей движение], поддерживаемое внутренним напряжением, существующим между нами и Полем или между ними и мной. Что и определяет заглавную роль Петера, «равнина, болото», в силу которой структура полностью переворачивается в зависимости от того, бросается ли он ко мне или переходит к Полю.

Но есть и другие отношения: в частности, отношение Петер—я. Нас что-то соединяет и составляет между нами связь, которая, как считает Поль, должна была бы существовать между Полем и мной: наше общее любопытство к *внешнему*. Мы в некотором роде псевдоподии, которые наша группа выбрасывает в мир, которыми она прорастает в ресторанах, кафе, в других людях. Кроме того, [как бы то ни было, есть] Париж, который нас соединяет, [и] потом, признаюсь к своему стыду, деньги. Не в том дело, что у Поля их меньше, чем у меня, но его сдерживает боязливая склонность к экономии, притом что он думает, что после войны его ожидает банкротство. С этой точки зрения мы представляем собой золотую и немножко сумасшедшую молодежь, которая тратит деньги как попало. Когда мы возвращаемся в группу, мы приносим с собой большие куски внешнего. Эта связь в трате денег и развлечениях создает каждый день другую параллельную связь: связь Келлер—Поль, тех, кто сидит дома, охраняет семейный очаг. Или же тех, кто ест на полевой [кухне], рядом с [теми], кто идет в ресторан. Или же любителей пожрать (так как они едят всё, много и без разбора) против изысканных гурманов. Однако же группе Поль—Келлер не хватает сплоченности: Поль нас нисколько не ревнует, при случае он даже идет с нами. Келлер, скупой и небогатый, завидует и ненавидит нас всякий раз, как мы уходим. Таким образом он сплачивает наш тандем, наделяя нас вопреки нашей воле классовым сознанием вины. Мы чувствуем, что наш совместный поход в ресторан направлен против него. Келлер, к тому же, представляет в нашей группе пролетария, а Петер — капиталиста. В глубине души Келлер, обездоленный, опустившийся на самое дно из-за своей грузности, инертности, смотрит на нас снизу вверх, молча, недоверчиво и ревниво. Он не чувствует солидарности ни с одним из нас. Каждый вечер один из нас платит за всех, покупает пирожные, фрукты, да мало ли что. Келлер все принимает и не считает делом чести отплатить,

что наверняка сделал бы, несмотря на всю свою скудность, в своем кругу. Это ему, так сказать, причитается как индивиду. По отношению к нам, в особенности к Петеру и ко мне, он *чувствует свой класс*. По отношению к Полю он, как я только что сказал, как рабочий по отношению к мастеру. Он [устанавливает] лишнюю структуру [внутри] организма: классовую структуру. Что приводит к некоей взаимности отношений между ним и мной, ведь я кривлю душой, он мне импонирует своей грубостью, и я отношусь к нему с некоторым уважением, на которое он отвечает тем же по мере своих сил. Мы друг друга побаиваемся. Он не стоит вне группы, но отношения, которые можно с ним иметь, помимо скрытых классовых отношений, не обладают четкой структурой. Это своего рода аморфная имманентность: он купается в группе и проникается ее отложениями.

Сходным образом отношения Поль—Петер образуют слабую форму. За исключением тех случаев, когда они [хотят] загнать меня в угол. Впрочем, помощь, которую они друг другу оказывают в такие моменты, не обходится без задней мысли, так как каждый из них чувствует себя ближе ко мне, нежели к своему союзнику, каждый думает, что он прав в отношении меня по-своему, на собственной почве, так что мне не составляет никакого труда их разъединить, развести их атаки. Петер добродушно смотрит на Поля как на маленького неотесанного мальчика, «девственника»; добродушно говорит ему: «Вот приедешь в Париж, мы (то есть Сартр и я) познакомим тебя с женщинами». И как на провинциала. Как только он принимается упрекать Поля в каком-нибудь мелочном поступке, он говорит: «Что ты хочешь? Провинция!» — Поль ставит ему в упрек бестактную несдержанность, они никогда не составят пары. Вот почему, когда необходимо было придать нашей группе практическую структуру, она совершенно естественно раскололась на две группы по двое: Петер и я — Поль и Келлер. Одна группа выпол-

няет работы по зондированию, другая тем временем занимается хозяйством, и так по очереди. Эта техническая структура, сложившаяся лишь со временем, обладает огромным значением; она по-настоящему разделила нашу группировку и смягчила другие структуры. Например, борьба между мной и Полем перестала быть такой жестокой, потому что мы ее быстро избавили от груза [ответственности] за зондирование. С другой стороны, связь Польш—Келлер, мастер—рабочий, укрепились. Естественно, все эти структуры расходятся и заменяются временной однородностью, когда мы вступаем в борьбу против внешнего мира ради общих интересов.

Последний штрих к описанию гостиницы, где мы живем. Со вчерашнего дня у радистов, которые живут в соседней комнате, началась чесотка. Двое из них серьезно больны, третий под наблюдением. Они сменили троих прежних радистов две недели назад, и похоже, что у одного из тех тоже была [чесотка. Врач] спросил у них: «Где вы живете?» — «В гостинице „Бельвю“». — «А, тогда все понятно: оттуда уже были чесоточные». Среди постояльцев гостиницы были ревматики и больные кожными заболеваниями. Признаюсь, что уже с какого-то времени чувствую нервный зуд на руках, лице и затылке.

В двух последних томах Ромена, которые вышли уже после объявления войны,¹ Жаллез и Жерфаньон разглагольствуют о смерти Бога. Жерфаньон строит мрачные прогнозы на 1937 год (Ромену достало скромности не поставить 1939). Он сравнивает войну 14-го года с одной из этих сильных гроз, которые портят все лето. Жаллезу кажется весьма симптоматичным движение Дада. Ромен видит, что Европа «отдана во власть сил внутреннего распада». Вероятно, его книга, дейст-

¹ Имеются в виду очередные тома эпопеи «Люди доброй воли».

вие которой происходит в 1919 году, имела бы совсем иное звучание, если бы не разразилась война. Сходным образом и Дриё показывает нам в «Жиле» Европу, агонизирующую в 17—37-м годах: «Война убила Францию, та больше не поднимется». Скоро станет модным отыскивать в свете теперешних событий все знаки разложения во Франции 20—35-го годов. На это время будут смотреть как на тяжкий период бессилия, беспочвенности, [перемежающийся редкими] и небольшими [лихорадочными] затишьями, как на период деморализации и деструкции. Упор будут делать на сюрреализме — из-за его негативного настроения. Нарисуют загнанную, обезумевшую, утратившую всякое равновесие эпоху. Этого нельзя позволить. Это не так. Понятно, что война 14—18-го годов привела к войне 40-го года. На это есть целая тьма причин, большая часть из которых хорошо известна, другие же будут обнаружены историками. Понятно, что были волнения, потрясения и конвульсии, разболтанность. Но было не только это. Во Франции, по крайней мере, можно было вкусить — и я ее вкушал — «сладость жизни». Счастье было возможным, [покой тоже]. Между 25 и 33-м я часто был счастлив, вокруг меня была целая толпа счастливых людей, причем счастливых не каким-то безумным и нездоровым счастьем. Счастливых по-настоящему и как-то спокойно. Возможно, имелось что-то такое, что осуществить было труднее, чем прежде, какие-то более суровые моменты. Но это не очень смущало. И, возможно, все эти Дриё, Монтерланы были оглоушены войной, но я отвечаю, что мое поколение, которому предстояло прийти им на смену, когда пришла эта война, сохраняло полное равновесие. Я начинаю искать среди тех, кого знаю, свихнувшихся, и, конечно, нахожу таких, но их немного, и слабость их характера позволяет думать, что такие люди встречались в любое время. Но много ли было до войны молодых людей, которые были бы крепче нас? Крепче Низана, крепче Гилля, крепче Арона, крепче Бобра? Мы

не стремились ни разрушать, ни искать нервических и бессмысленных экстазов. Мы хотели терпеливо и благоразумно понимать мир, открывать его для себя и находить себе в нем место. Мы хотели приобрести знания и мудрость. Возможно, это место, которое мы хотели занять в мире, было не очень скромным, возможно, мы чуть больше, чем наши предшественники, торопились его занять. Но в этом не было ничего чрезмерного. Те из нас, например, кто хотел изменить мир, стали коммунистами, стали ими, как следует подумав, взвесив все за и против. И лучше всего я помню (и о чем я больше всего буду жалеть), так как раз эту исключительную атмосферу умственной силы и радости, которая нас окружала. Говорили, что мы были слишком умными. Почему же слишком? Ни в одном из тех, с кем я тогда был более или менее тесно связан, я не видел ничего похожего на тот образ циничных и откровенно порочных мальчиков, который тогдашняя литература — плохая литература — пыталась растиражировать. Мы обладали довольно большой сексуальной свободой, но мы старались честно обдумывать мельчайшие обстоятельства нашей чувственной жизни. Мы были крепче, чем наши предшественники, чем все эти Фурнье, чем все эти Ривьеры;¹ отчасти из бравады и отчасти также из-за того, что война все-таки была, мы не смотрели на жизнь как на сплошное удовольствие. Но не нужно упрекать нас одновременно и в этом бравировании нашей силой, следствием которого стала реальная самодисциплина и здоровый цинизм, и в этих приступах отчаяния, которых с нами никогда не случилось. Мне станут возражать, приводя примеры этих

¹ Ален-Фурнье, автор «Большого Мольна», был другом Жака Ривьера с юношеских лет. Жак Ривьер написал среди прочего книгу под названием «Об искренности по отношению к самому себе» (1912). Молодые люди переписывались с 1905 по 1914 г. (переписка опубликована в 1926—1928 гг.). Напомним, что Ален-Фурнье был убит в самом начале первой мировой войны.

полупризнаний,¹ вытщенных из этого же самого дневника, инфантильного кризиса гордости в отношениях с Низаном,² моей политической индифферентности и т. д. Я отвечу, что владение собой и «моральное здоровье», как они выражаются, не имеют ничего общего со скромностью овец и гражданской доблестью. Мне известно, что я в высшей степени собой владею, что меня не сбить с толку, что я могу выносить жестокие удары. Мне также известно, что у меня есть моральная забота. Да, я пытался разрушить старые идеологии, но с единственной заботой созидать. Возможно, у меня нет «корней», но у меня всегда было равновесие. Почему я считаю своим долгом все это [писать]? Потому что вижу, что наша эпоха выстраивает в настоящее время представление о самой себе, лишая хлеба историков. Ей хочется хотя бы завоевать себе славу, что она себя судила, и она хочет передать потомкам уже готовый труд. И как раз против этого слишком мрачного портрета я и выступаю. Мне страшно, что он останется. Я с беспокойством смотрю на то, что явно существует тенденция рассматривать восхитительный расцвет идей и творчества периода 18—28-го годов как разрушительный взрыв, подлинную свободу, которой пользовались тогда люди, — как анархическую распущенность. Все

¹ Сартр уверился в невозможности полной откровенности в своих дневниках.

² Вероятно, Сартр намекает на ссору, которая произошла между ним и Низаном в 1923 г. В то время оба они сотрудничали в молодежном журнале «Ревю сан титр»; возможно, дело было в какой-то измене дружбе, возможно, в уязвленной гордости от оценки Низаном одной из его работ того времени. В повести «Семья и Скафандр», написанной чуть позднее, Сартр дает литературную версию истории рождения журнала; они с Низаном выведены там под именами Тайора и Люсея; наверное, суть конфликта была бы яснее, если бы рукопись была закончена. Сартр рассказывал, что однажды Низан в разговоре с третьими лицами назвал его «временным другом»; не это ли вызвало «кризис гордости»? Как бы то ни было, в «Поражении», романе, написанном тремя годами позже, один из безымянных персонажей («Старый друг») очень похож на Поля Низана.

эти поверхностные взгляды характеризуются ложной изысканностью. Ладно еще Дриё, он все равно дурак, но сколько других, и всем хочется подвести итог. Эпоха умерла, это понятно, но она еще не остыла. Пусть же достанет скромности подождать, пока ее труп немного охладает.

Проблема отрицания, равно как и проблема Бытия, всегда была завуалирована, потому что «не быть» казалось суждением некоего ума, который сравнивал стоящие перед ним два объекта с тем, чтобы доказать их инаковость. Если, к примеру, я говорю, что бумага не является пористой, я отношу это отрицание не на счет бумаги, которая сама по себе не имеет никакого отношения с пористостью, но на счет моего ума. Причем следует договориться, что отрицание не есть модус бытия моего ума, который, отрицая, совершает *полный акт* суждения — и который для большинства философов является чистым актом, исполненностью существования, причем в то самое время, когда совершается это отрицание. Таким образом, отрицание становится (*λεκτόν*),¹ ничем. Оно и не ум, и не в уме, и не в бумаге, и не в пористости, и не в существующем отношении наподобие силы отталкивания, которая существует между бумагой и пористостью. В конечном итоге оно лишь категория, которая позволяет уму синтезировать пористость и бумагу, сохраняя расстояние, не искажая ни в коей мере их природу, не изменяя их положения по отношению друг к другу, не сближая их и не удаляя друг от друга. Таким образом, усилие философии было направлено на то, чтобы умалить отрицание, превратив его в тончайшую пленку между умом и вещами, в ничего. И, разумеется, следует признать, что отрицания, которые я обнаруживаю в мире, отнюдь не являются первичными и субстанциональными отношениями между вещами. Необходимо вмешательство моего со-

¹ Нечто абстрактное, вербальное.

знания, чтобы породить отрицание принадлежности пористости к бумаге. В природе бумаги нет такой характеристики, как не быть пористой. Но проблема совершенно меняется, когда, к примеру, мы говорим о сознании, что оно не имеет протяженности. Разумеется, если мы ограничиваемся тем, что выносим это суждение в отношении сознания другого, рассматривая его как некую данность, обнаруживаемую опытом, то мы волей-неволей будем склоняться к тому, чтобы отнести это суждение к категории вышеупомянутых суждений, и утверждаем таким образом, что мы отрицаем протяженность сознания, как и пористость бумаги. Только вот, когда речь идет о сознании, которым мы являемся, дело обстоит совершенно иначе, так как именно оно является своим собственным ничто протяженности. То есть, не может быть никакого третьего человека, чтобы утверждать, что две инертные субстанции, сознание и протяженность, не обладают отношением принадлежности. Однако в природе сознания есть такая характеристика, как не быть пористостью. То есть *не быть* — это экзистенциальная характеристика. Все сразу становится понятно, если сравнить эти два суждения: протяженность не есть сознание, сознание не есть протяженность. Ясно, что в первом случае речь идет об установленном задним числом созерцательным сознанием отношении, так как в природе протяженности нет таких характеристик, как быть или не быть сознанием, зато есть характеристика быть протяженностью. Во втором случае, напротив, ни один спиритуалист не будет возражать, что характеристика сознания в том, чтобы не быть протяженностью. Так как казалось противоречивым допустить отрицательные качества в каком бы то ни было бытии, этот вопрос захотели обойти, вырабатывая позитивные понятия, которые выражали бы это свойство. Например, понятие непротяженности, нематериальности. Но достаточно проанализировать само слово, чтобы показать, что *непротяженность* — это просто слово, которое

прячет в своей утробе стыдливое отрицание. Быть не-протяженным не означает для сознания какого-либо положительного качества, это всего-навсего вынужденная манера обозначить то обстоятельство, что сознание *не имеет* протяженности. То есть для сокровенной структуры сознания характерно *не быть* протяженным. Это не быть не относится ни к области утверждения, ни к области суждения, оно, если воспользоваться формулой, которую мы как-то употребляли, *было*.

Тем не менее до сих пор мои размышления меня приводили главным образом к тому, чтобы рассматривать случай, когда сознание не было тем, чем оно было, то есть когда отрицание проявлялось в однородности одного и того же существования и когда отрицаемое само по себе отсылало к тому, отрицанием чего оно было, поскольку это было одно и то же бытие. Но здесь проблема усложняется под видом простого принципа непротиворечивости, так как сознание не является тем, чем оно не является. Ведь если повнимательнее рассмотреть этот кажущийся трюизм, то станет ясно, что одно из отрицаний разрушает другое. Ведь если сознание *не протяженно*, что предполагало бы, согласно классической теории, полное отсутствие всякого отношения между сознанием и протяженностью, и поскольку, сверх того, нет третьего лица, которое могло бы установить между сознанием и протяженностью совершенно внешнее отношение отрицательности, то непонятно, каким образом это сознание само по себе могло в себе самом заключать с протяженностью такие отношения, которых достало бы для того, чтобы оно само себя превратило в отрицание протяженности. Тем не менее это и есть наш случай, и наши предыдущие замечания должны осветить следующий момент: всякое отрицание предполагает некий модус синтетического единства отрицаемых им реальностей. Когда отрицание является «*λεκτόν*», как в случае суждения «бумага не пористая», соединяющий синтез

тоже «λεκτόν», речь идет о чисто категориальном сближении, которое не касается самих объектов. Когда отрицание *было* по меньшей мере одной из двух субстанций, оно возникает на реальном фоне синтетического единства этих двух субстанций. Одним словом, чтобы сознание само собой реально, по своей природе, без созерцательного вмешательства третьего лица могло *не быть протяженностью*, необходимо, чтобы в самой своей глубине оно укрывало некое отношение единства с этой протяженностью, каковой оно не является. Но это первичное отношение не сумело бы выразить себя в терминах отталкивания, порождения, проекции и т. п., ведь все они предполагают, что мир уже конституирован, и проблема Бытия разрешена. То есть совершенно очевидно, что речь идет о некоем исходном бытийственном отношении между двумя субстанциями. Необходимо, чтобы эта связь была как можно более сокровенной, только тогда это будет именно *тем*, чем сознание не является, необходимо, чтобы протяженность со всех сторон присутствовала перед сознанием и даже пересекала его по всей ширине, только тогда сознание, *не будучи*, сможет уклониться от протяженности, которая того и гляди станет затягивать его со всех сторон. *Не будучи* не только протяженностью, *не будучи ничем*. Единство сознания и протяженности такого характера, что сознание *не есть* протяженность только в той мере, в какой оно *не есть сознание*, в какой оно ничего. Ничего позитивного не восполняет это не-быть-протяженностью. Именно потому что сознание есть свое собственное ничто, оно и не есть протяженность. Это бытийственное отношение протяженности к сознанию мы и будем называть обложением. Но раз сознание определяется как сущее его небытия и как не сущее его бытия, оно не может просто *быть* тем, чем не является протяженность. Его модус бытия тем, чем не является протяженность, насквозь пронизан Ничто, оно *есть* то, что не есть протяженность в уничтожающем модусе отражения и отра-

женного, то есть формула «сознание не обладает протяженностью» по необходимости преобразуется в формулу «сознание не есть протяженность», что означает: 1) что это отрицание подразумевает обложение сознания протяженностью, 2) что это обложение может иметь место для сознания лишь постольку, поскольку сознание сознает себя как не протяженность, то есть как обложенное протяженностью, каковой оно сознает, что не является. Другими словами, если бы сознание было тем, что оно есть, то есть существовало в модусе «в-себе», оно обладало бы протяженностью. Но именно в той мере, в какой оно ускользает от самого себя, не будучи тем, что оно есть, оно и есть не протяженность, а сознание протяженности. Таким образом, сознание — это уничтожение протяженности, и это уничтожение может осуществиться не иначе, как в форме сознания протяженности. Естественно, что протяженность здесь только частный пример. Вообще говоря, единственно возможное уничтожение какого-то в себе сущего — это появление сознания этого сущего.¹

Четверг, 1-е февраля

Появление Ничто может иметь место не иначе, как на фоне бытия, которое *не есть*. *Отсутствие*, каковым является сознание, может быть отсутствием не иначе, как *перед неким присутствием*. Непротяженность возникает на фоне протяженности и как отрицание для себя этой протяженности. Вообще говоря, *для-себя-бытие* может возникнуть лишь в связи с целостностью в-себе-бытия, которое его в себе заключает. Для-себя-бытие удерживает перед собой и вокруг себя в-себе-бытие как то, что не есть. Оно нуждается в

¹ Ср. «Бытие и Ничто», в частности первую главу первой части — «Происхождение отрицания».

Бытии, чтобы не быть. Для-себя-бытие уничтожает себя через отношение к целостности в-себе-бытия. Эта первичная связь для-себя-бытия с целостностью в-себе-бытия как связь с тем, что мы есть, и есть то, что мы называем бытием-в-мире. Быть-в-мире значит стать отсутствием мира. Единство сознания и мира предшествует сознанию и миру. Быть сознанием значит стать не-миром в присутствии мира, то есть стать в точности и конкретно тем, что не есть *этот-здешний-мир*. Впрочем, не следует принимать это отрицание за бегство вне мира. Движение отрицания для-себя-бытия не есть отступление. Если бы отрицание сопровождалось отступлением, оно стало бы *отрицанием ничего*, и пало бы в себе-бытие. Возможно, именно так и следует понимать смерть. Напротив, отрицание предполагает непосредственное и плотное вхождение мира в для-себя-бытие. Это присутствие мира перед сознанием — каковое *ничем*, кроме того что оно само по себе есть ничего, не отделено от мира — и будет трансцендентностью. В-себе-бытие обкладывает сознание, чтобы то превзошло его в направлении Ничто. Но не в направлении того Ничто, которое, как думает Хайдеггер, удерживает мир в себе: в направлении Ничто, каковым *есть* само сознание. Сознание — в своем для-себя-бытии — превосходит мир в направлении самого себя. Оно обложено в себе-бытием в той самой мере, в какой оно пронизано Ничто.

Если мы захотим взять простой пример, то, скажем, что восприятие *этого* дерева является в первую очередь экзистенциальным феноменом: воспринимать дерево — для сознания — значит превосходить дерево в направлении своего собственного ничто дерева. Разумеется, не следует видеть в слове *превосходить* хоть какой-то намек на некий *акт*. Речь идет всего лишь о модусе существования. Сознание существует для-себя по ту сторону этого дерева как то, что *не есть* это дерево; ничтожащая связь отражения и отраженного способствует тому, что сознание может быть для само-

го себя не иначе, как отражая себя как раз в виде ничто этого мира, *где* имеется это дерево. Это означает, что оно является не-тетическим сознанием самого себя как тетического сознания *этого* дерева. Дерево — это трансцендентная тема ничтожащего сознания. Таким образом, например, интуитивное познание является вторжением ничего в имманентность, которое преобразует имманентность в-себе-бытия в трансцендентность для-себя-бытия. Таким образом, чистое событие, в силу которого Бытие есть свое собственное Ничто, способствует тому, что мир появляется как целостность в-Себе-бытия, превзойденного ничтожащим себя бытием.

Я хотел бы показать через точный анализ неустрашимую для нас неизбежность прибегать к этой идее *ничто*: в качестве примера возьму идею *соприкосновения*. Я хочу показать, что эта столь простая с виду идея — «стол соприкасается со стеной» — по необходимости отсылает нас к бытию-в-мире и Ничто.

В самом деле, если я захочу *полностью* ухватить смысл этого понятия, то мне придется констатировать, что я разрываюсь между двумя антиномическими идеями: идеей имманентной полноты в-себе-бытия и идеей абсолютного отступления в Ничто. Действительно, когда я говорю о столе, что он *касается* стены, я же не хочу дать понять, что он *рядом* со стеной, настолько близко к ней, насколько это только возможно, отделенный от нее ничтожным расстоянием. Под *соприкосновением* я понимаю внутреннее бытийственное отношение между двумя предметами. Однако естественно, что это отношение относится к себе-бытию, то есть к имманентности. Ведь скользкое понятие соприкосновения направлено на то, чтобы прекратиться по ходу дела. Я хочу удерживать полное разделение двух индивидуальностей. Соприкосновение не есть сплавление. То есть я снова возвращаюсь к идее расстояния, которое, сколь ничтожным оно бы ни было, разделяет как

бы то ни было два объекта. Но в этот момент идея соприкосновения пропадает. Ведь и в самом деле, если я попытаюсь схватить то, чего она требует, то увижу, что для того, чтобы получилось соприкосновение между двумя индивидуальностями, необходимо, чтобы они в отношении друг друга не были разделены никаким расстоянием хотя бы в какой-то одной точке своей поверхности, и чтобы тем не менее они были разделены. Но разделены чем? *Ничем*. Но это ничего здесь необходимо. В геометрии, например, когда две кривые (тангенс и окружность, к примеру) соприкасаются, у них есть общие точки. То есть могло бы показаться, что теперь они составляют одну-единственную кривую. Тем не менее мы со всем правом считаем, что они сохраняют независимость. В том самом месте, где они соприкасаются, они и разделены. Однако здесь существует *два* ряда точек, а не один. То есть разделение имеет место быть внутри каждой из этих точек. Это разделение не является ни раздроблением, так как точка неделима, ни раздвоением. И тем не менее оно существует. Я понимаю, что какой-нибудь Кёллер скажет, что каждая форма, форма «прямая» и форма замкнутого на себе «круга», притягивает к себе все точки, которые ее составляют.¹ И это правильно. В этом смысле именно индивидуальность содержательной формы и предохраняет соприкосновение от исчезновения в сплавлении. Но это возможно лишь тогда, когда незаметное отрицание разъединяет формы там, где это требуется. Необходимо, чтобы точки соприкосновения отделялись от совокупности тех точек, которые образуют другую форму именно *ничем*. Необходимо, чтобы они некоторым образом были пронизаны Ничто. В точности так, как сознание.

¹ Напомним, что согласно теории Формы, восприятие не образуется из изолированных друг от друга впечатлений, которые собираются вместе или соединяются; что мы разом схватываем формы или структуры.

Но как раз эти условия сами по себе не имели бы смысла, если бы они не полагались сознанием. Если бы не было сознаний, то сами по себе они привели бы к абсолютному разделению или сплавлению. Чтобы соприкосновения были даны в мире, необходимо вообще, чтобы сознания были даны как обложенные миром. Дело в том, что понятие «касаться», как это верно подметил Хайдеггер, принадлежит вещам лишь через отражение. В самом деле, стул не касается стены, если только он не перенесен в единство превзойденного человеческой-реальностью мира. Изначально именно человеческая-реальность *касается* объектов, она их *берет*, она их *отталкивает* и т. д. По природе своей соприкосновение — это прикосновение руки, которая что-то берет, к взятому предмету. И только, пусть даже таким образом понятие остается расплывчатым, ведь мы будем рассматривать руку как материальный объект среди других материальных объектов. Сама по себе рука не может породить Ничто, которое отделяет ее от взятого ею ножа. Необходимо, чтобы и она, и нож входили в состав — в качестве вторичных структур — в некую *первичную целостность соприкосновения*. Эта целостность может быть лишь трансцендентным отношением сознания к миру. Сознание *соприкасается* с миром. Рассматриваемое в этом плане понятие соприкосновения становится яснее. В самом деле, через отношение к сознанию мир дается вплотную, без всякого расстояния, поскольку сознание — это уничтожение расстояния. Он даже еще более неотступен, чем присутствие вплотную, поскольку он обкладывает сознание и смыкается с *собой* через сознание. Но в то же самое время сознание-то от него и ускользает, поскольку оно пронизано Ничто в той мере, в какой оно есть то, что не есть. Сплавляясь с миром в той мере, в какой оно *есть*, сознание ускользает от него и отделяется от него в той мере, в какой оно *не есть*. Таким образом, отношение мира к сознанию — это отношение соприкосновения. Мир существует для сознания в той мере,

в какой он конкретно и каким-то единственным образом есть то, что не есть сознание. Сознание его касается в том смысле, что его частичное уничтожение может установить лишь лишенную всякого расстояния внеположность между собой и миром. Мир — и не субъективен, и не объективен: это в-себе-бытие, которое обкладывает сознание, и соприкасается с ним, когда оно превосходит его в своем ничто.

Великолепное выражение Жюльена Грина о той неделе, которая предшествовала войне: «катастрофа в замедленном действии».

Как они им поднимают дух: обрывок письма одной влюбленной и благоверной невесты-христианки, найденный в туалете:

«Когда вы мне говорите, что уже три дня не мылись, то это неважно, ничего не значит, наверняка вы будете намного красивее, если вас почистить; что же до меня, то я основательно почистила сегодня свою кухонную печь, я была грязная, как трубочист, вы бы испугались, увидев меня такой».

Впрочем, она немного беспокоится, так как чуть дальше просит Господа «подбодрить» своего жениха. Упомянутый жених, расписанный таким образом перед Богом, не постеснялся подтереться этим любовным письмом.

Если я хочу понять, что приходится на свободу и на судьбу в том, что называют «оказаться под влиянием», то я могу поразмышлять о том влиянии, которое оказал на меня Хайдеггер. В последнее время это влияние казалось мне — иной раз — провидческим, поскольку через него я узнал подлинность и историчность, причем в тот самый момент, когда война способствовала тому, что эти понятия стали для меня необходимыми. Если я попытаюсь представить себе, что случилось бы с моей мыслью без этих инструментов, меня охватывает ретроспективный страх. Как много времени я выиграл.

Мне бы пришлось топтаться перед этими великими — закрытыми — идеями: Франция, История, смерть; возможно, протестовать против войны, отвергать ее всеми силами своей души. Но если как следует подумать, то в этом совпадении гораздо меньше случайности, чем может показаться на первый взгляд. Понятно, *если бы* Корбэн не опубликовал свой перевод «Was ist Metaphysik»,¹ я бы его не прочитал. Если бы я его не прочитал, то не стал бы в прошлую Пасху читать «Sein und Zeit».² И само собой разумеется может показаться, что появление работы «Что такое метафизика?» от меня абсолютно не зависело и представляло собой — для меня — случайную встречу. Но на самом деле это не первая моя встреча с Хайдеггером. Я о нем много слышал еще до моей поездки в Берлин;³ его обычно относили к «феноменологам», и, задумав изучать феноменологов, я решил изучать и его. Я купил «Sein und Zeit» в Берлине в декабре месяце и решил предпринять чтение после Пасхи, отведя первый семестр на изучение Гуссерля, но вышло так, что я подступил к Хайдеггеру — в апреле месяце — весь наполненный Гуссерлем. Моя ошибка заключалась в том, что я верил, будто можно последовательно *изучать* философов такого ранга, наподобие того как изучают торговые отношения двух европейских стран. Гуссерль захватил меня, я на все смотрел через его философию, которая, впрочем, была для меня более доступной благодаря своему сходству с картезианством. Я был «гуссерлианцем», и мне пришлось долго им оставаться. В то же самое время усилие, которое я приложил, чтобы *понять*, то есть

¹ Речь идет о инаугурационной лекции Мартина Хайдеггера во Фрейбургском университете «Что такое метафизика?» (24 июля 1929 г.).

² «Бытие и время», вышедшее в свет в 1927 г.

³ Я прочел, ничего не поняв, «Что такое метафизика?» в 1930 г. в журнале «Бифюр» (*прим. Сартра*). (Этот текст вышел в июньском номере журнала за 1931 год. В том же самом номере появился первый философский опус самого Сартра — «Легенда об истине».)

чтобы разбить свои личные предрассудки и схватить идеи Гуссерля исходя не из моих, а из его собственных принципов, в тот год лишило меня всяческих сил. Я подступил к Хайдеггеру и прочел страниц пятьдесят, но замысловатость его лексики отбила у меня всякую охоту продолжать. На самом деле эта сложность не была такой уж непреодолимой, ведь я его легко прочел в прошлую Пасху — легко, причем не сильно продвинувшись в своем немецком. Добавлю, что весна всегда была для меня поводом для полного ослабления всяческих усилий. Я работаю, когда все спят, как сурки. Когда они просыпаются, я иду гулять, ищу приключений. Судьба была благосклонна ко мне, предоставив одно из них в этом году. Но главное, конечно, было в неохоте, с которой я усваивал эту варварскую и столь мало научную философию после гениального *университетского* синтеза Гуссерля. Казалось, что с Хайдеггером философия впадала в детство, я не узнавал в ней традиционных проблем — сознание, познание, истина, заблуждение, восприятие, тело, реализм и идеализм и т. д. Я мог *прийти* к Хайдеггеру, лишь исчерпав Гуссерля. А для меня исчерпать какого-нибудь философа значит размышлять в соответствии с его перспективами, за его счет сформулировать собственные идеи, доходя в этом отношении до самой точки. Чтобы исчерпать Гуссерля, мне потребовалось четыре года. Я целую книгу написал (за вычетом последних глав) под его влиянием: «Воображаемое».¹ По правде говоря, против него, но так всегда бывает, когда ученик пишет против учителя. Против него я написал и одну статью: «Трансцендентальное эго».² Исходя из чего, ободренный, я попытался высказать свои идеи в большой книге, к которой я приступил осенью 1937 года: «Психея». Я за три месяца в полном энтузиазме написал страниц четыре-

¹ Вышла в свет в марте 1940 г.

² Статья была опубликована в: «Recherches philosophiques». 1936—1937. № 6. Позднее вышла отдельной книгой (1965).

ста, а потом остановился по следующей причине: мне хотелось закончить книгу новелл. Я настолько проникся своими поисками, что моя литературная работа месяца два казалась мне совершенно бессмысленным делом. А потом, постепенно, причем сам я этого не понимал, стали накапливаться трудности, пропасть, отделявшая меня от Гуссерля, становилась все глубже и глубже: в сущности его философия переходила в идеализм, чего я не мог допустить, а главное, как всякий идеализм или как всякая соблазнительная доктрина, его философия обладала собственной *пассивной материей*, собственной «Нулé», которую обрабатывает некая форма (кантианские категории или интенциональность). Мне хотелось написать об этом понятии *пассивности*, которое столь существенно для современной философии. В то же самое время по мере того, как я уходил от «Психеи», оно переставало меня удовлетворять. Прежде всего из-за проблемы «Нулé», от которой я отклонился, а потом из-за многочисленных слабостей, за которые я сам несу ответ.¹ Мне снова пришлось искать *реалистическое* решение. В частности, хотя у меня было много идей о сознании другого, я мог рассуждать о нем, лишь твердо уверившись в том, что два различных сознания воспринимают *один и тот же* мир. Появившиеся на то время книги Гуссерля не давали мне никакого ответа. А его отрицание солипсизма было неубедительным и скудоумным. Понятно, что, стремясь выйти из этого гуссерлианского тупика, я и обратился к Хайдеггеру. Я уже неоднократно открывал его книгу, которую привез из Берлина, но мне не хватало времени ее закончить, как не хватало и четкого повода. То есть ясно, что я не мог начать изучение Хайдеггера раньше, чем я это сделал. Читать его с любо-

¹ Сартр отвергает гуссерлианское понятие «Нулé» (которое означает поток чувственного проживаемого опыта, не обладающего никакой интенциональностью) в «Бытии и Ничто» (Введение, § 4: «Бытие *регсiри*»).

пытством дилетанта — это еще куда ни шло, у меня не было намерения изучать его. Впрочем, тревоги весны 38-го года, а потом и осени, медленно подводили меня к поискам такой философии, которая была бы не только созерцанием, но и некоей мудростью, героизмом, святостью, да чем угодно, лишь бы это помогло мне выстоять. Я был в точности в той же самой ситуации, что и афиняне после смерти Александра: они отвернулись от аристотелевского учения, чтобы усвоить более варварские, но более «всеобъемлющие» учения стоиков и эпикурейцев, которые учили их *жить*. Кроме того, вокруг меня повсюду присутствовала *История*. Прежде всего философски: Арон только что написал «Введение в философию истории», и я читал его. Потом она окружала и сжимала меня, как окружали меня все мои современники, она давала мне почувствовать свое присутствие. У меня еще не доставало средств ее понять и постичь; тем не менее я этого очень сильно хотел; старался это осуществить с подручными средствами. Тогда и появилась книга Корбэна. Как раз вовремя. Отойдя в достаточной мере от Гуссерля, ища «патетическую» философию, я созрел для понимания Хайдеггера. Ладно, скажут иные. Но ведь книга могла и не появиться в то время. Прежде всего я не гарантирую, что я все равно не прочитал бы «*Sein und Zeit*». Кроме того, и это главное, публикация работы «Что такое метафизика» была *историческим* событием, которому я со своей стороны поспособствовал. В самом деле, в тот момент, когда я уезжал в Берлин, среди студентов возникло некое любопытство по отношению к феноменологии. Я тоже испытывал это любопытство, наподобие того как разделял увлечение парижан зимними видами спорта. То есть я усвоил несколько словечек, которые звучали то там, то здесь, прочел несколько французских книжек на эту тему, я думал об этих понятиях, которые плохо понимал, и хотел узнать об этом побольше. С тем и уехал в Берлин. Таких, как я, было много — в том числе среди молодых преподава-

телей. По возвращении я знал побольше и учил тому, что знал. То есть я приумножил число любопытствующих. Шастен, один из моих учеников, даже опубликовал статью о хайдеггеровском «das Man». Конечно, я не хочу сказать, что я в ответе за эту статью. Я просто хочу показать, насколько я был вовлечен в качестве *активного и ответственного* члена в сообщество любопытствующих и ищущих, обозначавшее себя как аудитория. Это *для нас* Корбэн сделал свой перевод. Это первичное любопытство было необходимым. И отсутствие этого любопытства способствовало тому, что Франции пришлось ждать двенадцать—пятнадцать лет. Оно зародилось мало-помалу вокруг переводов, появлявшихся в «Бифюр» (1930) и «Решерш философик» (1933), потом уже оно по-настоящему сложилось и стало *требовать* сведений. Кроме того, и на более глубоком уровне источник этого порыва любознательности, которому я содействовал и за который несую ответ, и который поначалу обнаружился в таких книгах, как «По направлению к конкретному» (1932) Валя, заключен в устаревании французской философии и той потребности ее омоложения, которую все мы испытывали. Таким образом, если Корбэн перевел «Что такое метафизика?», то причина этого в том, что я сам по своей воле (в числе многих других) вошел в состав этой *аудитории*, которая ожидала перевода, и в этом я сживался со своей ситуацией, своим поколением и своей эпохой. Но иные спросят, почему сначала был переведен Хайдеггер, а не Гуссерль, так как серьезные занятия должны были бы начаться с Гуссерля, мэтра, а уж потом перейти к Хайдеггеру, ученику-диссиденту. На это у меня есть ответ, ведь я знаю, как обсуждался вопрос в «НРФ». Как раз успех книги Корбэна и заставил Грётюизена¹ подумать о переводе Гуссерля. В самом деле, Гуссерль не имел

¹ *Бернар Грётюизен* (1880—1946) — французский философ и литератор немецкого происхождения, автор книги «Введение в немецкую философию после Ницше» (1926).

своей аудитории. «Патетичность» Хайдеггера, пусть большинство ее и не понимало, поражает такими вещами, как смерть, Судьба, Ничто, которые разбросаны у него как попало. Но главное, он доходил *до точки*. Я уже говорил, что втайне ждал этого, хотел, чтобы мне были предоставлены инструменты познания Истории и собственной судьбы. Но все дело в том, что таких, как я, было слишком много. *Именно в этот момент*. Мы и определили этот выбор.

Другими словами, как раз моя эпоха, моя ситуация и моя свобода предопределили мою встречу с Хайдеггером. В этом нет никакой случайности и никакого детерминизма, есть лишь историческое совпадение. Тем не менее можно было бы подумать, что вопрос: «Но почему понадобился Хайдеггер?» — остается вне этого круга. И, по правде говоря, он действительно оказывается вне его, поскольку Хайдеггер — это появление в мире свободного сознания. Но с совершенно иной стороны этот вопрос не кажется мне таким уж «эксцентричным». Ведь философия Хайдеггера — это свободное приятие своей эпохи. А его эпоха как раз и была трагической эпохой «*Untergang*»¹ и отчаяния в отношении Германии. Это было послевоенное время, эпоха, когда целая тьма людей, которые до сих пор совершенно *естественно* полагали, что являются немцами, стали смотреть на Германию как на некую случайную реальность, имеющую свою судьбу. Как писал Раушенинг, которого я уже цитировал:² «Именно тогда обнаружились... исключительный характер и одиночество этой нации, ее предназначение и ее проклятие». И очевидно, что позиция Хайдеггера — это свободный переход к философии патетического использования Истории. Я не хочу тем самым сказать, что в тот момент обстоятельства нашего существования были одинаково-

¹ Закат (нем.).

² Вероятно, это было в VI дневнике, который до сих пор не обнаружен.

выми. Но правда заключается в том, что имеется некое историческое совпадение между нашей ситуацией и его ситуацией. И та и другая являются следствием войны 14-го года, они на этом держатся. Таким образом я могу принять это приятие своей судьбы немца в нищей послевоенной Германии, чтобы научиться принимать свою судьбу француза во Франции 40-го года.

Кёллер покидает нас. Завтра или послезавтра. Из-за возраста его переводят в тыловые части.

Я попытался показать, насколько такие понятия, как соприкосновение, каковые с виду представляются самодостаточными, в действительности купаются в идее Ничто. Но, с другой стороны, следует показать, как другие понятия — с виду совершенно негативные — отсылают к трансцендентности в-себе-бытия по отношению к сознанию. Если, к примеру, взять понятие *отсутствия* — в самой распространенной его форме: «тех дорогих для нас людей, которых нет сегодня с нами», «я отсутствовал», «кто-то приходил ко мне во время моего отсутствия», «отсутствующие всегда не правы» — то сразу замечаешь, что отсутствие не является чистым отрицанием, оно предполагает единство отсутствующих в *бытии*. Есть некое бытие отсутствия. В самом деле, не следует смешивать отсутствие с чистой и простой удаленностью в том смысле, когда говорят, что два города удалены друг от друга или расположены друг от друга на расстоянии 20 километров. Удаленность принадлежит к этим негативным синтезам, обобщениям, которые сознание вырабатывает между вещами, не привнося в их природу никакого изменения, о чем я писал вчера. Без сознания расстояния между «А» и «Б» не было бы; как раз, превосходя мир, сознание и выявляет расстояния. Однако отсутствие относится к самой что ни на есть сути вещей, это особенная характеристика объекта, который может отсутствовать. Тщетно стараться свести эту характеристику

к простому умозрительному заключению, говоря, к примеру, что Пьер не *отсутствовал* в доме, что он просто-напросто *был* в удалении от своего дома, и давать привычное название «отсутствия» всей совокупности сожалений, каковые эта удаленность может внушить его жене и ему самому. Это значило бы поставить плуг впереди быков. На самом деле, эти сожаления предполагают прежде всего, что существует нечто такое, как отсутствие, каковое является неким *модусом бытия*, тогда как, с другой стороны, это было бы чистой негативностью. По правде говоря, отсутствие — это модус бытия для-другого. Никогда не бывает так, чтобы что-то по-настоящему отсутствовало за исключением того, когда это «что-то» отождествляется с кем-то другим. Тем не менее отсутствие — это некое отношение моего бытия с бытием другого. Некий способ, которым я ему дан. Этот способ быть ему данным предполагает некое предшествующее единство, единство *присутствия*. В присутствии я *есмь* в своей актуальной, конкретной реальности постольку, поскольку я *есмь* для другого, причем, с другой стороны, я схватываю мир не в виде мира, в котором я *есмь*, но как мир, определяемый бытием-в-мире-другого. Однако голое присутствие не может быть основой отсутствия, его не хватило бы, ведь *присутствия* простого прохожего не может считаться достаточным для его отсутствия, если он удаляется. Необходимо, чтобы это присутствие давалось не просто как присутствие, но как то, что образует сущностный и основополагающий модус конкретного бытия-для-другого. *Отсутствие* Пьера может иметь место лишь в отношении к его жене, так как здешнее существование Пьера видоизменяет для-себя-бытие его жены, причем самым существенным образом. Присутствие Пьера, как для-себя-бытия, сопряжено *бытию* его жены и наоборот. Исключительно на фоне этого предварительного бытийственного единства и может быть дано отсутствие для Пьера и его жены. Однако оно не является чистым уничтожением. Будь

оно таковым, это было бы уничтожение этих отношений. Но в действительности это не так. Оно является неким новым модусом связи между Пьером и его женой, и этот модус возникает на первоначальном фоне присутствия. Он *снимает* и отрицает первоначальный фон присутствия, однако именно он и делает его возможным. И само по себе отсутствие образует тип особого единства между Пьером и его женой. Но следует понимать: если оно не тематизировано. Любая тематизация отсутствия отсылает нас к иной свободно ничтожащей способности сознания, каковой оно обладает лишь постольку, поскольку пронизано Ничто — воображению. Но прожитое и нетематизированное отсутствие может быть понято лишь как конкретное отношение между двумя сущими на первоначальном фоне единства соприкосновения. Жена Пьера непосредственно дана Пьеру как *не бугучи здесь*. Таким образом, отсутствие, которое есть отрицание, имеет две бытийственные характеристики: 1) оно возникает на экзистенциальном фоне единства, которое оно отрицает и удерживает это положительное единство как сущность своего отрицания. Оно извлекает свое *бытие* из этого положительного единства, *заимствует* его у него. Отсутствие было. 2) Оно устанавливает между двумя сущими синтетическое единство отрицания, то есть оно их как раз сближает, отрицая их присутствие. Пьер и его жена даны друг другу через это отрицание; или, если угодно, это отрицание представляет собой некий модус связи, объединяющей Пьера и его жену. Другими словами, начиная с того момента, когда Пьер и его жена будут составлять одно целое, единственным модусом объединяющего отрицания, которое будет *уничтожать* это целое, не *разрушая* его (развод, забвение и т. п. — это виды разрушения), является отсутствие. Но это *разом* и объясняет нам конкретно природу первоначального уничтожения, или появление сознаний, которое и представляет собой отсутствие через отношение к целостности в-себе-бытия и которое

уничтожает исходное отношение имманентности в себе-бытия, не разрушая его, которое даже и уничтожать может исключительно на этом исходном фоне имманентности, и *разом же отсылает*, через первичное объяснение, к исходному отсутствию, каковое и есть отсутствие сознания по отношению к миру, который его окружает. Без этого первоначального и метафизического отсутствия все эти виды отсутствия, которые мы только что описали, не существовали бы, не было бы даже никакого расстояния. Исток всех отсутствий заключается в метафизическом отсутствии сознания как типе синтетической и объединительной связи сознания и мира.¹

Пятница, 2-е

Через три-четыре дня дивизия уходит. Вероятно, в Буксвиллер, на отдых.

Вчера встретил Ниппера, он вернулся из отпуска. Спрашиваю: «Ну как отпуск, удался?» И он со всей убежденностью — убежденностью, которая поразила меня тем сильнее, что отправлялся он в весьма удрученном состоянии: «О да! Отпуск был что надо!» Я не могу передать, каким тоном он произнес эти последние слова. Была в нем какая-то поучительная и апологетическая тяжеловесность, интонация «Naturfreund»,² восхваляющего какую-нибудь фиалку, что-то вроде: «Посмотри, мой мальчик, Бог дал человеку множество красивых и хороших вещей». Естественно, это женатый мужчина, домашний священник говорит с такой уве-

¹ Ср. «Бытие и Ничто» — первая часть, первая глава, 4 — «Феноменологическая концепция Ничто», а также 5 — «Происхождение Ничто». См. также первую главу третьей части — «Существование другого».

² Друг природы (нем.).

ренностью: он учит тому, как хорошо «вновь окунуться» в лоно семьи. И отпуск соединяется с семьей в категории естественных вещей, созданных Богом, для Его славы; с начала мироздания существуют семьи и отпуска. Но в то же время из-под этой назидательности прорывалось какое-то детское и искреннее, почти очаровательное восхищение, напомнившее мне тон той молодой арабки, которая говорила своим друзьям на борту «Теофила Готье»: «Славно мы покушали». Он добавил: «Слишком короткий, правда», — а потом, чтобы избежать малейших подозрений в хуле дел Господних и высшего командования: «Как и все хорошее на земле». Как будто краткость отпуска не была просто-напросто продиктована внешними обстоятельствами и событиями, а составляла его самое сокровенное и самое восхитительное качество, сам источник его великолепия и эту потаенную смерть, которая так волновала Барреса в юношеских лицах.

Поначалу это меня только позабавило, а потом я осознал, что я сам — на свой манер — также смотрел на отпуск. Смотрел на него как на нечто данное, а не как на право. Как на нечто прекрасное также. Я смотрю на него с собственным его сроком в десять дней, который кажется мне не произвольным ограничением, а персональным качеством этого великолепия — в точности как ритм или время звучания какой-нибудь мелодии. Плоское и аморфное время повседневности я проживаю здесь, здесь оно накапливается; там же, как мне кажется, я познаю другое время, время музыки и приключений, когда конец уже заложен в начале. Словно бы я самого себя вводил в небольшую жестокую новеллу, у которой не очень хороший конец, но которая сама по себе прекрасна. И я немного возмущаюсь от мысли, что весь этот столь драгоценный материал, который будет ее наполнять, Бобр, Париж, Ванда, отдых, когда-то относился к повседневности. Я проживал все это во времени небрежном и неопределенном, обильном и вязком, наполненном мелкими незаметны-

ми встрясками, каковое и составляет теперь мое здешнее время. Мне кажется, что я не относился к этим исключительным в своем роде благам так, как они того заслуживали — что тот единственный способ надлежащего обхождения с ними состоял в отсутствии, прерываемом редкими и ослепительными моментами присутствия. Будто это *отсутствие* по отношению ко всему, что человек любит, входило в состав условий человеческого существования. Мне бы хотелось, чтобы в этих десяти днях, в самой их ткани было некое качество, которое обыкновенно встречается только в книгах — у К. Мансфильд, в «Пармской обители», в лучших новеллах Барреса, — чтобы было в них не столько терпкое неистовство, сколько далекая и капельку жестокая сладость, а также своего рода аристократизм, чего в моей жизни никогда не было. У меня были мгновения счастья, но это было грубое счастье, обильное, густое, как крепкое красное вино; в нем не было «качества». И это объяснялось не природой моих удач, которые сами по себе были прекрасными (не счастье ли это — проснуться ранним утром у ступеней театра Эпидор с Бобром под боком, поспешное возвращение в гостиницу по улочкам Феса, когда на них опускается ночь, зажигаются первые огни, а маленькие мрачные улочки прямо на наших глазах огораживают цепями по правую и левую стороны, прогулка вокруг насыпей Эг-Морта с Вандой), а тем, что моя персональная природа, с известной скудостью крови, заключает в себе какое-то циничное недоверие по отношению ко всему ценному, боязнь быть обманутым, стать похожим на Алена-Фурнье, впасть в чудесное, — а кроме того всегда есть детали, которые шокируют и которые тем не менее тоже входят в эти мгновения, наконец, все равно все это относится к повседневному времени: прогулка по улицам Феса соотносится с надоевшим ожиданием перевода, который все никак не приходит, прогулка в Эг-Морт — с двумя страшными размолвками с Вандой. Петер тут недавно упрекал меня, что я проматываю

денежки, так вот, кажется, что я и жизнь свою проматываю. Причем не через страсть прожить как можно больше, которая как раз-таки и не была бы мотовством, а через ту небрежность, с которой я смотрю, как утекают в прошлое эти мгновения, втемяшивши себе в голову, что ни одно из них не может быть неповторимым, через совершенное нежелание сказать, как Фауст: «Время, останови свой бег». Это чувство неповторимого и особенного, которым обладает (или претендует на него) даже этот жалкий Дриё (правда, оно было в моде, когда он начинал), у меня отсутствует. Возможно, во многих случаях мне следовало побороться. Но даже в таком случае мне кажется, что этого делать не стоит, что так мы плутуем, кривим душой. В Микенах, когда кругом не было никого, кроме меня и Бобра, когда над нами было прекрасное грозовое небо, а вокруг — эти странные надгробия и скалы, требовалась самая малость, и я пережил бы это драгоценное мгновение. Но надо было поразмышлять об Агамемноне, это было просто необходимо. Слишком долго объяснять здесь, почему. Так или иначе, я этого не стал делать.

То есть я немного опасаясь за эту честность мысли в отношении грядущего времени. Издалека эти десять дней делают меня таким драгоценным; мне кажется, что на этот раз я изведаю благородное счастье. Но я немного боюсь того, что среди этих десяти дней снова столкнусь с обильной и апатичной пеной моего здешнего времени, боюсь, что у меня будут приступы небрежного великодушия, что у меня будет чрезмерно честный ум. Понятно, я хочу прожить их *подлинно*. Но в самой этой подлинности есть место для чего-то более редкого, исключительного. Короче говоря, мне дают этот отпуск, но еще нужно, чтобы я его взял. Это начинание. Я уже часто думал о сложностях, что поджидают «там» отпускников. Я уже думал, что отпуск это *трудное* дело. Ведь не очень-то удобно, к примеру, «встретиться» с женой. Для меня этих трудностей не существует, правда, есть другие, которые я только что упоминаю.

нул. Я расскажу здесь, «удался» ли мой отпуск. У меня такое впечатление, что отпуск Мистлера и Ниппера «удался», сколь странным это не могло бы показаться в отношении последнего, — и что Курси и аджудан свой «профукали». Что касается Петера, тот он провел свой, так и не осознав, что ему была предложена настоящая партия (за вычетом, разумеется, его дел), но его природная любезность, его вежливость и его смекалка, равно как его толстокожесть, помешали ему проиграть: выстрел в молоко.

Внезапная дезорганизация нашей группы, пора это описать, завтра ее уже не будет. Завтра Келлер уезжает в Париж, а я в отпуск. Через четыре-пять дней будет смена, вся дивизия отправляется в Буксвиллер. Поль и Петер окажутся без нас в новом городе. Эти неожиданные нарушения равновесия, в силу которых формы разрушаются в тот самый момент, когда, как казалось, они сорганизовались лучше всего, весьма характерны для военной нестабильности.

Суббота, 3-е февраля

Уезжаю в отпуск.

Воскресенье, 4-е

9.30. Проведя ночь в поезде, я высаживаюсь вместе с Келлером, который нагружен как осел, в Эгвилье (Верхняя Сона), в сборном пункте. Странное местечко. Деревянные бараки, напоминающие знаменитые бараки Вильгрена, ютятся под насыпью железной дороги, среди мелколесья. Город и гражданский вокзал в двадцати минутах ходьбы. Штук тридцать барачков с некоторой заботой о симметрии выстроены друг против друга. Кажется, в Верхней Соне снега не было;

земля черная и грязная, торфяники, теплый и сочный воздух. Мелкие ветвистые деревья — многочисленные и беспорядочные, как сорняки. *Поначалу* ощущаешь себя в лесу. А потом вдруг в этом лесу — человеческое скопище с сильным человеческим запахом. В этом скопище, несмотря на внешний вид, нет ничего по-настоящему военного. На лицах читаются покой и легкая растерянная меланхоличность, которая совсем не походит на пустое ожидание собранных в войско солдат. Ремни ослаблены, шинели расстегнуты, многие опираются на толстые палки, заботливо выструганные и отделанные резьбой, кое-кто держит собаку на поводке, другие — музыкальные шкатулки, откуда доносится какое-то попискивание. Со всеми этими палками и расклеванными силуэтами (мешки, каска, фляжка, противогаз утолщают их на уровне пояса и придают им некое расширение книзу) они больше напоминают «солдатов» Андерсена, возвращающихся домой, на свободу, и каких-то полубандитов. У них такой вид, будто они «всего повидали», что-то умиротворенное и немного жесткое, что контрастирует с тем бараньим видом, с которым они несут свою службу. Есть и пьяные — немного. Меньше, чем вчера. Они поберегли свое вино в ночном поезде. Но что придает совершенно особенный характер всему этому скопищу, участники которого прибыли неизвестно откуда и поедут неизвестно куда, так это вопли, которые раздаются из громкоговорителей, расположенных внутри каждого барака и на крыше у некоторых из них. Время от времени это музыка. Редко — только что «Любовные утехи».¹ Но большую часть времени это новости, призывы, советы и т. п. И все это согласно лучшим принципам дикторов радио. Голос четкий и поставленный, чувствуется поиск фразы, которая могла бы вас поразить, не исключены и лозунги, острые словечки и шутки. К нам отно-

¹ Популярная французская песня Мартини (придворного композитора Людовика XVI) на слова Флориана.

сятся скорее как к гражданским, чем к военным. По правде говоря, — нечто среднее между «Господа пассажиры» Национальной железной дороги и «Солдаты!» армейского капитана или ежедневного рапорта. К нам обращаются: «Отпускники! Обратите внимание на следующее: на Зеленый Поезд сбор за сортировочным баракком. Только на Зеленый. Внимание, внимание, тех, кто не на Зеленый Поезд, я попрошу вернуться к своим сборным пунктам, чтобы не мешать движению. Незачем стоять под дождем». Поражает то, что они обращаются к нашему разуму. Разуму, конечно же, еще детскому, каковой следует чем-то удивлять, убеждать многократным повторением. Но все же это разум. Нам *разъясняют* основания приказов. В силу чего приказ становится всего лишь советом. Сам ранг «отпускников» — а здесь он для нас единственный — обозначает некую реальность, промежуточную между гражданским и солдатом. Нечто вроде «Пассажиры!» или скорее «Обладатели удостоверения многодетной семьи», а еще лучше: «Владельцы льготных билетов на воскресную поездку по замкам Луары». Именно это совершенно новое сочетание гражданской организации (это и в самом деле хорошо организовано) с униформой и приказами, со скрытыми угрозами, призывами к индивидуальной инициативности (но инициативности, единственно возможное направление которой строго определено), это усилие, направленное к массовым, незамысловатым и современным удобствам (возможность послать телеграмму, перекусить в Солдатском Клубе, чашка бесплатного кофе в столовой) и придает всему этому характер *фашистского праздника*; я узнаю в микрофоне ту же интонацию, которую слышал в Германии во время праздников в Темпельхофе и т. п. Впечатление, впрочем, нарушенное этим напряженным, молчаливым, безразличным и замкнутым видом большинства солдат.

Поражает именно то, что солдаты не выглядят довольными. Они спокойны и даже немного мрачноваты.

Я тоже. А ведь среди них есть те, которые недели две воевали (я тоже), чтобы иметь возможность отправиться сегодня в отпуск. Но вид у них задумчивый, словно это было одновременно и начинанием, и испытанием. Кажется, они чего-то побаиваются. Я очень хорошо понимаю эту тревогу и разделяю ее. За исключением совсем молоденьких, им хотелось бы, чтобы «все было хорошо», и они не так уж в этом уверены.

Тем не менее — небольшой взрыв радости в нашем бараке, когда громкоговоритель возвещает: «Объявляется сбор отпускников на Голубой Поезд». Мужики немного шумят, а потом все быстро стихает. Других проявлений чувства мало: кое-кто присвистнул, когда по радио говорят о полиции.

Совершенно особенный вид этого собрания объясняется, очевидно, тем, что оно организовано гражданскими под строгим контролем военных. Указатели, обслуживание, радио — все это, я уверен, дело рук Национальной железной дороги. Именно для Национальной железной дороги мы и являемся «отпускниками». То есть «имеющими право» на бесплатный проезд в определенных поездах.

Барак: примерно тридцать метров в длину и восемь метров в ширину. Деревянный пол, перегородки из фанеры, три окна с матовыми стеклами и восемь отсеков. На потолке — четыре лампочки, деревянные скамьи со спинками стоят вплотную друг к другу; между этими скамейками — сплошной коридор, который идет от одного входа к другому.

Пример *интонации* на радио: «В девять часов столовая открыта только для отпускников с Розового Поезда. Все, кто пройдет не имея розового удостоверения...». Молчание... Ждем: получают четверо суток. Но нет, голос продолжает с отеческой интонацией: «Не будут обслуживаться в столовой. К тому же столовая далеко. Двадцать минут туда, двадцать обратно. Сорок минут потерянного времени».

Около половины одиннадцатого по радио передают «Твоя рука в моей руке» Шарля Трене. Я снова вижу себя в каком-то марсельском квартале, стоит августовская ночь, я пытаюсь вспомнить мелодию этой песни. Сильное и неожиданное волнение вне всякой связи с той задумчивой мрачностью, в которой я пребывал секундой раньше, наполняет мои глаза слезами. Я прячу их, делая вид, что протираю очки. Есть во всем этом какое-то омерзительное разнеженное самолюбование. И эта чувствительность, объясняющаяся довольно трудной ночью. Но дело и в том, что все эти дела прошлого, все эти блага, о которых я еще вчера думал, что они умерли, чудесно и обманчиво, на какое-то время, показались мне *доступными*. Мне их *возвращали*. Пишу все это, устроившись в Розовом Поезде, который отправляется в 11 часов 16 минут. Сейчас одиннадцать, до меня еще доносятся с трудом узнаваемые обрывки какой-то патетической музыки. И время от времени: «Опаздывающие на Розовый Поезд, поспешите», что немного напоминает «Пролетарии всех стран, соединитесь».

16 февраля

Вернулся из отпуска. Я не прикоснулся к этому дневнику, пока был в Париже, и правильно сделал. В сущности, все, что со мной произошло, не имеет к нему никакого отношения. Это военный дневник, в этом весь его смысл. Кроме того, мне хотелось пожить без всяких мыслей. Или, точнее, не очерчивая, не фиксируя своих мыслей, не вдаваясь в то, что я думал. Тем не менее я запишу здесь то, что может быть интересным с точки зрения «бытия-на-войне», поскольку отпуск, как ни крути, является военным эпизодом. Скажу для начала, что я был наверху блаженства. Только хорошее. Ни одного потерянного даром часа. Не думаю, что можно было провести его как-то лучше. Виделся с

Бобром и Вандой, ни на секунду не оставался в одиночестве, но я его уже вдоволь нахлебался в Брумате и Морсбронне, так что вполне мог вкусить сладости побыть вдвоем. Люди не разочаровали меня, даже наоборот. Выпал даже счастливый случай — он относится к моей личной жизни. Но отметив удачность этого отпуска, я должен указать на то, что он совсем не был похож на то, что я себе напридумывал, в частности в пятницу, 2-го. Он не был *драгоценным*. Прежде всего это объясняется природой времени, которое, как и здешнее время, было плотным. Ничего не поделаешь. Есть только одно время, время Существования. То обстоятельство, что я с самого приезда ощущал эти дни так, что у них должен быть конец, что это именно десять дней, ничего не меняет. Дело в том, что Париж, в особенности поначалу, показался мне обыденным. Я почти не почувствовал в нем войны. Разве что на улицах, вечером. Но в тех тщательно отбирившихся местах, куда мы ходили с Бобром, война почти ничего не нарушила. Ко мне вернулись все мои привычки, и я чувствовал себя в своей тарелке. Пять месяцев, который я провел в Эльзасе, казались мне сном. Где-то посередине отпуска я начал замечать, как много на улицах стариков и инвалидов, почувствовал, что Париж обескровлен, что все мужчины куда-то делись. А главное, на меня плохо действовала вечерняя грусть. Монмартр был мертвым и унылым. В мерцании ночи мне показалось, что площадь Сен-Шарль приобрела какое-то мрачное величие перекрестка больших дорог в предместье. Спускаясь по улице Пигаль, я то тут то там замечал сквозь занавеси умирающие огоньки дансингов, походившие на стеклянных ящериц. Мне было известно, что джаз приказал долго жить, а это выражение Ванды еще лучше прояснило мне его агонию: «Не пойдем в Шантильи, там слишком холодно». В воздухе витало и нечто более тонкое, на что мое внимание обратила Бобр: это был город, населенный людьми без будущего. «Семейная жизнь», — говорила она мне. Забавно, но в мирное

время людей разделяло то, что каждый мужчина и каждая женщина казались дверью, раскрытой во внешний мир, на неведомые горизонты. Каждый дожидался чего-то такого, о чем я не подозревал, и что частично зависело от них, именно эта неведомая будущность и отделяла меня от них, а не какая-нибудь площадка в общественном транспорте или кусок тротуара, которые, напротив, нас объединяли. И все это исчезло: большинство из тех, кого я видел на улицах, в кафе, дансингах, имеют совершенно нормальный вид, не говорят о войне и даже, если выпадает такой случай, развлекаются. Тем не менее мне прекрасно известно, что их судьба приостановлена, как и моя; они больше ничего не ждут, кроме окончания войны, которое собственно от них не зависит. В этом ожидании они занимают себя чем могут; они не мешают тому, что война стекает на них, подставляя ей спину. Да, Париж напомнил мне семейный склеп, и это в немалой степени поспособствовало тому, что мой отпуск был лишен его «драгоценности». Этот город, с которым мне так хотелось встретиться, либо оказывался совершенно будничным, я даже не мог пользоваться существенной дистанцией, с которой я мог почувствовать, что встретился с ним — либо простирался у моих ног, но был при этом бедным и омертвевшим — был как-то сумрачно бедным. И эта бедность была столь впечатляющей, что два ощущения, которые я увез из Парижа, оказались полным противоречием тому, чего я ожидал: мне представлялось, что я буду чувствовать себя потеряннным в каком-то незнакомом громадном и кишасщем людьми городе, как это бывало со мной в Неаполе, Берлине, Лондоне. Все получилось наоборот: в один из самых последних вечеров Бобр зашла в одно кафе на Елисейских полях, «Рон-Пуэн», а я дожидался ее снаружи, очарованный этой новой и приглушенной скромностью, которая по вечерам придает кафе какой-то подпольный вид, делающий их похожими на бордели, соблазненный этим небом, которое все простиралось

и простиралось, и камешками, мерцавшими на фонарях, которые горели ничего не освещая, всей этой синей и наполненной шепотами ночью, напоминавшей лето. И внезапно я обрадовался, подумав, что я вживе присутствовал в этом великолепном и мертвом городе, что я был живым как раз потому, что ему не принадлежал, потому что моя судьба решалась где-то в другом месте, что в той мере, в какой я занимался войной, я был хозяином своей судьбы. В этот миг я чувствовал себя иностранцем, который примеряется к какому-то городу, а сам себя ощущает где-то в другом месте. И что там говорить, это было горько, потому что мне пришлось расставаться с теми, кого я любил больше всего на свете и кого в тот самый день я любил как никогда пылко. Но тщеславие утешилось тем, что я не ощущал себя среди, внутри всей этой горечи. Это ощущение сопоставимо лишь с тем чувством, которое мы с Бобром испытали при виде греческих или марокканских городов — восхитительных и населенных мертвецами. В Спарте, например, когда мы смотрели, как греческая молодежь пьет аперитив в самом большом кафе города, или в Фесе, на арабском базаре. Мы были очарованы до такой степени, что чуть было не погрузились вовнутрь, и все равно нам было хорошо, легко, потому что мы были не отсюда.

В другой раз, с Вандой, в жокей-клубе, у меня было впечатление аналогичное, но не такое чистое. Я очень сильно любил Ванду, и казалось, что и она меня любит. Там были другие пары, очень молоденькие (парни, должно быть, не подлежали мобилизации), казалось, что и они очень любят друг друга. И мне показалось, что я, сам того не желая, ускользал от этой любви, потому что мне нужно было уезжать. Они только любили друг друга. А я, возможно, любил даже сильнее, чем они, но я был в одиночестве, я мог лишь предоставить себя для этой любви, потому что я был должен снова уехать. За вычетом этих двух кратких мгновений, я жил, как прежде, самодостаточный, безусловно счастливый, ис-

пытывая интерес к каждому мгновению, но эта редкость, на которую я так надеялся, не обнаруживалась, решительно, я не создан для редких эмоций.

Понял я также то, что и записываю здесь, не вдаваясь в детали, что на войне жить честно и подлинно намного легче, чем в мирное время.¹

17 февраля

В общем, этот отпуск представлял собой нечто цельное, полную и замкнутую форму, которую я рассматривал издали и думал, в январе, что смогу с ней освоиться. Но на объект этот в конечном итоге я нацеливался зря. В тот самый момент, когда я думал, что нахожусь совсем рядом с ним, он от меня ускользнул. Откуда вывод, что он существовал исключительно в моем воображении, до него был всего лишь один шаг, который Пруст, например, легко бы сделал. Я же поостерегся. В самом деле, Бобр научила меня одной новой вещи: в ее романе² Элизабет жалуется, что она окружена предметами, которыми ей хотелось бы наслаждаться, но она не в состоянии их «воплотить их в реальности». Достойно сожаления, что она вложила эти мысли в созна-

¹ Сартр был дважды неподлин в Париже: по просьбе Симоны де Бовуар он сказал Ванде, что у него только пять дней отпуска, а не десять; но он, должно быть, сгорал от нетерпения снова увидеть девушку, так как на обратном пути он пишет Бобру: «Боюсь, что был недостаточно любезен во время отпуска». С другой стороны, он ничего не сказал об отпуске Бьянке; вот почему он со «страшными угрызениями совести» читает письма, которые она направляла ему в часть, в то время как он был в Париже (цитаты приведены из письма Сартра к Бобру от 16 февраля, в опубликованном Симоной де Бовуар варианте письма это место выпущено). Тремя днями ранее он задавался вопросом: «не лучше ли всю свою жизнь хранить верность одному единственному человеку». Ср.: *Beauvoir S. de. Journal de guerre*, op. cit. 10 и 13 февраля 1940.

² Имеется в виду роман «Гостя», над которым работала тогда С. де Бовуар.

ние Элизабет, персонажа малосимпатичного и вымученного, из-за чего мысли эти проигрывают. В самом деле, большую часть времени Элизабет ощущает лишь *с виду*. Но Бобр смотрела дальше. Она хотела сказать, что мы окружены «нереализуемыми предметами». Речь идет о существующих предметах, которые мы можем осмыслять издали и описывать, но никогда — *видеть*. Тем не менее они здесь, у нас под рукой; они притягивают к себе наш взгляд, мы поворачиваемся к ним и ничего не обнаруживаем. Чаще всего это предметы, которые нас затрагивают. Выбранный Элизабет пример выше всяких похвал: нельзя по-настоящему прожить отношение между тем, чем ты был когда-то, и тем, что ты есть сейчас. К примеру, мне случается сказать: у меня было все, чего я только хотел в своей молодости, но у меня это было не так, как я того хотел. Я *думаю* так путем сравнения того, чего, как мне помнится, я хотел, с тем, что я получил. Я так думаю, но я этого не *вижу*. Все время кажется, что мы могли бы удвоить нашу радость по поводу удавшегося предприятия, смотря на этот успех сквозь призму наших прошлых надежд и опасений: я этого так желал, и вот оно у меня есть. Но в большинстве случаев так не бывает. Наши великие надежды умирают, и мало того, что мы не можем посмотреть на свой успех сквозь их призму — это сквозь призму нашего успеха мы смотрим на них. Таким образом, этот волнительнейший из предметов, который мы вполне можем ухватить, когда речь идет о другом человеке, в принципе ускользает от нас. Тем не менее он *здесь*. Арон сказал бы, что речь идет об иллюзии, некоей манере ставить себя на точку зрения Бога (то есть такого существа, для которого нереализуемые предметы являются реальностями). Но нет, я гораздо скромнее. Эти предметы существуют, потому что их можно помыслить *поистине*. Мой отпуск существует, потому что общество придало ему реальное существование, потому что он является значением моего пребывания в Париже и потому что, как бы то ни было,

он придает особый нюанс всем — даже самым незначительным — эпизодам этого пребывания. И однако же он вне моей досягаемости. Сходным образом отношение моих юношеских амбиций к моей зрелой поре может, например, существовать для Бобра. Но не для меня. К тому же типу, замечу, относится это «приключение», которое все время убегает от искателя приключений среди самых невероятных обстоятельств и которое тем не менее является сущностной категорией человеческого действия. Кажется, что в «Тошноте» я сказал, что его не *существует*. Что не было удачно. Лучше уж сказать, что оно относится к нереализуемым предметам. Приключение — это сущее, которое по природе своей является лишь в прошлом, в рассказе, ему посвященном. В этих нереализуемых предметах удивляет то, что я могу помыслить их, доходя до самой точки, до мельчайшей детали, и при помощи слов сделать так, чтобы они реализовались для других. Например, если мне захочется написать новеллу под названием «Отпуск», я могу его сочинить, этот отпуск — в том виде, в котором он и должен был бы существовать, показав его патетическую и драгоценную природу. Могу сделать так, что читатель представит его в виде мелодии, неумолимо текущей к своему концу. Но это было бы искусство. Искусство — это один из тех способов, которые есть в нашем распоряжении, для того чтобы другие вживую и «в воображении» воплощали в реальности наши нереализуемые предметы. Я пользуюсь этим случаем, чтобы отметить, что нереализуемые предметы обладают совсем не той природой, что воображаемые предметы. Они реальны, они повсюду, но вне досягаемости. Другие люди могут схватить их либо в модусе реальном, либо в модусе воображаемом. Однако подлинность, как я думаю, стремится отвести для них место вокруг нас в виде нереализуемых предметов. Не следует отрицать их, как не следует пытаться воплотить их в реальности, следует их принять в их собственном виде — как нереализуемые. Эта личина,

которую мы с Бобром часто замечали на других, называя ее *видимостью* («быть чистой видимостью», «пускать пыль в глаза») объясняется в основном как своего рода криводушие, посредством которого мы выдаем за реализованное то, что в принципе нереализуемо. Чистота Ванды, напротив, зиждется на некоей принципиальной слепоте ко всему нереализуемому. Ей и в голову не придет осмыслять то время, что я провел подле нее, как *отпуск*. Для нее это всего-навсего присутствие между двумя отсутствиями. Она не станет называть приключениями свои бесчисленные истории в «Баль Негр». В каждой из них она очарована одним мгновением. Но как бы то ни было, этих объектов ей недостает, для деятельности ей не хватает пружин. Дело в том, что для каждого случая следует определять, что является нереализуемым и что можно реализовать. Например, Париж — это реальное сущее, в этом нет никакого сомнения. Но является ли он реализуемым для меня сущим? Я могу думать, что я в Париже. Но могу ли я *быть-в* Париже? Мы об этом долго спорили с Бобром года два назад, обсуждая статью Кайуа о мифе большого города.¹ В этом случае, как мне кажется, был прав я, а не Бобр (мы не так ставили вопрос, ведь нам как раз и не хватало этого понятия нереализуемого. Мы лишь спрашивали себя, существует ли Париж или всего лишь является мифом). Мне кажется, что можно *быть-в* Париже. Само собой разумеется, что я не отношу слова «реализовать какую-то вещь» к тому простому обстоятельству, что я с более или менее живыми ощущениями представляю себе эту вещь. Вещь реализуется, когда присутствие этой вещи дается нам как более или менее существенное видоизменение нашего бытия и сквозь призму этого видоизменения. Пережить приключение — не значит представить себе, что у тебя

¹ Речь идет о статье Р. Кайуа под названием «Париж — современный миф», опубликованной в майском номере «НРФ» за 1937 г., а потом включенной в книгу «Миф и человек» (1938).

приключение, это значит быть-в приключении — что, как я показал в «Тошноте», невозможно. Нереализуемые вещи всегда можно представить, но ими невозможно *насладиться*, и именно это и придает им дразнящий и двусмысленный характер. Я думаю, что добрая половина всех человеческих деяний имеет своей целью реализовать нереализуемое. Думаю, что большинство наших самых мелких разочарований объясняется тем, что нечто нереализуемое представляется нам в будущем, а затем, какое-то время спустя, уже в прошлом — реализуемым, и тем, тогда-то мы и чувствуем это, что мы его не реализовали. И теперь я прекрасно чувствую, что эти десять дней, которые остались позади, съжившись, сжавшись до такой степени, что их окончание соприкасается с началом, начинают становиться в моей памяти *Отпуском* — тем самым, которого мне хотелось, когда я о нем мечтал 2 февраля.

Я хочу рассказать о своем возвращении. Позавчера, 15-го февраля, я около половины девятого снова переоделся в военную форму, подогнанную по фигуре гражданским портным, на мне были новые обмотки, лыжные ботинки (те, в которых я был раньше, принадлежали Бобру), я был такой чистый, каким еще не был с начала войны. В девять я прибыл на перрон Восточного вокзала и без труда нашел себе уголок. Солдат провожали в основном женщины, мужчин было очень мало. Женщины висли на солдатах, смотрели на них с какой-то ненасытностью. Но многие солдаты, чистые, выбритые, такие чистые, какими им еще не доводилось быть, на них не смотрели, они уже отбыли, они смотрели вдаль или же на других солдат. Я ничуть не обобщаю, я долго прогуливался по перрону, и повсюду меня поражали эти странные группы, это движение, этот цепляющийся силуэт, чуть поменьше, который старался закрыть собой всю группу, превратить ее в нечто цельное, противостоящее внешнему миру, и силуэт

чуть крупнее, безмолвный, глухой и почти что пассивный, правда, он слегка отклоняется от первого и стоит в фас, тогда как тот — в профиль, эти два взгляда, одному из которых хотелось удержать и сохранить, тогда как другой, перпендикулярный первому, убежал в направлении к будущему. Время от времени какая-нибудь женщина принималась плакать, ее спутник замечал это и говорил со смущением: «Не надо плакать», — но тут же замолкал, не зная, чего добавить, так как в глубине души был убежден, что ей было отчего плакать. Двое зарыдали на пару, но толпа не очень-то хорошо это приняла. Один солдат, пробегая мимо, прокричал: «Вон как полило», — и все вокруг засмеялись. Что за странное социальное явление в грязно-серых и защитных тонах — этот какой-то совершенно первобытный раздел между мужчинами, которых всех забирала, и женщинами — небрежно накрашенными, подурневшими от бессонной ночи, наскоро одетыми, — которым предстояло остаться. На путях было два поезда, они стояли друг против друга, мой отправлялся вторым. В 9.30 отправился первый, и я увидел, как пошли женщины. Пары, мужики из которых уезжали на моем поезде, немного отступили и молча смотрели на это дефиле. Наверное, женщины, прижимавшиеся к своим мужчинам, думали, что через четверть часа с ними будет то же самое. Дефиле было неторопливым и молчаливым, не лишенным известной грации. Все женщины плакали, за исключением двух-трех, это было почти что смешно: старые и молодые, высокие и пухленькие, брюнетки и блондинки, в полном беспорядке, с одинаковыми красными и заплаканными глазами. Меня поразили одна или две, особенно одна — высокая элегантная блондинка в меховом мантио и с увядшим лицом, она не плакала, шла широким шагом, повернув голову в сторону и смотря на наш поезд с каким-то потеряннным и неизъяснимым видом. Она мне показалась самой чокнутой из всех. И еще одна, невысокая девушка, которая отличалась сдержанностью и тем вы-

ражением лица, которое бывает у женщин, возвращающихся на свое место после принятия причастия. При виде ее смутной внутренней улыбки, опущенных глаз я подумал, что внутри она ощущает свои воспоминания как облатку. Прокричали: «По вагонам», — и мы стали садиться. В моем купе солдаты один за другим подходили к двери вагона, и каждый из них, подержавшись за протянутые к нему руки или подняв к себе свою женщину, вежливо говорил, возвращаясь в купе: «Следующий». Поезд отправился. Солдаты молчали и грустили. В коридоре бесновался какой-то красавчик-блондин. Кто-то сказал ему: «Да не волнуйся ты так, к чему это все?» — и тот ответил с шипящей иронией: «Ну да, понятно. Все дело в привычке. Через десять лет это будет действительно ни к чему». Один солдат заговорил о следующем отпуске, другой ответил с недовольным видом: «Ну вот, сейчас будем говорить о следующем отпуске!» А усатый тип пробормотал как будто самому себе: «Еще на четыре месяца». На голову маленького еврея в очках свалился мешок. Кто-то извинился, и еврейчик ответил с покорной веселостью: «Рано или поздно... Хотя хотелось бы попозже». Они еще какое-то время поговорили, ни к кому не обращаясь и даже не отвечая друг другу. По этим словам мне подумалось, что все они боятся весеннего наступления; что и придавало трагичности отправке. Минут через пятнадцать все замолчали. Кто-то читал, другие спали, третьи просто сидели куда-то уставившись. Я прочел всего «Бисмарка» Людвига.¹ Время от времени я откладывал книгу и выходил покурить в коридор. Я не грустил, просто переживал какую-то встряску, находился в состоянии, которое можно назвать патетичным и в котором, наверное, пребывают животные в период линьки. Время от времени мне удавалось заинтересоваться чтением, и тогда я передавал свою патетичность

¹ Имеется в виду биография, принадлежащая перу Э. Людвига, французский перевод вышел в свет в 1929 г.

Бисмарку, который чуть было не выдавил из меня слезу.

Поезд остановился. Было 16.30. Мы вышли на снег и сразу же поняли, откуда возвращались: громкоговоритель начал рывкать на нас, едва мы ступили на платформу. Мы уже были не «отпускниками», а «рядовыми», и нас уже не вразумляли с вежливостью, как в Эгвилье, нам просто угрожали страшнейшими наказаниями: «Строго запрещено... Каждый солдат, нарушивший... будет подвергнут самому строгому наказанию». Меня это не задевало, скорее забавляло, я взял себя в руки. «Это они нас так приветствуют», — сказал сосед. Бараки. Пор д'Ателье. Я выпил бутылку пива из горлышка, выбрал себе барак. А зачем выбирать, если они все одинаковые? Остатки гражданской жизни. Я вошел в большое темное помещение с деревянными стенами. Солдаты спали на скамейках, другие сидели опустив головы, третьи ели. Я написал Ванде и Бобру, а затем прочел «Гитлер мне сказал» Раушенинга. Стенело, стало холодать. Вокруг печки в полумраке стояли три скамьи. Я уселся. Нас было человек двадцать, мы сидели тесно прижавшись друг к другу, куда-то уставившись. В голове вертелась тьма воспоминаний, и я знал, что каждый, по соседству, точно так же перебирал свои. Тут заходит один: «Вот он, мир без женщин. Где же они, женщины?» Время от времени громкоговоритель оповещает о ближайшем отправлении поезда. О нашем сообщили заранее, и вышла небольшая путаница. Из барака я вышел в половине восьмого: общались о начале киносеанса. Я простоял в очереди вместе с другими, а потом, когда очередь подошла, ушел. Мне не хотелось отвлекаться от этого мрачного и сильного мира, не хотелось оказаться под очарованием воображаемого. Я вернулся к себе в барак. В девять двадцать мы побежали к нашему поезду — по снегу, в темноте, в беспорядке, перепрыгивая через колючую проволоку, через пути, а за нами бежали и лаяли два аджюдана. Я не очень хорошо понял, почему вся эта

суматоха. Что до меня, то вполне достаточно было бы указать мне нужные пути. Что это было — ошибка наших командиров, безумие, нетерпеливый героизм? Эта отправка походила на бегство. Мы по четверо разместились по купе, в которых не было ни света, ни отопления, вода замерзла в трубах. Мы светили друг другу фонариками, чтобы разложить мешки по полкам. Я попытался заснуть, но было очень холодно, и, кроме того, все испытывали неприятное ощущение от тошнотворного запаха дезинфекции. Мои соседи шумели и ворчали: «Вот мерзавцы, они хотят, чтобы мы подохли, Боже, как холодно». В конце концов я сказал им, что на следующей остановке можно попытаться выйти и пройти в голову поезда, где больше шансов найти отапливаемые вагоны. Но они предпочитали ныть. Как только поезд остановился, я все же вышел, они пошли за мной, мы бежали по снегу вдоль поезда, два парня потерялись по дороге и втиснулись абы куда. Я оказался один, вместе с толстым блондином, в приятно натопленном купе, потом подошли два стрелка, и я заснул как убитый. Мы должны были приехать в 4 часа 37 минут, но когда я проснулся около шести, поезд еще ехал. Один из стрелков, совсем молоденький, с приятным и цветущим лицом, рассказал нам на полном серьезе, что его капитан был радиоэкстрасенсом. Находясь в своем кабинете, он при помощи настенных часов определял, находились ли пулеметные отделения на том месте, которое он им указал, и если это было не так, звонил, чтобы потребовать отчета. Парень говорил медленно и ничуть не стесняясь. Закончив, он добавил тем же тоном: «Вот придурок». Повсюду на своем пути я сталкивался с этой ненавистью к офицерам — приглушенной и глубокой, которая не имеет ничего общего с антимилитаризмом, которая, напротив, является совершенно конкретной и эмпирической, и все время сопровождается такими словами: «Я не говорю, что среди них нет хороших людей, но сам таких не видал». Стрелки были в Сааре. Сделав большие глаза, они

рассказывали об этих первых сентябрьских днях, когда под их ногами рвались мины. Они видели, как один неосторожный лейтенант взлетел в воздух, а потом рухнул на землю, глаза его были изувечены; видели, как подорвался тяжелый грузовик, а водитель, не получив большого вреда, оказался на дереве, одежда его дымилась. В половине седьмого приехали в Детвиллер (моя дивизия оставила Морсбронн и теперь находится в Буксвиллере). Бараки. Рядом со мной ругается один парень, другие его одобряют: все про тех же офицеров. Будто бы один капитан наказал нескольких солдат, поставив их по стойке смирно лицом к стене на два часа. Такое наказание настолько выводит их из себя, но для меня это остается загадкой. Уж лучше это, чем четверо суток карцера, но это затрагивает их человеческое достоинство: «Мы не дети, черт возьми!» Другой, толстяк с умиротворенной физиономией, говорит заспанным голосом: «Потерпите! Не всегда же им будет это позволено, возможно, так будет не всегда». Тем не менее все сходятся в признании военной необходимости. Один говорит: «Вначале война была ради идеалов, но все равно это кончится, как и в прошлый раз, вопросами выгоды». Он же, чуть позже, рассказывает, что добьется демобилизации из-за болезни сердца: «Я такой нервный из-за сердца, что, хотите — верьте, хотите — нет, когда увижу кого-нибудь, с кем не видался месяцев пять, то несколько минут стою перед ним как идиот». Около восьми нас распикивают по фургонам, и без двадцати девять я уже в Буксвиллере.

Ханг, который провел отпуск в Сомюре, вернулся в бешенстве от гражданских. Он рассказывает мне о некоем Деке, который сказал ему, вернувшись из отпуска: «Если бы не жена, я бы через пару дней попросился обратно», — и еще об одном типе, который сказал: «Парижане заслуживают того, чтобы их бомбили два раза в неделю». Я вовсе не разделяю его мнения: парижане показались мне аморфными и уны-

лыми. Мне кажется, что начинается медленное и фатальное преобразование солдата в непонятого человека.

Воскресенье, 18 февраля

К нам пришли повидаться два стрелка, знакомые Петера. Два месяца назад они жаловались, что среди их товарищей царит какое-то дурацкое позерство. Если они не шли добровольцами на какое-нибудь опасное дело, их упрекали в трусости. Сегодня они говорят, что моральный дух совсем упал. Чему я и был повсюду свидетелем вот уже какое-то время.

Релятивисты режут тем, что обвиняют в скрытном обращении к Богу. Например, Арон рассматривает как обращение к Богу всякое усилие, направленное на то, чтобы схватить историческое событие *как оно было* (а не так, как оно выглядит сквозь слои культурных или технических значений, сквозь предрассудки, которые и сами являются историческими, сквозь постулаты какой-нибудь индивидуальной философии). Событие в себе — это событие в том виде, в котором оно могло открыться Богу. Именно в этом смысле он и заявил мне, будто его «Введение в философию истории» было речью в защиту философского и методологического атеизма. Я охотно соглашусь с тем, что этот аргумент обладает ценностью технической (понятно, что *технически* историк историчен) и психологической (понятно, что большую часть времени поиск какого-то фактического события в том виде, *как оно было*, психологически равноценен в исследователе богоискательству). Но скрытая слабость этого довода в том, что он в самом себе содержит некий постулат, превращающий его в порочный круг. Этот постулат заключается в самом идеализме. Говорить, что всякий поиск в-себя-бытия является обращением к Богу, значит всего лишь

утверждать, что *esse est percipi*;¹ это значит выпроводить бытие в познание, бытие-в-себе — в бытие-для-себя. Вопрос фальсифицируется при помощи довольно хитрой уловки. Если я спрашиваю, что такое факт в абсолюте, мне отвечают, что факт может быть в абсолюте лишь «для» абсолютного существа, то есть отсылают меня к Богу. Но все дело в том, что я отвергаю эту деградацию в-себе-бытия до уровня бытия-для и полагаю, напротив, что показал в этих дневниках, что бытие-для может показаться лишь на фоне в-себе бытия, уничтожением которого оно и является. Но надо идти дальше и показать, что есть некое в-себе бытие не в *гля-меня* бытии, а в бытии для-другого, например. Если я полагаю одно из этих взаимных присутствий двух для-себя, каковые составляют бытие для-другого, тогда я объяснил, что это присутствие возникает на фоне в-себе бытии. Но мы впадаем в идеалистическое заблуждение превосходства сознания, если мы допускаем, что это для-другого бытие существует лишь постольку, поскольку оно является видоизменением бытия для каждого из этих для-себя. Нет никакого сомнения в том, что *гля-другого* бытие является лишь экзистенциальным и взаимным видоизменением двух (или более) *гля-себя*. Но если каждое из этих для-себя реализует свое собственное для-другого через свое собственное экзистенциальное видоизменение, что же тогда нам сказать о *взаимном* экзистенциальном видоизменении? Не является ли оно суммой двух индивидуальных видоизменений? Но эта сумма может быть составлена лишь на фоне предварительного единства. Разве не существует она *для* какого-то третьего лица? С виду такое возможно, и мы вновь, наверное, впадаем в идеализм и в конечном итоге обращаемся к Богу,

¹ Быть значит быть воспринимаемым: намек на принцип «имматериализма» Беркли (1685—1753), согласно которому «невозможно, чтобы не мыслящие вещи имели какое-то существование вне умов и вещей, которые мыслят и их воспринимают».

поскольку в конечном итоге взаимное экзистенциальное видоизменение существует абсолютно в-себе лишь для абсолютного самопричинного существа. Или же, наконец, есть какое-то собственное существование взаимного экзистенциального видоизменения, такое существование, которое не полагает себя ни в терминах *для-себя* бытия, ни в терминах *для-другого* бытия?

Вот, к примеру, входит Петер, он видит меня, со мной разговаривает, сходу он вклинивает меня в мое собственное существование, а я как нож вонзаюсь в его существование. Вот мы пускаемся в разговор. Я задаюсь вопросом, есть ли у этого «разговора» какое-то иное существование, кроме как для меня, который разговаривает, и для него, который разговаривает. Или же он еще как-то существует, конечно же, не независимо от него и от меня, но независимо от бытия-для-себя каждого из нас. Это непросто, так как для-себя существует лишь как уничтожение в-себе бытия. Таким образом, куда бы мы ни повернулись, мы сталкиваемся лишь с *уничтоженным-в-себе* бытием. Но ведь дело как раз в том, что в-себе бытие снова схватывает то, что от него ускользает в уничтожении, придавая самому этому уничтожению значение некоего *факта*, появившегося внутри в-себе. Через *фактичность* сознание — в своем уничтожении в-себе бытия — схватывается *сзади* в-себе бытием, каковое сознанием уничтожается, это и нужно понять, когда я говорю, что в-себе бытие является своим собственным ничто. Не то чтобы оно само по себе было основанием для Ничто, но для того, чтобы Ничто уничтожало в-себе бытие, необходимо, чтобы оно исходило из самого в-себе бытия, необходимо, чтобы оно *было*. И эта тончайшая шелуха существования, посредством которой в-себе бытие покрывает свое собственное уничтожение, и является фактичностью или пределом прозрачности сознания. Не то чтобы *позади* этой прозрачности ничего нет, просто *факт* быть-как-для-себя является непроницаемым

пределом этой сверхпрозрачности. Иначе говоря, это факт *в-себе*, избегающий всякого уничтожения, что в этот момент существует некое *для-себя*, каковое является уничтожением *в-себе* бытия. Рефлексия может превзойти эту фактичность, уничтожая фактическое существование отраженного сознания, но это будет значить для нее пасть под ударом рефлексивной фактичности, фактичность будет просто смещена. Этот факт *ни-для-кого-не-существует*. Если сознание обратится к нему с вопрошанием, оно его не *видит*, оно видит лишь бесконечную и ничтожащую свободу своих собственных мотиваций. Не в глазах Бога: в себе.¹ Что подводит нас к началу вопроса о времени, который я попытаюсь рассмотреть в ближайшие дни. Как раз эта шелуха фактичности и придает существование *в себе* моему разговору с Петером.

Для Ничто свойственно уничтожать не только Бытие, но и самого себя в направлении к *в-себе* бытию. Вот почему трансцендентность сознания заключается в преодолении мира по направлению к самости, каковой оно хочет быть как *в-себе*. Но это *в-себе*, каковое оно проецирует по ту сторону мира, в себе самом содержит сущностные характеристики сознания. Это такое *в-себе*, которое является самому себе своим собственным основанием, как сознание является своей собственной мотивацией, такое *в-себе*, которое охватывает, превосходит и удерживает близ себя фактичность. *В-себе*, которое самому себе является *для-себя* бытием. Эта двоякая проекция *в-себе* и *для-себя* представляет собой тот единственный способ, при помощи которого сознание может давать себе в качестве конечной цели *в-себе* бытие. Что и называют «самопричиной». *В-себе*,

¹ Ср. «Бытие и Ничто» — часть вторая, глава первая «Непосредственные структуры *Для-себя*» и часть третья, глава первая «Существование другого».

которое было бы для-себя есть самопричина. Трансцендентность — это бытие сознания, когда оно есть для-бытия-самопричина.

Обедаем с пятью стрелками, двое — знакомые Петера, трое — с ними. Все те же обиды на офицеров. Они всех их поливают грязью и без всякого хвастовства, с какой-то циничной жестокостью, которая мне по душе, вспоминают, глядя поверх наших голов, самые трудные случаи. Охотно болтают о том, что прикончат своих офицеров. Разумеется, никто из них этого не сделает, но впечатляет то, что об этом говорится не с каким-нибудь особым возмущением и сжатыми кулаками, а обычным тоном и как о чем-то само собой разумеющимся. Они даже не претендуют на то, что сами их будут кончать, просто объективно констатируют, как какой-нибудь факт, что если полковник Делинь пойдет ночью проверять аванпосты, то его точно «прикончат». Некоторые из офицеров спали с ними на голой земле, но ведь они уже прошли ту стадию, когда можно было этим восхищаться; они говорят: «Хитрый ход». Они исполнены к ним скорее не гнева, а презрения. Один из них, Эпиналь, которого я вижу впервые, — крепкая башка, светлые усы — замечательно рассказывает: «Капитан выходит из себя в разговоре, в конце концов он сам собой впадает в ярость, говорит нам: тот, кто будет курить, получит пулю в затылок, мне моя шкура дорога». Легкое и сочувственное пожимание плечами. Другое описание капитана, принадлежащее преподавателю музыки: «Это учитель начальных классов, он не умеет командовать, я не упрекаю его, но что он тут делает? Он боится, все время и всего боится. Когда он нас наказывает, то причитает: „Я ничего не имею против вас, совсем ничего, но я обязан это сделать. Пятнадцать суток в каталажке конечно же не мед, но что вы хотите, я не один такой". Он собирает нас перед тем как отправиться на передовую: „Смирно, вольно. До сих пор мы были просто мобилизованными,

а теперь мы станем воинами. Возможно, я погибну первым. Я уверен, что девяносто процентов из вас..." — Мы позеленели, нам показалось, что он хочет сказать: девяносто процентов из вас там полягут. Но нет: „Я уверен, что девяносто процентов из вас пойдут за моим телом до вражеских окопов, если я там упаду. Я прошу лишь одного: не смыкать глаз на немецкой земле. Да здравствует Франция!" Полковник Делинь страшно рассердился на него, говорит ему: „Считайте, что вы получили моральное взыскание". Через неделю, когда что-то там зазвенело, он пришел в бешенство: „Черт возьми! Не хватало только, чтобы меня дважды наказали, я уже получил моральное взыскание, вам что, этого мало?"»

Мне легко представить Поля в офицерах: он метался бы между своим страхом и своим сознанием социалиста. Кстати о Поле, кажется, он тут пару раз рыдал, пока меня не было. Вечером того дня, когда я уехал, он получил письмо от жены, она сообщила, что его сын немного переутомился. Первые рыдания. На следующий день он получает телеграмму, зеленеет от страха, вертит ее в руках минут эдак с десять, не решаясь открыть. Петер, выйдя из себя, бросает: «Да открой же!» Он в конце концов надрывает ее с одного края и читает несколько не особенно важных слов: жену переводят в Шатору, в среднюю школу. Поль опасался самого плохого. Он рухнул и принялся рыдать «как баба», говорит с презрением Петер.

Чтобы уж вернуться к нашим стрелкам — мы спросили, атаквали ли их: «Да, было дело. Завязалась сильная перестрелка, мы бросились к оружию, стали раздаваться команды, а потом сказали, что это в другом секторе. Что было на самом деле, узнали только на следующий день от одного караульного, который слышал, как капитан говорил аджюдану: „Вот шутники! Полторы тыщи патронов в белый свет как в копеечку"».

Не скажу, что это правда. Правда то, что они все так думают. То же само впечатление и вчера за ужином

с другими стрелками. Никто из них не верит в весеннее наступление, но они уже сыты им по горло. Многие говорят: «Все прогнило изнутри. Все рухнет и там, и здесь».

Аджюдан сменил песенку. Вообразил, что в Финляндию пошлют экспедиционный корпус, и он там непременно окажется. «Подрежу я там усы папаше Сталину».¹

Мои вчерашние заметки о нереализуемом могут всё запутать. Дело в том, что нереализуемое никогда не может быть *объектом*. Речь идет о *ситуации*. То есть, не о Париже, а о бытии-в-Париже идет речь, когда встает вопрос о нереализуемом.

Один аджюдан, который ищет нашей компании, потому что имеет нездоровый вкус к умным разговорам, рассказывает Петеру, что у него был «хорошенький интерьер» в одном районе Эльзаса, который сейчас эвакуирован. «Я купил красивую мебель, сделал себе красивый будуар с диванами и дюжиной кукол. Ах, дружище! Когда я туда вернулся на днях, я просто плакал. Они все разграбили; если бы я встретил хотя бы одного солдата, я бы его повесил. А мои куколки, они рассадили их кругом и насрали посередине!»

Ханг полностью утратил боевой дух, отпуск доконал его. Он хочет сказатьсь больным и говорит, качая голо-

¹ Вот уже несколько недель Даладьё и Чемберлен вынашивают планы по образованию экспедиционного корпуса для помощи Финляндии; общественное мнение, взволнованное тем отчаянием, с которым финны сражались против советских войск, было благоприятно настроено в отношении этой идеи. Но помимо того, что у союзников не хватало материальных и транспортных средств, им пришлось бы, осуществляя эту идею, вступить в войну с СССР. Финляндия так и не дождалась помощи и признает себя побежденной, правда, только 12 марта.

вой: «Если так будет продолжаться и дальше и не случится ничего серьезного, то у нас будет революция, и начнется она в армии».

Неистовое и мрачное бешенство по поводу одного письма, в котором не было того, что должно было бы быть. Прогуливаюсь, чтобы успокоиться. Иду по деревне и поднимаюсь до начала широкой, извилистой и крутой улицы. По ней на всей скорости спускаются на санках солдаты, девчонки, дети. Часто четыре-пять саней соединены вместе, и получается небольшой бобслей. Половина этих экипажей со смехом опрокидывается по дороге. С обеих сторон улицы собрались военные, совсем как публика в Шамони на состязаниях по прыжкам с трамплина. Когда санки проезжают мимо, они со смехом кидаются в них снежками. Жаль, что нет лыж. Возвращаюсь совершенно успокоенный. Отмечаю здесь эти черные мысли, которые довольно часто возвращаются ко мне, составляя черту характера.

Мне словно бы стыдно приступить к анализу временности. Время всегда мне казалось философской головоломкой, и я создал, не обратив на то внимания, философию мгновения (в чем упрекнул меня Койре¹ однажды вечером в июне 39-го года), так как не понимал, что такое длительность. В «Тошноте» я утверждаю, что прошлое не существует, а раньше я попытался свести память к вымыслу. В своих курсах я преувеличивал долю реконструкции в воспоминаниях, потому что реконструкция осуществляется *в настоящем*. Это непонимание шло рука об руку с моим отсутствием сплоченности с самим собой, вследствие чего я отдельно судил свое умершее прошлое с вершины моего настоящего. Трудности теории памяти, равно как влия-

¹ Речь идет о французском философе русского происхождения А. Койре (1882—1964).

ние Гуссерля, склонили меня к тому, чтобы наделить прошлое некоего рода существованием, собственно существованием в *прошлом*. И я тем легче принял эту новую идею, что был в весьма затруднительном и уязвленном положении — видя, что я единственный философ мгновения — среди современных философий, каковые все как одна являются философиями времени. В «Психее» я попытался диалектически вывести время из свободы. Для меня это было определенной смелостью. Но все это было еще незрелым. И вот теперь мне приоткрывается теория времени. Я чувствую некоторое смущение, начиная ее излагать, чувствую себя мальчишкой.

Прежде всего я констатирую, что время по началу своему не относится к природе бытия в-себе. То есть, оно не является ни средой, ни рамками, ни априорной формой чувственного мира, равно как не является законом развития. В самом деле, оно все насквозь пронизано Ничто. Если я рассматриваю его с одной точки зрения, оно *есть*, если же я смотрю на него с другой точки зрения, его *нет*: будущего еще *нет*, прошлого *больше нет*, настоящее выливается в мельчайшую точку, время уже — не что иное, как сон.

Я также прекрасно понимаю, что время не относится к природе для-себя, как того хотелось бы современным теориям. Я не есмь *во времени*, это точно, но в точности так же я не есмь мое собственное время, наподобие того как это понимает Хайдеггер, в противном случае была бы временная сверхпрозрачность, совпадающая со сверхъясностью сознания; сознание было бы временем в той мере, в какой оно было бы сознанием времени. Но со временем все не так, как с удовольствием, которое может существовать для сознания только тогда, когда оно есть сознание. Чтобы быть временным, мне не нужно обращать себя временем. Время — это непроницаемый предел сознания. Впрочем, речь идет о неуловимой непроницаемости среди полной сверхпрозрачности. Все наши действия пред-

полагают предонтологическое понимание времени, и, кроме того, время можно тематизировать, сделать из него объект теории. Но время и не *перед нами*, как какой-нибудь объект мира, и не *мы сами*, коли мы — это *для-себя бытие*. Оно не может быть объектом интуиции, как того хочет Бергсон, но не может быть и ситуацией, коли ситуация существует только в том смысле, чтобы ее преодолели. Тем не менее в нас есть время, хотя сами себя мы не наделяем *временностью*. В самом деле, время открывается нам только благодаря *прошлому* и *будущему*, нам не дано проживать его в его постоянном течении. Таким образом, в той мере, в какой в нас *есть время*, мы *пребываем* в ином модусе, нежели модус бытия для-себя. Но все равно это нечто — *ничего*; если мы обратимся к нему с целью его схватить, оно рассредоточится в точечное настоящее, в то, чего больше нет, в то, чего еще нет. Поначалу оно возникает как то ничего, что отделяет сознание от его движущих сил и его сущности. Мне кажется, что оно ничем ни отличается от того процесса уничтожения, в котором в-себе бытие переходит к для-себя бытию. В самом деле, я ухожу *во времени* от своих собственных движущих сил, ухожу *во времени* от своей сущности, поскольку она есть то, что было: «Wesen ist was gewesen ist».¹ Тем не менее это не одно и то же, поскольку я есмь собственное ничто, но не есмь свое собственное время. Если угодно, то нет никакой разницы между уничтожением и овременением, коли уничтожает *себя* и овременяет *себя* только для-себя бытие. Вместе с тем уничтожение и овременение даются в одном и том же движении — хотя экзистенциально они различаются. Время — это фактичность уничтожения. Наша временность и наша фактичность — это одно целое и одно и то же.

¹ «Сущность — это то, что существовало». Сартр приписывает эту фразу Гегелю (см., в частности, «Бытие и Ничто», § 1 второй главы — «Феноменология трех временных изменений»).

Завтра продолжу.

Мнение гражданского. Мадам Х. говорит моей матери: «В сущности, не надо было бы давать им отпуска, так как они возвращаются с нехорошим моральным настроением».

19 февраля

Мистлера больше нет. Он был из 22-го года призыва, и его, как раньше Келлера, перевели писарем в штаб 5-й Армии, в Вагенбург.

Читаю вперемешку (начал все одновременно):

«Плутарх солгал»: Пьерфё.¹

«Осада Парижа»: Дюво.²

«Бисмарк»: Людвиг.

«Война 70-го года».

Начал также по-немецки «Поэзию и истину» Гёте, которую обнаружил у наших хозяев. В запасе — «Марат», уж не знаю чей,³ которого взял в комнате Бобра, и отрывки из Сен-Симона о Регентстве.

Я возвращаюсь ко времени. Вторжение для-себя в Бытие как уничтожение в-себе-бытия характеризуется как несводимый к в-себе-бытию экзистенциальный модус. Для-себя — это такое бытие, которое, в своем бытии, не есть то, что оно есть — оно есть то, что оно не есть. Напрасно мы старались бы, прибегая к таким выражениям, как «состояние сознания», *регулировать* модус бытия для-себя: оно полностью ускользает от в-себе-бытия, это уничтоженное в-себе-бытие.

¹ Книга вышла в свет в 1923 г. Автор рассматривает в ней ход войны 1914 г. и поведение генералитета.

² Книга появилась в 1939 г..

³ Наверное, речь идет о французском переводе книги Л. Готчалка «Жан-Поль Марат, Друг народа», появившемся в 1939 г.

И, несмотря на то, что оно появляется на фоне в-себе-бытия, несмотря на то, что оно систематически с ним связано посредством того самого отрицания, которое оно в его отношении осуществляет, оно ускользает от него как раз потому, что его отрицает. Например, для-себя не смогло бы схватить себя без протяженности, отрицанием которой оно является. Оно в зависимости от в-себе-бытия в силу того факта, что существует как нечто такое, что от него ускользает. Однако, с другой точки зрения, эта зависимость является полной независимостью, поскольку для-себя конституирует себя в отношении протяженности как то, что не есть протяженность. Оно *делает* себя непротяженностью, оно есть свое собственное нерастяжение. Все это мы уже говорили. Однако в-себе-бытие ответным ударом заново захватывает для-себя-бытие — в силу того, что для-себя бытие является уничтожением *именно* некоего в-себе-бытия. Одним словом, для-себя-бытие, которое является уничтожением в-себе-бытия и которое и есть только это уничтожение, в виде для-себя-бытия появляется в единстве с в-себе-бытием как некое сущее, принадлежащее целостности через феномен синтетической связи. *Внешняя* сторона в-себе-бытия в том, чтобы *быть*, в виде отрицания в-себе-бытия, как в-себе-бытие. Это мы и называем фактичностью. Но сама эта фактичность, которая есть не что иное, как неизбежный отблеск в-себя-бытия на для-себя-бытии, не могла бы обладать плотностью в-себе-бытия, в противном случае для-себя-бытие *загустеет*. Она играет на поверхности для-себя-бытия и является своего рода бесплотным призраком в-себе-бытия. Одним словом: чтобы стать уничтожением в-себе-бытия как изнутри, так и снаружи, вовсе недостаточно, чтобы для-себя-бытие имело с в-себе-бытием одно-единственное синтетическое отношение отрицания; необходимо, чтобы оно снова охватывалось этим в-себе-бытием в форме синтетического единства, *на сей раз идущего от в-себе-бытия*. Эти условия реализуются, поскольку уничто-

жение происходит внутри в-себе-бытия, и для-себя-бытие не может рассматриваться так, будто оно одним махом образует себя *вне* в-себе-бытия, напротив, оно складывается *внутри* в-себе-бытия наподобие пожирающего плод червя. Я бы сравнил это «в-себе-бытие», которое обволакивает для-себя-бытие и образует его внешнюю сторону, с отблесками, которые можно видеть на стекле, если посмотреть на него сбоку, они часто маскируют его прозрачность, а если сменить положение по отношению к стеклу, сразу же пропадают. Именно через это описание, как мне кажется, можно передать, что сознание Петера *существует* и что оно связано неким отношением сосуществования с этими столами, этими стаканами и моим сознанием, хотя у него и совершенно иной модус существования, чем у столов, стаканов и стен. Только этот мимолетный, радужный и подвижный отблеск в-себе-бытия, который играет на поверхности для-себя-бытия и который я называю фактичностью, этот совершенно *бесплотный* отблеск не может рассматриваться наподобие непроницаемого и плотного существования *вещей*. Бытие-в-себе для-себя-бытия — в его неуловимой реальности — и есть то, что мы будем называть *событием*. Событие — это не случайность и нечто такое, что происходит в рамках временности. Событие — это экзистенциальная характеристика сознания, когда оно снова охватывается в-себе-бытием. Например, это удовольствие, которое я ощущаю, существует лишь постольку, поскольку я его осознаю, и его сокровенное существование подобно существованию отражения-отражаемого в игре зеркал. Но *то, что* это удовольствие, каковое достигает собственного бытия в своем бытии, оказывается в модусе для-себя-бытия — вот это мы и будем называть событием. А бытийственную связь, которая, в единстве в-себе-бытия, извне соединяет *это* для-себя-бытие с сокровенностью в-себе-бытия — *симультанностью*. Симультанность, равно как и событие, не есть нечто такое, что происходит

внутри какого-то определенного времени, например, когда несколько вещей по случайности пребывают в рамках одного настоящего. Напротив, время определяется экзистенциальной характеристикой: необходимостью для для-себя-бытия сосуществовать — коль скоро его окрашивает некое в-себе-бытие — с целостностью в-себе-бытия, отрицанием какового оно является. В-себе-бытие уничтожения в-себе-бытия — это и есть событие; единство уничтоженного в-себе-бытия с в-себе-бытием уничтожения *этого* в-себе-бытия — симультанность.

Тем не менее для-себя-бытие в отношении в-себе-бытия может быть, наверное, только лишь в форме уничтожения. То есть фактичность для-себя-бытия сразу же уничтожается или, скорее, для-себя-бытие не может быть для-себя-бытием, не полагая себя для себя самого отделенным от этой фактичности через *ничего*. Фактичность никогда не *дана* для-себя-бытию, поскольку она образует внешность, каковой она *является*, она предстает перед ним лишь постольку, поскольку оно ее уже отрицает весьма характерным образом как то, чем оно *больше* не является. Для-себя-бытие может быть не иначе, как ускользя от бытия, которым оно является, и это бегство ничто впереди в-себе-бытия и образует собой временность. В самом деле, следует усвоить, что если это в-себе-бытие никогда не может сложиться без того, чтобы для-себя-бытие от него ускользнуло, то для-себя-бытие никогда не может ускользнуть от него без того, чтобы в-себе-бытие снова его охватило через событие и симультанность. Для-себя-бытие может ускользнуть от в-себя-бытия лишь в в-себе-бытие. Таким образом, то, что называют настоящим, то есть симультанным событием, никогда не обладает плотностью, оно существует, для того чтобы пропасть, его бытие совпадало с его пропаданием, в противном случае в-себе-бытие полностью поглотило бы для-себя-бытие. В этом смысле всякое настоящее дается как *отринутое прошлое*, мое настоящее — это отрицание

того, что я *есмь*, всякое настоящее определяется как нечто такое, что через *ничего* отделено от некоего «бывшего», причем это «бывшее» так близко к настоящему, как это вам угодно. В силу чего, однако, отброшенное, данное как «бывшее» для-себя-бытие целиком и полностью снова охватывается и поглощается в-себе-бытием. Прошлое — это в-себе-бытие, которое когда-то было для-себя-бытием. Тут-то мы и можем понять смысл «того, что *было*». Различие между отрицанием протяженности для-себя-бытия и отрицанием для-себя-бытия им самим заключается в том, что в первом случае сознание не является тем, чем оно не является, тогда как во втором случае оно не является тем, чем является. Тем не менее необходимо провести еще одно различие: *настоящее* бытие для-себя-бытия характеризуется в своей экзистенциальной актуальности тем, что оно не есть то, чем оно является. Уничтожение *стало бывшим* внутри для-себя-бытия. Случай с прошлым отличен, он занимает промежуточное место между уничтожением, которое ускользает от протяженности, и внутрискруктурным уничтожением самого для-себя-бытия. Сказать о для-себя-бытии, что оно было, значит сказать, что оно не есть то, чем оно является наподобие того, как оно не есть то, чем оно не является. То есть оно в целостности своего для-себя-бытия *делает себя* иным, нежели каким оно является в целостности. В этом смысле первичное для-себя-бытие полностью сохраняется, оно все время существует; оно даже придает свой смысл настоящему для-себя-бытию, превращая его в то, что отрицается, что преодолевается, только в это и ничто другое, и настоящее для-себя-бытие ускользает от первичного для-себя-бытия, лишь *не будучи ничем*. Только это отрицание сохраняет глубинное единство для-себя-бытия, я могу ускользнуть от прошлого не иначе, как не будучи тем, что я *есмь*. И наоборот, первичное для-себя-бытие претерпевает сущностное видоизменение. Оно не уничтожается, наоборот: лишь сознание может унич-

тожиться, и именно это уничтожение и определяет его настоящее. Оно не уничтожается, оно снова охватывается бытием-в-себе. И не по какой-нибудь мистической причине, а из-за того, что как *до* чистого события, или уничтожения, так и *после* него, нет ничего, кроме в-себе-бытия. Стало быть, прошлое превосходит сознание своей плотностью и твердостью, а также непрозрачностью, каковые придаются ему в-себе-бытием. Только в прошлом сознание может существовать в модусе в-себе-бытия, и само прошлое есть не что иное, как существование для-себя-бытия в модусе в-себе-бытия. Тем не менее существование предыдущего в-себе-бытия для-себя-бытия и настоящего для-себя-бытия не есть сосуществование, причем как раз из-за того, что настоящее для-себя-бытие — во всей своей целостности — исключает предыдущее. Таким образом, то, как для-себя-бытие обкладывается для-себя-бытием, которое было, не есть «присутствие», как мы его определяли, говоря о мире. Речь, собственно, о *прошлом*. И поскольку это ближайшее прошлое является отрицанием более отдаленного прошлого и так далее, через это отрицание всего блока прошлого, каковым оно *было*, и определяется настоящее для-себя-бытие в своем присутствии. Таким образом, не может даже вставать вопроса, почему свобода может ускользнуть от этого прошлого или дать нам какое-то другое прошлое — ведь мы, собственно, свободны *по отношению* к этому прошлому. Если бы свобода не была свободой в отношении чего-либо, то она ничего не значила бы.

Таким образом, первичное описание показывает, что для-себя-бытие не могло бы совершить вторжения в мир без сосуществования в настоящем с целостностью в-себе-бытия и без определенной связи с бывшим, каковым оно и *есть*, и *не есть* одновременно. Как же обстоит дело в настоящем с будущим? Для-себя-бытие может быть обложено в-себе-бытием лишь тогда, когда оно его преодолевает по направлению к

«*causa sui*»,¹ каковой оно есть-для-бытия. Для-себя-бытие бежит от в-себе-бытия через в-себе-бытие по направлению к в-себе-бытию. «*Causa sui*» достигается с момента вторжения для-себя-бытия в в-себе-бытие, но не как *объект*, не как *представление*, не как тематизированная *ценность*, но как то, по направлению к чему для-себя-бытие бежит от своей фактичности. Будучи невозможным синтезом в-себе-бытия и для-себя-бытия, полной непрозрачности и полной свободы, «*causa sui*» является одновременно и тем, по направлению к чему осуществляется бегство, в котором для себя бытие отрывается от самого себя, и тем, по направлению к чему осуществляется преодоление сложившегося в мир бытия-в-себе. «*Causa sui*» — это *смысл мира*; мир его возвещает и становится миром, возвещая его; именно через «*causa sui*» бытие-в-себе, начиная с момента вторжения бытия-для-себя в в-себе-бытие, *очеловечивается и обмирщается*, что, в общем, одно и то же. Тем не менее «*causa sui*» не принадлежит нам так, будто она составляет единое целое с нашим проектом. Она представляет собой трансцендентное единство проекта, посредством чего для-себя-бытие ускользает от-самого-себя по направлению к... Но по сущности своей она должна остаться вне досягаемости. Как я уже говорил, уничтожение в-себе-бытия через превращение его в для-себя-бытие не является *отступлением* от в-себе-бытия: речь идет, скорее, о крушении, о разрыве. Для-себя-бытие непротяженно в той мере, в какой оно *ничего*. Но оно не *есть* даже это ничего, невозможно признать за ним этого состояния — *быть ничем*. Это ничего является бегством ничего по направлению к «*causa sui*», уничтожением ничего на пути к в-себе-бытию. Будущее — это мир в той мере, в какой он *человечен*, это мир в той мере, в какой *causa sui* является его смыслом в виде того, по направлению к чему бежит для-себя-бытие. Не следует путать мир и в-себе-

¹ Самопричина (лат.)

бытие. Мир — это в-себе-бытие для для-себя-бытия. Сходным образом будущее не является в-себе-бытием. Будущее — это мир. Для-себя-бытие, каким бы оно ни было, схватывает аспект мира лишь как повод для того, чтобы уничтожить в в-себе-бытии ту нехватку, какой оно является. Какой объект ни возьми, он всего лишь побуждает для-себя-бытие проецировать себя в виде *causa sui* по ту от него сторону. Пусть это даже какое-то кресло, что «приветливо встречает нас», проект сесть в него означает, что мы проецируем себя в это кресло в виде сущего, которое само определило для себя существовать в виде сидящего в этом кресле сущего и которое будет существовать в виде сидящего с полнотой в-себе-бытия. Для-себя-бытие всегда что-то может проецировать перед собой, за исключением того, что оно — куда бы оно ни пошло, что бы оно ни делало — останется для-себя-бытием.

Таким образом, вторжение для-себя-бытия в в-себе-бытие сразу обнаруживает временность во всех ее трех измерениях — настоящем, прошлом и будущем. Временность не есть ни в-себе-бытие, ни для-себя-бытие, это то, как в-себе-бытие снова захватывает для-себя-бытие или, если угодно, существование в себе для-себя-бытия. Равно как убегающее для-себя-бытие — убегающее к будущему от своей фактичности, которая снова им овладела — все равно остается фактичностью, бытие-для-себя, не являясь своей собственной временностью, все равно является временностью. Оно есть уничтоженное в-себе-бытие промеж в-себе-бытием, каковым оно больше не является (неправильно говорить, что прошлого больше нет, надо говорить, что мы больше не находимся в прошлом в модусе для-себя-бытия), и в-себе-бытием, каковым оно еще не является (то же самое замечание в отношении будущего). В природе для-себя-бытия быть ничтожащим настоящим, без конца ускользающим от самого себя по направлению к будущему, и все время снова охватываться в-себе-бытием.

Остается определить точный модус бытия прошлого и будущего. Во всяком случае мы можем сказать, что временность вторгается в мир вместе с для-себя-бытием. Если сознание — это, как говорил Валери, * отсутствие, то временность — это присоединение к миру этого отсутствия как такового.¹

¹ Эта теория развивается в «Бытии и Ничто». См. во второй части этой книги главу о временности.

ДНЕВНИК XII

Февраль 1940

Буксвиллер

Четверг, 20-е февраля

Хочется думать, что я был подлинен до отпуска. Явно, потому что был один. В Париже было иначе. В настоящее время я уже ничего собой не представляю. Что подводит меня к тому, чтобы уточнить некоторые детали подлинности: подлинность достигается одним махом, ты или подлинен или не подлинен. Но это не значит, что подлинность достигается раз и навсегда. Я уже говорил, что настоящее не влияет на будущее, равно как прошлое не влияет на настоящее. Как в морали, так и в романе тебе, как говорит Жид, «нет никакой выгоды от обретенного порыва». И подлинность настоящего момента никоим образом не защищает вас от низвержения — в следующий момент — в неподлинность. Самое большее, что можно сказать, это то, что подлинность легче сохранить, чем обрести. Но, в действительности, можно ли вообще употреблять это слово — «сохранить»? Наступающее мгновение является новым, ситуация — новой; следует придумывать новую подлинность. Тем не менее, скажут нам, воспоминание о подлинном должно хотя бы немного защищать нас от неподлинного. Но воспоминание о подлинном — в состоянии неподлинности — само является неподлинным.

Это подводит меня и к тому, чтобы уточнить сказанное о желании подлинности. В состоянии неподлин-

ности у нас может возникнуть желание подлинности. Обычно считают, что это желание подлинности «все же кое-что собой представляет. Больше, чем ничего». Таким образом, потихоньку и обходными путями, вводится преемственность, которая поначалу была устранена. В таком случае надо будет различать людей неподлинных, погрязших в своей неподлинности, затем тех людей, что терзаются в своем логове этим достойным похвалы желанием, и, наконец, тех, кто обладает подлинностью. Но тем самым мы возвратились бы к морали добродетелей. Следует сказать прямо, либо одно, либо другое: или желание подлинности мучает нас изнутри состояния неподлинности — и тогда оно само не является подлинным, или же оно является целиком и полностью подлинным, но о том не ведающим, еще не зарегистрированным в качестве такового. Для третьего состояния не остается места. Например, я вижу, насколько желание подлинности в Бьянке отравлено неподлинностью. Она хотела бы быть подлинной из привязанности к нам, из доверия к нам, ради того, чтобы быть с нами, а также исходя из идеи заслуги. Она страдает, когда видит, что выставляется какая-то ценность, которая ей чужда, она хотела бы быть подлинной, как ей хочется стать хорошей лыжницей или умелым философом. Кроме того, ей кажется, что если она достигнет подлинности, то будет в большей мере *заслуживать* жизнь и людей. И конечно же, она ясно поняла, что подлинный человек априорно отвергает всякую идею заслуги, но у нее нет защиты от той идеи, что он тем самым заслуживает большего уважения, причем уже в том, как он отвергает идею заслуги. Я усматриваю в этом не что иное, как совершенно отравленное желание, которое — с какого плана рефлексии на него ни взглянуть — остается целиком и полностью отравленным. Я даже не говорю, что это желание — при благоприятном стечении обстоятельств — не может стать поводом для всецелого преобразования, которое как раз и принесет подлинность. Я лишь говорю, что

само по себе оно не может привести к подлинности. Следует, чтобы оно было воспринято и видоизменено внутри уже подлинного сознания.

Напротив, я прекрасно понимаю, что подлинность, достигнутая через свободное потрясение, проявляется прежде всего в виде желания подлинности. Последнее выражает в таком случае то, что мы добились своего. В самом деле, несмотря на то, что подлинность есть нечто цельное, мало достичь ее в отношении какой-то особой и конкретной ситуации, чтобы она сама собой распространилась на все те ситуации, в которых мы оказываемся. К примеру, представляю себе солдата, который до мобилизации был неподлинным буржуа, проживал в неподлинности многочисленные социальные ситуации, в которых оказывался — семья, профессия, и т. п. Охотно допускаю, что шок войны внезапно преопределил его к преобразованию в сторону подлинности, что заставляет его быть подлинным *в ситуации* по отношению к войне. Но эта подлинность требует завоевания новых площадей, если она на самом деле является *истинной*. Прежде всего она выступает в виде желания пересмотреть прежние ситуации в свете этого изменения. Прежде всего она выступает в виде беспокойности и критического желания. В данном случае то, как мы *понимаем* подлинность, никоим образом не смешивается с той выгодой, которую подлинность может принести. Подлинность *уже здесь есть*. Следует лишь ее упрочить и расширить. Это было бы не так, если прежде прожитые ситуации существовали бы в настоящем. Но они отступили в прошлое. Ведь мобилизованный солдат уже «не в семье», не работает по своей специальности, и т. п. Он вынужден *размышлять* об этих ситуациях, принимать решения на будущее, определять для себя руководящие нити, дабы *сохранить* подлинность для будущих событий. В сущности, желание обрести подлинность есть не что иное, как желание разобраться в ней и ее не потерять. И сопро-

тивление идет не от остатков неподлинности, которые сохраняются то тут, то там, несмотря на произведенную очистку сознания, но просто-напросто из того, что предшествующие ситуации сопротивляются — в виде вещей — этому изменению. До сих пор он так или иначе их проживал, и проживая их, он их *учредил*. Они стали *учреждениями*, у них помимо него есть свое собственное постоянство, более того, они помимо него развиваются. Следует *заново поставить* их под вопрос. Желание поставить под вопрос, если оно является искренним, может возникнуть лишь на фоне подлинности. Причем мало ставить под вопрос, следует вносить изменения. Но эти революционные изменения, которые выражаются в борьбе против постоянства учреждений, по природе своей совсем не отличаются от тех изменений, которые политик хочет внести в социальные учреждения, и встречаются с теми же самыми трудностями. Таким образом, недостаточно быть подлинным, следует свою жизнь приспособить к этой подлинности. Откуда и проистекают это сокровенное желание и этот страх, и эта тоска перед лицом всякой подлинности, каковые являются восприятиями *перед лицом жизни*. Тем не менее следует понимать, что подлинностью нельзя поделиться. Этот страх происходит из того, что рассматриваемые ситуации являются на горизонте, находятся вне досягаемости, из того, что ты в них окажешься позже, а в настоящее время в них не погружен. И каков бы ты ни был, всегда имеется какое-то число далеких ситуаций, из-за которых ты «заботаешься» в состоянии подлинности. Но если допустить, что как-то вдруг одна из этих ситуаций вокруг меня сложилась, и я в ней подлиннен, то я буду показывать себя подлинным, не ставя себя под вопрос в этой возрожденной ситуации, не испытывая потребности готовить какой-то переход — просто-напросто потому, что я *таковым являюсь*. Если, к примеру, жена этого мобилизованного буржуа приедет к нему в часть, он будет с ней *другим* — причем, без всякого усилия, без всякой

мысли, без тематической подготовки, просто-напросто потому что он — *другой*. Но ведь, могут возразить, она быстро ему напомнит о его начальной неподлинности. Да, это и будет пробным камнем — не его подлинности, а воли, которую он прикладывает для ее достижения. Может быть, он уступит, но он не может вернуться к прежним своим ошибкам в отношении этой женщины без того, чтобы сразу же не окунуться с головой в свою неподлинность, это касается всего его бытия — вплоть и до его бытия-на-войне. В самом деле, следует думать, что человеческое существо, ожидающее от нас подлинности, существо, которое мы любим, возможно, глубоко, но в неподлинности, возрождая нашу старую любовь, сковывает нас этой неподлинностью, доходя до самого сердца.¹ Это навязанная неподлинность, против которой легко, но тяжело бороться.

Если война продлится не долго, боюсь, что с окончания отпуска снова окажусь таким, каким хотел видеть себя в послевоенном времени.

Черт возьми, согласен с Жидом, читая «Плутарх солгал»: «В самом деле, я допускаю, что всякий человек среднего уровня, не обладая даже особым природным даром, может — через простое применение своих умственных способностей — вникнуть в любую военную проблему. Не отличаясь в этом от специалиста, а то, возможно, и превосходя его, он будет в состоянии разглядеть истину и ложь тактической или стратегической ситуации, лишь бы при этом не возникали вопросы

¹ Кажется, что Сартр мечется между примером некоего солдата, находящегося перед лицом определенной неудовлетворительной гражданской ситуации, и самим собой, столкнувшимся с весьма точной, но ясно не выраженной проблемой. Возможно, что здесь скрыто признание. Во всяком случае, ситуация, о которой здесь идет речь, распространяется на Матье, героя его романа, в отношении Марселлы, которой он в конце концов признается, что больше ее не любит.

собственно технические, которые, впрочем, лишь запутывают мысль в отношении деталей и скрывают общий вид и основные линии» (с. 66).¹

И он замечательно показывает, как Генштаб 14-го года сопротивлялся картезианскому и разрушительному праву на непредвзятый анализ, прибегая для этого к бергсоновской интуиции. Не имея возможности основать свое превосходство на специальных познаниях, он хотел основать его на непогрешимости проповедника. Как на него ни посмотреть, Генштаб должен быть собранием посвященных. Война 14-го года положила конец его непогрешимости. Сегодняшние солдаты уже не испытывают этого религиозного доверия к своим командирам. Они убеждены, что тотальная война оканчивается успехом по экономическим и политическим причинам, что же, собственно, до военной победы, они думают, что все дело решает превосходство в вооружении. Здесь мне не доводилось слышать никаких разговоров о Гамелене.² Разве что, когда его ругали. Он не существует. Не то чтобы по отношению к командирам существовало какое-то недоверие. Их — в духе демократии — воспринимают как избранных чиновников. Без них не обойдешься. Нужны или они, или другие... И сегодняшние благомыслящие люди наверняка даже не догадываются, какой удар они наносят священному воинскому братству, когда пишут, что в современной войне организация неизмеримо выше стратегии. Ведь человек среднего ума, думающий, упорный и работающий, с помощью всевозможных помощников такого же плана, вполне может все организовывать. И поскольку, с другой стороны, детальная организация всегда является — в армии — скандальной, выводы делаются быстро.

¹ По поводу того, что в этом отношении думал сам Жид, см. его «Дневник» от 25 октября 1916 г.

² Напомним, что генерал Гамелен (1872—1958) являлся тогда главнокомандующим вооруженных сил союзников во Франции.

Достоинно восхищения, что в газете «Ревю де Пари» от 15 февраля 1920 года какой-то анонимный адепт этого учения (наверняка из высшего командного состава) еще мог осмелиться написать следующее: «Сам прогресс в области вооружения благоприятствует наступательной стратегии за счет стратегии оборонительной».¹

Замечательное место на стр. 119. Немецкие генералы отступают после битвы на Марне: «Правила военной игры и в самом деле требуют, чтобы всякая армия, которой угрожают с флангов, считала себя в проигрышной ситуации. Они немедленно подчинились этому правилу, что обеспечило нашу полную победу и спасение их армии. Впоследствии мы станем свидетелями того, что будут упразднены все правила, и война будет продолжаться годами, и никому не будет никакого дела до правил. Пагубный принцип изматывания сил противника придет на смену идее маневрирования, знаменуя собой поразительный и небывалый регресс военного искусства».²

И действительно, военное искусство умерло, а война умирает. Эта война, война 1940-го, больше чем наполовину невозможна. Гитлер это почувствовал, но он усмотрел в этом лишь смерть *определенной формы* войны, поскольку в его глазах война действительно является извечной формой человеческих отношений. И сразу же его изобретательный ум самоучки обратился к изобретательству: к изобретению новой формы войны. Признаюсь, что меня не очень сильно удивило то, что он сказал о «своей» войне Раушенингу. Все это лишь ребячество и банальности. Пропагандистская война была довольно интенсивной уже в 14—18-м годах, столь же интенсивной, как и шпионаж. Что же касается того, чтобы атаковать противника с тыла, немецкий

¹ Цитата приводится по: Jean de Pierrefeu. Op. cit.

² Idem.

генштаб додумался до этого, когда запустил Ленина в Россию.

Кроме того, он отмечает, что наступление любой ценой было продиктовано внешнеполитическими интересами. Автор статьи от 15 февраля 1920 года пишет: «Не следовало ли избежать снижения народного порыва, ослабления всеобщей веры, заняв колеблющуюся, шаткую позицию в начале кампании, когда чувствовалось, что надо было быть решительными?» Однако я читаю у Дюво и Шюке, что в 70-м году аналогичные доводы помешали армии Мак Магона отойти к Парижу, где она могла бы спокойно дожидаться вражеского удара. Наступать на Мец было безумием, но страна не потерпела бы отступления и нескончаемого ожидания у стен Парижа. Те же самые проблемы, повторяясь с разрывом в полвека, и в том и в другом случае предопределяя катастрофы, позволяют понять изменения, произошедшие в общественном мнении за последние годы. Понятно, сейчас все убеждены, что оборону держать легче, чем наступать, и эта несколько абстрактная мысль подтверждается даже для самого недалёковидного человека существованием двух линий — Мажино и Зигфрида. Но все же старая добрая гражданская мудрость военных, — которая и ввергала их в военные безумства, — учила тому, что есть огромный риск, если нацию, поднятую на войну, держать в ожидании и бесславной обороне. Необходимо, чтобы текла кровь — дабы как можно быстрее за спинами солдат стояло нечто непоправимое, дабы загородить им дорогу назад. Необходимо бросать людей вперед, не спрашивая их согласия, используя их первичный порыв — к опьянению победой или ответственности за поражение. Теперь понятно, что эта обременительная и тщетная помощь одной траншеи другой, которая так раздражала солдат 15—18-го годов, была главным образом направлена на поддержание боевого духа, то есть злобы. Ален убедительно показал, что наличие врага совершенно необходимо для хорошего функционирования военной

машины. Враг является целью в движении вперед. Его давление, уравнивая то давление на солдата, которое сзади осуществляет тыл, определяет солдатское *напряжение*, которое, собственно, и является боевым духом. Пока не потечет кровь, солдат будет думать, что «все уладится». Пока не потечет кровь, тыл не принимает войну всерьез.

Но вот уже полгода наша армия настроена на военный лад. Солдат держат вдали от дома, от работы, подчинив военной дисциплине. В отношении прессы, разговоров, мыслей установлена диктатура. Снаружи вся наша жизнь отмечена войной. Однако военная машина работает вхолостую, враг неуловим, невидим, и солдаты стоят по команде «оружие к ноге»! Вся армия находится в таком положении, в этой «колеблющейся и шаткой позиции», от которой как от чумы отрекся генштаб в 1914 году. Более того, эта позиция даже не может считаться оборонительной, потому что, для того чтобы была оборона, нужно, чтобы враг атаковал или собирался атаковать. Но вот уже полгода немцы отдыхают; думая о том, как лучше воспользоваться ситуацией, они повсюду повешали щитов, свидетельствующих об их мирных намерениях. Впрочем, они ведь нам не объявляли войны, наоборот, они нам объявили мир, когда вторглись в Польшу, это мы агрессоры. Мы решительно выдвинули ультиматум, и поскольку он был не принят, мы вступили в войну. Что же это за война, в которой агрессор не нападает? Хуже того, те несколько квадратных километров, которые мы заняли в Сааре, мы сразу же поспешили возвратить, стоило противнику показать нам зубы — в общем-то, стоило ему расправиться с Польшей. Ожидание, нерешительность, колебания, отступления — генштаб на все пошел. И десятой части всего этого хватило бы, чтобы вызвать революцию 70-го года, выпустить на волю патристические или социалистические страсти 1914 года.

И, по правде говоря, это ожидание, которое даже не является ожиданием чего-либо, поскольку большинст-

во думает, что немцы не станут атаковать, принесло свои плоды: тыл теряет к нам всякий интерес, мы сами не строим против немцев никаких наступательных планов. Большинство полагает, что «все уладится». Еще вчера один сержант говорил мне с блеском простоватой надежды в глазах: «Я-то думаю, что все уладится, Англия умерит свой пыл». Большая часть солдат довольно восприимчива к гитлеровской пропаганде. Скукота, «боевой дух» падает. И тем не менее только представьте себе, какое изумление испытали бы солдаты 1914 года, если бы оказалось, что спустя два-три дня после шумных проводов они погрузились в бесконечное и бесславное ожидание. А мы это принимаем, никто не протестует. Наоборот, мы никогда не выражаем протеста по этому поводу. Большинство из нас уже смирилось с мыслью, что в таком состоянии мы проведем года три или четыре, после чего, если я им говорю, чтобы испытать: «Все-таки это лучше, чем бойня», — они все, как один, и говорят: «Само собой». Ничто так не показывает, что в настоящее время во Франции воинский менталитет исчезает. Из чего не следует заключать, как это делают некоторые придурки, что мы вырождаемся. Начиная с самого первого дня можно было встретить весьма крепких мужиков, они все сносили, не жалуясь, им даже в голову не приходило, что их можно жалеть. Притом, что они не могли опереться ни на какой патриотический или идеологический идеал. Им был не по душе гитлеризм, но нельзя сказать, чтобы они были без ума от демократии, на Польшу им было в высшей степени наплевать. Ко всему прочему у них складывалось смутное впечатление, что их дурачат. Тем не менее они все выдюжили со своего рода негромким достоинством просто потому, что все так было. Они не горели нетерпением победы, просто в них было глубокое желание, чтобы «все это кончилось». К этой новой ситуации, к этой неуловимой войне, которая может застичь их в их мыслях, они глубоко приспособились в своем *бытии*. Это, конечно же,

их война — эта война терпения, война, лишенная военного искусства, священного начала, даже смертоубийства (понятно, что до настоящего момента), где они ощущают себя не основным элементом, а вспомогательным, ощущают, что лишены славного смысла быть воином.

По поводу процитированного выше места из книги Пьерфё («Плутарх...», стр. 119) — мне представляется, что оно натолкнуло Ромена на многочисленные наблюдения, которые я вроде бы выписывал в дневник, и в которых конвенционная *игра* войны, характерная для эпохи военного искусства, противопоставляется войне тотальной, понимаемой как усилие, лишенное всякого убеждения и искусства.

За любое счастье приходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кончилась бы плохо. Пишу об этом не с какой-то патетичностью, а просто так, хладнокровно, потому что всегда так думаю и потому что надо было об этом здесь сказать. Это ничуть не мешало мне впутываться в истории, но у меня всегда было убеждение, что у них будет мрачный конец, никогда еще мне не приходилось испытать счастья без того, чтобы я не подумал о том, что произойдет *после*.¹

¹ В этот день Сартр пишет Бобру, что он «несколько утратил радость жизни». Ему не дает покоя его ложь: он беспокоится за Ванду, которая могла узнать, что он скрыл от нее часть своего отпуски; кроме того, он обдумывает, как написать Бьянке о разрыве их отношений, но находится ли он в этот момент в полном согласии с самим собой? Несмотря на то, что он захвачен своей «страстью» к Ванде, он подозревает, что это чувство, сконструировано против Ольги, — в которую он был страстно влюблен в 1936 г. и которая ему отказала, — и что оно питается сходством двух сестер (во всяком случае так он будет об этом рассказывать много позже). Говоря о Бьянке, Симона де Бовуар напишет: «Она единственный человек, которому мы на самом деле причинили зло, но мы за это на нее и злимся» (письмо к Сартру от 13 декабря 1945 г.).

Пьерфё, стр. 200 и далее: «По правде говоря, не существует военного искусства без какого-то минимального набора условностей, принимаемых обеими сторонами. Но как только война перестает быть игрой профессионалов, то есть как только она становится национальной, условности не принимаются в расчет, и военное искусство перестает существовать... Когда возникает непрерывная линия фронта, рушится все здание предыдущего опыта, он превращается в ненужный, бесполезный хлам. Зачем маневрировать? Флангов больше нет. Зачем разгадывать план противника? Нет больше никакого плана. С чем соотносятся кропотливые работы перед приближающимся сражением, приказы, которые предваряют выступление и использование авангарда, арьергарда, главных сил? Войска, выставленные друг против друга на протяжении сотни километров, расстреливающие друг друга в упор — вот к чему сводится реальность войны... По всей очевидности, современная война не нашла еще подходящей формы, которая сделает ее не такой убийственной и не такой долгой... Мы стоим у истока нового военного искусства, у какого-то нового начала. В глазах будущего Большая война будет казаться бесформенным наброском, первым грубым испытанием промышленной войны, каковая навязана государствам прогрессом науки и техники».

Все это правильно, но между строк читается противоречие. Военное искусство, как и всякое искусство, по утверждению Пьерфё, зиждется на условностях. Однако *национальная* война в принципе исключает условности. Из чего вытекает не столько возможное преобразование военного искусства, сколько его окончание без всякой возможности возрождения. Лучше бы сказать: эра национальных войн положила конец военному искусству.

А как же обстоит дело по отношению к нам, к этой войне? Так вот, мы начинаем с постоянной линии фронта, в точности как в 1915 г. Просто она лучше

оборудована, более благоустроена. Просто мы целиком и полностью убеждены, что бесполезно *сражаться* на непрерывной линии фронта, поскольку нет никаких флангов, которые можно было бы обойти, нет никакой возможности для прорывов. Вот почему мы ничего и не делаем.

Двое разведчиков и двое пехотинцев, которые между собой незнакомы, обедают рядом с Петером. Начинают с того, что смеются над 35-й дивизией, сменившей нас в Виссембурге: «Чертовы бордозцы, мы держались два с половиной месяца, а они сразу же отступили на два километра(?)». Любопытная гордость за часть и за регион. После чего принимаются друг за друга, разведчики говорят пехотинцам: «Это на нас все держится!», — на что пехотинцы отвечают: «Это мы больше всех рискуем!». Доходит почти до мордобоя, но Петер вдруг говорит им: «Вы что, с ума сошли, да мы все варимся в одном котле!». Тогда те быстро утихают и утешают его.

У жены Кляйна, медсестры из Страсбургского госпиталя, который переехал на несколько километров в тыл, страшный приступ аппендицита. Но в этом смешанном госпитале, где обслуживают и военных и гражданских, только один хирург. Причем он в довольно забавной ситуации. Будучи инвалидом и имея освобождение от службы, в армию он не призван, хотя и довольно молод, тем не менее он мобилизован, что наводит на него страшную меланхолию: если бы он был военным медиком, то получал бы содержание. Будучи гражданским, он целыми днями оперирует для армии, не получая при этом ни франка. Ему нужно испрашивать разрешение у военного командования на проведение каждой операции. Он осматривает г-жу Кляйн и решает немедленно оперировать. Однако разрешение доходит до него только через 48 часов, и г-жа Кляйн умирает на операционном столе.

Прошлое существует не иначе, как в виде прошлого для-себя-бытия. Только для-себя-бытие может иметь прошлое, причем модус бытия этого прошлого весьма своеобразен. Нет никакого сомнения в том, что поначалу это в-себе-бытие, здесь в-себе-бытие всецело завладело для-себя-бытием, доходя до полного его упразднения, но, невзирая на это, оно было для-себя-бытием, бегущим в направлении мира и Будущего. То есть оно обладает двойственным характером — это неподвижное, застывшее для-себя-бытие, которое стало вещью, то есть неким окаменевшим и «некогда-имевшим-некое-будущее» событием, вне зависимости от того, реализовалось ли это будущее или не реализовалось. В этой *реальной* форме существование прошлого становится не-тематическим. И мы тащим за собой наше прошлое как то, чем уже не являемся. Если мы тематизируем это прошлое, оно становится воображаемым.¹

Среда, 21 февраля

Эта война гораздо больше походит на войну 14-го, чем то может показаться на первый взгляд. Пьерфё (204): «Изматывание Германии! Вот на что ставка! Именно тогда вырабатывается эта формула: „Время работает на нас“. Превосходство стран Антанты в ресурсах ...столь очевидно, что очевиден и конечный успех. И подсчеты потерь, произведенные разведывательными отделами, показывают, что существовало стремление подогнать, хотя бы и ценой нескольких неточностей, прочную базу под эту идею. Изматывание противника, как полагали в генштабе, представляло собой единственный выход из этой бесконечной войны... Но это и есть та самая деструктивная в отношении военного искусства концепция, которая полностью его отрицает».

¹ См. «Бытие и Ничто», часть вторая, глава II «Временность».

На что же мы надеемся в 1940-м? На то же самое: нам хочется, чтобы противник измотал себя. Я как раз читаю статью Пьера Ко¹ из «Л'Ёвр», где он пишет: «Франция и Англия, соединенные морскими путями с Соединенными Штатами, лучше приспособлены к затяжной войне, чем Германия, соединенная с Советским Союзом через Балтику и плохую сеть железных дорог... Я уверен, что мы выиграем затяжную войну... Готовиться к долгой войне, изматывающей противника, — это лучший способ сделать эту затяжную войну как можно короче...».

Как термин, так и само явление заимствованы из прошлой войны. Просто изматывание распространяется уже на истощение не людских и материальных ресурсов, а только материальных (до последнего времени). В то же самое время больше беспокоятся (о чем и говорит статья Пьера Ко) о том, чтобы организовать сопротивление этому истощению внутри воюющих стран: «Становится ясно, насколько необходима ориентированная на экспорт экономическая политика. Политика, которая утверждает: «Все — кредиты и специалисты — направляется в военную промышленность, ничего — на экспорт», была бы безумием». Но главный принцип остается тем же. Иначе и быть не могло, поскольку в национальной войне не существует правил игры. Любая страна может держаться — вплоть до уничтожения. Именно этого медленного уничтожения и пытаются достичь.

Чтение замечательной книги Пьерфё утверждает меня в мысли, к которой я пришел в октябре: Пьерфё показывает, что в войне 14-го года военное искусство утратило свои условности. Я же говорил, обдумывая начало этой войны, что мы воюем как будто в пространстве неевклидовой математики, где для начала признается совершенно произвольный характер любого

¹ Бывший министр воздушного транспорта.

постулата. В общем война 14-го года путем доведения до абсурда доказала, что в основе военного искусства лежит определенное количество постулатов, которые без всякого ущерба могли быть заменены другими постулатами при том условии, если и противник примет другие. Война 1915—1918 велась без постулатов, но поэтому ее и невозможно было *осмыслить*. У Пьерфё удачно сказано: «Таких абстракций во время войны командование выработало предостаточно, желая осмыслить бесформенную материю, которой ей приходилось ворочать, но обнаруживалось, что каждая из них окутана туманом». По прошествии двадцати пяти лет высшее командование вновь осмысляет войну, убеждается в произвольном характере постулатов и приходит к более гибким понятиям — то выстраивая их без всяких постулатов, то прибегая к наиболее *удобным* постулатам, не обманываясь на счет того, что они совершенно произвольны. Откуда выражение ученая война, которое я тогда употреблял, ученая война, которая вполне способна во время вооруженного столкновения, если оно будет иметь место, вылиться в массовую варварскую бойню.

С тех пор, как я снова увидел Париж, мне кажется, что я его похоронил. Самые последние и самые нежные воспоминания приходят ко мне из умирающего Парижа. Что касается другого Парижа, Парижа моего прошлого, то я на самом деле думаю, что мои связи с ним разорваны. Впервые с момента начала войны я охладел к своему прошлому. Я близок лишь с определенными людьми, и когда я думаю о том, чтобы снова с ними увидеться, наши встречи мне представляются в военном Париже. Отпуск ознаменовал разрыв с моим прошлым. Благодаря ему я заполучил возможность отступить назад и теперь могу когда-нибудь — возможно, завтра — сказать, чем был для меня Париж. Я отдаю себе отчет в том, что если даже я и не был патриотом, то по меньшей мере разделял дух общины и района.

Париж был моей деревней, как поется в песне.¹ Будучи гражданином Парижа, я мог бы стать в этом качестве и шовинистом.

Ванда, читая мои дневники, говорит: «Мне это удивительно. Я так привыкла к придуркам, которые все время что-то доказывают, что совершенно растерялась перед лицом чего-то бескорыстного». Мне это нравится, да так и есть. Совершенная бескорыстность этого дневника, как, впрочем, и всей мысли. Завтра напишу о Париже. Зачем? Да просто так, потому что меня это развлекает. Здесь все просто так; одна игра. А главное, я не делаю насилия над своей мыслью. Если бы я писал цельную книгу, я бы зашел дальше, наподобие тех солдат на войне, которых всегда заставляют держаться чуть дольше, чем они способны. Вместо чего я быстро сворачиваюсь, стоит мне заметить, что я готов себя принуждать.

Четверг, 22 февраля

О природе будущего. Будущее — это трансцендентное сущее, источник которого лежит в бытии-для-себя. В-себе-бытие не имеет будущего, потому что оно во всей своей массе есть *все то, что есть*, то есть нет ничего вне его, чем оно могло бы быть. Принцип тождества, как экзистенциальный закон в-себе-бытия, отвергает всякую возможность будущего. Наверное, будущее может существовать не иначе, как восполнение некоей нехватки в настоящем. Более того, оно является значением этой нехватки. Однако надо еще определить понятие этой нехватки. Совершенно удивительно, что

¹ Имеется в виду известная песня 20-х годов «Мой Париж», слова Люсьена Буайе на музыку Жана Буайе и Винсена Скотто. Ее исполнял среди прочих и знаменитый французский шансонье Морис Шевалье. В припеве есть такие строчки:

Ах! Как она была прекрасна, деревенька моя,
Мой Париж, наш Париж! и т. п.

во всех философиях и во всех психологиях так долго распинались о воле, желании, страсти, но так и не увидели такого существенного факта, что ни один из этих феноменов даже не может быть помыслен, если человеческое существо, которое волит, желает, страдает, не схвачено в своем бытии как такое существо, которое поражено сущностной нехваткой. Возможно, ближе всех к этому неизбежному заключению подошло христианство, показав человеческую душу так, будто она «воодушевлена» нехваткой Бога, и книги мистиков переполнены поразительными описаниями этого сокровенного ничто, которое коренится в сердце человека. Тем не менее следует заметить, что большинство христианских мыслителей, сбитые с толку монистической концепцией бытия как *бытия-в-себе*, спутали — как, впрочем, и Хайдеггер — экзистенциальное ничто человеческого сознания с его конечностью. Ведь конечность, будучи внешним пределом бытия, не может быть началом нехватки, каковая лежит в самом сердце сознания. Является ли последнее своей собственной конечностью, этого я здесь обсуждать не буду, но ясно то, что невозможно объяснить ни одно желание, не прибегнув к понятию экзистенциальной нехватки. Если, к примеру, я возьму психофизиологические описания голода или жажды, ставшие уже классическими, то ясно, что нужно быть или очень наивным, или очень упрямым, чтобы ими удовлетвориться. Что же показывают нам на самом деле? Обеднение крови, например, как при удушье — раздражение луковицы венозной кровью, провоцирующее спазматическое сжатие диафрагмы — в случае голода спазм желудка, слюноотделение, нервный эретизм, которые провоцируют постоянные жевательные движения и т.д. Все это понятно, но вперед мы с этим не продвинемся, так как упорствуем в описании *состояний*, существующих в форме в-себе-бытия, однако они абсолютно не способны сами собой полагать себя в форме *желаний*, они похожи на желания так, как вибрация эфира похожа на красный

цвет. И когда мы говорим, что сознание *преобразует* это телесное состояние в желание, воспринимает это состояние в форме желания, это не будет удовлетворительным ответом, так как еще следует объяснить, почему сознание — если только мы не наделяем его магической властью — не воспринимает эти телесные преобразования в форме *состояния*. Надо быть совершенно слепым, чтобы не видеть, что сущностное различие между желанием и психологическим *состоянием*, каковое пытаются сделать его базой, относится к экзистенциальному плану. Дело не в том, чтобы сказать, что желание *мыслится*, является представлением, является духовным, непротяженным, да мало ли чем еще? Если вы делаете из него *состояние*, вам уже ничего не понять. Ведь параллелизм основан на той абсурдной идее, что некое телесное *состояние* соответствует психическому *состоянию*. Но состояние, понимаемое таким образом, никогда не выйдет за свои пределы, так как оно «нуждается» в трансцендентном объекте, каков бы он ни был. Если воспринимать организм как некий тип физиологического сцепления, то я прекрасно понимаю, что стоит лишить его воды, он пройдет через некоторые состояния, дойдя до конечного состояния, или смерти. Но я не понимаю, причем здесь желание. К тому же, я думаю, что такая концепция организма содержит в себе глубокую ошибку, но здесь не место это обсуждать. Чтобы имело место желание, необходимо, чтобы желанный объект конкретно присутствовал — именно он, а не какой-то другой — в сокровенной глубине для-себя-бытия, но чтобы он присутствовал в виде ничто, каковое его затрагивает, или, точнее, в виде нехватки. А это возможно лишь в том случае, если для-себя-бытие в самом своем существовании может быть определено через эти нехватки. То есть, ни одна нехватка не может прийти в для-себя-бытие извне. Точно так же, как в случае с криводушным, ложь самому себе возможна лишь потому, что сознание по природе своей есть то, чем оно не является,

желание возможно лишь тогда, когда для-себя-бытие по природе является желанием, то есть когда оно по природе нехватка.¹ Абсурдность шопенгауэровской или ницшеанской «воли к власти» заключается в том, что, если воспринимать ее как силу, то нам никогда не понять, что она выражает себя через желания или воли. Она останется силой и будет уравниваться антагонистическими силами, вот и все. И бесполезно говорить, что речь идет о «духовных» силах, если только мы не определили дух как в-себе-бытие, пронизанное Ничто. Если же в основу всех желаний и воли следует положить экзистенциальную нехватку — в виде характеристики сознания, тогда мы должны задаться двумя первостепенными вопросами: что такое нехватка — чего не хватает?

Очевидно, что нехватка принадлежит к категории «не быть», в том смысле, что «не быть» — это конкретная и так сказать позитивная связь между для-себя-бытием и неким другим сущим. Однако нехватка — это особый случай категории «не быть». Когда мы говорим, что сознание не является протяженным, мы не хотим сказать, что ему не хватает протяженности. Для начала отметим, что не следует рассматривать нехватку так, как если бы мы могли ее констатировать извне, как, например, бывает, когда мы говорим, что у стула «не хватает» одной ножки или что одной ножки не хватает стулу. Эта гипотетическая, так сказать, нехватка совершенно не затрагивает стула с его тремя ножками. У стула будет «не хватать» ножки только тогда, когда мы захотим сесть или, точнее, это нам будет не хватать

¹ «Чтобы человеческой-реальности чего-то не хватало, необходимо, чтобы она была такова, чтобы ей принципиально чего-то могло не хватать. А ведь ни психология состояния, ни Гуссерль, ни даже Хайдеггер не отдают себе отчета в этой очевидной истине. Если должно быть так, что сознанию может чего-то не хватать, из этого следует, что экзистенциальная природа сознания заключается в нехватке» (из письма к Бобру того же дня).

ножки. Такой способ отношения к нехватке обладает тем недостатком, что мы представляем ее извне и, в конечном итоге, как некий аспект конечности стула. Мы колеблемся между практическим понятием стула — как предмета обихода, у которого не хватает существенной части, и теоретическим и созерцательным пониманием этого стула «в себе» — объекта, как он есть, на трех ножках, и у которого нет никакой нехватки. Так мы обычно и рассматриваем свои психические состояния. Мы рассматриваем их как в-себе-бытия, и с этой точки зрения в них нет никакой нехватки, однако, если включить их в цельный процесс, то извне можно будет констатировать, что им чего-то не хватает (например, кого-то или чего-то не хватает отсутствующему); то есть мы думаем: для достижения идеального состояния, к которому они устремлены (счастье, атараксия, и т. п.), им чего-то не хватает. Но если взять их так, как они перед нами предстают, в них нет никакой нехватки, они полны. Таким образом, нехватка относится к области гипотетичности и является некоторым образом *ad libitum*. Им не хватает чего-то для третьего лица, которое может это объективно констатировать. Но это значило бы, что мы забываем, что для-себя-бытие это такое бытие, которое *действует* на свое бытие в своем бытии. Ничего не приходит к нему извне, и для сознания нехватка — это сознание нехватки. Через игру отражения и отраженного для-себя-бытие может лишь *быть для себя самого своей собственной нехваткой*. Таким образом оно экзистенциально определяется как нехватка. Быть для себя значит испытывать нехватку в... Испытывать нехватку в... значит определять себя самого так, что вы не есть то, существование чего является необходимым и достаточным для того, чтобы предоставить вам исполненное существование. Для-себя-бытие не протяженно, однако оно не испытывает нехватки в протяженности, так как, хотя протяженность и принадлежит в-себе-бытию, оно не таково, чтобы существование в нем протяжен-

ности могло бы предоставить ему исполненное существование в-себе-бытия. Зато для-себя-бытие испытывает нехватку в мире (притом, что мир включает также и протяженность), так как мир является для-себя-бытия конкретной целостностью в себе-бытия, какой для-себя-бытие не является. Заметим, что для-себя-бытие, каковое не есть мир постольку, поскольку оно уничтожает само себя, само себя определяет через уничтожение как нехватку в-себе-бытия и тем самым определяет в-себе-бытие как мир. Мир — это целостность того, чего не хватает для-себя-бытию, чтобы стать в-себе-бытием. И вторжение для-себя-бытия в мир равноценно экзистенциальному и основополагающему само-определению для-себя-бытия в виде того, чего не хватает для-себя-бытию перед лицом в-себе-бытия. Таким образом, быть сознанием чего-то... (в том смысле, в каком Гуссерль говорит, что всякое сознание является сознанием чего-то) значит определять себя для себя в игре отражения-отраженного в виде испытывающего нехватку в чем-то. И как я уже говорил в III Дневнике, мне думается, что всякое сознание является прежде всего сознанием мира. Что же касается мира, он является в-себе-бытием, которое присутствует так, что может через поглощение преобразовать для-себя-бытие в *ens causa sui*. Единство и смысл мира — это *ens causa sui* в виде идеального синтеза для-себя-бытия и мира внутри в-себе-бытия. Следует отметить, что идея *causa* взята для-себя-бытием из самости; каузальная связь является изначально экзистенциальной связью между отражением и отраженным. Но заметим и то, что нехватку не следует понимать идеально. То, чего не хватает для-себя-бытию, наличествует *здесь*, прямо перед ним; именно этого ему и не хватает, то есть в-себе-бытия, постольку, поскольку оно присутствует перед для-себя-бытием, постольку, поскольку для-себя-бытие и в-себе-бытие ничем не разделены. Нехватка не созидательна, однако для-себя-бытие созидает себя перед лицом в-себе-бытия в виде того, чего по

природе *не хватает* в-себе-бытию. Тем не менее как раз в силу этого в-себе-бытие становится присутствующим перед для-себя-бытием, что нисколько его не затрагивает в нем самом и в его существовании как в-себе-бытия, но что и создает для-себя-бытие в виде того, перед чем присутствует мир как то, чего ему не хватает, чтобы стать *ens causa sui*. Исходя из чего мы и можем определить будущее.

В той мере, в какой оно себя уничтожает, для-себя-бытие является нехваткой. Но уничтожается в для-себя-бытии не *что иное*, как в себе-бытие. Нехватка, как и любая форма Ничто, *есть бывшее*. В своей негативной форме, как уничтоженное ничто, нехватка — это интенциональность, *сознание чего-то*, в гуссерлевском смысле. Как уничтожение *в-себе-бытия*, то есть постольку, поскольку именно *в-себе-бытие* является своей собственной нехваткой, нехватка, в позитивном своем аспекте, является *желанием*. Или, если угодно, волей. Таким образом постоянное убегание для-себя-бытия от *в-себе-бытия*, которое его сковывает, можно было бы сравнить с быстрым течением реки, которая, в пору сильных морозов может благодаря своей скорости избежать замерзания. Стоит ей остановиться, мороз сковывает ее. Но ведь у реки есть направление течения, она течет куда-то. Сходным образом для-себя-бытие бежит в мире по направлению к *ens causa sui*, чем она хочет быть. Мы ухватываем здесь эту открытую целостность, каковой является для-себя-бытие. Для-себя-бытие является себе самому собственным ничто, как *в-себе-бытие*, которое себя уничтожает в виде для-себя-бытия. И то, чем является для себя для-себя-бытие, и есть нехватка, нехватка именно целостности, отрицанием которой оно выступает, или мира. *В-себе-бытие* присутствует перед ним как то, чем оно не есть, и для-себя-бытие и является собственно ничем, в себе самом оно есть не что иное, как полная прозрачность, каковая есть опять же деградация *в-себе-бытия*. Но это ничего и схватывается в полной

прозрачности для-себя-бытия как *нехватка* чего-то. Для-себя-бытие, схваченное в-себе-бытием в форме события постоянно ускользает от него в тот самый момент, когда оно уже готово застыть, и это убежание осуществляется в направлении того, чего ему не хватает, то есть в направлении мира. Таким образом, прошлое — это для-себя-бытие, схваченное в-себе-бытием, а будущее — это мир как то, чего не хватает, как то, поглощение чего преобразует его в *causa sui*. В себе-бытие в той мере, в какой оно открывается для-себя-бытию, является будущим. Этот стакан, постольку поскольку его надлежит взять, этот стул, постольку, поскольку, мне на него придется сесть, и т. п. и т. п., все это — *в будущем*. Для-себя-бытие будет современным в-себе-бытию постольку, поскольку оно обложено им, но мир для него — в будущем постольку, поскольку его ему *не хватает*. То есть, если бы для-себя-бытие могло определить себя как чистое и простое существование, то оно было бы современным в-себе-бытию. Но постольку, поскольку оно есть нехватка, мир открывается ему как будущее на основе настоящего. Я хочу сказать, что будет уловкой сказать, что эта ручка, которую я собираюсь взять, целиком и полностью в будущем. Понятно, как ручка — она в будущем. Но как в-себе-бытие, которым обложено мое для-себя-бытие, она в настоящем, она присутствует в настоящем. Всякая вещь — это непосредственное присутствие, которого мы можем достичь в будущем. В этом смысл трансцендентности или преодоления обложения настоящим по направлению «грядущности» мира.¹

Признания Петера: «Старина, как я веселился до женитьбы. Какие истории случались со мной и моими двумя дружками! Потом, время от времени, мы соби-

¹ Ср. «Бытие и Ничто», часть вторая, глава первая, § 3 «Для-себя-бытие и бытие ценности», а также главу вторую.

рались и рассказывали их, просто так, из удовольствия вспомнить. По субботам брали машину и ехали на охоту. В какой-то момент у меня были сразу три девчонки, а я все равно охотился, до самой полночи, чтобы прибавить еще одну к своей коллекции. Брали не трепотней, приглашали потанцевать, потом, если они ничего не имели против, проводили с ними ночь, а наутро везли их в Туке и угощали на славу. Вечером расставались, и если они и вправду были ничего себе, всегда можно было поужинать вместе. Не ревновали, договаривались, кто с кем. Правда, раз одному захотелось оставить одну из девчонок за собой, не то чтобы он увлекся, ему показалось, что он приглянулся, он говорил совершенно серьезно: „Она не такая, как все“. Та, в общем, стала задаваться, ну и мы решили ее проучить. Один раз он говорит: „Побудьте с Элен, мне надо задержаться, через час приду“. Идем в кафе, но не говорим ей, что он придет через час, а начинаем заливать всякое-разное, что он с другой женщиной и все такое прочее. Так вот, старина, она тут же, из ревности, чтобы отомстить ему, захотела переспать со мной. Поднимаюсь к ней, занимаемся любовью, а потом она меня вывела из себя, ведь я сделал это только для того, чтобы обосрать ее, не помню уже, чего я ей выдал, но в конце концов сказал: „Ты такая шлюха, как и другие. Ты изменила Жюлю“, — и все ей рассказал. Ни в жизнь не догадаешься, что она мне ответила: „Ну, положим, Жюлю я не изменила, ведь я не получила удовольствия“. Знаешь, если не считать этой истории, всегда можно было договориться, спали со всеми без разбору. Однажды дня два провели с девчонками в номере, которые зашли просто так, из смеха, все всех перепробовали; мы не были любителями группового секса, просто так, из смеха; укладывали их друг за дружкой перед собой, заказывали в номер еду. Но если они хотели денежек, тогда другое дело, тогда мы не давали спуску. Давали себе волю, понимаешь, им ведь ничего не обещалось, так, они шли с нами, и что за счастье было

оставить их без единого су. Один раз завезли такую, знаешь, элегантную блондинку в лес, были на машине. Я за рулем, мой приятель сзади; он ей показал на свету пятьсот франков, потом поимел и протянул простую бумажку, она даже не посмотрев, сунула под чулок. После чего я передаю руль другу, устраиваюсь с ней сзади, наступает моя очередь. Она опять просит денег, но я говорю „нет“. Она выходит из себя, просит отвезти домой и бросает мне, выходя из машины: „Ваш друг — джентльмен, не то что вы, хам“. Представляешь, как мы хохотали. „Ее постигнет разочарование“, — говорили мы. Тогда в дружках у меня был один меховщик из Лиона, я его не очень хорошо знал, просто он приезжал, платил за себя, мы делились бабами. Так вот, старина, с практической точки зрения, он был совершенным нулем. Зато ходок первоклассный. Он был психологом; говорил, девять десятых женщин имеют одно слабое место — деньги. Так он и выходил из положения, обещал, они все были его. Идешь с ним, он тебе говорит: „Хочешь женщину?“ Хопа, не успеешь моргнуть, уже все готово. Правда, знаешь, все-таки он был чересчур наглый. Ведь он никому ничего не давал, поэтому со всеми приличными бабами у него были истории. Одна даже побежала за ним утром, бежит по улице и вопит, что есть мочи — представляешь, такая с виду вполне приличная, наверное, б...во у них в крови. А он как ни в чем не бывало, заметил полицейского и говорит ему: „Я не знаком с мадам, избавьте меня, пожалуйста, от нее“. Другой раз одна порвала ему рубашку, он хотел уйти, не заплатив. Он даже бровью не пошевелил, взял ее туфли — и в окно. Сколько всего я с ним пережил! Вот бы все в твой роман! Из-за этого я и не очень любил выходить с ним, он перегибал. Послушай, один раз что-то у него не заладилось с дружкой, он пошел со мной. Говорит: „Поохотимся?“ Я говорю, давай. Едем в Латинский квартал, в «Розенгартс», в дансинг, внизу от Суффле, тот старый, знаешь. В дансинге фокус был в том, чтобы задержать приличную

бабу, чтобы она опоздала на метро. После чего предлагалось подвезти ее на машине, потом договаривались, понимаешь? Итак, встречаем двух девчонок, они клюют. Он обещает, что если они поедут с нами, то завтра мы прокатим их в Фонтенбло, дадим на чулки, шляпки, ну франков по пятьсот на все дела, деньгами, само собой, у нас и не пахнет. Они отнекиваются, он настаивает; с танцев выходим вместе, девчонки все сопротивляются; причем были такие упорные, что еще в четыре утра мы так и стояли перед дверьми одной гостиницы на Монмартре. В конце концов они сдаются, приятель ставит машину поблизости, и мы четвером входим в гостиницу. Они захотели, чтобы у них была отдельная комната. Ладно. Поднимаемся; говорим им: „А вы не разрешите нам лечь с вами? Ничего не будет. — Ладно, только в одежде!“ Что было дальше, сам понимаешь. Я устраиваюсь с девочкой в одной комнате, дружок в другой. Отъе... свою и заснул. Вот ведь паскуда! Будит меня в семь утра. Я протираю глаза: „Что такое?“ — „Пора! Пора ехать!“ — „Куда еще ехать?“ — „В Фонтенбло“. — „Да?“. Я в полном дерьме, понятно, что никто не собирался ни в какое Фонтенбло, тем более что наобещали им кучу всякой всячины, а денег не было. „Хорошо, — говорю я, — вставай и пойдем к приятелю“. Приходим, будим их. Тут замечает, что отъе... не самую лучшую, что моя покрасивее. Как он разозлился! Говорит мне: „Ты поедешь с Рене по магазинам“ (это та, с которой он спал). Он остался с моей, и потом я узнал, что он с ней переспал. Я выхожу из гостиницы с другой, я мог бы отказаться, но тоже разозлился. Итак, как же быть? Покупаю газету, делаю вид, что читаю, чтобы потянуть время. Потом вспоминаю, что поблизости есть кафе с двумя выходами. Говорю: „Пойдем позавтракаем. Зачем нам спешить, подождут“. Приходим, я что-то заказываю, сразу расплачиваюсь, болтаем, потом я вдруг: „Я на секундочку“. И сматываюсь через второй выход, сделав вид, что пошел в туалет. Да, старина. Продолжение я узнал на следующий день.

Подождав с полчаса, девочка все поняла, возвращается в гостиницу, и вот у моего дружка уже две девочки. Естественно, он все свалил на меня, говорил, что я подонок, что он со мной едва знаком. Но они не очень-то ему верили; он не мог отцепиться от них четыре дня. Говорит: „Пойду в гараж за машиной“. Они: „Мы с тобой“. В конце концов, он сыграл в аварию, прямо посреди Булонского леса. Попросил их выйти, чтобы взять в багажнике инструмент, и как только они вышли, хопа, был таков. Так вот, старина, если ты это все пережил, в моем возрасте уже ничего такого не надо. Я повеселился, понимаешь... чего еще? Те, кто в моем возрасте ищут приключений, вроде Поля, ничего не видали в своей жизни. Я — другое дело. Мне уже не интересно, я храню верность своей жене».

Я должен добавить, чтобы дополнить портрет, что Петер всегда испытывал какое-то моральное отвращение к сутенерам. Как он их только не клеймил. Таким образом, он вкладывает, с одной стороны по крайней мере, строгую мораль в сексуальные отношения. Причем как раз сегодня он предоставил тому лишнее доказательство. Это случилось по поводу Ханзигера, этого долговязого Пьеро, грустного, романтического, занудного и прожорливого, тот с начала войны разрывается между двумя женщинами. Он директор или замдиректора французского филиала одной американской кинокомпании. Когда началась война, он остался без средств к существованию. А за два месяца до захвата Польши он оставил свою набожную и непривлекательную жену, на которой когда-то женился по молодости, и собирался жениться на любовнице, молодой англичанке, она, вроде, машинистка. Война вернула его к его грезам. Не очень разбираясь в военных событиях, не вполне даже, как кажется, сознавая свое положение в армии, он все время задавался вопросом: «Так, какая же?» Надо разводиться и жениться на англичанке или

же вернуться к жене? Он целыми днями ел сладости, почесывал свою шевелюру альбиноса — какого-то прямо-таки бесцветного белого цвета — и смотрел в пустоту своими красными кроличьими глазами; вечером, чтобы немного развеяться шел сыграть на фортепиано легкие вальсы, которые давил на клавишах своими пальцами. К нему относились как к придурку, вместе с тем считалось, что эта придурковатость идет ему на пользу; казалось, что у него было какое-то трепетное и ненавязчивое понимание своей выгоды. Он ходил от одного к другому и спрашивал: «Так, какая же? Прочти это письмо». Весь штаб был в курсе его истории. Люди здравомыслящие советовали вернуться к жене, прочие — жениться на молодой. Он переписывался с женой, так как надо было урегулировать все дела с разводом. Она засыпала его плаксивыми и благопристойными письмами, ее доводы, весьма хитроумные, сводились к следующему: «Поддай на развод, если тебе так хочется, я согласна, потому что люблю тебя. Но не заставляй меня самой предпринимать то, что было бы против моей религии и моей любви». Что весьма затрудняло все дело, так как он был на фронте. Но она додумалась и до более изощренных уловок, посыпала ему сладости, горшочки с медом, кексы, которые он пожирал с болезненным аппетитом, и даже купюру в пятьдесят франков. Тут он меня находит и говорит: «Сартр, ты философ, что ты думаешь — мне нужно принять это, или тут ловушка?» Я отвечаю, что не знаю, какой у его жены характер (он показывал мне ее весьма возвышенные письма, от которых за версту несло хитростью), что не мне решать, разводиться ему с ней или мириться, но уж если он решает порвать с ней, то деньги надо выслать обратно. Он согласно покачал головой, сказал, что я прав, и я больше не слышал об этих пятидесяти франках. Теперь я думаю, что он оставил их себе. С приближением отпуска он совсем запутался: где его проводить? Англичанка держала его чувственно. «Понимаете, объяснял он нам, у жены обстановка,

которую я купил, когда мы уже расставались, просторные, удобные комнаты, фортепьяно». Не знаю уж, на что он решился, так как я сам был в это время в Париже. Как бы то ни было, вчера он вернулся, помирился с женой, та зарабатывает, он при деньгах. Привез целый мешок кексов, мед, варенье, колбасу, сухого инжира и т. п. У него тысяча франков, хотя раньше и су не было за душой. Сразу озаботился, чтобы его послали в командировку в Соверн, купил там в военном магазине штаны за 140 франков, сапоги за 300. Хотел и куртку, но сказал, что еще подумает. Но еще больше, чем его ангельская и торжествующая скромность, меня очаровывает возмущение, которое выказывает добряк Петер: «Да он же сутенер. Ну все же есть какие-то рамки. Если бы я надумал развестись с женой, а потом с ней помирился, я бы поехал к ней в отпуск, но я бы ни су от нее не взял, по крайней мере сначала». Секунду думает, потом добавляет: «А если бы и взял, то франков сто».

Не следует пытаться объяснять Ничто через конечность, так как конечность, если взять ее саму по себе, представляется внешней по отношению к рассматриваемому индивиду характеристикой. Если же, наоборот, как это порой бывает у христианских философов, взять конечность в качестве внутренней характеристики человеческой-реальности, тогда следует решиться, в противоположность обычной методе, основать ее на Ничто. Бытие, которое *есть* свое собственное ничто, и является тем самым конечным. Если же станут удивляться тому, что бытие-в-себе, стоит ему подвергнуться уничтожению, нисходит до уровня конечной индивидуальности, ответ будет прост: сознания, которое было бы соприродно бесконечной целостности, не существует в принципе. Отрицание насыщает. Как раз потому, что для-себя-бытие *не есть* в-себе-бытие, не есть протяженность, не есть сопротивление, сила и т. п., оно не является индивидом. Каждое новое отрицание сжи-

мает его в себе, и в конечном итоге как раз в *отноше-
нии* к целостности в-себе-бытия для-себя-бытие сози-
дает себя в виде конечного индивида; сознание возни-
кает именно изнутри всецелости в-себе-бытия, было
бы абсурдом видеть в нем лишь клочок уничтоженного
в-себе-бытия. Правда, уничтожение в-себе-бытия в его
всецелости может иметь место лишь в форме вторже-
ния в мир отдельного сознания. Только *бытие* может
быть бесконечным и без определения. Отрицание же
по определению конечно.

Пятница, 23-е февраля

Один стрелок по возвращении из Парижа: «У меня там было такое впечатление, что нас принимают за без-
работных».

Каким образом нехватка — или первичное отноше-
ние сознания к миру — может привести к отдельным
желаниям? Прежде всего отметим, что всякое отдель-
ное желание является особой формой желания мира.
Или, если угодно, объект желания возникает на острие
желаемого мира и символизирует собой желаемый
мир. Желать какой-то объект — значит желать мир в
лице этого объекта. А чего желают от объекта? Его
желают *присвоить* себе. Что же такое присвоение?
Забавно, что в отношении собственности было столько
социальных контроверз, а никто не подумал феноме-
нологически описать акт присвоения и ситуацию со-
бственности. Прежде всего заметим, что присвоение
нельзя воспринимать как внешнее отношение между
двумя субстанциями. «Реалистическая» теория при-
своения сталкивается с теми же проблемами, с которы-
ми сталкивается догматическая и реалистическая тео-
рия познания: как между двумя самодостаточными, су-
ществующими сами по себе субстанциями может
иметь место внутреннее отношение: познания, собст-
венности? Очевидно, что такое невозможно. Идеализм

решает проблему, переводя *Unselbständigkeit*¹ на сторону мира; я же отношу *Unselbständigkeit* нового типа к сознанию. То есть одна субстанция не может присвоить другую субстанцию. Присвоение обладает совершенно иным, нежели физический, смыслом. Что значит владеть каким-то объектом? Для меня совершенно очевидно, что в современном обществе это предполагает некое негативное право, такое право, какового никто, кроме меня, не имеет. Однако отбросим этот негативный аспект и вернемся к позитивности. Для меня очевидно также, что присвоить какой-то объект значит иметь возможность им пользоваться. Но мне этого мало: очевидно, что здесь я могу пользоваться этим столом и этими стаканами, и однако же они не мои. Тогда, может быть, объект мне принадлежит, когда я могу его разрушить? Что было бы очень абстрактно, я даже не думаю об этом. Опять же кто-то может быть хозяином завода и не иметь при этом права его закрыть. Но я не могу допустить и того, что собственность является обычной социальной функцией, так как, хотя социальное начало может придавать собственности правовую, сакральную характеристику, все равно имеется нечто, что способно стать сакральным, что выше социальной связи, первичное отношение человека к вещи, которое называется владением. Само собой разумеется, что всякое объяснение через куплю-продажу имеет исключительно юридический смысл и не снимает проблемы. Если, таким образом, я отброшу все эти вторичные определения, вопрос остается прежним: что же такое владение? Однако я вижу, что в решении этого вопроса, как и многих других, можно пойти на поводу у магии. Я подтверждаю, что человека называют одержимым, если им завладели бесы. Но в то же самое время я констатирую, что бесы не просто в нем, они — *это он сам*; они воплощаются в нем; в конечном итоге определенным качеством одержимого

¹ Несамостоятельность, зависимость (нем.).

человека является то, что им владеют, он дан как человек, *принадлежащий*... Мне известно, что в ходе перво-бытных похорон с мертвым погребали и принадлежащие ему вещи. Понятно, что рациональное объяснение этого феномена — «чтобы он мог воспользоваться ими» — придумано задним числом. По-видимому, о том даже не заходила речь: мертвый и принадлежащие ему вещи составляли одно целое. Как не могло идти и речи о том, чтобы похоронить его, например без ноги, так не могло быть и речи о том, чтобы похоронить его без принадлежащей ему вещи. Помимо прерывистого существования всех этих отдельных вещей жил какой-то огромный организм, который и погребали полностью. Труп, кубок, из которого он пил, нож, которым он пользовался и т. п. составляют *одно мертвое тело*. Вот почему весьма варварский по своим последствиям обычай сжигать вдов в принципе легко объясним. Женщина была во *влагении*. То есть она входит в состав мертвого тела, она мертва по праву, ей просто надо помочь умереть. Те же объекты, которые не могут быть погребены, становятся привидениями. Понятно, что призраки, населяющие замки, являются выродившимися богами домашнего очага, ларами. Но кто такие, если не призраки, сами лары? Ведь призрак — то, что остается от человека в доме, которым он владел. Когда говорят, что в доме призраки, это значит, что ни деньги, ни труд второго владельца дома не в состоянии свести на нет метафизический и абсолютный факт *влагения* этим домом первым лицом. Человек метафизически связан со своей собственностью через бытийственное отношение. И ни к чему тут говорить, что предрассудки не имеют под собой никакой почвы. Наоборот, они коренятся в человеческой-реальности. Всякий предрассудок, всякое магическое верование обнаруживает, если подойти к нему, как подобает, некую истину относительно человеческой реальности, ведь человек по природе своей колдун. Все это было уже неоднократно сказано, но нас, а мы уже отличаем в-себе-бытие от

для-себя-бытия, интересует здесь то, что владение оказывается своего рода продолжением для-себя-бытия внутри в-себе-бытия. *Присвоить какую-то вещь значит существовать в этой вещи в могуче в себе-бытия.* (Тот случай, когда обладают любимым человеком, представляется намного сложнее, но мы оставляем его в стороне, так как не он имеет первичного характера.) Остается прояснить последнюю формулировку. Она значит следующее: воля для-себя-бытия есть не что иное, как удерживать самому по себе некое в-себе-бытие, которое символически будет самым для-себя-бытием. Это приводит нас к истоку символа, об этом я буду говорить завтра. Но пока же мы наблюдаем феномен перехода одной субстанции в другую. Собственность — это переход одной субстанции в другую. Быть собственником какой-то вещи значит быть в этой вещи в виде для-себя-бытия как в себе-бытие. В этом смысле вещь, которой владеют, есть вещь, которая в мире отражает превратности того для-себя-бытия, которое ей владеет. Вещь, которой владеют, является представителем для-себя-бытия в в-себе-бытии. И в то же самое время владение, находящаяся во владении вещь представляют для для-себя-бытия весь мир. Таким образом, находящаяся во владении вещь, символ в-себе-бытия для-себя-бытия, является — символически — для для-себя-бытия миром. К примеру, для того, кто остается дома и возделывает свой сад, сад является миром. Является крайней точкой мира, и в то же самое время весь мир сосредоточен в нем. Таким образом, первоначальное отношение обладания является отношением для-себя-бытия к миру. Однако на фоне мира возникает отдельный объект, которым владеют в качестве мира. Он укрепляет человеческую реальность, так она видит себя в нем как нечто постоянное, как в-себе-бытие. То, чем я владею, это я сам, как нечто непрозрачное, как в-себе-бытие. И так как необходимо, чтобы я обеспечил себе то, чем я обладаю, в-себе-бытие выступает здесь как то, что мотивировано для-себя-бы-

тием, иначе говоря, всякое обладание отражает в виде *в-себе-бытия* образ *для-себя-бытия* как нечто самопричинное.¹ Тем не менее лично у меня отсутствует чувство собственности. Что я попытаюсь описать и объяснить завтра.

В этом дневнике (начиная с 20 февраля) плохо отражается состояние взвинченности и тоскливости, в котором я пребываю по отношению к тому, что не очень хорошо складывается в Париже.² Но мое дело правое. Сегодня вечером (правда, после изрядных возлияний) меня даже охватил своего рода энтузиазм, таким правым мне показалось мое дело. Здесь меня соблазняет идея действия. Сколько раз, когда меня застигали на месте преступления из-за каких-то непонятных людей, моей доброты или нерешительности, я разливался потоками красноречия и собственных объяснений. И всегда умел убедить. Сегодня все труднее, но я невиновен. Кроме того, Ванда дорога мне как зеница ока. В таком отчаянном положении, находясь вдали, под огнем вероломных друзей мне нужно показать чудеса красноречия, как это было и раньше, но тогда я это делал почти произвольно. Меня это и возбуждает, и выводит из себя. Я почти рад, что мне предстоит предпринять эти действия, почти готов сказать, как император накануне Французской кампании: «Бонапарт, спаси Наполеона!».

Теперь Ванда смотрит на меня как на какого-нибудь зловонного козла. Для меня это такой же скандал, ко-

¹ Сартр пересмотрел эти размышления о присвоении в «Бытии и Ничто» — часть четвертая, глава вторая, § 2 «Делать и иметь: обладание».

² Имеется в виду то открытие, которое Ванда сделала в отношении одной любовной истории Сартра: он не виноват, так как это было до их идилии, однако «история с Колеетт Х.» на некоторое время расстроит его отношения с Вандой, как, впрочем, и с С. де Бовуар (письма к Бобру от 23 и 29 февраля).

торый я пережил, поняв, что, по рассказам знавших его людей, Жюль Ромена выглядит как прокаженный. Передо мной, как и перед ним, то же самое ощущение какого-то непростительного недостатка, который, однако, всецело оправдан свободой. Я немного отвратителен себе, хотя мне прекрасно известно, что этот упрек не очень справедлив, и хочу перемениться.

Суббота, 24-е

Три дня как оттепель. Грязь, талый снег; сегодня утром улицы пахнут как самки. От этой мягкой, нежной, серой погоды немного тошнит. Вчера, когда я писал последние заметки, я был немного пьян. Я не сам напился, угощал Петер, он уезжал в отпуск, после этого мне захотелось еще, я выпил с бутылку, короче, так перенервничал, что вино ударило мне в голову. Откуда и желание представить себя самому. В конце концов опьянение для меня в этом и состоит: когда я пьян, у меня есть представление о самом себе. Утром я холоден и мрачен, хотя внутри есть что-то такое, что должно вырваться, и наверняка вырвется к часу дня.

Есть какая-то необходимость и какое-то постоянство во всех этих утках и военных слухах. В первом дневнике я записал лозунг 14-го года: «Немецкая армия поглощается Францией». Но вот встречаю то же самое в рассказе о войне 1870-го. Читаю в «Дневнике одного адъютанта»: «Можно было слышать, как серьезные, богатые, умные люди с положением говорили, что наши неудачи на Рейне были в некотором смысле провидческими в том смысле, что они навлекли на нас все прусские войска, которые найдут себе могилу на французской земле».

Мне кажется, что это лозунг возник во время отступления из России или, может быть, в ходе трудностей, с которыми столкнулся Наполеон в Испании.

Вчера я попытался показать, что смысл присвоения составляет для человека сущностную структуру. Причем вне связи с какой бы то ни было политической теорией, так как это уже потом можно быть коммунистом и социалистом. Но если все так и есть, то как объяснить, что я, пишущий эти строки, не имею никакого чувства собственности? А для начала — я его и на самом деле не имею?

Самым простым будет сказать, что я не встречаю этого чувства в других людях. Я вполне мог бы быть среди тех грабителей, о которых писал в предыдущих дневниках, если бы в самом акте грабежа не было чего-то глубоко омерзительного, что полностью выходит за рамки сакрального характера собственности. Где-то в другом месте я отметил, что без малейших угрызений совести могу вскрыть чужое письмо. Сколько раз я копался в личных бумагах, которые кто-то тщательно прятал, а я находил. Кроме того, когда я был молод, мне часто случалось воровать. Если надо будет, снова буду. Года три назад на Северном вокзале у меня не было денег на детектив, и я бессовестно своровал его в газетном киоске. Я охотно беру займы, и если отдаю — а отдаю я всегда и вовремя, — то только из-за сознания другого человека, а не из-за его права собственности, мне не хочется, чтобы люди *гумали*, будто я не отдаю долгов. Но *быть* таким мне легко. Если для какого-то человека дорога какая-то вещь, я готов о ней позаботиться. Но исключительно потому, что я живо представляю себе его отчаяние, если с ней что случится. То есть вновь имеется в виду не собственность, а сознание.

В том, что касается лично меня, то я никогда не хотел иметь много денег. Мне хотелось бы, собственно, чуть больше, чем у меня есть. Но лишь потому, что я транжирую то, что зарабатываю. Мне не удается сделать все так, чтобы денег хватало на месяц. К 20-му числу, вне зависимости от того, что мне еще надо, вне зависимости от того, какой суммой я располагал, у меня пусто в карманах, и я должен заниматься. И если

такое положение дел еще перед войной начинало меня раздражать, то объяснялось это скорее беспокойной надобностью бегать по друзьям, чтобы набрать подаваний на завтрашний обед, нежели невыносимостью ситуации «безденежья», в которой я оказывался. Купюры, монеты, что лежат у меня в кармане, придают мне уверенности, *веса*, но, по правде говоря, это мимолетное удовольствие, деньги утекают, а если даже и остаются, начинают меня тяготить. Мне нужно их потратить. Не для того чтобы что-то *купить*, а для того чтобы выпустить эту денежную энергию, избавиться от нее, выкинуть ее подальше от себя наподобие ручной гранаты. Существует какая-то скоротечность денег, которая мне и нравится: мне нравится, что они уходят сквозь пальцы и испаряются. Мне не нужно, чтобы вместо них появилась какая-то прочная и удобная вещь, которая обладала бы бóльшим, нежели деньги, постоянством. Мне нужно, чтобы деньги развеивались в неуловимых фейерверках. Например, за *один вечер*. Пойти в какой-нибудь дансинг, швырять там деньгами направо и налево, поехать на такси и т. п. и т. д., короче, чтобы вместо денег не осталось ничего, кроме воспоминания — а иной раз даже *меньше*, чем воспоминание. Как правило, уже к вечеру того дня, когда я получаю жалованье, у меня остается лишь две трети полученных денег. Я никогда не считаю, по крайней мере в первые дни. Мне нужно, чтобы деньги были неким продолжением моих поступков, чтобы я тратил так же легко, как я дышу, чтобы они представляли собой не что иное, как действительность моих поступков. А потом, по прошествии нескольких дней, я словно спускаюсь с облаков на землю, ведь у меня почти ничего не остается, и мне надо снова считать каждый франк. Помню, когда мы были молодыми, Гиль купил небольшую записную книжку, куда он скрупулезно заносил все свои расходы, и меня увещевал так же поступить. Я так и не смог решиться на что-нибудь подобное. Я восхищался тем, как Гиль вел свои подсчеты, но самому мне такое

занятие казалось неприятным и недостойным. Где бы я ни появлялся, я везде оскандаюсь со своей манерой тратить деньги — причем даже среди самых великодушных людей. Гилль был далеко не скупец, но он только пожимал плечами, наблюдая за мной; малыш Бост раз сто шуточно выговаривал мне: «Вы не сводите концы с концами».

Поражает, главное, то, что деньги, которые я трачу, тратятся *на ничто*. Я знавал маньяков наподобие Альбера Мореля, которые конвертировали свои купюры в целые кучи безделушек и погремушек, компасов, каких-то усовершенствованных штопоров, всевозможных гениальных приспособлений. Они хотят обладать; считают деньги чем-то слишком абстрактным, изо всех сил опираются на тьму этих маленьких вещей, которые их защищают, и создают вокруг сферу привычного. Другие люди (Низан из таких) любят делать себе подарки. Пойдут и тайком купят себе пару ботинок, сама покупка — это священная и пышная церемония их отношения к самим себе. Отношение Низана к его вещам просто очаровательно; он их хитро и нежно ощупывает, они для него разом и маленькие домашние зверьки, и остроумные проделки в отношении других людей. Он так привязывается к зонтику, приобретенному надлежащим образом, словно его стабил. Мне известно также, что для других, например для Келлера, сделать покупку — значит пойти на какое-то исключительное, тяжкое и священное дело. Они его обдумывают целыми днями, мечтают, наводят справки, ходят по магазинам, ничего не покупая. А потом, когда вещь приобретена, к ней относятся с немного насупленной важностью, иногда с легкой опаской, словно к неожиданному и неведомому попутчику, недостатки и достоинства которого еще только предстоит узнать. Сколько раз я наблюдал, с каким неодобрением Келлер рассматривает кремни для зажигалки, купленные в табачной лавке, и говорит, даже еще не испробовав их: «Это не то, что в Париже». Для таких людей покупка и при-

своение представляют собой моменты некоего ненадежного и полного опасностей пакта, который так или иначе придется заключить с этой вещью, но который, однако, неизвестно, куда вас заведет. Когда у Келлера сломалась трубка, ему пришлось подумать о приобретении другой, ради чего он и оказался вместе со мной в Пфафенхофене. Но стоило ему вступить в город, как он утратил всю свою решимость; он бродил, словно неприкаянная душа, от одной табачной лавки к другой. Оттуда мы отправились в Хагенау, там было то же самое. В конечном итоге он замотал головку сломанной трубки железной проволокой: «У меня дома еще одна есть, попрошу, чтобы прислали». Понятно, что есть во всем этом и просто скопидомство. Но что это за скопидомство? Я видел, что Келлера мучает не столько страх оказаться после покупки без денег, сколько какой-то ужас перед простой необходимостью нового приобретения. Другие, как сестры Козакевич, окружают себя каким-то крохотным и живым мирком, который плавает между грациозным сюрреализмом и обыкновенной игрушечностью. Они окружены и защищены целой тьмой фей, эльфов, карликов, домовых, которые фильтруют для них подлинный мир, которые им *принадлежат*. Тулуза¹ доходила до того, что заводила со своими вещами разговоры, отчитывала их, воспитывала или позволяла себя воспитывать. Однако ни мир карликов сестер Козакевич, ни эти средневековые вещицы, которые разговаривают с Тулузой, не куплены. Их ценность в том, что они подарены. В этом, возможно, заключается самая первобытная и самая сакральная форма собственности: все эти вещи представляют собой *отданное* владение, тут есть церемония перехода отношений между сознаниями. Сестры К., впрочем, вовсе не транжирки, они словно не подозревают о существовании денег, что им совсем не мешает быть ярыми собственницами.

¹ Прозвище Симоны Жоливе.

В этих способах владения я усматриваю исток роскоши, ведь роскошь не определяется ни количеством, ни качеством находящихся во владении вещей, она заключается в некоем отношении между владельцем и находящимся во владении объектом, которое настолько глубоко, настолько глухо, настолько интимно, насколько это только возможно: мало того, чтобы вещь была из числа редких вещей, необходимо, чтобы она родилась у того, кто ею владеет, чтобы она появилась на свет специально для него. Деньги никогда не приносят роскоши. Что до меня, то я полная противоположность роскошного человека, так как у меня нет ни малейшего желания владеть какими-то вещами, я мог бы лишь создать такие вещи. Весьма вероятно, что в этом я человек «своего времени», я воспринимаю деньги как некое абстрактное и преходящее могущество, мне нравится, когда они улечиваются как дым, мне не по себе от вещей, которые куплены на деньги. Никогда в гражданской жизни у меня не было ничего своего — ни мебели, ни книг, ни безделушек. Я был бы сам не свой в своей квартире, впрочем, она быстро превратилась бы в хлев. Вот уже десять лет из своих вещей у меня есть только трубка и ручка. Причем я транжирю даже на них: постоянно теряю и трубки, и ручки, не привязываюсь к ним, они мне как чужие, и живут у меня в такой атмосфере, которая разве что самую чуточку отличается от того холодного света, в котором они купались, когда были выставлены вместе со своими собратьями в витрине магазина. Я их не люблю, новая трубка радует меня дня два, после чего я пользуюсь ей, не обращая на нее никакого внимания. Когда мне делают какой-нибудь подарок, я все время смущаюсь, так как смутно чувствую, что не воспринимаю его так, как следует. Понятно, что я, возможно, больше, чем кто бы то ни было, волнуюсь от оказанного мне внимания (тем более что мне почти и не делают подарков. Должно быть, люди чувствуют, что они ошиблись бы адресом. Я могу быть бесконечно дорогим для них

человеком, но они все равно ничего мне не дарят. Похожее дело и с фотографиями, меня редко фотографируют). Но волнует меня именно это непосредственное внимание, как оно читается на нежном лице того или той, кто мне что-то дарит. Я изливаюсь в благодарностях, кривя душой, ведь я-то знаю, что мне не дано так чувствовать эту милость, которая обнаруживается в лице или тем более в вещи. Такого рода удовольствие предназначено для Ванды, она никогда не благодарит, потому что дар вписывается в подаренную вещь. Она почти не думает о человеке, зато вещь сразу же становится для нее драгоценностью. Что же до меня, то я вижу лишь полезную или забавную вещицу, которой, как и всем прочим, предстоит влачить подле меня жалкое существование в ожидании того дня, когда я ее сломаю или потеряю. Причем не из-за неловкости или рассеянности, а из-за отсутствия конкретной связи, в силу которой, как я говорил вчера, фараонов погребали вместе с чашами, из которых они пили, и которая и образует собственность. Как никто не подумает сделать мне подарка, так никому и в голову не придет похоронить меня, если я умру, вместе с моими вещами. Мои наследники, если таковые найдутся, все быстро распродадут, испугавшись непонятно откуда взявшегося леденящего вида этих вещей, который, наверное, будет единственным напоминанием о моих с ними взаимоотношениях. Какое-то время я любил красивые рубашки, шелковое белье, элегантные костюмы — несчастная, заметим, любовь, поскольку не на что было покупать. Но любил не для того, чтобы ими владеть. Но даже и это прошло. Я привыкаю к самым заурядным рубашкам, подолгу ношу костюмы. В последнее время я обходился одним костюмом в год, который надевал по любому случаю. Свое кокетство — если таковое имелось — я направил на то, чтобы быть неряшливым. Красивые рубашки, одетый с иголки маленький человек относились ко времени «корсиканского лейтенанта». Когда возник «высокий белокурый норвежец»,

я склонялся к старой гвардии, к отрепьям, которые хранят следы бывшего изящества. Я просто не хотел покупать два готовых костюма в год, что позволило бы мне быть опрятным. Мне больше нравилось купить один, но за приличные деньги и в хорошем модном доме. Возможно, есть в этом остатки стремления к опрятности и неуловимой и смешной тяги к роскоши.

Тем не менее, несмотря на то что сам я ничем не владею, что не уважаю имущества других людей, есть во мне какая-то непрямая и сильная связь с собственностью: мне нравится делать собственниками других людей. Я часто раздаю свои вещи, иногда просто с каким-то воодушевлением; случается, что, когда я вижу на витрине красивые вещи, то смотрю на них с жадностью, словно бы мне хотелось забрать их себе. На самом деле это жадность *для другого*. Рассматривая их, я говорю себе: как они прекрасны! Если бы у меня были деньги, я купил бы их для X. или для Y. Понятно, что тут прежде всего задействовано некое империалистическое стремление воздействовать на другого человека, проникнуть в сознание других людей, заставить их так или иначе помнить обо мне, влезть к ним незаметно в душу и остаться вроде занозы. Это должно бы привести меня к рассмотрению моих отношений с другими людьми, что я, наверное, вскоре и сделаю, так как — особенно в настоящий момент — это для меня кровоточащая рана.¹ Но есть тут кое-что и более глубокое: я словно бы жалею о том, что не умею владеть, когда я что-то даю, когда мечтаю что-то дать, я перекладываю свои полномочия на других, я могу владеть единственным доступным для меня способом — через других людей. Я оказываюсь, когда дарю что-нибудь Ванде, когда вижу, какими заботами она окружает мой подарок — заботы, которые объясняются не тем, что подарок от меня, а тем, что он красив — вроде того

¹ Этим он займется 27 февраля; однако еще 24-го он пишет Бобу: «Я точно не умею любить людей».

гангстера-импотента из фолкнеровского «Святылища», который заставлял другого мужчину переспать с той женщиной, которую он желал. Я испытываю при этом немного мрачноватую и одинокую радость того, кто подглядывает. Я рад тому, что это *через меня* она владеет вещью: я создал отношение собственности. Я остаюсь на самом краю культа обладания, но все равно смотрю на него издали, радуюсь глазами мысли, что я его автор. Такое вот у меня отношение к объекту. Похожая вещь и с «интерьером»: я не могу приспособиться к нему, зато мне нравится интерьер у других людей. Есть две квартиры, которые обладают в моих глазах самым поэтичным в мире очарованием и где мне хотелось бы оставаться подольше: это квартира г-жи Морель и квартира Тулузы. Мне там хорошо, так как я понимаю, что они находятся *во владении*, мне и нравится эта атмосфера владения, в ней мне хочется жить. Мне бы хотелось, чтобы все вещи в мире кому-то принадлежали, и чтобы этот «кто-то» был моим другом и позволял мне ими так или иначе пользоваться. По правде говоря, я от этого быстро устаю, и в конце концов то, чему я отдаю предпочтение — или, по крайней мере, то, от чего я никогда не устаю — это сесть на стул, который никому не принадлежит — или, если угодно, принадлежит всем — за ничейный стол. Вот почему я люблю работать в кафе, там я достигаю своего рода одиночества и абстракции. Но все же время от времени мне нравится погружаться в это сияющее тепло, которое мне не принадлежит, но которое, на какой-то момент существует для меня. Впрочем, нет никакого сомнения в том, что я лучше всех приспособился бы к обобществлению собственности, ведь в этом случае я потерял бы только одно — удовольствие дарить, хотя наверняка нашел бы еще тысячу способов это делать.

Если объяснять это полнейшее отсутствие тяги к собственности через историю и воспитание, то определяется она, как мне кажется, в основном тем, что я выходец из чиновничьего круга. Деньги, которые еже-

месячно, с упорядоченным единообразием женских месячных, стекались в наш дом, не казались моему деду чем-то таким, что непосредственно связано с выполнявшейся им работой. И в самом деле, любое улучшение качества этой работы не повлекло бы за собой повышения оплаты. Впрочем, он столь самоотверженно вкладывал себя в дело преподавания, которое было для него священнической миссией, что полностью забывал об отношениях этого труда с вознаграждением за него. Он так же наивно удивлялся этим банковским билетам, которые ежемесячно получал, как те дикари с Коралловых островов, которые приписывали беременность своих жен чему угодно, кроме собственных занятий. Скупым он стал в последние годы, по старческому слабоумию, а до этого долгое время его карманы были битком набиты золотыми монетами, и он даже не знал, сколько у него при себе денег. Бабушка ночью воровала у него из пиджака, он никогда ни о чем не догадывался. Будучи, как и он, университетским преподавателем, я был лишен ощущения, что я *зарабатываю*. Моя работа кажется мне даровым общественным делом, порой интересным, часто скучным, но мне не кажется, что она как-то связана с деньгами, которые выплачивают мне в конце месяца. Эти деньги всегда казались мне даровыми. У меня нет такого ощущения, что мне их должны. Вот почему я такой легкомысленный, беззаботно швыряю деньги направо и налево, набравшись уверенности, что это чудо будет повторяться до скончания веков. В этой области мне неведомы ни муки, ни радости. Это просто не считается. Это как воздух, которым я дышу, или как вода, которую я пью. И здесь у меня нет *корней*. Ничто не укореняет столь сильно, как суровая и жесткая денежная *ситуация*. В детстве мне просто не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь страдал и мучился, пытаясь заработать хоть каких-то денег: деньги были как манна небесная. Этакий умеренный золотой дождь. Вспоминаю стажера Деларю, который еще учился актерскому мастерству у

Дюллена, он честил на чем свет стоит моих учеников, говоря им — он привставал, когда начинал говорить, не глядел на них, из робости и в конце просто выходил из себя, краснея как рак: «Вы смеетесь над дикарями, потому что те верят, что если они бьют в барабаны, пойдет дождь? Да на себя посмотрите! Вы поворачиваете выключатель, ведь это тоже могущественный и магический жест, смысл которого вам неведом — вы, как дикари, ждете, пока зажжется свет. Кто из вас подумал о человеческом труде, благодаря которому в проводах есть электрический ток?» Так вот, в отношении денег я ни в чем не отличаюсь от дикаря. Жест, которым я выкладываю купюру на стол, кажется мне ритуальным и магическим, церемонией, я почти не думаю о том, что же *представляет собой* эта купюра. Нет никакого сомнения, что у Келлера, когда он что-то покупает, такое ощущение, будто он обменивает свой труд на приобретаемую вещь. Со мной такого не происходит: я осуществляю ряд необходимых действий, и объект появляется. Вот и все. Добавлю, что я происхожу из семьи, у которой не было недвижимости; так и получилось, что я за несколько лет прогулял небольшое наследство, полученное лет в двадцать. Но за вычетом этого исключительного случая никто в нашей семье ничем не владел — ни землей, ни имуществом. Квартира, нанимавшаяся дедом или отчимом, гораздо меньше отличалась от гостиничного номера, в котором я жил, чем находящийся в законном владении дом в деревне, достояние — от нанимавшейся квартиры вообще. В сущности, несмотря на то что отчим неоднократно упрекал меня в том, что я живу по гостиницам, я не уклонялся от направления всей семьи: никакого имущества, я не дожидаясь никакого наследства и сам ничего не оставляю после себя, я не владею комнатой, в которой проживаю. Глубокие перемены произошли задолго до меня, когда эльзасские крестьяне, из которых были предки моего деда, переехали из деревень в города, когда отец моего деда стал школьным учителем.

Я лишь усугубил тенденцию. В этом, впрочем, я совсем не «из богемы» — может быть, я принадлежал бы к ней в 1848 г. Я лишь сближаюсь с этой, например, американской мелкой буржуазией, место проживания которой занимает промежуточное положение между нашими квартирами и гостиничными номерами. В этом смысле я — праправнук крестьян, внук чиновников, сам чиновник, обобществлен в гораздо более высокой степени. Разумеется, в том, что касается собственности, так как следствием этой материальной коллективизации является усиление моего индивидуализма и моей тяги к свободе.

Понятно, однако, что такое объяснение не может быть достаточным, так как есть предостаточно чиновников, детей чиновников, которые обладают чувством «своего дома», склонностью ко владению. Это даже в порядке вещей. По меньшей мере они хотят обладать книгами. То есть можно продвинуть чуть дальше это объяснение, заметив, что я был воспитан в духе безличного рационализма, который привил мне вкус к безличности в области идей. Как раз из-за того, что какая-нибудь идея Паскаля, стоит мне ее усвоить, представляется мне принадлежащей как Паскалю, так и мне самому или моему соседу или, точнее, представляется мне собственностью человеческого сообщества, я и не хочу иметь в своей библиотеке дорогого издания его произведений. Должно быть, у других людей имеются более личные отношения с книгами. Наверное, им кажется, что они до сих пор живут, они их ласкают, думают, что есть в них какая-то неисчерпаемая тайна, что нужно иметь их в своем доме, чтобы эта тайна не исчезла; бумага, переплет, шрифт и идеи составляют единое целое. Для меня же прочитанная книга — это труп. От нее необходимо избавиться. А если мне нужно перечитать какие-то места, я не сочту зазорным сходить в публичную библиотеку. В Гавре моя коллективизация достигла апогея — я ночевал в гостинице, дни же просиживал или в кафе «Вильгельм Тель» или в город-

ской библиотеке. У меня вообще тяга к библиотекам, и мне действительно без всякой разницы, моя это книга или не моя, листал ее кто-то или еще не листал, или ей еще только предстоит быть пролистанной сотнями рук. Наоборот, в этом, как мне кажется, и заключена ее истинная природа.

Однако для того, чтобы обнаружить настоящее объяснение, необходимо, несмотря ни на что, подойти к этому бытию-в-мире, которое во мне, как и во всяком другом человеке, превосходит историческую ситуацию в направлении одиночества.

Прежде всего я не хочу ничем владеть из метафизической гордыни. Я самодостаточен в уничижающем одиночестве бытия-для-себя. Мне нет никакого дела до этих овеществленных замен меня самого. Мне хорошо лишь в свободе, когда я ускользаю от вещей, ускользаю от самого себя; мне хорошо лишь в Ничто, я и есмь подлинное ничто, опьяненное гордостью и сверхъясностью. Тем не менее это не решает метафизического вопроса, так как, горжусь я или не горжусь, я есмь *нехватка*, и не хватает мне именно *мира*. Вот почему владеть я хочу миром. Без всякой символической замены. И это тоже вопрос гордости: я ни за что не соглашусь обладать миром в лице той или иной вещи. Я, индивид, существую перед лицом этого цельного мира, и этой цельностью я и хочу обладать. Однако это обладание особого типа: я хочу обладать им *через познание*. Я замахиваюсь на то, чтобы в одиночку, для себя самого, познать целый мир, причем не в деталях (наука), а как целостность (метафизика). Познание обладает в моих глазах магическим смыслом присвоения. Познать — значит освоить для себя, в точности как для первобытного человека узнать тайное имя другого человека значит овладеть этим человеком, поработить его. Это присвоение мира заключается по сути в ловле его смысла посредством фраз. Для этого одной метафизики мало; нужно также искусство, так как фраза, которая улавливает смысл мира, никогда не удовлетворит

меня, если сама не будет объектом, то есть, если смысл мира покажется в ней не в метафизической наготе, а через материю. Смысл мира надо пленять пленительными вещами, то есть эстетически выстроенными фразами, каковые являются объектами, созданными мной, но существующими сами по себе. Кроме того, мое желание обладания вещами прикрито и приглушено другим, более сложным желанием, которое надо бы описать отдельно: моим желанием обладать *другим* человеком. Понятно, что здесь речь идет об обладании совершенно иного типа, но мне кажется бесспорным то, что нельзя иметь сразу два желания: обладать вещами и обладать людьми. Вот почему мир видится мне более нагим и однообразным, чем многим другим людям. В нем нет этих нежных теней, этих пристанищ милости, образованных находящимися во владении вещами. И в некотором смысле в таком мире я более покинут и более одинок. В другом смысле во мне больше горделивой завоевательности. Таким образом, метафизика — это желание присвоения.

Воскресенье, 25-е февраля

Знаменитые слова Деладье «Ни единого арпана»,¹ час славы которых пришелся на 39-й, до боли напоминают не менее знаменитое заявление Жюля Фавра из одного циркулярного письма 1870 года: «Ни одного дюйма нашей земли, ни одного камня наших крепостей».

Я уже писал о неожиданном богатстве Ханзигера. Он размяк от него. Вчера, опустив глаза долу, он сказал кому-то, кто предлагал ему «пойти по бабам»: «Ну нет,

¹ Имеется в виду радиообращение от 29 марта 1939 г.: «Я уже говорил и теперь подтверждаю, что мы не уступим ни единого арпана* нашей земли, ни единого из наших прав».

старина, брак есть брак». Однако, чтобы быть до конца честным, я должен добавить, что он рассказывает, что деньги у него от директора, который будто бы выплатил ему месячное жалование, когда он оказался в Париже. Это возможно, хотя я не верю. Зачем надо было давать ему эти деньги, когда уже полгода идет война? Как бы то ни было, он пропитан елеем. Его должны произвести в капралы, и ему хочется этим воспользоваться, чтобы отлынивать от мелких работ: подметанье, хождение за супом. Но Кляйн суров с ним; вчера говорит ему: «Не пойдешь за супом, с нами есть не будешь». Вчера он продержался. Пообедал в ресторане, поужинал консервами. Но Кляйна не собьешь, все равно он достанет его через голод. Кляйн — человек сильный. Три недели назад он потерял жену, и это никак не отразилось на его поведении. Или ему просто насрать, или он полностью владеет собой. Я думаю, что ему совсем не насрать.

Вчера получил книгу стихов некоего молодого человека по имени Ален Борн,¹ прочел их и должен признать, что ничего не понял. Разозлившись, и чтобы самому разобраться, а также из-за того, что в последние дни я пребываю в неприятном, но поэтичном расположении духа, попытался сочинить стихотворение. Привожу его здесь, как оно есть, из самоуничужения.

*Плывет скрежетание света под нагими деревьями,
В воде тьма водяных огоньков, скрывавших
свои имена.*

Плывет чистойшая соль зимы, руки мои сохнут.

¹ Книжка называется «Рубцы снов», она вышла в издательстве «Фейе де Лило» с предисловием Анри Ламбера. В то время Алену Борну (1915—1962) было двадцать пять лет; до этой книги он публиковался в различных поэтических журналах. «Тишина», первое стихотворение из книги, полученной Сартром, начинается так:

Надо, чтобы стихи росли из тишины
Белоснежной, как тайная и бледная невеста,
В девственности которой никто не усомнится...

*Я выжимаю среди домов мягкую пышную паклю
воздуха, а
Небо словно ботанический сад, от которого
веет свободной от снега равниной.
В окнах огромных пустынных сараев
Напугренные призраки взирают, как стекает
по улицам
Вязкая черная жижа.
Расплавилась иголки невинной радости
в моем сердце.
Сердце мое, как рыба в воде.*

*Весна ядовитая, что грядешь,
Не делай мне зла.
Сердце мое так окрепло в суровую пору,
И вот оно с весной впадает в уныние.*

*Весна, что грядешь в моем сердце,
Не можешь разве факелом жечь,
И чтобы раскаленный камень лета коснулся
И выжег младую траву.*

*Дохнул я пламенем на камень,
И вспыхнули, опаленные ветром, семена,
Дохнул я крепким и прозрачным
Холодом на снег,
И мир покрылся мрамором, а я стал ветром.
Но тут вернулось одиночество весны.*

Все эти дни я работал по утрам и вечерам в отеле «Дю Солей», в большом холодном кафе, которое наводит мысли, не пойму точно, отчего, об иезуитском XVIII веке. Однако с тех пор, как генерал вернулся из отпуска, дисциплина стала много строже, и сегодня утром жандарм буквально выгнал меня оттуда. Я поднялся на второй этаж, в большой зал, где в мирное время показывали кино, а теперь Армия Спасения устроила Дом Солдата. Стена в глубине зала по-прежнему занята эк-

раном. Это длинный, довольно мрачный зал, в нем штук пятнадцать столов и несчетно стульев, есть стол для тенниса, русский бильярд, он отделан с каким-то благочестивым кокетством. На столах — скатерти в клеточку, вазы с цветами. В часы наплыва здесь собирается до пятидесяти солдат, они играют, читают, пишут, молчат; на их лицах читается тусклое смирение, с которым мужики ходят в церковь. Маленькая розовощекая старушка семенит между столами. От всего веет английским клубом, богадельней и городской библиотекой. Из радио доносится классическая музыка. Мне там было почти хорошо. Во всяком случае, я рад, что узнал это место. Буду приходить сюда по утрам и вечерам, ведь у меня нет другого убежища.

Перечитываю свое стихотворение и испытываю страшный стыд не только потому, что оно плохое, но и потому, что это стихотворение, то есть, на мой взгляд, нечто непристойное. Тыкать весне, конечно же, дурной тон, но я это сделал. Мне представляется, что это стихотворение могло бы быть сносным, если почти все выкинуть и оставить только это:

*Плывет скрежетание света под нагими деревьями.
В воде тьма водяных огоньков, скрывавших
свои имена.*

*Плывет чистейшая соль зимы, руки мои сохнут.
Я выжимаю среди домов мягкую пышную паклю
воздуха,*

*Расплавилась иголки невинной радости
в моем сердце.*

Остальное — в корзину.

Понедельник, 26-е февраля

Перечел с истинным восхищением первые шестьдесят страниц «Пармской обители». Естественности, очарованию, живости воображения Стендаля нет ничего

равного. Это чувство восхищения, которое так нехарактерно для меня, овладело мной полностью. А каково искусство романа, каково единство движения!

Вторник, 27-е февраля

Поль вернулся из отпуска полный веселья, я задаюсь вопросом, отчего. Я готов был скорее думать, что он вернется в состоянии, близком к совершенному унынию. Но он просто весельчак, на губах постоянно играет улыбочка, которую он тщетно пытается скрыть. Уж не выпил ли он утром в Деттвиллере? Говорит мне, что прочел «Детство вождя»^{*} и дал прочесть новеллу двум приятелям. «Они мне сказали: а ведь ваш товарищ антисемит. И я должен сказать, что если бы я тебя не знал...».

В здешней жизни все по-прежнему. Никакого очарования, ничего сколько-нибудь примечательного. Все идет своим чередом. Если со мной что-то и происходит, то идет это оттуда, из Парижа, и я не могу здесь об этом говорить. Но со вчерашнего дня я начинаю чувствовать, что покрываюсь настоящим, как черствой коркой. Я окапываюсь, как говорит Мистлер. Это значит, что вещи приобретают более четкие очертания; во мне оживают маленькие ожидания, ограниченные ближайшими часами; здешняя жизнь обволакивает меня, как густой туман, и не дает мне тщетно устремляться к тревожному отсутствию кого-то и отдаленному будущему. Во мне возрождается угрюмая тишь жизни, я обращаю внимание на запах табака, вкус кофе, атмосферу Солдатского Дома. Вся проблема чувств (грусть, радость, безразличие) зависит от степени *плотности* настоящего. Чаще всего в моменты печали пелена настоящего становится такой тонкой, такой прозрачной, что взгляд проходит сквозь нее, оно оказывается тоненькой стеклянной перегородкой, которая отделяет

от будущего и которую невозможно разбить; оно освещается каким-то нереальным, студийным светом, который не отбрасывает тени, под таким светом становится не по себе, как будто ты в огромном пустом зале.

Во всяком всевластии чувства, наподобие того, что я теперь переживаю, кроется непонятно какая неподлинность. Это отчаянная попытка убежать от одиночества. Но еще нужно понять, что это значит. Сегодня утром я сражен этой столь распространенной потребностью: желанием «быть любимым». На первый взгляд не так уж очевидно, что должно хотеть быть любимым, если сам любишь. В особенности если придержишься повсеместно распространенных психологических принципов. Если принять их, и если человек — это экзистенциальная самодостаточность, ему следовало бы хотеть обладать объектом любви, заполучить его в полное владение и на день, и на ночь, видеть полную зависимость в его рабских глазах и улыбках. Чего еще надо? Подобная зависимость встречается чаще, чем можно было подумать, однако она далеко не удовлетворяет; она только усиливает упорство этого стремления, которое — по ту сторону абсолютной покорности — ищет того, что ускользает от порабощения, ищет свободного сознания, любви которого и домогается. Я прекрасно понимаю, что любовь живого существа, которое является чьей-то собственностью, многое упрощает для собственника. Но я вижу также и то, что тому, кто хочет абсолютной власти, наплевать на любовь: ему довольно и страха. Абсолютные монархи и диктаторы искали любви своих подданных исключительно через политику — и если находили какой-то более выгодный способ поработить их, сразу же им пользовались. С другой стороны, однако, случается, что полное порабощение любимого существа убивает любовь в том, кто любит. Спокойнее и тягостнее быть любимым, чем любить самому. Эти истины из области здравого смысла показывают, что любовник вовсе не хочет пол-

ного порабощения любимого существа. Не желает стать объектом всепоглощающей и механической страсти. Он хочет пика, неустойчивого равновесия страсти и свободы. Прежде всего он хочет, чтобы свобода сама решила стать любовью, причем не только в начале, но решала так каждое мгновение. В любимом существе для влюбленного нет ничего ценнее того, что я назову независимостью любви. Сам я всегда со скрытым неудовольствием читал эти истории с приворотным зельем, рассказываемые Вагнером* или Бедье.** Если Тристан и Изольда обезумели от приворотного зелья, они мне интересны меньше всего в мире; их любовь — это болезнь, отравы. Помню, что я совершенно равнодушно читал самые трепетные страницы этой истории, ведь я не мог забыть, как родилась эта любовь. Если бы кто-то сказал мне, что готов с помощью колдовства завоевать для меня любовь самой красивой женщины в мире, то для меня такое предложение было бы равноценно предложению переспать с куклой человеческих размеров. Для меня дороже всего свобода тех, кого я люблю. Странное всевластие, скажут иные. Да, но эта свобода дорога мне при том условии, что ее можно попруть. Не упразднить, а именно нарушить. Но может ли нарушенная свобода оставаться свободой? Остается ли свободной «соблазненная» женщина? В этом весь вопрос. Но мне как раз-таки и кажется, что в любви заключается точный и метафизический ответ: свобода ни в коем случае не может перестать быть свободной. Мне известно, что немного устаревшим спутником любви является рабство, которое символизируется цепями, кандалами и всей этой всячиной. Но я не воспринимаю всерьез тех людей, которые жалуется, что их пленили. Но ведь, скажут мне, надо выбирать: если свобода по природе своей всегда должна остаться свободной, если ничто не может заковать ее в цепи, как же ее можно нарушить? Тут есть противоречие: как можно хотеть заковать в цепи то, что должно остаться свободным? Именно это, вне всякого сомне-

ния, и означает желание быть любимым: достичь другого в его абсолютной свободе. Здесь корень садизма, например, идеал которого в том, чтобы заставить стонать. Садист доводит пытки до того, что жертва больше не может сдержаться и молит о пощаде, садист испытывает наслаждение от того, что вырвал этот крик у свободы своей жертвы: ведь он мог не закричать, мог сделать другой выбор — погибнуть под ударами, стиснув зубы. Вот почему часто бывает, что садист заранее определяет выбор: или ты по своей воле пойдешь на то, что тебе отвратительно — или тебе придется помучиться. Выбор дается, чтобы жертва пришла в смятение от своей свободы и чтобы разговор оставался на почве независимости. Покоренный человек, жертва, идущая на уступку, еврей, который под ударами палок кричит «Долой евреев!», все равно делает свой выбор. Для садиста момент оргазма наступает именно в тот двусмысленный миг, когда принуждение дает ход свободе, когда свобода принимает на свой счет принуждение, на которое идет садист. И садист знает, что момент, когда выбор будет сделан, все равно наступит, что надо просто подождать, усиливая с каждым мигмом принуждение, и что жертва все равно будет свободной даже и в тот момент, когда уступит. Достоверность того, что свобода нерушима, могла бы обескуражить садиста, — точнее, она обескуражит кого угодно, кроме него, — но садист устроен так, что именно это противоречие и возбуждает его сильнее всего, именно эта невозможность, именно это режущее слух словосочетание: рабская свобода. Это его привлекает. В сердце порока всегда имеется сущностная пустота, наслаждение порочного человека всегда будет горьким. Я не хочу сказать, что любовь — это садизм, я хочу сказать, что садизм коренится в любви. Тот, кто хочет быть любимым, не осуществляет принуждения в отношении свободного выбора. Однако фразы и жесты, которые волнуют его больше всего, «вырываются» у любимого существа. То есть те, кто обнаруживают сдержанность, скром-

ность, отказ, вдруг побеждаются совершенно новой свободой, той свободой, которая уступает, которая выбирает согласие, которая решает не сдерживать себя. Эта свобода пленена *самой собой*, она обращена на саму себя — это как в безумии, как во сне — она захотела, чтобы ее пленили. Свободы, которая для самой себя создает потребность видеть любимое существо, касаться его, ласкать, — такой свободы мы требуем от тех, кого любим. И чтобы эта свобода осталась свободой, даже и в этом смятенном состоянии, нам нужно бояться, как бы она не высвободилась, не убежала, чтобы снова не овладела собой и не поставила себя мигом позже той свободой, которая *против* того, что с ней было раньше. В этом, собственно, и заключена природа свободы. Всякое любовное помышление, всякое любовное признание подводит нас к сиюминутному, прижимает нас к настоящему, потому что это плоды свободы, которая в будущем абсолютно свободна. Напрасно они целят в будущее, влюбленный так и будет трепетать за эти клятвы, так как в любви дается смутное познание свободы. Доказательством чему служит то, что нам мало любви, ставшей чистой верностью в силу клятвы в верности, которую нам удалось вырвать. Та, что скажет: «Я вас люблю, потому что я дала когда-то честное слово и не хочу от него отступить, так как я верна себе», — останется ни с чем. Мы хотим, чтобы она нас все время — сегодня, как вчера — любила в той свободе, которая использует свою свободу на то, чтобы убежать от самой себя. Что нам вовсе не мешает потребовать через мгновение новой клятвы в любви. Таким образом, от другого мы хотим этой всегда зыбкой и всегда новой свободы, которая направляется к нам и нас незаметно захватывает главной своей движущей силой. От любимого существа мы требуем того, чтобы его свобода *разыгрывала* для нас детерминизм страсти.

Остается понять, *почему* мы этого хотим. Ведь эта форма любви, которая является самой распространен-

ной и самой сильной формой любви, любви, требующей любви-рабства, любви, жаждущей свободы другого человека, только для того чтобы ее попать, является самой что ни на есть неподлинной. Есть другие способы любить. Но сама эта неподлинность может послужить нам проводником, так и в самом деле можно предположить, что всякая неподлинная форма существования определяется своей неподлинностью. Известно, что неподлинность состоит в том, что люди стремятся обнаружить какое-нибудь основание, чтобы «снять» абсурдную иррациональность фактичности. Мне представляется, что желание быть любимым преследует цель выставить другого человека основанием нашего собственного существования. Тот, кто будет нас любить — при том условии, что мы его любим — снимет нашу фактичность.

Что мне и хотелось бы сейчас объяснить.

Нужно видеть, что любовь не создает отношений с другим человеком; она возникает на экзистенциальном фоне *бытия-для-другого*, причем этот фон затрагивает нас в нашем собственном существовании. Я говорил, что существовать *для другого*, то есть существовать как беззащитная внешность, проецируемая на бесконечную свободу другого, — это в природе для-себя-бытия. Это в моей природе бытия для-меня внутри для-себя-бытия. Единственный способ *не быть* другим — *это быть-для* другого. И в той мере, в какой я есмь себе самому мое собственное «не-быть-другим», я есмь самому себе мое собственное «быть-для-другого». По природе своей я «подставляю себя под удар» другого, я сам «в опасности» перед бесконечной свободой другого. Невозможно не обращать на это внимания под тем предлогом, что у другого такое «представление» обо мне, которое меня не затрагивает. Это неправильно: на самом деле, я *вовлечен* в существование другого самым фактом своего существования, *вовлечен* в свободу другого, на которую я, в принципе, абсолютно не могу воздействовать. Тем самым мы нацеливаемся

представлять обычные отношения между сознаниями, основанные на том обстоятельстве, что сознания существуют во множественном числе внутри единства бытия-для-другого. Неподлинность состоит здесь в том, что мы скрываем от себя экзистенциальное единство для-другого под тем предлогом, что другой «создаст для себя мой образ». Однако доонтологическое понимание, данное в самом вторжении для-себя в мир, делает неэффективными эти попытки скрыть от себя истину — если и не всегда, то по меньшей мере раз от разу; тогда имеет место раскрытие. Робость — один из видов такого раскрытия. Хотеть быть любимым другим — значит хотеть «подчинить себе» его бытие-для-другого, действуя таким образом, чтобы свобода другого пленила саму себя перед лицом той незащитной наготы, каковой мы являемся для нее. Тем не менее не следует смешивать это желание быть любимым с, например, желанием быть уважаемым. В последнем случае вы ставите себя перед другим в виде сущего, в отношении которого другой, исходя из собственных принципов, должен вынести определенные суждения. Однако другой остается абсолютно свободным, он, например, может и покривить душой. В случае с любовью, наоборот, мы ждем, что другой околдует себя в своей собственной свободе, направит свою свободу на отрицание своей свободы перед нами. Только в такой мере мы перестаем подставлять себя под удар его свободы. Если перед нами свобода сковывает себя, то мы перед ней перестаем быть незащитными, и насколько это возможно, *внеположность*, каковой мы являемся перед ней, перестает быть *внеположностью*. С тем, чем мы являемся для нее, мы поддерживаем отношения, которые походят на отношения для-себя с самим собой. Вместо того чтобы для-другого отделилось от для-себя, оно оказывается его естественным продолжением. Внутри свободы того, кто нас любит, и на все время, что нас будут любить, мы оказываемся в *безопасности*. Таким образом, заставить кого-то полюбить себя не

значит пытаться составить для него лестный образ самого себя, это значит *существовать в безопасности внутри его свободы*.

Но это еще не все: недавно я показал, что всякое желание — это *желание присвоения*. И что всякое присвоение — это присвоение мира через отдельный объект. Желание устроено так, что объект желания всегда кажется нам неперменным условием возможности нашего бытия-в-мире. Я это прекрасно понял лет пять или шесть назад, когда решил бросить курить. Раньше я не принимал такого решения не потому, что предвидел все эти мелкие лишения, которые будут мучить меня в течение дня. Мне казалось, что «мир без табака» будет совершенно бесцветным, словно бы мертвым, я не буду, например, испытывать удовольствия в кинотеатре, если не смогу смотреть фильм, покуривая свою трубку. Мне не придется ждать ничего хорошего и от стакана доброго вина — если между двумя глотками я не смогу как следует затянуться — или даже от разговора с друзьями, если в моей руке не будет трубки. Отказаться от того, что ты любишь — неважно о чем речь — значит изменить свой мир. И когда ты видишь, что объект желания ускользает, тебе кажется, что это весь мир уплывает сквозь пальцы. Вот почему, наверное, лучший способ излечиться — это свести объект твоего желания к его непосредственному состоянию. Если начать с этой редукции, то уже не за что держаться. Когда я догадался свести табак к тому, чем он был, а это один способ развлечения среди многих в целом *мире*, я без всяких трудностей бросил курить. Итак, желание — это желание мира, а присвоение означает слияние в-себе-бытия и для-себя-бытия в идеальном единстве «самопричины». Ведь, если кто-то любит меня, меня желает, я не только застрахован в отношении его свободы, это «для-другого», каковым я являюсь для того, кто меня любит, оказывается *целым миром*. То есть мое реальное существование (в модусе для-другого) становится тем неперменным условием, которое де-

лает возможным бытие-в-мире-другого. И этот мир, которым я становлюсь, и будет тем самым миром, который является объектом моих желаний, эти деревья, эти улицы, это небо, это море (в этом глубинный смысл кристаллизации по Стендалю: любимое существо, преображенное в мир), потому что у нас с другим один и тот же мир.

Таким образом, ничтожащее и уничтоженное для себя, каковое в своей первичной структуре является желанием мира, существует в модусе для другого собственно в виде желанного мира. То есть единство для-себя и мира укрепляется на одну степень, поскольку с этого момента оно относится к типу единства для-себя и для-другого для одной и той же человеческой реальности. Именно это и называется желанием заставить себя любить: *реализовать единство для-себя и мира по типу единства для-себя и для-другого, существуя в безопасности внутри свободы, которая пленяет саму себя с тем, чтобы обозначить себя в виде мира.*

Могут сказать, что я в очень сложной форме выражаю весьма простые вещи, и что давным-давно известно, что влюбленному хочется «быть всем в мире» для любимого. Мне это известно, и я не занимаюсь здесь психологией любви. Я лишь хочу заметить, что если отношения между человеческими-реальностями устанавливаются не в модусе *для-другого*, то напрасно даже пытаться понять, почему одним прекрасным утром кому-то приходит в голову «быть всем в мире» для какой-то женщины. Потому что она дорога ему? Но ведь в этом нет необходимости, если он и так целыми днями может быть с ней, спать с ней, когда ему захочется. Потому что он хочет, чтобы он был ей так же дорог, как она ему? Но почему он этого хочет? Из воли к власти? Но сама воля власти, как я писал 22 февраля, требует экзистенциального объяснения. Можно сказать, что ошибка прежней психологии аналогична ошибке того физика, который поместил бы пробирку с воздухом в ртутную ванну, пытаясь доказать, что из-за давления ртуть в колбе поднимается. Ртуть не будет

подниматься, потому что необходимо, чтобы пробирка была пустой. И если мы сами не будем экзистенциальной пустотой, нам никогда не понять этого необыкновенного тщеславия, в силу которого мы, как говорил Паскаль, готовы на самые немыслимые безумства ради того, чтобы представить себя другим людям в «выгодном» свете.

Продолжаем, так как именно здесь кроется неподлинность. Мы хотим быть любимыми любимым существом, чтобы заполнить его существование. Однако это великодушие не бескорыстно: это существование, которое отныне мы воспринимаем как *призванное*, утрачивает в наших глазах свою фактичность, мы претендуем на то, чтобы самим — и свободно — привести себя к существованию, чтобы удовлетворить желание свободного сознания. По нашей доброте существуют эти любимые венки на руках. Как добры мы, что имеем глаза, волосы, брови, что неустанно расточаем их в каком-то порыве великодушия — для этого неутомимого желания другого. Если до того, как мы стали любимыми, мы беспокоились об этом неоправданном горении, каковым было наше существование, расплывшееся во все стороны, теперь это самое существование схвачено и желаемо во всех его ничтожных мелочах — свободой, которая аналогична нашей свободе, той свободой, которую мы сами желаем вместе со своей. Здесь основа радости любви: чувство оправданности своего существования. На деле, это совсем не так, просто мы утратили свое одиночество, существо, которое нас любит, нас поглощает в себя, и мы прячем свою голову у него на груди, уподобляясь страусу, который зарывает свою голову в песок. Ведь одиночества не существует без обязательного допущения нашей ничем не оправданной фактичности. По правде говоря, такую неподлинность я ставлю в упрек прежде всего тем, кто хочет быть любимым без любви со своей стороны. Но все дело в том, что сам я зачастую был из их числа. Чаще всего в любовную историю меня вовлекала потребность предстать перед другим сознанием как

нечто «необходимое», наподобие произведения искусства. Этакой манной небесной, которая сама собой его заполняет. Но я должен сказать, что если и вы, в свою очередь, любите, то какова бы ни была любовь к вам, вы снова впадаете в одиночество. Но об этом пришлось бы очень долго говорить, так как тогда следовало бы объяснить, а что такое любовь. У меня полно на этот счет идей, но для того, чтобы изложить их, потребовался бы целый том.¹ Тем более, что по природе своей любовь *сексуальна*. Я хотел лишь ухватить эту странную неподлинность, которая заставляет нас *зависеть* от какого-то человека по той именно причине, что мы для него всё. Хотя с виду тут совсем другое, но в этом метафизическом описании я обрисовал себя в полный рост. Завтра попытаюсь попроще описать себя в отношениях с другим. Необходимо отметить, что в настоящий момент я с трудом завоевываю себе эту подлинность, которую утратил в ходе своего пребывания в Париже. То есть, в сущности, я снова чувствую себя одиноким. Одиноким не в *отношении* тех или того, кого или что я люблю (это старый и абсурдный монахический анархизм), но *по ту сторону* тех, кто мне дорог и для кого, возможно, дорог я. Я обретаю «свою» войну и свою судьбу. Тем более, что это не так-то просто в настоящий момент, и, как было написано в какой-то итальянской газете, время, похоже, работает не против Германии. Запуганные скандинавские страны отдали на растерзание Финляндию и обещают быть послушными. Италия, похоже, идет на сближение с Рейхом,² а мы так и не знаем, с какой стороны взяться за противника. Перспективы довольно мрачные, этого довольно, чтобы отвлечь меня от жалких личных историй.

¹ Ср.: «Бытие и Ничто», часть третья, глава третья «Конкретные отношения с другим».

² Несмотря на договор между Германией и Италией, заключенный в мае 1939 г., Муссолини оттягивал вступление в войну на стороне Рейха. Это произошло лишь 18 мая 1940 г.

Сегодня в 10.15 — первая прививка против брюшного тифа. Сейчас 19.45, у меня несильный жар и легкая боль в руке. Весь день провел в Доме Солдата. Теперь мне здесь нравится. Письмо от Мистлера, переведенного в штаб армии, в третий отдел (Вагенбург): «Прошло уже десять дней, а мне до сих пор чудно от этих бюрократических требований, в силу которых у этой войны здесь странная морда. Жалко, что я не могу вести дневник. Что же делать?... Здесь я для них „фронтвик“. Неплохо! Какой престиж среди этих ребят, которые уже полгода живут здесь на казарменном положении, сохранившемся тем лучше, что в сентябре большинство из них его не соблюдало».

Быстрота, с которой подходит очередь на второй отпуск, пугает солдат. Они спрашивают: «Так что, весной ожидается серьезная драка?» И добавляют, вздыхая: «То есть так и будем здесь торчать». Оптимисты обращают внимание на то, что вторая очередь отпусков заканчивается 30 апреля, то есть получается два отпуска на восемь месяцев, так и должно быть, и что начальство торопит с отпусками только для того, чтобы выполнить собственные решения. Говорят со смехом и такое: «Это для поддержания боевого духа». И все, как один, с умным видом: «Тут что-то не так, они просто так ничего не делают». Находятся такие, кто отказывается ехать, так как они только что вернулись из первого отпуска, другие говорят с горькой иронией: «Там будут думать, что мы все время в тылу околачиваемся».

Среда, 28-е

Хорошая, но немножго беспокойная ночь, был жар. Во рту горечь. Говорят, что из тех, кому вчера сделали прививку, двое днем упали в обморок. Сразу припоминаю, что вчера на меня находила какая-то болезненная

вялость, на которую я почти не обратил внимания. Достаточно было постараться, и она бы полностью мной овладела, и я бы тоже упал в обморок. Со своего рода удовлетворением в очередной раз я убеждаюсь, насколько всякие помутнения сознания, нервные срывы, тошнота определяются нашим на них согласием. Как-нибудь расскажу здесь, как можно классифицировать людей по природе их согласия с собой. Например, Бобр, когда мы совершаем длинные прогулки, принимает свою усталость, купается в ней, так что она становится для нее приятным и желанным состоянием, для меня же, наоборот, эта самая усталость неприятна, причем до такой степени, что я чувствую, что нахожусь вне нее, и все из-за того, что я ее не принимаю. Существует определенная манера ладить с собой, которая мне совершенно неведома. Есть в этом свои преимущества и свои недостатки.

Сегодня, однако, я хотел бы вернуться к этому вопросу моего всевластия и моих отношений с другими, рассмотрев его с чисто описательной и исторической точки зрения.¹

Я уже говорил, и это может вызвать удивление, что в детстве я был симпатичным. Симпатичным и изнеженным, паинькой. У меня были «невесты» во всех городах, где мне приходилось бывать, и умиленные папаши и мамыши благословляли эти помолвки (мне было лет шесть или семь). Я вполне определенно отдавал предпочтение обществу девочек, а не мальчиков. К тому же у меня не было ни отца, ни брата, у которых я мог бы научиться жесткости, и я был королевичем в мире женщин. Впрочем, уже с этого времени я был

¹ «Я взялся осмыслить и описать свои отношения с людьми, но и здесь мне придется лгать, так как В. захочет читать дневники. Постараюсь как можно меньше влиять, хотя в общем это меня тяготит» (из письма к Бобру от 29 февраля). Только ли Ванда является предлогом для самоцензуры? Отметим, что в XI дневнике Сартр указывает точный срок своего отпуска, хотя он его скрыл от Ванды: то есть он, наверное, давал ей читать дневники не полностью.

кривлякой. Мне хотелось нравиться, и я прибежал для этого к выдумкам с явно эстетической направленностью, к придумыванию игр, поэтических историй, речей и т. п. Когда мне было лет девять, мама купила Гиньоля, и с тех пор, как только у меня появлялось немного денег, я приобретал нового актера для своего театра. У меня были Еврей, Жандарм, Старуха, сам Гиньоля и еще один персонаж, который переполнял меня каким-то восхищенным изумлением, хотя у меня и не очень получалось им как следует пользоваться — Би-Ба-Бо, он был куплен в казино Виши и отличался той особенностью, что его можно было переодевать, так как у него была съемная голова. Все эти куклы немного разочаровывали меня: головы у них были сделаны из папье-маше или (у Би-Ба-Бо) из целлулоида. Мне больше нравилась тяжелая роскошная деревянная голова лионского Гиньоля. Но это неважно: как и многие дети, в театре марионеток я был особенно восприимчив к тому, что есть в нем рафинированного, бесчеловечного, искусственного и необходимого. Прошло много времени, прежде чем я понял, что в настоящем театре встречаются все эти характеристики, если только не впадать в безмозглый реализм. Тогда я читал одну старинную детскую книгу, она называлась «Господин Ветер и Госпожа Слякоть»,¹ и она внушала мне настоящее почтение, так как от нее несло какой-то затхлостью и так как она была порвана и запачкана; должно быть, ею восхищалась в детстве моя мать. Эта книга вызывала восторг. Даже теперь я часто говорю себе, как бы мне хотелось ее найти. Один из героев этой книги владел волшебным театром марионеток, надо было ударить три раза палочкой, и куклы начинали двигаться самостоятельно. Я и теперь смутно припоминаю иллюстрации, от которых приходил в настоя-

¹ Речь идет о сказке французского писателя *Поля де Мюссе* (1804—1880), брате знаменитого романтика, написанной в 1879 г.

щий религиозный экстаз — деревянные солдатики, ручки которых жестко подвешены на толстых нитках. Короче говоря, я сам стал придумывать и играть не-счетные пьесы. Сначала это было в туалете нашей квартиры (я жил тогда с бабушкой и дедушкой на седьмом этаже в доме по улице Ле Гофф, выходящей на улицу Суффло). Затем постепенно я осмелел: стал брать марионеток в Люксембургский сад, там, на одной из аллей «Английских садов», я находил стул, вставал сзади него на корточки, прикрывая ноги захваченным из дома полотенцем, и выставял привязанных к моим рукам марионеток между перекладинами спинки. Стул превращался во вполне приемлемую сцену. Я играл и громко говорил, как будто для себя. Но сам-то я знал, чего дожидаясь и что не замедлило произойти уже в первый раз по прошествии каких-нибудь пятнадцати минут: дети прервали свои игры, благовоспитанно расселись по стульям и стали внимательно смотреть это бесплатное представление.¹ Благодаря этим выступлениям я приобрел себе несколько подружек, в частности некую Николь, она была примерно моих лет и вся в веснушках. В то время она была моей «невестой»; она была мне особенно дорога, ведь я завоевал ее своими выдумками.² С этого времени я связал — и это, наверное, было самым сокровенным в моем желании писать — искусство и любовь, так что с тех пор мне стало казаться невозможным достичь расположения маленьких девочек иначе, как через свои таланты комедианта

¹ Как подметил французский литературовед Филипп Лежён в своей работе о детском чтении Сартра, писатель, рассказывая этот эпизод, забывает, что благодаря подаренному ему волшебному театру юный герой «Господина Ветра...» тоже стал писателем. (См.: *Lectures de Sartre: Textes réunis et présentés par C. Burgelin*. Lyon: PUL, 1986).

² Ни книга «Господин Ветер...», ни эти детские успехи не упоминаются в автобиографической повести «Слова» (1964). Отметим, что одни и те же детские воспоминания в «Словах» представлены намного мрачнее, чем в «Дневнике».

и рассказчика. Не просто невозможным, но и низким. Мне наверняка не понравилось бы, если бы я был любим за красивое личико или очаровательный внешний вид, мне хотелось соблазнять очарованием своих выдумок, своих комедий, выступлений, стихов, чтобы за это меня любили. Вот почему в то время я безмерно восхищался «Шутами»¹ Замакоиса: там была принцесса, полюбившая одного красноречивого персонажа по имени Жакасс, *несмотря* на его огромный горб (он был накладной, но принцесса этого не знала). Можно сказать, мечта уродца: взять свое красноречием. Но я подчеркиваю, что тогда я был не уродлив. У меня были красивые белокурые волосы, я был круглощеким, несогласия не было видно. Скажем так: я был не уродлив, но инстинктивно готовился к этому. И если «Шутами» я восхищался, то «Сирано»² вызывал во мне негодование или наводил грусть. Как только Роксана могла полюбить глупого Кристиана, как с самого первого дня не оценила Сирано? В это время в моих глазах Сирано воплощал тип совершенного влюбленного. За всем этим крылось не столько предощущение моего будущего уродства, сколько некое понимание человеческого величия, которое, даже и утратив столь наивную форму, никогда меня не покидало. Я об этом писал во II дневнике.³ Величие, на мой взгляд, было выше мерзости. Дух брал на себя невзгоды тела, возвышался над ними, упразднял их некоторым образом, и, проявляя себя через обиженное природой тело, блистал с большей силой. Мне нравилась сказка «Красавица и Чудовище», потому что Чудовище вызывает интерес и неж-

¹ Драма в стихах, вышедшая в свет в 1907 г.

² Имеется в виду знаменитый «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (1868—1918).

³ В письме к Бобру от 6 ноября Сартр упоминает о «размышлениях об отрочестве», которые он записывает во II дневнике (до сих пор не обнаруженном). Возможно, что там речь снова заходит об его понимании человеческого величия, о котором он уже писал в I дневнике.

ность у Красавицы, причем сначала в виде Чудовища. Лет в шестнадцать я написал сказку на эту тему.¹ Много позже, уже в Эколь Нормаль, я снова столкнулся с этим своим ранним ощущением, которое эмоционально задело меня как вспышка молнии. Я читал книгу Андре Бельсора о Бальзаке,² там рассказывалось о первой встрече Бальзака с г-жой Ганской. Они не были знакомы, им предстояло встретиться где-то на Промеnade, и они условились о каком-то знаке, по которому должны были узнать друг друга. И вот Ганская в ужасе видит, как с этим знаком к ней приближается какой-то толстяк, одетый с кричащей эlegantностью. Она испугалась и чуть было не бросилась бежать. «Но, — пишет Бельсор, — она увидела его глаза и осталась». Большего и не требовалось, чтобы на несколько мгновений привести меня в глубочайшее волнение. Правда, в то время я уже знал, что уродлив, и страшно переживал из-за этого. Чтение романтиков, которыми я увлекся к десяти годам, не могло не укрепить эту идею величия: Трибуле,³ еще одна возвышенная душа в обиженном природой теле. Но влекла меня не столько возвышенность души, сколько эта способность складывать стихи в восхитительные тирады, слышав которые, как я думал, женщина, теряя голову, сдается на милость ттеца. Само собой разумеется, что любовь, которой я грезил, была целомудренной: ттец обнимал ее и нежно гладил. На этом история заканчивалась. Я не только не думал о физическом удовольствии, которое должно было проистекать из этих поэтических чтений, я не давал себе труда придумать продолжение истории. Понятно, что им предстояло нежно любить друг друга и быть очень счастливыми. Но такое развитие событий было для меня скорее скучным. Меня увлекал в основ-

¹ Незавершенный вариант этой сказки опубликован в «Юношеских сочинениях» Сартра. См.: *Ecrits de jeunesse*. Op. cit.

² *Bellesort André. Balzac et son oeuvre*. Paris, 1925.

³ Имеется в виду персонаж романтической драмы Виктора Гюго «Король забавляется» (1832).

ном сам акт соблазнения. Как только женщина была соблазнена, я ее предоставлял ее судьбе. И сразу же воображал для своего героя новые любовные приключения. Нет никакого сомнения, что я почерпнул эту идею соблазнительного могущества слов в университетской среде, в которой я рос. Грезить о просвещенном Дон Жуане, златоусте, покоряющем женщин силой своего красноречия — и так можно, знаете ли, признавать превосходство духовных ценностей. Понятно, что за всем этим крылось также некое спиритуалистическое неведение в отношении того, что такое тело, равно как неспособность ясно понять, что такое физическое волнение. Неспособность, которая вполне понятна для восьмилетнего ребенка, но которая, однако, должна показаться чудовищной, если принять во внимание, что я сохранил ее до конца юности. Не то чтобы в двадцать пять я не знал, что это такое, просто оно казалось возмутительным скандалом. В детстве меня окружала публика, готовая восхищаться и благоволить, поощрявшая мои слова. Я все сильнее и сильнее верил в себя и стал совершенно невыносимым, хотя мне доставало хитрости не очень это показывать. Тем не менее я не был, собственно, гордецом, — гордость пришла позднее — скорее играл для самого себя комедию гордости. Когда мне было десять, в Вис-сюр-Сер, где я проводил каникулы вместе с бабушкой и дедушкой, мы часто ходили гулять в обществе одного бывшего лицейского надзирателя, сблизившегося с дедом из-за родства профессий, его жены и одной молодой женщины, которую звали, насколько я помню, мадам Лебрэн, ее муж был призван в армию. Эта компания, благосклонно считавшая меня вундеркиндом (таким было правило игры), довольно наглядно представляет тип общества, где я в то время расточал свои прелести: отставные профессора, старички и старушки, которых я приводил в умиление, ну и время от времени в хвосте молодая женщина. Эту женщину, мадам Лебрэн, я желал так сильно, как только десяти-

летний ребенок может желать женщину, то есть мне хотелось видеть ее грудь, касаться ее плеч. Я заигрывал с ней, и как-то, поддавшись лирическому настроению и забыв о своих летах, рассказал, что настрадался из-за одной девочки и решил, ради отмщения, вести себя так, чтобы все женщины, которых я встречу, тоже страдали. Само собой разумеется, все это я придумал сходу, но все равно сразу же — патетично и неистово — пережил этот воображаемый удар, который нанесла мне моя изменница. Сегодня, вспоминая об этом маленьком эпизоде, я скриплю зубами от негодования и понимаю, насколько я был испорчен. Через некоторое время мадам Лебрен совершенно серьезно заявила: «Хотела бы я встретиться с этим малышом, когда ему будет двадцать. Я уверена, что все женщины будут от него без ума». Я воспринял это пророчество, ничуть не смутившись. Оно и на самом деле казалось мне совершенно естественным. Я был гадким королем-малышом. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, — я хотел любить так, как любят в книгах. Любовь казалась мне куртуазным приключением, игрой со своими правилами, весьма близкой, в сущности, к тем играм, которые устраивались в ходе «судов любви». К этому также примешивалась непонятно какая идея рыцарства, но так, под сурдинку. Мне часто представлялось, как я спасаю какую-нибудь красивую девушку. Нравилось также представлять себя непонятым, оболганным, всеми покинутым, даже и той, кого я любил, а потом, лет через десять, восстанавливающим справедливость. По правде говоря, в отношении роли возлюбленной я колебался: дабы несчастье мое было полнейшим, а финальный триумф бесповоротным, требовалось, чтобы сначала она меня не оценила. Но я читал и был убежден, что любовь заключает в себе безошибочный в отношении будущего инстинкт. То есть, если эта женщина любила меня по-настоящему, она не должна была сомневаться в моей невиновности. Я выходил из положения, наполняя нашу любовь всевозможными зло-

ключениями. В корне всех этих мрачных и трогательных любовных историй лежит, как мне думается, моя тогдашняя неспособность вообразить себе счастливую любовь после соблазнения. Если женщина была завоевана, я не знал, что дальше с ней делать, и если все-таки мне хотелось продолжения этой истории, то конечно же требовалось придумывать все эти недоразумения и злключения, так что каждое примирение оказывалось новым соблазнением. По правде говоря, долгое время — может быть, еще и теперь — я не знаю более волнительного мгновения, чем то, когда вырывается признание в любви. И теперь я думаю, что с самого детства в этом признании меня соблазняла именно околдованная свобода, из которой оно исторгалось.

Для избалованного любовью ребенка, которым я был, любовь была по бросовой цене, она валялась под ногами. Среди пожилых дам жестокие женщины мне не попадались, всегда было одно и то же. Вот почему мне пришлось упасть с неба на землю, когда в Ла Рошели я открыл для себя свое уродство и одиночество, когда убедился, как трудно завоевать любовь женщины, и что другим это удавалось намного легче. Я впал в глубокую меланхолию и познал муки неразделенной любви. По правде говоря, не к девушке, а к двум моим товарищам — Пелетье и Бутийе. Это было не какое-то противоестественное чувство, а восхищение и безграничная влюбленность, чем к своей выгоде сразу же и воспользовались два молодца. Они держали меня в ежовых рукавицах, я же стал их слугой. Крал для них деньги у матери, раз сто дрался за них, а они меня подло предавали. В то же время я превратился — к моему тогдашнему великому несчастью, к моему будущему великому счастью — в козла отпущения для всех лицейских мальчишек. Не в этот ли момент во родилась мечта об избранном обществе, где я буду царить? Думаю, что это так. Тем более что начало этой мечты связано для меня, не знаю в точности, почему, со сти-

хотворением Верлена «Одни и другие», которое я знал к тому времени. Полагаю, что это были компенсационные мечтания. Итак, я грезил о крохотном фаланстере, куда входили бы очаровательные девушки и элегантные, умные и сильные юноши. И я там был, я там царил благодаря своему уму и очарованию. Понятно, что эту грезу, которая обладала социальным характером, хотя сам я был столь мало социален, я лелеял, так сказать, в отместку, ибо передо мной действительно была группа, но я в ней не царил, я был ее козлом отпущения, она была против меня. Тем не менее у меня не было ни друга, ни «телки», если вспомнить это ужасное слово, которое было тогда в ходу, и я целыми днями страдал. С этого времени для меня великое дело — любить и быть любимым. Особенно быть любимым. Я никак не мог понять, почему это чувство, которое в детстве доставалось мне даром, стало столь недоступным и столь драгоценным. Я меланхолично твердил про себя пророчество мадам Лебрэн: «Когда ему будет двадцать, все женщины будут от него без ума». Я питал неясные надежды, что в двадцать все изменится. Но время шло, и я все глубже и глубже проникался ощущением своего безобразия. Одновременно определялась и уточнялась мечта о соблазнительных речах, для которых, впрочем, не представлялось случая. Мне важно было «представить» женщине мир, вышелушить для нее самые скрытые смыслы пейзажей или мгновений, все разжевать для нее, всегда и везде ставить себя вместо нее, вместо ее мысли, вместо ее восприятия, представлять ей вещи уже обдуманно, уже восприняты, короче, выставлять себя чародеем, всегда быть тем, чье присутствие необходимо, чтобы деревья были в большей мере деревьями, чтобы дома были в большей мере домами, чтобы мир вдруг стал существовать еще больше. Тогда я был на это неспособен. Но я пишу здесь об этом, так как и в этом было желание согласовать любовь и искусство. Писать — значило ухватывать смысл вещей и как можно лучше его передавать. Соблазнять — это было

то же самое. И я с изумлением вижу всю глубину самовластия, которое лежало в основе всего этого. Ибо, в конечном счете речь шла не больше и не меньше как о том, чтобы воспринимать вместо женщины, думать вместо нее, похищать ее мысли, заменяя их своими. Таким образом, мои мысли под воздействием околдованного сознания, стали колдовскими в моих собственных глазах, обрели необходимые четкие очертания и самостоятельность, так что я сам мог поддаться их очарованию.

Время шло, а женщины для соблазнения все не было. Что в то время не помешало мне решить, что я буду предпочитать женское общество мужскому. Я к этому еще вернусь. Как раз тогда мой отчим припечатал меня одним выражением, которое обожгло меня как каленое железо: «Он такой же, как я, — сказал он, указывая на меня, — он никогда не научится разговаривать с женщинами». Я отлично понимаю смысл этого выражения. Мне даже кажется, что я помню, как оно было произнесено отчимом — рассеянно, словно бы в воздух, без всякой мысли обидеть; наоборот, он в него наверняка вкладывал уважение к этому работающему, серьезному, не хватавшему звезд с неба мальчику, каким я был в его глазах. Но в жизни каждого ребенка всегда встречаются такие случайно брошенные слова — подобно спичке, брошенной рассеянным курильщиком в лесу, они выжигают его целиком и полностью. Не эти ли слова стали одной из главных причин всех этих дурацких разговоров, в которых, жеманничая, я терял время для того, в общем, чтобы доказать самому себе, что я умею разговаривать с женщинами. А отчим уж точно и думать о них забыл. Тем более что позже он строго сказал мне (по его мысли это было порицание, но для меня это был бальзам на сердце, после него все прошло): «Смотри-ка, а ты бабник». Думаю, он имел в виду, что я из тех мужчин, которые ради женщины готовы на любое безумство. Мне больше нравилось понимать это иначе: мужчина, на которого веша-

ются женщины. Как бы то ни было, две эти фразы оказали на меня необычайно сильное влияние. Итак, в Ла Рошели я не имел успеха у женщин. Не было его у меня и когда я приехал в Париж. Жюль Лафорг стал моим любимым писателем: он гордился тем, что в его сердце имеются тысячи дворцов, от посещения которых женщин удерживает их собственная глупость. Это было мое. Я рыдал над его стихами. Особенно одной ночью, когда сходил с семьей на оперетту под названием «Мадам», в которой очаровательная дурнушка по имени Давья пела: «Не так уж она и нехороша».¹ Она покорила мое сердце. Вернувшись, я перечел стихи Лафорга и разрыдался или что-то в этом роде. Низан тоже впадал в такую же меланхолию, хотя пользовался бóльшим успехом, чем я. Однако главное, что изменилось по моем приезде в Париж, это то, что у меня появились товарищи и друг. Дружба — самое главное. Это было нечто, что вместе с Низаном возникло в моей жизни в шестнадцать лет и с тех пор ее не покидало, обретая различные формы. У меня было три «близких друга», и каждый соответствовал определенному периоду моей жизни: Низан — Гиль — Бобр (ведь Бобр была мне *также и другом, и остается им*). Сверх привязанности (какова бы та ни была) дружба приносила с собой некий союзный мир, куда мы вместе с другом вкладывали все наши ценности, все наши мысли и все наши вкусы. И этот мир обновлялся благодаря постоянным изобретениям. В то же самое время один поддерживал другого, что и порождало *пару*, обладавшую значительной силой. Это, наверное, не совсем так в отношении моей дружбы с Гиллем, ибо нам так и не удалось соединить наши миры. Хотя мы испытывали друг к другу сильнейшую привязанность и высочайшее уважение, слишком

¹ Имеется в виду оперетта «Мадам» французского композитора *Анри Кристине*, автор либретто — *Вильмец*. *Давья* — имя актрисы, которая исполняла партию Шикоре, сообразительной дурнушки. Спектакль шел в театре Дону, Сартру было восемнадцать лет.

многое нас разделяло. К тому же группа не была замкнутой: был еще Маё, а главное — г-жа Морель, ее общество Гиль явно предпочитал моему, как и я потом — его обществу. Но в двух других случаях главным было то, что мы составляли сильную пару. Долгое время в Эколь Нормаль говорилось: «Сартр и Низан», такое представление о нас было настолько прочным, что нас путали. Потом еще долго меня считали автором «Антуана Блуайе»,¹ а про Низана думали, что он преподаватель в Гавре. Брюнсвик,² которого я встретил в редакции «НРФ», сказал мне: «Хочу вам сказать, что, несмотря на ваши нападки на меня, мне нравятся ваши книги». Я просто остолбенел, а он пошел прочь, не дав мне времени ответить. Ведь на Брюнсвика напал Низан в своих «Цепных псах».³ И что за книги ему «нравились» — «Заговор»?⁴ «Цепные псы»? «Тошнота»? Так или иначе, важно то, что мы составляли вызывающую зависть и уважение силу. Я вообще с семнадцати лет живу в паре, причем в виду имеется совсем не любовная пара. Я хочу сказать, что был вовлечен в сияющую и чуть-чуть обжигающую форму существования, лишённого тайн и всякой внутренней жизни, когда я постоянно ощущал на себе всецелое давление другого человека и когда я закалял себя, чтобы вынести это присутствие. От жизни в паре я становился твердым и сияющим, как бриллиант, в противном случае я бы этого не вынес. Наверное, именно в этом заключается одно из главных оснований «публичности» моей жизни. Я уже говорил, что малейшие мои чувства, малейшие мысли с самого рождения публичны. Ванда удивлялась, что я собираюсь опубликовать предельно откровенные дневники. Но для меня это стало чем-то естественным, и мне хочется думать, что это объясня-

¹ Роман Поля Низана, вышел в свет в 1933 г.

² Знаменитый философ того времени.

³ Скандальный памфлет Поля Низана.

⁴ Роман Поля Низана (1938).

ется дружбой. Каждый миг у меня было такое впечатление, что друзья читают в моем сердце, видят, как складываются мои мысли, даже тогда, когда те еще как мутные мыльные пузыри, что для меня прояснилось, для них уже было ясно. Я ощущал их взгляд в самой глубине самого себя, это заставляло меня вытаскивать себя на свет, изгонять из себя всякую темь, и как только какая-нибудь мысль являлась ко мне со всей очевидностью, принадлежала мне, она сразу же принадлежала и им. С этого времени в моем сознании стал царить безжалостный свет, это было как в операционной — гигиена, никаких темных уголков, никаких микробов, один холодный свет. И тем не менее, поскольку от сокровенного не так легко избавиться, поверх этой искренности, характерной для публичной исповеди, или, точнее, под ней, лежало своего рода криводушие, которое было собственно моим, было мною и которое сказывалось не столько в том, чтобы скрыть какие-то секреты, сколько в попытке ускользнуть от самой этой искренности, не предаваться ей. Если угодно, с одной стороны, я был целиком втянут в это дело, но с другой, *видя* себя втянутым в это дело, я ускользал и отделялся от публичной части самого себя уже в силу того, что на себя смотрел. Мне уже приходилось говорить, что сущностная форма моей гордости определяется тем, чтобы существовать вне связи с самим собой. Что тут было: сложилась ли она как защита от губительной сверхпрозрачности дружбы, или, наоборот, позволила мне выдержать эту ослепительную публичную жизнь? Вряд ли мне удастся ответить на этот вопрос, но связь тут очевидна. Лишь твердое сознание того, что ты все время не такой, как прежде, позволило мне в течение долгих лет показывать себя друзьям в ничем не прикрытой наготе. Лишь моя гордость позволила мне эту всецелую искренность. Искренность, которая, впрочем, была всецелой только в отношении высказанных *обстоятельств*, но которая не затрагивала *моего отношения к моей искренности*. Все что я говорил о себе,

сразу отделялось от меня, становилось общим, союзным достоянием; речь шла не столько обо мне сколько о нас. Но где же был тогда я сам?¹ Да просто во взгляде — ни грустном, ни веселом, созерцательном и сдержанном в отношении того, что я говорил, что приходило мне на ум или на сердце. Я жил в разлуке с самим собой — как господин Тэст;² я был чужд этого теплого и тесного сожительства с самим собой, которое служит утешением и колыбельной для стольких людей. Все, что я чувствовал, я сразу же подхватывал руками, затянутыми в перчатки, выражал это в словах еще до того, как оно достигало полного развития, малость преувеличивал и подавал другу еще тепленьким. А тот сразу же сообщал свое мнение и тем самым помогал мне достроить представление. Едва зародившись, порыв хорошего настроения или нежности, великодушия или эгоизма сразу же обретал этикетку, входил в категорию других аналогичных движений души и даже связывался с какой-нибудь ценностью; мы вместе решали, стоило ли его хулить или хвалить во имя морали, по которой мы оба жили. В силу чего было что-то такое, чего мне недоста-

¹ Распространялась ли эта сверхпрозрачность на Симону де Бовуар? Она спрашивала у Сартра во время последнего отпуска: «Что же это, такое чувство, по-вашему?». Когда Сартр пишет эти строки, он по-прежнему переживает из-за истории с Колетт Х., которая чуть было не стоила ему любви Ванды и рикошетом задела доверие Бобра. На протяжении нескольких дней ему уже дважды приходилось отрицать свою любовь к ней: в прощальном письме к Бьянке, чтобы смягчить удар, он писал, что уже ничего не испытывал ни к одной, ни к другой; в письме к Ванде, надеясь умиротворить ее гнев, он утверждал, что ради нее готов «переступить через тело» Бобра. Похоже, он опасается, что им снова овладевает «его безумие»: «Знаете, в настоящий момент я нахожусь в странной ситуации, с тех пор, как мной владело безумие, мне никогда еще не было так плохо... своего рода эмоциональное и моральное расстройство, которого я не знал с моего безумия» (письмо к Бобру от 29 февраля).

² Главный герой философской повести *Поля Валери* «Вечер с господином Тэстом» (1896) и ряда других текстов «тэстовского цикла».

вало. То, чего мне не доставало,¹ оставалось невыразимым, так что я долго жил, даже не замечая этого, это был какой-то пустяк, ну разве что определенная манера оставаться в покое внутри себя, быть заодно с самим собой. Напротив, Ванда, когда она была в Легле одна и могла рассчитывать только на себя, добилась близости с собой, которая не исключала, как мне хочется думать, определенного криводушия, но которая была нежной, как ласка. Чувства — непроясненные, непрояснимые — развивались в ней как-то беззаботно, доходя до того момента, когда им хотелось вырваться наружу — но не очень далеко, чтобы их не схватили сразу же за волосы, не вытащили на свет, чтобы они не забрыкались, прибитые ударом кулака по затылку, и чтобы потом их не каталогизировали, не забальзамировали, не превратили в соломенное чучело. Это и выражала Бобр, говоря: «Вы не психологичны», — что значит не столько то, что у меня не такие психологические реакции, как у других людей, сколько то, что они сразу же возникают во мне в виде засушенного гербария.

Я должен сказать, что эта полная сверхъясность была, скорее, моим уделом, нежели уделом моих друзей, откуда я заключил по зрелом размышлении, что это я, скорее, ставил дружбу на такую почву. Даже Бобру всегда удавалось сохранить участки тени или чистоты, которые составляли своего рода «психологический» очаг, где получала развитие целая тьма нежных или горьких вирусов. Понятно, Низан и Гилль сохраняли сдержанность, испытывая угрызения совести. И все же я выводил их мало-помалу под эти лучи холодного света. Результатом такого союза, когда в отношениях с Бобром он достиг наивысшего совершенства, стало подавляющее и похожее на знойное лето счастье.

¹ Отметим, что здесь Сартр сделал два исправления, которые вообще довольно редки в его дневниках; сначала он написал: «Было что-то такое, что было мертво во мне. Что было мертво во мне, и т. д.».

Бобр слегка жалуется на него в своем романе. Его героиня — Франсуаза — временами просто столбенеет от этого счастья, которое не оставляет ей никакой возможности желать чего-либо еще, и которое тем не менее иногда — перед неясными обещаниями неведомых друг для друга лиц — может показаться чем-то невыносимо жестким. Есть еще одна вещь, которую я недостаточно осветил в этих дневниках, и которая тем не менее меня объясняет: вплоть до этой войны я жил публично. И даже эти дневники, в сущности, представляют собой продолжение этой публичности. Порой я преувеличиваю свои впечатления. Но пусть поймут меня правильно: я их преувеличиваю в верном смысле, однако, возможно, что какое-нибудь свежее и неясное заблуждение было бы куда лучше, чем их слепящая истина. Ведь в этой истине уже нет ничего исторического, она не относится уже к человеку, которым я был в тот день, в тот час. Это истина *сущностная*: определенный человек по своей сущности должен был испытывать подобное впечатление в определенных обстоятельствах. Обстоятельства, характер, впечатления определяются без всякого сомнения: но ведь все это уже не я. По правде говоря, к своим впечатлениям я отношусь как к идеям: ведь идею доводишь до того, чтобы она или развалилась, или стала наконец тем, «чем, собственно, была». Но если психолог и вправе относиться так к чувствам, то человек просто молит о пощаде, ему бы хотелось время от времени испытывать реакции, которые он не может прояснить, назвать. Но я не «психологичен» — как раз по той причине, что я как психолог отношусь к самому себе. И такой позицией я конечно же обязан своим друзьям. А ведь в то самое время, пока я всего себя этому отдавал, пока вторгался в Маё, вызывая в нем усталость, пока строил с Бобром неутомимые прожекты, я мечтал о другом человеке, который был бы красив, нерешителен, непонятен, медлителен и честен в своих мыслях, чье милосердие было бы не благоприобретенным, а шло бы изнутри, само собой;

непонятно почему, я представлял его рабочим и бродягой на американском востоке. До чего бы мне хотелось почувствовать, как во мне медленно, неспешно складываются неясные идеи, до чего бы мне хотелось закипать неизъяснимым гневом, изнемогать от беспричинной великой нежности. Все это мой американский рабочий (он был похож на Гари Купера*) мог осуществить и почувствовать. Мне виделось, как он, запыленный и усталый, сидит на железнодорожной насыпи, дожидается скотовозного вагона, куда незаметно запрыгивает, и мне хотелось быть им. Дошло до того, что мы с Бобром придумали очаровательного (в моих глазах) персонажа — его звали Черепушка, он мало думал, мало говорил и всегда делал то, что нужно. А так как в силу невероятного рока все, что я себе напридумываю, обязательно сбывается, я встретил в конце концов такого Черепушку: это был маленький Бост. Но к этому я еще вернусь. Несомненно одно: из глубины дружбы я всегда рассматривал любовь как возможность потерять голову, делать что-то, не отдавая себе отчета в своих действиях.

Как я уже сказал, эта тягостная прозрачность обращивалась силой, олимпийской безмятежностью и счастьем. Людям, которые нас окружали, эти разнообразные пары, в которые я входил, казались преисполненными могущества. И они такими были. В особенности последняя — я и Бобр. В этом плане наши узы были столь крепкими и притягательными для другого человека, что никому не удавалось полюбить кого-то одного из нас, не испытав жесточайших мук ревности, которые вскоре, еще до встречи, на основе простых рассказов, превращались в неодолимое влечение к другому. Так что дружба всегда была для меня не какой-то смутной эмоциональной привязанностью, а некоей средой, миром и силой.

А ведь я не создан для дружбы. Я разочаровал всех своих друзей — не изменами, забвением или недостатком внимания, а просто нехваткой тепла. Что касается

внимания, по отношению к другому человеку у меня его всегда хватало, я не пропускал назначенных встреч, не был небрежен. Но было в этом нечто надуманное, это проскальзывало помимо моей воли. Гилье всегда ставил мне в упрек, что я стараюсь казаться «безупречным»; он считал, что, выходя от г-жи Морель, я с удовлетворением потирал руки и говорил Бобру: «Ну вот, видите, мой дорогой Бобр, я снова был безупречен». В действительности же в дружбе именно Гилье был самым небрежным, самым капризным и временами самым безразличным. Но чаще всего он был проникнут передающимся теплом, почти женской нежностью, ревнивой избирательностью, до которой самому мне было далеко. Я никогда не злился. Случалось, однако, что он подвергал меня жестоким испытаниям: я приходил к г-же Морель — он назначал мне там встречу — и на столе в салоне находил записку: «Мы поехали на авто в Сен-Жермен, подожди нас». Я ждал часа два или три, читая галантные истории XVII века, которые находились в библиотеке салона. Потом они возвращались, и Гилье говорил: «Она была просто невыносима, все время повторяла: бедный Сартр, он ждет нас, хотела, чтобы мы вернулись. Но была такая замечательная погода...». А мой поезд на Гавр отправлялся в восемь вечера, и у меня оставалось минут пятнадцать на беседу с ними. Я не злился. Я никогда не злился, но совсем не уверен, что это ровное расположение духа не вменялось мне в вину; оно могло казаться безразличием и в некотором смысле им и было. Что-то не припомню, чтобы, когда парижский поезд вез меня к Гилье, я испытывал особенную радость, которую он, если у него было хорошее настроение, обязательно переживал, встречая меня на вокзале. Я даже не думал о том, что сейчас его увижу. И если он оставлял меня на два часа в салоне г-жи Морель, я там не скучал, меня занимало чтение, мне было интересно там находиться (я уже говорил, что мне нравились интерьеры и в особенности интерьер ее квартиры), я обретал там свое

поэтичное одиночество. Когда в отношении меня Гиль обнаруживал своего рода нежность — всегда чуточку сдержанную и очаровательную — мне становилось не по себе, будто мне признался в любви извращенец. Как только отношения с мужчиной перестают быть поверхностными и дружескими, мне становится не по себе. Мне не нравится изливать свою душу, не нравится, когда он изливает свою. Не то чтобы я сдержан. Наоборот, мне случается говорить о себе такое, что это легко принять за откровения. Но, на мой взгляд, тут другое: я не говорю ничего такого, чего не мог бы сказать кому угодно. Откровение определяется для меня как формой, так и содержанием, некоторой несдержанностью, легкой небрежностью, желанием быть понятым и добиться поддержки. Если передо мной откровенничает мужчина, я цепенею. Понято, к Пелетье и Бутийе, к Низану у меня были чувства. Но в то время моя сексуальность еще не вполне сложилась, и, конечно же, в этих чувствах было что-то от платонической любви. Психологическая или физическая нагота мужчины шокирует меня так, что дальше некуда. Гиль не видел ничего плохого в том, чтобы раздеться передо мной, но меня это шокировало, я просто не знал, куда деть глаза. Я уже писал здесь, что это, возможно, вытесненный гомосексуализм, и Бобр, читая это замечание, подумала, что умрет со смеху. Я тоже думаю, что это не так. Но о чем же речь? Не знаю; возможно, определенная жесткость в строении мужского тела заставляет и меня быть жестким, возможно также, что во мне самом есть жесткость и грубость, которая только ждет случая, чтобы вырваться наружу. Или, может быть, нежность во мне столь явно сексуальна, как и привязанность, что я не могу даже подумать о том, чтобы быть нежным с женщиной, не испытав тотчас же своего рода порыва сексуальности, который не находит выхода, вызывает во мне отвращение и смущение. Я не хочу говорить о *желании*, однако прекрасно вижу, что, например, моя всецело дружеская нежность в отношении г-жи Мо-

рель питается утонченностью черт ее лица, ее кожи, ее жестов. Есть в этом что-то вроде природного родства. К тому же я часто замечал, что в нежности возникает какая-то странная неразличимость между моим лицом и лицом другого человека. Такой феномен, когда он ярче выражен, имеет свое название в психиатрии; наблюдали больных, которые подносили стакан к своему рту и говорили соседу: «Так что, выпьешь?» — или, наоборот, при виде того, как сосед пьет, воображали себе, что тоже пьют. Именно это и происходит со мной, когда нежность взаимна: на лице другого я читаю собственную мимику, мне кажется, что именно такое выражение лица и у меня самого. И конечно же это объясняется тем, что мое собственное лицо, как это и бывает во взаимной любви, волнует другого человека и вызывает нежную улыбку, которую я вижу на его губах. Вот почему у меня возникает такое впечатление, что это моя улыбка рождается на этих прекрасных губах. Но все дело именно в этом: у меня всегда такое впечатление, что я нежен через тело другого человека. Тем не менее я продолжаю ощущать самого себя, слежу за выражением своего лица, но все равно я вижу это выражение на этом другом лице. Так что для меня нежность не просто чувство, но, скорее, обоюдная ситуация. И совершенно понятно, что, когда другим выступает мужчина, жесткое выражение его лица становится непреодолимым препятствием, для того чтобы такая ситуация сложилась. Вот почему я лучше, чем кто бы то ни было, понимаю, через что должна пройти девушка, чтобы по-настоящему возжелать мужчину, и что мы с Бобром называли, пользуясь выражением Шарля Дю Боса* из его отвратительного предисловия к отвратительному роману Хоуп Мирлис,¹ девичьей

¹ *Mirrlees Hope. The Counterplot.* Во французском переводе роман вышел под названием «Ответный удар» (1929). В своем предисловии к роману Шарль Дю Бос писал, цитируя автора: «В наши дни писатели слишком склонны забывать, что во всякой девушке по-прежнему есть что-то от нимфы».

«нимфоманией». Тело мужчины всегда казалось мне слишком острым, слишком богатым, слишком сочным, чтобы я мог его по-настоящему захотеть. Тут, наверное, есть чему поучиться. Утвердила меня в этой мысли и Ольга, сказав мне как-то в руанском кафе «Виктор», что прелесть женщины или юноши обнаруживается сразу, тогда как для обнаружения прелести мужчины требуются долгая привычка и особенное внимание. Ощущая в поцелуе прелесть свежих и нежных губ, я всегда думал о том странном впечатлении, которое должны были вызывать мои губы, жесткие и пропахшие табаком. Скажут, что женщина желает мужчину только потому, что она женщина, но мне это ни о чем не говорит. Напротив, я думаю, что как для женщины, так и для мужчины именно женщина является абсолютным объектом желания. Для того, чтобы мужчина стал желанным, необходим «перенос».

Но здесь не место говорить об этом. Я лишь хотел отметить, что в своих отношениях с мужчинами я не усматриваю никакой нежности. Притом, что дружил я до сих пор с теми, кого назвал бы мужчинами-женщинами, весьма редкий вид, выделяющийся на фоне других своей физической прелестью, иногда красотой и целой тьмой внутренних качеств, неведомых для остальной части мужчин. Гилль, когда бывал в хорошем расположении духа, мог целыми часами говорить со мной о каком-нибудь лице, о мимолетном оттенке света или своего настроения, о какой-нибудь ничтожной сценке, что развернулась перед нашими глазами. Так что и я сам, как мне думается, несмотря на свою некрасивость, являюсь мужчиной-женщиной, по крайней мере в главном. Другие же мужчины не по мне, я где-то уже об этом говорил; они всецело забывают о себе, они себе на уме. Они вызывают во мне скуку и раздражение; я их избегаю, и долгое время — пока я был молодым — мне льстило то, что я был на стороне женщин. Помню еще года два назад малышка Люсиль, порочная и лживая актриска из театра «Ателье», кокет-

ка, не стесняющаяся грубых женских уловок, но все же женщина, пригласила меня отобедать вместе с ее «парнем», восхитительным египтянином со жгучими глазами и страшно ревнивым, мне показалось, что он воплощал собой тип самца, тип мужчины, который изнемогает от сладострастия на груди красивой женщины, защищает ее своей твердой рукой, когда она в этом совсем не нуждается, валяется у нее в ногах после устроенных им же бурных сцен, окружает ее неловкими знаками внимания, совершенно не понимая ее характера, сходит с ума от страха ее потерять, когда она его любит, и пребывает в полной безмятежности, когда она думает о другом мужчине, иной раз заливаясь горячими слезами и все время позволяет водить себя за нос. Она его любила, в этом не было никакого сомнения, и как раз из-за этого она чувствовала себя такой одинокой подле этого крупного тела, чье чувственное тепло в нее проникало; она любила его, потому что могла его обманывать. Она пыталась заигрывать со мной, но я не поддался, прекрасно зная, что она уже одарила определенными нежностями всех актеров «Ателье» от пятнадцати до шестидесяти лет, так и не дав никому к себе притронуться. День или два мы состязались в глупых играх, и я победил, не знаю уж, что за странное удовольствие я испытывал от этой игры. Как бы то ни было, во время обеда она постоянно касалась меня ножкой или коленом. Не было и речи о том, что она тем самым показывала мне свое расположение, ведь я уже знал, как мне следует себя вести, и между нами уже все было улажено. Мне подумалось, что она испытывает какое-то непонятное удовольствие от того, что обманывает своего египтянина, мне даже думается, что эти ее движения ничего не значили ни для нее, ни для меня, поскольку ни ее, ни меня ни к чему не обязывали, она думала о нем, а не обо мне. Когда она так смеялась над ним, ничем не рискуя в его присутствии, пока он с превеликой учтивостью рассказывал мне о своем экзамене на ученую степень право-

веда, она тем самым проявляла свою любовь; должно быть, она вся изошла от чувственности, которая предназначалась совсем не мне, а ему. Но меня забавляло то, что это меня выбрали сообщником в *противостоянии этому самцу*, которого она любила. Она не могла даже подумать как-то взволновать меня, здесь между нами все было ясно, ей было прекрасно известно, что я принимал ее игру так, как следовало, она вовлекала меня в эту игру с тем же отсутствием стыдливости в отношении меня, как если бы я был евнухом или женщиной. До нее как-то доходило, что я был на ее стороне и был в достаточной степени женственен, для того чтобы можно было *вместе со мной* смеяться над мужчиной (если бы я дал взволновать себя этими заигрываниями, она бы смеялась над своим самцом в одиночестве и против меня, но тогда игра была бы опаснее). Это было мое последнее и скоротечное сообщничество подобного рода. В истории с Ольгой К. я сам, увы, почувствовал себя самцом.

Кроме того, в дружбе есть что-то строгое, что наводит на меня скуку и тяготит. Главным образом из-за того, что ничего такого я в себе не ощущаю, она оказывается в моих глазах своего рода обязанностью, долгом. Я пытался сохранить дружеские отношения с женщинами, с которыми был когда-то связан другими узами. Но как только я перестаю любить, мне становится скучно. Думаю, что мне не нужен друг, потому что, в сущности, мне никто не нужен, мне не нужна помощь, не нужна эта строгая и постоянная поддержка, которую дает дружба. Например, с тех пор, как я на войне, я никогда не испытывал желания повстречать какого-нибудь мужчину с таким же складом ума, как у меня, и с такими же интересами. Мне больше нравится все брать из себя. В результате я плохо умею использовать других людей; Бобр мне часто говорила, что я никогда не слушаю, что мне рассказывают. Это не совсем верно, хотя слушаю я плохо и часто ерзаю на стуле в ожидании окончания рассказа. С друзьями происхо-

дит то же самое, что и с философиями других — я их не перевариваю. И к тому же, не желая говорить им о себе, я быстро начинаю скучать. Мне наверняка не хватает индивидуального гуманизма. Меня волнуют толпы, проходящие мимо люди, но в отношении индивидов у меня нет этой первичной симпатии, на основе которой могла бы возникнуть дружба. Моя первая реакция — это недоверчивость, подозрительность. Я пишу это в Доме Солдата; в зале сидит человек сто. Если взять их в целом, они меня немного занимают, но если рассматривать их по отдельности, мало найдется тех, кто сильно заинтересовал бы меня своим поведением или разговором. И нет ни одного, с кем бы я хотел познакомиться. Не люблю мужчин, я хочу сказать, самцов.

А ведь в Эколь Нормаль я вместе с Низаном открыл для себя товарищество, и это научило меня обращаться с мужчинами. Жить бандой — вот что вдруг стало меня привлекать. Мне думается, что есть совершенно особенное удовольствие в том, когда ты чувствуешь, что выделяешься на фоне группы, когда чувствуешь вокруг себя некую солидарность, от которой можно уклониться в тот самый момент, когда ей начинаешь подчиняться. Мне кажется, что особенно привлекала меня ощущаемая одновременность. Как правило, когда я пишу, мой сосед листает журнал, рядом два солдата играют в шахматы, это тоже одновременность. Но она в определенном смысле абстрактна, она распадается на тысячу локальных и изолированных действий. Я лишь мыслю ее, но совсем не ощущаю. Тогда как из-за этой солидарности, которая нас связывала, в единстве нашей группы каждый из моих жестов оказывался заодно с каким-то другим жестом какого-нибудь моего товарища, что и придавало ему своего рода необходимость. В Берлине я был в ужасе при виде того, как немцы радуются такой одновременности. В «Neue Welt», громадном ангаре, куда тысячи немцев приходят пить пиво, на сцене выступали баварские ансамбли, которые

не умели ничего, кроме как обнаруживать со всей живостью эту одновременность; один подбрасывал шляпу в воздух, другой тем временем отплясывал, а третий дул в охотничий рожок и т. п. Прелесть зрелища была, очевидно, именно в этом «тем временем», которое не имеет ничего общего со множественностью в единении кордебалета, так как оно представляет собой реальное разнообразие в чисто аффективном единении. То есть это было нечто такое, что мы достаточно живо ощущали и что меня радовало. К тому же я хотел быть главным, по меньшей мере «заводилой». Очевидно, это объяснялось тем, что я хотел взять реванш за свои унижения в Ла Рошели, которые, как я уже говорил, наложили на меня сильный отпечаток. Был ли я главным? Заводилой, может быть — но хотя случалось, что меня побаивались или мною восхищались, хотя я вдоволь наразвлекался (я всего себя отдавал всяким пародиям, сатирическим песенкам, паясничаньям, которым мы предавались с Низаном), я ощущал вокруг себя атмосферу некоего республиканского недоверия всякий раз, когда нужно было выбрать главного в каком-либо деле. Конечно же, за мной признавали и инициативность, и настойчивость, но я вызываю беспокойство из-за того, что мне недостает достоинства, во мне сидит клоун, и в общественных собраниях моя клоунада не знает удержу. Люди смотрят на меня со смешанным чувством — им забавно и они шокированы, они осторожничают. Ко всему прочему я почти сразу же осознал всю мерзость положения главного. Но мое желание царить просто видоизменилось. Я не расстался с этой мечтой царить при помощи любви в каком-нибудь милом и праздном обществе. Мало-помалу эта мечта опять видоизменилась (должен сказать, что и здесь я неоднократно добивался того, чего хотел), и превратилась в желание духовного господства. Мне бы хотелось быть мудрецом, с которым советуются, точнее старцем, наподобие старцев Достоевского. Я не уверен, что если начну копать в себе, не найду в глубине себя

осколков этого прежнего желания. Мне стало чрезвычайно не по себе, мне стало тоскливо, когда я оставил эту жизнь в группе, закончив Эколь Нормаль. Никакая дружба, никакая любовь не могли поначалу заменить этой насыщенной и легкой для меня жизни. Теперь такая жизнь была бы для меня невыносима. По прошествии многих лет всякий раз, как я оказываюсь в мужской компании, я веду себя как озлобленный и одинокий цензор. Самое удивительное то, что при этом я все равно вызываю симпатии: Брюншви́г и Копо* в Берлине, здесь — Петер. Клянусь, что я их не заслуживал. Если, ради забавы или любопытства, я позволял приблизиться к себе одному из себе подобных, то сразу мной овладевало одно-единственное желание: свалить его, как только представится случай. Для меня невыносимы отношения с мужчинами, которые завязываются в моем возрасте и которые не являются ни товариществом группы, ни личной дружбой. Вот уже несколько лет мне не *требовалось* повидать какого-нибудь мужчину и уж тем более искать с ним встречи. Это они меня ищут, а я их терплю. Я живу в окружении женщин, каждая из которых все отдаст, чтобы познакомиться с каким-нибудь Фолкнером или Колдуэллом.** Я же, глубоко восхищаясь первым и испытывая искреннюю симпатию ко второму, совсем не хочу с ними встретиться. Ни с Хэмингуэем, о котором все говорят, что он так мил. Если бы для того, чтобы с ними увидеться, надо было перейти через улицу и подняться на четвертый этаж, я бы это, конечно же, сделал, но не более того. Или, точнее, я много дал бы, чтобы посмотреть, как они живут, оставаясь при этом невидимым, чтобы невидимым призраком побродить по их дому. Но я заведомо испытываю отвращение от того, что эти отношения могут встать взаимными, то есть, что я буду видим, пока буду видеть их, от того что между нами может завязаться эмоциональная связь, пусть даже это будет простая сердечность или даже вежливость.

Короче, а любил ли я вообще когда-нибудь мужчину своего возраста — не считая Низана, в прошлом? Не думаю. И никогда не хотел, чтобы меня любили. В дружбе человеческие сознания сохраняют некую твердость, некую свободу, каковые представляются мне весьма неукоснительными, я не испытываю потребности открываться таким сознаниям (дело не в том, что я боюсь их ясных суждений на свой счет, скорее они предстают мраморными красавицами, которые не пробуждают во мне никакого желания). Меня привлекала лишь болезненная обморочность и добровольная порабощенность влюбленных сознаний. Короче, половина человечества для меня словно бы и не существует. Зато другая — надо в этом признаться, другая составляет мою единственную, мою постоянную заботу. Мне хорошо лишь в обществе женщин, уважение, нежность, дружбу я испытываю лишь в отношении женщин. Я и пальцем не пошевелю, чтобы увидеть Фолкнера, зато проделаю длинное путешествие, чтобы познакомиться с Розамундой Лиман.* Выражаясь словами Боста: «На коленях поползу!» Я пишу все это и краснею, потому что от всего этого веет песенкой Тино Росси «Я без ума от женщин», но это так. Поначалу еще можно было подумать, что эта страсть, которая не знает выбора — или почти не знает — объяснялась в молодом человеке обыкновенным юношеским романтизмом. Но мне скоро тридцать пять, уже много лет я живу в окружении женщин, и все время испытываю потребность узнать других женщин или по меньшей мере мне этого до последнего времени хотелось, теперь с этим покончено. Исключительно редко бывает, чтобы я, смертельно скучающий в мужской компании, не нашел развлечения в женском обществе. Я уж лучше поговорю с какой-нибудь женщиной о всяких мелочах, чем с Ароном о философии. Ведь эти мелочи для меня существуют, и любая женщина, даже самая глупая, говорит о них так, как мне самому нравится о них говорить; с женщинами я *договариваюсь*. Мне нравится, как они

говорят, судят о каких-то вещах, смотрят на них, мне нравится, как они думают, нравятся предметы их мыслей. Мне кажется, я уже давно выразил наилучшим образом испытываемое мной к ним уважение, провозгласив, что они во всем равны мужчинам, и потребовав для них равенства прав. В то же самое время я отказывался думать, что есть какое-то коренное различие между полами, а какие-то второстепенные отличия приписывал воспитанию и социальной среде. Но это им не очень помогало. Нет никакого сомнения, что они должны иметь одинаковые с нами права. Но это просто комплимент, когда мы говорим, что они «равны» с мужчинами, и уверяем их в том, что, если избавить их от унижительного социального положения, они будут мыслить так же хорошо, как и мы. Блистательной глупостью Огюста Конта было то, что он взамен наделил их особой чувствительностью. Как будто бы это что-то значит. Как будто было такое человеческое качество, которое называлось чувствительностью, и которым некоторые представители рода человеческого обладали в большем количестве, нежели другие. Как будто бы каждая человеческая-реальность не существовала целиком и полностью в каждом из своих проявлений. Необходимо заново поставить вопрос. Однако ясно, что, утверждая в духе благомыслящего кантианца равенство полов, проблему не решить; за понятием равенства ничего не стоит, на этот счет я заблуждался.

29-е февраля

Не знаю, не искал ли я на протяжении какого-то времени общества женщин, для того чтобы сбросить с себя бремя своего безобразия. Смотря на них, говоря с ними, стараясь пробудить на их лицах оживление и счастье, я терялся в них, забывал себя. Должно быть, без этого не обошлось, так как стоило мне оказаться наедине с некрасивой или неприятной женщиной, я

сразу же живо и цинично представлял себе, какую пару мы с ней составляем. Ей не приходилось ждать от меня никакого спасения, напротив, целое казалось мне столь же безобразным, как и составляющие его части. Я беспощадно ненавидел нас обоих. С другой стороны, мне казалось — без всяких на то оснований, — что общество красавиц меня спасает, что в таком сочетании главенствующим элементом была красота. Если попытаться выразить, что я тогда чувствовал, то, наверное, можно сказать, что меньше всего в мире мне хотелось бы, чтобы у меня было другое лицо, я желал бы лишь, чтобы красота, как благодетельная милость, расцвела именно на том лице. Моя тяга к красоте была скорее магической, чем чувственной. Мне бы хотелось проглотить красоту, заключить ее внутрь себя, мне кажется, что некоторым образом в отношении всех симпатичных людей я страдал комплексом идентификации, что и объясняет, что в друзья себе я выбирал красивых мужчин или тех, кого такими считал. Маё как-то сказал с вероломством Бобру: «Величие и трагичность Сартра в том, что он испытывает какую-то совершенно несчастную любовь к красоте». Этим он хотел сказать не только то, что я сожалел о своем безобразии, что мне нравились красивые женщины, но и то, что в своих литературных опытах я пытался схватить красоту, для который был не создан. Но я был пропитан Барресом и Жидом и очень узко понимал красоту литературы. Хотя, с другой стороны, совершенно справедливо, что в то время я пытался передать в стиле Анатоля Франса свои угловатые и шероховатые мысли, в результате чего на свет появлялись обреченные творения, тщетные усилия схватить ускользающую красоту. Но теперь мне кажется, что мысль Маё была даже более справедливой, чем он сам мог предполагать. Желание красоты составляет все мое существо, вне его я — пустота, ничто. Причем красота для меня это не столько чувственное украшение мгновений, сколько единство и необходимость в течение времени. Ритм, повторяю-

щиеся периоды или рефрены вызывают у меня слезы, меня необыкновенно волнуют самые элементарные формы периодичности. Отмечу, что эти упорядоченные событийные моменты по существу своему должны быть временными, так как пространственная симметрия мне безразлична. Замечательный пример чему мое февральское желание того, чтобы мой отпуск был *драгоценным*, то есть чтобы я прочувствовал его с начала и до самого конца как упорядоченное течение, имеющее свое завершение. Само собой разумеется, что из-за этого музыка представляется мне самой волнительной и непосредственно доступной формой прекрасного. В сущности, всеми силами своей души я всегда хотел и теперь хочу, хотя теперь на это и не приходится надеяться, только одного — быть в центре прекрасного *события*. То есть временного происшествия, которое *происходит со мной*, которое не *перего* мной наподобие картины или мелодии, а вокруг меня, вокруг моей жизни, внутри моей жизни, заодно с моим временем. События, в котором я был главным действующим лицом, которое захватывает в свое течение мою волю и мои желания, причем направляется моей волей и моими желаниями, события, чьим автором был бы я, наподобие того как художник является автором своей картины. И чтобы это событие было прекрасным, то есть обладало восхитительной и горькой необходимостью трагедии, мелодии, ритма, всех этих временных форм, которые через размеренные отклонения величественно продвигаются к своему концу, которым сами и чреватые. В «Тошноте» я все это уже объяснял, сейчас будет видно, почему я к этому возвращаюсь. Теперь же мне хотелось бы отметить то, что это острое и бесплодное желание временной красоты я приписывал человеку. Тогда как теперь — собственному своеобразию. Я вижу, что Бобра в основном волнует внешнее представление совершенно нечеловеческой эстетической необходимости — fuga Баха или картина Брака; она не хочет, чтобы ее жизнь стала материалом

этой необходимости. Наоборот, Ольгу Козакевич привлекает чувственное содержание какой-нибудь прекрасной формы. Я и сейчас вижу, как в комнате Зуорро она говорит нам не без агрессивности: «Композиция и мелодия меня не волнуют; для меня важны ноты». Я готов подумать, что с нее довольно будет какого-нибудь чувственного и мгновенного великолепия. По правде говоря, все сложнее, поскольку мгновения никогда не бывает достаточно, но для нее это по крайней мере идеал, и в конце концов эта неосуществимая мечта не более противоречива, чем моя, они в это ничем не различаются. На прошлой неделе я говорил о неосуществимом. Скажем, что у меня есть собственная неосуществимость: красота события. Причем когда я говорю собственная неосуществимость, я отнюдь не имею в виду, что это некая смутная мечта, которой я время от времени тешусь. Нет, я заброшен в эту ситуацию, мое бытие-в-мире, то есть, в бытие-вне-осуществимой-ситуации, я целиком и полностью в этом событии, красота которого меня к себе влечет и от меня убегает: это моя жизнь. Именно здесь объяснение этих комедий, которые я все время играю, не обманываясь на их счет, — это пантомимы, направленные на то, чтобы поймать неосуществимое, магические танцы, здесь же объяснение внезапных возвращений к грубости и цинизму, которые так часто сбивали с толку и шокировали окружающих меня людей. Короче, это моя страсть, а моя страсть — это я.

Я делаю на этом упор, потому что усматриваю здесь корень своих любовных страстей. Очень долго — почти до последнего времени — я питал иллюзию, что любовное событие может и должно быть этим непреложным событием и, в общем, этой красотой, к которой я стремился. Понятно, что объяснялось это тем, что на любовь я смотрел как на куртуазную игру обольщения. Если на нее так смотреть, она в самой себе заключает свой конец. Ее конец — признание, потом им стал половой акт, который рассматривается Лейрисом как

смерть во время корриды. То есть речь шла о размеренном продвижении к заранее известной цели — которая, правда, известна была так, как известна развязка в греческих трагедиях — афиняне о ней догадывались, ее побаивались и ее желали, известна так, как известна концовка какой-нибудь мелодии — ее ждешь и она неожиданна. И это конечное событие должно было произойти благодаря моим словам и поступкам. Понятно, как далек я был от понимания того, что такое чисто чувственная страсть. Нельзя сказать, что ничего о ней не знал, я просто ее не ощущал. И не стремился, чтобы ее сразу почувствовала моя партнерша, как тореадор не может хотеть того, чтобы бык рухнул сразу после того, как в него вонзены бандерильи. Нужно, чтобы она была *заслуженной*, то есть чтобы она возникла в конце пьесы, под занавес, вслед за последней репликой. Нет никакого сомнения, что сильная чувственная страсть, если бы таковой воспылала ко мне какая-нибудь женщина, сбила бы меня с толку и даже шокировала. Я смотрел на женщину — понятно, из-за книг — как на такое существо, которое сначала говорит «нет», а потом дает себя обмануть, не прекращая слабеющего раз от разу сопротивления. То есть каждый из нас имел заранее определенную роль. Женщина отказывала, я мягко, терпеливо настаивал, с каждым днем отвоевывая себе все больше пространства. Но я не смотрел на обольщение как на лицемерную, полную всяких уловок игру, как ее видел молодой Стендаль. Мне было бы очень неприятно, если бы я завоевал женщину хитростью, что опять же доказывает, что для меня была важна не столько женщина, сколько комедия, которую я ломал ради нее, так как я был не согласен заполучить ее каким угодно способом. И снова обладание было не столь важно, как обещание обладания. В деле обольщения я рассчитывал только на свои слова. Я и теперь помню свое неловкое положение в Берлине: я поехал туда с твердым намерением узнать любовь немок, но очень скоро понял, что не настолько хорошо владею

немецким языком, чтобы свободно с ними разговаривать. Лишившись своего оружия, я остался в дураках, ни на что не мог осмелиться; мне пришлось довольствоваться одной подвернувшейся француженкой. Как понравилась мне эта наивная фраза, которую бросил Бобру один разочарованный венгр: «Если бы вы знали, как я умен, когда говорю по-венгерски».

Но для меня важно было не это — я не хотел быть умным или блистать. Как я уже говорил, мне важно было поймать своими словами весь мир, поймать его для моей спутницы, заставить его существовать сильнее и красивее, помочь ему, как говорит Жид в «Нарциссе», «обнаружиться». Для этого мало было говорить. Надо было думать и о моментах молчания, выборе точек зрения. В сущности, это была настоящая литературная работа. И моя цель заключалась не в том, чтобы я стал необходим для нее, как наркотик, как посредник между ней и миром, а в том, чтобы в ее глазах неразрывно слился с красотой мира. В общем, важно было добиться такой искусственной кристаллизации. Помимо того, что эта по-настоящему творческая работа занимала свое место в упорядоченном развертывании обольщения, она мне нравилась и сама по себе, как музыкальная тема, что возникает посреди мелодии, не отделяясь при этом от целого. Именно к этому я всего сильнее и стремился. И на самом деле, поскольку мои подружки были умны и неприступны, мне приходилось постараться, и вечером я возвращался к себе с удовлетворенным ощущением того, что «у меня получился шедевр». Сегодня, когда я могу хладнокровно смотреть на это ушедшее время, мне кажется, что в словах, которые я произносил даже с самыми умными женщинами, равными мне, не было ничего особенного. Они должны были быть обдуманнами, чтобы проникнуть в это место, окружение, час и эту смутную уверенность, в которой пребывали мы оба, ощущая завязку любовных отношений. В конце концов это было легко, слишком уж легко и, как выразилась позднее Бобр, «это было

навечно». Тогда, говоря об этом, мы стали употреблять выражение «творить чудеса». Теперь мне отвратительны эти речи, молчания и милости, но не испытывал ли я к ним отвращения еще и тогда, когда ими наслаждался? Когда я возвращался со свидания, у меня было сухо во рту, мускулы лица выматывались от бесконечных улыбок, голос не мог избавиться от вязкого елея, я насквозь был пропитан отвращением, на которое я не хотел обращать внимания и которое скрывалось под чувством удовлетворения от того, что я «продвинулся в своем деле», уловил блеск в ее глазах, заметил ее невольные движения. Забавно то, что — сознавая в той или иной степени, что сам я ломаю комедию — я ни на секунду не мог вообразить себе, что и женщина могла ломать комедию, что еле сдерживаемые признания, вырвавшиеся откровения могли быть столь же тщательно обдуманы, как и мои речи. А ведь именно так чаще всего и было, теперь я уверен в этом — речь об этих полусознанных комедиях, которые наблюдаются почти во всяких любовных отношениях — причем причина не только в характере женщины, но и в том, как мне кажется, что эти комедии были вызваны к жизни моими манерами. Если бы мне пришлось тогда в этом убедиться, как бы я был оскорблен. Для меня это был не скетч для двоих, где у каждого своя роль, теперь я вижу, что от женщины мне требовалась совершенная наивность. В этом брэнном произведении искусства, которое я пытался создать, женщине отводилась роль материала, которому я должен был придать форму.¹

¹ Дневник XIII (1—5 марта) отсутствует.

ДНЕВНИК XIV

Март 1940

Буксвиллер—Брумат

6-е марта

Рисунок в сегодняшней «Ле Пти Паризьен». Здоровенный хулиган схватил за руку девушку, та вырывается, но тщетно. Сцену наблюдает, не делая ни единого движения, крохотный солдатик средних лет. Возмущенная барышня кричит: «Ну что, отпускник, ведь ты же рассказывал мне, что ты мастер по вылазкам в тыл врага». Рисунок этот, как и песенка Шевалье, которую я комментировал в одном из своих дневников,¹ представляется мне весьма характерным. Это разрушение воинской идеи. Воинская идея, появившаяся во времена профессиональной армии, заведомо наделяет военного гражданским мужеством. И в самом деле, у солдата, который всегда в той или иной степени наемник, все время «горячая голова», как у этих американских матросов, что стали знаменитыми благодаря ряду фильмов, начало которому было положено фильмом «По женщине в каждом порту». Репутация забияки играла свою роль для вербовщика, и эти качества могли послужить на войне, ведь дрались саблей, ножом или просто врукопашную. Идея «Нации под ружьем» все изменила, ведь солдатом становится не деревенский крепыш, а бакалейщик, булочник, секретарь мэрии, все эти щуплые и несмелые людишки, чьи мелкие недо-

¹ По-видимому, речь идет о не дошедшем до нас Дневнике II.

статки становятся в мирное время объектом беззлых газетных насмешек: скопидомство, трусоватость, излишняя скрупулезность и т. п. Причем быть нацией под ружьем и сознавать себя нацией под ружьем — это две разные вещи. Равно как две разные вещи *быть* рабочим классом и сознавать себя пролетариатом. Мне кажется, что первая реакция нации под ружьем на саму себя была мифологической. В 1914 году бакалейщика, булочника и т. п. расписывали как святых. Рисунки, которые мне вспоминаются, чуточку их идеализировали. Рисовались те же щуплые тела, неловкие движения, совсем не боевые физиономии, но благодаря искусству изможденные лица дышали какой-то неукротимой энергией, худоба казалась аскетичной, глаза горели священным гневом; даже неловкие позы отличались воинственным динамизмом. Абель Февр¹ был большим мастером таких житий святых. Они вернулись домой, к своим профессиям и привычкам, и вот наступает вторая национальная война. Мне кажется, что на сей раз нация под ружьем осознала самое себя. Времени для этого было вполне достаточно — это долгое ожидание в начале войны. И на сей раз все знают, что солдаты, ожидающие врага на линии Мажино, являются теми же самыми радикально настроенными мелкими коммерсантами, мелкими чиновниками мирного времени. Понятно, что все думают, — думать все мастаки — что они вполне пригодны и даже вполне достаточны для военного дела. Однако наблюдается вполне определенный разрыв между различными формами мужества и действия. Солдат, который дрожит перед главарем банды, может быть мастером по вылазкам в тыл врага. Дело в том, что вылазка осуществляется по своим правилам — внезапность, окружение, огневой удар, но не рукопашная. В составе хорошей группы даже бакалейщик может добиться успеха в такой вылазке. Но это ему отнюдь не в помощь, если

¹ Французский художник, график и карикатурист (1867—1945).

придется драться в рукопашной. В нем не прибавилось сакральности, никто не старается разглядеть в его глазах неугасимого блеска. И если полагать, что он выполняет тем самым свой «мужской долг», то следует думать, что силу свою он черпает в некоем добродушном гуманизме; именно этот гуманизм и помогал ему в мирное время переносить жестокие удары жизни, заставляя склонять голову. Вот что я называю антигероизмом. Демократическая нация, которую ставят под ружье и которая сознает себя в этом положении, представляется мне антиподом героизма. Ведь героизм всегда был и должен быть делом специалистов. Над ним должен витать ореол таинства и непроницаемости. Но если обнаруживается, как говорит Фолкнер, что «каждый может впасть в героизм», тогда уже не может быть героев. «Нация под ружьем» разрушает священную привилегию войны, так как она готова приписать воинскую функцию гражданской службе, барщине, которую все должны нести. В силу чего возникает целая цивилизация войны. В самом начале мобилизованных держали на приличном расстоянии. Мои ученики Шоффар¹ и Канапа² писали мне тогда: «„Немобилизованому“ трудно писать тому, кого мобилизовали». Теперь же им сели на шею, все прекрасно. Что будет, если дело дойдет до бойни, даже и не знаю. Знаю одно: все солдаты потихоньку жалуются на ироничную и покровительственную фамильярность, с которой относятся к ним гражданские. И тут ничего не поделаешь: ведь гражданский *работает*, он по-прежнему занят своим ремеслом, которым гордится, которому отдает лучшую часть самого себя. А если солдат перестает быть героем, он становится лентяем поневоле, которого уже не поддерживают и не спасают профессио-

¹ Шоффар Р.-Ж. — в будущем актер, который, в частности, исполнит роль дежурного по этажу в пьесе Сартра «Взаперти».

² Канапа, Жан — впоследствии философ и публицист, убежденный коммунист, с которым Сартр будет полемизировать в 50-е годы.

нальные обязанности, его кормят даром. Короче, как один совершенно точно выразился, — безработным. И это радует, несмотря на обиды, которые накапливаются в солдатских сердцах, так как это тоже убивает войну.

Когда я радуюсь распаду воинского духа, я говорю лишь то, что вижу, и ничего более. Для меня не секрет, что в Германии иной дух. И если я о нем не говорю, объясняется это тем, что я ничего об этом не знаю. Но я знаю, что изменение, возвещаемое французским духом, подчинено победе демократий. И если, наоборот, нас победят, то будущий историк по здравом размышлении увидит в этом доказательство нашего упадка и глубинную причину нашего поражения. Таким образом, сокровенный смысл настоящего состояния общественного духа отличается двусмысленностью. Правда, если я и питаю надежду на конечную победу плутодемократий, рассчитываю я при этом не на героизм, а на богатства. Рассчитываю на войну, лишенную «величия», войну главным образом экономическую. В этом случае «упадок» может не нести в себе угрозы и, напротив, даже стать благоприятным фактором. Вся проблема вращается вокруг этого вопроса: есть ли в истории такой непреложный закон, согласно которому «слишком» цивилизованные и «слишком» миролюбивые народы обречены в силу своей цивилизации на исчезновение? Или же этот закон относится лишь к «военному» веку, то есть к ушедшей в прошлое эпохе, в которой военные и экономические проблемы не были столь тесно связаны? Если этот неумолимый закон все еще существует, то перед нами тот нонсенс, что известная доза абсурдной жестокости, заключающая в себе миф героя и непогрешимости военного вождя, просто необходима для здоровья нации, пусть даже последняя и осуждается разумом, и притом что любое идущее от разума осуждение, ослабляя силу этой жестокости, ослабляет как саму нацию, так и мир.

Тогда «здоровье» нации становится своего рода весами, на одной чаше которых определенная доза первобытной агрессивности, а на другой — разум. Но если циничный экономический материализм подрезает крылья воину, если для войны нефть более необходима, чем мужество, тогда то, что могло казаться пагубной и мякотелой трусостью *слишком* цивилизованных людей, может стать новым духом. И низкое удушение воина трусами становится в свою очередь неумолимым законом. Тогда историк, который оценивает идеологию по ее успехам, вынужден видеть в этой так называемой упадочнической идеологии выражение противоречий современного капитализма, который ведет к войне, но воевать сам не может. А раз победа будет не за самым смелым, а за самым богатым, эта идеология может стать фактором прогресса. То есть, и по этой причине, как и по многим другим, совершенно верно, что мы переживаем поворотный момент истории, так как только победа определит ценность *нашей* и нацистской идеологии.

1888 год: речь Бисмарка в Рейхстаге. Он в последний раз выражает идею нации под ружьем, рассматривая ее сквозь устаревшую идею профессиональной армии.

«Если мы, немцы, хотим вести войну и добиться всего, чего можно ожидать от силы нашей нации, необходимо, чтобы эта война была народной. Мы будем воевать, если компетентные власти сочтут и объявят войну необходимой, но в такой войне, к которой мы придем не по воле народа, с самого начала будет недостаток энтузиазма, порыва... Само собой разумеется, что каждый солдат думает, что он лучше противника, но он почти что перестает быть солдатом, если не желает войны, если не верит в победу».¹

¹ Сартр цитирует книгу Эмиля Людвига «Бисмарк».

Вот бы он удивился нашей войне: мы не считаем себя лучше немецких солдат, не хотим войны, наоборот, всеми силами ее отвергаем. Наконец, мы *надеемся* на победу и все как один полагаем, что она зависит от того, что не имеет никакого отношения к тому, что мы собой представляем как солдаты: экономикки. И тем не менее воюем.

Нет никакого сомнения, что я представляю собой чудовищное порождение капитализма, парламентаризма, централизации, государственной службы. Или, если угодно, таковы мои исходные ситуации, за пределы которых я себя проецирую. Капитализму я обязан тем, что отрезан от трудящихся классов, хотя и не связан с кругами, управляющими политикой и экономикой. Парламентаризм привил мне идею гражданских свобод, ставшую основанием моей маниакальной страсти к свободе вообще. Централизации я обязан тем, что знать ничего не знаю о сельскохозяйственном труде, ненавижу провинцию, не имею никаких региональных привязанностей, как никто восприимчив к мифу «Большого-города-Парижа», как говорит Кайуа. Государственная служба определила мою полную некомпетентность в области денег, которая, естественно, является последним отголоском «неподкупности» и «бескорыстности» семьи госслужащих; ей обязан я и идеей универсальности Разума, так как во Франции госслужащий — это весталка рационализма. Всем этим абстракциям вместе я обязан тем, что представляю собой нечто абстрактное и беспочвенное. Я был бы спасен, если бы природа наделила меня чувственностью, однако я холоден. То есть вишу «в воздухе», меня ничто ни к чему не привязывает: мне чужда земля, так как я не работал в полях, мне чужды классы, так как я не имею с ними общности интересов, мне чуждо тело, так как я не знаю удовольствия. Смерть отца, второе замужество матери и мои разногласия с отчимом освободили меня от семейного влияния,

враждебность моих друзей из Ла Рошели приучила меня замыкаться в себе. Мое тело — здоровое, крепкое, послушное и сдержанное — не обращает на себя никакого внимания, разве что изредка шумно заявляет о себе в почечных коликах. Я ни к чему не привязан, даже и к самому себе; мне ничто и никто не требуется. Такого вот персонажа я сделал из себя за тридцать четыре года жизни. И в самом деле, «абстрактный человек плутодемократий», как говорят нацисты. Я не испытываю к себе никакой симпатии и хочу измениться. Я понял, что свобода совсем не означает стоическую отстраненность от благ и любовных привязанностей. Напротив, она предполагает глубокую укорененность в мире, мы свободны *по ту сторону* этой укорененности, одиноки по ту сторону толпы, нации, класса, друзей. Тогда я утверждал свое одиночество и свою свободу *наперекор* толпе, нации и т. д. Бобр мне правильно написал, что истинная подлинность заключается не в том, что ты со всех сторон выходишь за рамки своей жизни, или отступаешь от нее, чтобы судить о ней со стороны, или каждую секунду ищешь от нее освобождения, а наоборот в том, что ты в нее погружаешься, составляешь с ней одно целое. Но это легче сказать, чем сделать, когда тебе тридцать четыре и когда ты от всего оторван, когда висишь в воздухе. Сейчас я могу только одно: критиковать эту эфемерную свободу, которой столь терпеливо добивался для себя, и твердо придерживаться того принципа, что необходимо укореняться. Этим я не хочу сказать, что следует *держаться* за какие-то вещи, ведь я и так держусь за многое. Я хочу сказать, что личность должна иметь *содержание*. Надо быть из глины, а я — из ветра.

Не имея великих социальных страстей, существуя вне своего класса и своего времени, я похож на кролика Клода Бернара: * в целях эксперимента его изолировали, держат впроголодь, так что он самого себя переваривает.

«Свобода, как и Разум, существует и обнаруживает самое себя лишь в неустанном презрении к своим плодам; она гибнет, стоит ей собой залюбоваться. Вот почему во все времена ирония была характеристикой философского и свободолобивого гения, печатью человеческого ума, безотказным инструментом прогресса» (Прудон:* «Исповедь революционера»).

7 марта

С огромным интересом читаю «Вильгельма II» Людвига. Через эту книгу я пытаюсь вернуться к проблеме, которая уже долгое время не дает мне покоя: собственно, с сентября 1938 года. Мы с Бобром часто ее обсуждали: как и Арон, я признаю, что в понимании и объяснении исторического события можно обнаружить несколько слоев значений. И эти слои значения позволяют удовлетворительным образом описывать ход исторического развития — каждый на своем собственном уровне. Но эти значения параллельны, и нельзя с одного перескочить на другое. То есть войну 1914 года можно объяснить соперничеством немецкого и английского империализма. Так мы остаемся на почве марксистского и строго экономического объяснения. Принимаем позицию Ленина в отношении империализма и капитализма. *Вместе с тем* войну можно объяснить, перейдя на почву более глубокого исторического значения, показав феномен пангерманизма как выражение стремления Германии завершить свое объединение, начатое Бисмарком. Можно, оставаясь в этой плоскости и принимая во внимание исключительно немецкую ответственность, указать, что гегемония Пруссии равнозначна господству военизированных юнкеров над знатью. На «дипломатическом» уровне можно показать, как разрыв союза Бисмарка с Россией и Австрией — а его цель заключалась в сдерживании этих держав, которые из-за балканских проблем всегда

готовы были напасть друг на друга, — подтолкнул Россию к союзу с Францией и обнажил австро-русский антагонизм. Наконец, можно выйти ко двору Императора Вильгельма, его правительству, его советникам, его личности. На каждом уровне описание процесса будет вполне приемлемым, и нам удастся установить причины, если, как говорил Вебер,* а вслед за ним Арон,¹ причина считается установленной, когда в отсутствие рассматриваемого явления существует наибольшая вероятность того, что данное явление не имело бы места.² Только вот эти описания и эти объяснения *никогда* не могут примыкать друг к другу. Частая ошибка историков заключается в том, что они представляют все эти объяснения в одном плане и соединяют их союзом «и», словно из этого наложения их друг на друга может возникнуть некая организованная, обладающая иерархическими структурами целостность, которая якобы и представляет собой сам феномен, заключающий в себе свои причины и свои процессы. В действительности же значения остаются каждое само по себе. В иной идейной плоскости вы можете установить смысловую связь между «Общественным договором» и Женевским происхождением Руссо, то есть «вывести» происхождение «Общественного договора» из существовавших в Женеве идеологических течений. Можете также вывести «Общественный договор» из личности Руссо, то есть, исходя из личности Руссо, показать, что если он написал «Общественный договор», значит он должен был написать его именно

¹ Имеется в виду работа Раймона Арона «Философия истории» (1938).

² Мысль Сартра не очень ясна: если можно допустить, что какое-то историческое событие не имело бы места в отсутствие какого-то другого предыдущего события, то мы вправе рассматривать последнее событие как причину первого; согласно Веберу, историческая причинность неподвластна абсолютному знанию, она постигается путем ретроспективного подсчета расчета вероятностей.

таким. Таким образом, мы будем наблюдать за каждой чертой характера Руссо и ее отражением в «Общественном договоре». Книгу можно объяснить и через предыдущие произведения Руссо, и через нее саму, то есть *свести* произведение к предыдущим идеям Руссо, или же объяснять каждую главу через внутреннюю связность самой книги и ее собственную логику. Но дело в том, что ни в коем случае эти объяснения не могут быть представлены в одном и том же плане. В действительности они затрагивают автономные районы существования, и в каждом из них произведение может быть взято в каком-то отличном плане. Очевидно, например, что когда мы объясняем «Общественный договор» через Женеву, личность самого Руссо отходит на задний план, становится всего лишь абстрактным сознанием, некоей смысловой средой, где устанавливается связь между женевской идеологией и «Общественным договором», рассматриваемым как *определенное* юридическое сочинение, как одна из работ, где обобщаются эти идеологические течения. Но если, наоборот, я стану рассматривать «Договор», исходя из Руссо, тогда книга становится простым продолжением его личности, объективацией его личностных наклонностей, короче, строго индивидуальным и ни с чем не сравнимым объектом. В этом случае определение смысловых связей, которые соединяют Руссо и его книгу, входит в ведение чистой психологии. Наконец, если рассматривать книгу в контексте творчества Руссо и саму по себе, мы можем оказаться перед лицом идей, развивающихся согласно собственной логике и почти что самостоятельно. И конечно же все это в книге есть, но всем этим *сразу* книга быть не может. Откуда своего рода исторический скептицизм Арона.

Я был в этом глубоко убежден в сентябре 1938 года. Припоминаю затруднение, с которым мы с Бобром столкнулись, захотев понять причины наступающей войны. Не то чтобы их не хватало, даже напротив. Но

согласно каким принципам можно было их согласовать, устанавливая между ними иерархию? Каким образом от враждебных отношений между пролетарскими народами и плутодемократиями перейти к личности Гитлера? Возможно, это было тем труднее, что у Гитлера и его советников неоднократно был выбор между войной и миром. Что, наверное, стало еще яснее в сентябре 39-го, когда для спасения мира хватило бы всего лишь одного жеста. И сегодня я вижу, что спор о целях войны объясняется тем, что отдельные его участники, рассматривая вопрос об ответственности за войну, стоят на почве «своей собственной философии», как сказал бы Арон, находясь на определенном смысловом уровне. Ведь если мы теперь хотим ей помешать, мы должны устранить ее причину. Тот, кому было бы достаточно крушения национал-социализма, встает на индивидуальный смысловой уровень: ответственными оказываются Гитлер и его лейтенанты. Уберите Гитлера, и Мир вернется. Тот, кто, напротив, хочет расчленения Германии и аннексии левого берега Рейна, заявляя, что «народ несет ответственность за свое правительство», встает на коллективный исторический уровень. Ему это удастся с большим или меньшим успехом в зависимости от того, будет ли он повторять басню о «злом Фрице» и верить во врожденный принцип зла, который накладывает глубокий отпечаток порока на душу каждого немца, или станет опираться на реальные исторические обстоятельства: зарождение германского единства, постоянная угроза, которую являет собой центральная Империя, географическое положение Германии, в силу которого она постоянно находится в опасности и постоянно источает опасность, и т. п. Наконец, когда Валуа¹ утверждает, что Мир может быть достигнут только путем экономической ре-

¹ В это самое время Жорж Валуа выпустил книгу «Прометей-победитель, или Объяснение войны». Сартр читает также его ежедневную газету «Нувель Аж».

волюции и через новый тип организации производства и потребления, он рассматривает войну как одно из следствий глубокого экономического кризиса XX века и борьбы новых, пролетарских наций против необъятной англо-французской империи. Здесь мы имеем дело с «материалистическим объяснением». И конечно же можно сказать, что надо будет, если победа будет за нами, *разом* и свергнуть Гитлера, и принять меры предосторожности против немецкой нации, и организовать лучшее распределение богатств. Но логически все равно эти идеи между собой не связаны. Например, это не одно и то же — рассматривать Гитлера как узурпатора, который захватил власть вследствие глубокого смятения побежденной нации, и который удерживает эту власть силой террора, или как некую эманацию самой немецкой нации, как совершенное и адекватное выражение германских стремлений и нужд, «воплощение» этого народа,¹ или как инструмент великой экономической революции, которому можно было бы легко подыскать замену. Если бы мир устанавливался с учетом этих трех обязательных моментов, на которые я указал, то это объяснялось бы неуверенностью политических деятелей в отношении основного фактора войны.

Ведь, несмотря на то что все это представляется мне совершенно справедливым, мне вовсе не кажется, что этого достаточно. Мы были бы не правы, забыв, что эти различные смысловые слои являются *человеческими*, то есть порождены человеческой-реальностью, которая обретает историчность. Например, Маркс пишет в «Нищете философии», что «нищета может быть революционной силой». На что Альбер Оливье («Коммуна»²) совершенно справедливо отвечает, что само по

¹ Сартр вернется к этой проблеме «воплощения» в «Критике диалектического Разума» главным образом во втором томе «Познаваемость истории», вышедшем посмертно (1985).

² Книга вышла в свет в 1939 г.

себе действие нищеты может лишь обессилить, парализовать. По правде говоря, чтобы нищета стала революционной силой, необходимо, чтобы нищий воспринимал ее и брал на себя как свою нищету. Мало того, необходимо, чтобы она воспринималась как ситуация, которая *должна измениться*, то есть чтобы нищий поместил ее внутрь человеческого мира, где она и будет, собственно говоря, невыносимой. Но сама по себе нищета не может быть невыносимой: она собственно *ничто*. В 1835 году уровень жизни рабочих был гораздо ниже, чем тот, который сегодняшние рабочие сочли бы для себя неприемлемым. Тем не менее они его терпели, ибо воспринимали его как случайную, а не сущностную ситуацию своей природы. Сходным образом тому, кто показывает борьбу или равновесие экономических сил, не следует забывать, что это силы человеческие. Когда говорят о борьбе за рынки или даже о географическом положении страны, когда, например, показывают, что географическое положение Германии определяет ее историю, тоже не следует забывать, что борьба эта человеческая и что географическое или какое-то другое «положение» существует только для человеческой-реальности, каковая через него направляет себя к себе. Нет такой ситуации, которую просто *претерпевали бы*. Если бы человек был существом «среди мира», то не было бы никаких ситуаций, были бы лишь позиции. И человеческая-реальность не только «обнаруживает» ситуацию, когда вторгается в мир, но еще только она и определяет в своем исходном проекте смысл этой ситуации. Таким образом, нет никакой механической силы, которая бы решала ход Истории, и мы можем повторить, правда, в несколько ином смысле, знаменитую формулу Маркса, согласно которой «люди являются и авторами, и актерами своей собственной драмы». Но от этого параллелизм исторических значений только больше раздражает, ведь если человек повсюду оказывается и автором, и актером собственной драмы, если все значения человечески, и если

человек — это единая целостность, то как передать этот окончательный и невосполнимый разрыв между смысловыми слоями?

Проблема тем более сложна, что человек существует по закону *Mit-sein*,¹ что означает, что всякий раз, когда в индивидуе собираешься найти ключ к какому-нибудь историческому событию, тебя отбрасывает от него к другим индивидам. Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, так как начал ее раньше времени. Понятно. Но если бы Груши...* и т. п., то Наполеон, хотя и неудачно начал битву, может, и выиграл бы ее. И разве сказали бы тогда, что он начал ее раньше времени. И потом, как говорит Пьерфё, если бы Веллингтон** не был так глуп, то он сразу бы заметил, что проигрывает и согласно правилам игры отступил бы, вместо того чтобы глупо упорствовать, что в конечном итоге и принесло ему победу. Таким образом, мы перемещаемся от сознания к сознанию, так и не встречая удовлетворяющего нас сознания, действительного сознания, и тем более не имея возможности путем сложения всех сознаний получить органичную целостность. Есть и вторая проблема: исторический релятивизм в духе Зиммеля² легко превратил бы событие в *представления*, что, в общем, стало бы теоретической базой скептицизма, о котором мы только что говорили, позволяя ему при этом оставаться в пределах человечности. Однако очевидно, что хотя событие и *человечно*, то есть ощущается и проживается в модусе для-себя-бытия, оно тем не менее *есть*, то есть снова охватывается наступающим в-себе-бытием. То есть его невозможно свести к взглядам сознаний друг на друга, оно ускользает — и выходит за рамки сознаний в том, что оно вдруг оказывается взаимным существованием этих сознаний. Я уже об этом говорил в XII дневнике. В этот момент, несмотря на то что для события человек и

¹ Понятие Хайдеггера — бытие-с, со-бытие.

² Зиммель, Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог.

«автор и актер», оно от него ускользает, более того, над ним господствует. Чтобы продолжить сравнение, предложенное Марксом, я воображаю себе автора-актера наподобие Шекспира или Мольера, к тому же еще и режиссера, который пишет, ставит и играет некую пьесу. Он всему голова. Если я что-то у него отниму, то я сразу столкнусь с сознаниями других актеров, более того, с сознаниями зрителей. Тем не менее есть нечто, что выше всего этого. Не скажу, что это *собственно* театральная пьеса. Понятно, что автор-актер «внутри», как и другие исполнители, как и зрители. Оно перед ними; если угодно, между сценой и рампой. Только вот пусть это и *объект*, это объект *для* сознаний. Речь идет о некоем единстве, выходящем за пределы сознаний, которые сходятся к нему, оно существует лишь через отношение к этим сознаниям. Но гораздо менее человечен и рационален — и автор, зрители и исполнители схватывают это в неразличности существования в себе — тот *факт*, что все эти сознания сошлись к одной и той же пьесе, 6 мая 1680 года, в Бургундском дворце. И если даже Бургундский дворец, как и дату 6 мая, можно лишить субстанциональности, заметив, что и дворец, и дата существуют лишь для сознаний, ничего не поделаешь с тем, что в некоем недатированном течении времени некое синтетическое единство сознаний существовало в модусе *в-себе*. И это единство является непроницаемым и неисчерпаемым; это настоящий абсолюте. Добавлю, что его содержание является всецело человеческим, хотя само единство — как существование *в себе* — совершенно бесчеловечно. Речь идет о фактичности бытия-для-другого. В самом деле, человек может существовать не иначе, как для-себя или для-другого. Однако он ускользает от самого себя через собственную фактичность, которая покрывает это для-себя некоей плотностью в-себе-бытия. Так же обстоит дело и со взаимными отношениями бытия-для-другого. Это и есть *событие*. На это событие в абсолютном его существовании и нацели-

вается историк. Достаточно обратить внимание на то, как он говорит. Вот, например, как тот же Людвиг говорит о постоянных ссорах Голштейна* и Эйленбурга:** «В подобных пререканиях двух невращеников внешнюю политику Германии бросало то влево, то вправо». По его словам понятно, что он нацеливается на то, что ускользает от этих двух сознаний, что он опирается на истину, которая не гарантируется очевидностью для-себя-бытия. Равно как, когда он пишет: «Его мать ничего не предприняла, чтобы отвлечь его», — опорой ему служит некое сознание, которое говорило себе: «Я ничего не стану предпринимать, чтобы отвлечь его». Ясно, однако, что он возвышается над этим сознанием, оказываясь на том уровне, где это уже *факт*, за который императрица Виктория — раз уж это факт — больше не несет ответственности. Историк всегда на уровне фактичности. Правда, сокровенная двусмысленность исторического исследования определяется тем, что он будет *датировать* это абсолютное событие, то есть заново помещать его в человеческие перспективы, тогда как оно является бесчеловечным в-себе-бытием человеческой-реальности, самой ее фактичностью или тем фактом, что человеческая-реальность не является собственным своим основанием. Так выходит, потому что этот нечеловеческий факт поначалу обладает человеческим содержанием, а затем его будут воспринимать, брать на свой счет и выходить за его рамки другие человеческие сознания, которые направляют себя по ту сторону фактичности события и преобразуют его в *ситуацию*. В конце концов именно в *этом* бесчеловечность Истории — бесчеловечность метафизическая, — а вовсе не в том географическом обстоятельстве, что в Румынии или Мексике есть нефтяные скважины. Ведь нефтяная скважина «уже-в-мире», когда вторжение человеческой-реальности «ее обнаруживает». Тогда как историческое событие вовне, в силу чего и есть мир.

То есть в конечном итоге на два таких факта, как «Пьер не пошел вчера к Терезе» и «Слева канава», человек реагирует одинаково. В обоих случаях он смотрит на себя так, будто он находится в присутствии в-себе-бытия. Что и доказывает своими поступками. В силу чего, однако, нечеловеческое в-себе-бытие очеловечивается, его снова помещают в мир, воспринимают, выходят за его рамки: «„Пьер не пошел вчера к Терезе?“ — Ну ладно, я еще успею позвонить и т. п.». Таким образом, событие оказывается двусмысленным: оно бесчеловечно, поскольку заключает в себе и превосходит любую человеческую-реальность, поскольку в-себе снова охватывает для-себя, которое от него ускользает, уничтожая себя, и оно человечно, поскольку, стоит ему появиться, как оно становится «от мира» для других человеческих-реальностей, которые его «обнаруживают», его превосходят, для которых оно оказывается *ситуацией*. Проживаемое в ничтожащем единстве для-себя-бытия, схватываемое в бесчеловечной вязкости в-себе-бытия, воспринятое и превзойденное — как целостность в-себе-бытия — другим сознанием, событие, собственно, является неопишмым. Историк же движется в трех плоскостях: в плоскости для-себя-бытия, где он пытается показать, каким образом в историческом персонаже решение обнаруживает себя для себя; в плоскости в-себе-бытия, где это решение становится абсолютным, временным, хотя и не датированным; в плоскости для-другого, наконец, где другие сознания схватывают чистое событие, датируют его и превосходят как сущее «от мира». Что становится очевидным, когда, например, историк пытается отделить то, чем же собственно был штурм Бастилии от того, что с ним *сделали*. В противном случае не о чем даже спорить; если историк — релятивист в духе Зиммеля, тогда событие ни чем не отличается от того, что с ним *сделали*.

Однако нельзя ли, если отвлечься от этой сущностной двусмысленности, все повернуть так, как повернул

О. Конт, когда он показал, что социология, которая является последней по времени появления наукой и которая зависит от всех остальных наук, обращается ко всем наукам с тем, чтобы охватить их и обосновать каждую в индивидуальной конкретизации? Нельзя ли попытаться показать не ситуацию, действующую на человека, что ведет к разъединению смысловых слоев, а человека, направляющего себя в мир через ситуации и проживающего их в единстве человеческой-реальности. Не удастся ли тогда нежданно-негаданно достичь синтеза смысловых слоев? Не остаются ли эти смысловые слои, наподобие наук у Конта, строго параллельными из-за того, что мы с самого начала к ним обращаемся и рассматриваем их по отдельности? А если рассмотреть их исходя из проекта человеческой-реальности? Например, для классического историка политика Вильгельма II в отношении Англии, с одной стороны, и атрофия левой руки, с другой стороны, представляют собой два совершенно отличных типа психологической мотивации. Но все дело в том, что анализ начинается с того, что атрофия левой руки полагается в виде одного *факта*, а существование англо-германских отношений — в виде другого факта. Предположим, что мы берем Вильгельма II как человеческую-реальность, которая проецирует себя через ряд ситуаций. Как знать, не обнаружим ли мы внутреннее смысловое отношение между политикой в отношении Англии и атрофированной рукой? Людвиг и позволяет в этом увериться. Правда, не стоит принимать точку зрения психоанализа, который представляет собой один из видов детерминизма и который в силу этого — пусть даже он и кичится тем, что ввел историю в объяснение индивидуальной жизни — оказывается внеисторичным. В самом деле, Историю можно понять лишь через *обновление и принятие во внимание памятников*. История существует только тогда, когда прошлое принимается во внимание, а не берется как просто цепь причин. Мне хотелось бы попытаться набросать

здесь, исходя из интерпретаций Людвиг, портрет Вильгельма II, показав его как человеческую-реальность, которая принимает и превосходит определенные ситуации с тем, чтобы посмотреть, не сойдутся ли различные смысловые слои в рамках одного проекта, и определить, в какой мере Вильгельм II является *причиной* войны 14-го года. То есть это будет набросок другого типа исторического описания, в котором объяснение будет идти в обратном порядке — не от ситуации к человеку, а от человека к ситуации. И совсем неважно, верны ли все толкования Людвиг. Достаточно считать их истинными, это рабочая гипотеза — ведь речь идет об испытании метода, а не установлении фактической исторической истины. По правде говоря, речь не столько о том, что разработать какие-то приемы, которые были бы полезны для Истории, сколько о том, чтобы заложить основы некоей метафизики историчности и показать, как исторический человек свободно приобретает историчность в рамках определенных ситуаций. Наверное, попробую это сделать завтра.

Один молодой человек в очках, худощавый, на вид дурак дураком, но из тех, что имеют обыкновение умничать, видит, что я читаю «Коммуну» Оливье, и осторожно начинает ко мне приставать, затем признается, что он социалист и «активно занимается рабочим движением». Он подробно описывает мне идейный разброд рабочих партий, их пессимизм. «Нам уже так надоела война, что если бы Даладье принес нам сейчас мир, то он стал бы Богом, он смог бы делать все, что пожелает, пролетариат дал бы себя обуздать». Я хочу его прощупать и говорю: «Раз так, какое счастье, что он на это совершенно неспособен». Но тот так и не раскрывает до конца свои мысли. Он только что вернулся из отпуска и повидал немало мобилизованных на работы в тылу, тех, кто трудится на заводах парижского округа. «На заводах царит настоящий террор, — говорит он мне, — как только рабочий начинает при всех

жаловаться — гоп! — его тут же хватают и без всякого разбирательства отправляют в концентрационный лагерь. Рабочие подавлены и запуганы». Сведения представляются мне весьма ценными, но сама личность этого типа умаляет их значение; он и в самом деле говорит мне с видом заговорщика: «И... тебе разрешают читать эти книги, здесь... твои офицеры? Ты совсем... не скрываешь... из осторожности?» Полагаю, что если бы этот тип не был подчинен режиму террора, он бы выдумал себе свой маленький террор для личного пользования. Заканчивает он на оптимистической ноте: «Рабочее движение заражено коммунизмом до мозга костей, но Россия рухнет первой, и я думаю, что вот тогда-то рабочее движение и восстановит свою чистоту». В высшей степени недоверчивый, когда речь идет о правительственных мерах, и благо-разумно признающий частичный провал блокады, он наивничает, как только речь идет о пролетариате, и все еще рассчитывает на народную революцию в Германии.

Пятница, 8 марта

Жак Шардонн цитирует в «Частной хронике» одного историка, чье имя он не называет: «Все произошло очень плохо, как и всегда».

Что прежде всего попытался бы увидеть классический историк, если бы хотел написать историю Вильгельма II, так это *факт* или, скорее, совокупность фактов, которые, очевидно, предшествовали его индивидуальности и влияли на развитие его личности. Факты эти достаточно непреложны, чтобы можно было перечислить наиболее важные, и сразу же становится ясно, что они принадлежат совершенно различным смысловым слоям. Я скажу, что первый из них — это сам факт Империи, то есть этой священной власти, которая ожи-

дает его в будущем, хотя самому ему и не придется ни заслужить ее каким-то особенным образом, ни завовывать. Однако речь не просто о какой-то там империи. Эта конкретная империя является совсем новой, она окончательно сложилась только в 1870 году. И «имперский герой» является также вождем военного государства, королем Пруссии. В этом качестве он станет главнокомандующим, *Kriegshept*, как и его дед. Здесь следовало бы со всей точностью определить полномочия, которыми наделяет его немецкая Конституция, с тем чтобы ясно представить себе эту имперскую функцию, каковую выковал для него Бисмарк и каковая его дожидается.

Второй факт затрагивает семью. Для начала следовало бы показать его внуком Вильгельма I, с одной стороны, а с другой — по материнской линии, внуком королевы Виктории. Племянником Эдуарда VII. Сыном слабого и глупого пруссака и влюбленной в Англию англичанки, которая приобщила его к либерализму. Следовало бы сделать упор на весьма своеобразном характере отца, этого вечного кронпринца, который чахнет в тени трона. Так что, Вильгельм II не королевский сын, а королевский внук. Наследование минует одно поколение. Когда же его отец вступает наконец на трон, всем известно, что он обречен.

Третий факт, связанный, впрочем, с этим же выпадением одного поколения в престолонаследии, заключается в том, что правящие лица не соотносятся по возрасту с будущим сувереном. По большей части речь идет о стариках, которым зачастую за восемьдесят, как это было в 1713-м при дворе Людовика XIV. Ясно, что с этими старцами юный император не может управлять страной. Этот факт относится к будущему, однако нетрудно предугадать, что ему придется обновлять правительство. Но поскольку всемогущим господином Германии является Бисмарк, это обновление должно будет принять вид дворцовой революции, так как Бисмарк, глава правительства, может уступить только революции.

Четвертый факт заключается в том, что весь правительственный аппарат создан Бисмарком и *для* Бисмарка. Слабость его организации определяется тем, что она имеет какой-то смысл только в том случае, если ее контролирует и ею управляет сам Бисмарк. Вильгельм получит Рейхстаг в таком состоянии, до которого своим террором довел его Бисмарк. Свергнутый Бисмарк это признает и об этом пожалеет: «Долгие годы я беспощадно громил Рейхстаг. И я вижу, что в борьбе с Вильгельмом I и со мной этот институт ослаб... Нам нужно внести свежесть в публичные дискуссии». Таким образом Вильгельма II ожидает не устаревшее королевское платье, слишком свободное от долгой носки многочисленными предшественниками, а платье совершенно новое и скроенное по мерке другого человека.

Остальные факты где только ни описаны: географическое, экономическое, социальное, культурное положение Германии той поры — подъем промышленности, проблема рождаемости, развитие социал-демократического движения.

Наконец, последний факт — и совершенно внешний по отношению к личности императора, и глубоко интимный: атрофированная с рождения левая рука.

В таком виде, перечисленные без всякого порядка (историк начал бы с описания положения Германии, потом перешел бы к трону, к деятельности Бисмарка, к правящей верхушке, семье и, наконец, физическому изъяну — на основе чего он представил бы несколько общих соображений о характере императора), эти факты принадлежат к совершенно различным смысловым слоям. Историк, поразившись тому, что все они *независимы* в отношении деятельности Вильгельма II, представит их так, будто они ее *мотивировали*. Конечно, он не выведет характер императора так, будто его можно лепить как девственный воск, однако, его психологическое описание будет достаточно расплывчатым, для того чтобы представить этот характер так,

будто он сформирован воздействием всех этих различных сил.

Посмотрим, как же тут обстоит дело. Для начала я констатирую, что личность наследного принца определяется прежде всего ожидающей его короной и что нет никакого смысла разводить его характер и его природу дофина, как это обычно делают. Здесь нет, с одной стороны, *какого-то* человека, слабого и нерешительного, а с другой — того случайного факта, что он оказывается перед лицом величия и власти, каковые его дожидаются. Однако всякая слабость и всякая нерешительность возникают на первоначальном фоне сущностного и «априорного» отношения человека к короне. Здесь обманывает то обстоятельство, что все мы, кому в определенном возрасте пришлось выбрать свою профессию, не так привязаны к этой социальной функции. Мы вполне могли бы осуществлять какие-то другие функции, и нам легко представить себя в какой-то другой ситуации. Однако следует признать, что короли принадлежат к иному человеческому типу. Дофин, как только он появляется на свет, имеет перед собой совершенно определенное и совершенно замкнутое будущее. Его бытие — это «бытие-для-царствования», как бытие человека является «бытием-для-умирания». Как только он начинает себя сознавать, он обнаруживает перед собой это будущее, где *царствовать* — это его самая существенная и самая индивидуальная возможность. И даже если встречаются дофины, которые отказываются царствовать, отказываются они перед лицом своей судьбы, они не могут упразднить своего «бытия-для-царствования», не могут сделать так, чтобы они не оставались бы дофинами в самой глубине своей природы, не могут сделать так, чтобы бытие-для-царствования не являлось бы для них почти экзистенциальной характеристикой. Их будущее лишено того характера случайности, который присущ нашему будущему — будущему, которое надо завоевать, и которое, даже будучи завоеванным, от нас

ускользает, которое «в руках Господа». Их будущее, даже оставаясь случайным, даже будучи заслуженным, сверх этого является тем первичным экзистенциальным фактом, что *их ожидает* царство. Часто говорилось, что короли одиноки. И это правда, однако не объяснялась истинная причина такого положения дел. Они одиноки, потому что вплотную подведены к полноте своей индивидуальности, потому что по природе своей они ускользают от «безличности» в повседневной банальности, одиноки, как человек, размышляющий о своей смерти. Единственное будущее, которое они могут заслуживать, — это будущее великого короля, титул, который они приобретут после коронации и который будет влиять и на саму коронацию, чтобы ее оправдать. Наконец, титул, который будет дан им сообществом, — ведь великий король живет *среди* других королей — но при этом он совсем не избавит их от одиночества. Тем не менее эта первичная ситуация не просто претерпевается, она не является пассивно воспринимаемым качеством. Напротив, она представляет собой исходную напряженность, первоначальный и свободный проект, направленный к замкнутому будущему, которое преодолевается в направлении к самому себе. Царство — это, как Хайдеггер определяет мир, то, через что будущий суверен возвещает самому себе свое бытие. То есть для меня становится ясно, что первичная свобода Вильгельма II называется царством. Впрочем, свобода входит в саму *манеру* бытия-для-царствования. Я вижу, что Вильгельму прежде всего хочется быть «великим» королем. Но даже это требует описания. Можно хотеть быть великим королем, чтобы найти себе оправдание, что ты король, можно хотеть *воспользоваться* царством, чтобы стать великим. Но Вильгельм смотрит на величие лишь как на индивидуализацию царства. Он хочет быть великим, чтобы быть *этим-вот* королем, чтобы быть королем с большей глубиной, с большей индивидуальностью, чтобы более надежно присвоить титул короля. В этих условиях аб-

солютно нормально, что всякий король свободно воспринимает эту изначальную ситуацию в форме божественного права. Как и было с Вильгельмом II. Он лишь придал мифологическое выражение тому факту, что среди всех людей только его бытие является бытием-для-царствования. Он *есть* царствование. И это он констатирует *в своем бытии*; его доонтологическое понимание самого себя совпадает с проецированием себя на коронацию. Наконец, в самой организации его бытия как бытия-для-царствования дофин свободен принять во внимание свою фактичность (я есмь, чтобы царствовать, однако само мое существование не имеет никакого оправдания) или скрыть ее от себя (основанием моего существования является царствование — я не только есмь-для-царствования, но *существую*, чтобы царствовать). Здесь божественное право замыкает свое кольцо, и будущий суверен замыкается в неподлинном одиночестве. Получается, что *в своем бытии* он целиком и полностью в ответе за то, что историк представлял как внешний и случайный факт. Царствование не *внешне* по отношению к Вильгельму II. Но оно не является и каким-то исключительным и сокровенным представлением. Царствование — *это* он сам.

Но заметим здесь, что человек, который будет царствовать, — калека. У него атрофирована рука. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что это увечье невозможно сопоставить с какими-то другими психологически аналогичными увечьями, которые могут встречаться среди *погданных* или *свободных граждан*. Для будущего свободного гражданина увечье представляет собой некую неопределенную помеху, которая упраздняет какую-то неучтенную категорию возможностей. Однако, уничтожая одни возможности, увечье, коль скоро оно воспринимается и преодолевается, направляет человека к другим возможностям. Мой способ *быть моей атрофированной рукой*, с одной стороны, отвращает меня от военной карьеры, заставляет отказаться от некоторых видов спорта, возможно, за-

ставляет даже презирать спорт, но, с другой стороны — устремляет меня через это увечье к учебе, свободным профессиям, искусству и т. п. Само собой разумеется, что мой собственный способ быть моим невидящим глазом представляет собой мое желание добиться любви при помощи духовного соблазнения, отказ от развязности, которая была бы мне не к лицу, равно как достойный сожаления отказ от посещения анаглифических сеансов и использования стереоскопов. Я *есть* этот человек с потухшим глазом только тогда, когда свободно являюсь таковым. И таковым я являюсь только в той мере, в какой выбираю себя за пределами этого потухшего глаза. Но что будет с будущим королем, который уже король, когда он станет сознавать свое увечье? И не суть важно, что хронологически одно открытие будет предшествовать другому. Важна иерархия. Король — это бытие-для-царствования, а не бытие-для-увечья. Увечье обнаруживается на фоне божественного права. Заметим, что здесь бытие-для-царствования — это особый случай. Сан короля Пруссии придает этому царствованию воинский характер. Король является королем-солдатом. Таким образом, увечье не может представать как то, что, перечеркивая определенные категории возможностей, делает более отчетливыми контуры жизни. Оно не должно мешать царствовать, как не должно мешать умирать. То есть оно воспринимается бытием, которое осознает его, уже *будучи королем*; оно воспринимается, исходя из царствования. Оно представляет собой неустранимую помеху, которую следует все время преодолевать и *никогда не принимать*. Так как принятие его означало бы отказ от определенных возможностей, каковые Вильгельм свободно определил для себя принадлежащими к его собственной природе. Свободно выбранной позицией будет здесь позиция неприятия, так как увечье представляет собой тайную угрозу для всего царствования. Оно представляет собой *скандал*, точнее говоря, фактичность, которую угодно отрицать. То есть Виль-

гельм может пойти лишь на то, чтобы *скрывать* его и *компенсировать*. Понятно, что речь идет здесь всего лишь о чародейских приемах. Но если мы употребим здесь выражение комплекс неполноценности, то само собой разумеется, что его следует понимать в весьма специальном смысле. Комплекс неполноценности не может быть одинаковым для короля и простого гражданина, так как у короля он возникает на фоне бытия-для-царствования, каковое само по себе выделяет короля среди других людей, ставит его выше них. В некотором роде имеется в виду абсолютная неполноценность, каковая не есть неполноценность в отношении какой-то отдельной личности, поскольку ни о каком сравнении не может быть и речи (что, естественно, не исключает определенного меланхолического сожаления при виде двух здоровых и ловких рук какого-нибудь офицера из генерального штаба). Отсюда стремление сохранить все свои главные возможности *наперекор* физическому увечью. Отсюда особая пелеринка, прикрывающая левую руку, отсюда подчеркнутое увлечение военными и спортивными занятиями и охотой. Отсюда тысяча уловок: «Проявив незаурядную ловкость, он научился держаться левой рукой за португепю, прятать руку в карман, переключать поводья из правой руки в левую, обходиться во множестве дел без помощи своего слуги, в силу чего его правая рука стала столь развитой и сильной, что часто бедному мальчику случалось сползать в правую сторону, когда он скакал верхом». Отсюда же и глубокая лживость. В частности, в отношении охоты. Император не мог охотиться по-настоящему: «Его охраннику приходилось вытягивать правую руку, которая, опираясь на длинную палку, служила опоркой для ружья принца». И тем не менее он хочет быть первым охотником королевства. Вот почему любая охота превращалась в гон: «Была задействована целая армия егерей — на велосипедах, на машинах, на лошадях, пеших — так что каждый момент охоты находился под неукоснительным на-

блюдением... Эти охоты были ужасны... Бедная дичь загонялась в огромное огороженное пространство, где было расставлено множество отличных стрелков. Тем остается лишь как следует прицелиться в затравленных зверей... что носятся вдоль ограждений. Они стреляют до тех пор, пока всех не перебьют». Не может быть, чтобы в подобном случае, как и во многих других, Вильгельм не чувствовал *соучастия* своих приближенных. Тем не менее в сорок три года он наказал выгравировать золотом на гранитной глыбе: «Здесь Его Величество Император Вильгельм подстрелил 50 000-ю штуку дичи, белого фазана». Если здесь имеет место ложь самому себе, то ложь эта складывается с помощью всей человеческой-реальности, речь идет о королевской лжи. Ведь и в самом деле божественное право, отделяя того, кто им облечен, от остальных людей, наделяет его правом на сакральное соучастие. Ритуальная ложь входит в состав церемоний, посредством которых подданные приобщаются к табуированному объекту. От других людей суверен *ждет* почитания. И степень искренности, которую он ему приписывает, затемняет проницательность, хотя полностью ее и не исключает. Речь идет о церемониальной искренности. Чья церемониальность лишь возрастает от того, что суверен с самим собой поддерживает церемониальные отношения. Сакральна сама тональность его межсознательных отношений — на том уровне, где сознание является самосознанием. Подданному должно лгать, а суверену должно в эту ложь верить. Ведь единственными человеческими отношениями, которые исключают ложь, являются отношения равенства, а суверен не может хотеть равенства.

Тем не менее такой способ скрывать свое увечье является не только бегством, это также свободное и энергичное усилие, направленное на то, чтобы превзойти свое увечье. И Людвиг прав, когда пишет: «Несколько человек, которым удалось оценить значимость этой моральной победы над физической слабостью, с

этого момента почувствовали себя вправе возлагать на эту личность самые блистательные надежды. По правде говоря, эта моральная победа, одержанная принцем над своей физической немощью, должна была стать причиной его поражения. Его горделивое желание производить впечатление на своих родителей, когда он в блестящем мундире скакал верхом во главе своего полка, его гордыня представляла собой не что иное, как прелюдию к этим бесчисленным парадам, смотрам, заносчивым речам, угрозам, с помощью которых он в течение долгих лет пытался оправдать себя в собственных глазах».

А вот другой текст, позволяющий понять, в чем «слабость» Вильгельма II: «Только те, кто во время его юности были свидетелями непрестанной борьбы с этим отприродным увечьем, позднее будут понимать, что император может легко потерять контроль над своими слишком напряженными нервами. Это постоянное усилие, направленное против очевидной для всех немощи, каковую, по правде говоря, ему лучше было бы не скрывать, эта ежечасная борьба всей жизни, направленная на то, чтобы скрыть врожденное, но не вызывающее отвращения увечье, оказала значительное влияние на формирование всего его характера. Чувствуя себя слабым, он стремится проявить свою силу, но вместо того чтобы черпать ее в области духа, где его живой ум мог бы ему помочь добиться успеха, он, следуя традициям и амбициям, обнаруживает ее в героической позиции, то есть в позиции офицера».

Людвиг не прав здесь, относясь к Вильгельму как к обычному гражданину, в противном случае он не стал бы удивляться, что тот пытается скрыть «очевидную для всех немощь». Сакральное соучастие, коего он считает себя вправе требовать от каждого человека, позволяет Вильгельму утверждать принцип, согласно которому любая церемония, коль скоро ее цель в том, чтобы скрыть очевидную немощь, должна чудодейственным образом вести к тому, чтобы глаза каждого

человека покрылись пеленой. Сакральное криводушие Вильгельма представляет собой притязание — основанное на божественном праве — на криводушие своих подданных. Кроме того, он не прав, когда говорит, используя термины вульгарной каузальности, что традиции и амбиции подталкивают его к тому, чтобы компенсировать свое увечье в героической позиции офицера. Дело в том, что Людвиг рассматривает увечье императора изолированно. Не подходит к нему, *исходя* из императорского бытия-для-царствования. Бытия-для-царствования в Пруссии, как короля-солдата. Свободный выбор не осуществить на уровне позиции, занятой в отношении увечья. Он гораздо более всеобъемлющ, поскольку осуществляется в отношении бытия-для-трона. Вильгельм, если бы он старался добиться успеха в области духа, был бы не просто другим человеком, а другим *королем*, делающим выбор в пользу другого царствования и другой Пруссии, — стараясь изменить Пруссию, — и это изменение было бы столь значительным, что самому Людвигу понятно, что последующий ход истории был бы иным. Выбор был возможен лишь на уровне свободного проекта его бытия-в-мире, посему Вильгельм, проецируя себя за пределы своего увечья, страдал бы от *другого* увечья. Тем не менее выбор, который сказался на всей его личности, был возможен. Что позволяет нам понять, что Вильгельм сам *выбрал* свое увечье. Не следует повторять вслед за Людвигом: «Чувствуя себя слабым, он стремится приумножить свою силу», поскольку он мог бы, добившись господства в области духа и цинично выставляя напоказ свое увечье, *действительно быть* сильным. Скорее, воспринимая себя императором-солдатом божественного права, которому надлежит посредством постоянного усилия преодолевать и отрицать свое увечье как какой-то скандал, он *выбирал* себя так, чтобы его сила была его слабостью. Он *выбирал* скрытый надлом. Он сам «сделал себя» слабым. То есть он сам выбрал, что будет жить с надломом. Однако

только что процитированный нами текст Людвига ценен тем, что показывает нам, что увечье Вильгельма не могло быть просто физической и очевидной для всех немощью, просто-напросто атрофией руки. Если к нему так подходить, что и сделал бы классический историк, то оно лишается всякой связи с политикой Вильгельма в отношении, например Англии. Но и так понятно, что это увечье существует для него не иначе, как смысловая ситуация. Сам Людвиг обнаруживает через нее «речи, угрозы, смотры, парады». Понятно, однако, что это увечье не является ни *причиной*, ни *движущей силой* поведения Вильгельма. Наоборот, само это поведение представляет собой некую *манеру* воспринимать увечье в качестве ситуации. С этой точки зрения мы, например, можем понять послание Вильгельма к Крюгеру¹ как манеру *быть-своим-собственным-увечьем*.

Но этого было бы недостаточно, и сейчас мы увидим, как в этом отприродном увечье сходятся с виду совершенно различные смысловые слои. В самом деле, понятно, что для Вильгельма увечье = Англии, а победить Англию = устранить свое увечье. Продолжу завтра.

В 38-м войне помешала буржуазия, это она предредишила Мюнхенскую капитуляцию, боясь не столько поражения, сколько победы, опасаясь, что война пойдет во благо коммунизму. В сентябре 39-го, наоборот, буржуазия приветствует войну, так как советско-германский договор обесчестил коммунизм, и всем понятно, что в настоящее время война, прямо или косвенно, ведется против Советов и что она будет сопровождаться внутренними полицейскими операциями. Коммуни-

¹ Вильгельм II намеревался объявить войну Англии во время событий в Трансваале, когда там развернулась война за независимость. После того, как без чьей-либо помощи проанглийские силы были разгромлены, император направил приветствие Паулю Крюгеру, президенту Республики, что было бесполезным и вызывающим жестом, отравившим англо-немецкие отношения.

стическая партия будет распущена. Чего не удавалось добиться в течение десяти лет политической жизни, будет сделано за один месяц войны. Такова, как мне представляется, основная причина того, что буржуазия принимает войну. По существу, под видом национальной войны идет война гражданская. Пока многие из нас сражаются против идеологии гитлеризма, потихоньку уничтожают остатки коммунистической идеологии. В 38-м война могла вылиться в революцию. В 40-м — выливается в контрреволюцию. Война 38-го была бы войной «левых», война 39-го — это война «правых». Гитлеру не удалось понять, что в 38-м буржуазные демократии защищались на двух фронтах: их империализму угрожали нацистские притязания, внутренней организации — деятельность коммунистов. Они не хотели войны, так как им пришлось бы воевать на два фронта. Объединившись со Сталиным, Гитлер принес им облегчение, так как это позволило им подавить коммунизм, рассматриваемый отныне как *внешняя угроза*. И нет никакого сомнения в том, что он очень надеялся удержать оба фронта, рассчитывал на раскол «Морального фронта». Но почему он не учел возможности скорой расправы над коммунистами, учинить которую было, наверное, для буржуазных правительств *слишком большим счастьем?*

Читаю «Французскую желтую книгу»¹ и отмечаю про себя, что в ней ничего не говорится о пресловутом «июльском перевороте», так называемой попытке путча в Данциге, который якобы повлек за собой отход немцев.² А ведь в свое время об этом только и говорили,

¹ Была издана министерством иностранных дел в 1939 г. и содержала основные дипломатические документы, начиная от Мюнхенских соглашений и вплоть до начала войны.

² Попытка «переворота» якобы была предпринята 2 июля 1939 г. Не добившись от Польши согласия на аннексию Вольного Города Данцига, Гитлер пытался в это время организовать в этом городе, где господствовали нацисты, «народное» движение, способное на путч.

Табуи¹ постоянно твердила об этом. На заседании редколлегии в «НРФ», на котором я присутствовал вроде бы 1-го июля, жарко спорили по этому поводу, и Низан, помнится, сказал мне: «Мы рискуем назавтра заполучить войну». Начало этим слухам положили, как мне кажется, доклад М. Кулондра² от 27 июня, в котором обращалось внимание на возможность поддерживаемой изнутри аннексии Данцига, и записка Жоржа Боне,³ адресованная французскому послу в Лондоне, рекомендовавшая ему просить лорда Галифакса⁴ выступить против этих происков в речи от 29 июня,⁵ пограничный инцидент, о котором ничего не говорилось ни в немецкой, ни в польской прессе (группа гитлерюгенд нарушила границу в Померании), а также беседа Боне с немецким послом в Париже.

Суббота, 9-е марта

Возвращаюсь к Вильгельму. Мне хочется показать, что нет никаких внешних факторов, которые *воздействовали бы* на его личность, что он сам представляет собой некую целостность в ситуации, что ситуации существуют исключительно через его способ проецировать себя через них в виде целостности. Хочу показать, что его увечье — это не только физиологический недо-

¹ Речь идет о Женевиэве Табуи, популярной радиожурналистке, освещавшей вопросы внешней политики.

² Тогдашний посол Франции в Берлине.

³ Французский министр иностранных дел.

⁴ Английский министр иностранных дел.

⁵ «Мне кажется весьма желательным, чтобы лорд Галифакс, который сегодня вечером должен будет выступать с речью, нашел возможность предупредить руководителей Рейха о твердой решимости обоих правительств исполнить взятые на себя обязательства в отношении Польши, к каким бы изощренным средствам ни прибегала Германия, пытаясь прикрыть реальный характер своих действий» (*Le livre jaune français*).

статок, но и смысловая ситуация. Я уже показал, что она *значила* смотры и кавалькады, угрозы. Теперь я хочу показать ее смысловую связь с английской политикой Вильгельма. Для начала надо обратиться к семье. И здесь тоже суверен радикально отличается от своих подданных. Вильгельм — внук королевы Виктории, и, отчитывая его за поведение в отношении лорда Солсбери,* она пишет: «Никогда монарх не может позволить себе говорить в таком тоне с другим монархом, тем более со своей бабушкой». Для суверена государственные отношения — это семейные отношения. Тем не менее здесь нельзя воспринимать понятие семьи в том смысле, каким оно обладает, когда речь идет об обыкновенных гражданах. Там, наоборот, можно было бы сказать, что семейные отношения являются государственными. В этом смысле письмо Виктории весьма характерно. Она упрекает Вильгельма в том, что он пренебрег церемониями, которые приняты между монархами. И то обстоятельство, что одна из правящих особ является бабушкой другой правящей особы, называется *отягчающим*. Это можно сравнить лишь с тем почтением, которого требуют от нас наши офицеры: я должен почитать нашего полковника, *потому что* он полковник. И если он, ко всему прочему, является шестидесятипятилетним стариком, то это обстоятельство играет свою роль, но лишь ко всему прочему — как *нюанс* моего почтения. Было бы весьма неуместно сказать ему, к примеру: «Вы имеете право на мое почтение как старик, но не как полковник». Таким образом, здесь есть одна особенность, которая обнаруживается, к примеру, в том, что Вильгельм, совсем молодой император, дает почувствовать свое величие собственному дяде Эдуарду, в то время простому наследнику трона. «В ходе своего первого визита в Вену, в сентябре 1888 года, молодой император выдвигает условие, чтобы приняли его одного, так как в это же время там объявился Эдуард. Он отклоняет предложение Эдуарда, который хотел встретить его на вокзале Вены в прус-

ской униформе, и вынуждает его покинуть на неделю Вену и отправиться в путешествие по Венгрии». А ведь Эдуард на двадцать лет старше. Семейные отношения вносят свой оттенок в отношения между монархами, конкретно обозначают, что монархи *ровня* друг другу; тем не менее это равенство не исключает изоляции, поскольку речь идет о сакральном равенстве. Кроме того, любое семейное собрание приобретает международное и дипломатическое значение. Например, в 99-м году королева Виктория, руководствуясь политическими соображениями, не захотела, чтобы внук нанес ей визит по случаю ее восьмидесятилетия. В общем, в бытии-для-царствования каждого из них дается бытие-для-царствования другого — в форме бытия-для-другого. И этот царствующий другой имеет конкретную связь с монархом — он *из его семьи*. И поскольку каждый из них — в своем бытии-для-царствования по божественному праву — *это государство*, в котором он царствует, отношения монарха со странами других суверенов являются семейными отношениями. Вильгельм II — англичанин по матери, могли бы мы сказать, если бы имели дело с обычным гражданином. Но на самом деле, если речь идет о суверене, такое выражение может шокировать. Он не англичанин, поскольку в первую очередь он император. Однако в качестве императора он входит в состав большой семьи одиночек, каждый член которой представляет собой определенную страну. И отношения каждого суверена со странами других суверенов этим и определяются: они *конкретны, индивидуальны, эмоциональны* и, стало быть, *пристрастны* и *сакральны*. Между сувереном и другими нациями имеется *кровная связь*. Бытие-для-царствования в Германии Вильгельма II с самого начала предполагает заинтересованную, кровную, сакральную и пристрастную связь, например с Англией. С самого начала Вильгельм II живет в сакральной и семейной географии наподобие знаменитых «Стороны Свана» и «Стороны Германтов» Пруста. Речь идет о

настоящем «годологическом», сакральном и первобытном пространстве, очень напоминающем пространство австралийских кланов. Австрия, Россия, Англия — это сакральные направления и векторы однородности. Людвиг верно подметил этот особенный характер мира: «В то же самое время император говорил своим генералам: „Россия хочет оккупировать Болгарию и добивается нашего нейтралитета, но я поклялся в верности австрийскому императору и ответил царю, что не предаю Австрию" ... Приязнь императора к Австрии, которая в конце концов и погубит Германию, основывалась на тех чувствах, которые он испытывал к феодальному дому Габсбургов. В отношении швейцарской конфедерации ничего такого не было бы, как не было бы, если бы восемь государств империи представляли собой республику... Его дружба с Габсбургами и с султаном определялась не столько политикой, сколько вытекала из династических чувств, благодаря которым он поддерживал с этими двумя государями прочные отношения. Ни одно чувство Вильгельма II не было столь искренним, как эта роковая мысль о „братской верности": император выказывал ее не столько в отношении половины немецкого народа, сколько в отношении государства, который был ему ровней».

«Вот почему император постоянно разрывался между Веней и Петербургом».

Дело в том, что эта «роковая мысль о братской верности» не является «чувством»: речь идет о ситуации, изначально воспринятой в свободном-проекте, направлявшем его к царствованию. Пространственная ориентация дана в бытии-для-царствования в виде исходного бытия-для-другого. Естественно, что в эту географическую и династическую карту демократические республики внесут запретные и закрытые зоны. Позже мы рассмотрим семейное происхождение страха и ненависти, которые император питал к ним. Но еще до всякой ненависти в самом проекте, направлявшем его к царствованию, республики были даны как своего

рода мертвые зоны, по man's land. Продолжу после обеда.

Прерываюсь, чтобы записать подслушанный разговор между тремя стрелками. Один: «Капитан, он угрозил: „У вас будет случай искупить свою вину, можете на меня рассчитывать“. Старик, клянусь тебе, если найду какую-нибудь дыру, сразу туда залезу. Мне не надо искупать свою вину». Другой: «Черт, чтобы что-то искупать, надо, чтоб сперва тебя купили: меня никто не покупал».

На сей раз согласен с Монтерланом, «НРФ», «Заметка об Олимпийских играх»:

«Игра — это единственная форма деятельности, достойная защиты; единственная, достойная человека, поскольку эта деятельность является и разумной, и созидательной, что уже, впрочем, было сказано: „Человек по-настоящему человек только тогда, когда он играет“ (Шиллер)».

Зачем только он добавляет эту глупость, что эта форма деятельности является «единственной, которую можно принимать всерьез»? Неужели он не видит, что игра по самой своей природе исключает саму идею серьезности? Если в моей жизни и есть какое-то единство, так оно заключается в том, что мне никогда не хотелось жить серьезно. Мне удавалось ломать комедию, познать патетику, тоску и радость. Но никогда, никогда я не знал серьезности. Вся моя жизнь была всего лишь игрой — порой долгой и скучной, порой дурного вкуса, но все равно игрой, и эта война для меня тоже всего лишь игра. Существует некая консистенция реальности, которая делает ее похожей на грушевый пудинг, и что мне, слава Богу, незнакомо; я видывал, как иные набрасывались на эту манную кашу, и они вызывали во мне отвращение. Надо будет объяснить прямо здесь, когда я закончу с Вильгельмом, который мне уже изрядно надоел, что такое игра, счастливое

превращение случайного в даровое, и почему даже самоосвоение тоже является игрой.¹ Ясно, что обратной стороной является моя ни с чем не сравнимая легкость. А сейчас лирическое и тягостное состояние; в Доме Солдата есть фортепьяно, оно спрятано за черными шторами, один солдат играет — и хорошо играет — джазовые мелодии. Это напоминает мне матовый свет тех летних вечеров, пианистов из College-Inn; мы с Вандой сидели в баре; время от времени портьера на входной двери приоткрывалась, и показывалась ночь, круглая и синяя, как карта полушарий, и это был мир.

Получил письмо от Адриенны Монье.² Пишет мне: «Ваша подпись немного изменилась. Ж.-П. стало чем-то удивительным, очень... воздушным — это влияние метеослужбы!» Я имел слабость расчувствоваться, увидел в этом знак перемен, которых пытаюсь добиться в себе — знак и обещание.

Я просто в ярости, оттого что не поэт, что так прочно прибил к берегу прозы. Мне бы хотелось писать эти блистательные и абсурдные вещицы, стихи, которые были бы похожи на заключенный в бутылке кораблик, и которые являли бы собой вечность одного мгновения. Но во мне сидит какая-то неестественность, тайное целомудрие, издавна усвоенный цинизм и к тому же известная неуклюжесть; мои чувства не нашли себе языка, я их ощущаю, робко протягиваю к ним руку, но, едва прикоснувшись, превращаю их в прозу. Меня обманывает выбор слов. Стоит мне начать, стоит найти поэтическую фразу, как в нее сразу проскальзывает какое-нибудь слово, которое ее разрывает, слово слиш-

¹ По поводу «игры» и «духа серьезности» ср.: «Бытие и Ничто» (часть четвертая, глава два «Делать и иметь»).

² Директор «Дома друзей книги», знаменитого книжного магазина и библиотеки на улице Одеон, который Сартр часто посещал, как и многие писатели того времени.

ком острое, слишком ясное; движение фразы велеречиво, она раскатиста — когда же я хочу ее остановить, она тяжело и звучно замирает в восхитительной неподвижности бахвальства. Не знаю, что тут поделывать. Возможно, надо опираться на правильные размеры. Или, скорее, знаю это слишком хорошо: мне следовало бы молчать. Все эти мысли пришли ко мне за чтением этих стихов, — не знаю чьих, вроде, Арагона — которые я здесь переписываю, потому что они прекрасны и потому что мне хотелось бы написать что-то похожее: как следует подумав, я не стал их переписывать, теперь они меня раздражают, в них нет чистоты. Мне больше нравятся эти две строчки, они, похоже, из песни:

*Камни есть на всех дорогах,
На всех дорогах есть печаль...¹*

Воскресенье, 10-е марта

Письмо Ж. Дюбуана² к Бейе³ об изобилии:

«Война не замедляет темпов технического прогресса, напротив, она их ускоряет. Это вытекает из следу-

¹ Точнее, печали. Это слова из известной походной песни, которую пели обычно молодежные отряды и солдаты. Сартр приводит две первые строчки припева по «Воспоминаниям о войне 39-го г., часть III» Эльзы Триоле, которые он прочитал в мартовском номере «НРФ». Что касается стихов, которые он чуть было не переписал в дневник, то речь идет о последних строчках стихотворения Арагона (тоже призванного в армию) «Любовники в разлуке», которое также приводится в «Воспоминаниях Триоле»:

«Все это тру-ля-ля», — мне скажут, но смиренно
Я верю: радугой над светлою вселенной
Взойдут слова, что я, простой, обыкновенный,
Твердил тебе, и ты одна поймешь, — нетленны
Лишь потому любовь и солнце над землей,
Что осенью, когда весна была мечтой,
Я это тру-ля-ля спел, как никто другой.

Пер. Э. Линецкой (Арагон Л. Собр. соч. Т. 9.
М.: ГИХЛ, 1960. С. 70).

² Французский экономист, автор теории изобилия.

³ Университетский преподаватель и публицист.

ющего положения. В мире 25 миллионов мобилизованных: с точки зрения производства, это ноль. Есть также 75 миллионов, которые производят оружие и снаряжение; с интересующей нас точки зрения, это необходимое производство является бесполезным. В сумме 100 миллионов оказываются вне полезного производства и живут за счет работы других людей. Тогда эти другие, чтобы компенсировать свою малочисленность, обращаются ко все более и более совершенной технике».

Что мне интересно в этом тексте: война как *мировой феномен*: 100 миллионов человек вне цикла полезного производства, из них 25 миллионов — разрушители. Сопоставить с замечанием Рамюза («НРФ», март): «*Асимметрия*: существует громадная диспропорция между созиданием и разрушением, строительством и уничтожением. Следует понимать, между временем, которое нужно человеку, чтобы что-то построить, и тем временем, которое ему требуется на то, чтобы это разрушить. Строительство одного дома требует работы целой бригады каменщиков в течение недель и месяцев: достаточно одного мгновения, чтобы разметать его по земле. Существует асимметрия, так как даже если и в самой природе есть такие процессы, прибегает она к ним лишь в исключительных случаях. Она неторопливо выстраивает горную цепь и столь же неторопливо ее изводит; она медленно строит человека, но разрушает его чаще всего потихонечку».¹

Нас в ближайшее время отзовут в тыл. Капитан Мюнье написал полковнику Вайсенбургеру, командиру воздушного батальона, указав на то, что мы запасники, и что, следовательно, ему надлежит отобрать у

¹ Сартр цитирует «Странички одного нейтрала» швейцарского писателя Ш. Ф. Рамюза (1878—1947), опубликованные в мартовском номере «НРФ».

нас оружие. На что полковник ответил: «Оружие забрать невозможно, однако я заберу людей». То есть к этому оружию, старым, вышедшим из употребления мушкетам, приставят подходящих солдат, молодежь из действующего состава. А мы, мы куда отправимся? Если в Тур, или еще куда-то в этом роде, то я рад: буду чаще ездить в Париж, и ко мне будут чаще приезжать мои парижские друзья. Но я задаюсь вопросом, буду ли я еще вести этот дневник. Его главное предназначение было в том, чтобы усугубить уединение, в котором я оказался, и разрыв между моей прошлой и настоящей жизнью. Пока я был «на передней линии», в десяти километрах от наших аванпостов, мог попасть под бомбы, он имел свой смысл. Возможно, в тылу надо будет поставить точку в этой «постановке под вопрос» самого себя и начать созидать: закончить роман — написать философию Ничто. Точно так же здесь, при виде возвращающихся с аванпостов стрелков, офицеров и т. п., я был связан с войной напрямую. Будет ли так в тылу? И стоит ли изо дня в день записывать всякие рассказы? Или же, если я продолжу вести дневник, то буду это делать только для разнообразия. Во всяком случае для перевода в тыл потребуется еще два месяца. Мне радостно, но тем не менее что-то кончилось: мой первый период войны.

Возвращаюсь к Вильгельму. Я уже отметил эти заинтересованные семейные отношения, которые характеризуют суверена. Но в случае Вильгельма важно то, что Англия была у него *дома*. Его мать — англичанка и англomanка. И Англия — это прежде всего его мать. Но эта мать презирает и ненавидит его — прежде всего потому, что он калека. «Высокомерная Виктория, дочь могущественной английской королевы и ее мудрого супруга, так и не простила внуку его увечья... тем паче, что она считала, что кровь ее отца благороднее крови ее супруга... Сердце ее было полно... презрения к этому уродливому сыну, ее первенцу, и она открыто предпочитала ему своих остальных детей». Унижения детства.

Английские унижения, ребенок воспитан на английский манер, и он ненавидит свое английское воспитание. И тем не менее над ним господствует восхижительная англичанка, и его комплекс неполноценности складывается по отношению к Англии. Но в самой необычности своего бытия-для-царствования он находит реванш. Его отец, Фридрих-Вильгельм, чахнет в тени трона. Он не монарх и, может, никогда им и не станет, разве что ненадолго; настоящий наследный принц — Вильгельм. Сам он себя так и воспринимает и, не будучи наследником царствующего отца, так как корона переходит от деда к внуку, он не считает, что получает от отца свое право на царствование; в нем воплощается своего рода самопроизвольное порождение божественного права, и оно *не имеет корней*. Он бросается в царствование *против* своих родителей. Само собой разумеется, что это «против» двусмысленно: он хочет господствовать над ними и добиться наконец их восхищения. Что и придает с самого начала его бытию-для-царствования напряженный, беспокойный, неуверенный характер. Это божественное право — реванш. Он будет царствовать против этого отца и этой матери, которые не смогут завоевать трона или завладеют им лишь на какое-то время. Его «царствованию» не хватает традиций, он на троне выскочка, хотя и получил его по божественному праву. Все так, будто в существе Вильгельмова бытия-для-царствования сидит выскочка от божественного права. В силу чего, однако, его бытие — это бытие-для-царствования-молодым. Людвиг пишет, что для него было большим несчастьем то, что он начал царствовать в тридцать лет, то есть не достигнув зрелости. А ведь он долго готовился царствовать молодым. Эта преждевременная коронация вовсе не была внезапным фактором. Речь идет о ситуации, которая обживалась заранее и на протяжении долгого времени, и которая соприродна самому существу Вильгельма, постепенно открывавшему ее для себя с самого отрочества. Это была его собственная возмож-

ность, и он жил ею в течение пятнадцати лет, прежде чем реализовал ее. Что бы с ним стало, если бы Фридрих-Вильгельм не был убит английским врачом, а был излечен врачом немецким? Не знаю. Во всяком случае, в новую позицию Вильгельма, обреченного долгое время оставаться наследным принцем, в качестве одного из главных составляющих элементов наверняка вошла бы эта конкретная возможность царствовать молодым, каковая, прежде чем исчезнуть, стала бы на долгие годы его *собственной* возможностью. Итак, он сделал себя королем по божественному праву, сделал себя молодым королем задолго до того, как стал им. Стал королем против своего отца, против своей матери, против Англии, и сразу же — одним махом, даже еще не вникнув в них, — против либеральных идей, которые его мать пыталась вдолбить в голову его отца. «Его неприступность только возрастала по мере того, как родители пытались сделать его более либеральным. В Касселе (ему было двенадцать) он уже показал себя „молодым императором"». Эта ненависть к либерализму, которая найдет выражение в «царствовании-против-либерализма», составляет единое целое с ненавистью к Англии и отказом найти спасение от своего увечья в духовной жизни, исходную решимость царствовать *по-прусски*.

Мы видим, сколь неразрывно трон и увечье связаны в одном и том же проекте самого себя, который разрывается между троном и увечьем и, исходя из увечья, вносит определенный оттенок в бытие-для-царствования. Мы видим, что ни *трон*, ни *преждевременная коронация*, ни *семья*, ни *уродство* не являются случайными факторами — в том смысле, что они могли бы быть другими и извне действовать на Вильгельма или в том, что Вильгельма можно было бы представить другим, но все равно, по сути, тем же самым, если бы на него действовали другие факторы. В действительности невозможно представить себе никакого *другого* Вильгельма кроме того, который бросился в эту ситуацию,

который *есть* этот свободный проект самого себя в этой ситуации. Не может быть, чтобы его характер представлял собой *одно*, а его бытие-для-царствования — другое, его темперамент одно, а его увечье — другое. Есть свободная человеческая целостность, в себе самой — в якобы предначертанной имманентности — она ничто, она вся целиком заключена в своем проекте. В этом смысле о «царствовании» бытия-для-царствования можно было бы сказать, — как Хайдеггер говорит о мире — что оно ни субъективно, ни объективно. Оно не субъективно: это не сокровенное свойство Вильгельма, нечто такое, что в его внутренней жизни было бы определенным качеством; и не объективно: это не какой-то внешний фактор, так как бытие-для-царствования представляет собой единство, а «царствование» не может быть извлечено из бытия-для-царствования. Иначе говоря, Вильгельм есть не что иное, как тот способ, при помощи которого он *приобретает историчность*. И мы видим, что в единстве этой историализации связываются самые разные смысловые слои: за царствованием раскрывается увечье, которое в свою очередь разоблачает семью, Англию, антилиберализм и прусский милитаризм. Речь не о чем-то едином и неизменном, а о ситуациях, которые выстраиваются по иерархии и подчиняются друг другу в единстве одного и того же исходного проекта. Теперь следовало бы показать, каким образом в конце этого проекта оказывается падение Бисмарка (обновление слишком старого правительственного аппарата — поскольку он был времен его деда — должно было стать революцией. Если бы царствовал отец, то была бы медленная эволюция. И как раз потому, что принц воспринимает себя выскочкой от божественного права, эта революция оказывается конечной целью его проекта, как бы ни менялось его отношение к самому Бисмарку); а также каким образом отношение принца к пролетариату (ненависть и боязнь социал-демократии, попытки заручиться доверием рабочих) включается в

первоначальный проект. Так что этот проект действительно оказывается проецированием самого себя в мир, а непоследовательная и слабая политика принца по отношению к Англии, России и пролетариату — это не следствие характера Вильгельма II, а само *бытие* Вильгельма II, историализующего себя в мире. Впрочем, все это и так ясно, если принять предыдущие размышления. Очевидно, следовало бы — и это серьезный пробел в данном эссе — рассмотреть педерастические склонности Вильгельма на предмет того, вписываются ли они в единство первичного проекта и каково их иерархическое положение в бытии-для-царствования. Что значит король-передает — что значит *пруссский* король-педераст? Но я их не рассматриваю, и в том нет моей вины: сам Людвиг необычайно расплывчат и сдержан в этом важном вопросе. Я лишь хотел показать, что именно исторический метод и предопределяющие его психологические предрассудки, а не сама структура событий, порождают это разделение факторов Истории по параллельным смысловым слоям. Этот параллелизм исчезает, если рассматривать исторический персонаж исходя из единства его историализации. Но я признаю, что мои размышления значимы лишь в том случае, когда историческое исследование является *монографией* и показывает индивида творцом своей собственной судьбы. А ведь он к тому же еще и воздействует *на других*. Через несколько дней я попытаюсь — если к тому подвигнет меня книга Людвиг — поразмышлять о доле «ответственности» Вильгельма II за войну 14-го года.

Видел С., зам. директора Агентства «Гавас». Красивый высокий блондин, который, не будь он чуть полноват, был бы похож на Гарри Купера. Обычно очень высокомерен и малосимпатичен. Вызывающе демонстрирует, что он из другого теста. Собирается заговорить со мной и коснуться моей руки, даже искать моего общества — так как из-за своей инертности и непри-

язни к самцам я с ним даже не здороваюсь при встрече и делаю вид, что не замечаю его; тогда он вальяжно подплывает ко мне. Сам я к нему снисходителен, потому что он красив. Будь он некрасив, я б его на дух не переносил. Этот механизм я уже объяснял. Впрочем, это о нем я говорил в одном из первых дневников, рассказывая, что чувствовал к нему смутное влечение из-за его красоты. Все то же стремление поработить красоту, где бы она ни встречалась, и это желание, коль скоро я не имею возможности обладать ею в себе самом, обладать ею «через подставных лиц». Но когда речь идет о самце, далеко это не заходит. Он не кажется глупым, по крайней мере у него есть лоск. Гордится своим дипломом по филологии. Как-то раз он окликнул меня в Доме Солдата, чтобы с деланным безразличием показать валявшийся на столе растрепанный номер «Пари-Матч»: «Я тоже сюда попал», — сказал он мне. Я посмотрел: на фотографии с изображением директора Агентства «Гавас» в окружении сотрудников был и он — великолепный, в черном пиджаке с крахмальным воротничком, он стоял, склонившись к директору. Мне понравилась эта наивность. Он снова открыл себя в гражданском платье и мертвом гражданском мире, где у него когда-то было свое место; он не смог остаться с этим открытием наедине, ему надо было, чтобы оно было зарегистрировано еще кем-то. Наподобие того, как Бобр говорит, что ей было бы страшно умереть, если бы никого не оказалось рядом, чтобы это констатировать. Воскресение его прошлого было бы не столь полным, если бы у него не оказалось свидетеля.

Сегодня в Доме Солдата я сидел на стуле у печки, а дежурные тем временем занавешивали окна и перегородки перед киносеансом. Это было в час дня. На улице было солнечно, в большом пустынном зале стоял золотистый полумрак. Атмосфера как перед началом спектакля; мне было хорошо, хотя я решил убраться до начала сеанса. Мне не хотелось смотреть ни «Редкую

птицу»,¹ ни документальный фильм о линии Мажино. Но в этой золотистой и сумрачной дымке, наполнявшей зал, витало что-то наподобие смутного воспоминания о тех весенних днях (воскресных, как и этот), которые мы с Бобром проводили в прохладном и темном кинозале «Урсулин», отчетливо представляя себе этот солнечный ливень на улице; как говорит Сен-Жон Перс, о солнце не говорилось, но оно присутствовало среди нас.² Я читал, размышлял об этом понятии «ситуации», натолкнулся на одну идею, и потерял ее из-за этого С. Я снова найду ее, я рассчитываю на повторы. Мы мыслим повторами; нельзя потерять забытую идею: ее не найдешь, когда ищешь, но к вам придет другая, совершенно новая — и она будет той же самой.

Итак, приходит С., я его вижу, делаю вид, что не замечаю, опускаю глаза и в конце концов вижу его сапоги у себя перед носом. С деланным безразличием приветствуем друг друга. Он раскрывает мне тайну своей горестной души: «Ну что, похоже, вы уезжаете? — Да. — А мне и здесь хорошо. Уж если валять дурака, так лучше здесь. — Да. Здесь посвободнее. Однако вы сами видели, как трудно было вытащить сюда вашу жену. В тылу вам было бы легче общаться с семьей». Он, сухо: «Семья это еще не все». В самом сердце его фраз всегда сидит некая небрежность, словно бы сам он был выше того, что говорил. Солдаты начинают входить в зал и рассаживаться. Шум стульев. Он продолжает говорить, не глядя на меня, стоит ко мне боком, мне виден его волевой подбородок: «Я ничего не собираюсь делать, умываю руки; если военное руководство считает, что ему нужен дипломированный

¹ Из письма к Бобру, написанного в тот же день, следует, что Сартр все же посмотрел одну часть этой комедии *Ришара Пуатье* (1935), по сценарию *Жака Превера*, с участием Макса Дирли, Пьера Брассера и Моник Роллан.

² «И о солнце совсем не говорилось, но его мощь была среди нас». *Perse Saint-John. Anabase I.* 1924.

филолог, чтобы растапливать печь, то ответственность лежит на нем. Я и пальцем не пошевелю. — Хорошо, — говорю я, — но ведь „Гавас“ мог бы сделать на вас специальный запрос». Здесь это единственный человек, с кем я на «вы», и он обращается ко мне на «вы». Сначала я ему тыкал, но так как он упорно говорил мне «вы», я стал делать то же самое. «Да», — говорил он. Затем быстро: «В „Гавасе“ нет зам. директора...». И продолжает сухо: «Это им решать, нужен я им еще или нет. Я и пальцем не пошевелю... А ходить на занятия, чтобы стать офицером... перейти по ту сторону баррикад... Ну уж нет. Так вот: я остаюсь среди военного пролетариата, куда меня и засунули». Короче, он в обиде; вот в чем суть дела: ему хотелось бы, чтобы на него был сделан специальный запрос или чтобы ему на серебряном блюде преподнесли чин лейтенанта. Чуть позже подходит Ханзигер; его грушевидное лицо покраснелось, и он моргает своими глазами, на которых нет ресниц. «С., — говорит Ханзигер тем заговорщическим и умоляющим тоном, каким он обычно просит об услуге, — поедешь в отпуск и если зайдешь в „Гавас“, захвати для меня английскую или канадскую газету. — Не знаю, пойду ли я в „Гавас“, — отвечает С. тем же мрачным тоном. Когда поработал в какой-нибудь конторе, не стоит туда соваться. Не по себе как-то. Там полно новеньких, все время путаешься у них под ногами, и они не знают, что тебе сказать. — Эти бедолаги, — говорит Ханзигер, — все эти новенькие, которых набрали на наши места, как от них будут избавляться, когда наступит мир?» С. с еще более мрачным и злобным видом: «Не бойся. Никого не останется, всех выметут. Парни, что вернутся с войны, не будут уже, как в 18-м, в этом глупом состоянии национальной эйфории. Они вернутся с решимостью постоять за себя: нас слишком долго дурачили, надо будет показать зубы. И это будет легко, если все мы будем заодно. Не так, как эти ветераны, что проходят под Триумфальной аркой, все будет иначе: надо всем вместе требовать своего. И если по-

явится какая-то группа, чтобы все это организовать, вот тогда и посмотрим».

Опишу здесь одну небольшую и занятную мерзость, с которой часто в себе сталкиваюсь и понимаю, откуда она берется. Она подчиняется одной схеме: непризнанное и восстановленное величие. Я уже говорил о значимости этой схемы, которая в детстве подталкивала меня к мазохистским мечтаниям — хотя, в сущности, не такие уж они и мазохистские. Мне случалось проливать слезы над Гризельдой;¹ еще и сегодня меня волнует Корделия, дочь короля Лира. То есть поначалу имеет место ошибка — юридическая или какая-то другая — и катастрофа, которую человек переживает достойно и безмолвно. После чего наступает апофеоз, порождаемый все тем одиночеством и безмолвием. Таким образом, самое ужасное падение в самом себе несет воздаяние. В таком испытании нет ничего от христианства, так как нет никакого Бога, чтобы соизмерить конечное счастье с пережитыми страданиями: все происходит само собой. Воздаяние является естественным завершением испытания. Что касается моей покинутости в ходе испытания, то она весьма показательна и в сущности весьма близка, например, к озлобленности С. Мы не защищаемся, уходим в себя — это такой способ, о котором я уже здесь писал, установить дистанцию между собой и другими людьми: я замыкаюсь под первым предлогом; все та же гордыня. А потом дожидаюсь, чтобы ко мне подошли. Всю свою жизнь я ждал, чтобы ко мне подошли, сам никогда не делал

¹ Героиня новеллы *Бокаччо*, чья история легла в основу многочисленных рассказов, пьес, лирических произведений и т. п. Вероятнее всего, что в детстве Сартр читал версию *Шарля Перро* «Маркиза де Салюсс, или Терпение Гризельды»: «Что мне нравилось в этом не очень-то достойном одобрения рассказе, так это садизм жертвы и та непоколебимая добродетель, которая в конце концов заставляет пасть на колени мужа-палача».

первого шага, мне хочется, чтобы меня просили. Как-то раз, когда мне было четырнадцать лет, я проходил мимо компании приятелей, делая вид, что не вижу их, предоставляя им возможность позвать меня. К несчастью, момент был выбран неудачно: я был для них козлом отпущения, полным ничтожеством; они меня не позвали. Тогда я бегом сделал большой крюк и снова прошел мимо них все с тем же отсутствующим видом и снова давая им возможность окликнуть меня. И так несколько раз, пока один из них не сказал: «Эй ты, придурок, чего вокруг нас крутишься почти целый час?» Не сомневаюсь, что в моих мечтаниях они сами бы ко мне подошли. Это одиночество не чистое: герой моих грез уходит не для того, чтобы окончательно покинуть людей, а с твердой уверенностью в том, что наступит такой день, когда эти люди у него в ногах будут валяться. Гордыня, ложное одиночество, оптимизм — забавно, что все это встречается уже в моих самых ранних детских мечтах. В самой потребности величия, что складывалась во мне, присутствовала потребность воздаяния. И это во мне осталось. Я хочу сказать, что мне не чуждо этакое жесткое страдание с застывшим взором, каковое выливается в самозабвение и представляет собой нечто невыносимое. Такое страдание я ценю больше всего. Но над иными моими печальями всегда витает некий ангел, мне представляется, что в силу благосклонности судьбы из самой этой печали родится самое восхитительное воздаяние: всякая печаль должна иметь хорошую развязку. В сущности, война очень скоро предстала передо мной через эту схему. Година тяжелых испытаний и величия, а вознаграждением будет обновление и вторая молодость. Не мне верить в тяготы войны, в тяготы утраченной любви. Вчера, однако, мне хотелось именно этого; впад в меланхолию из-за того, что я не поэт, я стал писать в дневнике, что сам меланхоличен. И эту меланхолию ласкало крыло ангела; эта меланхолия несла в себе тайную надежду, что сами эти строчки, в которых я описывал свою пе-

чаль от сознания того, что я не поэт, превратятся под моим пером — благодаря самопроизвольному воздаянию — в восхитительную прозу, причем сам я этого не буду сознавать, и лишь позднее, перечитывая эту скромнейшую и благородную жалобу, с восхищенным изумлением обнаружу, что создал в своей прозе нечто прекрасное, тот самый кораблик в бутылке, которого тщетно требовал от своей поэзии. Не могу сказать, что эта безобразная надежда была *движущей силой* моего письма. Нет, слава Богу. Но она окрашивала письмо. Любопытно, будет ли это заметно. Во всяком случае сама схема понятна: низвергнувшись в бездну отчаяния от сознания того, что он не музыкант, он изливает свою боль, и его боль, *собственно*, и становится музыкой, грубоватая и невинная жалоба оказывается самой что ни есть прекрасной гармонией.

Понедельник, 11-е марта

Я хотел переписать одно место из дневника Жида, где говорится о «малости реальности»,¹ и плохо, что не сделал этого. Он объясняет Роже Мартэн дю Гару,^{*} что имеется некий смысл реальности, которого ему как раз недостает, и что самые значительные события кажутся ему маскарадом.² И я такой, отсюда и моя фривольность. Я долгое время не мог понять, является ли это особенностью некоторых людей, в число которых вхожу и я, или же, наоборот, все люди таковы, а реальность есть лишь не что иное, как идеал, который находится в бесконечности и который невозможно ощутить. Еще и сегодня я с этим не разобрался, но могу констатировать, что Жид, как истинный буржуа, и я,

¹ Подразумевается книга *Андре Бретона* «Введение в рассуждение о малости реальности» (1927).

² «У меня нет именно чувства реальности. Мне кажется, что мы все участвуем в каком-то фантастическом параде» (*Gide André. Journal. 1924, 20 décembre*).

как госслужащий, из семьи госслужащих — мы были слишком уж расположены принимать реальность за декорацию. В конце концов как с Жидом, так и со мной, никогда не случалось ничего непоправимого. Сам я ощущал непоправимое раз или два, например, когда думал, что схожу с ума. Тогда я открыл для себя, что со мной все может произойти. Это очень ценное ощущение, и оно совершенно необходимо для подлинной жизни, его я пытаюсь, насколько это возможно, хранить в себе. Однако оно очень непостоянно, и если речь не идет о каких-то великих катастрофах, требуется определенное упорство, чтобы удержать его в себе. Впрочем, за исключением этого происшествия с предполагаемым безумием, когда мое высшее сознание было схвачено за горло, я зачастую уходил от этих тревог за свою судьбу, укрываясь на самом дне высшего, абсолютного и созерцательного сознания, для которого моя судьба и даже крушение моей личности были всего лишь побочными моментами какого-то исключительного объекта. Объект мог исчезнуть, сознанию не было до этого никакого дела; моя личность была лишь переходным воплощением этого сознания, точнее неким отношением, привязывавшим его, наподобие привязанного аэростата, к миру. Лежало ли начало этой созерцательной позиции в моей созерцательной функции живущего в обществе хранителя культуры, как заявил бы без обиняков какой-нибудь марксист, или же она представляет собой первичный проект моего существования (в самом деле, в ней обретаются гордыня, свобода, отстраненность от самого себя, созерцательный стоицизм и оптимизм, каковые без всякого сомнения входят в состав моего первичного проекта) — здесь мне не решить. В любом случае ясно, что эта манера скрываться на вершине башни, когда атакован низ, и смотреть на все сверху вниз, не моргая, но все же с вытаращенными от страха глазами, представляет собой позицию, которую я выбрал в 38—39-м годах перед лицом военной угрозы. Она же некоторым образом вдохновила

меня на статью о трансцендентности Эго, где я ничтоже сумняшеся выставляю «Я» за двери сознания, как какого-нибудь нескромного посетителя. У меня не было этой волнительной близости с самим собой, в силу которой возникают, как выражаются медики, спайки между «Я» и сознанием, и которую мы рискуем разорвать, если попытаемся их убрать. Напротив, оно было далеко-далеко, там и оставалось, а я со всем своим спокойствием, со всей своей строгостью смотрел на него словно через стекло. Кроме того, я долгое время полагал, что невозможно совместить существование характера со свободой сознания; мне думалось, что характер — это лишь букет максим, скорее моральных, чем психологических, который собирает сосед, резюмируя наш жизненный опыт. А сознание-убежище оставалось, как ему и следовало, бесцветным, безвкусным, неуязвимым. Только в этом году — из-за войны — мне удалось понять: нельзя смешивать характер со всеми этими максимами-рецептами моралистов — «он вспыльчив, он ленив и т. п.», что он представляет собой первичный и свободный проект нашего бытия в мире. Что я и пытался показать в портрете Вильгельма II. Коротко говоря, существование сознания-убежища позволяло мне самому решать, какова степень серьезности той или иной ситуации; я был похож на того человека, который даже в самых страшных испытаниях не ощущает угрожающей реальности ожидающих его мучений, ибо всегда имеет при себе молниеносный яд, который принесет ему спасение еще до того, как к нему притронутся. В «Уделе человеческого»¹ есть такой персонаж — Катов. Он достигает величия, когда отдает яд товарищам. Мне кажется, что в этот момент он представляет собой настоящую человеческую реальность, так как ничто больше не удерживает вне этого мира, он весь внутри него — всецело свободный и беззащитный. За этот год осуществился переход от свободы аб-

¹ Роман *Андре Мальро* (1933).

солютной к свободе человеческой и безоружной, яд был выброшен, в силу чего теперь моя судьба видится мне законченной. Моя переподготовка должна заключаться в том, чтобы научиться чувствовать себя «в деле», без всякой защиты. На этот путь меня вывели война и Хайдеггер; Хайдеггер показал мне, что за рамками проекта нет ничего такого, благодаря чему человеческая-реальность могла бы себя реализовать. Означает ли это, что я верну себе свое «Я»? Конечно же, нет. Однако самость или всецелость для-себя-бытия не есть «Я», тем не менее это личность. В сущности, я учусь быть личностью. Но не в этом цель моих рассуждений. Мне хотелось указать на то, что, не оказавшись с самого начала «в деле», не чувствуя себя ответственным, не имея денежных забот, я никогда не мог принять мир всерьез. В иные времена такая позиция могла бы привести меня к мистицизму, так как тот, кто не удовлетворен «малостью реальности», готов отправиться на поиски сюрреальности. Мне думается, что лет пятнадцать назад именно таков и был для многих исток сюрреалистической веры (но не для всех: влияние войны, о котором часто говорится, кажется мне гораздо более решающим, в особенности для главных из них). Но я был атеистом из гордыни. Не в том дело, что я ощущал гордыню, само мое существование было гордыней, я был гордыней. Рядом со мной Богу не оставалось места, источник моего существования, который бил во мне, был столь неиссякаемым, что я просто не понимал, какую роль во всей этой истории мог бы играть Всемогущий. Кроме того, в атеизме меня окончательно укрепила жалкая скудость религиозной философии. Вера простодушна или это криводушие. Должно быть, моя мать заметила за мной эту игривую холодность в отношении мира, так как она то и дело повторяла, что, случись мне жить несколькими веками ранее, я бы стал монахом. За неимением веры я терял лишь серьезность. В общем, серьезность возникает тогда, когда люди исходят из *мира* или когда мир наделяют большей

реальностью нежели самих себя, или по меньшей мере когда себе придают ту меру реальности, в которой принадлежат миру. Ведь это не случайность, что материализм *серьезен*; не случайно и то, что он всегда и везде становится для революционера избранным философским учением. Революционеры — серьезные люди. Они узнают друг друга издалека, так как они придавлены миром, они узнают друг друга исходя из того мира, который давит на них и который они хотят изменить. В этом они заодно со своими давними врагами — имущими классами, которые также признают и оценивают друг друга исходя из своей ситуации в мире. Я ненавижу серьезность. В серьезных заботах какого-нибудь инженера мир являет себя со всей своей инертностью, своими законами, своей упорной непроницаемостью; всякая серьезная мысль разбухает от этого мира, застывает; она являет собой отставку человека в пользу мира. Посмотрите на этого человека, который склоняет голову и говорит: «Да, это серьезно. Это очень серьезно». Надо понять, что в наклон головы он вкладывает следующее: мир господствует над человеком, необходимо соблюдать его правила и законы, — а они вне нас, разложены по полочкам, тверды как камень, — и они принесут благоприятный результат. И когда эти правила нарушены, наступает катастрофа, человек лишается прибежища. Так как у него нет прибежища *в себе*: он «от мира», мир в нем поселился, нарушенное табу нарушено и *в нем*. Люди серьезные, когда вообще не считаются с возможностью *выхода* из мира, когда мир со всеми своими лугами и скалами, земной корой и грязью, торфяниками и пустынями, со всеми своими нагромождениями обступает вас со всех сторон, когда люди сами выбирают для себя тип существования, свойственный камню, — существование плотное, непроницаемое, неподвижное; серьезный человек — это застывшее, как лава, сознание; люди серьезные, когда отрицают дух. Неверующие, о которых рассказывает Платон в «Софисте», те люди,

что верят только в то, к чему прикоснутся — вот предки духа серьезности. Понятно, что серьезный человек, коль скоро он *от мира*, не имеет ни малейшего представления о своей свободе или, точнее, если и сознает ее, то запрягивает ее в самом себе как можно глубже, как какую-нибудь пакость. Он определен — как скала, атом, звезда. И если дух серьезности характеризуется прилежанием, с которым он рассматривает *последствия* своих действий, объясняется это тем, что у серьезного человека кругом одни последствия. Он сам есть не что иное, как следствие, не принцип, а невыносимое следствие. Он затянут в бесконечную цепь следствий, куда ни бросит взгляд — кругом одни следствия. Вот почему деньги — знак всех в мире вещей, следствие — и как следствие являются воплощением духа серьезности. Короче говоря, Маркс определил первейшую догму серьезности, когда сказал что объект выше субъекта. Человек серьезен, когда забывает себя, когда из субъекта делает объект, когда принимает себя за украшение мира; инженеры, врачи, физики, биологи — люди серьезные.

Я же был защищен от серьезности тем, о чем говорил. Даже слишком хорошо: я был не от мира сего, потому что был свободен и был первичным началом самого себя. Нет никакой возможности воспринимать себя как сознание и не думать при этом, что жизнь — это игра.

В самом деле, что такое игра, как не тот вид деятельности, первейшим истоком которого является сам человек и который не может иметь никаких последствий кроме тех, что заложены в установленных принципах. Как только человек чувствует себя свободным и хочет своей свободой воспользоваться, всякое дело, за которое он берется, превращается в игру: он сам — его первопринцип; он по природе своей ускользает от мира, сам определяет ценность и правила своих действий и согласен расплачиваться исключительно по тем правилам, которые сам назначил и определил. Отсюда

проистекает малозначность мира и исчезновение серьезности. Мне никогда не хотелось быть серьезным, я чувствовал себя слишком свободным. Во времена моей любви к Тулузе¹ я написал длинное стихотворение, кажется, весьма дурное, оно называлось «Питер Пэн», этакая песенка малыша, которому не хочется расти.² Все те же «маленькие мальчики» и «маленькие девочки», штампы наших любовных отношений. Со стороны двадцатилетнего парня и двадцатитрехлетней девицы это так же отдает инцестом, как это бесконечное «Мамочка» со стороны Руссо, вздыхающего по г-же де Варен. Но я не об этом. В любом случае этот маленький мальчик не хотел расти, потому что боялся стать серьезным. В этом я могу быть уверен: теперь мне на четырнадцать лет больше, мне не случалось быть серьезным, за исключением того случая на кладбище Тетуан, когда Бобр хотела, чтобы я надел свою соломенную шляпу, а мне этого не хотелось. Когда я говорил об ответственности за свои поступки, меня никогда не покидало чувство, что я все равно от нее уйду. Благодаря башне своего сознания, куда я мог взобраться, когда мне захочется.

Однако интересующий меня сегодня вопрос стоит так: не приведет ли меня подлинность, навсегда закрыв для меня ворота башни, к духу серьезности? Мне кажется, что на это есть один-единственный ответ: нет, ни в коем случае. Так как воспринимать себя как личность вовсе не значит воспринимать себя исходя из мира, наоборот. Подлинность не ограничивает свободы — даже увеличивает ее в отношении позиции с башней, поскольку, если мы подлинны, то мы приговорены к беспримесной свободе, не имеющей никаких оправданий. Наконец, бытие-в-мире не есть бытие от

¹ Прозвище Симоны Жоливе.

² Это стихотворение, написанное в Эколь Нормаль, Сартр, как это ни странно, передал Раймону Арону. См.: *Sartre J.-P. Ecrits de jeunesse*. Op. cit (Ho hé Ho).

мира. Наоборот. Мне бы хотелось, чтобы, когда я откажусь от башни из слоновой кости, мир явился мне во всей своей угрожающей реальности, но я совсем не хочу, чтобы из-за этого моя жизнь перестала быть игрой. Вот почему я обеими руками подписываюсь под фразой Шиллера: «Человек по-настоящему человек только тогда, когда он играет».

Вторник, 12-е марта

В пятницу или субботу мы снова выезжаем в Брумат. Наверное, чтобы освободить место для какой-нибудь тыловой дивизии, которая идет к передовой. Я рад возвращению в Брумат, я сохранил о нем необыкновенно поэтичное воспоминание. От Морсбронна у меня остался какой-то ослепительный и ледяной, очень жесткий образ — снег, пронизанный сильной поэзией и студеным ветром. Брумат видится мне в приглушенном и мягком свете. Я снова вижу ранние утренние часы, проведенные в таверне «Де ла Роз», долгие послеобеденные часы, проведенные в классе. Для меня Брумат — это приезд Бобра и мое возвращение ночью, после того как я оставил ее на вокзале, это также кризис в моих чувствах к Ванде и этот новый и трагический мир, в котором я стал жить, ведомый Сент-Экзюпери и Кёстлером. Это там я предугадал, что такое подлинность (только в последние дни, в таверне «Дю Лон д'Ор»), это там я скинул с себя старую шкуру. Меня тянет снова увидеть «Рака», баню, я задаюсь вопросом, как это все повлияет на меня. Сам я там не останусь. Если мы приедем туда 17-го, то я там проведу самое большее неделю. После чего поеду в отпуск, а по возвращении меня наверняка отзовут в тыл. Я уже мало-помалу освобождаюсь от судеб моей части, как от старой коры. Когда со мной заговаривают о ее судьбе, — что она по всей вероятности будет направлена в Бич, что после этого отпуска следующая очередь наступит

не раньше, чем через полгода, — все это кажется мне ветхим и засохшим; это уже не я. В голове витают образы сада-огорода на склоне холма, в духе «Иль-де-Франс», которые символизируют мое ближайшее будущее. То есть: метеопост в тылу, я когда-то служил на таком посту в Сен-Симфорьене, чуть выше Тура, г-н Леду, гражданский метеоролог, имел неподалеку свой огород. В общем, я проникнут смутной и глупой надеждой на *пост* в Туре. Разум же, естественно, нашептывает, что меня могут перевести куда угодно, только не туда.

«Германия — опыт объяснения» Эдмона Вермейля: «Главная идея заключается в следующем: все нездоровое и экзальтированное, то есть все опасное в немецком национализме, в его отчаянной мечте о религиозном и расовом сообществе, предназначение которого заключается в том, чтобы господствовать на старом континенте, объясняется прежней территориальной раздробленностью и множественностью организаций, тенденций и партий, пришедшей ей на смену в рамках Империи Бисмарка и Веймарской Конституции. Другими словами, немцы — заложники пангерманизма».¹ Очень неплохо, причем это настолько очевидно, что я и сам до этого додумался, хотя и не силен в истории. Однако вот она, смысловая связь между двумя сущностями, одна из которых представляет собой *факт*: фактическое существование политической и административной раздробленности, а другая — *идеал*: «сообщество» предстает как некая присущая немецкой нации возможность — возможность господствовать в Европе. Я сразу же вижу смысловую связь: стремление к единству выходит за рамки простого объединения Германии — оно нацелено на объединение Германии *in vide* объединяющего Европу объединения. Феномен объ-

¹ Сартр цитирует анонс на новую книгу, напечатанный в мартовском номере «НРФ».

единения предстает так, будто он не может не иметь смысла для всего континента; объединение задает самому себе такую цель, которая выходит за его рамки и только усиливает его неотложность: объединение для господства. Весьма неплохо, но мне этого мало: я не понимаю, как раздробленность Германии может сама по себе породить мифологический образ. Связка «раздробленность—пангерманизм» значима лишь потому, что она *человечна*. Образ надо понимать так, что он существует через людей, которые историзируют самих себя. Но нельзя допустить и того, что раздробленность извне воздействует на умы, заставляя их вырабатывать мифологическое представление о единстве, призванном ее ликвидировать. Сама по себе раздробленность ничего не представляет и ничего не производит, единственно, на что она способна, — это дробиться и дробиться. Бесполезно и пытаться показать, как мечта о единстве возникает из трудностей, с которыми в ходе преодоления раздробленности сталкиваются нацеленные на объединение силы (экономические, культурные, религиозные), и из конфликта, который отсюда проистекает. Этой диалектике недостает одного фактора, всегда одного и того же; необходимо, чтобы сопротивление ощущалось, необходимо, чтобы экономические силы, брошенные на преодоление раздробленности, были силами человеческими; необходимо вернуться к человеку. Иначе говоря, эта связка различных сущностей, которая во всей очевидности предстает пониманию, сама по себе является *unselbständig*,¹ она отсылает к человеческой-реальности, для которой она существует. Возможно только одно объяснение: раздробленность — это *ситуация*, а пангерманизм — это возможность, к которой через эту ситуацию устремляется человеческая-реальность. В силу чего, только преодолевая раздробленность в *направлении* пангерманизма, человеческая реальность конституирует

¹ Зависимой, несамостоятельной (нем.).

ее в качестве ситуации и воспринимает ее как таковую. Без этого свободного преодоления ей не быть ни ситуацией, ни даже фактической раздробленностью. А если взять ее как чистую раздробленность? Это невозможно — или по меньшей мере невозможно *на первый взгляд*. Если она и воспринимается как раздробленность, то происходит это не иначе, как посредством человеческой-реальности, которая преодолевает ее в направлении чего-либо другого: в направлении федерализма, например. Но для того, чтобы рассматривать ее как *чистую* раздробленность, как *факт* раздробленности, необходимо, чтобы разум осуществил созерцательное отстранение, чтобы он попытался *расчлнить* ситуацию, извлечь из нее *данное* и преобразовать его в *позицию*. Таким образом пропадает необходимость обращения к этим темным силам, к которым столь часто апеллирует дипломатическая мудрость, к этой, например, непреодолимой силе притяжения, которая якобы существует между отдельными частями раздробленной страны и приводит ее в конце концов к единству. Наша позиция в корне противоположна марксистской точке зрения на миф. Миф, как полагают историки-марксисты, представляет собой продукт воздействия какого-то фактического состояния на человеческое сознание. Я переворачиваю эту формулу и утверждаю, что само фактическое состояние *конституируется* посредством проекта человеческой-реальности, который через него направляется к мифу, какой образует ее собственную возможность. Вопрос в том, *какая* это человеческая-реальность? Она может быть только индивидуальной, и так мы возвращаемся к историческому индивидуализму, который плохо согласуется с большими коллективными субстанциями. Ведь ясно, что когда Вермейль выводит пангерманизм из раздробленности Германии, он весьма далек от индивидов. Проблема вовсе не в том, чтобы понять, а что какой-нибудь Поль или Пьер могут воспринимать в подобной ситуации: мы находимся на уровне националь-

ного сообщества. И тем не менее я могу снова сказать, что есть только индивиды. Как же выйти из этого тупика? А через само понятие ситуации, к которому мы для начала обратились. Если индивид отсылает к ситуации, а ситуация к индивиду, это не значит, что можно, если чуть-чуть поднажать, свести ситуацию к индивиду. Как бытие-в-мире не значит того, что в индивиду может заключаться мир. В действительности пангерманизм существует, потому что существуют пангерманизмы, однако есть один-единственный пангерманизм. В силу *Mit-sein* соотносительные ситуации проекта бросающегося в мир индивида оказываются ситуациями для других, ты становишься самим собой не иначе, как свободно проектируя себя через образованные проектом другого ситуации. Я уже объяснял на этот счет по вопросу о родине. Каждый индивид оказывается перед указательными столбами, они будут указывать только через него, однако само указание было выработано другими. Таким образом раздробленность и пангерманизм могут открыться себе лишь через индивидов, однако их природа бесконечно превосходит каждого из них, и не следует ее смешивать ни с простой суммой всех пангерманизмов, ни с непонятно каким коллективным сознанием, которое якобы незаметно охватывает индивидов и складывается без их участия. Перед всяким немцем, что появлялся в мире перед войной, пангерманизм предстал в виде ситуации. Он мог свободно решить, как ему относиться к этой ситуации (отвергать, презирать, выступить против, принять, одобрить, благожелательно наблюдать со стороны), однако не мог сделать так, чтобы пангерманизм вообще не был его ситуацией, чтобы сам он не оживлял «смыслового» отношения «раздробленность—пангерманизм». Такой своей позицией — а это он сам — он обогащал ситуацию для другого, она оказывалась богаче, гибче, безотлагательнее — для другого. Описывая смысловые отношения между идеями, движениями, какую-нибудь политическую ситуацию, тенденции и требования, ис-

торик описывает объекты реальные, но все они обладают характером *Unselbständigkeit*. Конкретные логические связи, что обнаруживаются историками, отсылают к человеческой реальности, которую они обходят молчанием. Это их право; более того, по-другому они просто не могут. Однако ошибка, которую они совершают дальше, заключается в том, что они показывают, будто эти связи *независимы* и действуют *на* людей, тогда как на деле они без людей просто не существуют и представляют собой лишь то, на что направляются человеческие проекты, что и существует-то только благодаря этим проектам. В этом смысле описание конкретного развития какой-то идеологии, исходя из определенных политических данных, следовало бы дополнить монографией о каком-нибудь значительном историческом деятеле этого времени, тогда идеология будет показана как прожитая и образованная определенным человеческим проектом ситуация. Тогда вместо абстрактной смысловой схемы (например: раздробленность—пангерманизм) мы получим синтез смыслов, принадлежащих к самым различным пластам, абстрактная схема — только лишь ось и центральная структура этого смыслового синтеза. В общем, синтетический корректив абстрактного разбора по частям, нечто вроде того, чем для Конта являются конкретные науки — синтетическое воссоздание реальности посредством совместного использования различных абстрактных наук, тогда как сами абстрактные науки представляют собой лишь изучение условий возможности какого-то общего феномена. В этом смысле можно было бы также сказать, что в этом разделении значений на параллельные пласты нет ни великой тайны, ни непреодолимой трудности. Это происходит потому, что историк изучает абстрактные условия возможности какого-то конкретного и человеческого феномена, принципиально отвергая само человеческое. Идеи голода, поражения Франции и федерализма в духе Прудона параллельны и никогда не сомкнутся, если с само-

го начала их абстрагировать как условия возможности Коммуны. Но во всецелом проекте самого себя, который 18 марта¹ мог выработать для себя какой-нибудь рабочий из Бельвиля, все эти факторы соединяются в одном движении.²

В Доме Солдата два жандарма играют в пинг-понг. Подходит лейтенант из военной прокуратуры, южанин, о котором я уже писал, и говорит с любезным видом: «Посмотрим, где вы проворнее — когда ловите шарик или когда ловите правонарушителей».

Прочел «Анжелику» Лео Ферреро.³ Слабо. Абсурдный сюжет: в крахе освободительного движения виноват сам Орlando. Первая задача революционера, который совершил революцию, состоит в том, чтобы взять власть в свои руки. Даже если эта революция была совершена во имя освобождения народа. Освободить народ от тирана, а затем лишить его вождя, не научив пользоваться свободой, снять с себя ответственность власти — значит передать его связанным по рукам и ногам другому тирану. Революции без диктатуры не бывает. Вожди Коммуны обрекли себя на гибель, потому что сначала не были диктаторами.

Вторник, 13-е марта

Забавная перемена настроения. Вчера, часов в шесть, в глазах вдруг зарябило, они наполовину потухли, и минут пятнадцать мной владело беспричинное нервное беспокойство, которое я принял за безумие в

¹ 18 марта 1871 г. солдаты, прибывшие забрать у революционеров пушки, стали брататься с восставшими. Вскоре появилась Коммуна.

² Эти размышления об индивидуе и Истории предвосхищают сартровскую концепцию диалектики, с которой он вполне освоился лишь в биографии Флобера («В семье не без урода», 1971—1972).

³ Ferrero Léo. Angélica. Paris: Rieder, 1934.

1935 году. Потом это проходит, но весь вечер я чувствую себя разбитым. После чего сегодня утром просыпаюсь счастливым, преисполненным каким-то странным слепым счастьем, счастьем заочным. Я, кто до вчерашнего дня был восприимчив и растянут как паутина по всей своей вселенной — и столь мало присутствовал в своем тесном настоящем, лишь ощущал, как течет время, вдруг весь съежился, умалился, стал экономным, даже скупым, испытал невозможность раздуть свои заботы до уровня реальной жизни; меня больше не заботит ни Париж, ни мое будущее, ни будущее коллектива, к которому я принадлежу. На страже; нищий в сократившейся вселенной; мной владеет некое фривольное и унылое желание не попасть впрок. Счастливая расслабленность, мечта идиота: добросовестно разгадываю кроссворды в «Марианне»,¹ мне даже нравится «Канар аншене». Меня очаровывают и останавливают все окружающие меня предметы, я погружаюсь в них. Глаза болят по-прежнему.

Спускаюсь по грязному узкому переулку, меж двух длинных стен, чтобы отнести на почту письма. Смотрю на черную землю, усыпанную крохотными ошметками растительности, и воспоминания тут как тут. Сначала, уж не знаю почему, утренняя прогулка с Ольгой — четыре часа утра, июнь, улица О-де-Робек; в ту ночь мы не ложились. Затем аркашонская дорога, усыпанная сосновой хвоей, по которой мы шли с Бобром, окруженные чахоточной тишиной; пахло морем, теплым песком и смолой. Попытался обдумать: у меня все это было, у меня. Как и мой Рокантен, который пытается думать, что он видел Ганг и храм в Ангкоре. И это ничего не дало. Мне особенно хотелось почувствовать, как этот унылый и черствый субъект, который почти что каждый день носил письма на почту, снова переполняется страстью и, а почему бы нет, благодатью, кото-

¹ Литературно-политический еженедельник, основанный французским писателем Эммануэлем Берлем.

рые я переживал в ту ночь в Руане. Это был момент моей жизни, обладавший *ценностью*. Я все помню: мы кружили в темноте вокруг нового бассейна, вышел разъяренный ночной сторож: «Запрещено, скажите спасибо, что я еще не всадил вам пулю в зад». Мы раз двадцать проходили мимо одних и тех же мест, мы видели, как там совершается вечерний туалет и готовятся ко сну; замерцало «Кафе Виктор», поначалу светившееся всеми своими огнями, прямо напротив громадного зеленого рекламного щита на другом берегу Сены, сначала оно закрылось, и сложенные стопкой стулья огромной террасы стали вырисовываться на стеклах китайскими тенями — в блеклом свете, идущем изнутри, где кассирша считала деньги, где официанты развязывали и складывали свои фартуки. Потом даже эти огни погасли, и стекла стали черными и матовыми, стулья были снова захвачены улицей, они принадлежали набережным, ночи, как неподвижные портовые краны. Они уже были скорее железяками, чем стульями. В «Осеанике» уже раза четыре или пять сменилась клиентура, красивые шлюхи, служившие танцовщицами-завлекалками в большом городском дансинге (я забыл его название), которых мы видели часов в восемь на выходе из номеров «Осеаника», когда они шли в бар, чтобы как следует подкрепиться, — завитые, наштукатуренные, вылизанные, напудренные, в блестящих платьях, мы их снова увидели в двенадцать, в час ночи, когда они, потные, покрасневшиеся и растрепанные, ужинали со своими клиентами. Потом закрылся и «Осеаник»; сквозь щели деревянных ставней мы видели полосы света, говорившие нам о том, что «Осеаник» оставался таинственным образом открытым для посвященных, друзей патрона, молчаливой скотины, которого называли Канадцем. Мы кружили по узким черным улочкам, где гулко раздавались наши шаги, и на этих улицах мы инстинктивно приглушали голоса и переходили на шепот. Затем мы были в «Никод Баре», единственной руанской пивной, которая работала всю

ночь; атмосфера была невыразительной и грубой, слепящий свет юпитеров в битком набитом зале, где сидели вплотную к друг другу музыканты из дансинга, да нормандские крестьяне, ожидавшие первого утреннего поезда. И там ей стало плохо, она сидела с отсутствующим видом. Я сказал ей: «Вам плохо?», и она мне ответила: «Меня только что стошнило, сегодня я испытываю к вам такую симпатию, что не могу ничего от вас скрыть», — с таким потешным и очаровательным видом, что у меня защемило на сердце. А потом мы ушли, мы были на улице О-де-Робек. Когда стало рассветать, мы вернулись на улицу Жанны д'Арк и ранним утром рассматривали ботинки в витринах обувных лавок, потому что она говорила, что мои были просто отвратительны. В странном виде эти еще вчера сиявшие в огнях витрины ботинки представляли перед нами в сером свете раннего утра — тусклые, бесцветные, мертвые и тем не менее вызывающе новые на фоне пустого и черного магазина. Мы дошли до вокзала, сели на скамейку на бульваре де ля Марн и стали играть в кости.

Эта ночь благоухает; я обладал ценностью — она тоже, я в этом уверен; я был не очень счастлив, у меня не было никакой надежды, но мы были вместе, и она была моей на всю ночь, ночь обступала нас со всех сторон, бесполезно было пытаться понять, что будет утром (и в самом деле утро обернулось катастрофой, ненавистью, ссорой, уж не помню чем). Я и в самом деле думаю, что эта ночь была для меня исключительным в своем роде моментом; задаюсь вопросом, какое у нее осталось о ней воспоминание. Может, никакого, может у нее были какие-то задние мысли, о которых я даже не догадывался, может, утренняя ненависть навсегда скрыла от нее забытье той ночи. Кроме того, это уже не та Ольга, ни для меня, ни для нее самой. И я тоже не тот. Именно это я и хотел здесь отметить — а потом увлекся и описал эту ночь. Когда пришло воспоминание, я почти что взывал к нему, мне бы хотелось,

чтобы оно меня незаметно окрасило, вытащило меня из грязной заскорузлой шкуры военного. И в некотором смысле оно ответило на этот зов, отдалось мне, насколько это было возможно, открыло передо мной материнские объятия и выпустило на волю тьму других мелких воспоминаний. Но оно не сделало того, чего я требовал: не *зацепило* меня. Чего я в общем-то хотел: *человека, который прожил эту ночь*. Мне хотелось не только того, чтобы она оказалась *передо мной* как отрывок потерянного времени, но и того, чтобы моя тогдашняя страсть оказалась *внутри* меня как некая сила. Мне, собственно, хотелось, чтобы это утраченное, но прожитое с такой силой время не было потерянным временем. Хотелось, честно говоря, чтобы оно «пошло мне на пользу», как говорят: «Ешьте же, хуже вам не будет, это пойдет вам на пользу». Я чувствовал себя таким хрупким, таким худосочным на этой грязной тропинке, настолько «военным, идущим на почту отправить свои письма», что мне захотелось разжиться за счет своих прежних любовных историй и горестей. Но тщетно: я почувствовал себя всецело свободным перед лицом этих воспоминаний. Это расплата за свободу, ты всегда вонне. От воспоминаний, как и от движущих сил, нас отделяет *ничто*, не существует такого периода в жизни, к которому можно было бы *прилипнуть*, как пригоревший крем «прилипает» к дну кастрюли; ничто не оставляет отпечатка, мы в постоянном бегстве; перед лицом того, чем мы были, мы всегда одно и то же: *ничто*. Я чувствовал себя совершеннейшим *ничто* перед лицом той прошлой ночи, она была для меня как бы ночью другого человека. Я уже предчувствовал эту безоружную слабость прошлого, в «Тошноте», но я сделал неверный вывод, сказал, что прошлое уничтожается. Это не так, напротив, оно всегда существует, существует в себе. Просто оно действует на нас не больше, чем если бы его не существовало. Не суть важно, каким было прошлое. Чтобы оно существовало, нужно броситься сквозь него к какому-то будущему;

нужно, чтобы мы считались с ним *для* той или иной цели в будущем. Именно свободный поступок и определяет всякий раз его действительность и даже его смысл. Пусть даже мы объездили весь свет, пережили самые сильные страсти — мы всегда будем, когда это потребует, тем никчемным и нищим солдатом, который отправляется бросить свои письма в почтовый ящик; в настоящем мы сами потворствуем любому нашему единению с прошлым.

Пять дней назад получил письмо из «Кайе де Пари»: ¹

«Мсье, вы, как и еще несколько писателей, вошли в список первых претендентов на премию „Популистский роман“. Мы были бы вам очень признательны, если бы в случае вашего согласия вы выслали членам жюри по одному экземпляру вашей книги, а также кандидатский запрос».

Поначалу доволен: я далеко, в армии, мне не надо пачкать об это руки. Все та же гордыня, в силу которой я ничего не хочу просить. Но если получу, буду только рад — как-никак 2000 франков. После чего перечитываю письмо и обнаруживаю — о, ужас, что надо делать кандидатский запрос. И вся эта островная гордыня летит к черту, я не могу умыть руки. Потом понимаю, что премия *популистская*. Сделать кандидатский запрос — значит встать под знамя популизма, ведь получу я популистскую премию, и сам ее прошу. Решаю отказаться. Но истинная причина в том, что я хочу получить премию, не прилагая для этого никаких усилий и не скомпрометировав себя. Ложность и неподлинность такой точки зрения. В конце концов, если мне наплевать на премии, надо от них отказываться. Если же я хочу их получать, мне нужно интриговать. Уловка заключалась в том, чтобы этот приступ гордыни замаскировать отказом от популистской премии. После чего

¹ Литературно-художественный журнал популистского толка.

пишу Бобру и испрашиваю ее совета. Понятно, что это совершенно нормальная вещь — спросить у нее совета, в любом сходном случае я поступил бы в точности так же. Но ветер переменился уже из-за того, что я попросил у нее совета, ведь я же знаю, что она ответит. Подлинность дается ей без всяких усилий, я бы сказал, от природы, если бы, правда, подлинность вообще могла исходить от природы. Знал, что она ответит, ничтоже сумняшеся: «Да какая разница, что это за премия; нам нужны деньги. Если она сама плывет вам в руки, хватайте ее». То есть когда я ей писал, я больше чем наполовину был уверен в ответе, который она даже еще не дала. Новая мерзость: зная, что Бобр переведет вопрос в денежную плоскость, я сам его туда и поместил, когда писал ей, и потом там его удерживаю. Откуда возможность скрасить цинизмом вероятное согласие: я это делаю только ради денег, ради денег можно все же совершить немного унижительный поступок. И снова попытка убежать от себя и утихомирить свою гордыню: важно не то, что я выставляю себя на суд писателей старше меня по возрасту, а то, что выманиваю две тысячи франков у простаков. И я подмигивал себе, думая: вот дураки. Что мне было совсем не трудно из-за впечатления, которое никогда меня не оставляет, что те, кто принимает мои книги всерьез — сама простота. Все это объясняется, понятно, «малостью реальности» и моей неспособностью принимать себя всерьез. Однако чистосердечен ли я? И что же я в самом деле думаю по поводу премий? Так вот, с одной стороны я просто сплошной клубок нервов, когда представляю себе весь этот гром аплодисментов, который раздается в честь лауреата Гонкуровской, например, премии. С другой стороны, мне невыносима сама мысль, что премией я обязан суждениям других людей. Я видел в «Пари-Матч» фотографию, где Рони-старший¹ поздравляет

¹ Рони Ж. А. (1856—1940) — французский романист, президент Гонкуровской академии.

получившего премию Труайя.¹ Труайя почтительно склонился с внимательной улыбкой на устах — так улыбаются, когда силятся понять почтенного старца, у которого каша во рту. Старец говорил: «Отлично, молодой человек, продолжайте». Меня чуть не стошнило. То есть премия, поскольку она *дается*, вызывает во мне отвращение. И понятно, что я не вижу ничего хорошего в том, что ты ей обладаешь. «Такой-то, лауреат премии Ренодо, лауреат Гонкуровской премии». Это как награда за ходячую добродетель, и ходячей добродетелью остаешься до тех пор, пока не изгладится память о премии. Но, не знаю, есть что-то промежуточное, в силу чего *премия* предстает как социальный феномен, который совершенно независим в отношении тех, кто ее присуждает, это что-то вроде ежегодного и солнечного праздника, который сваливается на голову избранного — и с такой точки зрения, то есть, в сущности, как годичный обладатель почетного титула, я себе не так уж не нравлюсь. Итак, под цинизмом кроется нехорошая жажда славы. Притом что и гордыня моя еще немного кровоточила, ведь у меня не было никакой уверенности, что я получу эту премию. Против своей воли я в 38—39 гг. играл комичную роль вечного кандидата на премию. В газетах мне обещали Гонкуровскую. Низан почти что присудил мне Ренодо, Шаренсоль и Декав² уверяли его, что это решенное дело. После того, как я оба раза сел в галошу, в «НРФ» поднялась большая возня, чтобы я получил премию Возрождения. Опять галоша. Наконец, началась война, и я даже забыл, что существуют какие-то премии, и потому был до смешного удивлен, узнав, что в голосовании по Ренодо за 1939 год двое упрямецев отдали свои голоса

¹ Труайя Анри (Лев Асланович Тарасов, род. в 1911) в 1938 г. получил Гонкуровскую премию за роман «Арэнь».

² Жорж Шаренсоль, критик из «Нувель литтерэр» и Пьер Декав, романист и публицист, входили в состав жюри премии Теофраста Ренодо.

мне. От всей этой возни мне ни жарко, ни холодно, поскольку все решалось без моего участия. Так что же, в пятый раз выходить на дистанцию, чтобы снова увидеть, как тебя обходит конкурент? В таком мужестве появлялось что-то нездоровое. Тем не менее во мне жила какая-то смутная уверенность: на этот раз все будет хорошо. После чего чтение статьи из «Пари-Матч», напомнившей мне, что Труайя уже был обладателем популистской премии, лишило меня одного довода: дескать, Труайя совсем не популистский романист. Кроме того, среди членов жюри не все популисты (Дюамель, Жалу, Ромен). Короче, я заколебался, и здесь сослужил мне службу этот небольшой автопортрет, что я пытаюсь набросать в этих дневниках: я вспомнил то, что писал об уловках своей гордыни, и решил, что если Бобр поддержит меня, то я на свой страх и риск выставляю себя кандидатом. Ответ от Бобра пришел сегодня, он такой, как я и предполагал — и я написал семнадцать кандидатских запросов, даже рука заболела. Хорошо еще, не смог помешать себе выбирать достойные выражения, чтобы остаться в своих глазах тем, кто ограничивается минимумом, чтобы получить желаемое.¹

Параллельно разыгрывалась маленькая комедия, которая, изрядно потешив мою гордыню, так ни к чему и не привела. «Воображаемое» готовилось к выходу. И Полан пишет мне 7-го: «Валю хочется, чтобы вы стали доктором поневоле, он договорился с Брюнсвиком. „Воображаемое“ можно представить как диссертацию, для этого вы должны лишь чуть задержать публикацию». Черт возьми, вот это мне нравится. Мне *без моего участия* присуждают звание, да еще почти что извиняются. Я разволновался, и опять же, чтобы избежать признательности, представлял себе, что Валь го-

¹ В апреле Сартр получит-таки премию «Популистский роман» за сборник новелл «Стена».

ворит Брюнсвику, как Фавр¹ о Рошфоре² 4 сентября 70 года: «Пусть лучше он будет с нами, чем против нас». Написал почтительное письмо с согласием. Самое смешное, что «Воображаемое» тем временем уже вышло в свет. Подозреваю, что Подан, движимый своим макиавеллизмом, немного подождал, прежде чем написать мне — чтобы точно знать, что «Воображаемое» выйдет до того, как он получит мой ответ. Два подлых пинка под зад моей гордыне или, точнее, даже и не гордыне, а тщеславию.

19.45. Слышу по радио о капитуляции Финляндии. Ощущение тягостное.

Четверг, 14-е марта

Пупетта, которая перепечатывает «Возраст зрелости», пишет Бобру: «Я всегда мрачнею, когда печатаю произведения Сартра. Говорить с ним приятно; читать его книги и думать потом о чем-то другом — это еще куда ни шло. Но погрузиться в это по самые уши — сущий ужас. Надеюсь, что он не внутри себя, как он описывает своих персонажей, ведь тогда его жизнь просто невыносима».

Это наводит меня на размышления: почему Антуан Рокантен и Матье, которые *суть я*, и в самом деле мрачные типы, тогда как самому мне жизнь не кажется такой уж плохой? Думаю, потому что они гомункулусы. То есть это у меня был *вырван их жизненный принцип*. Главное различие между Антуаном Рокантенем и

¹ Речь идет о республиканце *Жюле Фавре*, принимавшем участие в революционных событиях в исторический день 4 сентября 1870 г.

² *Рошфор Анри* (1831—1913) — французский публицист и политический деятель, основатель антимонархического еженедельника «Лантерн», во время Коммуны в течение нескольких дней входил в состав революционного правительства.

мною заключается в том, что это я написал историю Антуана Рокантена. Здесь происходит что-то вроде той дезинтеграции низших функций, через которую Мург объясняет механизм галлюцинаций.¹ Во всех наших мыслях, во всех наших чувствах имеется своя доля страшной тоски. Когда иерархическая интеграция устойчива, когда внутренняя организация обеспечивается синтетическими принципами, эта тоска безобидна; она вливается в целое, она вроде тени, от которой свет становится только ярче. Но если из этой смеси изъять направляющий принцип, тогда вторичные структуры, прежде подчиненные целому, начинают жить своей собственной жизнью. «Космическая тоска» сама себя полагает для себя. Именно это и произошло: я лишил своих персонажей своей маниакальной страсти к письму, своей гордыни, своей веры в судьбу, своего метафизического оптимизма, чем спровоцировал в них кишение всего мрачного. Они — это обезглавленный я. И поскольку синтетическое целое разрушается от малейшего прикосновения, эти герои нежизненны. Я надеюсь, что они таковы не в полной мере, как это бывает с романскими и воображаемыми созданиями, однако они могут существовать лишь в той искусственной среде, которую я для них создал и которая питает их: кроме дезинтеграционной тоски, которую я только что упоминал, они испытывают другую тоску, более глубокую, тоску, исполненную теми упреками и той горечью, которые источает гомункулус в своей колбе; они знают о своей нежизнеспособности, они живут на искусственном питании, и читатель, по мере того как он вводит их существование в свое время, проникается метафизической тоской доисторических животных, обреченных на скорейшее исчезновение по причине несовершенства их внутренней организации. Напротив, Фабрицио в «Пармской обители» даже в моменты

¹ Вероятно, имеется в виду книга Рауля Мурга «Нейробиология галлюцинации», на которую Сартр ссылается в «Воображаемом».

самого полного отчаяния является для читателя неиссякаемым источником счастья, так как он *selbständig*.¹ Он стоит на своих ногах, он жизнеспособен, в нем не происходит никакой дезинтеграции. Говорю это без всякого чувства зависти или унижения: Стендаль меня превосходит по другим мотивам. В самом деле, у нас разные цели. Мои романы представляют собой опыты, они возможны лишь через дезинтеграцию. Мне кажется, что совокупность моих сочинений будет скорее оптимистической, поскольку в этой совокупности будет восстановлено целое. Однако каждый отдельно взятый мой персонаж является калеккой. По правде говоря, Матье должен стать цельной натурой в последнем томе, но после этого он сразу умрет. Мне кажется, что это и есть причина того, что я могу писать мрачные книги, не являясь при этом ни мрачным человеком, ни шарлатаном, веря в то, что я пишу.

Это слово «кишеть», которое часто выходит из-под моего пера и которое я употребил на предыдущей странице, сохранило для меня все то очарование, которым оно обладало в моем детстве. Это слово я не выучил, я столкнулся с ним случайно. Однажды, открыв иллюстрированную книгу Буте де Монвеля по истории Франции (мне было шесть лет), я увидел большую цветную картинку, изображавшую белокурых голеньких детишек в окружении чистеньких розовых поросят. Смесь была аппетитная; поросята копались в ногах у детей, дети дергали поросят за хвосты, и все это на фоне радостного доисторического пейзажа, при этом радость была представлена красивыми деревьями и зеленью, а доисторическое время — большими серыми скалами с глубокими пещерами. Внизу было написано: «Они кишмя кишели, эти поросята». Слово было для меня незнакомое, и этого было достаточно, для того чтобы я увидел его изумленными глазами во всей его чистой

¹ Самостоятельный (нем.).

индивидуальности. Меня очень забавляло звучание «pullu», а два «l» после «u» вызывали в памяти слово «bulle» (пузырь) — например, мыльный пузырь (слово «пузырь» казалось мне каким-то сладострастным как при чтении, так и в произнесении). И маленькие поросята, дети обладали на этом рисунке какой-то легкостью, воздушностью пузырярей. В конечном итоге еще до того, как я его понял, это слово обладало для меня неким аффективным значением, которое так за ним и осталось: разноцветное и чистое кружение этих привязанных к длинному шесту воздушных шаров, которыми торговали в Люксембургском саду. Только такими словами хотелось бы писать, но нет никакой уверенности в том, что у читателя они вызывают те же самые чувства, кроме того необходимы подпорки, соединительная ткань из слов с чисто семантической ценностью. Одновременно благодаря этому опыту, а также нескольким случайным встречам, я полностью убедился в совершенной чистоте свиней, в противоположность сложившемуся мнению. В какой-то мере эта убежденность объясняет, что я предпочитаю свинину. Тогда как свежая телятина — бледная и безрадостная — выглядит так, будто ее уже кто-то жевал.

Возмущение, вызванное во французской прессе «трусостью» шведов,¹ ничем не отличается от того, что поднялось вокруг нашей позиции в отношении Испании три года назад.

Весьма характерное письмо Вильгельма II, написанное во время его последней поездки в Англию (1912):

«Я живу в Виндзорском замке, в покоях моих родителей, где я часто играл, когда был ребенком... На меня нахлынуло множество воспоминаний... Они вновь пробуждали во мне то старое чувство, которое столь тесно

¹ Во время второй мировой войны Швеция придерживалась нейтралитета.

связывает меня с этим местом и которое лично для меня сделало необычайно тягостными в плане политики эти последние годы. Я горжусь тем, что могу назвать это место своей второй родиной и что принадлежу к этой королевской семье... Еще — по своим воспоминаниям — я отыскал место, где у меня сильно болел живот, после того как я объелся пудингом».

Получил мартовский номер «НРФ». Перечитал свою статью с Жироду.¹ Мне следовало бы сделать более сильный упор на «учтивом рационализме». Мир Жироду — это мир объектов, выработанных фабричным способом. Ведь только о столе можно сказать, что у него четыре ножки, потому что это стол. Сопоставить с победой капитализма и появлением серийного производства, когда изделие «обретает форму» без воздействия *на него* человеческого труда.

Получил также первые 180 страниц своего романа, перепечатанные Пупеттой. Разочарование: слишком много лирики, сцепление глав не очень четкое. Колебания в отношении характера Матье и его устремлений. За настоящим каждым из персонажей недостаточно чувствуется прошлое. Переделать.²

Сегодня вечером страшный ветер; он запутывает электрические провода, и весь город погружается во тьму. Я пишу при свете свечи — освещение не очень удобное, зато приятное.

¹ Имеется в виду статья «Жан Жироду и философия Аристотеля. По поводу „Выбора Избранных“», которая вошла в сборник «Ситуации I». «Выбор Избранных» — роман Жироду, вышедший в свет в 1939 г.

² Чтобы сделать своих персонажей более объемными, Сартр попытается наделить их каким-то прошлым, посвятив ему пролог, который он начнет писать буквально на следующий день: «Это будет 10 июня 1928 года (как раз за десять лет до начала событий)... Впоследствии более сильным станет ощущение старения и наступления поры зрелости» (письмо к Бобру от 15 марта, а также следующие).

Пятница, 15-е марта

Отправка в Брумат в 14.30 — прибытие в 17.00. Мы снова будем в школе, однако наши кабинеты на втором этаже. Петер¹ и Поль² живут в городе, я ночую в кабинете.

Суббота, 16-е марта

Сегодня утром снова зашел в «Кафе де ля Роз». В ноябре там была очаровательная официанточка, рыжая и глупая, вечно заспанная, по имени Жанетта. Мне нравилось на нее смотреть. Теперь она начесывает волосы, красится, высоко подбирает юбку и говорит: «Тьфу!» (здесь до нас стояла дивизия южан). В восемь двадцать с большой помпой входит Алиса, толстая брюнетка, которая спала со всеми подряд. На ней черное меховое манто и от нее за версту несет духами. Вышла замуж за одного солдата. Ноден, который спал с ней, фыркает: «Самое то для рогоносцев».

Странное и не слишком приятное ощущение, будто ты вернулся в отчий дом и в то же время оказался в чужих краях. Солдат здесь принимают с распростертыми объятьями, каждый находит свою подружку или своих хозяев, которые от умиления заливаются слезами, но я в этой игре не участвую, меня никто не узнает, и я никого не узнаю. Кроме толстой старухи из кафе, которая сердечно пожалала мне руку.

¹ Несмотря на порой раздраженные оценки характера Петера, Сартр сохранил с ним теплые отношения на протяжении всей военной кампании; в июне 40-го они встретятся в лагере для военнопленных и сохраняют дружеские отношения в послевоенное время. Петер стал прообразом Шарло Вроцлава в романе «Смерть в душе».

² Некоторые персонажи романа «Смерть в душе» многим обязаны «приспешникам» Сартра. Поль, в частности, является прообразом сержанта Пьерне.

Лучшее, что я обрел — это поскрипывание двери, ночь в темной и гулкой школе. Во всем этом был какой-то таинственный и понятный смысл, словно бы обещание воспоминания. Кроме того, есть в этой школе какая-то прошлая атмосфера, которую я не могу выразить, хотя она присутствует повсюду. Говорят, что мы пробудем здесь не больше недели, и меня это немного беспокоит, из-за отпуска. Сегодня утром, впервые за долгое время, мне кажется, что время течет медленно.

Альбер Оливье, «Коммуна», стр. 221:

«Либерализм — не лучший способ обеспечить свободу, Коммуна должна была это узнать на собственном горьком опыте... Зачастую терпимость есть не что иное, как стыдливый оппортунизм».

Отличное замечание в «Л'Ёвр»:

«Среди всех неудачных лозунгов, порожденных войной, самое сильное раздражение вызывает эта знаменитая формула: „Время работает на нас“.

Ее произносят с умным видом, с глупым видом, еще и подмигивают. Еще чуть-чуть и будут добавлять: „Время работает, пусть себе и работает, не будем ему мешать!“

Как можно не отдавать себе отчета, что это и есть лучший способ породить апатию, нехватку воображения, отсутствие инициативы?

Разве на нас работает время, когда Швеция и Норвегия переходят из демократического лагеря на сторону Гитлера?

Разве на нас работает время, когда героический финский народ должен подчиниться русско-немецкому диктату?...»¹

А еще замечание Деа: «Теперь у Германии есть никель и железо, скандинавские страны становятся кли-

¹ Сартр цитирует анонимную статью под названием «Неудачный лозунг» из газеты «Л'Ёвр» за 16 марта.

ентами Сталина, а главное Гитлера. Завтра, по всей видимости, во фьордах будут укрываться немецкие подводные лодки, ожидая, пока на этих покоровившихся землях не появятся авиабазы... Мы потеряли скандинавские страны. Если так пойдет и дальше, то наряду с этим мы потеряем в конечном итоге и Балканы. Что-нибудь одно: или мы действуем на флангах, говоря военным языком, поскольку сокрушительный удар по центру предусмотрительно исключен, и тогда следует использовать эти фланги, пока есть еще время, или же мы соглашаемся с тем, что флангов больше нет и любая операция под запретом. В этом случае война будет другой. Отнюдь не менее трудной, отнюдь не менее опасной, отнюдь не менее тотальной. Но она требует иной дипломатии, иной экономической организации, иной морали, иной пропаганды, иных способов управления».¹

Шомеикс («Пари-Суар»): «Для Франции и Англии это бесспорный провал».²

Наше первое поражение. Его принимают с каким-то безразличием. Говорят: «Ну, теперь война будет идти лет десять».

Воскресенье, 17-е марта

Читаю «Литературную жизнь» Анатоля Франса (четвертый том)³ и с удивлением замечаю, что он пишет в

¹ Цитата из статьи *Марселя Деа*, опубликованной в том же номере «Л'Эвр». Автор сожалеет о том, что Франция не выступила против СССР в ходе советско-финской войны. Напомним, что депутат Марсель Деа (1894—1955), «диссидент-националист» Французской социалистической партии и будущий апостол коллаборационизма, являлся тогда членом парламентского контактного комитета, выступавшего за «компромиссный мир» с Рейхом в ущерб СССР.

² Речь по-прежнему идет о реакции на поражение Финляндии. *Андре Шомеикс*, французский писатель и журналист, был тогда главным редактором журнала «Ревю де Дё Монд».

³ Речь идет о четырехтомном сборнике журналиста литературной хроники, которую Франс вел в газете «Монд».

точности так, как говорит Бришо в «Содоме и Гоморре», и что он наверняка послужил для Пруста моделью; то же самое стремление добавить к литературной или филологической эрудиции конкретную деталь, в результате чего появляется «знаток современной жизни», выигрывающий на обоих полях, та же самая показная фамильярность в отношении знаменитых людей, та же самая манера называть Шекспира «великим Вилли», то же самое ужасающее и глубокое *безобразие*, прикрытое вычурным стилем. Это ужасно. Должно быть, отношения Бришо с г-жой Вердюрен были отчасти навеяны отношениями Франса с г-жой де Кайаве.

Понедельник, 18-е марта

Курси: вынужден шуметь, чтобы увериться в том, что существует. Ходит стуча каблуками, шумно выпускает дым, когда курит свою трубку, а то вдруг крикнет в тишине: «Что, по-вашему, должна делать здесь служанка?» или «Ну что, кореш?» или еще: «О! сказал он по-японски». Каждый из его жестов, помимо собственного предназначения, преследует еще и вторую цель: обнаружить, что он существует. Это вечное «Я пью, следовательно я существую, я курю, следовательно я существую и т. п.». В этот момент он ходит взад вперед, грызет арахис, он думает, что грызет арахис, и это видно. Я пишу, Ханзигер печатает, Грене читает. Никому до него нет дела. Он вдруг раздражается, дурья башка: «Нет, кроме шуток, пора подаваться к гитлеровцам». Потом, немного поразмыслив над тем, что сказал (ведь он все время что-то демонстрирует, когда говорит, а потом сам реагирует на свои проявления): «Нет, правда, если посмотреть, как это все происхо-о-одит». Это «происхо-о-одит» иронично, равно как и бессмысленно. Его цель в том, чтобы заполнить свой рот этим звуком «о», что позволит нёбу и языку убедиться в собственном существовании — а также лишит всякой

серьезности собственные слова, ведь он умер бы со страха, если бы его стали принимать за вольнодумца или просто за самостоятельно мыслящего человека. Из вежливости и с обычной глупостью он заставляет себя ободрить каждого подходящим и оптимистическим словцом. Сегодня утром, например, говорит мне вдруг, даже не выслушав ответа: «Ну что, чертов везунчик, скоро в отпуск». Время от времени он играет с грубыми и резкими словами: «Вот дерьмо! Полная жопа, кореш!» Но говорит это с какой-то тщательно выверенной вялостью и своего рода рассеянностью, будто бы сам он чужд этому взрыву, затрагивающему только его уста.

Завершение истории, которую я назвал «Меланхолия отпусков»: моя мать, которая знакома с секретарем военного трибунала, пишет: «Солдат, задушивший девочку и приговоренный к смерти, наблюдал через дыру в стене за приготовлениями к казни и выл по-звериному».

Письмо от Боннафе: «С чего вы взяли, что вашим сочинениям (и вашей личности) недостает этого жара сочувствия — что словно пылкий поцелуй среди пота и крови, кулак в перчатке, когда уже обменялись ударами. Как раз этого у вас хоть отбавляй. Господин Андре Руссо¹ в этом ничего не смыслит».

Понятно, что он видит меня именно так — и с ним я именно такой, потому что действительно испытываю к нему дружеские чувства. Не ошибся ли я? Не перебрал ли, будучи в окружении таких молодцов, как Курси, к которым я не могу испытывать сочувствия? Очевидно, что этот автопортрет, предпринятый наудачу, стал, наперекор мне самому, систематическим.

Я почти ничего не пишу в дневнике, потому что полностью поглощен прологом к «Возрасту зрелости».

¹ Литературный критик, который в статье в «Фигаро» от 4 марта 1939 г., посвященной сборнику новелл «Стена», ставил в упрек Сартру «слишком бесчеловечное сознание».

Поглощен, воодушевлен, счастлив.¹ Понять, не соответствуют ли все эти заметки моментам низкого напряжения в моей жизни, не нарисовал ли я самого себя с низким напряжением. Этот недостаток вообще присущ дневникам. Я рад, что вернулся в Брумат. Буксвиллер наводил на меня тоску.

Один английский офицер говорит своей эльзасской хозяйке: «Война закончена, мадам. Но народу знать об этом не нужно».

Среда, 20-е марта

Перечитываю дневник Ренара.² Странный тип и странный писатель. Он страдает от двойного противоречия. С одной стороны, и это собственная его черта, он был создан для молчания; за ним целые поколения немоты. Его мать говорит крестьянскими выражениями, более емкими и короткими, чем другие; его отец из тех деревенских оригиналов, к которым принадлежал и мой дед по материнской линии, что за сорок лет семейной жизни не сказал и трех слов моей бабушке, которая называла его: мой пансионер. Его детство прошло среди крестьян, чье безмолвие и неподвижность он так хорошо описывает, и которые так или иначе все как один утверждают бесполезность слов.

«Вернувшись домой, крестьянин движется не больше ленивца или тихоходки. Он любит полумрак, причем не только из экономии, но и по природе. Его обожженные солнцем глаза отдыхают».

¹ Сартр начал пролог с описания «детства Ивиш»; возможно, это опять же попытка думать об Ольге, так как он использует детские воспоминания девушки. Симона де Бовуар, которая будет читать пролог во время предстоящего отпуска, отзовется о нем негативно, что заставит Сартра отказаться от самой идеи пролога.

² Нижеследующие заметки (20—23 марта) представляют собой первый набросок статьи о Жюле Ренаре «Человек с заткнутым ртом», которая вошла в сборник «Ситуации I».

А вот еще, описание папаши Бюло. Приходит новая служанка:

«В первый день она спросила:

— Что же вам такое приготовить на обед?

— Картофельный суп.

На следующий день она спросила:

Что же вам приготовить?

— Я же тебе уже сказал: картофельный суп.

На третий день она спросила, и он ответил то же самое.

Тогда она поняла и с этих пор сама готовила ему каждый день картофельный суп».

Это емкое и скупое безмолвие представляло собой его детский пейзаж. Рыжик был молчалив, и Ренара побаивались и недолюбливали в литературных кругах как раз за то, что в домах этих столь болтливых людей он представлял права немоты. Он был создан, чтобы быть этим деревенским оригиналом; была в нем какая-то прирожденная мизантропия и что-то узловатое и одинокое, что роднило его с папашей Бюло. Только вот у этого оригинала была страсть к писательству, он приехал в Париж, чтобы *там быть* оригиналом, утверждать свое одиночество в обществе, которого он искал, он приехал молчать в письме. Отсюда, чтобы разрешить это противоречие, его поиск такой литературной формулы, которая была бы равнозначна тишине: лаконичность. Самой краткой и самой емкой фразы. Той, что содержит минимум слов и максимум смысла. В то же время той, что, насколько это возможно, в дальнейшем избавит, наподобие «картофельного супа папаши Бюло», от произнесения других фраз. Такая фраза в себе самой должна реализовать *экономия* в отношении других возможных выражений идеи, которая приходит сейчас к вам на ум, а также экономию на будущее. Отсюда великая иллюзия Ренара в отношении стиля: стиль для него — это искусство быть кратким. Предметом его опытов станет, следовательно, совокупность средств, которые позволят удержать в одной фразе как можно больше идей: то есть как *упорядочить* идеи во

фразе. Проблема корзины: как уложить в одну корзину как можно больше дров. Отсюда это признание: в романах его интересуют больше всего «стилевые достопримечательности». И прекрасно видно, что просто глупо искать в романах примечательности стиля: там их меньше всего, поскольку в хорошем романе стиль уступает место истории. Кроме того, это значит коверкать роман, ничего в нем не понимать. Но видно и то, что по-другому с ним и не могло быть. Он говорит, что поэзия отвратительна, поскольку стих слишком длинен. Это в плане синтаксиса, внутренней организации фразы. Что касается элементов, слов, то они должны быть битком набиты смыслом, должны быть абсолютно полными, без каких-либо пустот, то есть иметь значение не только в плане особого смысла какой-то идеи, но и обогащать ее извне, созвучиями. Он призывает в помощь Малерба: «Какую чудесную роль мог бы сыграть теперь Малерб! От слова, поставленного на своем месте, исходит могущество». И выбросить в корзину все иные слова, дряблые словно медузы... Как можно больше смысла в словах, как можно больше смысла во фразах, в сочленениях. Так получается смысловое сверхнасыщение. Все кристаллизуется. Каждая фраза оборачивается замкнутой на себе и сверхнасыщенной тишиной. Но самое любопытное, что Ренару, который столь упорствует в том, чтобы сказать как можно больше в малом, абсолютно нечего сказать. Он был не очень умен и совсем не глубок. Вовсе не от избытка идей он стремится экономить на словах, напротив, ведомый тягой к тишине, он экономит на словах ради самой экономии; именно для того, чтобы *молчать*, он *отыскивает* фразу, именно *для фразы* он *отыскивает* идею.

«Как это тщетно — идея! Без фразы я пошел бы спать».

Дело в том, что он разделяет наивную идею, будто мысль диктуется фразой, которая ее выражает. Фраза, простирающаяся между ограничивающими ее точками, кажется ему естественным телом идеи. Ему даже в голову не может прийти, что какая-то идея, для того

чтобы быть выраженной, может потребовать целой главы, целого тома, что она может быть даже невыразимой — в том смысле, в каком Брюнсвик говорит о «критической идее», и представлять собой *метод* для рассмотрения тех или иных проблем. Идея для него — это утвердительная формула, заключающая в себе определенную сумму опытов. Идея: сгусток опытов — фраза: сгусток идей.

Пример: «Мне было бы так приятно быть добрым».

И такова первая причина пустословия Ренара: лаконизм замыкает его во фразе. Фраза — вот единица измерения его стиля. От фразы к фразе нет ни движения, ни перехода. Ничего нет: пустота. По природе своей он обречен на прерывистость. Это также одна из причин — но не главная — его постоянного поиска образа. Посредством образа мы выражаем идею и ее гармоническое потусторонье; выигрываем время, и опять же слова. Пример: «Этот гениальный человек — глупый, как гусыня, орел». Ясно все, что обозначает отношение орел—гусыня, ясны все приближительности, от которых оно нас избавляет. Для Ренара образ — это кратчайший путь мысли. В силу чего этот ученый стиль, эта «каллиграфия», о которой говорит Арен,¹ смыкается с мифологическим и притчевым говором крестьян. Каждая из его фраз — это маленькая басня.

Салонный молчун, нахмуренные брови, неприступный вид, все существо которого кричит: «Я молчу! Видите, как я молчу!» — и чье намеренное, продуманное, артистичное молчание скрывает невольную и безоружную тишину человека, которому абсолютно нечего сказать.

Второе противоречие, объясняющее Ренара, идет от литературной среды. Мы присутствуем при полном распаде реализма. Натурализм Флобера и Золя стал

¹ Арен Поль (1843—1896) — провансальский писатель. По его мысли, Эрнест Ренар не обладает «каллиграфией художника» (Ренар приводит эту мысль в своем дневнике от 7 октября 1892 г.).

реализмом Мопассана, и Мопассан породил Ренара. Было желание избавиться от романтизма, прятавшегося под этикеткой натурализма. А самое главное, великие фрески предшественников закрывали все сюжеты. Все сюжеты были систематически использованы Золя, и вновь пришедшие не обладали методом, который позволил бы их обновить. Ренар критикует Золя, смеется над его страстью к документализму. Но он признает тем не менее, что он тоже ищет *истину*, как и натуралисты. Сходным образом после описаний Флобера и Парнасса, представлявших собой широкую панораму реальности, написанное широкими мазками полотно (например, описание парохода в начале «Воспитания чувств»), они стали испытывать потребность проникнуть глубже в саму *вещь*, более плотно схватить объект, дерево, стакан на столе, проникнуть в *толщу* реальности. Но их удерживал тот же реализм, так как, чтобы добиться такого сообщения с реальностью, совершенно необходимо перестать быть реалистом. Это удастся Прусту — как раз потому, что он не реалист, еще кое-кому, кто будет искать *субстанцию*. Этот поиск постоянно ощущается у Ренара, ощущается также, насколько он скован, потому что он даже не может себе представить что-нибудь еще, кроме реальности видимостей. Отсюда глубокий смысл его сравнений: они делаются с тем, чтобы схватить реальность на уровне ее возникновения, ее субстанции. Но они сразу же отклоняются в направлении обыкновенного сближения, потому что их тянет назад или в сторону метафизики в духе Тэна. В самом начале наблюдается усилие, направленное на то, чтобы выработать инструмент, который глубже проникал бы в материю. Как это видно по таким простым замечаниям: «Сильный запах вязанок хвороста», «Бурление воды подо льдом». Я испытываю искреннюю симпатию к этим неловким усилиям добиться того, чтобы вдохнуть жизнь в вещи. Ренар — это скованный Пруст, несостоявшийся Пруст, потому что он остается в плане *наблюдения*. Его ушиб-

ли одновременно и наблюдением, и страстью к документализму. В том была мудрость эпохи, литературная версия эмпиризма. Он избавился от документализма, но все равно, бедняга, наблюдает, наблюдает изо всех сил. Ведь 17 января он говорит о бурлении воды подо льдом, 13 марта он будет говорить о ландыше. Ему бы в голову не пришло говорить обо льде летом, как это делает Пруст, он так и не осмелится *реконструировать*. Вот почему он лишь слегка касается вещей. Но все равно, чтобы коснуться их чуть вернее, чтобы охватить их изгибы и движения, он будет использовать образ. «Будто» Ренара — это прежде всего реконструирующее приближение: «Паук скользит по невидимой нити, будто плывет по воздуху». Глагол «плыть» призван здесь передать непонятное сопротивление, оказываемое воздухом пауку, это сопротивление отлично от того, которое воздух оказывает, например, мухе, и его невозможно передать иначе — Ренар иначе не может — как через взаимопревращение элементов. Только вот, чтобы пойти дальше, следовало бы быть убежденным, как Пруст, в том, что нет никакого взаимопревращения, что понятия воздуха и воды являются благоприобретенными и представляют собой просто-напросто удобные категории, что «вещь» — по ту сторону всех понятий, коими можно без всякого разбора пользоваться, лишь бы они *передавали* первое впечатление. Реализм Ренара — это реализм науки и здравого смысла, вот почему его сравнения являются двучленными отношениями, в которых один член, объект сравнения, обведен, определен, научно объяснен, предельно приземлен (паук скользит по невидимой нити: нам *объясняют* основу последующего впечатления, доходя даже до предположения о существовании этой невидимой нити), а другой член воздушен, точнее, весь «в воздухе», он не имеет под собой никакой опоры, полностью фантастичен, почти сказочен. Здесь и заключается опасность искажения, которая угрожает всем образам Ренара. Он пишет (11 июля 1892 г.): «Заменить

существующие законы на те, которым не существовать». Его образы так и делаются: с одной стороны — существующий закон; объект — с другой стороны; закон, который не существует — сравнение. В конечном итоге задача образа в том, чтобы создать воображаемый мир, где пауки плавают в воздухе, где «упасть в обморок — значит утонуть в свежем воздухе», где «свет мокнет в воде», и т. п. «Потешность» и «любезность» — во вкусе Ренара. Он принимает это за поэзию и даже не видит, что проигрывает. Доходит до того, что называет «преlestным» следующее выражение Сен-Поля Ру:^{*} «Деревья обменивались птицами будто словами», — и не отдает себе отчета в том, что он не обладает ни могуществом, которого достало бы для воссоздания реальности при помощи строго отобранных и всецело подчиненных искомому воссозданию сравнений (как у Пруста), ни смелостью отказаться от материальной основы и твердой почвы здравого смысла, чтобы создавать, как Рембо, сюрреальный мир. Задница меж двух стульев — вот сравнение Ренара. И наконец, он пишет даже такое, что совершенно ужасно и глупо, а главное *ничего не значит*, потому что образ развивается из самого себя: «Казалось, кусты опьянели от солнца, качались из стороны в сторону и блевали белой пеной боярышника». У Ренара, как говорит Жид, сравнение «само себя предпочитает». Это колебание: ему бы хотелось схватить мельчайшие частички реальности, «скальпировать муху», однако реальность уже не дается речи, уже слишком поздно, если у вас нет совершенно новой метафизики, а ирреальность полна опасностей, она внушает страх; Ренар не хочет потерять себя, а для того чтобы ее схватить, следовало бы потерять себя.

Ренар — это жертва беспомощности своей эпохи. Он замечательно представляет распад натурализма. Ведь ему, как и его современникам, придется переходить от типического к индивидуальному, от непрерывного к прерывистому. Величайшие типы: финансист, галантная женщина — все это ушло в прошлое. Их ис-

черпали Золя и главные натуралисты. Остается деталь, *индивидуальное*. 17 января: «Поставить в начале книги: я никогда не видел типов, были одни индивиды. Ученый обобщает, художник индивидуализирует». Но несмотря на то, что в этих словах, написанных в 1889 году, предвосхищаются выкладки Жида, требующего монографий, я вижу в них, скорее, признание в бессилии. В индивидуальном Жида привлекает то, что ему видится позитивным. Для Ренара и его современников индивидуальное — это то, что им *остается*, что не является ни общим, ни типическим — материалом, над которым уже поработали «старые». Доказательством чему является полная неуверенность в отношении природы «индивидуального», в коей пребывает Ренар. В 1889 году он выступает против Дюбюса,¹ потому что у того «имеются теории женщины. Опять! Разве они уже не ушли в прошлое, эти теории женщин?» Что не мешает ему где-то в 1894 году советовать своему сыну: «Фантек, как автор изучай лишь одну женщину, но покопайся в ней как следует, и тогда ты познаешь женщину вообще». Таким образом, индивидуальное, после того как в нем основательно покопались, незаметно исчезает, и мы вновь сталкиваемся с типическим. Впрочем, этой склонности к индивидуальному содействовало плюралистическое, антифиналистское и пессимистическое понимание истины, порожденное теми трудностями, с которыми начали сталкиваться науки — каждая в своей области. Ренар пишет: «Наши „древние" видели характер, постоянный тип... Мы же, мы видим непостоянство типа — его затишья и его кризисы, минуты доброты и минуты злобы». Нет больше *одной* истины о человеке, есть только истины. Любопытно, что Франс, его современник, пишет примерно в это же самое время в «Литературной жизни» (в 1891 году — процитированная фраза Ренара относится к 1892 году):

¹ Французский поэт и журналист, один из основателей журнала «Меркюр де Франс».

«...Стали говорить, что бывают мозги с непроницаемыми перегородками. Самая текучая жидкость, наполняющая одно из отделений, не проникает в другие. И когда один пылкий рационалист удивлялся перед г-ном Теодюлем Рибо,* что существуют так устроенные головы, мэтр экспериментальной философии ответил ему с мягкой улыбкой: «Меньше всего стоит удивляться этому. Наоборот, разве это не более спиритуалистическая концепция нежели та, что хочет установить единство человеческого рассудка? Почему вы не допускаете, что человек может быть двойственным, тройственным, и так далее?»

Драгоценная в своей глупости страница, поскольку она представляет нам одно из тех философских влияний, которые прямо или косвенно распространяются на литераторов: Рибо. А также потому, что она показывает нам, что этот экспериментальный плюрализм был направлен в основном против рационализма. Все это пессимистическое течение должно было привести к «Дисгармониям человеческой природы» Мечникова,** и как раз такую «дисгармонию природы» и хочет выразить Ренар. Что будет оправдывать его в том, что он берет только мгновения: «По кусочкам, — восклицает он, — по маленьким кусочкам, по очень маленьким кусочкам». Так мы снова возвращаемся, правда, по другому пути, помпезно названному им Нигилизмом, к фразе, которая сама по себе воспринимается как произведение искусства. И действительно, коль скоро природа — это в основном беспорядок и дисгармония, то роман невозможен. Ренар неоднократно заявляет, что роман — дело прошлое, поскольку он представляет собой непрерывное развитие. Если человек — это прерывистый ряд, то лучше писать новеллы. «Написать книгу, состоящую из все более и более коротких историй, и назвать ее „Под прессом“».

Всегда так бывает: на безрыбье и рак рыба.

Четверг, 21-е марта

Идея, что он был «художником», окончательно заткнула рот Ренару. Эта идея «художника» шла от Гонкуров. На ней стоит печать их вульгарной глупости. Диалектически она представляет собой останки образа поэта Гюго и проклятого поэта великой романтической эпохи. Невинное такое проклятие, буржуазноподобное, удобное: не прошлое проклятие колдуна-одиночки, а то, что распространяется на элиту, этакое счастливое несчастье, которое сводится к тому, чтобы у тебя тонкие нервы и, как выражается Гонкур, особенно чувствительный «мозг». Через это прошли Готье* и искусство для искусства, Флобер и его ложно прекрасный стиль. И действительно, такое понятие художника не есть лишь пережиток великого, почти религиозного мифа, романтического мифа поэта; это также призма, сквозь которую смотрит на себя и воспринимает себя в виде элиты маленькое сообщество обеспеченных и образованных буржуа, занимающихся литературой. Оно включает в себе пороки и изъяны этого общества. Что и говорить, любопытная эпоха, когда писатели живут промеж себя, потому что никак не могут согласиться быть людьми промеж людей. Не думаю, что в наше время пишущие люди встречаются друг с другом, а главное, что это общее ремесло кажется им достаточным основанием для сближения. Но тогда они ощущают себя посвященными. Для них это просто долг — поговорить друг с другом. Слова Ренара, обращенные уж не знаю к кому: «Не задержитесь ли еще на минуточку? Мы бы поговорили о литературе». Так они и говорят «о литературе», у них есть чувство локтя и взаимной ненависти, они ощущают презрение других людей, тех, что просто живут, но сами их презирают еще больше. Они не так уж честны по отношению к себе, зато так чувствительны. Сегодня поражает именно это: писатель, который мнит себя художником, как, например, скульптор или музыкант. Мне в голову не

приходило, что я художник. Само это слово не имеет для меня никакого смысла. Зато Ренар бесится, потому что какой-то старый скрипач полагает, что испытывает большее художественное наслаждение, чем писатель: «Сравнение между музыкой и литературой. Эти люди хотят, чтобы мы поверили, будто их эмоции полнее наших... Мне трудно поверить, что этот едва живой человек получает большее эстетическое наслаждение, чем Виктор Гюго или Ламартин, которые не любили музыки».

Таким образом, художник характеризуется не только тем, что он создает произведения искусства, как наивно считали раньше, но и тем, что он наслаждается искусством. Снова элита. И эти художнические мироощущения складываются в одно целое. Отсюда у Ренара, как и у многих его современников, совершенно формальная идея красоты. Материя болезненна и мрачна. Но эти элитные мироощущения загораются от какой-нибудь фразы, которая восхитительно выражает эти беды. Самый плоский реализм находит спасение в великолепии формы. Идея, что *материал* произведения искусства тоже должен быть прекрасным, от них ускользает или же начинает преследовать в виде своего рода сожаления: «Реализм! Реализм! Дайте мне прекрасную реальность: я поработаю над ней» (30 мая 1890 года). Нет ничего лживее, чем эта социальная концепция писателя как члена профессионального сообщества художников — и ничего пошлее, чем это понимание красоты как прихорашивания реальности.

Ренар — полностью скованный человек. Скованный семьей, временем, литературной модой, женитьбой, лаконизмом, обеспокоенный своим дневником. Все его возможности — в мечтах. (Довольно часто встречается совершенно банальная мечта о супружеской измене, на которую он так и не решится.)

Ренаровское стремление к неперменной оригинальности, реакция на этих назойливых предшественников, после которых уже нечего делать — и на свою чрезмерную гибкость, слишком властное стремление подражать.

Пятница, 22-е марта

Письмо от Мориса Сайе:¹ «Стараюсь стать настоящим мобилизованным — весьма возможно, более редкий вид, нежели воспитанный на „Яствах“ резервист».

Суббота, 23-е марта

Гренер, эльзасский литейщик, сочувствует коммунистам: «Ведь не на сто семь лет вся эта тягомотина».

Я: «Да нет, но еще надолго».

Он: «Да, но мужики к этому не готовы».

Я: «Ну и что? Тех, кто будет выступать, прижмут к стенке, как в 17-м».

Он: «Я бы не сказал. Не сразу. Сам увидишь. Эти тоже как мы».

Я: «Эти...».

Он: «Эти просто упрямее нас. Не бзди. Если у нас будет жопа, у них тоже. Эта тягомотина долго не продлится».

В моей жизни столько же мелких событий, как и в декабре, столько же идей. Но мне уже не очень хочется их записывать. Этот дневник умрет от изнеможения, если только в моей жизни не произойдет изменений.²

Ренар: событием его жизни, хотя он, похоже, и не отдаёт себе в этом отчета, является смена среды — он переходит из «артистической» среды Гонкуров в театральную среду: Ростан—Капюс³—Т. Бернар—Гитри.⁴ Чтобы жить, он нуждается в нежности Гитри. Вся его

¹ Помощник Адриенны Монье, директрисы знаменитого «Дома друзей книги».

² Возможно, что необходимость «поправлять себя», когда он пишет о своих отношениях с близкими, что вызывает в нем постоянное чувство неудовлетворенности и недовольства собой, заставляет Сартра отказаться от дальнейшего ведения дневников.

³ Капюс Альфред (1858—1922) — французский драматург, автор комедий нравов.

⁴ Гитри Люсьен (1860—1925) — известный французский актер.

жизнь сосредоточена в этом переходе от Швоба¹ к Гитри. Из осторожности и сохранности педерастического сентиментализма юности предпочел дружбу любви.

Ужасающая жизнь Ж. Ренара. Его дневник — это не столько упражнение в строгом здравомыслии, сколько уголок постыдного и нежного самопотворства. Обратная сторона молчания в семье г-на Лепика.² Он в нем распаивает свою душу — но этого не происходит, потому что стиль держит его во фраке.

Одно место из дневника Гонкуров, подтверждающее то, что я говорю о поколении Ренара:

«27 августа 70-го года. Золя пришел ко мне отобедать. Он беседует со мной о серии романов, которую он хочет написать, десяти томной эпопее, естественной и социальной истории одной семьи... Говорит мне: после дотошнейшего анализа чувства, предпринятого Флобером в «Госпоже Бовари», после анализа художественных, пластических и нервных субстанций, предпринятых вами, после этих *драгоценных творений*, чеканных томов молодым не остается места; больше нечего делать, нечего продолжать, уже не построить персонажа, образа: с публикой остается говорить посредством количества томов, творческой мощи».

Очень хорошо. Но после десяти томных эпопей? Что остается? Именно в этот момент и появляется Ренар, последыш этой литературы, что идет от Флобера к Мопассану — через Гонкуров и Золя. Агонизирующий. Он всю свою жизнь агонизировал. И тем не менее именно он оказал самое большое влияние на всю послевоенную литературу.

Клянусь, что просто оторопь берет, — когда находишься в моей ситуации, когда видишь, что для письма

¹ Швоб Марсель (1867—1908) — французский литератор, один из ближайших друзей Жюль Ренара.

² Персонаж романа «Рыжик».

и мысли открыты все пути, что все можно начать сначала, и что всякий раз, когда делаешь выбор, у тебя такое ощущение, что ты лишаешь себя целой тысячи нетронутых возможностей, — просто удивительно читать дневник этого человека, который на каждой странице заявляет, что все пути закрыты и что надо в поте лица бороться за свою оригинальность.

Среда, 27-е марта

Все последние дни совершенно не хотелось вести дневник: я старался как можно быстрее закончить первую главу пролога к «Возрасту зрелости», так как должен буду отправиться в отпуск. В настоящий момент я немного устал от романа: он мне кажется пустым и неумелым. В конце концов, это дебютное произведение: мой дебют в романе. Надо его полностью переделать; в таком виде он несвязан и несогласован.

Я очень рад, что еду в отпуск, хотя и не так, как в прошлый раз. Мне просто хочется снова увидеть друзей и Париж. По сравнению с февралем все стало проще, исчезло напряжение последних месяцев. Сейчас я работаю, живу сегодняшним днем, я так приспособился к этой жизни, что даже ее не замечаю. Для меня кончились героические времена этой странной войны. Уже давно я не думаю ни о подлинности, ни о Ничто. Мне кажется, что теперь я стою меньше, чем стоил в Морсбронне, например. Я стал повседневным.

После дневника Ренара я прочел отрывок из дневника Гонкуров, посвященный 70—71-му годам. Сначала я был приятно удивлен, обнаружив после всех этих умопомрачительно пустых страниц Ренара по-настоящему полные страницы. Это было время осады Парижа, время Коммуны. Сразу Гонкуры поднялись в моих глазах. Но разочарование не заставило себя ждать. Омерзительность эгоистичного, трусливого, плаксивого и маниакального, а самое главное «артистичного» старого холостяка. С другой стороны, то, что они рас-

сказывают, да еще в свете книг Дюво и Оливье, по-настоящему захватывает.

Начал перечитывать «Удел человеческий».¹ Раздражен поразительным сходством наших с Мальро литературных приемов. «Там был мир убийства, и он остался в нем, словно в тепле». Я тоже мог бы это написать. Я никогда не испытывал его влияния, но у нас были общие влияния, причем не литературные. Та же манера заикнуться на конкретной детали (которую так хорошо передает Низан) и навестать на воссоздании атмосферы. Та же терпеливая манера выбрать какую-то маленькую деталь (Кио не узнает своего голоса на пластинке, потому что «себя слушаешь горлом») и раздуть ее от страницы к странице, превращая в символ. Та же несколько неровная манера перейти вдруг на несобственно прямую речь и так же внезапно выйти из нее. Не потому ли, что я слишком хорошо вижу все ухищрения? Никакого впечатления. Я ничего не чувствую. Тем не менее, есть одно очень красивое место (и это тоже напоминает, например, монологи Матье):

«Голоса других слышишь ушами, свой собственный — горлом. Да. Свою жизнь тоже — ее слышишь горлом, а жизнь других?... Сначала было одиночество, неподвижное одиночество, скрывавшееся за толпой смертных, как великая первобытная ночь скрывается за этой плотной и низкой ночью, под которой бодрствовал пустынный, полный надежд и ненависти город. «А я, для себя, для горла — кто я такой? Что-то вроде абсолютного утверждения, безумного утверждения: напор, который сильнее всего остального. Для других я то, что я сделал». Только для Мэй он не был тем, что он сделал; для него одного она была совершенно не тем, чем была ее биография. Объятия, посредством которых лю-

¹ Роман А. Мальро. Сартр намеревается написать статью о романах Мальро, обещанную Ж. Полану и анонсированную в февральском номере «НРФ» за 1939 г. В конечном итоге он откажется от этой идеи; похоже, он уже отказался и от статьи о «Дневнике» Жида.

бовь бережет двух людей от одиночества, они поддерживали не мужчину, они поддерживали безумца, ни на что не похожее и незаменимое чудовище, которое живет внутри каждого и которое каждый топит в своем сердце. С тех пор, как умерла его мать, Мэй была единственным существом, для которого он был не Кио Жизором, а самым близким сообщником. «Добровольным, завоеванным, избранным», — подумал он... «Люди — не мои ближние, они те, кто на меня смотрит и судит обо мне; мои ближние это те, кто меня любит и на меня не смотрит, кто меня любит вопреки всему, любит вопреки лишению, вопреки низости, вопреки предательству — меня, а не то, что я сделал или сделаю, те, кто любил бы меня так же, как я люблю самого себя...».

Как-то я уже чувствовал, насколько Шлюмберже¹ «созвучен по времени» Жиду. Но я также хорошо чувствую, насколько я созвучен по времени Мальро (тот же интеллектуализм). Должен сказать, что у него ничего не доведено до совершенства. Синтаксис вялый, слова зачастую уродливы и двусмысленны. Создается впечатление, что я перечитываю свои черновики.

Четверг, 28-е.

Правительство Рейно:² в силу общественных интересов этот правый одиночка восстанавливает большинство народного фронта, тогда как Даладьё, президент огромной партии, создавший Народный фронт, правил при большинстве национального блока. Ловкость социалистов, которые позволили правительству, не имевшему их голосов, подвергнуть преследованиям и раздробить коммунистическую партию, и которые после состоявшейся чистки согласны в нем участвовать. Продержится ли такое правительство? Я еще не

¹ Шлюмберже Жан (1877—1968) — романист и критик, один из основателей «НРФ».

² Поль Рейно пришел на смену Даладьё 21 марта.

очень хорошо представляю, как его принимают здесь. Офицеры-реакционеры упрекают Рейно в его «русофильстве». Очевидно, одной из причин падения кабинета Даладье явилась его выжидательная позиция по отношению к России. Похоже, что отзыв Сурица¹ по требованию правительства Даладье² имел целью удовлетворить правых.

Сегодня днем я уезжаю в отпуск.

Наши солдаты упрекают Рейно в том, что в своем выступлении по радио он не сказал ни слова о «героизме наших храбрых солдат». «Даладье, тот никогда бы так не поступил!», — говорят они с сожалением.

Вчера вечером у меня был серьезный разговор с Гренером. С этой толстой и грубой скотиной, которая рыгает и пердит ничуть не смущаясь, я пытаюсь заигрывать, потому что он рабочий. Позавчера вечером я писал, а он в это время храпел на скамейке в пьяном забытьи. Вдруг резко встает, глаза красные, непонятно, то ли еще спит, то ли проснулся, вид безумный — поворачивается к стене, расстегивает ширинку и начинает мочиться. Я подскакиваю к нему: «Может уже хватит, мерзавец». «Заткнись», — бормочет он и, пока я трясу его, продолжает мочиться, затем падает на скамейку и снова начинает храпеть, стонать и дергаться. Несмотря на некоторое физическое отвращение к его запаху и нездоровой полноте, я хочу ему нравиться, и мне это легко удается, поскольку ему льстит, что я с ним разговариваю. Вчера он был красноречив. Речь так и лилась с его тяжелого неподвижного лица, словно бы

¹ Яков Суриц, посол СССР в Париже, послал телеграмму своему правительству касательно русско-финской войны, которую Франция сочла несправедливой.

² На самом деле отозвать советского посла потребовало правительство Рейно 26 марта.

увлекаемая собственным весом. Всегда одна и та же интонация сдерживаемого потока. Короткие паузы, словно ему нужно восстановить запас слов, — и пошло. Время от времени он отхлебывает красного вина и распяляется еще больше. Впрочем, мне совсем не трудно его слушать: он мне интересен. Он ненавидит и презирает писарей, говорит мне, что гордится тем, что всем в жизни обязан только самому себе. «Если они потеряют свою работу, что, ты думаешь, они будут делать? Они ничего не умеют делать своими руками, им придется просить милостыню. Мне цена иная, я все могу. Мне говорят: возьми топор, — я беру; берись за пилу, — я берусь. Не считая работы, я годами колот дрова, что ты хочешь! Вот и купил себе дом и две коровы. Тебе этого не понять, но когда имеешь две коровы, всегда выкрутишься». Я чувствую, как он гордится тем, что его окружают вещи, обязанные ему своим существованием, прямо или косвенно произведенные на свет силой его рук; а также его чувство застрахованности от жестоких ударов: он всегда выкрутится, потому что все умеет делать; его ощущение того, что он живет в катастрофическом и враждебном мире, который необходимо укрощать, и что он умеет это делать; и его презрение к ветреным писарям, способным жить лишь на верхушке упорядоченного и парникового общества. Впрочем, он ворчит и причитает — больше как крестьянин, нежели чем рабочий. Говорит: «Зубоскалят над Адольфом, но ведь в том, что он сделал, не все плохо. Зубоскалят над Советами, но и они делали хорошее».

Размышления его двенадцатилетнего сына, который на все забил в школе: «Чтобы быть рабочим, мне всего этого не надо». Отец идет к учителю и говорит ему: «А вы бейте его. Когда я был мальчишкой, мне пришлось повалиться в этом дерьме, пусть и он повалится».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

25 октября—11 ноября

Период, относящийся к утраченному
II дневнику

По письмам к Бобру

25 октября

Накануне Сартр написал еще четыре страницы о «мотивах и движущих силах». Сегодня я работал меньше и благоразумно отложил на потом одно озарение в отношении моего Umwelt.¹ Все время писал роман.

26 октября

Написал еще десять страниц об историчности. Начинаю разбираться... Сейчас у меня целая куча идей, и я просто счастлив, что веду этот дневничок, так как это он производит их на свет... Благодаря ему помимо обычной жизни у меня есть и другая жизнь — со своими радостями, тревогами, раскаяниями, я и половины бы не узнал без этой маленькой вещицы из черной кожи.

Сартр подумывает о возможной публикации дневников. Он собирается показать их Бьянке, несмотря на встречающиеся негативные отзывы о ней. Пассажи о ней и В. немногочисленны и не имеют особого значения (записи всяких перепадов настроения, снабженные психологическими размышлениями, короче, исто-

¹ Окружающий мир: термин немецкой философии (Гуссерль, Хайдеггер).

рии мирного времени). Поскольку я намереваюсь публиковать дневники, лучше будет вычеркнуть эти места.

Чтение: «Полковник Джек» (Дефо), «Дети лимона» (Кено).

27 октября

Сартр по-прежнему озабочен своей «тройной жизнью»; к Бьянке он испытывает новый прилив нежности. Что до послевоенного времени... то я уж не дам себя сожрать. Понятно, что Б. и В. будут иметь на меня права (В. еще не точно): права верности.

30 октября

Любовь моя, я так хорошо понимаю вашу потребность в иерархии — так хорошо, как я вам писал вчера, что это меня и делало. Но все же, знаете, не стоит ревновать к этой привязанности, которую Б. испытывает ко мне... Это совсем не то.

По-прежнему работает над историчностью. Я кружусь вокруг одной идеи, которая позволит мне наконец отделаться от бессознательного, примирить Гуссерля с Хайдеггером и понять собственную историчность. Но она как замкнутый круг, ни окон, ни дверей, не знаю, как к ней подступиться.

Готовит тайный визит С. де Бовуар в Брунат.

31 октября

...Я обосновался в таверне «Серф» и попытался там примирить Хайдеггера с Гуссерлем. Дело не пошло, я стал упорствовать, и после шестичасовых усилий меня просто затошнило. Предстоит все начать с начала. Все та же замкнутая как круг идея, не знаю, с какого конца

к ней подступиться, пытаюсь обхватить всю разом, а она выскальзывает из рук как смазанный маслом шар.

Вечером в Брумат приезжает С. де Бовуар.

5 ноября

Сартр обратился к самоанализу (см. упоминание об этом в III дневнике от 2 декабря).

6 ноября

С. де Бовуар отбыла накануне... Все утро строчил в своем дневничке. Но не о том, о чем говорилось; в сущности, это так просто: я был глубоко и умиротворенно счастлив и теперь не хочу никаких угрызений совести... Вот, чего я не написал. Но с 9 до 11... я укладывал на бумаге размышления о своем отрочестве.

Чтение: «НРФ» — «Хроника Каэргаля» Андре Сюареса и отрывки «Дневника» Толстого.

7 ноября

Сегодня продолжил писать о социальном. Становлюсь противным самому себе из-за того, что о себе пишу, к тому же я утомляюсь, и то, что пишу, уже не так хорошо. Назавтра это надо кончить, и тогда я смогу снова взяться за роман... Думаю, что на некоторое время, как бы в противовес, заброшу дневник, от него дурно пахнет.

8 ноября

Я проработал до сегодняшнего дня и довел до конца опыт самоанализа, он принес несколько неплохих результатов...

9 ноября

Сартр присутствует на торжественном построении, на котором вручают награды. Сам я, однако, слово в слово записывал разговоры приспешников и писарей. После прочитал им: они смеялись и злились.

10 ноября

Сартр работает над романом... Мне кажется, что довольно неплохо, но если посмелее... то это значит: здесь пахнет образом, как говорят: здесь пахнет бабой.

11 ноября

*Роман: внести изменения в образ Марселлы.
Чтение: «Любовная жизнь Берлиоза» (Этьена Рея).
Больше не чувствует любви к Бьянке.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Судя по всему, не обнаруженный до сих пор VI дневник (8—16 декабря) полностью посвящен философии. К сожалению, после 9-го Сартр не делится с С. де Бовуар дальнейшими своими размышлениями о «свободе и фактичности». Всего несколько указаний на то, что он писал в этом дневнике (по «Письмам к Бобру...»).

11 декабря

Страницы, множество страниц о жизни, о сущности.

12 декабря

Дискуссия с «приспешниками» о смысле клятвы — по поводу вопроса совести, который встает перед Мистлером, одним из штабных писарей, его «учеником».

Пишет о стиле Поля Морана, чью книгу «Закртыо по ночам» он в это время читает.

Читает также: «Деревянные кресты» Р. Доржелеса и декабрьский номер «НРФ».

13 декабря

Записал в подробностях историю Мистлера...

14 декабря

Я «разработал теорию» войны и морали, отталкиваясь от теории праздника Кайуа.¹ Сам верю в нее наполовину, это вроде импровизации. Однако за работой я прекрасно понял, как во времена моей безумной юности я рождал по теории в минуту и какого рода верованию соответствовала во мне эта способность.

Возраст зрелости: Я снова принялся за роман и строил все утро.

15 декабря

...Вы низвергли меня в бездны недоумения и потоки заметок в моем дневнике: разве я просто регистрирую себя, разве я не надеюсь оторваться от этой застывшей и уже немного мертвой, как и мирное время, личности? Чего же мне еще хотеть? Идти вперед, само собой разумеется, это мой конек, но в направлении чего? Я пришел к выводу, что важно не столько менять себя, сколько держаться только самого себя, и что в этом смысле вы были правы, это регистрация. И что не было моральным хотеть чего-то иного.²

Роман: Сегодня будет завершена сцена разговора Даниэль—Марселла.

Чтение: «Четверка червей», детектив Элмери Квина.

16 декабря

Я начал последнюю главу романа... Читаю «Коломбу», новелла очень хороша, и «Понятие страха» Кьеркегора, где столько всего заложено под этим теологическим и явно суровым покровом. Его влияние на Хайдеггера бесспорно... Закончил еще один дневник.

¹ Первая часть эссе Р. Кайуа «Праздник» была опубликована в декабрьском номере «НРФ».

² На некоторых страницах своих записок Сартр приписывает своему дневнику более радикальную роль в деле преодоления себя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Период, соответствующий пяти утраченным
дневникам

23 декабря—31 января

(по письмам к Бобру)

23 декабря

Немного работал над дневником. Это уже шестой.

25 декабря

Сартр работает над «главной сценой между Даниэлем и Матье».

27 декабря

Он переписывает для Бобра одно место из VI дневника:

Время от времени Келлер кончиками пальцев выстукивает по столу марши. Гражданская привычка. Я вижу его дома, как он, отодвинув тарелку, сидит за столом, барабаня с остекленевшим взглядом по клеенке, пока его жена убирает посуду. Но любопытно то, что до сих пор он этого не делал. Мне кажется, что он всегда так делал до войны, однако, отправляясь в ходе сентябрьской мобилизации на неведомое приключение, он в спешке забыл захватить с собой целую кучу мелких привычек. Они остались у него дома, и, возвращаясь из отпуска, он их прихватил с собой, так как ему было известно, что его ждет здесь монашеская и административная

жизнь. Вообще говоря, возвращающиеся из отпусков солдаты становятся гораздо больше похожими на тех людей, которыми они были в гражданской жизни.

Ему хочется, после того как он закончит роман, отойти от серьезной литературы: ...Какое-то время займусь высокими литературными фантазиями... Скорее этим, чем театром: опыты самозабвения.

Он читает «Комедию Шарлеруа» Дриё ля Рошеля, «Провинциалок» Жироду — что заставляет его написать в дневнике о влиянии Жюль Ренара на этого писателя; «Революцию нигилизма» Раушенинга.

Чувственная жизнь: он помирился с Вандой и чувствует, что все больше и больше отдалается от Бьянки. В письмах от 20 и 24 декабря он объясняет это охлаждение теми рассказами о поведении девушки, которые поведала Бобр: У вас есть дар топить людей.

28 декабря

Прочел Раушенинга, от которого без ума... Он натолкнул меня на здравые размышления о насилии как средстве, идущем на пользу морали, и я пришел к выводу, что надо прибегать к насилию... Отсюда, как вы понимаете, сорок страниц дневника.

29 декабря

Я даже не писал в дневнике, так как меня увлекал роман, а кроме того из своего рода гигиены: когда замыкаешься один на один со своим дневником, утрачивая все связи с миром, как это было вчера, то начинаешь закипать, и в конце концов тебе требуется клапан. Именно так было вчера, мной владело замкнутое на мне и мрачное ощущение. Как правило, я чуть выше своих теорий, а тут — нет: внутри них.

Чтение: «Дневник» Стендаля, Раушенинг.

30 декабря

...Вернулся к своему дневничку. Сегодня теория криводушия:¹ она уже созрела, дело пошло; завтра продолжу.

Он записывает также «несколько экономических соображений».

31 декабря

Сартр пересказывает Бобру занятное ошибочное действие:

Знаете, а я ведь закончил свой роман. Поставил слово КОНЕЦ внизу страницы. После чего, проникнувшись от этого окончания серьезностью и торжественностью, я тщательно порвал страницу на мелкие кусочки, как и две предыдущие. Затем все выбросил в ведро для угля...

Следующий том, продолжение «Возраста зрелости», он думает назвать «Сентябрь» (в действительности второй том «Дорог свободы» будет называться «Отсрочка»: время действия романа — предшествовавшая Мюнхенским соглашениям последняя неделя сентября 1938 г.).

Продолжает писать теорию криводушия.

1-е января 1940

Сартр переписывает отдельные места романа. Думает засесть за изучение «Ноктюрнов» и «Прелюдий» Шопена. Наслаждается чтением «Дневника» Стендаля, книги Раушенинга, которую конспектирует в днев-

¹ Феноменология криводушия занимает центральное место в «Бытии и Ничто»: она позволяет ухватить структуры сознания между Ничто и Бытием. См.: часть первая, глава 2.

нике (по-прежнему пишет о кривогушии), «Провинциалок» Жироду и «Жака-Фаталиста» Дигро.

2-е января

Я вылизываю роман — конец, и он мало-помалу начинает вызывать у меня отвращение. Ко мне возвращается желание писать пьесу.

Он листает «Монаха» М. Г. Льюиса и «Влюбленного дьявола» Казотта.

3-е января

...Сегодня небольшая тирада на 22 страницы об Отвращении. Там встречается фраза, которая, на мой взгляд, не так уж плоха: «На этот счет, скажете вы, коль скоро мы испытываем отвращение к дерьму, значит нам хочется его поесть?» Я отвечаю: «Само собой»... Мои самые большие радости, вместо того чтобы вливаться в дневник и роман, ими мне доставляются. И боюсь, не пострадал ли роман от этой моей неспособности радоваться... Справедливости ради я должен сказать, что дня три или четыре назад меня охватило не то чтобы волнение, но некая пророческая аура — в отношении книги Раушенинга, которой я глубоко проникся; я *видел* определенную Германию, я понимал ее роль и ее угрозу, я чувствовал свою историчность, это позволило мне лучше понять тех людей, о которых мы с вами время от времени говорили, и которые все время думают о социальном. В этом их величие, но обратная сторона медали в том, что оказываешься ниже тех мыслей, которые формируешь. Поскольку в них *веришь*. Дело не в том, что я, как правило, не верю в свои мысли, но мне прекрасно известно, что они являются плодами моей свободы. Я верю в них «до бесконечности», то есть я верю в систему, в которую они сложились бы,

если бы меня не поедали эти поросята. Но они поедают людей чуть раньше, чем сложится система.

4-е января

...Я изложил (Бьянке) некоторые из моих новых идей о сознании, о которых я вам не говорю, так как вы прочтете их в моих дневничках...

5-е января

Сартр начинает читать биографию Генриха Гейне (Антонины Валентен), которая будет питать его размышление об уделе еврея и антисемитизма. По всей видимости, он записывает комментарии на эту тему. Ему меньше нравится продолжение «Дневника» Стендаля, с которым он отождествляет себя в плане неискренности в любви.

Сегодня я отправился совершить новое паломничество¹ ...с намерением увлажниться, утратить немного этой сухости последних дней.

6-е января

Сартр снова обращается к последней сцене Матье—Даниэль своего романа.

Я написал страниц тридцать в вашей красивой синей тетради² ...По поводу «Дневника» Стендаля — что я о нем думаю плохого. Я прочел жизнь Гейне (начало), и это натолкнуло меня на любопытные размышления. Поскольку в самом деле я чтил его в себе самом за то,

¹ В Пфафенхоффен, колыбель семейства Швейцеров.

² Которую он получил накануне: вероятно речь идет о дневнике VIII.

что он смог принять свой еврейский удел, и к тому же я со всей ясностью понимал, что евреи-рационалисты наподобие Петера или Брюншвига¹ были неподлинными в том, что сначала мыслили себя людьми, а уж затем евреями, ко мне пришла мысль — как неукоснительное следствие — что я должен принять себя как француза... Задаюсь вопросом, куда это может завести, и займусь всем этим завтра. С тех пор, как я преодолел свой комплекс неполноценности в отношении крайне левых, я чувствую в себе такую свободу мысли, какой прежде во мне никогда не бывало. В отношении феноменологов тоже... я чувствую, что помимо войны и пересмотра устоявшегося в этом велика роль *формы* дневника; эта свободная и прерывистая форма не подчиняет предыдущим идеям... точку ставишь, когда захочешь. В самом деле, я еще не перечитывал всю сумму своих дневников и уже успел забыть массу высказанных в них вещей.

7-е января

...Начиная со вчерашнего утра я заполнил 81 страницу первой синей тетради... Сегодняшние 39 страниц посвящены моим отношениям с Францией... Пока я только в плане истории, завтра перейду к теории.

8-е января

Об отношениях с Францией: Теория получилась и хорошо получилась, но, будьте спокойны, я вовсе не становлюсь фашистом, отнюдь.

Сартр сообщает, что у него также есть теория сознания-ничто.

¹ Молодой историк, с которым он познакомился в Берлинском институте в 1933 г.

9-е января

Он переживает кризис «сомнения в самом себе». Недоволен своим романом: Возможно, эта книга все же несколько пострадала, не от войны непосредственно, а от перемены моих взглядов на все и вся. По отношению к ней я все время был немного суховат. И что любопытно, в особенности с тех пор, как вы прочли 150 ноябрьских страниц. Тем не менее вы сказали мне, что это хорошо. Не знаю, что произошло в моей голове. Необходимость изменить характер Марселлы? ...мне хотелось бы, чтобы это было чем-то хорошим и искренним. Поймите, мне прекрасно известно, что в романе все время лгут. Но по меньшей мере для того, чтобы быть правдоподобным. И мне кажется, что весь роман — это несколько беспричинная ложь. Недоволен философским содержанием пяти последних дневников, которые он только что перечел: ему кажется, что он «всего лишь старательно развил то, что (Хайдеггер) говорит на десяти страницах об историчности»; чтение биографии Гейне усугубило эту депрессию: Я счел себя скорее ничтожеством перед лицом этого чудака, наделавшего кучу гадостей... но который, как вы говорили, так здорово проживал ситуацию.

Снова это ощущение удушья в жизни, которую он сам построил (ср. дневник III). Пишет ли он об этом в своем дневнике?

10-е января

В Морсбронне — минус 12. Сартр пишет об ощущении холода. Он мечтает о театральной пьесе:

Мне хотелось осады города, погромов, как знать? Сюжет, собственно, никак не подворачивался. И тут я вдруг начал, что же? истории для дядюшки Жюля. Сначала с некоторым сожалением, поскольку это ничтожно. Но затем мне пришла мысль включить туда в шут-

ливой форме кучу всякой всячины, и в итоге меня это очень забавляет и немного подбадривает.

Чтение: «Дневник» Стендала, январский номер «НРФ».

11-е января

Сартр прочитал Мистлеру лекцию об американской литературе; он объясняет Бобру свой новый литературный проект («Истории дядюшки Жюля»), который видится ему как небольшой томик литературной критики, в котором излагались бы законы жанров и приводились бы иллюстрирующие их тексты, которые он сам и сочинит: волшебные сказки, рассказы, новеллы, главы романа.

Обмен письмами с Бьянкой о проблеме еврейского удела дает ему пищу для размышлений:

Вопрос, очевидно, в том, чтобы установить круг обязанностей, которые накладывает на вас самопритие. Принять себя в качестве еврея, например, значит ли это хотеть, чтобы еврейское сообщество и евреи в качестве евреев имели те же права, что и другие члены более широкого сообщества? Или же это значит лишь, что должно стараться быть евреем, работая при этом на последующее упразднение этнических различий между людьми? И то, и другое имеет обоснование.

12-е января

Кончено, я только что порвал шесть первых страниц Историй для дядюшки Жюля... Я всецело и с превеликим энтузиазмом пустился в создание «Прометей», диктатора свободы... А потом, по здравому размышлению, символический характер Прометей стал внушать мне отвращение... Я им столько злоупотреблял в своей безумной юности, что у меня от него несварение.

Особенно разочарованные замечания о чувствах Ванды и Бьянки к нему: В. — нечто туманное, а Б. — нечто воздушноное.¹

13-е января

Петер интересно рассказывал о жизни и смерти еврейской колонии на улице Розье, так как, похоже, теперь там с этим покончено.

Возможно, что Сартр, как он это часто делал, записал рассказы Петера. Он много писал о Судьбе: Это тоже историчность... В конечном итоге, в настоящее время меня мучает не социальное, а человеческая среда.

14-е января

Все утро я промечтал о сюжете пьесы... Все вроде бы рассмотрел, но ни на чем не остановился — начиная с Прометея и кончая этим пресловутым кораблем, набитом евреями, история которого одно время не давала мне покоя...² Я почти ничего не написал в дневнике.

¹ Не простираются ли его сомнения не только на качество любви, которую испытывают к нему Ванда и Бьянка, но и на саму его способность внушать любовь и желание? Это могло бы стать объяснением его непоследовательности в чувственной жизни.

² Речь идет о судне «Сен-Луис», за трагической одиссеей которого Сартр следил по публикациям в прессе. Отплыв 13 мая 1939 г. из Гамбурга на Кубу, этот пароход, на борту которого находилось около тысячи евреев, скрывавшихся от нацистов, не смог высадить в порту назначения своих пассажиров, так как за это время в стране изменился закон об эмиграции; бесконечные переговоры ни к чему не привели, и судно было вынуждено вновь выйти в море 2 июня. В течение нескольких дней оно курсировало между Кубой и Флоридой. США также отказались принять беженцев; тогда судно вновь отправилось к берегам Европы. Среди пассажиров, которые были так близки к спасению и оказались ввергнутыми в отчаяние, разыгралось немало драм. См.: *Thomas G. et Morgan-Witts M. Le voyage des damnés. Paris, 1976; в том же году Стюарт Розенберг поставил фильм об истории «Сен-Луиса».*

15-е января

Сегодня утром я перечитал лекцию Хайдеггера «Что такое метафизика?» и целый день был занят тем, что пытался «занять позицию» в его отношении по вопросу Ничто. Б. вам, наверное, сказала, что у меня была теория Ничто... Она была еще незавершенной, а теперь завершена... Сегодня я как раз писал в дневнике, что философия, которую я разрабатываю, должна быть чуть волнительнее для других, потому что в ней есть свой интерес. В моей жизни она играет свою роль, а именно: защищает меня от меланхолий, мрачных настроений и горестей войны, и потом сейчас я не пытаюсь ни оправдать задним числом свою жизнь через свою философию, что было бы мерзостью, ни подстроить свою жизнь под свою философию, что было бы педантизмом, тут в действительности жизнь и философия составляют одно целое...¹ Что ничуть не мешает тому, что для «просвещенной публики» найдется немало занудных пассажей. Но зато в ней начинает вырисовываться один или два пассажа пикантных: один о дырах вообще, а другой об анусе и любви по-итальянски... Я начал свой девятый дневник.

16-е января

Сартр работает в дневнике над теорией Ничто:
1. Она упраздняет обращение Гуссерля к Нуlé. 2. Она

¹ Нет никакого сомнения, что в «Бытии и Ничто», книге, вышедшей из «Дневников», весьма ощутимо субъективное напряжение; например имеет место драматизация феноменологического описания неустойчивого бытия человеческой-реальности: фактичность, завихрения криводушия зачастую испытываются единственным в своем роде я. Вот почему это произведение смогло привлечь к себе столько неопитов от философии, вовлеченных в понимание — несмотря на явную сложность текста — таким жизненным для автора поиском.

объясняет единство мира через множественность сознаний. 3. Она позволяет в самом деле выйти за рамки реализма и идеализма... Но я вам ее не объясняю, потому что мне хотелось бы, чтобы вы присутствовали при том, как она мало-помалу рождается в моих дневниках.

Он уточняет Бобру свои идеи о еврейском угеле: Не может ли быть так... что принимая себя как еврея, мы должны признавать культурную и человеческую ценность иудаизма, и тогда принцип, из которого мы исходили бы в борьбе против антисемитизма, был бы не «еврей — это человек», а «еврей — это еврей».¹

Роман: пишет главу о Борисе и планирует полностью переделать «Возраст зрелости».

Чтение: Хайдеггер и «Когда я умираю» Фолкнера.

17-е января

Сартр отвечает на письмо «Мартины Бурден», с которой у него был роман в прошлом году: делает это в «стиле любовного письма». Это повлечет за собой кризис в отношениях с Вандой и косвенным образом с С. де Бовуар.

Дневник: Пишет о войне и концепции альянсов.

18-е января

...Начал писать небольшие заметки о невинности...

Чтение: «Класс 22» Эрнста Глезера, по-немецки.

¹ «Размышления о еврейском вопросе» (1946) часто критиковали, особенно в семидесятые годы, за концепцию «подлинного еврея», которая в той или иной степени абстрагировалась от иудаизма «как человеческой ценности». Сартр это признавал, однако объяснял, что сразу после войны евреи, в особенности те, с кем он встречался, были больше озабочены тем, чтобы их признали в качестве самостоятельных людей и граждан, нежели в качестве представителей иудаизма. Можно отметить здесь, что в его первых размышлениях еврей рассматривается более конкретно.

19-е января

Написал об аджудане и затем об одиночестве, меня это забавляет... Очень много написал в дневнике... Сегодня вечером прочитал Мистлеру лекцию о сексуальности, в присутствии приспешников.

20-е января

Сам увяз в метафизике. Она трудна и утомительна, зато приносит хорошее вознаграждение. Она, само собой, идет нога в ногу с моралью, так что эти дневники будут трактатом по философии. Небезуспешно проработал до самого вечера над *Mit-sein*. В общем, вплоть до сего момента мы, как и подобает благоразумным малышам-феноменологам, занимались онтологией. Искали сущностей сознания вместе с Гуссерлем или бытия сущего с Хайдеггером. Однако метафизика — это «онтика»... рассматриваются уже не сущности... но самые что ни на есть конкретные и данные существования, и вопрос в том, почему это так...

21-е января

...До обеда занимался метафизикой... это совсем не походит ни на гуссерлевскую феноменологию, ни на Хайдеггера, ни на что другое. Скорее уж это походит на все мои старые идеи о восприятии и существовании, идеи мертворожденные из-за отсутствия техники, но которые, однако, теперь могу развивать с помощью всей феноменологической и экзистенциалистской техники... До вечера работал над романом, потом пришел Мистлер, и я стал ему рассказывать о войне в Испании. Теперь так заведено: вечером приносим литр белого, они усаживаются, я разглагольствую, все слушают... Забавная все-таки вещь — мои отношения с людьми (Эколь Нормаль — Берлин — здесь) воспроизводятся в вариациях возраста и сообществ...

22-е января

В письме к С. де Бовуар, написанном в этот день (исключенном из ее издания «Писем к Бобру»), Сартр сообщает, что он вновь вернулся к своим размышлениям о морали, к чему его подтолкнуло письмо Бьянки, в котором идет речь о морали и заслугах:

...Мне захотелось понять, откуда взялось во мне (в плане движущих сил) это понятие незаслуженной морали... Итак, я взял свой дневник. Но слишком поздно, так как я целый день проработал над романом. И сначала я писал, едва водя пером, а потом в конце концов меня это захватило, и я выпустил перо лишь из-за того, что уже было без четверти двенадцать.

Беспорядочность любовных отношений занимает и волнует его. С. де Бовуар проявляет себя весьма критичной по отношению к Бьянке, которая ей больше не нравится; необходимость порвать с девушкой кажется неотвратимой, однако она его мучает. Он, соблюдая осторожность, советует Бобру переосмыслить принцип единой жизни в их паре:

То есть я вас всецело одобряю... Просто меня терзает одно сомнение: когда вы злились год или два назад при мысли, что вы были чем-то в моей жизни... а не всей моей жизнью, разве не становились вы некоторым образом на точку зрения симбиоза, которая так раздражает вас в Б.?... Я вам пишу это совершенно хладнокровно, не для того чтобы защитить Б., которую вы опустили так, что я даже не могу ей больше писать, а из чистого любопытства и с вниманием исключительно к вам. Мне хотелось бы знать, кривили ли вы душой в порыве гнева или же и на самом деле наша единая жизнь категориально отлична от того симбиоза, о котором грезит Б. (вместо того чтобы лишь иерархически превосходить его в той же самой категории).

23-е января

...Все утро писал об этой идее целостности и неза-
служенной морали, о которой мы говорили.

24-е января

Работал над своим романом, глава о Борисе идет довольно хорошо, кроме того написал немного о мета-
физике, мне на самом деле кажется, что это неплохо, то, что я делаю. Проходя через феноменологию, вновь обретаю догматизм, сохраняю всего Гуссерля, бытие-в-мире, и тем не менее прихожу к абсолютному неореализму (куда включаю Gestalt-theorie)... все спокойно упорядочивается вокруг идеи Ничто или чистого события в лоне Бытия.

Сартр читает «Жиля» Дриё ла Рошеля, роман ему не нравится, он листает два романа Жюль Ромена — те, что следуют за «Вергеном»: «Ворж против Кинетта» и «Сладость жизни».

25-е января

...Я исписал восемьдесят страниц дневника... Потому что утром, проснувшись, я вдруг понял то, как я сочинял роман и как работало мое воображение; меня это поразило (меня задевало то, что говорил Леви: дескать, у меня нет воображения романиста, и я знал, что вы говорили об этом с Б., и что вы ей сказали, что у Фолкнера прекрасно чувствуется придуманное). И я захотел все это записать в дневник... Петер, начав читать «Сладость жизни», открывающуюся охаиванием дневников, подсунул мне под нос книгу, открытую на соответствующей странице, злорадно хихикая. Перепишу это место в свои днев-

ники, так как там все правильно, но сам я хочу защититься.¹

К нему обращаются из журнала «Философские исследования» с просьбой предоставить какой-нибудь текст: он согласен дать отрывок о Ничто из дневников при том условии, что при публикации будут выпущены «слишком философские» страницы: Если же, напротив, вы полагаете, что история моей мысли о Ничто, которая записана день за днем, столь же интересна, как и сами идеи, тогда надо будет сделать по-другому...²

26-е января

Сартр записывает в дневнике свои мысли по поводу «Жизля», только что вышедшего в свет романа Дриё ля Рошеля: Кроме того, у меня это всегда вызывает отвращение — человек, который жалуется на свое время. Мне смешно, когда, говоря о своих современниках, он пишет: «Я дал им украсть свою душу». На его месте мне было бы стыдно, так как в конце концов никто его к этому не принуждал. Мне было бы даже так стыдно, что мне бы и в голову не пришло обвинять современников, я стал бы обвинять самого себя...

28-е января

Я заметил, что в самом начале войны появились две книги, которые клеймили позором, хотя и по разным

¹ Напомним, что «Сладость жизни» — это роман в форме дневника Жалеза, который начинает с того, что объясняет причины своего неприятия принципа дневника: «Мне это кажется несовместимым с силой, великодушием, величию ума и души, которых не бывает... без доверия к неподготовленному, необусловленному будущему».

² То есть, Сартр твердо намерен опубликовать свои «Дневники»; начиная их вести, он думал, что они будут опубликованы посмертно.

причинам, сюрреализм: одна — Ромена, вторая — Дриё, и я решил изложить то, чем я обязан сюрреализму...

Чувства: Б. нравится мне чуть больше. Она мила, так как сейчас сокрушается, что не была подлинной. Мне немножко смешно, потому что это говорит о «власти слова»... *Подлинный* — это понятие весьма неопределенное, конечно же вы понимаете его иначе, нежели я, Хайдегер — иначе, нежели мы с вами... Я собираюсь ей написать не о том, что она подлинна, а о том, что мы с вами тоже неподлинны. Так ведь?

29-е января

Сартр собирается написать о своем «ученике» Мистлере, которого находит слишком покорным.

30-е января

Роман: Я закончил главу о Борисе и его встрече с Даниэлем...

Чтение: «Ворж против Кинетта» (Ромен) и «Путешественники Империи» (Арагон, январский номер «НРФ»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Период, относящийся к дневнику XIII

(1—5 марта 1940 г.)

По письмам к Бобру

1—2-е марта

Сартр продолжает анализ своих отношений с другими: Начиная с позавчерашнего дня я об этом написал, представьте себе, сотню страниц, при этом тема далеко не исчерпана. Как это ни досадно, но придется говорить об Ольге, Босте, вас, Ванде, Б., то есть мне предстоит бесстыдно ловчить. Итак, я остановился до истории с Ольгой, написав несколько туманных фраз специально для В., в которых возвещалось всецелое преобразование, произошедшее после... Мне открылись источники моей самовластности... Но теперь некоторое время я не буду больше думать о себе, все эти истории похоронены, мы извлечем их на свет, когда увидимся.

3-е марта

Я снова обратился к роману и немного забросил дневники.

Чтение: книги по истории — «Экспедиция в Мексику» Эмиля Оливье и «Бисмарк» Людвига.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Период, относящийся к пропавшим дневникам
(после 10 апреля)
По письмам к Бобру

Похоже, что после отпуска Сартр не сразу вернулся к дневникам.

10-е апреля 40-го

На обратном пути он узнает о вторжении немецкой армии в Данию и Норвегию. Читает биографию Достоевского, по-видимому Анри Труайя, которая только что вышла в свет.

11-е апреля

Я теперь совсем не веду дневника.

12-е апреля

Мне очень приятно, что дневники вас заинтересовали... правда, знаете, теперь я их совсем не веду. Тороплюсь закончить роман.

13-е апреля

Я работаю над сценой смерти Лолы.¹

Сартр подолгу слушает радио, передающее противоречивые новости о войне в Норвегии. С некоторого времени он с маниакальным упорством играет в шахматы с Петером, которого рассматривает уже не как «приспешника», а все больше и больше как настоящего товарища.

Чтение: «Удел человеческий».

14-е апреля

Я полностью переписал сцену смерти Лолы и разные мелочи. Очаровательно то, что я переделываю то одно, то другое по настроению; если что-то не идет, я берусь за другое.

15-е апреля

Чтение: «Время презрения» Мальро, которое он ставит значительно ниже «Удела человеческого».

16-е апреля

Роман: Я дошел до разговора между Матье и Даниэлем в конце. Залез в него по самые уши и думаю, что он будет хорош, хотя и очень труден. Я вновь обрел это пристрастие к самообличению, владевшее мной в прошлом году, это не дает мне покоя.

¹ В действительности Лола не умирает; по всей видимости, речь идет о том эпизоде, когда Борису, ее возлюбленному, кажется, что она мертва.

Дневник: Я думал, что запишу это в дневнике, но сейчас лучше расскажу вам, чем туда это записывать (с дневником не все в порядке): я подметал с хитрецей, с таким ощущением, будто замечательно дурачу офицеров, будто заставляю их поверить, что я подмел. И проделываю этот фарс с таким тщанием и любовью, что в конечном итоге их кабинет оказывается отлично подметенным.

Чтение: «Надежда» Мальро.

17-е апреля

...Я даже уже не открываю свой дневничок. Так как в голове пусто, малыш. По правде говоря, она бы заполнилась, если бы я захотел, у меня такое ощущение, что стоит только открыть кран, и месяцев на шесть наберется. Но меня это больше не интересует: я полностью занят правкой своего романа...

Вплоть до 29-го апреля Сартр будет занят образом Марселлы, который уже давно его смущает: дело в том, что в отличие от образа Ивиш, навеянного сестрами Козакевич, и образа Матье, отражающего чаще всего то, что он сам гумал или гумает, персонаж Марселлы, любовницы Матье, придуман (хотя он и привнес в их отношения кое-какие особенности своих отношений с С. де Бовуар¹). 25 ноября 1939 года он еще не знал, будет ли эта женщина слабой или сильной (см. письмо к Симоне де Бовуар от этого дня). Проблема заключается в том, что Матье, человек, ищущий подлинной свободы, должен иметь основания дорожить своей лю-

¹ В частности, то обстоятельство, что она является «свидетелем». Эта фантазматическая тема «красивой женщины», которая является своего рода судьей-свидетельницей его жизни, присутствует в творчестве Сартра с отроческих лет и сохранится в зрелом возрасте. Ср.: *Ecrits de jeunesse*. Op.cit («Carnet Midy»), а также «Затворники Альтоны».

бовницей (пусть даже и в прошлом), тогда как сама она должна быть «как бы символом всей этой жизни, основанной на интеллектуальном и моральном комфорте, в которой он не свободен».

18-е апреля

Я совсем не думаю. Тем не менее, все время оживлен — хотя полностью утратил иллюзию, что нахожусь на войне — из-за своего романа.

19-е апреля

Новое ощущение наступления безумия:

Мне снился совершенно невинный сон о Лондоне, когда вдруг внутри своего сна я почувствовал, что атмосфера меняется, хотя ничего ужасного вроде бы не происходит, просто изменился смысл вещей. Дело было по-прежнему на пустынных улицах ночного Лондона, однако в силу какого-то странного противоречия, от которого веяло подозрительностью и беспокойством, эта черная ночь приобрела какое-то знойное свечение июньского полдня. Я предусмотрительно проснулся еще до того, как появились убийцы или бешеные собаки, обязательные спутники подобного метеорологического явления.¹ Но тогда мне пришлось обнаружить в себе комок совершенно чистого страха, казалось, что он занимает в моем теле какое-то определенное место... А потом этот страх собрался вокруг одного слова: Безумец — и оно быстро стало нестерпимым,

¹ Возможно, что явная тема этого сновидения, которое имеет характер предчувствия, навеяна тем обстоятельством, что Гитлер в своих речах всегда раздражался большим гневом в отношении Англии, нежели в отношении других стран, обвиняя ее в развязывании войны.

поскольку не сопровождалось никакими образами или представлениями...¹ После чего все рассеялось, комок пропал, я снова заснул.

21-е апреля

Сартр подробно описывает вечер, проведенный накануне в «Армейском театре». Еще несколько недель тому назад он описал бы этот эпизод своей военной жизни в дневнике, пусть даже при этом ему пришлось бы кратко пересказать его в письме.

23-е апреля

Одна фраза Мальро из «Надежды» («Снова начинается век основоположения... разум должен быть основан заново»), подталкивает его к негативной оценке собственного романа:

Это как раз то, что я думаю, вы это знаете; думаю в эти дни, что лишь теперь будут извлечены следствия из утраты веры. Однако в первом томе романа ничего этого нет, что очень грустно. Это объясняется не изъясном техники, а просто-напросто той коростой, которой я покрылся, когда разразилась война...

В написанном в этот день письме чувствуется определенный, хотя и не ярко выраженный, пессимизм в отношении исхода идущих сражений.

¹ Снова возникает пронизанная страхом связь между ярким представлением войны и тем, что Сартр называет своим «безумием» — эту связь он пытался нейтрализовать в Дневнике I («Война — это я»). Напомним, что все ожидают, что исход войны решится той весной.

24-е апреля

Сартр узнает, что он получил премию Популистского романа.

Снова ревность по отношению к Ванге: Я не умею любить людей.

25-е апреля

Рассказ о заседании Военного трибунала, где он присутствовал утром.

26-е апреля

Представьте себе, я снова вернулся к дневнику. Исключительно для того, чтобы записать по поводу Мальро, что кардинальные категории этики — это: *быть*, *иметь* и *делать*.¹ И что между ними существуют тонкие диалектические связи. Пример, Мальро: необходимо выбирать между *быть* и *делать* — Ружмон, по поводу Дон Жуана: он *был* не вполне для того, чтобы *иметь*.² Время от времени я заношу небольшое замечание. Но после возвращения из отпуска написано, наверное, страниц десять. Однако они весьма неплохи. Беру три месяца отдыха: заканчиваю роман. Потом снова вернусь к дневнику. Я буду совсем другим, когда к нему вернусь, и пятнадцать уже заполненных дневников уйдут в прошлое. Странно, насколько естественнее живешь, когда над тобой не висит дневник, события уничтожаются сразу после того, как ты их прожи-

¹ В четвертой части «Бытия и Ничто» Сартр будет анализировать эти категории, «которые охватывают все типы человеческого поведения».

² Имеется в виду книга Дени де Ружмона «Любовь и Запад» (1939). Сартр написал рецензию на эту книгу для журнала «Эроп». Позднее она была включена в сборник «Ситуации I».

ваешь, в сущности, в определенном смысле, сама подлинность — это дело личного дневника (все же не думайте, что мне на нее наплевать).

28-е апреля

Что вы скажете, если всю серию Матье я назову «Величие»?... Так как в конечном итоге речь пойдет скорее о подлинности нежели о свободе, собственно говоря.

30-е апреля

Возвращение с дивизией в Морсбронн. Ему кажется, что характер Марселлы окончательно сложился.

1-е мая

Сартр читает в «Пари-Миди» за 25 апреля заметку о себе, где упоминаются и его дневники.¹

2-е мая

По-прежнему интересуется Вильгельмом II, взялся читать другую его биографию — Мориса Мюре

¹ Речь идет о заметке, озаглавленной «Необычный лауреат» и подписанной «Наблюдатель», в которой сообщается о присуждении ему премии Популистского романа за сборник новелл «Стена»: «Эта книга, принятая по выходе самыми различными кругами, обладает замечательной силой и дерзостью... Лауреат, по основному роду занятий — преподаватель философии, находится сейчас в действующей армии: он наблюдает за звездами и измеряет скорость ветра. А также, как говорят, ведет дневник... который появится после войны. Вот уж будет увлекательное чтение».

(1940), однако, похоже, в дневник о ней ничего не записывает.

Роман: до 7-го мая работает над образом Маттье, «историзирует» его и делает более «экзистенциальным».

3-е мая

Сартр предается смутным чувственным терзаниям, обнаруживающим, насколько он все еще привязан к Ольге, хотя сам и не допускает этого: узнав от Бобра, что у девушки роман с красивым абиссинцем, он так зол на обеих сестер, что готов даже порвать с Вандой, гумая, — наверно, напрасно, хотя, кто его знает — что она потворствовала сестре.

4-е мая

Все же было бы абсурдно порвать с Вандой, ведь это сестра обманула своего ухажера.¹

5-е мая

Чтение: два военных дневника — «Четыре месяца» (1940) Андре Шамсона и «Голубой свет» (1940) Шарля Брэбанта; «Одиночество сообщца» (1939) Маргарет Кеннеди, «Дневник» (1937—1940) Самюэля Пэписа.

6-е мая

Сартр получает записку от Низана, поступившего в английскую дивизию (он погибнет 23 мая).

¹ Ольга дружит с Жаком-Лораном Бостом, за которого позднее выйдет замуж.

8-е мая

Наведя порядок в собственных любовных переживаниях, Сартр пытается отговорить Бобра от затеи написать Босту, который призван в армию, что у Ольги роман; он защищает ее; К. такова, какой мы ее с вами сделали... только она пострадала от нас, зато так, что дальше некуда.

9-мая

Чтение: «Похвала неосторожности» Марселя Жуандо.

10-мая

Итак, сегодня вторжение в Бельгию и Голландию... Настроения здесь весьма любопытные и весьма отличные от тех, что царили во время захвата Норвегии: почти что облегчение. Ощущение, что наконец-то соприкоснулись с реальностью — после восьми месяцев «затхлой войны»...

По случаю одного замечания Бриса Парена относительно романа С. де Бовуар «Гостья» Сартр излагает свои мысли об истоках языка их маленького клана.

12-мая

Несколько неожиданная реакция Сартра на письмо от Ванды, которая совсем потеряла голову от происходящего и, возможно, тяжело заболела:

Мне надоело отделяться от нее красивыми фразами всякий раз, когда она нуждается во мне. Я написал ей, что если она хочет и если позволяет время, я готов жениться на ней, мне дадут дня три отпуска. Я не

думаю, что вам будет неприятно...¹ Но я вам уже говорил и теперь решил окончательно: начиная с этого момента я сделаю для В. все, что от меня потребуется.

Он слышит артиллерийскую канонагу и полагает, что разгром не за горами: не стремится ли он «совершить поступок»,² прежде чем погибнуть?

13—23 мая

Налеты немецкой авиации на французскую артиллерию: В остальное время живем, как будто ничего не происходит.

Сартр продолжает править роман, в особенности главы с Марселлой.

Время от времени меня охватывает желание вернуться к дневнику. Ведь я вел его в самую мертвую зыбь войны и отбросил в удачный момент.

17 мая он пишет Ванге, что свадебные отпуски отменены: девушка не получит этого письма, которое (по ошибке?) попало к Бобру, и та его прочитала.

Несмотря на вступление немецких войск на французскую территорию, Сартр не верит, что война проиграна.

¹ Письма С. де Бовуар к Сартру, относящиеся к этому периоду, не сохранились.

² Существование Матье тоже сосредоточено вокруг этого стремления «совершить поступок» (оно явственно ощущается и в дневниках); он своего рода негативный двойник автора, идущего впереди своего персонажа. Не хотелось ли Сартру, переживающему трудное время, подстегнуть себя, чтобы оторваться от своего героя, который топчется на одном месте и не находит в себе сил *поступить свободно*? Напомним слова Матье, который так и не женится на Марселе, из последней главы романа: «А я все делаю ни для чего; можно подумать, у меня крадут результаты моих поступков; все происходит так, словно я всегда могу начать сначала. Не знаю, чтобы я отдал, лишь бы совершить непоправимый поступок».

24-е мая

Начинается кое-что иное — не то, что происходит вот уже дней десять, на сей раз это настоящее сражение... День или два рассматривал вопрос лишь в перспективе далекого-далекого будущего: как жить *после* — и покрывался холодным потом. Я как раз читаю «Гитлер мне говорил», прочел статью о систематическом истреблении людей, которым немцы занимаются в Польше (в «Ревю де Пари» от 1-го мая), и, сами понимаете, радоваться было нечему. Но дня два или три все по-другому. В глубине души я совершенно спокоен, только время от времени нападает какая-то почти запоздалая нервозность. У нас наблюдалась и подавленность. Польша и Петер оставались на высоте, другим этого не удавалось, но об этом не хочется говорить. Через несколько дней вернусь к дневнику и все обстоятельно опишу. Сказать есть что.

25-е мая

Начало разгрома: Мне кажется, что цензура не пропустит лишнего, поэтому могу сказать лишь то, что мы уносим ноги... А пока, находясь на прежнем месте, мы уже и не в «секторе». Для нас это оборачивается всецелой свободой.

Чтение: краткая история Норвегии, чтобы быть в курсе.¹

27-е мая

И вот — через силу, я довольно правдив, когда пишу — у меня больше нет этого жалкого тщеславия и жалких

¹ Вероятно, имеется в виду следующая книга: *Vidnes Jacob. La Norvège, bref aperçu historique, géographique, politique, économique.* Oslo, 1934.

надежд, от которых я не мог отделаться в прошлом году... Ведь это *наперекор* крушению демократии и свободы, *наперекор* поражению союзников — символически — я теперь пишу, веду себя так, будто все возродится.

29-е мая

Радиобрращение Поля Рейно, из которого Сартр узнает о капитуляции Бельгии: похоже, что мы втянуты в авантюру, однако наша личная жизнь сведена к растительному существованию: поесть, поспать — немножко потрудиться — каждый день на одно лицо. Странное положение вещей...

30-е мая

Я не скучаю, моя жизнь не так уныла, как вам кажется. Прежде всего шахматы — я проникся к ним этой непреклонной и маниакальной страстью, которая время от времени мной овладевает и которую вы презираете. К тому же эта баталия, в которую мы втянуты через радио, заключает в себе какой-то зловецкий интерес.

1-е июня

...Что же стало с моими дневниками? Втоптаны ли они в землю или все же маленькому Босту удалось их спасти?¹ Если они потеряны, тем хуже, что вы хотите,

¹ Бобр, навестившая Боста 17 мая в его части, оставила ему некоторые из дневников Сартра, по всей видимости, VI, VII, VIII, IX, X. Они были потеряны в конце мая, когда молодой человек был ранен.

ведь они были не для печати, я не стану сильно расстраиваться. Но если все же они целехоньки, мне бы хотелось знать... Жалко будет как раз последних философских находок, а не разглагольствований о самом себе. Хотя этого вдоволь и в тех дневниках, что остались у вас, так что как-нибудь справлюсь.

2-е июня

По поводу «Возраста зрелости», над которым он еще работает: надо дать понять, что когда ты свободен, ты свободен выбирать не только свои поступки, но и свое Добро, хотя, с другой стороны (Кафка, Кьеркегор), добро вовсе не произвольно, и ты всегда остаешься виновным, когда его выбираешь. Пример очевиден: жениться или не жениться на Марселе, все это слишком ясно и не слишком философично.

5-е июня

Мой нежный малыш, не стоит винить себя из-за моих дневников. Вы даже представить себе не можете, с каким легким сердцем я с ними расстанусь. В конце концов главное осталось в голове, Ничто — это все-таки для целой книги. Что же до размышлений о войне, то многие уже устарели. Остается мой характер. Но ведь и здесь ничего не утрачено... Мы так отрезаны от будущего, в особенности от литературного будущего, что эти жалкие дневники кажутся такой мелочью... Сейчас я о них совсем не жалею. Просто хотелось бы знать, что с ними, в том случае, если я вернусь к этим занятиям после окончания романа.

Чтение: биография Ло.^{1}*

¹ Вероятно имеется в виду следующая книга: La vie de John Law. Paris: Denoël, 1938.

8-е июня

Роман: Забавляюсь, работая над сценой последней встречи Матье и Марселлы.

Чтение: «Госпожа Бовари», майский номер «НРФ», с особенным вниманием читает статью Ж. Бернаноса «Мы возвращаемся в войну».

То, что вы пишете мне о странности того, что сбывается самое худшее, я живо ощутил между 18 и 20-м. Я на самом деле пережил это худшее, я к нему *готовился*. Особенно меня мучила эта мысль, что все идеологические заграждения, помогавшие нам представлять немцев полными безумцами и мерзавцами, были не в счет перед лицом этой исторической необходимости, превращающей их в хлам, если немцы становятся победителями... Держаться я мог только благодаря чистой и обычной подлинности.

9-е июня

Сартр наконец-то удовлетворен образом Марселлы:

Мне кажется, что теперь Марселла живет — неблагодарная, хитрая и недоверчивая, вместе с тем страстная, обидчивая, болезненная, рассудительная, красивая, злопамятная, тщеславная, как моя бабушка.

Отмечает, что впервые с 26 апреля записал кое-что в дневнике: ... снова несколько страниц о Ничто.

Примерно 10 июня дивизия Сартра уходит из Морсбронна. После недолгих злоключений он вместе с Полем и Петером 21 июня попадает в плен. 23 июля в лагере военнопленных под Баккара он по-прежнему ведет дневник. Был десятидневный разгром, в результате которого мы оказались вблизи Эпиналя, это одна из самых занятных историй, которые я когда-нибудь слы-

шал или читал. Я все описал в дневнике, я его снова веду, даже здесь, ведь есть что сказать. ¹

Он завершает роман и находит название для метафизического сочинения, наброски которого содержатся в дневниках: «Бытие и Ничто».

¹ Трудно сказать, когда Сартр потерял свои дневники — в лагере под Баккара или позже, в Германии, под Триром. А может быть, и потом. Дневники не упоминаются в письмах к Бобру вплоть до освобождения из плена, последовавшего в марте 1941 г. Заметим, что дни разгрома Франции воссозданы в III томе «Дорог свободы», романе «Со смертью в душе», работа над которым начнется 15 июня 1940 г.

КОММЕНТАРИИ

Стр. 5. * *OAC* (*Organisation armée secrète* — Тайная Вооруженная Организация) — подпольное военизированное движение, выступавшая в 60-е годы XX века против предоставления независимости Алжиру.

Стр. 7. * Имеется в виду бурный роман Сартра с Бьянкой Ламблен, осложненный его (и ее) любовно-дружескими отношениями с С. де Бовуар, постоянной спутницей его жизни, а также глубокое увлечение Вандой Козакевич.

** *Ален* (Эмиль Шартье, 1868—1951) — французский философ, один из властителей дум французской университетской молодежи 20—30-х годов, автор знаменитых «Суждений», своеобразного философского дневника, печатавшегося в специальных ежемесячных брошюрах.

Стр. 8. * *Кривогушие* (*la mauvaise foi* — букв.: лжеверие) — одно из главных понятий философской концепции Сартра, представленной в трактате «Бытие и Ничто» (1943; см. рус. пер. В. И. Колядко: Ж.-П. Сартр. Бытие и Ничто. М.: Республика, 2000). Предложенный и обоснованный В. И. Колядко вариант перевода этого понятия как «самообман» (см. его «Предисловие» к переводу трактата: Ж.-П. Сартр. Указ. соч. С. 7—8) довольно точно отражает собственно идею Сартра: не выдерживая напряжения подлинного самоосуществления в модусе «для-себя-бытия», человек, прибегая ко всякого рода психологическим уловкам, «самообману», впадает в косное и неподлинное состояние «в-себе-бытия». Тем не менее, этот вариант перевода не учитывает ряд смысловых моментов, заключенных непосредственно во французском фразеологизме «*la mauvaise foi*», превращенном Сартром в философский термин. Закрепленный в классических словарях смысл этого фразеологизма двойственен, что, несомненно, принимается во внимание Сартром: с одной стороны, это «преступное намерение», с другой — «отсут-

ствие искренности, лицемерие». Русское слово «криводушие» захватывает эти смыслы «la mauvaise foi», чего нельзя сказать о «самообмане». Однако настоящая проблема заключается в другом: дело в том, что французский фразеологизм «la mauvaise foi», непосредственно связан со словом «foi» (вера), чего, очевидно, не передает ни «самообман», ни «криводушие», но что непосредственно обыгрывается Сартром в трактате (раздел 3, глава 2, часть I. Букв.: вера лжеверия). Эта смысловая игра не передается ни «самообманом» ни, увы, «криводушием». Учитывая то обстоятельство, что Сартр образовал свое понятие из устойчивого словосочетания, бытовавшего в языке несколько столетий, привнеся в него совершенно новый (свой) смысл, мы останавливаем свой выбор на «криводушии», прибегая время от времени и к глагольному варианту — «кривить душой». Наконец, «самообман» не представляется нам приемлемым и из-за довольно сильной смысловой нагрузки первой части этого слова — «сам». Понятно, что в философской традиции слова «сам», «само» и т. п. отсылают к целому вееру значений отсутствующих в оригинальном понятии.

** «Человеческая-реальность» — так в 30-е годы во Франции переводили понятие *Dasein* (букв.: тут-бытие) из трудов М. Хайдеггера.

Стр. 23. * *Местр, Жозеф Мари ге* (1753—1821), граф — французский религиозный мыслитель и политический деятель консервативного направления, автор знаменитых «Петербургских вечеров» (1821).

** *Бональд Луи* (1754—1840) — французский писатель и публицист, идеолог Реставрации.

Стр. 25. * *Конт, Огюст* (1798—1857) — французский философ, один из основоположников социологии.

Стр. 27. * *Жиг, Андре* (1869—1951) — французский писатель-моралист, здесь Сартр имеет в виду его поэму в прозе «Яства земные» (1897).

Стр. 33. * *Монтерлан, Анри ге* (1895—1972) — французский писатель, ветеран первой мировой войны, в раннем творчестве воспевал воинские доблести и товарищество, автор одного из самых значительных французских романов о Большой войне — «Сон» (1922).

** *Дриё ла Рошель, Пьер* (1893—1945) — французский писатель, участник первой мировой войны, осмыслению которой посвящено его раннее творчество (стихотворный сборник «Вопрошание», 1917; эссе «Гражданское состояние», 1921; книга новелл «Комедия Шарльруа», 1934).

Стр. 41. * *Ренар, Жюль* (1864—1910) — французский писатель, автор знаменитой повести «Рыжик» (1894) и посмертно изданного «Дневника», представляющего собой замечательное свидетельство о творческих исканиях писателя и литературных веяниях его эпохи.

** *Ларошфуко, Франсуа* (1613—1680) — французский писатель-моралист, в своих «Размышлениях» (1665) исповедует рационалистическую философию эгоизма и гедонизма.

Стр. 50. * *Савонарола, Джироламо* (1452—1498) — итальянский религиозный деятель, реформатор, выступавший против роскоши богачей, пороков католической церкви и безнравственности народа.

** *Линия Зигфрида* — немецкие военные укрепления, сооруженные вдоль Рейна от Базеля до Клеве.

Стр. 65. * *Селин (Детуш) Луи-Фердинанд* (1894—1961) — французский писатель, автор знаменитых романов «Путешествие на край ночи» (1932) и «Смерть в кредит» (1936), существенно повлиявших на французское литературное сознание 30-х годов.

Стр. 80. * *Боваризм* — литературно-психологическое понятие, ведущее свое происхождение от романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», означает состояние эмоциональной и социальной неудовлетворенности, погруженность в бесплодные мечтания.

** *Баррес, Морис* (1862—1923) — французский писатель, член Французской академии, глава патриотического и антидемократического крыла французской литературы, творчество которого было своего рода поэтизацией национализма, парадоксально сочетавшейся с воспеванием сильной личности, автор знаменитого цикла «Роман национальной энергии».

Стр. 82. * *Пуалю* — прозвище французских солдат времен первой мировой войны.

Стр. 86. * «Крапуйо» — французский иллюстрированный литературно-художественный журнал, основанный в 1915 г. писателем Жаком Гальтье-Буасьером (1891—1966).

Стр. 91. * *Рабат* — город на Северо-Западе Африки, во французском Марокко.

** *Мартиг* — портовый город на юге Франции.

Стр. 94. * *Жуан-ле-пен* — курорт на Лазурном берегу.

Стр. 97. * *Лаге-Магжоре* — большое озеро в Альпах, между Швейцарией и Италией.

Стр. 115. * *Виллетт* — парижские городские бойни, переоборудованные в 1979 г. в парк отдыха.

Стр. 123. * *Мыс Дю-Раз* — крайняя точка северо-западной Франции (департамент Финистер).

Стр. 126. * *Варнтский лес* — большой лесной массив на западе Германии, на границе с Францией.

Стр. 131. * Неточная цитата из эпиграфа к «Евгению Онегину», который в тексте Пушкина дан по-французски: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого». *Из частного письма.*

Стр. 145. * *Маргарита-Мария Алакок* (1647—1690) — французская религиозная подвижница, основоположница культа «Сердца Господня».

Стр. 149. * *Рильке, Райнер Мария* (1875—1926) — австрийский поэт, романист, драматург. Его роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910) оказал существенное влияние на тематику и поэтику сартровской «Тошноты».

Стр. 151. * *Грин, Жюльен* (1900—1999) — французский писатель американского происхождения, романное творчество которого развивало основные идеи «католического крыла» французской литературы. Автор многотомного «Дневника», с первыми книгами которого Сартр мог ознакомиться в 1939 г.

Стр. 168. * *Ось* — название военного союза Германии и Италии, заключенного в 1936 г.

** *РАФ (Royal Air Force)* — королевские воздушные силы, название военно-воздушного флота Великобритании.

Стр. 202. * *Ферри, Жюль* (1832—1893) — французский государственный деятель, министр образования (1879—1883) и глава кабинета (1880—1881, 1883—1885).

** *Гамбетта, Леон* (1838—1882) — французский адвокат и политик, непримиримый антимонархист, глава кабинета (1881—1882).

Стр. 208. * *Блюм, Леон* (1872—1950) — французский государственный деятель, глава социалистической партии и правительства Народного фронта (1936—1937, 1938).

Стр. 222. * *Прозелитизм* — стремление обратить других в свою веру.

Стр. 224. * *Бретон, Андре* (1896—1966) — французский писатель, поэт, эссеист, вождь сюрреализма.

Стр. 225. * *Сен-Симон, Клод Анри* (1760—1825) — французский философ и экономист, один из основоположников научного социализма.

** *Ламартин, Альфонс, де* (1790—1869) — французский поэт-романтик и политический деятель, министр иностранных дел (1848).

*** *Моррас, Шарль* (1868—1952) — французский писатель и политический деятель, основоположник национально-консервативного движения «Аксьон Франсез», отвергавшего идеалы Революции.

Стр. 233. * *Бланки, Луи Огюст* (1805—1881) — французский политик и теоретик социалистического движения.

Стр. 234. * *Линней, Карл, фон* (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы животного и растительного миров.

Стр. 236. * *Тристан, Флора* (1803—1844) — французская писательница, одна из первых подвижниц феминизма.

Стр. 237. * *Гоген, Поль* (1848—1903) — французский художник, творчество которого соединяло в себе импрессионизм и символизм. Умер в полном одиночестве в своей хижине на острове Фату-Хива, где пытался «вдохнуть огонь» в свой талант.

** *Ван-Гог, Винсент* (1853—1890) — голландский художник, творческий путь которого пронизан предельной трагичностью (приют для умалишенных, самоубийство).

*** *Рембо, Артюр* (1854—1891) — французский поэт, поразивший современников и позднейших читателей не только гениальным творчеством, но и отказом от литературы.

Стр. 273. * Здесь и далее «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери цитируется в переводе Н. Галь по следующему изданию: Сент-Экзюпери А. де. Планета людей (Минск: Мастацкая литература, 1976), с указанием в скобках соответствующих страниц.

Стр. 284. * *Кено, Раймон* (1903—1976) — французский писатель, поэт, романист, творчество которого начиналось в русле сюрреализма: «Дети Лимона» (1937) — первый его роман.

** *Мак Орлан, Пьер* (собственно, Пьер Дюмаршей, 1882—1970) — французский писатель, поэт, романист, произведения которого получили известность благодаря экранизациям М. Карне («Всадница Эльза», «Набережная туманов» и др.).

Стр. 291. * *Гонкуры, Эдмонд* (1822—1896) и *Жюль* (1830—1870) — французские писатели, чье творчество, соединяя в себе тенденции натурализма и импрессионизма, отличается повышенным вниманием к кризисным состояниям чувственной и психологической жизни. «Дневник» Гонкуров — ценнейшее свидетельство литературной жизни Франции во второй половине XIX века.

Стр. 300. * «Жан-Кристоф» (1904—1912) — роман-симфония, принадлежащий перу *Р. Ролана* (1866—1944), в образе главного героя, гениального музыканта Жана-Кристофа, воплощена мечта о «современном Бетховене».

Стр. 307. * *Бюнзен, Роберт Вильгельм* (1811—1899) — немецкий ученый, прославившийся своими изобретениями в области физики и химии.

Стр. 321. * *Теннисон, Альфред* (1809—1892) — английский поэт-романтик, основные мотивы его творчества (идиллия сельской жизни и духовная сила народных героев) были реакцией на унылый практицизм буржуазного века.

** *Сезан, Поль* (1839—1906) — французский художник-постимпрессионист, чья жизнь сопровождалась долгой борьбой за признание творчества, опережавшего художественные вкусы своего времени.

Стр. 324. * *Бланш, Жак Эмиль* (1861—1942) — французский художник, близкий к символизму.

Стр. 328. * Имеется в виду *Маглен Ронго*, куина писателя, ставшая после долгих колебаний его супругой. В первом произведении А. Жида «Записные книжки Андре Вальтера» (1890) его возлюбленная выведена под именем суровой Эмманюэль, своей неуступчивостью она толкает героя к самоубийству.

Стр. 329. * *Уайльд, Оскар* (1854—1900) — английский поэт, романист, драматург, в бытность свою в Париже встречался с А. Жидом.

Стр. 337. * *Людендорфф, Эрих* (1865—1937) — немецкий генерал, начальник генштаба немецких армий на русском фронте в первую мировую войну, теоретик военного искусства.

** *Дольфус, Энгельберт* (1892—1934) — австрийский государственный деятель, в бытность канцлером (1932—1934) выступал против реваншистской политики Германии и был убит нацистами.

Стр. 341. * «Воспитание чувств» (1869) — роман *Гюстава Флобера* (1821—1880), к творческому и жизненному пути которого Сартр обратится в семидесятые годы, написав книгу «В семье не без урода».

Стр. 343. * *Дю Кам, Максим* (1822—1894) — французский журналист и литератор, член Французской академии (1880), сопровождал Флобера в ходе путешествий по Бретани и Востоку (1849—1851).

Стр. 344. * *Лоти, Пьер* (собственно, *Жюльен Вьо*, 1850—1923) — французский писатель-импрессионист воспевавший в своих романах экзотику дальних стран и цивилизаций.

Стр. 346. *Буль, Андре Шарль* (1642—1732) — знаменитый французский красноречивец.

Стр. 375. * *Льюис, Синклер* (1885—1951) американский романист, творчество которого отличается стремлением к критическо-

му показу действительности (романы «Главная улица», 1920; «Бэб-бит», 1922 и др.).

Стр. 378. * «Коломба» (1840) — новелла *Проспера Мериме* (1803—1870).

Стр. 395. * *Амель, Анри Фрегерик* (1821—1881) — швейцарский литератор, писавший на французском языке, его «Личный дневник» представляет собой образец психологического самоанализа.

Стр. 396. * *Лейрис, Мишель* (1901—1990) — французский писатель, поэт, этнолог, социолог, искусствовед, среди его разнопланового творческого наследия выделяется автобиографическое эссе «Возраст мужчины» (1939), оказавшее существенное влияние на литературное сознание 30—40-х годов.

** *Моран, Поль* (1888—1976) — французский писатель, романист, новеллист, автор ироничных зарисовок из жизни современной Франции.

Стр. 397. * *Мариво* (собственно, Пьер Карле де Шандлен, 1688—1763) — французский литератор, романист и драматург, автор многочисленных комедий.

** *Моруа, Андре* (1885—1967) — французский писатель, автор ряда всемирно известных биографий. Когда началась вторая мировая война, пошел добровольцем в действующую армию, в упомянутой книге размышляет о европейской истории 20—30-х годов.

*** *Ларбо, Валери* (1881—1957) — французский писатель и переводчик. Роман «А. О. Барнабут. Его личный дневник» увидел свет в 1913 году.

Стр. 404. * *Д'Аннуцио, Габриеле* (1863—1938) — итальянский писатель и политический деятель, прославлявший очистительную стихию войны, один из ближайших сподвижников Муссолини.

Стр. 405. * *Севиньи (Мари де Рабютен-Шанталь, 1626—1696)* — французская писательница, автор знаменитых «Писем», являющихся образцом эпистолярной прозы.

** *Мансфильд, Кэтлин* (собственно, *Кэтлин Бошам*, 1888—1923) — новозеландская писательница, автор нескольких книг новелл, а также «Дневника» (1927) и «Писем» (1928).

Стр. 415. * *Сфинктер* — кольцевидная мышца, при сокращении замыкающая или сужающая отверстие какого-либо органа.

Стр. 419. * *Ален-Фурнье* (собственно, *Анри Альбан Фурнье*, 1886—1914) — французский писатель, автор знаменитого романа «Большой Мольн» (1913).

** *Лафорг, Жюль* (1860—1887) — французский поэт, близкий к импрессионизму, один из создателей свободного стиха.

- Стр. 432. * *«Living-root»* (англ.) — гостиная.
- Стр. 504. * *Валери, Поль* (1871—1945) — французский поэт, мировоззрение которого весьма близко феноменологии.
- Стр. 555. * *Арпан* — старая французская земельная мера, равная примерно русской десятина (1.09 га).
- Стр. 559. * *«Детство вождя»* — новелла Сартра из сборника «Стена»(1939).
- Стр. 561. * Имеется в виду либретто к опере *Рихарда Вагнера* «Тристан и Изольда» (1865), написанное на основе литературных памятников XIII века самим композитором.
- ** *Бегье, Жозеф* (1864—1938) — знаменитый французский медеивист.
- Стр. 587. * *Купер, Гари* (1901—1961) — американский киноактер, воплощавший тип мужественного и сдержанного американца.
- Стр. 590. * *Дю Бос, Шарль* (1882—1939) — французский литератор, критик, эссеист.
- Стр. 596. * *Копо, Жак* (1879—1949) — французский актер, театральный деятель и литератор, один из основателей журнала «НРФ».
- ** *Колдуэлл, Эрскин* (1903—1987) — американский романист, новелист, публицист.
- Стр. 597. * *Лиман, Розамунд* (1901—1990) — английская романистка, автор психологической прозы, воссоздающей внутренний мир девушек и детей.
- Стр. 613. * *Бернар, Клод* (1813—1878) — французский физиолог и естествоиспытатель.
- Стр. 614. * *Прудон, Пьер Жозеф* (1809—1865) — французский публицист, теоретик утопического социализма и анархизма.
- Стр. 615. * *Вебер, Макс* (1864—1940) — немецкий экономист и социолог.
- Стр. 620. * *Груши, Эммануэль, маркиз, де* (1766—1847) — французский полководец, маршал Франции, вошел в историю среди прочего тем, что не смог воспрепятствовать соединению прусских и английских войск в битве при Ватерло.
- ** *Веллингтон, Артур Уэсли, герцог* (1769—1852) — английский военный и государственный деятель, командующий союзническими войсками в битве при Ватерло
- Стр. 622. * *Голштейн, Фридрих, фон* (1837—1909) — немецкий дипломат, советник министерства иностранных дел, оказывавший существенное влияние на внешнюю политику государства.
- ** *Эйленбург, Филипп, принц* (1847—1911) — немецкий аристократ, один из ближайших друзей Вильгельма II, посол Германии в Вене.

Стр. 640. * *Солсбери, Роберт Сесиль, маркиз* (1830—1903) — английский государственный деятель, с 1885 г. глава консервативной партии, глава правительства.

Стр. 657. * *Мартэн, Дю Гар, Роже* (1881—1958) — французский прозаик и драматург, один из ближайших друзей А. Жида.

Стр. 695. * *Ру Сен-Поль* (собственно, Ру Поль, 1861—1940) — французский поэт, близкий к позднему романтизму и символизму.

Стр. 697. * *Рибо, Теодюль* (1839—1916) — французский психолог, основоположник экспериментальной психологии.

** *Мечников, Илья Ильич* (1845—1916) — русский биолог, с 1888 года работал в Пастеровском институте в Париже.

Стр. 698. * *Готье, Теофиль* (1811—1872) — французский писатель, представитель позднего романтизма.

Стр. 744. * *Лой, Джон* (1671—1729) — шотландский финансист, один из основоположников французской банковской системы.

С. Л. Фокин

АВТОПОРТРЕТ ФИЛОСОФА
НА ФОНЕ ВОЙНЫ: ЖАН-ПОЛЬ САРТР
И ЕГО ДНЕВНИКИ

Жан-Поль Сартр скончался во вторник 15 апреля 1980 г. в девять часов вечера, в присутствии Арлетты Элькаим-Сартр, женщины, с которой он познакомился в 1956 г.: она была его любовницей, с 1965 г. — приемной дочерью, а после смерти стала наследницей и правопреемницей. Подобно тому, как смерть не представляла собой принципиальной темы его философии, в жизни Сартр не любил говорить о смерти, тем более своей собственной: смерть всегда так или иначе оказывается предметом заботы Другого или других. В том, что в подобных случаях называют «последней волей усопшего», были тем не менее два определенных пункта, выполнение которых взяли на себя друзья философа: во-первых, он хотел, чтобы его тело было кремировано, во-вторых, не хотел, чтобы его останки покоились на кладбище Пер-Лашез, где ему было заготовлено место рядом с могилой отчима. Другим удалось договориться с директором кладбища Монпарнас: тот оказался большим любителем изящной словесности, припомнил, что Сартр написал книгу о Бодлере и выделил философу местечко неподалеку от могилы поэта. «Я всегда думал, что он попадет к нам», — сказал на прощание кладбищенский эрудит, не скрывая гордости. Похороны, проходившие в субботу 19 апреля, превратились чуть ли не в народные гуляния: пятидесятитысячный кортеж почитателей провожал философа в последний

путь, многие держали на плечах детей, была страшная толчея, завязывались перепалки, один зевака даже свалился в могилу, прямо на гроб Сартра. «У меня будут красивые похороны» — так называлась одна из его ранних пьес; в отличие от многих других прозрений, устремлений и желаний философа эта догадка подтвердилась целиком и полностью.

Поминки по Сартру и по целому ряду связанных с его именем понятий — экзистенциализму, гуманизму, фрейд-марксизму, философии субъекта, Богу, Смерти Бога, Человеку, Бытию, Небытию и т. п. — регулярно проводились задолго до кончины мыслителя. Накатившаяся на французскую, а затем на американскую, европейскую, советскую и постсоветскую мысль волна «структурализма», почти сразу слившаяся с волной «постструктурализма», разметала, казалось, все построения философии, которая возлагала на человека все — тяжкое бремя виновности, ответственности, отчужденности — не обещая ему ничего, точнее, ничего, кроме Ничто, где будто бы и скрывается заветная Свобода. Но поминки по Сартру, которые в той или иной тональности поочередно устраивались марксистами, структуралистами, деконструктивистами или просто борзописцами, все время свидетельствовали о какой-то торопливости, словно бы призрак Сартра — живого или мертвого — не давал покоя как новоявленным «властителям дум», так и тем, кто претендовал на звание борца против всех на свете «властителей дум». Сартр сделался козлом отпущения, его упрекали все и вся во всех тяжких — политической слепоте и недальновидности, философской несостоятельности и несамостоятельности, литературной ущербности и отсталости, моральной неустойчивости и нечистоплотности, — чаще всего забывая о том, что тяжестью, «духом тяжести» пронизаны все его творчество и вся его жизнь.

Жизнь писателя есть не что иное, как неправильное, но однонаправленное движение от «единичного»

к «универсальному» — такова формула творческого существования, выведенная Сартром как из постоянных наблюдений за своей собственной жизнью, отразившихся в многочисленных автобиографических опытах, так и из биографических исследований, посвященных Бодлеру, Жене, Малларме, Флоберу. Внимание к писателю определяется во многом тем, насколько успешно схватывает он это измерение «универсальности», «всеобщности», которое присутствует в существовании даже самого одинокого человека, «индивида», который на первый взгляд не имеет «никакой значимости в коллективе». Как иначе объяснить творческую судьбу самого Сартра, который из «испорченного», избалованного буржуазной культурой ребенка со временем превратился в «живой памятник» французской словесности, в рупор европейского свободомыслия, в Вольтера XX века, чей голос раздавался по всему миру? Ответ на этот вопрос может показаться банальным, если сказать, что Сартр, как никто из современников, совпал со своим временем, что само время узнавало себя в нем. Гораздо сложнее будет понять, какой ценой давалось писателю это совпадение. В случае с Сартром такой ценой стало предательство, постоянная измена самому себе, влекущая за собой и измену тем, кто на какое-то время сближался с ним. Эта постоянная самоизмена обеспечила возможность ликвидации изначального несовпадения со своим временем. Родословная героя времени зачастую уходит во время оно. Время Сартра — это середина XX века, когда разработанная им в угоду времени философия абсолютной свободы оказалась как нельзя более ко времени. Но истоки этой свободы лежат в той несвободе, которой отличалось творческое становление Сартра в 20—30-е годы и опыт преодоления которой запечатлелся в его «Дневниках странной войны». Генеалогии этой самоизмены и посвящен настоящий этюд.

ВОЙНА ЗА ИДЕИ

Жан-Поль-Шарль-Эймар Сартр появился на свет 21 июня 1905 года.¹ Оставшись без отца, который скончался от желтой лихорадки через пятнадцать месяцев после рождения сына, Жан-Поль воспитывался в семье деда по материнской линии Шарля Швейцера, дяди знаменитого впоследствии Альберта Швейцера. Дед будущего писателя был типичным и вместе с тем выдающимся представителем французской интеллигенции рубежа XIX—XX веков — уроженец Эльзаса, протестант, он не захотел стать пастором и выбрал преподавательскую карьеру, получил ученую степень по немецкому языку и опубликовал несколько учебников по дидактике. Его парижская квартира была очагом классической культуры, средоточием той духовности, что достигается неустанным трудом и сознанием его благодетельности. В семье деда юный Сартр живет безоблачной жизнью в окружении влюбленных в него и балующих его близких, все свое время проводит за чтением французских и немецких классиков и за сочинением своих собственных произведений, в которых наивный детский плагиат перемешивается с неподдельной жаждой литературной славы.

Это райское существование рушится в один день, когда мать, Анн-Мари, вторично выходит замуж. В двенадцать лет Жан-Поль познает другую жизнь — если и не адскую, то крайне тягостную, невыносимую, в противостоянии которой и складывается его бойцовский, неуступчивый характер. Он познает нелюбовь,

¹ Все факты биографии писателя приводятся по фундаментальной биографии писателя, принадлежащей перу Анни Коэн-Солаль (*Cohen-Solal Annie. Sartre. 1905—1980. Paris: Gallimard, 1985*). Кроме этого, интересные сведения из жизни философа можно обнаружить в книге Джона Жерасси, представляющей собой незаконченный опыт «авторизованной» биографии, построенной на неопубликованных беседах автора с Сартром (*Gerassi John. Sartre, conscience haïe de son siècle. Paris: Rocher, 1992*).

которую источают как его отчим, ответственно взявшийся за воспитание избалованного дитя, так и лицейские товарищи в Ла Рошели, которые видят в нем лишь маленького заносчивого парижанина. К этому времени относится еще одно открытие, которое ложится тяжким бременем на психическое становление подростка. К нелюбви со стороны окружающих добавляется неприятие самого себя. Жан-Поль вдруг понимает, что он очень некрасив: маленького роста и в огромных очках, которые худо-бедно скрывают полностью невидящий правый глаз и косоглазие левого. Но эти невзгоды только подхлестывают интеллектуальный рост Сартра: в ответ на них он развивает в себе настоящий культ силы, как умственной, так и физической, с помощью которой надеется завоевать враждебный мир.

Этим культом силы, заносчивости, провокации Сартр выделяется в престижных парижских лицеях Генриха IV и Людовика Великого, где он продолжает свое образование, равно как и в Эколь Нормаль, где он обретает столь необходимую и столь плодотворную атмосферу напряженной интеллектуальной жизни. Только в Школе, этом питомнике французской интеллектуальной элиты, он познает прелесть разделенного дружества и разделенной любви: среди его друзей Поль Низан, Раймон Арон, Морис Мерло-Понти, его любовницей и «морганатической» супругой становится Симона де Бовуар, одна из самых блестящих учениц Эколь Нормаль. Особенно близок Сартр с Низаном, они образуют столь неразлучную пару, что их постоянно путают и называют в шутку Нитр и Сарзан. Сартр словно бы бежит самого себя, всецело отдаваясь этому переживанию жизни с другим, жизни-в-паре; преодолевая тягостные подростковые неудачи, свою отчужденность от мира мужчин, он стремится утвердить во что бы то ни стало свою мужественность, оказаться в самой гуще студенческой жизни, быть заводилой множества проделок и розыгрышей: чего стоит только его выходка с наполненным водой воздушным шариком,

который опускался на головы входивших в школьный дортуар молодых ницшеанцев, сопровождаемый криком «Так писал Заратустра!». Тем не менее очевидно, что мужской мир его несколько тяготит: встреча с Симоной де Бовуар отдаляет его от товарищей, он перестает нуждаться в этой мужественной подмоге, которую предоставляет дружба, мужчины оказываются по ту сторону его-бытия-для-себя, которое обретает опору в связи с красивой и умной женщиной. Отношения с Симоной де Бовуар строятся на основе двухстороннего «пакта»: 1) есть любовь необходимая, та, что связывает их друг с другом, но есть и любовь случайная, на которую оба имеют неоспоримое право, разумеется, при условии абсолютной взаимной откровенности; 2) оба отказываются иметь детей, которые лишают совместную жизнь рациональной устроенности; 3) в творчестве каждый идет своим путем, но оба следят друг за другом, становятся друг для друга первыми читателями. Неестественность «пакта» не мешает двум философам оставаться ему верными. Интимные отношения, сыгравшие свою роль в сближении Сартра и де Бовуар, вскоре отходят на второй план, уступая место изощренному любовно-литературному союзу в духе героев Шодерло де Лакло: он без усталости соблазняет молоденьких студенток, которых иногда подготавливает для него верная спутница, она не упускает случая переспать с кем-нибудь из его товарищей, связи порой перепутываются, становятся по-настоящему «опасными».

Жизненные, психологические, любовные приключения и злоключения ничуть не мешают Сартру много и плодотворно работать: уже в 1927 г. он пишет роман «Поражение», основанный на истории отношений Ницше—Вагнер—Козима, в 1930 г. сочиняет пьесы «Эпиметей», «У меня будут красивые похороны», в 1931 г. публикует философскую сказку «Легенда об истине». В 1932 г. он приступает к философскому эссе «Пасквиль о случайности», долгая, непростая работа

над которым приведет его к роману «Тошнота» (1938). Позднее Сартр признавался, что не собирался становиться философом, полагая, что философия — это пустая трата времени. В молодости он мыслит себя прежде всего романистом, понимая роман как описание внутренних состояний человека. В этом смысле философия, изучению которой он тем не менее себя посвящает, была призвана сыграть вспомогательную роль, она должна была предоставить начинающему писателю инструмент или метод описания психологических реакций индивидуума.

Решающую роль в разработке таких концепций литературы и философии сыграло знакомство Сартра с работами Анри Бергсона. «У Бергсона я обнаружил размышления о длительности, о сознании, о том, что такое состояние сознания и т. п., все это оказало на меня огромное влияние».¹ Эта концепция литературы и философии, где первая сводится к интроспективному повествованию, а вторая — к психологии, отражается в упомянутых выше ранних сочинениях, в центре которых находится романтический «одинокий человек», меланхолический художник, противостоящий заурядности мира и непониманию обывателей. Преодоление этой концепции, равно как ювильной склонности к самокопанию, будет составлять важнейший мотив творческого становления Сартра в 30—40-е годы. Вместе с тем в это время он приходит к осознанию необходимости разведения литературы и философии: в литературных исканиях основной движущей силой оказывается проблема «формы», стиля, который понимается как созидание фразы или повествования, устремленных к многосмыслию, тогда как философия мыслится как работа чистыми понятиями, ясными и однозначными.

Литература не сводится к погружению во внутренний мир человека, равно как философия не сводится к

¹ *Sartre Jean-Paul. Une vie pour la philosophie. Entretien // Magazine littéraire. 2000. N 384. P. 41.*

психологии и науке вообще — таковы два постулата нового творческого мировоззрения Сартра, которое начинает складываться на рубеже 20—30-х годов и в котором доминирующим моментом становится стремление, если и не к сближению с реальностью, то к постижению реальности мира и человека. И если первый определяется под влиянием новейшей литературы (Джойс, Дос Пассос, Мальро, Рильке, Селин, Фолкнер, Хемингуэй), авангардного искусства и кинематографа, то второй обусловлен открытием философии Гуссерля. Кроме того, феноменология помогает ему освободиться от бремени французской университетской традиции, которое начинает особенно тяготить его, когда он в 1931 г. получает место лицейского преподавателя философии в далеком от столичной жизни Гавре.

Во французской университетской философии царит тогда Леон Брюнsvик — он учит тому, что история мысли завершена и совершенна, что, появившись на свет в Греции, философия достигла своих вершин в бессмертных Платоне, Аристотеле, Лейбнице, Канте, даже Гегель не вызывает особого интереса у французских философов того времени: знаменитый семинар Александра Кожева в Практической Школе Высших Исследований собирает больше маргиналов, чем профессиональных философов. Философия, как она понимается во французском университете 20—30-х годов, призвана заниматься всем чем угодно, кроме познания текущей реальности и места в ней человека. Понятно, что Сартр, движимый волей к сближению с действительным миром, воспринимает феноменологию как своего рода «благую весть»: ведь феноменология зовет вернуться к «самим вещам». Он замороженно слушает возвратившегося из Берлина Арона: тот рассказывает, что феноменолог может рассуждать о бокале с вином, и это рассуждение может быть философией. В начале 1933 г. Сартр с огромным интересом прочитывает книгу Левинаса «Теория интуиции в феноменологии

Гуссерля», а в сентябре этого же года отправляется на годичную стажировку во Французский институт в Берлине, где в основном занимается изучением феноменологии: «Ideen» прочитаны в подлиннике, там же, в Берлине, он заканчивает второй вариант своего романа, который из «Пасквиля о случайности» превращается в «Меланхолию».

Если философия Бергсона представляла его мысли своего рода «боевую машину» сознания, внутренний механизм порождения идей, ощущений, чувств, то Гуссерль, напротив, помогает ему десубстантивировать сознание, вывести за его рамки все «непосредственные данности» — образы, эмоции, даже Эго. Сталкиваясь Бергсона с Гуссерлем, Сартр заимствует у последнего «фундаментальную идею»: интенциональность, направленность сознания на мир. Интенциональная структура сознания указывает на то, что субъективность складывается не в тождественности человеческого Я какой-то внутренней самости, а в движении сознания к миру, «к самим вещам». В этом движении сознание выходит за собственные границы, «трансцендирует». Иначе говоря, самоотждественность сознания, его цельность — это не имманентное незыблемое основание, а трансцендентный подвижный горизонт.

Ядро собственной философской позиции Сартра складывается в его довоенных работах, посвященных воображению: «Воображение» (1936), «Трансцендентность Эго» (1937), «Набросок теории эмоций» (1939), «Воображаемое» (1940). В этих работах Сартр стремится показать, что источник воображения как функции сознания заключен в способности сознания к отрицанию, иными словами, в абсолютной свободе сознания. «Таким образом, — замечает он, — каждое мгновение нашей сознательной жизни предстает нам как творение *ex nihilo*. ...В этом плане человек всегда испытывает впечатление, что он беспрестанно от себя ускользает, выходит за собственные рамки, всякий раз поражает

себя неожиданным богатством». ¹ Равно как всякий образ является отрицанием реальности, всякий акт сознания является отрицанием человеческой данности, преодолением настоящего и прошлого в направлении ускользающего горизонта будущего. Человек не внутри, он вовне, целиком и полностью. Воспринимая феноменологическую доктрину, Сартр отбрасывает как какой-нибудь «никчемный и поверхностный» придаток такую ее составляющую, как «трансцендентальное эго», заменяя его «трансцендентным эго». Сартр превращает «эго» почти что в объект сознания, выводит его за рамки сознания. Если бы «эго» оказалось внутри сознания, полагает он, последнее утратило бы свою самую существенную характеристику — абсолютную прозрачность, «сверхъясность», — столкнувшись с внешним по отношению к себе объектом. Коль скоро «эго» лежит в области трансцендентности, чистое, абсолютное, не замутненное никакими личностными характеристиками сознание лишает себя возможности говорить от первого (грамматического) лица. По мысли Сартра, феноменолог, если он хочет добиться совершенной редукции, должен говорить не «Я сознаю этот стул», а «Имеется сознание этого стула». Таким образом, в ранней философии Сартра намечается проект деперсонализации, десубъективизации сознания, который сыграет определяющую роль в его позднейших литературных, философских и политических исканиях.

В более поздней статье под названием «Фундаментальная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность», появившейся в январском номере журнала «Нувель Ревю Франсез» за 1939 г., Сартр объясняет значение феноменологии для современного литературного поиска: «Гуссерль заново ввел в вещи ужас и очарование. Он возродил для нас мир художников и

¹ *Sartre Jean-Paul. La transcendance de l'Ego. Paris: Vrin, 1965. P. 79.*

пророков — наводящий страх, враждебный, полный опасностей и гаваней милости и любви. Он расчистил место для нового трактата о страстях, который будет, наверное, вдохновляться столь простой и столь чуждой для наших утонченных натур истиной: мы любим женщину по той простой причине, что она расположена к любви. Так мы освобождаемся от Пруста. И одновременно освобождаемся от „внутренней жизни“: тщетно старались бы мы, наподобие Амьеля, наподобие упивающегося собой дитя, обрести негу и ласку нашего интимного существа, поскольку все в конце концов находится вовне, все, вплоть до нас самих: вовне, в мире, среди других людей».¹ В этом замечании внимание привлекает не только сам отказ от погружения во внутреннюю жизнь, отказ от интроспективной прозы в духе «Поисков утраченного времени» или знаменитого дневника Амьеля, но и тональность, с которой провозглашается возможность и насущность этого отказа: Сартр прямо-таки торжествует, что нашел метод, следуя которому, может избежать литературы самокопания. Это торжество явно свидетельствует не только о преодолении искушения остаться в себе, внутри себя, но и о силе такого искушения, выражавшейся в ранних литературных опытах писателя.

Феноменология, с ее устремленностью к отказу от культурных, моральных, ценностных, а главное психологических предпосылок сознания, как нельзя лучше соответствовала желанию Сартра преодолеть еще одно искушение, грозившее направить его творческие поиски к «внутреннему человеку»: речь идет о психоанализе. Знакомство с основными работами Фрейда состоялось еще во время учебы в Эколь Нормаль, и уже в новелле «Детство вождя», вошедшей в сборник «Стена» (1939), Сартр начинает долговременную атаку на психоанализ, которая будет продолжена и усилена в трактате «Бытие и Ничто» (1943), а также в сценарии

¹ *Sartre Jean-Paul. Situations, I. Paris: Gallimard, 1947. P. 34.*

фильма «Фрейд». Сартр не приемлет иного детерминизма сознания, кроме самого сознания: невозможно вытеснить в область бессознательного какое-то представление о самом себе, если вначале это представление не стало в той или иной мере объектом сознания. Залог свободы человеческого становления, постоянно ускользания человека от самого себя — в абсолютной прозрачности сознания. Если человек свободен, то он должен быть свободен во всем абсолютно, и он в ответе за свою свободу: подчинение сознания бессознательному означает не что иное, как безответственность, алиби, которое оставляет за собой человек. Вместе с тем психоанализ близок Сартру в том, что обращает внимание на неизбежное несовпадение человека с самим собой: в каждой человеческой жизни есть место для самообмана. И если, по мысли Сартра, даже «сумасшедшие являются лжецами», поскольку выбирают сумасшествие как способ мировосприятия, то и абсолютное сознание должно сознавать, что оно не абсолютно, откуда рождается искушение человека играть в самого себя.

Однако Сартр не был бы Сартром, если бы гуссерлевская феноменология была воспринята им как таковая. Уже в статье «Фундаментальная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность» намечается основное отклонение сартровской мысли от чисто феноменологического видения мира. Определяя трансцендирующую сущность сознания, он делает важное для всего своего философского становления замечание: «Философия трансцендентности выбрасывает нас на большую дорогу, в окружение опасностей, под ослепительный свет. Быть, говорит Хайдеггер, значит быть-в-мире. Это «быть-в» следует понимать как движение. Быть — значит ринуться в мир, значит оттолкнуться от ничто мира и сознания, чтобы разразиться-сознанием-в-мире».¹ Философия Хайдеггера помогает Сартру пре-

¹ Ibid. P. 33.

одолеть известную созерцательность феноменологии, а позднее — освоить такие категории человеческого существования в мире, как «историчность», «экзистенциальный проект», «подлинность».

Вместе с тем о сколько-нибудь глубоком влиянии Хайдеггера на Сартра вплоть до начала работы над трактатом «Бытие и Ничто», где в общем хайдеггерианство уже опровергается, говорить не приходится: в отличие от основных текстов Гуссерля, с которыми Сартр основательно работал на протяжении 30-х годов, его представление о философии Хайдеггера вплоть до начала войны оставалось скорее поверхностным.¹ Достоверно известно (по XI тетради из «Дневников странной войны»), что перед самой войной он прочел сборник «Что такое метафизика?» (1938), в котором Анри Корбэн, первый переводчик Хайдеггера на французский язык, опубликовал одноименную лекцию 1929 г., эссе «О сущности основания», небольшой отрывок из второго раздела «Бытия и времени», заключение из книги «Кант и проблема метафизики» и эссе «Гельдерлин и сущность поэзии».

Стоит отметить, что внимание к мысли Хайдеггера диктовалось историей, тревожной политической ситуацией конца 30-х годов, когда внутреннее стремление Сартра к сближению с реальностью, подкрепленное феноменологией (направленностью «к самим вещам»), усиливалось внешними мотивами в основном политического характера. В самом деле, еще несколько лет назад, в начале 30-х годов, Сартр был до того равнодушен к философии Хайдеггера, что не обратил никакого внимания на то, что в том же самом номере журнала «Бифюр», где была напечатана его «Легенда об истине», появился первый французский перевод из Хайдеггера: отрывок все той же лекции «Что такое метафизика?» в переводе того же Корбэна и с предисловием

¹ См. об этом: *Launay Jean. Sartre lecteur de Heidegger // Les Temps Modernes*, 1990, N 531—533. P. 411—435.

Александра Койре. Точнее: он обратился к этому отрывку, но не понял в нем ни единого слова — время еще не пришло. В Берлине, куда он отправился в 1933 г. изучать современную немецкую философию, Хайдеггер его тоже не заинтересовал: купив экземпляр «Бытия и времени», он с трудом одолел пятьдесят страниц, настолько трудными и отталкивающими показались ему рассуждения немецкого философа. Симона де Бовуар, со своей стороны, свидетельствует: «Мы не усмотрели в нем никакого интереса, поскольку ничего в нем не поняли».¹ В «Дневнике странной войны» Сартр говорит о том что он вновь обратился к основной книге Хайдеггера весной 1939 г.: натиск истории становился все сильнее, и философ пытался поспеть за ходом своего времени, от которого он, несмотря ни на что, отставал.

Как уже говорилось, свободное от психологического детерминизма сознание Гуссерля кажется Сартру слишком созерцательным. Ему не терпится бросить сознание на завоевание мира, и в этом начинании он пытается усилить свою мысль онтологией Хайдеггера. Уже в работе «Набросок теории эмоций» (1938) он замечает, что, «по мнению Хайдеггера, понятия „мира" и „человеческой-реальности" („Dasein") неотъемлемы друг от друга». Сартр с энтузиазмом воспринимает центральную категорию «Бытия и времени» — понятие «Dasein» (букв. «тут-бытие»), но истолковывает ее в «Дневнике странной войны» и чуть позднее в трактате «Бытие и Ничто» на свой лад. В этом ему «помогает» Анри Корбэн, первый переводчик текстов Хайдеггера на французский язык. В своих переводах, увидевших свет к концу 30-х годов, он передает «Dasein» как «человеческая-реальность», что вполне устраивает Сартра, поскольку его больше интересует именно человек, а не бытие, но что в понимании философии Хайдеггера оборачивается «гениальным недоразумением», как за-

¹ Beauvoir Simone de. La force des choses. Paris: Gallimard. 1963. P. 93.

метил впоследствии Жан Ипполит, или «чудовищной нелепостью с неисчислимыми последствиями», как выразился позднее Жак Деррида. В самом деле, для Сартра «человеческая-реальность» определяется через Ничто, иначе говоря, через абсолютную Свободу, активную и свободную Негацию противостоящего человеку Бытия. Человек — это бытие, которое экзистирует, то есть выходит из себя (эк-стаз); в этом движении, отрицающем данности, человек достигает подлинности «для-себя-бытия», вырывая собственную сущность из косного «в-себе-бытия». По Сартру, и это основополагающая идея его философской позиции, человек — это бытие, «посредством которого ничто приходит к вещам».¹ По мысли Хайдеггера, напротив, ничто соотносится не с человеком, не с его негативной активностью, а со структурой его бытия в мире, то есть ничто предваряет человека и его деятельное отрицание. Это несовпадение позиций двух философов «в вопросе о Ничто» обуславливает их расхождение в понимании свободы. Для Сартра свобода есть не что иное, как неизбежное, хотя и совершенно случайное противостояние человека фактичности мира. «Мы являемся той свободой, что сама выбирает, но сами не выбираем быть свободными: мы приговорены к свободе или, как говорит Хайдеггер, «брошены». И очевидно, что эта брошенность источником своим имеет не что иное, как само существование свободы. То есть, если определять свободу как ускользание от данности, фактичности, то имеется и *факт* ускользания от факта. Это фактичность свободы».² Для Хайдеггера свобода определяется не столько случайностью и фактичностью, сколько совестью, как зовом заботы. Свобода не есть факт, не

¹ *Сартр Жан-Поль*. Бытие и Ничто / Пер. В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 59. В перевод В. И. Колядко при необходимости вносятся уточнения по исправленному и аннотированному изданию, подготовленному Арлеттой Элькаим-Сартр: *Sartre Jean-Paul. L'Être et le Néant*. Paris: Gallimard, 1995 (1943).

² Там же. С. 493.

есть факт ускользания от фактичности, она представляет собой зов и долг — долг быть самим собой, в подлинности. В «Бытии и времени» Хайдеггер, по существу, не поднимает проблемы свободы, точнее, свобода не является для него отдельной, самостоятельной проблемой. Речь о свободе заходит лишь в отношении характеристики «собственного бытия к смерти: «...заступание обнажает присутствию («Dasein» — С. Ф.) затерянность в ч е л о в е к о-самости и ставит его перед возможностью, без первичной опоры на озаботившуюся заботливостью, быть самим собой, но собой в страстной, отрешившейся от иллюзий л ю б е й, фактичной, в себе самой уверенной и ужасающей свободой к смерти».¹ Можно утверждать, что самое глубокое расхождение двух мыслителей обнаруживается именно в вопросе о смерти. Если Хайдеггер превращает «бытие-к-смерти» в сущностную («онтологическую») структуру «Dasein», то Сартр отказывается видеть в смерти определение человеческой реальности. В «Бытии и Ничто» он упрекает Хайдеггера за «гуманизацию смерти», за то, что смерть становится собственной возможностью «Dasein», интериоризируется. Для него смерть — это чистая внеположность, она оказывается «всегда возможным уничтожением моих возможностей, которое находится вне моих возможностей». Смерть не есть ничто, напротив, смерть, по мысли Сартра, уничтожает то ничто, которое составляет структуру экзистенции.

Как можно убедиться, самостоятельная философская позиция Сартра складывается в этих явных смысловых смещениях и смелых перетолкованиях, когда мысль другого воспринимается не иначе, как орудие, которое сразу же обращается против его создателя или кого-то третьего. «Философия Ничто» насквозь воинственна. Для самовыражения она нуждается в войне: только в схватке с мыслью другого обнаруживает свою

¹ Хайдеггер Мартин. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 266.

силу и сама становится сильнее. Важно и то, что в противники себе Сартр выбирает исключительно сильных мыслителей, с которыми борется, организуя собственную философию как воображаемое поле боя, где Бергсон противостоит современной университетской философии, против Бергсона выступает Гуссерль, на которого обрушивается Хайдеггер. Сартр черпает свою силу в этих воображаемых схватках, в ходе которых он стремится не столько усвоить мысль другого («переварить»), сколько изнурить, ослабить противника, выхватив, захватив у него то, что может самого его сделать сильнее, и безжалостно отбросить все то, что не отвечает смыслу его боя за собственную позицию. Жизнь идей в текстах Сартра — это азартная борьба одного против всех, причем исключения не составляет и его собственная мысль, которая тоже все время отчуждается, становится мыслью другого: «...Я был вынужден систематически мыслить наперекор самому себе, соизмеряя очевидность какой-нибудь идеи с тем неудовольствием, которое она мне причиняла».¹ Вместе с тем, эта борьба за идеи свидетельствует и о некоей несвободе мысли Сартра, словно бы ничто сознания ничего собой не представляет без мысли другого.

Тридцатые годы в философском становлении Сартра отмечены, если и не стремлением к сближению со своим временем, то, по меньшей мере, желанием найти соответствующий этому времени язык. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что эти поиски языка проходят в основном вне исторической реальности, в отдалении от нее, словно бы абсолютному сознанию для самосозидания насущно требовалась эта «нулевая степень» историчности. Ни вступление в профессиональную жизнь, ни военная служба в начале тридцатых годов, ни поездка в Берлин, где у власти уже

¹ *Сартр Жан-Поль. Слова / Пер. Ю. Яхниной и Л. Зониной. СПб.: Азбука, 2000. С. 290. В перевод внесены изменения. Ср.: Sartre Jean-Paul. Les mots. Paris: Gallimard, 1972. P. 210.*

находился Гитлер, ни «крики и шепоты», которые начинали доноситься из Советской России, ни события 6 февраля 1934 г. во Франции, когда правые силы заявили о своей готовности захватить власть в дряхлеющей Третьей республике, ни временное торжество Народного фронта по существу не затрагивают творческого становления Сартра: его довоенное сознание всецело в себе, внутри себя, от себя никоим образом не свободно; выход вовне стоит на повестке дня.

«ТОШНОТА» И ТОШНОТВОРНОСТЬ ДНЕВНИКА

В истории литературы есть множество примеров тому, что придуманные персонажи проживают ситуации, которые некогда были прожиты автором. Автобиографизм того или иного рода — вещь довольно обычная для литературы. Автобиографичны и многие романские персонажи Сартра. Чтобы убедиться в этом, достаточно вновь обратиться к «Словам»: «Конечно, я был Рокантенем». Гораздо менее банальным предстает такое положение дел, когда автор проживает ситуации, в которые он некогда ставил своих персонажей, ни сном ни духом не помышляя о возможности самому попасть в них. Сартр, отталкиваясь от собственного опыта неутомимого книгодея, создал образ Самоучки. Самоучка — это гуманист классического толка. Он всецело предан идее культуры и все свое время посвящает изучению высоких памятников человеческой мысли. Самоучка вобрал в себя все типы гуманизма — гуманизм радикального толка, который кичится своей преданностью сильным мира сего, и «левый» гуманизм, все симпатии которого отданы обездоленным, коммунистический гуманизм, который со времен второй пятилетки просто пылает любовью к людям и из-за этого неустанно карает их, и католический гуманизм, «младший в семье гуманистов», «ангельский гуманизм», который просто восхищается любой «самой

скромной жизнью».¹ Гуманизм бывает мрачным и веселым, он озабочен спасением или познанием людей, хотя сам себя не знает, не сознает; он любит людей что есть мочи, не замечая извращенного характера этой любви: в романе Сартра Самоучку изгоняют из библиотеки из-за его любви к мальчикам. В «Тошноте» Сартр ставит довольно нелюбимый для гуманистов диагноз: гуманизм — это латентный гомосексуализм. Самое забавное, что Самоучка приобщился к гуманизму в концентрационном лагере: «В конце 1917 года я попал в плен... В концентрационном лагере я научился верить в людей... Теснота... была такая, что я чуть не задохнулся, и вдруг меня захлестнула невероятная радость... я почувствовал, что люблю всех этих людей...».² Как это ни парадоксально, но приобщение Сартра к гуманизму тоже совершается в концентрационном лагере: попав в 1940 г. в плен, он, подобно своему персонажу, открывает там для себя прелести социализма, о которых неустанно будет писать на рубеже 40—50-х годов: «Тогда, если угодно, я совершил переход от довоенного индивидуализма и чистого индивида к социуму, социализму. Это настоящий поворот в моей жизни: до, после. „До“ мне пришлось написать произведения в духе „Тошноты“, где отношение к обществу оставалось метафизическим, „после“ я постепенно пришел к „Критике диалектического разума“».³ Но если повторение идеологической эволюции Самоучки в философском становлении Сартра можно, наверное, считать всего лишь забавной случайностью, то сходство Сартра с Рокантемом, точнее, сходжение (нисхождение) автора до ситуации, пережитой прежде его персонажем, представляется намного более значимым,

¹ *Sartre Jean-Paul. Тошнота* / Пер. Ю. Яхниной // Иностранная литература. 1989. № 7. С. 85.

² Там же. С. 83.

³ *Sartre Jean-Paul. Autoportrait à soixante-dix ans* // Sartre Jean-Paul. Situations, X. Paris: Gallimard, 1976. P. 180.

поскольку они сходятся не столько в отношении идей, абстрактных категорий, сколько в отношении формы выражения этих идей. Попав на войну, Сартр начинает вести дневник, хотя в «Тошноте» дневник был заклеен как недостойный творчества литературный жанр.

В романе дневник подвергается уничижительной критике. Роман развенчивает дневниковое письмо, вскрывает его слабые места. Написанный в дневниковой форме, роман Сартра заключает в себе рассуждение о методе дневника, опровержение этого метода и пародию на него. Роман открывается двумя внешними по отношению к собственно «Дневнику» Антуана Рокантена текстами. Первой идет заметка «От издателей», где сообщается, что нижеследующий дневник был обнаружен в бумагах Рокантена, который обосновался в Бувилле, чтобы завершить там исторические разыскания, посвященные авантюристу-путешественнику XVIII—XIX веков маркизу де Рольбону. Эта заметка задает определенный культурный код, согласно которому роман связывается с классическим романом эпохи Просвещения: такой прием использовался многими писателями того времени, для того чтобы придать тексту подобие достоверного повествования, поскольку заведомый вымысел не соответствовал рационалистическому настрою времени. Рокантен, работающий над книгой о маркизе де Рольбоне, благодаря механизму идентификации со своим персонажем обретает таким образом маску просветителя и авантюриста от исторической науки. Сам роман оказывается повествованием о невозможности истории как науки. Познание Тошноты, которому, собственно, посвящен «Дневник» Рокантена, окончательно отвращает его от истории: история трактует о том, что существовало, отсутствовало, тогда как через Тошноту Рокантен открывает свое собственное существование, которое не может найти оправдания ни в одном другом существовании. В этом отношении финальный отказ Рокан-

тена от замысла написать книгу о Рольбоне знаменует собой не что иное, как развенчание рационалистического «просвещенческого проекта». Персонаж Самоучки, смешного и жалкого человечка, убивающего свою жизнь на планомерное чтение классической литературы (в алфавитном порядке), — это уже злобная пародия на Просвещение.

Вслед за заметкой «От издателей» идет «Листок без даты», который относится к «Дневнику» Рокантена, хотя и отделен от него хронологическим разрывом: если сам «Дневник» начинается записью от 29 января 1932 г., то «Листок без даты» может быть датирован, как замечают «издатели», первыми числами января. Кроме того, в нем есть несколько лакун, неразборчивых слов и одна оборванная фраза, к которым даются подстрочные комментарии все тех же издателей. Эти комментарии вполне соответствуют заботе повествователя о достоверности текста и продолжают мотив пародии на рационализм, дополняя его выпадом против филологического позитивизма начала XX века, заглавной фигурой которого во Франции был знаменитый Гюстав Лансон.¹ Вместе с тем своей незавершенностью, обрывочностью «Листок без даты» соотносит роман Сартра с романтической традицией, с культом одинокого гения, кончающего свою жизнь в неизвестности, но обретающего спасение благодаря искусству, которое чудесным образом извлекает из небытия всеми забытого художника. В этом плане Рокантен — типичный романтик, страдаемый одиночеством, тоской, меланхолией, окруженный непониманием низких, нехудожественных натур, пускающий стрелы злой иронии во все, что встречается на его пути. «Ро-

¹ Подробнее см.: *Deguy Jacques. «La Nausee», ou La desastre de Lanson // Roman 20—50. 1988. N 5. P. 25—35.* — Любопытно, что Гюстав Лансон был директором Высшей Нормальной школы, когда в ней учился Сартр: сохранились две фотографии, на которых молодой Сартр загримирован под Лансона для студенческого сатирического представления.

мантический проект» также ставится Сартром под вопрос, хотя следует признать, что делает он это не столь решительно, как в отношении «просвещенческого проекта»: в «Тошноте» отрицается главным образом дневник как жанр романтической литературы.

В плане литературной традиции дневник соотносится с романтизмом, с напряженным поиском человеком самого себя. Прежде, в классический век, практика ежедневного письма связана с «книгой разумений», как некогда называли во Франции «семейный дневник», куда глава семьи для памяти заносил денежные отчеты и пережитые события. По словам Ж. Деррида, в таком тексте «каждая страница сама собой вплетается в единый текст истины, в Книгу... Разума»,¹ удостоверяемую естественным переживанием Божественного присутствия и каждодневным сообщением с Божественным писанием. Утрата этой достоверности входит в состав важнейших характеристик эпохального кризиса, пережитого европейской культурой на рубеже XVIII—XIX. Именно в эту бурную эпоху происходит то, что, вслед за М. Фуко, можно назвать «изобретением человека».² И важнейшим орудием этого изобретения является интимный, личный дневник, сам жанр которого определяется в оппозиции «семейному дневнику» и Божественному писанию и знаменует собой начало опыта самосотворения человека. Дневник — это литературное орудие гуманизма.

В психологическом плане дневник представляет собой не что иное, как фиксацию изменения, главным образом взросления человека, перехода его от инфантильности, которая, согласно латинской этимологии, связана с бессловесностью (французское слово *enfant* ведет свое происхождение от латинского *infans*: безмолвный, бессловесный), к самоопределению по-

¹ Деррида Жак. Письмо и различие / Пер. под ред. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000. С. 17.

² Фуко Мишель. Слова и вещи. СПб.: А-сad, 1994. С. 404.

средством слова. Это самоопределение связано либо с освобождением складывающейся личности от внеположных авторитетов (отцовской инстанции), либо, наоборот, с подчинением ее тем или иным идолам, по которым равняет себя человек. Иными словами, в психологическом плане дневниковое письмо соотносится либо с различием, когда человек не просто отличает себя от другого, но и начинает различать самого себя, либо с отождествлением, когда человек идентифицирует себя с другим, вводит образ самого себя в образцы для подражания. Эти две стратегии редко встречаются в чистом виде, редко существуют по отдельности. Гораздо чаще они обе включаются в единый процесс становления личности, смысл (направленность) которого обуславливается и саморазличием, и самоотождествлением: все дело в том, какая из стратегий берет верх.

В «Листке без даты» формулируется своего рода творческая задача главного персонажа, размеренная жизнь которого прерывается первым переживанием Тошноты: «Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути».¹ Вместе с тем Рокантен не упускает из виду и опасности такого метода: «Дневник, по-моему, тем и опасен: ты все время начеку, все преувеличиваешь и непрерывно насилуешь правду». «Листок без даты» заканчивается оборванной фразой, которая содержит в себе тайну дневникового жанра: «Вести дневник стоит только в одном случае — если...»² Эта незаконченная фраза, после которой и начинается «Дневник» Рокантена, образующий основной текст романа, предваряет романное повествование некоей пустотой, ставящей под сомнение сам жанр дневника. То есть, пытаясь ответить на метафизический вопрос, что же за Тошнота овладевает Рокантеном, читатель ищет ответ и на другой во-

¹ *Сартр Жан-Поль*. Тошнота. С. 5.

² Там же. С. 5, 7.

прос, затрагивающий статус текста, повествующего о Тошноте: в каком же случае следует вести дневник? Первоначальный ответ на последний вопрос можно обнаружить в том же самом «Листке без даты»: «Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новую тетрадь». Та же мысль повторяется чуть дальше: «...Довольно утаек, душевных переливов, неизъяснимого, я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания».¹ То есть вести дневник можно только в том случае, если ты девица или святоша. В ходе своих размышлений о Тошноте Рокантен осознает, что дневник — это не только особый жанр, род литературы, он понимает также, что дневниковое письмо — это письмо женского рода.² Вот почему итогом его переживания Тошноты оказывается замысел написать другую книгу: «Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования».³ Книга Рокантена не будет историческим трудом, который он пытался некогда сочинить, собирая материалы о маркизе де Рольбоне, не будет она и «Дневником», где говорит мягкая, притягательная, обволакивающая пустота женственности; это будет роман — «твердый как сталь», утверждающий мужественность.

Несмотря на вызывающе фаллоцентричный отказ от жанра дневника, который разоблачается как форма выражения женственности, Тошнота обретает форму именно в «дневнике». «Дневник» Рокантена — это тошнотворный дневник, поскольку в нем творится Тошнота. Эта необходимость дневника в осознании Тошноты ставит вопрос о природе, роде и поле преследующего Рокантена наваждения. В этом отношении не-

¹ Там же. С. 7, 11.

² Подробнее этот мотив см.: *Doubrovsky Serge. Autobiographique: de Corneille à Sartre*. Paris: PUF, 1988. P. 95—122.

³ *Sartre Жан-Поль*. Тошнота. С. 127.

бесполезно будет вспомнить, что авторское название романа вовсе не «Тошнота», а «Меланхолия»: у текста была сложная издательская судьба, и он был принят к печати лишь после того, как Сартр согласился изменить название и изъял из рукописи некоторые слишком натуралистические описания, которые могли бы навлечь на него обвинения в оскорблении нравов.¹ Заглавие «Меланхолия» отсылало к известной гравюре Дюрера: на ней среди разбросанных в беспорядке орудий алхимии, астрологии, науки изображен грустный и задумчивый ангел, взор которого устремлен на простирающееся за окном озеро. Это отсылка к тому же классическому гуманизму, тщете науки и недостижимому романтическому идеалу красоты. Вместе с тем мотив «Меланхолии», хотел того Сартр или нет, отсылает к собственно меланхолии: классическому психическому заболеванию эпохи изобретения «человека».² Меланхолия — это патология какой-то определенной идеи, страха, ужаса. Меланхолика мучает наваждение, что он превращается в нечто отличное от себя, он бежит человеческого общества, замыкается в себе, точнее его существование переходит в план «бытия-для-себя», если воспользоваться позднейшей терминологией Сартра. В этой связи можно утверждать вслед за Сержем Дубровски, что Рокантена мучает страх ревоплощения в женщину, страх феминизации мужского тела и вагинизации фаллоцентричной мысли. Наиболее характерной в этом отношении является знаменитая сцена в городском парке перед каштановыми деревьями, когда Рокантен находит ключ к своей Тошноте: если дерево предстает в этой сцене (на)стоящим фаллосом (оно «жесткое», «плотное», «узловатое»), то

¹ См. об этом: *Конта Мишель*. Рукопись, первое издание, «каноническое» издание, осуществленное с согласия автора — чему же верить? («Тошнота» Сартра) // Генетическая критика во Франции. М.: ОГИ, 1999. С. 275—281.

² См. об этом: *Фуко Мишель*. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 268—274.

сам Рокантен «размягчается», «уступает», «поддается существованию». Тошнота овладевает им. Его страх, отвращение и омерзение сливаются в ужас изнасилованного Существованием фаллоцентризма.

В «Тошноте» дневник отвергается Сартром именно за гинекократичность этой литературной формы. Это не случайность, поскольку личный дневник как литературный жанр связан не только с развитием романтизма и «изобретением» в нем человека, но и с развитием феминизма и, так сказать, «изобретением женщины». В самом деле, среди памятников дневниковой прозы выделяются не только «Дневник поэта» Альфреда де Виньи или «Личный дневник» Бенжамена Констана, но и «История моей жизни» Жорж Санд. Интимный женский (или девичий) дневник, как показано в работе Ф. Лежёна,¹ становится важнейшим инструментом социализации женщины; жанр автопортрета, к которому тяготеет женская дневниковая проза, выражает не только известную пассивность, созерцательность женской позиции в классическом буржуазном обществе, но и стремление женщины к самоосознанию. Дневник предоставляет возможность самосозидания, которое происходит как путем углубления женщины в себя, овладения своими внутренними ресурсами, так и путем расширения (порой поправки, пусть даже воображаемого) идеологических, религиозных, социальных, психологических рамок, в которых замыкалась женская природа.

Несколько истеричный в своем фаллоцентризме финал «Дневника» Рокантена (и всего романа Сартра) отвечает как угрожающей, стерилизующей пустоте дневникового письма, как оно понимается молодым Сартром, так и логоцентризму всей его мысли. Несмотря на то, что в «Тошноте» Сартр переиначивает основную формулу картезианства, предложив вместо «я мыслю, следовательно я есмь» «я есмь, следовательно

¹ *Lejeune Philippe. Le moi des demoiselles. Paris: Seuil, 1993.*

я мыслю» (позднее эта формула получит известность в изначальном постулате экзистенциализма «существование предшествует сущности»), его мысль всецело остается в лоне когито. Главный мотив его мысли будет совершенно иной, прямо противоположный, возвращающий мысль к когито: не «я есмь, следовательно я мыслю», а «я пишу, следовательно я существую». Письмо утверждает Сартра в собственном существовании, оказывается не только инструментом философского или литературного поиска, но и средством экзистенциального самоутверждения, более того, как можно будет увидеть дальше, в иных случаях письмо подменяет собой жизнь.

В онтологическом плане, точнее, в плане возможностей существования литературы, дневник таит в себе метафизическую ловушку. Сравнивая характер письма в рассказе (романе) и дневнике, Морис Бланшо утверждает: «Интерес дневника заключен в его ничтожности. Это его стезя, его закон. Писать каждый день, под ручательство этого дня и ради того, чтобы его вернуть к нему же, — значит иметь в своем распоряжении удобный способ избежать безмолвия, равно как и крайностей речи. Каждый день нам что-то говорит. Каждый записанный день — это день сохраненный. К двойной выгоде. Ведь тогда живешь дважды. Ведь тогда предохраняешь себя от забвения и отчаяния, что тебе нечего сказать».¹ Даже самая ничтожная жизнь благодаря дневнику обретает смысл; вместе с тем дневник грозит свести к ничтожности любую жизнь: когда жизнь пуста, дневник ее наполняет, но когда жизнь заполнена — творчеством или любовью, — дневник может ее опустошить, обесплодить. Дневник призван спасти от забвения проходящий день, но это спасение вверяется такому письму, которое только удаляет день истинного творения. Дневник может содержать в себе зерна будущих произведений,

¹ *Blanchot Maurice. Le livre à venir. Paris: Gallimard, 1959. P. 254.*

но если он захватывает писателя целиком и полностью, эти зерна так и не дают всходов, а произведения навсегда остаются грядущими.

О ЦЕНТРЕ

В рассмотрении «жизни ради идеи», а таковой была жизнь Сартра, важно не столько доказать или опровергнуть истинность исповедуемых мыслителем идей, сколько обнаружить некие «центры», в которых эти идеи вызревали. Таких «центров» может быть несколько, одни из них могут быть более значительными, другие — менее. Определяя их, очерчивая фигуры и конфигурации мысли и существования, которые вокруг них складываются, выделяя точки соприкосновения или моменты расхождения этих сложных конфигураций, которые никогда не совпадают с уже известными фигурами, можно наметить линии и отношения, составляющие единство и целостность того, что называют биографией мысли и что по существу представляет собой становление-мыслителем. В этом становлении есть, разумеется, точка отправления, она имеет свое значение, но динамика пути к ней вовсе не сводится. Она задает движущие силы становления или, наоборот, стопорит его. Движущие силы укрепляются или ослабляются, словом, усложняются мотивами, которые в общем исходят извне, но проникают вовнутрь становления, вводят в него новые направления, определяют скорости, замедления, ускорения, остановки. «Центры» становления-мыслителем образуются там, где внутренние движущие силы пересекаются с внешними мотивами, где внутреннее под действием внешнего обнаруживается, а внешнее овнутряется, осваивается или, наоборот, отбрасывается как чуждое.

В творческом становлении Сартра есть один центр, объясняющий или определяющий всю динамику его мысли. Хронологически этот центр приходится на годы

второй мировой войны (1939—1945). В 1975 г., когда философ почти полностью ослеп, не мог ни читать, ни писать, он так говорил о значении этого периода в своей творческой жизни: «В самом деле, война разделила мою жизнь надвое. Она началась, когда мне было тридцать четыре года, а закончилась, когда мне было уже сорок, и это в самом деле был переход от юности к зрелости. В то же время война открыла мне некоторые аспекты моего я и мира...».¹ Тематически этот период включает в себе момент перехода от последовательного индивидуализма, связанного с «социальной слепотой», с невниманием молодого философа к проблемам исторического существования, к тому, что можно обозначить как «исторический экзистенциализм», имея в виду оппозицию послевоенной философской доктрины Сартра как онтологии Мартина Хайдеггера, так и историческому материализму ортодоксального марксизма.

Текстологически динамика этого перехода зафиксирована в «военных» текстах Сартра. Это прежде всего философский трактат «Бытие и Ничто» (1943), первые два тома романного цикла «Дороги свободы» (1945), пьесы «Мухи» (1943 — год постановки), «Заперти» (1944 — год постановки), сборник литературоведческих и философских этюдов «Ситуации, I» (1947). Нет никакого сомнения, что центральное место среди этих текстов занимают «Дневники странной войны», которые Сартр вел с сентября 1939 г., когда был мобилизован во французскую армию, по июнь 1940 г., когда попал в немецкий плен. Впервые «Дневники» были опубликованы в 1983 г. одновременно с двухтомником писем Сартра к Симоне де Бовуар и его черновыми «Тетрадами к морали». Эти посмертные публикации вызвали огромный читательский интерес; многие критики заговорили о чудесном «воскресении» Сартра: на-

¹ *Sartre Jean-Paul. Autoportrait à soixante-dix ans // Jean-Paul Sartre. Situations, X. P. 180.*

столько необычным представал образ писателя и философа в этих литературных документах. «Дневники» были опубликованы не полностью: из пятнадцати тетрадей, заполненных Сартром с сентября 1939 г. по июнь 1940 г., в распоряжении правопреемницы было только пять, остальные считались безвозвратно утраченными. Однако в 1991 г. «всплыла» самая первая тетрадь, содержащая записи с 14 сентября по 24 октября 1939 г.: она находилась в собрании одного коллекционера. Новое издание «Дневников» увидело свет в 1995 г.

Центральное положение «Дневников» в творческой биографии Сартра определяется несколькими факторами. Во-первых, в отношении вышеназванных текстов, а также в отношении блестящей автобиографии Сартра «Слова» (1964), они представляют собой то, что в генетической критике называют «авантекстом», поскольку в них действительно сосредоточены замыслы, наброски, варианты, поясняющие мотивы рождения и становления идей философа, выраженных в книгах, опубликованных в военные и первые послевоенные годы. В этом плане «Дневники» заключают в себе важнейший источник интертекстуального анализа опубликованных в это время произведений: они помогают определить более устойчивые смысловые отношения как между текстами, созданными в различных жанровых режимах, так и между всей совокупностью текстов и авторской инстанцией.

Во-вторых, представляя собой почти что в чистом виде такой род письма, который избегает предустановленных планов и жестких направлений или ограничений, «Дневники» обнаруживают собственно механику писательской работы, функционирование которой не скрывается никакими внешними по отношению к письму соображениями: это не диссертация, в которой необходимо убеждать воображаемых оппонентов, не драма и не роман, которые строятся согласно определенным или определяемым жанровым канонам, не

предназначенная к немедленной печати литературоведческая статья, представляющая законченное прочтение того или иного произведения. «Дневники» Сартра — это настоящий исследовательский центр, где мысль освобождена от решения каких-то внеположных задач, где она обращена главным образом на самое себя. Вместе с тем они принципиально отличны, например от дневников А. Жида или Ж. Грина — это «дневники-для-себя», притом что категория «для-себя» включает как автора, так и письмо. Читатель, Другой, по существу, не принимается в них во внимание. Исключения составляют женщины — любимые Сартром или влюбленные в него, но женщины по существу своему не входят в инстанцию Другого, как она определяется Сартром; наоборот: искус женственности входит в интимную структуру «бытия-для-себя» автора «Дневников».

В-третьих, центральное положение «Дневников» обусловлено тем, что в них обнаруживаются скрытые и скрываемые обычно физические и психические движущие силы письма, они предстают своего рода «секстекстом» или «эрототекстом». Иными словами, «Дневники» обнаруживают такое измерение письма Сартра, которое С. Дубровски называет «секстуальность»: ¹ совокупление собственно текстуальной, письменной практики с функционированием авторской сексуальности, некий подвижный план, где происходит взаимовосполнение в высшей степени сознательной мыслительной и письменной деятельности автора с не всегда осознаваемыми импульсами его сексуальной организации. Коль скоро одно из значений слова «*kentron*» относится к мужскому половому органу, то можно представить себе «центр» и как сексуальное средоточие интеллектуальной работы, тем более, что словарь подсказывает, что «*kentron*» — это еще и побудительное начало,

¹ *Doubrovsky Serge. Autobiographiques: de Corneille à Sartre. P. 97.*

страсть. Подобно тому, как Еврипид говорит о Федре, уязвленной побуждениями («kentron») самой ненавистной из богинь (Афродиты), «Дневники» Сартра говорят об эротическом центре его философии, но говорят также, что этот эротизм напрямую соотносится с категорией «бытия-для-себя»: мало то о, что структура последнего определяется женственностью, она отличается к тому же известного рода самодостаточностью, которая в сексуальном плане обнаруживает себя в пружине самоудовлетворения. Но речь идет не столько об инфантильном и банальном рукоблудии, сколько об особых отношениях блуда как такового с работой воображения и пишущей руки: письмо в этом плане выступает как средство самоудовлетворения, как поиск наслаждения, в котором субъекту письма в силу ряда обстоятельств отказано в жизни.

Центральное положение «Дневников» можно подтвердить несколькими самохарактеристиками философа. Первая из них уже приводилась: «Война разделила мою жизнь надвое». Это высказывание дает основания думать, что в годы войны совершается решительный поворот в философском становлении Сартра. Существо поворота, однако, не исчерпывается переходом от индивидуализма к социализму, точнее, эти абстрактные категории явно не объясняют собственно философского переворота в мысли Сартра. Второе важное для нас самоопределение философа находится в его письме к Симоне де Бовуар от 15 января 1940 года: «Сегодня я как раз писал в дневнике, что философия, которую я разрабатываю, для других должна быть чуть волнительнее, потому что в ней есть свой интерес. В моей жизни она играет определенную роль, а именно: защищает меня от меланхолий, мрачных настроений и горестей войны, кроме того, сейчас я не пытаюсь ни оправдать задним числом свою жизнь через свою философию, что было бы мерзостью, ни подстроить свою жизнь под свою философию, что было бы педантизмом, тут в действительности жизнь и философия

составляют одно целое... Что ничуть не мешает тому, что для „просвещенной публики“ найдется немало занудных пассажей. Вместе с тем в ней начинают вырисовываться один или два пассажа пикантных: один о дырах вообще, а другой об анусе и любви по-итальянски...».¹ В этом фрагменте речь идет об одной из первых формулировок, относящихся к замыслу философского трактата, который впоследствии получит название «Бытие и Ничто». Очевидно, что, приступая к разработке новой философской концепции, Сартр испытывает необходимость переосмысления связи философии и жизни. Философия, которую он задумывает с самого начала призвана быть философией жизни. Это свидетельствует о следующем: во-первых, предыдущая (довоенная) философия не годилась для подобной роли; во-вторых, в изменении роли философии сыграла решающую роль война и, в-третьих, искомое единство философии и жизни было обусловлено вмешательством в философское становление внешнего, в общем, мотива, феномена войны. Сартр ищет единства философии и жизни. Очевидно, что в виду имеется в основном жизнь конкретного индивида, оказавшегося в исключительных обстоятельствах, Сартра-человека и Сартра-философа в его бытии-на-войне. Следы этих поисков также находятся в «Дневниках». Наконец, третья мысль Сартра, которая в парадоксальной форме указывает на особенное положение философа на войне: «Никогда еще мы не были так свободны, как во время немецкой оккупации».² Этот парадокс, который обстоятельно разъясняется в статье «Республика безмолвия», явственно перекликается с предыдущим самоопределением философа: философия человеческой свободы, которую Сартр разрабатывал в военные годы

¹ *Sartre Jean-Paul. Lettres au Castor et à quelques autres. T. 2. Paris: Gallimard, 1983. P. 38—39.*

² *Sartre Jean-Paul. La republique du silence // Sartre Jean-Paul. Situation, III. Paris: Gallimard, 1949. P. 13.*

сначала в «Дневнике», а затем в трактате «Бытие и Ничто», неотъемлема от ситуации войны. Вместе с тем эту мысль можно соотнести и с первым высказыванием: тогда выходит, что довоенная, как и послевоенная философия Сартра связана с некоей несвободой. И если довоенная несвобода определялась, как можно предположить, метафизическим индивидуализмом, сосредоточенностью философа исключительно на себе, то очевидно, что послевоенная мысль Сартра утрачивает небывалую свободу, предоставленную немецкой оккупацией, подчинившись стратегии перехода от бытия-для-себя к бытию-для-другого, метафизическому социализму или, что в общем одно и то же, историческому экзистенциализму.

«Дневники» Сартра неотъемлемы от двухтомного собрания его «Писем к Бобру и некоторым другим», поскольку основной корпус этой переписки относится как раз к тому периоду, когда Сартр вел дневник. Письма к Симоне де Бовуар и другим корреспондентам или корреспонденткам (по большей части), написанные Сартром с сентября 1939 г. по июнь 1940 г., представляют собой своего рода «паратекст» «Дневников»: часто и в том и в другом текстах описываются одни и те же события, время от времени Сартр переписывает в дневнике отрывки отправленных или полученных писем, порой пересказывает в письмах длинные метафизические упражнения, которым предается в дневнике. Иначе говоря, один текст словно бы нуждается в другом, испытывает потребность в небольших смысловых смещениях, которые происходят, когда один текст перетекает в другой. И если собственно в «Дневниках» Сартр, как уже говорилось, почти не принимает во внимание Другого, то в письмах он играет своей мыслью, подстраивает ее под восприятие Женщины: подобно тому, как он не мыслит философский трактат без «затрудненных пассажей» на радость просвещенной публике (очевидно, имеется в виду университетская философия), письмо к женщине диктуется стратегией (само)-

обольщения, которая вторгается в философское рассуждение, затрагивает его чувственностью, аффективностью, сексуальностью.

Я ПИШУ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО Я СУЩЕСТВУЮ

С первых страниц дневника Сартр пытается определить тип своего поведения на войне; наиболее подходящей представляется ему позиция стойка, то есть героическое принятие своего положения. Героизм всепринятия призван стать основным звеном в механизме психологической защиты, потребность в которой начинает испытывать Сартр из-за утраты прежнего жизненного положения, с которым он мирился, хотя оно его и не устраивало — главным образом из-за запутавшихся чувственных связей. Вместе с тем с самого начала дневника дает о себе знать и принцип самоиронии, некоего раздвоения философа. Позиция стоического героизма снижается уже в названии этого раздела: «Злоключения одного стойка». Самоирония помогает Сартру сблизиться со своим окружением — мужчинами его возраста и старше, но совершенно иного круга. В дивизионном метеоотделении вместе с философом несут службу рядовой Петер, парижский негоциант, капрал Поль, провинциальный лицейский преподаватель, и старший сержант Ноден, деревенский задира и любитель крепкого словца. Задача, которую ставит перед собой Сартр, довольно противоречива: он хочет во что бы то ни стало быть подлинным в отношении себя, но это стремление оборачивается отдалением от окружающих его солдат. Он отдаляется от них и через дневник, который мыслится как орудие достижения подлинности. Таким образом, если социалист Поль сетует и причитает с первых дней войны, то философ Сартр по существу делает то же самое, но не в обществе солдат, а на страницах своего дневника, однако сетует он не столько на бестолковость странной войны, сколько

на самого себя, пытаясь определить свое место в отношении этого исторического события, наступление которого он проморгал в 30-е годы и которое достигло его, обрушив на него историчность и заставив его взглянуть на себя с точки зрения истории. Война заставляет Сартра писать автобиографию, при этом задачей автобиографии является не только воссоздание процесса формирования его я, но и — самое главное — определение смысла отношений этого «я» с другими — семьей, друзьями, женщинами.

Война, которую проживает Сартр, была, по существу, его войной. Он отвергал ее, страшился, не хотел принимать ее в расчет, однако она была на горизонте его существования в 20—30-е годы. В сущности, он отвергал возможность войны в точности так, как отвергал возможность собственной смерти, свое бытие-для-умирания. Его довоенное бытие-к-смерти, равно как и бытие-к-войне, страдали неподлинностью. Однако эту неподлинность невозможно объяснить только психологическими причинами. Сартр отвергал возможность войны, как и большинство французов. Вся Франция, за немногими исключениями, проживала в 20—30-е годы неподлинное бытие-для-войны. Анализ французского общественного сознания, который Сартр предпринимает в дневнике, показывает, что Франция готовила себя к поражению в грядущей войне: «Сегодня никакое поражение не в состоянии привести в разброд наши умы: мы мобилизованы *также* и на то, чтобы помыслить самые страшные поражения. С 18 по 39 год поливали грязью всех участников Большой Войны: поливали грязью командование, поливали грязью тыл, поливали грязью инициаторов мира, даже солдат поливали грязью. Так было еще полгода назад — еще три месяца назад». Мало того, что Франция была мобилизована для поражения, она утратила ценности, ради которых стоило бы воевать: «*И ради чего мы сражаемся? Чтобы защитить демократию? Но ее больше нет. Чтобы сохранить довоенное положение вещей? Но*

ведь это был самый полный развал. Не было больше ни партий, ни связных идеологий. Повсюду общественное недовольство». Странная война была не войной ради чего бы то ни было, а войной против самой возможности войны, войной тем более абсурдной, что она, настоящая война, уже шла полным ходом. Именно абсурд войны толкает Сартра к самоанализу, который помогает ему обнаружить абсурдность своего довоенного существования.

Но война мало-помалу исчезает со страниц дневника, уступая место детальному, хотя и отрывочному автопортрету философа на фоне этой странной войны, которая никого из окружающих Сартра солдат и офицеров не трогает. Сартр на страницах дневника осмысляет не столько феномен войны, сколько свое бытие на войне, пытается постичь то изменение, которое внесла в его существование война. Война изменяет мир вещей, но главное в том, что она изменяет восприятие людьми мира вещей, вещи мирного времени становятся орудиями разрушения мира. По мысли Сартра, человек на войне тоже овеществляется, поскольку становится орудием разрушения других людей или вещей противника. Это овеществление человека на войне выражается прежде всего в изменении мировосприятия: «Война не только составляет предмет моих размышлений, но и образует их ткань. *Через то, что я воспринимаю, — этот стол или эту трубку — я мыслю войну; способ, при помощи которого я мыслю и воспринимаю этот стол и эту трубку, является «военным» — в конечном итоге способ, которым этот стол и эта трубка даны мне, является военным*» (27 сентября). Однако меняется не только мировосприятие, меняется способ, манера существования человека. Мало того что война овеществляет человека, она его обезличивает, из индивида она делает типа: «Голое и спокойное осознание самого себя. Как если бы все мои мысли, все мои чувства развивались на основе первичного безличия: *безличие ситуации* (это общее для всех бытие-на-войне),

положения (кто-угодно, где-угодно), взаимозаменяемость обязанностей (за два часа кто угодно может стать солдатом метеоотделения), обобществление собственности (моя одежда, и т. д.). В то же время эта первичная враждебность мирных времен, эта ирония, которую чувствуешь в общении между людьми (Селин: кому не хотелось убить стоящего впереди в очереди за билетом в метро?) здесь полностью исчезла. Приятное безличие» (28 сентября). Подобно своему персонажу Самоучке, благодаря войне Сартр открывает для себя социализм: современная война — это социализм, где по определению нет места индивидуалистическому или аристократическому героизму. Именно открытие социалистического характера войны заставляет Сартра усомниться в оправданности собственной стоической позиции. Читая дневник Жида, Сартр приходит к более глубокой формуле войны: война — не холера, не заразное заболевание, не случайное зло, в ответе за которое злой умысел отдельных людей, война — тем более не бедствие, ниспосланное Господом в наказание людям, война — дело рук человеческих, посему подходить к ней надо с человеческими, а не с культурными мерками (стоицизм): «Следует видеть в ней не зло, которое кто-то мне причиняет, но зло которое во мне сидит. Война — это я. Это мое-бытие-в-мире, это мир-для-меня. Это мое бытие-для-смерти, для-любви и т. п.» (6 октября). Можно согласиться с А. Элькаим-Сартр, которая усматривает в этом опыте отождествления философа с войной попытку подготовить себя к абсурду войны, чтобы он не захватил его так, как захватил психологический кризис 1935-го, когда Сартр, работая над проблематикой воображения, в целях наблюдения за механизмом порождения образов подверг свое сознание воздействию мескалина: тогда ему казалось, что он начинает сходить с ума. Однако вскоре стратегия отождествления себя с войной уступает место иной экзистенциальной детерминации. Тип существования «война — это я», который предполагает

полное забвение прошлого бытия, сменяется более гибкой формой «бытия-для-войны», в последней формуле доминантой выступает уже не отрицание (прошлого), а изменение своего (настоящего) бытия.

Социалистический характер войны принуждает Сартра к введению в психологическую направленность своего существования совершенно нового для него измерения, по существу, новой возможности — «расчета на других». Социализм войны обнаруживает неоправданность стоической позиции: стоицизм — позиция сугубо индивидуальная. Вот почему философ испытывает потребность рассмотреть более глубокий пласт своей личности — «Метафизический оптимизм».

«Метафизический оптимизм» Сартра представляет собой сложный комплекс психологических и экзистенциальных установок, в основе которых лежат три усвоенные им с молодых ногтей идеи: идея о великом человеке, которым он призван стать и которая формируется благодаря неумолимому чтению биографий «великих людей»; идея судьбы, некоей предначертанности его жизненного пути, связанного с самого детства с литературным призванием; идея неуклонного самопрогресса, самосовершенствования, предполагающая некое начало, которое, по существу, не имеет большого значения, и некий конец, точнее, конец вполне определенный — славный. В этом «метафизическом оптимизме» — ключ к пониманию личности Сартра. Важно, однако, представлять себе, что речь идет не о врожденном оптимизме благополучного существования, а о благоприобретенном культурном комплексе, механизме психологической защиты, бесперебойная работа которого призвана восполнить сбои более глубоких психических процессов. Комплекс «великого человека» диктует бытовое поведение Сартра на войне: «Будучи скорее нечистоплотным в быту, с начала мобилизации я тщательно умываюсь, бреюсь, чищу зубы. Чтобы быть похожим на Стендаля, который ежедневно брился во время отступления в Рос-

сии. Доброй воли мне не занимать, но она все время украдкой выискивает себе образцы для подражания» (18 сентября).

«Метафизическая гордыня» Сартра представляет собой если и не опору, то по меньшей мере постоянный горизонт его «метафизического оптимизма». Но гордыня эта не имеет ничего общего с гордостью человека за отдельные свои качества — ум, красоту, мужественность — или отдельные свои поступки. Это гордыня абсолютного сознания, гордыня Когито. Именно постоянное чувство Когито защищает Сартра от отчаяния или униженности: «Эта гордыня есть не что иное, как гордыня абсолютного сознания перед лицом мира» (15 октября). Вместе с тем эта метафизическая гордыня входит как одна из основных составляющих в сартровскую концепцию свободы. Его теория свободы в этом отношении есть не что иное, как способ ухода от себя самого, в любой момент. Сартр безжалостно расстаётся с самим собой вчерашним, преследуя одну-единственную цель — быть все время абсолютным сознанием.

Чувство бессмертия также входит в комплекс «метафизического оптимизма»: даже на войне переживание смерти, несмотря на знакомство с идеями Хайдеггера о «бытии-к-смерти», не входит в мироощущение писателя. Тема смерти неоднократно поднимается на страницах «Дневника», но Сартр все время уходит от ее решения, списывая свое невнимание, в частности, на то, что поскольку смерть не проживается (10 октября), то не представляет собой темы сознания: «Мы знаем лишь смерть другого, вследствие чего наша смерть является объектом верования». Более того, смерть «на странной войне» представляется ему столь абстрактным и далеким феноменом, что свою жизнь, план своей жизни он строит так, что смерть, равно как и рождение, не играют в ней никакой роли: жизнь писателя начинается с того момента, когда он начинает ощущать себя писателем, а оканчивается тогда, когда

он перестает писать, причем это окончание письма совсем не обязательно связано с окончанием жизни.

На странной войне, проживаемой Сартром, смерть представляется столь абстрактным, далеким феноменом, что философ даже отказывается от мысли написать «Размышления о смерти», который думал было предложить в журнал Жана Полана. Вместе с тем в набросках к этим размышлениям возникает танатологическая формула, которая найдет развитие в трактате «Бытие и Ничто»: «Смерть не относится к моим возможностям — это идущее извне уничтожение всех моих возможностей, включая и те, которыми я уже был. Это уничтожение происходит постоянно, это глубинная пустота в самом сердце всех моих возможностей, присутствие внеположности в самом нутре моего «я». Оно — это «не-я» во мне или, если угодно, проекция в сердцевине моего «я» моей захваченности миром. Оно играет нами, если не принять против него мер предосторожности. Эта предосторожность заключается в том, чтобы определять себя в каждое мгновение так, чтобы, если наша жизнь на этом остановится, она тем не менее составила одно целое с концом. Очевидно, что речь идет здесь об экзистенциальной детерминации» (23 сентября). Сартр защищает себя от смертной тревоги, тоски своим «метафизическим оптимизмом», верой в предначертанность своего пути, в конце которого маячит столь желанная для него фигура «великого человека», которым ему предстоит стать: «И как-то магически это вселяет в меня уверенность в том, что я не умру до завершения путешествия. Противовесом такого постоянного напряжения является во мне идея Судьбы. Фраза Бельсора — идиотская и мерзкая — очень сильно меня задела в свое время (мне было тогда восемнадцать): „Вы когда-нибудь видели, что знаменитый полководец умирает, не выиграв всех своих сражений?“. Здесь ключ моего оптимизма. По дневнику Даби, напротив, кажется, что тот созрел и даже перезрел для смерти. Он падает, того и гляди упа-

дет, махнул на все рукой, смерти только руку протянуть, чтобы его достать. Можно сказать, что он умер из-за того, что не очень-то хотел не умирать. У меня всегда было ощущение, что люди умирают по небрежности, рассеянности или дряхлости, что ты свободен против смерти (а не для смерти, как говорит Хайдеггер)» (26 сентября).

Постепенно, по мере погружения в самого себя и мертвую зыбь странной войны, позиция «метафизического оптимизма» также подвергается радикальному сомнению. Сартр осознает, что она является оборонной, тогда как его темпераменту соответствует скорее наступательная позиция. Философ оказывается перед необычной для него дилеммой: либо рвать с прошлым и быть подлинным, к чему располагает война, либо сохранить свое прошлое, предаваясь «метафизическому оптимизму». Он склоняется, скорее, ко второму решению, и дневник, по-видимому, представляется ему важнейшим орудием дальнейшего самосозидания: «Подлинность может быть достигнута лишь в отчаянии». Дневник — это лекарство от отчаяния и инструмент, при помощи которого Сартр постоянно держит сознание начеку. Вместе с тем дневник — искус неподлинности, возможность выйти из ситуации-на-войне посредством письма. Эта дилемма постоянно присутствует на горизонте военного существования Сартра.

Временами дневник становится опасен: когда вдруг Сартр убеждается, что его повседневное существование и в самом деле является никчемным. Не отрицая по существу этой никчемности, дневник придает писателю значимости. Но стоит Сартру лицом к лицу столкнуться с собственной никчемностью на войне (когда капитан Мюнье, ознакомившись с работой метеорологов, называет их потерянными для армии людьми), дневник вызывает в нем отвращение: «...как изливания какого-нибудь пьяницы» (19 октября). Утешением остается роман: вот оно, великое творение, которое все равно оправдывает бытие писателя на войне. Роман

представляется ему настолько важным делом, что, размышляя о (чисто гипотетической — из-за состояния его здоровья) возможности попроситься на передовую, Сартр сознает, что не может отдать предпочтение жизни (или в данном случае — смерти) перед романом.

Ведя дневник, Сартр испытывает потребность сопоставить свою психологию с психологией писателей-авторов дневников: ему не дает покоя мысль о том, что дневник может вытеснить творчество. Он читает дневники Андре Жида, Эжена Даби, размышляет о дневниках Жюля Ренара и мемуарной прозе Ларошфуко: в традиционной дневниковой прозе его не устраивает именно погруженность автора дневника в собственный внутренний мир, эта погруженность всегда чревата самолюбованием, комплексом Нарцисса.

Психологии нарциссизма он противопоставляет психологию свободы, по существу все той же «метафизической гордыни», которая помогает ему свысока смотреть на всякого рода самокопание. Гордыня есть не что иное, как другое наименование оптимизма, правда, в сопоставлении психологии нарциссизма и психологии гордыни (22 сентября) возникает важный мотив будущей философии экзистенциализма: идея об отсутствии человеческой природы. Согласно философии свободы, человек — существо внешнее, он строит себя не путем накопления жизненного опыта, а путем его отрицания.

Дневник, таким образом, приобретает еще более сложную задачу: он становится инструментом отрицания прошлого и одновременно орудием конструирования новой личности.

Свое бытие на войне Сартр осмысляет путем интроспективного рассмотрения собственного отношения к первой мировой войне. В этом анализе он делает важное замечание: война в его сознании связывалась с определенным рода несвободой. Эта несвобода была обусловлена в первую очередь факторами психологи-

ческого плана: если многих юных французов 1914—1918 годов война лишила отцов и тем самым предоставила известного рода свободу, возможность независимого взросления, которая, в общем, делала для них войну приемлемой, то Сартр обязан войне появлением в его жизни Отца, отчима, словом, отцовской инстанции, освобождение от которой представляло собой едва ли не главную задачу его взросления. Война в мысли молодого Сартра — это мир взрослости и дух серьезности, от которых он бежит в 20—30-е годы что есть сил. Более того, появление Отца лишает его Матери: если прежде отношения с Анн-Мари представляли собой чуть ли не инцестную идиллию, то теперь она оказывается с другим мужчиной; потеря эта тем более невозполнимая, что сам он в своей мужественности убежден не до конца. Война определяет непримиримый негативизм Сартра не только в отношении отцовской инстанции, но и в отношении общественных представлений о войне. В его мысли война — это мир отцовских (общественных, официальных) ценностей, в противостоянии которому складывается его мировоззренческая позиция. В 30-е годы Сартр — не пацифист, не антимилитарист, поскольку не борется за мир, он сугубо аполитичен. Аполитичность Сартра непосредственно связана со своего рода асексуальностью — недостатком мужественности, с неизжитой вплоть до войны, если и не женственностью, то неопределенностью его сексуальной природы: «Полагаю, что это идет из детства. В детстве я был окружен женщинами; моя бабушка и мама много занимались мной; кроме того, я рос в окружении девочек. Так что это была, если хотите, моя естественная среда; я всегда думал, что во мне есть нечто от женщины».¹

В начале октября Сартр задается вопросом о функции дневника и его соотношении с подлинностью. Письмо, в особенности письмо литературное, чревато

¹ *Sartre Jean-Paul. Situations, X. P. 116.*

неискренностью. Дневник предназначен в общем ухватить какую-то интимную сторону писателя. Однако здесь кроется опасность нарциссизма. Тогда Сартр делает важное признание: еще до войны он был неудовлетворен своей жизнью и собирался подвергнуть ее анализу с применением психоанализа, феноменологической психологии и марксистской социологии. Строго говоря, в этой записи от 2 октября формулируется едва не первый замысел политической автобиографии Сартра, который частично будет реализовываться на страницах «Дневника», затем в «Словах», и наконец в многочисленных беседах с С. де Бовуар («Церемония прощания») и исследователями его творчества (М. Конта, М. Рибалка и др.). Стоит подчеркнуть, что этот замысел диктуется не только и не столько политической ситуацией, сколько внутренней неудовлетворенностью философа своей чувственной жизнью. Война в этом отношении оказывается сугубо внешним мотивом, подталкивающим Сартра разобраться в многосторонних интимных отношениях, связывающих его с С. де Бовуар, Бьянкой Ламблен и Вандой Козакевич. Парадоксальным образом война лишь усугубляет чувственный кризис Сартра, поскольку «интимный четырехугольник» повисает в воздухе из-за удаления одной из сторон. Ситуация-на-войне заставляет Сартра отказаться от попытки осмыслить войну и свое бытие на войне, равно как от разработки морали, ради социально-психологического исследования своей личности.

Дневник учит его мыслить спонтанно, не принимая в расчет возможности систематичности. Вместе с тем эта спонтанность обнаруживает некие провалы, пробелы мысли. Уже в конце первой тетради Сартр делает довольно развернутый набросок теории войны 39-го года. За ним следует набросок теории мотивов и движущих сил, который найдет развитие в трактате «Бытие и Ничто». В этом отрывке, которым заканчивается первая тетрадь, наглядно обнаруживается динамика сартровской мысли: отправляясь от частного

(ссора с сержантом Ноденом), философ выстраивает цельную концепцию «мотивов» и «движущих сил» человеческого существования, после чего проверяет это построение на собственном психологически-экзистенциальном опыте. Стычка с сержантом, разъяснение мотивов и движущих сил своего поведения помогают Сартру выявить важнейшую характеристику своей личности: настроенность против мужчин, которая в свою очередь объясняется через детство (женское окружение), подростковый кризис (отторжение его товарищами в Ла Рошели) и т. д. Таким образом, бытие-на-войне снова и снова подвигает Сартра к самоанализу, несмотря на все его сопротивление: Сартр словно бы остерегается заглянуть в себя, сплетая для начала концептуальную сеть, которой затем себя оплетает.

Чтение дневников других писателей, в особенности Жида, наталкивает Сартра и на размышления о стиле: отточенная фраза Жида вызывает у него некое отвращение или по меньшей мере неприятие, которое, в общем, вполне соответствует его неприятию смерти. Классический стиль кажется ему мертвым стилем, собственный стиль он определяет исключительно через жизненные и даже животные метафоры: «Чтение „Дневника“ Жида постоянно создает ощущение, что я не знаю, что значит хорошо писать. Напоминает фразу Маё (1929 или 1927 год): „Бедный Сартр, нет никого, кто бы так рьяно гонялся за красотой и был до такой степени неспособен ее ухватить“. В моем письме есть какая-то неповоротливость и что-то германское, что ли. В моих фразах — какое-то скрытое тканевое ожирение, несколько их связывающее. В конце концов они станут для меня невыносимыми. Надо бы очистить их от жира, но мне все кажется, что тогда идея или чувство утратят оттенки. Я всегда испытывал чувство отвращения после длительного письма. Для меня мой стиль имеет какой-то органический запах, как тяжелое дыхание больного, как запах изо рта» (28 сентября). В «Дневниках» Сартр пишет, как живет: несколько небрежно,

распущенно, вольготно. Вместе с тем регулярность дневникового письма обеспечивает решение такой задачи, которую не мог не ставить перед собой существующий в праздности философ: через ведение дневника он упражняет свою мысль, поддерживает ее в форме. Невзирая на то, что дневник в сравнении с романом представляет письмо «низкого напряжения», философ не упускает случая «загореться» какой-то мыслью, додумать (дописать) ее до какого-то логического завершения, довести до собственно философского уровня. Письмо, таким образом, то принимает форму многостраничных философских рассуждений, которые с небольшими изменениями вольются впоследствии в «Бытие и Ничто» или в литературоведческие статьи, то сосредоточивается на каких-то мелочах повседневного существования, обнаруживая, насколько значима может быть та или иная мелочь для метафизического построения, то сводится к кратким, скупым заметкам, заключающим в себе либо перспективы философской рефлексии, либо ретроспективные наблюдения за ее ходом.

Выяснение отношения с мужчинами, которое составляет один из важнейших смыслообразующих элементов «Дневников», зачастую осуществляется посредством психологических или физиологических очерков, которые, по существу, больше характеризуют автора, нежели его персонажей. Физические зарисовки приспешников детальны, доскональны и чувственны. Вид обнаженного мужского тела несколько коробит Сартра, но несомненно привлекает. При этом философ занимает не столько само тело другого, сколько своя реакция на него, то есть в этих портретных зарисовках отражается главенствующая установка на создание автопортрета. Например, зарисовка Мистлера выливается в вопрос относительно собственного мужского начала: Сартр опасается, не является ли его страх мужской дружбы вытесненным гомосексуализмом (11 октября). Особенно показательной является сцена

медосмотра (18 ноября), описание которого также сводится к анализу собственной сексуальной организации: «Думаю, что, несмотря на эти серо-голубые куртки и штаны, мы живем в состоянии полной наготы. Половые органы вносили в это благопристойное собрание оттенки меланхолии. Сморщенные, замученные, застенчивые, напрасно пытались они скрыться за волосьями. Майор ощупывал их элегантно и говорил: „Покашляйте“. И я понял и всем сердцем одобрил эту фразу Бретона: „Мне было бы стыдно показаться нагишом при женщине, разве что когда у меня стоит“. Это не обсуждается, вопрос деликатности. После осмотра прогулка за пределами деревни. Не знаю, почему она напоминает мне прогулку Доктора Фауста, когда тот встречается с черным пуделем. Я шел впереди, приспешники за мной. Легкое отвращение из-за того, что увидел столько х... Но что тут такого отвратительного? Мне кажется, это было сексуально. Возможность поставить себя гетеросексуалом. На самом деле, может, зря я себя обвиняю, во всяком случае все было легко и непринужденно. Может быть, сыграл свою роль запах мочи. У Поля она пахнет очень резко, я уже замечал. Сам тускл и сер, но в испарениях его тела есть пикантность».

Это описание повторяется в письме к Бобру, написанном в этот же день, но в нем возникают примечательные дополнения: «Половые органы вносили в это благопристойное собрание оттенки меланхолии. Сморщенные, замученные, застенчивые, напрасно пытались они скрыться за волосьями. Майор ощупывал их элегантно и говорил: „Покашляйте“. И я понял и всем сердцем одобрил эту фразу Бретона: „Мне было бы стыдно показаться нагишом при женщине, разве что когда у меня стоит“. Это не обсуждается, вопрос деликатности. *Правда, может он и не намного более красив, когда стоит. Хотя это, по крайней мере, оправдывает его существование. Но, чтобы приправлять его незабудками, этого не надо. Уж лучше пет-*

рушкой. После осмотра прогулка за пределами деревни. Не знаю, почему она напоминает мне прогулку Доктора Фауста, когда тот встречается с черным пуделем (как в тексте, а не у Бати). Я шел впереди, приспешники за мной. Легкое отвращение из-за того, что увидел столько х... Но что тут такого отвратительного? Мне кажется, это было сексуально. Возможность *доказать себе, что у тебя „иные вкусы“* На самом деле, может, зря я себя обвиняю, во всяком случае все было легко и непринужденно»¹ (*курсив мой.* — С. Ф.). И дневниковое, и эпистолярное описания являются эротическими, хотя в разной степени. Дневниковая запись более непосредственна, она передает ощущение Сартра с большей откровенностью, но все равно непристойность сцены снимается двумя литературными реминисценциями: Бретон и Гете. Вторая явно соотносится с мотивом искушения, поскольку отсылает к сцене появления перед Фаустом Мефистофеля в обличи черного пуделя. Первая несколько интереснее: она не только сразу разряжает тяжелую атмосферу почти порнографического описания ссылкой на сюрреалистическую эпатажность, но и снова приоткрывает двусмысленность сексуальной природы Сартра. В самом деле, Бретону было бы стыдно оказаться нагишом перед женщиной, когда у него не стоит. Сартр испытывает сходное чувство, оказавшись нагишом перед мужчинами. В «Дневнике» сексуальность сцены оправдывается через «возможность поставить себя гетеросексуалом», то есть, выставить себя таковым, доказать мужчинам свою ничем не запятнанную мужественность. Сартр снова и снова испытывает эту потребность утверждения своей мужественности через показ. Но еще интереснее эта сцена предстает в эпистолярном описании. В нем она превращается в маленький литературный шедевр, в котором непосредствен-

¹ *Sartre Jean-Paul. Lettres au Castor et à quelques autres. Paris: Gallimard, 1983. P. 483.*

ность реального чувственного переживания теряется за целым веером литературных аллюзий. В письме к Бобру Сартр просто блещет своим ироничным умом, встает по отношению к себе в чисто эстетическую позу, смотрит на себя и показывает себя в этой сцене с чувством несомненного превосходства, которое обеспечивается тем, что он уже отдалился от себя во времени и вновь находится во всеоружии своих литературных знаний. В самом деле, ссылка на Гете дополняется примечанием эрудита, что Гете припоминается не по инсценировке Гастона Бати, а по оригиналу. «Незабудки» отсылают к скандально известному роману Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли». И вновь Сартр блещет своей иронией: что там незабудки, если чем и приправлять известный орган, то разве что петрушкой. Наконец, несколько неуклюжая фраза из дневника о возможности «поставить себя гетеросексуалом» превращается в изящную цитату из Пруста: выражение «иные вкусы» заимствовано из лексикона людей «проклятого племени», то есть тех персонажей романа Пруста, что живут по закону «Содома и Гоморры». Литература, таким образом, почти полностью вытесняет реальное переживание. От него остается разве что первоначальный импульс.

Стратегия эротического описания в приведенных отрывках становится еще более характерной, если сопоставить их с описаниями ночей «любви», за которые Сартр отчитывался перед С. де Бовуар в своих письмах: «Мы тискали друг друга без единого слова, что облегчает описание этой ночи. Я все от нее получил, хотя и не переспал с ней. Как и свидетельствует ее вид, она представляет собой, как сказал бы Бубу, „знатную любовницу“; она просто очаровательна в постели. В первый раз я ложусь в постель с брюнеткой или скорее *черной как черт* уроженкой Прованса, которая так и благоухает и причудливо волосата с ее черным пушком в скрещенье бедер и совершенно белым телом, которое куда белее моего. Поначалу эта несколько неумная

чувственность и эти ноги, которые колются, как плохо выбритый мужской подбородок, мне внушили удивление, почти отвращение. Но когда привыкнешь, то ничего, даже очень ничего. У нее вытянутые ягодицы, они покрепче, но и потяжелее, поплотнее внизу, чем вверху, на груди несколько прыщиков (вы же знаете этих студентов, что все время недоедают и не следят за собой, скорее это трогательно). Очень красивые ноги, мускулистый и совершенно плоский живот, ни тени груди и в целом гибкое и очаровательное тело. Язычок трубочкой, он все вытягивается и вытягивается, того и гляди достанет до миндалин, губы тоже хороши, как и у Жеже. В общем, я доволен, как только могут быть довольны тюремные ворота».¹ В сравнении с предыдущими это описание проигрывает как в собственно чувственности, так и в литературном эротизме. Оно отличается несколько неуместной, почти холодной рациональностью, то и дело сбивается на отчет. Сартр отстранен не столько от себя, сколько от девушки: под его пером она превращается почти что в статую. За исключением нескольких общих мест в описании нет ни единого слова об ощущениях, которые он мог испытать. Зато есть «рамочная конструкция», которая стягивает все описание своего рода поясом целомудрия: Сартр начинает с признания (или с заверения), что настоящей близости между ними не было, а заканчивает утверждением (или заверением), что все время «любви» оставался неприступен, как «тюремные ворота». А главное, ничто в этой сцене не подвигает его на литературные фантазии: слог холоден и невдохновенен, Сартр взывает не к литературе, а к жизненному опыту, ссылается не на классиков, а на общих знакомых или саму Симону. Окончательный отчет об этом «любовном приключении» отличается той же холодностью в отношении девушки и очевидной самоотстраненностью, граничащей с самолюбованием или само-

¹ Ibid. P. 188.

иронией: «Я провел с ней две прекрасные и трагичные ночи, которые определенно меня взволновали, оставив во мне горьковатый осадок сожаления из-за того, что в моей жизни для нее абсолютно нет места. Самое грустное в том, что она страстно влюбилась в меня („по меньшей мере, как мадам Канк“) и возжелала отдать мне свою девственность. Не знаю уж, взял я ее или нет. В такого рода делах сомнение никогда не помешает; во всяком случае, дело было не из легких и не из приятных. Вы скажете, что я теряю осторожность. Ну, нет. Все в порядке, она уехала счастливой и без всякой надежды».¹ При помощи самоиронии Сартр оправдывается если и не перед своей confidentкой, то перед самим собой. Во всяком случае девушка никоим образом не принимается в расчет: она уехала и словно бы перестала существовать. Несомненно существует только Сартр, и несомненность этого существования подтверждается очередной возможностью взглянуть на себя со стороны, — сегодня он уже другой, не тот, что накануне ночью с переменным успехом занимался столь нелегким и неприятным делом — и показать себя с определенной стороны своей верной confidentке. Вместе с тем само «любовное приключение» имеет для него значение лишь постольку, поскольку предоставляет возможность поведать о нем. Письмо, литература представляют собой своего рода заменитель чувственной жизни. Примечательно в этом отношении, что в «Дневниках» Сартр почти не прибегает к описаниям своих интимных отношений с женщинами, приберегая их для писем Бобру: последняя оказывается не только confidentкой, но и своего рода поручительницей, гарантом мужского начала Сартра. Не менее важно и то, что элементы сексуального опыта Сартра включаются в его философские построения, очевидная, точнее, кажущаяся метафизичность которых вмиг рассеивается, стоит лишь сличить самые абстрактные, казалось бы,

¹ Ibid. P. 190.

рассуждения с конкретной физикой тела философа, как она обнаруживает себя в «Дневниках» и «Письмах к Бобру».

По существу, невзирая на все свои «любовные приключения», Сартр избегает женщин, сторонится что есть сил всякой сколько-нибудь совершенной женственности. Его самые пылкие связи завязывались с женщинами или девушками, если и не маргинальными, то несомненно «оторвавшимися» от буржуазного круга — студентками-провинциалками или начинающими актрисами: «...Это магическое влечение, которым одолевают меня темные и потерянные женщины — Ванда, раньше Ольга» (29 ноября). Женщина «невысокого полета» позволяет философу не тратить себя попусту, защищать свое я даже в самых сильных увлечениях.¹ Кроме того, философ защищает себя от женщины рефлексией, постоянной самораздвоенностью, препятствующей какой бы то ни было самоотдаче: «Мои самые великие страсти суть не что иное, как нервные движения. В остальное время я чувствую наспех, а затем развиваю это на словах, тут немного нажму, там — немного натяну, и вот построено образцовое ощущение, которое годится только на то, чтобы оказаться в книге с твердой обложкой... Это и есть мое я, это постоянное и рефлексивное раздвоение, эта поспешность, жаждущая извлечь выгоду из себя самого, этот взгляд». Фи-

¹ Сколько-нибудь обстоятельное обсуждение более чем двусмысленных отношений Сартра с Симоной де Бовуар потребовало бы пристального анализа как ее «Военного дневника» (1990) и «Писем к Сартру» (1990), так и всей доктрины феминизма, представленной во «Втором поле» (1949). Откладывая такой анализ на будущее, заметим здесь, что философия свободы, претендуя прежде всего на свободу в отношении отцовской инстанции, явно страдала комплексом, если и не кастрации, то «касторизации» (от французского «Castor» — Бобр), то есть репрессивная в отношении экзистенциализма функция осуществлялась прежде всего со стороны гиперфеминизма. См. об этом: *Buisine A. Ici Sartre (dans les Lettres au Castor et à quelques autres) // Revue des sciences humaines. 1984. N 195. P. 183—203.*

лософ не может позволить себе расслабиться, отдаться чувству, он стремится во что бы то ни стало сохранить абсолют сознания. Словом, женщина — это заклятый враг абсолютного сознания, и абсолютное сознание достижимо не иначе, как в противостоянии и отрицании женщины. Более того, философ готов отказаться от обладания женщиной, поскольку ему как никому другому понятна эта колдовская формула А. Жида: «Все, чем ты обладаешь, обладает тобой». Таким образом, в «Дневниках» мы вновь сталкиваемся с этим фаллоцентризмом сартровского сознания, хотя теперь очевидно, какой ценой дается ему этот фаллоцентризм.

Фаллоцентризм абсолютного сознания — это вымученный, неестественный фаллоцентризм, отвергающий гинекократию сексуального акта. Достаточно обратиться к последним страницам трактата «Бытие и Ничто», чтобы понять, насколько значима гинекофобия для бытия-для-себя. Последнее определяется структурой нехватки, или желанием иметь, обладать в-себе-бытием: «...желание иметь направляет для-себя на мир, в мир и через мир». Желание иметь, которое движет бытием-для-себя, направляет его к в-себе-бытию. Последнее имеет абсолютно женскую природу: в тот самый момент, когда для-себя-бытие думало овладеть в-себе-бытием, оно, точнее, «она овладевает» им (*курсив Сартра* — С. Ф.). Описывая в-себе-бытие, Сартр выделяет главное его качество — липкость. Липкое (в-себе-бытие) — это главная опасность для для-себя-бытия: «...Это активность мягкая, слизистая и по-женски всасывающая, оно (*липкое* — С. Ф.) незнамо как оживает под моими пальцами и внушает мне смятение, оно вовлекает меня в себя подобно тому, как может влечь бездонная пропасть... В-себе вовлекает Для-себя в свою случайность... Липкость — это реванш В-себе. Реванш мягкий и женственный... Мы ухватываем здесь в зародыше одну из самых основополагающих склонностей человеческой-реальности: склонность *заполнять*... Добрая половина нашей жизни проходит

за тем, что мы затыкаем дыры, заполняем пустоты... Лишь отсюда мы можем перейти к сексуальности: непристойность женского полового органа является непристойностью всякого зияния; это и есть зов бытия, как, впрочем, и всех дыр; женщина призывает в себя постороннюю вещь, которая призвана преобразовать ее через проникновение и размягчение. И наоборот: женщина ощущает себя зовом именно потому, что она „продырявлена“». ¹ Сопоставив представленный выше сексуальный опыт философа с основной концепцией трактата «Бытие и Ничто», можно утверждать, что Бытие — Это Женщина, а Ничто — бегущее всякого соприкосновения с женственностью абсолютное сознание. ² Женщина — это *анти-идея*. Женщина является анти-идеей постольку, поскольку остается женственной, естественной. И наоборот: неестественность (в том числе сексуального поведения) — это удел философа.

Приступая к работе над трактатом «Бытие и Ничто», Сартр подчеркивал, что в его мысли «жизнь и философия составляют одно целое»: знакомство с «Дневниками странной войны» подтверждает значимость этого единства. Но необходимо осознать, что оно достигается не иначе, как через войну: благодаря реальной (хотя и странной) войне, которая накладывается на изначально воинственный характер сартровской мысли, и в силу идеальной (и тоже странной) войны, которая образует важнейшую движущую силу всей филосо-

¹ Сартр Жан-Поль. Бытие и Ничто. С. 610—615. Перевод изменен.

² Таким образом, философская позиция Сартра непосредственно смыкается с тем отношением к женщине, которое сам он считал характерным для поздней романтической поэзии: «Поэт презирает „естественную и поему вульгарную“ женщину, он ненавидит всякого рода зарождение, расцветание, все, что может прибавить бытия Бытию; он страшится своей собственной естественности: какая-то мартышка, засевавшая у него под кожей» (*Sartre Jean-Paul. Mallarmé. Paris: Gallimard, 1986. P. 31—32.*

фии Сартра. Он воюет с мужчинами-философами, рассматривая их в виде онтологических противников абсолютного сознания, которое зиждется на пустоте и для самоутверждения нуждается в этой пустоте вокруг себя. Он воюет с женщинами, усматривая в них онтологическую угрозу для абсолютного сознания, защищая его от размягчающего влияния женственности поясом философского целомудрия. А главное — Сартр все время воюет с самим собой, со своими слабостями и недостатками, превращая сам феномен «недостатка», «нехватки» в центр экзистенциальной структуры человеческой личности. «Жизнь и философия составляет одно целое»: «Дневники странной войны» живо напоминают, что философия — это рискованное занятие, что она не столько вещает вечные истины (для другого), сколько (себя) жалит и обжигает, колет и режет по живому.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
Предупреждение	10
Дневник I. Сентябрь—октябрь 1939. Мармутье—Иттенхайм—Брумат	11
Дневник III. Ноябрь—Декабрь 1939. Брумат—Морсбронн	199
Дневник V. Декабрь 1939. Морсбронн	363
Дневник XI. Февраль 1940. Морсбронн—Париж—Буксвиллер	433
Дневник XII. Февраль 1940. Буксвиллер	505
Дневник XIV. Март 1940. Буксвиллер—Брумат	605
Приложения:	707
Приложение 1	709
Приложение 2	713
Приложение 3	715
Приложение 4	731
Приложение 5	732
Комментарии	747
С. Л. Фокин. Автопортрет философа на фоне войны: Жан-Поль Сартр и его дневники	758

Жан-Поль Сартр
ДНЕВНИКИ СТРАННОЙ ВОЙНЫ
Сентябрь 1939—март 1940

*Утверждено к печати
Редакцией серии «Дневники XX века»*

Редактор издательства *О. В. Иванова*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*

Лицензия № 000190 от 03 июня 1999 г.
Подписано к печати 12.02.2002. Формат 60 × 88 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 50. Уч.-изд. л. 36.9.
Тираж 3000 экз. Тип. зак. № 3071

Издательство «Владимир Даль»
193036, Санкт-Петербург
ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А

Предлагаемое издание вычерчивает новый угол зрения на творческую работу автора, который не нуждается в представлениях и рекомендациях. Когда осенью 1939 г. Сартр был призван на воинскую службу, он начал вести эти дневниковые и рабочие записи, в которых отразился его взгляд на будущее Франции и Европы и способ понимания граничных жизненных ситуаций. Если считать "Бытие и ничто" главным философским сочинением Сартра, то "Дневники" предваряют этот труд как своеобразное историко-биографическое и психологическое введение, отмеченное проникновенностью той дневниковой прозы, где подспудная работа мысли над человеческими сомнениями и ожиданиями предстает в непосредственной обращенности к самой себе.

Феномен войны - общая тема в дневниках интеллектуалов XX века. Движимый своим темпераментом и усилением мысли, Сартр придает ему смысл, предопределивший поворот в его собственном философском развитии. Поражение в "странной" войне было воспринято им как поражение интеллектуальное и заставило отказаться от рафинированного либерального пацифизма, который он разделял со многими своими современниками накануне войны, не принимая в расчет ее возможную реальность. Сопутствующие же размышления о фашизме, о демократии, о кризисе буржуазной цивилизации и либеральных ценностей делают "Дневники" актуальным и своевременным чтением для современного российского читателя.



ФОНД
УНИВЕРСИТЕТ